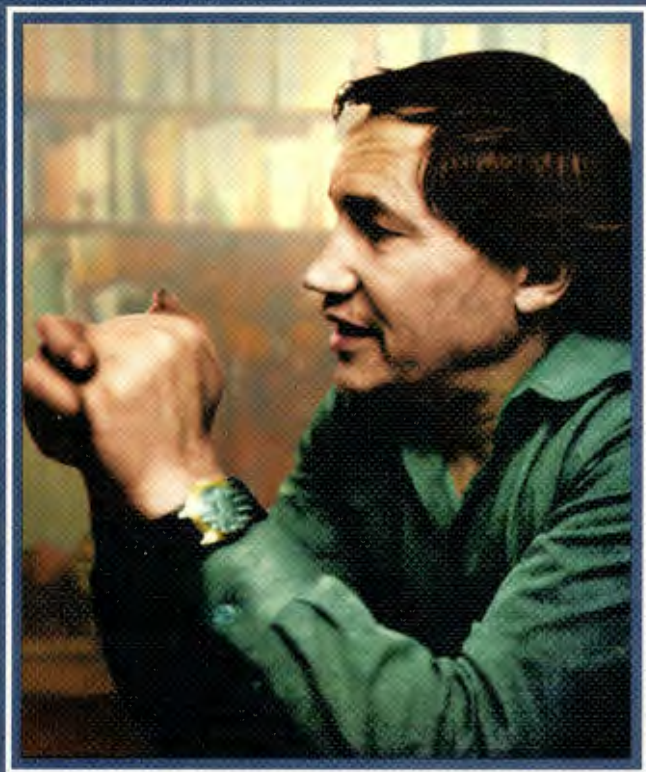


ЗЕРКАЛО

XX ВЕК



Теофи
Врагумов

ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

*«Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое...»*

Н. Рубцов



Георгий

Владимов

Роман
Повесть
Рассказы
Пьеса

Екатеринбург
У-Фактория
1999

ББК 84Р7
В 57

Составитель Л. Быков
Оформление В. Брагина, А. Зарубина

Владимов Г. Н.

В 57 Генерал и его армия. Роман. Верный Руслан. Повесть.
Все мы достойны большего. Мы капитаны, братья, капитаны.
Не обращайтесь вниманья, маэстро. Рассказы.
Шестой солдат. Пьеса. (Серия «Зеркало — XX век».) —
Екатеринбург: изд-во «У-Фактория», 1999. — 736 с.

ББК 84Р7

ISBN 5-89178-120-4
ISBN 5-89178-078-X (серия)

© Г. Н. Владимов, 1999
© ООО «У-Фактория», серия,
составление, оформление,
1999

*... Он потерял в войну отца,
он вырос в Ленинграде, «на краю океана»,
и прошёл казармы Суворовского училища,
он принёс в литературу Кодекс чести:
самоощущение личности,
он решился защищать этот Кодекс
и это самоощущение в условиях
чудовищной и трагической подмены,
когда белое становится черным
и лучшее оборачивается в худшее.
Обреченное рыцарство —
путь и слава Владимова, его миссия,
его тема, его вклад в наш общий опыт.*

Лев Аннинский



Георгий Владимов

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

роман

*Простите вы, пернатые войска
И гордые сражения, в которых
Считается за доблесть честолюбье.
Всё, всё прости. Прости, мой ржущий конь
И звук трубы, и грохот барабана,
И флейты свист, и царственное знамя,
Все почести, вся слава, всё величье
И бурные тревоги грозных войн.
Простите вы, смертельные орудья,
Которых гул несётся по земле...*

Вильям Шекспир,
«Отелло, венецианский мавр»,
акт III

Глава первая

МАЙОР СВЕТЛООКОВ

1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча покрышками, по истерзанному асфальту — «виллис», «король дорог», колесница нашей Победы. Хлопает на ветру закиданный грязью брезент, мечутся щётки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Так мчится он под небом воюющей России, погромыхи-вающим непрерывно — громом ли надвигающейся грозы или дальнею канонадой, — свирепый маленький зверь, тупорылый и плосколобый, воющий от злой натуги одолеть пространство, пробиться к своей неведомой цели.

Подчас и для него целые вёрсты пути оказываются непроезжими — из-за воронок, выбивших асфальт во всю ширину и налитых доверху тёмной жижей, — тогда он переваливает кювет наискось и жрёт дорогу, рыча, срывая пласты глины вместе с травой, крутясь в разбитой колее; выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт, а позади остаются мокрые прострелянные перелески с чёрными сучьями и ворохами опавшей листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнивать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испутившие последний свой дым два года назад.

Попадаются ему мосты — из наспех ошкуренных брёвен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, — он бежит по этим брёвнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и ещё колышется и скрипит настил, когда «виллиса» уже нет и следа, только синий выхлоп дотаивает над чёрной водою.

Попадаются ему шлагбаумы — и надолго задерживают его, но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь требовательными сигналами, он пробирается к рельсам вплотную и первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.

Попадаются ему «пробки» — из встречных и поперечных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигнализирующих машин; иззябшие регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и матерщиною на устах, расшивают эти «пробки», тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали угрожая жезлом, — для «виллиса», однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шофёры долго глядят ему вслед с недоумением и невнятной тоскою.

Вот он исчез на спуске, за вершиной холма, и затих — кажется, пал он там, развалился, загнанный до издыхания, — нет, вынырнул на подъёме, песню упрямства поёт мотор, и нехотя ползёт под колесо тягучая российская верста...

Что была Ставка Верховного Главнокомандования? — для водителя, уже закаменевшего на своём сиденье и смотревшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а время от времени, с настойчивостью человека,

давно не спавшего, пытаюсь раскурить прилипший к губе окурок. Верно, в самом этом слове — «Ставка» — слышалось ему и виделось нечто высокое и устойчивое, вознёсшееся над всеми московскими крышами, как островерхий сказочный терем, а у подножья его — долгожданная стоянка, обнесённый стеною и уставленный машинами двор, наподобие постоялого, о котором он где-то слышал или прочёл. Туда постоянно кто-нибудь прибывает, кого-нибудь провожают, и течёт промеж шоферов нескончаемая беседа — не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы в сумрачных тихих палатах, за тяжёлыми бархатными шторами, на восьмом этаже. Выше восьмого — прожив предыдущую свою жизнь на первом и единственном — водитель Сиротин не забирался воображением, но и пониже находится начальству не полагалось, надо же как минимум пол-Москвы наблюдать из окон.

И Сиротин был бы жестоко разочарован, если б узнал, что Ставка себя укрыла глубоко под землёй, на станции метро «Кировская», и её кабинетики разгорожены фанерными щитами, а в вагонах недвижимого поезда разместились буфеты и раздевалки. Это было бы совершенно несолидно, это бы выходило поглубже Гитлерова бункера; наша, советская Ставка так располагаться не могла, ведь германская-то и высмеивалась за этот «бункер». Да и не нагнал бы тот бункер такого трепету, с каким уходили в подъезд на полусогнутых ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, куда поместил он себя со своим «виллисом», рассчитывал Сиротин узнать и о своей дальнейшей судьбе, которая могла слиться вновь с судьбою генерала, а могла и отдельным потечь руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кой-чего у шоферов разведать — как вот разведал же он про этот путь заранее, у коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлечённом — Сиротин, помнилось, высказал предположение, что, ежели на «виллис» поставить движок от восьмиместного «доджа», добрая будет машина, лучшего и желать не надо; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок у «доджа» великоват и, пожалуй, под «виллисов» капот не влезет,

придётся специальный кожух наращивать, а это же горб, — и оба нашли согласно, что лучше оставить как есть. Отсюда их разговор склонился к переменам вообще — много ли от них пользы, — коллега себя и здесь заявил сторонником постоянства и, в этой как раз связи, намекнул Сиротину, что вот и у них в армии ожидаются перемены, буквально-таки на днях, неизвестно только, к лучшему оно или к худшему. Какие перемены *конкретно*, коллега не приоткрыл, сказал лишь, что окончательного решения ещё нету, но по тому, как он голос принижал, можно было понять, что решение это придёт даже не из штаба фронта, а откуда-то повыше; может, с такого высока, что им обоим туда и мыслью не добраться. «Хотя, — сказал вдруг коллега, — ты-то, может, и доберёшься. Случаем Москву повидеешь — кланяйся». Выказать удивление — какая могла быть Москва в самый разгар наступления — Сиротину, шофёру командующего, амбиция не позволяла, он лишь кивнул важно, а втайне решил: ничего-то коллега толком не знает, слышал звон отдалённый, а может, сам же этот звон и родил. А вот вышло — не звон, вышло и вправду — Москва! На всякий случай Сиротин тогда же начал готовиться — смонтировал и поставил неезженные покрышки, «родные», то есть американские, которые приберегал до Европы, приварил кронштейн для ещё одной бензиновой канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали, — генерал его не любил: «Душно под ним, — говорил, — как в собачьей будке, и рассредоточиться по-быстро-му не даёт», то есть через борта повыскакивать при обстреле или бомбёжке. Словом, не так уж вышло неожиданно, когда командовал генерал: «Запрягай, Сиротин, пообедаем — и в Москву».

Москвы Сиротин не видел ни разу, и ему и радостно было, что внезапно сбывались давнишние, ещё довоенные, планы, и беспокойно за генерала, вдруг почему-то отозванного в Ставку, не говоря уже — за себя самого: кого ещё придётся возить, и не лучше ли на полторку попроситься, хлопот столько же, а шансов живым остаться, пожалуй, что и побольше, всё же кабинка крытая, не всякий осколок пробьёт. И было ещё чувство — странного облегчения, даже можно

сказать, избавления, в чём и себе самому признаться не хотелось.

Он был не первым у генерала, до него уже двое мучеников сменилось — если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии; до этого, по мнению Сиротина, ни армии не было, ни истории, а сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа — самого генерала и не поцарапало, зато *под ним*, как в армии говорилось, *убило* два «виллиса», оба раза с водителями, а один раз и с адъютантом. Вот о чём и ходила стойкая легенда: что самого не берёт, он как бы *заговорённый*, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда рассказывались подробности, выходило немного иначе, «виллисы» эти *убило* не совсем *под ним*. В первый раз — при прямом попадании дальнобойного фугаса — генерал ещё не сел в машину, призадержался на минутку на КП * командира дивизии и вышел уже к готовой каше. А во второй раз — когда подорвались на противотанковой mine, он уже не сидел, вылез пройтись по дороге, понаблюдать, как замаскировались перед наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с открытого места; а тот возьми и сверни в рощу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу сапёры обошли, по ней движение не планировалось... Но какая разница, думал Сиротин, упредил генерал свою гибель или опоздал к ней, в этом и была его заговорённость, да только на его сопровождавших она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она-то и была, если вдуматься, причиной их гибели. Уже подсчитали знатоки, что на каждого убитого в эту войну придётся до десяти тонн истраченного металла, Сиротин же и без их подсчётов знал, как трудно убить человека на фронте. Только бы месяца три продержаться, научиться не слушаться ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой озноб безотчётный, который чем безотчётнее, тем верней тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз из самого вроде безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой ни то канавке перележать, за ничтожной кочкой, — а блиндаж-то и разнесёт по брёвнышку, а кочка-то

* Командный пункт.

и укроет! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не побываешь на передовой, но этот генерал передовую не то что бы сильно обожал, однако и не брезговал ею, так что предшественники Сиротина не могли по ней слишком соскучиться, — значит, по собственной дурасти погибли, себя не послушались!

С миной — ну, это смешно было. Стал бы он, Сиротин, съезжать в эту рощицу, под сень берёз? Да хрена-с-два, хоть перед каждым кустом ему воткни: «Проверено, мин нет», — кто проверял, для того и нет, он свои ноги унёс уже, а на твою долю, будь уверен, хоть одну «пэтээмку» * оставил в спешке; да хотя б он всю рощу пузом подмёл — известное же дело, раз в год и незаряженная винтовка стреляет! Вот со снарядом было сложнее — на мину ты сам напоролся, а этот тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветерка подправил ошибку, отнёс на две, на три тысячных вправо или влево, и за какие-нибудь секунды — как почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбой предназначенный, уже покинул ствол и спешит к тебе, посвистывая, пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, другие услышат — и сдуру ему поклоняются. Однако зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? Да то самое, безотчётное, и задержало, вот что надо было почувствовать! В своих размышлениях Сиротин неизменно ощущал превосходство над обоими предшественниками — но, может стать-ся, всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мёртвым? — и такая мысль тоже его посещала. В том-то и дело, что закаяно его чувствовать, оно ещё хуже сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала: всегда смирайся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, — тогда, быть может, и пронесёт мимо. А главное... главное — тот же озноб ему шептал: с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? Да если назвать их можно, то какая же безотчётность... Где-нибудь оно произойдёт и когда-нибудь, но произойдёт непременно — вот что над ним всегда висело, отчего бывал он часто уныл и мрачен;

* ПТМ — противотанковая мина.

лишь искушённый взгляд распознал бы за его лихостью, за отчаянно-бравым, франтоватым видом — скрываемое предчувствие. Где-то верёвочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьётся и слишком счастливо, — и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговорённому.

Вот, собственно, о каких своих опасениях — ни о чём другом — поведал водитель Сиротин майору Светлоокову из армейской контрразведки «Смерш», когда тот его пригласил на собеседование, или — как говорилось у него — «кое о чём посплетничать». «Только вот что, — сказал он Сиротину, — в отделе у меня не поговоришь, вломятся с какой-нибудь хреновиной, лучше — в другом каком месте. И пока — никому ни слова, потому что... мало ли что. Ладненько?» Свидание их состоялось в недалёком от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленную сосну и, сняв фуражку, подставил осеннему солнышку крутой выпуклый лоб, с красной полоскою от околыша, — чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, — Сиротина же пригласил усесться пониже, на травке.

— Давай выкладывай, — сказал он, — что тебя точит, о чём кручина у молодца? Я же вижу, от меня же не укроетсяя...

Нехорошо было, что Сиротин рассказывал о таких вещах, которые наука выживания велит держать при себе, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

— Ничего, ничего, — сказал он без улыбки, тряхнув энергично своими льняными прядями, забрасывая их подальше назад, — это мы понимать умеем, всю эту мистику. Все суеверия подвержены, не ты один, командующий наш — тоже. И скажу тебе по секрету: не такой он заговорённый. Он про это вспоминать не любит и нашивок за ранения не носит, а было у него по дурости в сорок первом, под Солнечногорском. Хорошо отоварился — восемь пуль в живот. А ты и не знал? И ординарец не рассказывал? Который, между прочим, при сём присутствовал. Я думал, у вас всё нараспашку... Ну, наверно, запретил ему Фотий Иванович рассказывать. И мы тоже про это не будем сплетничать, верно?..

Слушай-ка, — он вдруг покосился на Сиротина весёлым и пронзающим взглядом, — а может, ты мне тово... дурочку валяешь? А главное про Фотия Иваныча не говоришь, утаиваешь?

— Чего мне утаивать?

— Странностей за ним не наблюдаешь в последнее время? Учти, кой-кто уже замечает. А ты — ничего?

Сиротин подёрнул плечом, что могло значить и «не замечал», и «не моего ума дело», однако неясную ещё опасность, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было отстраниться, хотя б на миг, чтоб только понять, что могло грозить ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзительных глаз нелегко было выдержать. Похоже, он разгадал смятение Сиротина и этим строгим взглядом возвращал его на место, которого обязан был держаться человек, состоящий в свите командующего, — место преданного слуги, верящего хозяину беспредельно.

— Сомнения, подозрения, всякие мерихлюндии ты мне не выкладывай, — сказал майор твёрдо. — Только факты. Есть они — ты обязан сигнализировать. Командующий — большой человек, заслуженный, ценный, тем более мы обязаны все наши малые силы напрячь, поддержать его, если в чём-то он пошатнулся. Может, устал он. Может, ему сейчас особое душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, потом локти будем кусать. Мы ведь за каждого человека в армии отвечаем, а уж за командующего — что и говорить...

Кто были «мы», отвечающие за каждого человека в армии, он ли с майором или же весь армейский «Смерш», в глазах которого генерал в чём-то «пошатнулся», этого Сиротин не понял, а спросить почему-то не решался. Ему вспомнилось вдруг, что и дружок из автороты штаба тоже эти слова обронил: «пошатнулся малость», — так он, стало быть, не звон отдалённый слышал, а прямо-таки гудение земли. Похоже, генеральское пошатновение, хоть ничем ещё не проявленное, уже и не новостью было для некоторых, и вот из-за чего и вызвал его к себе майор Светлооков. Разговор

их становился всё более затягивающим куда-то, во что-то неприятное, и смутно подумалось, что он, Сиротин, уже совершил малый шаг к предательству, согласившись прийти сюда «посплетничать».

Из глубины леса тянуло предвечерней влажной прохладой, и с нею вкрадчиво сливался вездесущий приторный смрад. Чёртовы похоронщики, подумал Сиротин, своих-то подбирают, а немцев — им лень, придётся генералу доложить, даст он им прикурить. Неохота было свежих подобрать — теперь носы затыкайте...

— Ты мне вот что скажи, — спросил майор Светлооков, — как он, по-твоему, к смерти относится?

Сиротин поднял к нему удивлённый взгляд.

— Как все мы, грешные...

— Не знаешь, — сказал майор строго. — Я вот почему спрашиваю. Сейчас предельно остро ставится вопрос о сохранении командных кадров. Специальное указание Ставки есть, и Верховный подчёркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали риску. Слава Богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе — ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережёт? С отчаяния какого-нибудь, со страху, что не справится с операцией? А может, и тово... ну, свих небольшой? Оно и понятно до некоторой степени — операция очень всё-таки сложная!..

Пожалуй, Сиротину не показалось бы, что операция была других сложнее, и развивалась она как будто нормально, однако там, наверху, откуда к нему снисходил майор Светлооков, могли быть иные соображения.

— Может быть, единичный случай? — размышлял между тем майор. — Так нет же, последовательность какая-то усматривается. Командующий армией свой КП выносит поперёд дивизионных, а комдиву что остаётся? Ещё поближе к немцу придвинуться? А полковому — прямо-таки в зубы противнику лезть? Так и будем друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или ещё пример: ездите на передовую без охраны, без бронетранспортёра, даже радиста с собой не берёте. А вот так и нарываюются на засаду, вот так и к немцу

заскакивают. Иди потом выясняй, доказывай, что не имело места предательство, а просто по ошибке... Это же всё предвидеть надо. И предупреждать. И нам с тобой — в первую очередь.

— Что ж от меня-то зависит? — спросил Сиротин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятен и сходился с его собственными опасениями. — Шофёр же маршрут не выбирает...

— Ещё б ты командующему указывал!.. Но знать заранее — это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иванович минут за десять: «Запрягай, Сиротин, в сто шестнадцатую подскочим». Так?

Сиротин подивился такой осведомлённости, но возразил:

— Не всегда. Другой раз в машину сядет и уж тогда путь говорит.

— Тоже верно. Но он же не в одно место едет, за день в трёх-четырёх хозяйствах побываете: где полчаса, а где и все два. Можешь же ты у него спросить: а куда потом, хватит ли горючего? Вот у тебя и возможность созвониться.

— С кем это... созвониться?

— Со мной, «с кем». Мы наблюдение организуем, с тем хозяйством свяжемся, куда вы в данный момент путь держите, чтоб выслали встречу. Я понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать всё как есть. Так это одно другому не мешает. У нас — своя линия и своя задача. Комдив того знать не будет, когда Фотий Иванович нагрянет, лишь бы мы знали.

— А я-то думал, — сказал Сиротин, усмехаясь, — вы шпионами занимаетесь.

— Мы всем занимаемся. Но сейчас главное, чтоб ни на минуту командующий из-под опеки не выпадал. Это ты мне обещаешь?

Сиротин усиленно морщил лоб, выгадывая время. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда бы ни направились они с генералом, об этом будет известно майору Светлоокову. Но как-то коробило, что ведь придётся ему сообщать скрытно от генерала.

— Это как же так? — спросил Сиротин. — От Фотия Ивановича тайком?

— Уу! — прогудел майор насмешливо. — Кило презрения у тебя к этому слову. Именно тайком, негласно. Зачем же командующего в это посвящать, беспокоить?

— Не знаю, — сказал Сиротин, — как это так можно...

Майор Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.

— И я не знаю. А нужно. А приходится. Так что же нам делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был — куда как просто! Чего я от тебя уже час добиваюсь, комиссар бы мне, не думая, пообещал. А как иначе? Комиссар и контрразведчик — первые друг другу помощники. Теперь — больше доверия военачальнику, а работать стало куда сложнее. К члену Военного совета не подкатись, он тоже теперь «товарищ генерал», ему это звание дороже комиссарского, станет он такой «чепухой» заниматься! Ну, а мы, скромные людишки, обязаны заниматься, притом — тихой сапой. Да уж, Верховный нам осложнил задачу. Но — не снял её!

Эта печаль и озабоченность в голосе майора, и его откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, от Верховного, — всё складывалось так, что Сиротину как будто уже и не во что было упираться.

— Звонить, ведь оно, знаете... У связиста линия занята. А когда и свободна, тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо, куда звонишь. Так до Фотия Иваныча дойдёт. Нет, это...

— Что «нет»? — Майор Светлооков приблизил к нему лицо. Он враз повеселел от такой наивности Сиротина. — Ну, чу-дак же ты! Неужели так и попросишь: «А соедини-ка меня с майором Светлооковым из «Смерша»? Не-ет, так мы всё дело провалим. Но можно же по холостой части. В смысле — по бабьей. Эта линия всегда выручит. Ты Калмыкову из трибунала знаешь? Старшую машинистку.

Сиротину вспомнилось нечто рыхлое, чересчур грудастое и, на его двадцатишестилетний взгляд, сильно пожилое, с непреклонно начальственным лицом, с тонко поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчинённых ба-рышень.

— Что, не объект для страсти? — Майор улыбнулся быстро порозовевшим лицом. — Вообще-то на неё охотники имеются. Даже хвалят. Что поделаешь, любовь зла! К тому же,

у нас не женский монастырь. Вот в Европу вступим — не в этот год, так в следующий, — там такие монастыри имеются, специально женские. Точней сказать, девичьи. Потому как монашки эти, «кармелитки» называются, клятву насчёт девственности дают — до гроба. Во, какая жертва! Так что невинность гарантируется. Бери любую — не ошибёшься.

Сверхсуровые эти «кармелитки», в сиротинском воображении соотнесясь почему-то с «карамельками», выглядели куда как маняще и сладостно. Что же до той, грудастой, всё-таки не представилось ему, как бы он стал приударять за ней или хотя бы трепаться по телефону.

— Зер гут, — согласился майор. — Избираем другой вариант. Как тебе — Зюечка? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый фаянсовый лобик, и взгляд изумлённый — маленьких, но таких ярких, блестящих глаз, — и ловко пригнанная гимнастёрка, расстёгнутая на одну пуговку, никогда не на две, чтоб не нарваться на замечание, и хромовые, пошитые на заказ сапожки, и маникюр на тонких пальчиках — всё было куда поближе к желаемому.

— Зюечка? — усомнился Сиротин. — Так она же вроде с этим... из оперативного отдела. Чуть не жена ему?

— У этого «чуть» одно тайное препятствие имеется — супруга законная в Барнауле. Которая уже письмами политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Тут придётся какие-то меры принимать... Так что Зюечка не отпадает, советую заняться. Подкатись к ней, наведи переправы. И — звони ей откуда только можно. Что, тебя связист не соединит? Шофёра командующего? Дело ж понятное, можно сказать — неотложное. Ты только — понахальнее, место своё в армии нужно знать. В общем, ты ей: «Трали-вали, как вы спали?» — и, между прочим, так примерно: «К сожалению, времени в обрез, через часик, ждите, от Иванова звякну». Много болтают по связи, одним трёпом больше... Ну, и это не обязательно, мы в дальнейшем шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Что тебе ещё не ясно?

— Да как-то оно...

— Что «как-то»? Что?! — вскричал майор сердито. И Сиротину не показалось странным, что майор уже вправе и осерчать на него за непонятливость, даже отчитать гневно. — Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего! И твоей, между прочим, жизни. Или ты тоже смерти ищешь?!

И он всердцах, со свистом, хлестнул себя по сапогу невесть откуда взявшимся прутиком — звук как будто ничтожный, но заставивший Сиротина внутренне съжаться и ощутить холодок в низу живота, тот унылый мучительный холодок, что появляется при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво — звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся трясины, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя миновало. Этот дотошный, прилипчивый, всепроникающий майор Светлооков углядел то, что сидело в Сиротине и не давало жить, но он же углядел и большее: что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, гибельное — и для него самого, и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме в заметной своей чёрной кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего «Юнкерса», это не бравада была, не «пример личной храбрости», а то самое, что время от времени постигало иных и называлось — человек ищет смерти.

Вовсе не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался врукопашную один против пятерых, или, встав во весь рост, бросал одну за другой гранаты под движущийся на него танк, или, подбежав к пулемётной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол — и почти всегда погибал. Опытный солдат, он отметал все шансы уклониться, выждать, как-нибудь исхитриться. Было ли это в помешательстве, в ослепляющем запале, или так источил ему душу многодневный страх, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и как бы освобождение... А накануне — как припоминали потом, а может быть, просто выдумывали — бывал этот человек неразговорчив и

хмур, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятанным взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Сиротин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было, в конце концов, их дело, они за собой никого не звали, не тащили, а генерал и звал, и тащил. Чего ему, спрашивается, не сиделось в скорлупе бронетранспортёра, который был же рядом на пароме? И не подумалось ему, что так же картинно под те же пули подставляли себя и люди, обязанные находиться при нём неотлучно? Но вот нашёлся же один, кто всё понял, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечёт их своим вмешательством. Как это ему удастся, ну вот хотя бы как отведёт он в небе шальной снаряд, почему-то Сиротина не озадачивало, как-то само собою разумелось, хотелось лишь всячески облегчить задачу этому озабоченному всесильному майору, рассказать поподробнее о странностях генеральского поведения, чтобы учёл в каких-то своих расчётах.

Майор его слушал не перебивая, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой пруттик и передвинул на колени планшетку. Развернув её, стал разглядывать какой-то листок, упрятанный под жёлтым целлулоидом.

— Так, — сказал он, — на этом покамест закруглимся. Нака вот, распишись мне тут.

— Насчёт чего? — споткнулся разлетевшийся Сиротин.

— Насчёт неразглашения. Разговор у нас, как ты понимаешь, не для любых ушей.

— Так... зачем же? Я разглашать не собираюсь.

— Тем более, чего ж не расписаться? Давай не ломайся.

Сиротин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного витиеватым изящным почерком, наклонённым влево.

— Тезисы, — пояснил майор. — Это я схемку набросал, как у нас примерно пойдёт беседа. Видишь — сошлось, в общем и целом.

Сиротина удивило это, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору ничего такого, чего тот не знал заранее. И он расписался нетвёрдыми пальцами.

— И всего делов. — Майор, усмехаясь Сиротину, застегнул аккуратно планшетку, откинул её за спину и встал. — А ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал впереди, крепко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами балетного танцовщика, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Сиротина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за остывшим уже соблазнителем и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась как могла.

— А кстати, — майор вдруг обернулся, и Сиротин едва не налетел на него, — раз уже нас на эти темы клонит... Может, ты мне сон объяснишь? Умеешь сны отгадывать? Значит, прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке. В уши ей заливаю — про сирень там, про Пушкина-Лермонтова, а под юбкой шурую — вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. И всё, ты понимаешь, чинненько, вот-вот до дела дойдёт. Как вдруг — ты представляешь? — чувствую: мужик! Мать честная, с мужиком это я обжимался, чуть боекомплект не растратил. Что скажешь? В холодном поту просыпаюсь. И к чему бы это?

Сиротин, ошарашенный, распяливал лицо глупой и жаркой ухмылкой. Майор смотрел на него, вылупив простодушно голубые свои глаза и полуоткрыв рот. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечая:

— А я так думаю — пора эту войну кончать. Скорей по домам — своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже шаррики за кубики заходят.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вместе, он снова остановился.

— Ну, тебе направо, мне налево. Вот что я тебе скажу, Сиротин. Ты это, о чём мы условились, не рассматривай, как будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Так что я это тебе доверил как честь. Вижу, тебя коробит что-то. Понимаю. Но ничего, привыкнешь. Ты всё обдумай как следует, прикинь, план себе наметь, как будешь со мной работать. И приступай. Покеда!

Приступить Сиротину, однако ж, не выпало повода. Не пришлось никуда ездить с генералом — в последние дни тот

сиднем засел в своём убежище, которое выбрал сразу после переправы, отдельно от штаба армии, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами и из штаба, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его всё реже называли плацдармом. Сиротин же только дежурил у «виллиса», и постепенно то мутное, гадливое ощущение, что испытал он в леске, рассеивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нём у майора Светлоокова, может стать, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя по каким-то своим делам к генералу, придержался возле Сиротина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

— Ты что ж это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

— Какую девку?

— «Какую!» Зюечку. Охмурил, а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

— Так ведь... об чём говорить пока?

— Вот, ещё научи его, о чём с прекрасным полом беседуют. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся.

И прошёл, весело оглядываясь на оторопевшего Сиротина, заговорщицки подмигивая.

Два дня Сиротин собирался с силами и всё же позвонил, позвонил этой Зюечке, с которой до этого едва ли десятком слов перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого влажно делалось лицу, свой голос, то жидкий, то деревянный, свои косноязычные упрёки этой Зюечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых забывают, зазнались, а Зюечка-то и не зазналась ничуть, Зюечка его моментально узнала и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва сведя разговор к концу, он лишь потом сообразил, не без натуги, что она ведь ему и свидание назначила, предложила хоть сегодня улучшить минутку и заглянуть.

Он шёл к ней, робея и с чувством вины, как идут к начальству на выволочку. Зюечка и начала с выговора: завидя его из окна телефонного узла, из автобуса, к которому сходились с разных сторон провода, подвешенные на шестах и ветках, она выпорхнула к Сиротину и заговорила сердитым полужёпотом, хотя и с улыбающимся лицом:

— Ты что ж это делаешь, недотёпа! Сначала приходят, а уж потом звонят. А ты всё наоборот. Ни с того ни с сего: «Позовите мне Зюечку». Какая я тебе Зюечка, если нас вместе не видели? Вот тебе — первый прокол!

— Так мне ж так майор сказал, — стал оправдываться Сиротин.

— Тише ты, дурень. Так, да не так, — прошипела Зюечка, но тут же, однако, смягчилась. — Пройдёмся, чтоб нас увидели.

Они сперва покружились по опушке, в пятнистой тени маскировочных сетей, дабы Зюечкины подружки-телефонистки, поглядывавшие из автобуса, могли себе уяснить характер их отношений. Из другого автобуса, где трещали пишущие машинки и сочинялась армейская газета, тоже на них поглядывали. Сиротин не находил, что сказать, Зюечка тоже не говорила, а только обращала к нему снизу вверх улыбающееся лицо. Со стороны показалось бы, что они от неожиданности встречи и нахлынувшего чувства просто не находят слов.

— Ну что, так и будем по одному месту кружить? — сказала Зюечка. — Хоть бы увлёл меня куда-нибудь.

— Куда? — спросил Сиротин. И даже вспотел от своей глупости.

— Закудакал! С девушками не знаешь, как обращаться? Можешь меня взять за плечо. Господи, не за погон, а за плечо!

Рука Сиротина, и без того не чересчур чистая, сразу взмокла. По Зюечкиному фаянсовому личику промелькнула брезгливая гримаска.

— Ты хоть не тискай...

— Так чо, убрать? — спросил он так же глупо.

Она лишь сердито дёрнула плечиком. Несколько погодя, взяла его руку и обвила вокруг своей талии.

— Перемещать надо время от времени, а то, глядишь, приклеится. Только это надо делать украдкой, тогда похоже на правду. — Ещё погода, сбросила его руку совсем. — А вот теперь у нас другое настроение. Просто смотри себе под ноги задумчиво и молчи.

В этот ясный предосенний день их могли видеть в разных местах среди редколесья, где новый плацдарм успел утвердить свою бивачную жизнь, прихватив себе то пространство, что зовётся *вторым эшелон*ом. Видели из столовой Военного совета, расположившейся в огромной палатке с завёрнутыми полами, где стоял общий длинный стол и рядом, под своим навесом, дымила походная кухня на дутиках; повар, в белой куртке и колпаке, и обедавшие офицеры-штабисты провожали влюблённую пару усмешливыми взглядами. Зочка, мечтательно улыбаясь, склоняла голову к плечу Сиротина и покусывала травинку, порой щекотала его этой травинкой по щеке.

Зенитчики, полёживавшие на травке возле своих счетверённых пулемётов, белыми животами к солнышку, тоже их видели — они хоть и накрыли глаза пилотками, но головы поворачивали вслед, все трое одновременно.

Могли их видеть возле танковых мастерских, где чинились под маскировочным пятнистым тентом две пригнанные из боя «тридцатьчетвёрки»; ремонтники, в чёрных промасленных комбинезонах, обстукивали кувалдами разрывы брони, пригоняли заплаты, приваривали их шипучей дугой от передвижного генератора; один, повязав тряпкой рот и нос, счищал надетой на палку скоблилкой с почерневшей башни комки прикипевшего горелого мяса.

Видели около медсанбата, нескольких таких же огромных палаток, но далеко не вместивших всех пациентов; койки и носилки плотными рядами стояли снаружи, под шумящими кронами; санитарки, делая спешные перевязки и уколы, привычно-ласково уговаривали стонущих потерпеть немного, и, невольно впадая в их тон, такими же причитаниями, почти бабьими голосами, разговаривали санитары-мужчины. У входа в крайнюю палатку, прислонясь к трубчатой опоре и зажав под мышкой жёлтые резиновые перчатки, торопливо-жадно курила врачаха в клеёнчатом мясничком фартуке,

залипанном ржавыми потёками, порою оборачивалась внутрь палатки и хриплым осевшим голосом отдавала распоряжения, а порой по измученному её лицу пробегала улыбка — когда она смотрела, как двое легкораненых, уже выздоравливающих, помогая один другому, осваивали тяжёлый немецкий велосипед. Время от времени выносили в оцинкованных тазах и выплёскивали здесь же, в бомбовую воронку, красную жидкость с комьями размокшей ваты. Шагах в десяти, присев на корточки, в такой же таз доил корову седой рыжеусый солдат в белесой заплатанной гимнастёрке.

Кривая и костоломная работа передовой шла безостановочно — то и дело подъезжали наполненные своим стонущим, слабо шевелящимся грузом телеги, бортовые машины и фургоны. И запахи смерти и страдания смешивались в чистом воздухе с запахами кухни, еды — от этого делалось особенно тяжело, тошнотно. Поморщась, Зочка предложила:

— Ну всё, программу выполнили. Можем теперь удалиться куда-нибудь в тихое местечко. Мне надо кой-чего дополнительно тебе сказать.

Так они пришли к той поваленной сосне, и Зочка, усевшись на неё, сбросила наконец ей самой уже надоевшую улыбку и аккуратно обтянула юбкой круглые коленки. Он подумал, что она здесь не раз уже побывала с майором Светлооковым, перед которым, наверное, не так уж прикрывала скрещенье ног.

— А ты... давно с ним? — глухо, пересыхающим ртом, спросил Сиротин.

— Что — «с ним»? — Зочка поглядела на него поверх носа, отчего её лицо сделалось надменным. — Живу, что ли?

— Работаешь, — смущённо поправился Сиротин.

— Надо ясно выразаться. Ты что думаешь — тут всё вместе может быть? О, нет! Работать и спать — две вещи несовместимые.

— Это почему ж так? — Он искренне удивился.

— А потому. Фиктивных романов не бывает. Кто-нибудь обязательно по правде влюбится, и это всю конспирацию нарушит. У нас с ним характер работы такой, что этого — не нужно. С тобой — характер другой. Но мы же ни к чему

такому, в общем, не стремимся, правда? Меня твоя личная жизнь не касается, а тебя — моя.

— Тем более что у тебя другой есть. Покуда жена далека. В Барнауле, — съязвил Сиротин, сам немного уязвлённый.

Тот, о ком он говорил, был едва не всей армии известный майор Батлук из оперативного отдела штаба, живописный полнеющий красавец-брюнет, любитель поесть и попить, а также попеть украинские песни — голосом ненатуральным, зато чрезвычайно громким.

— Ах, этот... — сказала Зочка небрежно, однако матовобелые её щёки стали медленно розоветь. — Это была ошибка. То есть, в общем... это тоже была работа. Его одно время подозревали.

— В чём? — Сиротин опять подивился: в чём уж таком могли подозревать майора Батлука? Разве что в уклонении от алиментов трём семьям.

— В ротозействе. Показалось, что есть утечка оперативных данных. Но выяснилось, что это ошибка. Во всех смыслах ошибка, — добавила Зочка со значением и загадочно помолчала, и Сиротину показалось, что эти мгновения она всё же посвятила воспоминанию о своём певучем майоре. — Я смотрю, ты всё знаешь. Ну, в общем, я им действительно увлеклась. Мужчина что надо. Только самомнения много. На наш роман смотрел как на временный. Ну, может быть, так и надо смотреть. Потому что в Европе всё равно всё перемешается.

— Как это?

— А так, очень просто. Это здесь мы у вас считанные, боевые подруги. А там вы себе баб найдёте каких угодно и сколько угодно. И не только офицеры, а последние обозники. Даже кто из себя ничего не представляет, ноль без палочки, у него ведь оружие, кто ж устоит. В общем, как майор говорит, Светлооков: «Спешите жить, девочки, надвигается на вас девальвация». Ладно, закрутимся. На первом плане должно быть дело. А романы — побоку.

Ему тоже — наверное, впервые в жизни, — говоря с женщиной, молодой и не совсем ему безразличной, захотелось перевести разговор на другое.

— И что тебя потянуло... к этой работе? — спросил он угрюмо.

— А что? — Она улыбнулась мечтательно. — Скажешь, тут нечем увлечься? Хотя бы сознание, что можешь большие дела делать, столько пользы принести... Ты об этом не думал?

— Я думал, каждый, куда его поставили, пускай своё делает как следует. И того с головой хватит.

— Ну, а мне этого мало. Что я такое? Телефонистка. Приложение к коммутатору. Ты тоже приложение — к «виллису». А майор мне такие перспективы открыл, что голова кружится, честное слово. Ты даже не представляешь, сколько в наших рядах скрытых врагов, как люди в большинстве настроены. Кто неправильно, а кто и враждебно. Иногда и высокие люди, с такими званиями, и орденов полно. Пока что они воюют, исполняют свой долг, и мы сейчас не можем ими заниматься вплотную. Ещё не время. Пока что нужно о каждом узнать побольше. И с каждым работать — терпеливо, упорно и в то же время беспощадно.

— Он мне совсем другое говорил, — сказал Сиротин растерянно.

— Что же ты хочешь, чтоб тебя сразу во все тонкости посвятили? Я вот уже три месяца с ним... работаю, а он мне только краешек приоткрыл. Но и краешек — это, ого, как много! Просто у меня к этой работе сразу вкус проявился. Он говорит, что я даже, может быть, будущая Мата Хари. Такая была всемирная разведчица. Ну, а у тебя, значит, пока что вкуса не обнаружилось.

Явное и пугающее ощущение, что его уже втянули куда-то, откуда не так просто выбраться, отрезвило его.

— При чём тут «вкус»? — сказал он, нахмурясь. — Мы с ним совсем о другом говорили. Позаботиться, чтоб командующий себя риску не подвергал...

Зюечка поглядела на него искоса и насмешливо, но быстро её лицо сделалось серьёзным.

— Ну, кто ж спорит, чудак. Это такая задача, что по сравнению с ней всё остальное чепуха, суета сует. Но мы же для этого и встретились.

Он уловил в её голосе разочарование. Как будто она совсем другого ждала от этого свидания.

Ей стало откровенно скучно с ним. Разбросав руки по стволу и приподняв плечики, так что на них изогнулись погоны, и вытянув скрещённые ноги в хромовых сапожках и нитяных, телесного цвета чулках, она вертела головой, поглядывая вверх, провожала глазами летящие ключья паутины и напевала вполголоса:

Дует тёплый ветер, развезло дороги.
И на Южном фронте оттепель опять.
Тает снег в Ростове, тает в Таганроге.
Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать...

...Она не знала, как права была. Через много лет она будет вспоминать этот ясный день бабьего лета, когда что-то не удалось ей, на что она рассчитывала; она впервые вспомнит об этом дне, войдя с армией в освобождённую Прагу и фотографируясь в группе друзей-«смершевцев» на многолюдной, усыпанной цветами Вацлавской площади, сама уже в лейтенантских погонах, с орденом и медалями на груди; она изредка, но всё острее и грустнее будет его вспоминать потом лет восемь, исполняя работу, для которой так много у неё *проявилось вкуса*, что её даже выдвинут в столичный *аппарат*; затем, когда надобность в её ретивости несколько поубавится, и Зюечку выставят за порог аппарата, и ей придётся избегать встреч с таким множеством людей, что проще окажется уехать из Москвы, она будет вспоминать этот день всё чаще и чаще в чужом для неё городе, верша человеческие судьбы уже в ином качестве, — потому что вершить их составляет единственное её призвание и потому что надо же куда-то приткнуть дебелую партийную бабёнку, переспавшую со всеми инструкторами обкома, — поэтому в качестве расторопной хитрой судьи, ценимой за её талант писать приговоры, полные птичьего щебета и совершенно бесспорные ввиду отсутствия в них какой бы то ни было логики; она его будет вспоминать — опустившейся бабищей, с изолганным, пустоглазым, опитым лицом, с отёчными ногами, с задом, едва помещающимся в судейском кресле, — вот этот солнечный день на днепровском плацдарме и этого парня, первого ею погубленного, и однажды чётко сформулирует:

«Он был в меня влюблён!» — после чего ей всё больше будет казаться, что между ними было тогда что-то настоящее, идеальное, кристально чистое, единожды даримое человеку в жизни, что парень этот был и остался её единственной, хоть и неизречённой, любовью...

Зюечка поднялась на ноги и потянулась, едва не до хруста, всей стройной, тонкой фигуркой, выгнув стан, перетянутый офицерским ремнём с португеей.

— Мне пора, — сказала она, тряхнув прелестными пепельными локонами, свисавшими из-под пилотки спиральками. — Завтра опять встретимся, шифр надо согласовать. Сказал тебе майор?

— Говорил.

— Я кое-что там разработала, к завтраму закончу. У меня быстро освоишь. Да не боги горшки обжигают.

Он возвращался, сбитый с толку, с тревожной раздвоенностью в душе. Он думал о Зюечке с азартной самонадеянностью здорового парня — что наперекор всякой *работе* у них вполне может наметиться что-то другое, — и с опаской: как бы не сделать завтра какой-нибудь промах, не ступить уже ни на полшага в то зыбкое и пугающее, в чём она уже сильно погрязла и куда его тоже могло затянуть. Сохранить себя и её вытащить — вот с чем он решил прийти к ней и объять напрямую.

А назавтра — и случилось вот это, всё преломившее: «Запрягай, Сиротин. В Москву!» Однако ещё одна встреча была у них с майором Светлооковым — последним в армии, кого видел Сиротин и с кем говорил. Разогревая мотор, он разглядел неясное отражение в лобовом стекле и обернулся. Майор Светлооков стоял за его спиной, чуть поодаль, смотрел на него своим простодушным взглядом и легонько хлопывал себя прутиком по сапогу.

— Вот, отбываем, — сказал Сиротин, разведя руками, отчего-то виновато. — Выходит, служба наша кончается?

— Знаю, знаю, — ответил майор. — С Богом, как говорится... А служба наша не кончается. Она начинается, но никогда не кончается.

Перебирая всё это в памяти — сидя слева от генерала, во весь путь молчаливого и сумрачного, — Сиротин вдруг по-

нял, с упавшим сердцем, что ведь, наверное, те разговоры в леске, у поваленной сосны, имели какое-то отношение к внезапному этому отъезду. И может быть, предупреди он генерала — который ведь был ему не чужее этого майора Светлоокова и чёртовой этой Зочки! — признайся он тогда же, генерал предпринял бы какие-то свои меры, и отъезда, вовсе для него не радостного, могло и не быть. Но вместе со своим признанием Сиротин представил себе удивлённый и брезгливый взлёт генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: «И ты согласился? Шпионить за мной согласился!» Чем было бы ответить? «Для вашего же сохранения»? А на это он: «Скажи лучше — для своего. О своей шкуре заботился!» И после этого — ничего Сиротин бы не сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в забрызганное слякотью стекло, он постигал то, чего не успел постичь по молодости: так не бывает, чтоб кто бы то ни было, вызвавшись разгрузить часть нашей души, разделить бремя, другую её часть не нагрузил бы ещё тяжелей, не навалил бы ещё большее бремя. И ещё одно постигал водитель Сиротин, изъездивший тьму дорог: если пересеклись твои пути с интересами тайной службы, то, как бы ни вёл ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни поступился, а никогда доволен собой не останешься.

2

И эта же Ставка совсем иной представлялась генеральскому адъютанту, так же мало знавшему о станции метро «Кировская». Дорога шла под уклон, к мостку через невидимый ещё ручей, с обеих сторон бежали полосатые красно-белые столбики — крохотный уголок земли, по которому война прошла безобидно, — а за обочиной выстроились коридором бежевые стволы тополей, и, наверное, в этот миг воображению майора Донского открывался коридор Ставки, по которому он проходил с генералом, — вот, как сидел, позади и левее. Тот коридор был широк и сумрачен, с высокими сводами и весь выстлан ковровой дорожкой, в которой тонул тяжкий переступ генеральских сапог, только чуть

позвякивали шпоры. Ноги адъютанта, упирающиеся в железный вибрирующий пол «виллиса», явственно ощущали ворсистую мягкость той дорожки, трёхцветной, как флаг неведомой республики, и мысленно он проходил по ней дважды: сначала — как генерал, посередине, наклонив голову, чтобы уж поэтому не кланяться знакомым встречным, а лишь бровями обозначать приветствие, — именно так ничего не ронялось из достоинства и покоряющей красоты, которой, что ни говори, исполнено поверженное могущество. А затем проходил и сам, шаг в шаг с генералом, не отдаляясь, чтоб это не выглядело отмежеванием. Ведь коридор полон глаз, офицеры из отделов и управлений показываются в бесчисленных дверях или пробегают мимо, прижав локтем папку с докладом. Не взглянуть на майора Донского они, естественно, не могут, и как же сильно они ему завидуют — его усталой, но и чёткой походке, его полинялой гимнастёрке с неяркими полевыми погонами, его утомлённым, но и спокойным глазам, повидавшим всё то, о чём они только вычитывают из сводок. Больше, пожалуй, и не нужно поводов для зависти — никаких орденов, ни даже колодок, только гвардейский знак, — но это ведь и не личная награда. Как-никак его судьба зависит от них — штабных, тыловых, завидующих.

В приёмной, обшитой дубовыми панелями и светло-зелёным линкрустом, вставал им навстречу величественный дежурный — не ниже полковника, — принимал от них личное оружие и сопроводительные документы, после чего генерал усаживался ждать в кресло, отворотясь к окну, адъютант же, которому здесь уже незачем было находиться, понятными жестами показывал дежурному, что отлучается в курилку, а тот кивал в ответ, что вызовет при надобности.

В тот же час, когда за двойными дверьми того кабинета решалась судьба генерала, решалась и адъютантская — в просторной белокафельной курилке, где, надо полагать, стильные полумягкие стулья вдоль стен и никелированные, на подставках, пепельницы — и ещё одна общая, малахитовая, на огромном низком столе чёрного дерева, — и где совершенно не пахнет ни табачным дымом, ни близрасположенным сортиром, и ровно гудит приточно-вытяжная вентиляция, не мешающая двоим-троим говорить вполголоса и так,

что не обязательно слышно остальным. К этому часу следовало приготовить слова рассеянно-доброжелательные, улыбку сожалеющую и слегка ироничную, весь облик верного, исполнительного и знающего себе цену офицера для поручений, переживающего за ошибки начальства, но не так уж согласного за них отвечать своей карьерой. Не начинать разговора самому, ни о чём не спрашивать, но скромно войти, всем кивнуть глубоко и сесть отдельно или стать у окна — и не может быть, чтоб не заметили, не завязали бы разговора с милым застенчивым фронтовиком, выуживающим пожелтевшими заскорузлыми пальцами папироску из самодельного портсигара, на котором что-то интересное выколото сапожным шилом, а именно — скрещение штыка и пропеллера, перевитое гвардейской лентой, с надписью: «Давай закурим, товарищ, по одной» — и пониже: «Будем в Берлине, Андрюша!» С портсигара только начать и тут же его упрятать смущённо — баловство, плод окопного безделья. И чутким ухом ловить вопросы, из них-то и выуживая недостающие сведения насчёт генерала, намёками, полувопросами дать понять, что готов принять братскую руку помощи, кто протянет её — не пожалеет. Чего, в принципе, хотелось бы? Самостоятельности. Быть кем-то, а не при ком-то, осточертел этот горький хлеб. Конечно, остаться *здесь* он и не мечтает, хотя за ним кое-какой оперативный опыт, и если б взялись его поднатаскать... но нет, мечтать не приходится, скорее мечтал бы — *стать на бригаду*, не обижен был бы и полком. Чертовски трудна задача — и всего час на неё, на переустройство всей жизни. Когда вызовет дежурный и узнается наконец, что там решено с генералом, поздно будет что бы то ни было переигрывать, придётся покориться решению, принятому без тебя.

Длинным ногам адъютанта было тесно за спинкой водительского сиденья, приходилось колени скашивать к борту, и левое, упёршееся во влажный брезент, сильно холодило; казалось, слякоть просачивается сквозь галифе, и от этого, вместе с брезгливостью к себе, возникала обида на генерала — за то, что в своём грехе или в своей ошибке не принимал в расчёт участь его, майора Донского, всегда вынужденного примазываться обочь и позади генеральского

кресла. Жгла в который раз досада, что засиделся на этом месте, засиделся в майорах, когда надо *делать свою игру*. Вспомнилось, кстати, как обошёл его генерал наградою за форсирование Десны — и как ещё обидно обошёл! Он передал с Донским личные инструкции командиру батальона, оборонявшегося на плацдарме; инструкции эти нельзя было доверить рации и передать по проводу, который ещё не протянули, но и везти их самому тоже не было надобности, хватало сообщить их любому расторопному офицеру, переправлявшемуся на тот берег; Донской, однако ж, их никому не доверил, а переправился сам на плоту, под чувствительным обстрелом, и втолковывал их батальонному, вконец замороженному и полуоглохшему, покуда тот их связно не повторил. Потом, в тихой прохладной избе, он рассказывал генералу, с лёгким юмором и не выделяя себя, каких мучений стоило несчастному батальонному стоять перед ним в полный рост в неглубоком окопе, не моргая от близких разрывов и не втягивая голову в плечи. Генерал, сидевший в галифе со спущенными подтяжками и в нижней белой рубаше, слушал насупясь, отхлёбывая молоко из крынки и шевеля пальцами босых ног, потом вдруг сказал: «Значит, говоришь, он кланяется? — хотя Донской говорил как раз обратное. — А надо его к Герою представить, тогда кланяться не посмеет. Ты мне напомни завтра — в список его вставить». Получилось, рассказом о *своих* действиях Донской выхлопотал награду другому и ещё обязан был про это напоминать; ему же, главному действующему лицу в рассказе, отвели его всегдашнее второе место. Однако то был лишь первый укол: напоминать пришлось не однажды, а чуть не десять раз — генерал всё отмахивался: «Не до него сейчас, завтра напомнишь». В конце концов это надоело Донскому, и он сам позвонил в политотдел, чтоб не обошли там этого батальонного. Ему ответили, что список уже дней пять как ушёл в политуправление фронта и капитан Сафонов там есть, вставлен самим командующим. Донской только и нашёлся пролепетать: «Это я и хотел проверить», — и всего обиднее было теперь вспоминать этот лепет.

Из тёмного своего угла он с неприязнью разглядывал мощный затылок генерала, с краснотою от воротника, и по при-

вычке мысленно сажал на его место себя. Побывав в его естестве, адъютант несколько смягчился, поскольку приходил к выводу, для себя лестному, что сам он в подобной ситуации держался бы много лучше. Ну хоть не сидел бы всю дорогу нахохленной вороной, подумал бы о том, каким его запомнят спутники — на всю жизнь. Зачем-то же в старой армии гвардейские офицеры брились перед тем, как застрелиться, распивали перед дуэлью шампанское...

То было маленькой тайной адъютанта — ставить себя в положение генерала, пребывать в его сущности, как судно с погашенными огнями пребывает в чужих территориальных водах. Притом он генерала не копировал, не подражал его интонациям и жестам, это было бы примитивно, да и смешно: генерал был высок, но грузен, адъютант же отличался «типично английскими» долговязостью и сутулостью; лицо генерала было — откормленного кота, с фатовскими усиками ниточкой по всей губе, глаза — буркалы, не поймёшь даже, какого цвета, адъютант же гордился своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка», глазами. По «внешним данным» он себе ставил плюсы, а генералу минусы, хотя и признавал за ним «очаровательную кабанью грацию с известной долей импозантности», а в поведении отмечал «обаятельную солдатскую непосредственность, временами переходящую в хамство». Он старался понять, так ли уж сложно быть тем, кому предназначено повелевать, и почему бы и ему не принадлежать к этой категории. Возраст был ни при чём, в его летах — слегка за тридцать — командовали полками, а то и дивизиями; стало быть, находились в генеральской должности. Да оно и выходило в девяти случаях из десяти, что он, Донской, поступил бы выигрышной генерала, сказал бы умнее, тоньше, выглядел бы привлекательнее. Наверно, и в последней ситуации, кончившейся отъездом из армии и о которой Донской был, правда, недостаточно осведомлён, он, пожалуй, не сплоховал бы, не дал бы легко свалить себя, превратить, по сути, в ничто. То есть генерал оставался ещё при своих звёздах и со свитой, но, в сущности, что он был теперь? «Восемь пудов чистого негодования и обиды», не более того.

Теперь, пожалуй, можно было подбить итоги, что адъютант и делал, в мыслях обращаясь к генералу на «ты». Честно сказать, жаль мне с тобой расставаться: со скрипом, но приспособился я к тебе. Гонял ты меня по-божески, с другим побольше было бы гону... но ведь побольше и славы! Ты и сам звёзд не нахватал, и мне на грудь — одни «разновесы», а мог бы за ту же Десну и к золоту представить, всё-таки — плацдарм, там время по-другому течёт, за один час трое суток следует засчитывать. И при этом ещё глазом не моргни, в позвоночнике не согнишь, ведь тобою послан, тебя представлял. Сам теперь испытываешь, каково это, когда заслуг не отмечают. Это тебе наука — вперёд цени людей по достоинству. Но я не держу обиды. Я своего стиля не меняю. А стиль у меня — невозмутимость и скромность. Это надо ценить особо, эту незаметность *замечать* надо. И, между прочим, посторонний человек, майор Светлооков из «Смерша», тот заметил: «Хорошо держишься, Донской, скромно. Но надо, чтоб от твоей скромности пар валил — и прямо Фотию в глаза». Всё же он тонкий человек, Светлооков, и наблюдательности не лишён, хотя, разумеется, дубина. Пар — это как раз для него, а настоящий аристократизм — о, это совсем другое!..

Как ни мечталось майору Донскому *стать на бригаду*, однако же со своим адъютантством приходилось мириться и, стало быть, находить в нём свой особый смысл. Среди немногих книг, которые он таскал в чемодане по своим фронтовым путям, были неполные «Война и мир», и то обстоятельство, что адъютант командующего был чуть не главным героем эпопеи и его любила чуть не главная героиня, определённо вселяло гордость. Из своего века князь Андрей Николаевич Болконский протягивал свою маленькую руку Андрею Николаевичу Донскому и одобрительно похлопывал по плечу. Что князь Андрей был небольшого роста и слабый, это Донской заносил ему в минус, а себе в плюс, по «усталому скучающему виду» и по «тихому мерному шагу» их достижения уже примерно сравнялись, но вот своим чертовским умением «по привычке переходить на французский» князь его оставлял далеко позади, хотя Донской себя оправдывал, что воюет не с французами, а с немцами. Оно, прав-

да, и на немецкий «перейти по привычке» не выходило, но кое-что другое уже удавалось у князя при случае перенять: его манеру говорить с женщинами «с своим нежным и вместе высокомерным видом», а с мужчинами — «с спокойной властью в голосе» и вот в особенности «презрительно сощурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать)». Не сказать, чтобы со стилем всегда выходило гладко, всё-таки князь Андрей умел здорово его варьировать: с одними «морщить лицо в гримасу, выражающую досаду», других «ласково притягивать за рукав, чтобы тот не вставал»; у Донского это либо выходило невпопад, либо он отступал от стиля по забывчивости и в спешке, и весь эффект не то что пропадал, а был прямо противоположный. К примеру, хотелось ему перенять у князя его частенько упоминавшийся «неприятный смех», как бы это сгодилось при случае! Но, сколько он этот смех ни культивировал, а выходило либо наоборот, даже ещё приятнее, и собеседники умилялись и расплывались ответными улыбками, либо уж так фальшиво, что взглядывали с опаской — не рехнулся ли. И вообще, обнаруживалось, к удивлению Донского, скорее печальному, что и война эта, и люди на войне были не совсем те, что в 1812-ом.

Взять того же майора Светлоокова, который с некоторых пор занимал его мысли даже посильнее кутузовского адъютанта. Вот кто загадкой был для Донского — хотя бы странным своим воздействием на генерала, да и всей своей непостижимо стремительной карьерой. Донской его знал старшим лейтенантом, командиром батареи тяжёлых гаубиц — должность как бы с трагическим ореолом, почти во всей ствольной артиллерии, бьющей с закрытых позиций, офицеры гибнут чаще солдат, поскольку свои НП* выдвигают обычно вплотную к противнику, в особенно же героических эффектных случаях вызывают огонь на себя. Со Светлооковым такого красивого случая не произошло, но коррективщик он был грамотный, славился быстрым счётом и изобретательностью. Как-то, застрыв на передовой, Донской

* Наблюдательный пункт.

у него заночевал в крохотной землянке, вмещавшей лишь односпальные нары и столик; Светлооков был донельзя прост, мил, гостеприимен, выложил все свои припасы и выставил полфляжки водки-сырца, читал, приятно смущаясь, стихи собственного изготовления, говорил задушевно и романтично — о том, что никогда ещё не жил такой наполненной жизнью, как в этой собачьей конуре, в ста шагах от немецких позиций, что у него со своими батарейцами, помимо телефонной связи, связь братская и как бы сверхчувственная. При таких обстоятельствах горючего не хватило, и Светлооков сбегал к старшине стрелковой роты и вернулся ещё с полфляжкой, к некоторому даже удивлению Донского: на передовой, да посреди ночи, водки очень не всякому отольют; Светлооков, как видно, был здесь свой и любим. В том, как он вёл себя, не чувствовалось ни фанатерии бывалого окопника, ни заискивания перед чинами, Донской для него был не адъютант командующего, а желанный терпеливый слушатель, к тому же *разбирающийся в литературе*. Спать улеглись под утро, при этом хозяин уступил свои нары гостю почти насильно, а сам улёгся на полу, головой под столик, говоря, что так ему даже лучше: для головы — не лишняя защита.

Этой весной, когда стали организовываться в армиях отдели «Смерша», брали туда, кроме прежних особистов, и некоторых боевых офицеров с наградами. Желающих не много нашлось, большинство уклонилось; не уклонился, для всех неожиданно, старший лейтенант Светлооков. С братьями-батарейцами, заодно и с полной жизнью в собачьей конуре, он расстался без грусти и боли, одним объяснив, что «надо же и отдохнуть от грохота», другим — что «надо ж расти, тут, глядишь, через пару месяцев в капитаны выйдешь», а третьим — совсем коротко: «родина велит». Месяца через два-три, и правда, он возвысился в звании, даже, сверх ожидания, перескочив капитана; новые начальники провели его в старшие же лейтенанты госбезопасности, а это уже соответствовало армейскому майору. Впрочем, настоящее его звание было как-то расплывчато: в малопонятных конспиративных целях, а скорее из чистого шерлоххолмства, он появлялся в форме то сапёрного капитана,

то лейтенанта-лётчика, но чаще — всё же майора-артиллериста.

Оставшись таким же простым, шутливым, он претерпел, однако, быстрые изменения. Как-то невозможно стало Донскому поверить, что это он некогда бегал за водкой и спать укладывался на полу, а нары предоставлял гостю. Не пополнив, он как-то больше места занимал теперь в пространстве — ноги ли разбрасывал пошире, локти ли раздвигал, но с ним стало не разойтись в дверях — прежде легко расходились. Ещё и прутик его неизменный потребовал своего пространства, которое он со свистом иссекал замысловатыми траекториями. Со стихами тоже пошло успешно: уже так мило не смущаясь, он ими заваливал армейскую газетку «За счастье Родины», а как набралась солидная подборка, послал её на отзыв Илье Эренбургу и получил определённое «добро», вкупе с советами учиться побольше у классиков — Пушкина, Некрасова. После этого в газетке даже отдельную рубрику завели — «Поэтическая страничка Ник. Светлоокова», — и он говорил, ухмыляясь, не совсем в шутку:

— А придётся ещё Светлову другой псевдоним искать, а то путать начнут.

Перед праздничными днями и в особо ответственных случаях газетку приносили на подпись к генералу. Тогда же являлся без вызова автор поэтической рубрики и с нетерпением ждал, когда генеральский красно-синий карандаш дойдёт до его «Казачьей лирической» и отметит наиболее ударные строки:

Мы идём, любимая, в беспощадный бой,
Чтобы в дни победные встретиться с тобой.
С этой думкой радостной седлаю я коня.
Милая, хорошая, не забудь меня!

— По линии рифмы, — говорил генерал, — претензий не имею. Но я что-то не понял, товарищ Светлооков, вы в этот самый... беспощадный-то бой — пешим ходите или конным? Потом — вот они уже идут, а вы ещё только седлаете...

Майор Светлооков красиво зарумянивался, весь его крутой выпуклый лоб вспыхивал и озарялся до корней белесых волос.

— Неудачный эпитет, товарищ командующий? Можно заменить.

У него в стихах каждое слово было «эпитет», а генерал, по-видимому, не знал, что это значит. Он вздыхал и подписывал номер.

И всё же что-то странное, на взгляд Донского, установилось меж этими двумя. Наверное, генерал, хозяин армии, мог бы со Светлооковым выбрать и другой тон, кроме насмешливой, но безобидной пикировки, однако он неуловимо пассивал перед вчерашним старшим лейтенантом, а тот неуловимо, всё раздвигая локти, осваивал новые пространства. Никто не знал точно границ его власти; должность его была — «уполномоченный контрразведки при управлении армии», но что значило это — наблюдает ли он за людьми штаба? или выше того — контролирует штабную работу? Передвигался он вместе со штабом, вытребывая из его помещений для себя и своих сейфов отдельное и с надёжными замками. Стал являться и на Военный совет — задавал обыкновенно два-три вопроса: сначала по своей, артиллерийской, части, попозже — с накоплением оперативных познаний — и о том, как увязано взаимодействие с поддерживающей авиацией и не слишком ли при таком-то продвижении оголятся фланги. Тут же присутствовавший начальник армейского «Смерша», полковник, не пресекал его любопытства: может быть, гордился такой дотошностью своего подчинённого, а могло быть, что подчинённый обрёл над своим начальником некую тайную власть. Светлоокову терпеливо отвечали, не глядя в его сторону, что с авиацией увязано так-то и о флангах тоже побеспокоились, никогда не отвечал — сам командующий, но неизменно заканчивал совещание шуткой: «У товарища Светлоокова нет вопросов? Тогда — всем ясно». Но — как ни смешно было предположить — не от него ли сбежал генерал в разбитый вокзальчик на Спасо-Песковцах, чтоб вызывать к себе нужных ему людей, а у майора Светлоокова не было бы частой причины туда являться?

С ощущением, будто задел едва зажившую болячку, Донской вспоминал давнишний, ранним летом, бой под Обоянью, когда впервые встретился с другим Светлооковым, не тем, с каким пили водку и говорили о стихах. Сложилась

обычная ситуация, когда неясно, кто кого окружает. «Съезди-ка выясни, — велел генерал, — кто там кого за причинное место ухватил», — выяснилось, что ухватили наши, но немцы этого не поняли и пытались зайти в тыл нашему вклинившемуся полку, отчего только углубились безнадежнее в клещи охвата. Связь восстановилась ещё до прибытия Донского, и генералу уже обо всём доложили, Донского же кто-то позвал поглядеть на пленных...

Не было нужды адъютанту командующего идти в ту заповедную страшную зону, на неубранное поле, с ещё краснеющими не впитавшимися лужицами, где бродили пожилые дядьки из трофейно-похоронной команды, легонько сапогами пиная лежащих. Всё же он туда направился — повинуюсь ли общему возбуждению от успеха или рассчитывая увидеть важных чинов, интересных для генерала, — но не оказалось даже фельдфебеля, одни солдаты. Они стояли, тесно сгрудясь, человек восемь-десять, в окружении разгорячённых, но отчего-то примолкших победителей, не говоря им привычно-заученного «Гитлер капут», не говоря и между собою ни слова, и понуро смотрели себе под ноги, изредка поднимая злобно-затравленный взгляд исподлобья. Двоих мучили пулевые раны, однако они не стонали, а лишь, закрыв глаза, втягивали воздух сквозь стиснутые зубы. Никто не спешил им помочь, увести. При виде Донского пленные слегка оживились, взгляды сошлись на нём, на его погонах. Составив загодя подходящую немецкую фразу, он вдруг отчего-то понял, догадался, что она не понадобится, *эти немцы* его не поймут. Другие были у них лица, другие глаза, хоть на немецкий манер засучены рукава и расстёгнуты на груди мундиры. Тот, кто позвал его, сыграл с ним невинную, но злую шутку, уготовил непредвиденное испытание. Он чувствовал тягучую, с каждой секундой всё более ослабляющую растерянность, не знал, что приказать, о чём спросить этих пленных, которые как будто ждали от него вопроса — со страхом, но и с какой-то надеждой. Машинальное движение военного — оправить под ремнём гимнастёрку — он продолжил другим движением, безотчётным и которого не ждал от себя: задвинуть пистолет подальше за спину, — и увидел, как застыли напряжённо их лица в начале

этого жеста и расслабились — в конце. И от этого ещё больше он растерялся и не знал, что делать.

Тогда-то и подоспел на помощь к нему Светлооков — невеста откуда взявшийся, подходивший не торопясь, с улыбкой, похлопывая себя прутиком по сапогу.

— Что ж оружие побросали, земляки? — спросил он, улыбаясь ободряюще, простецки, но с лёгким упрёком. — С оружием надо было сдаваться, это бы вам зачлось. А так — и не поймёшь: может, у вас его из рук выбили. Тогда — не считается, что сдались добровольно...

Лёгкое движение, неясный говор прошли среди пленных и своих. Светлооков был капитан, но, должно быть, внушила большее впечатление его гимнастёрка американского жёлто-зелёного габардина, почему-то в нём признали старшего, все взгляды обратились к нему, к его весёлой улыбке.

— А может, вы его и в руках не держали, оружие? Обозниками служили? Или же переводчиками? — Никто соврать не решился или не успел понять, спасительней ли такой вариант, и сам же Светлооков его отверг: — Дурацкие вопросы задаю. Таких ребят в обозе держать, когда они столько своих перестрелять могут, — не-ет, это не дело!.. Так что, земляки, молчать будем? Такая встреча радостная — и молчим. Самое время поговорить... Смоленские среди вас есть?

Двое пленных подались к нему, вытолкнутые безумием надежды.

— Гляди, понимают. — Светлооков, как сообщнику, подмигнул Донскому. — А среди вас, герои? Нешто смоленских не найдётся?

Внимательно, испытующе он оглядывал лица своих, изгвазданные, в грязи, в копоты и в поту, с ярко блестящими белками глаз, в которых ещё доцветали злоба и азарт боя. Смоленские нашлись, и Светлооков их подбодряюще похлопал по плечам. Нашлись, с той и другой стороны, и калужские. Также и воронежские. Всё больше людей включалось в захватывающую и зловещую игру, и Донской не знал, как пресечь её, хоть и догадывался уже, к чему она приведёт.

— Что ж, поговорите, земляки с земляками, — сказал Светлооков и прутиком показал куда-то мимо Донского. — Во-он в тех кустиках...

Донской, чувствуя на своей щеке горящие взгляды пленных, повернул всё лицо к Светлоокову. И, понимая, как он сейчас бессилён, как нелеп и жалок, жгуче себя презирая, а всё же переступая, переступая онемевающими подошвами, повернулся к нему весь, так что пленные оказались за спиной.

— Куда торопишься? — спросил он хрипло. Во рту появились неодолимая сухость и какой-то медный вкус. — Их допросить нужно... назначить конвой...

— Так я же и назначил, — удивился Светлооков. — Ты разве не слышал?

— Я не это имел в виду...

— Ты только в виду имел, а я уже распорядился. А куда тороплюсь? Тороплюсь, покуда ребятки горячие, с боя не остыли.

Всё же у Донского ещё было время, коротких несколько секунд, и будь это немцы, он бы знал и что приказать, и как этого Светлоокова всё-таки поставить на место, а сейчас не знал и терял эти секунды. Кто-то там, за его спиной, рванулся бежать, послышались топот сапог и хрипение погони, борьбы, удары по телу и треск кустов, бессвязная мольба, замирающий стон, короткое безмолвие — и затем звенящий, убойный грохот винтовок. Ему казалось, вспышки тех выстрелов отражаются у него на лице — так внимательно, с любопытством, смотрел на него Светлооков.

— Там двое раненых, — сказал Донской с запоздалым слабым упреком.

Светлооков, не переставая глядеть в глаза ему, кивнул согласно.

— Вылечат их. Уже вылечили.

Всё так же не оборачиваясь взглянуть, Донской лишь вытянулся во весь свой рост и, оказавшись выше Светлоокова на полголовы, слабым подёргиванием плеч выказал ему всё презрение, какое чувствовал к себе. И медленно побрёл прочь.

Весь день была давящая тяжесть на душе, суетливо подрагивали руки, не хотелось есть, не хотелось даже курить. И не хватало духу пожаловаться генералу на Светлоокова, который преступно превысил свою власть, да ещё так

демонстративно, в присутствии адъютанта командующего. За подобную жалобу однажды уже досталось — самому Донскому. «Что ты мне жалуешься? — мгновенно рассвирепев, закричал генерал. — У тебя на поясе пистолет болтается или хрен запасной? Вооружённый мужчина жалуется! Чтоб я этого от тебя не слышал». К вечеру, однако, вернулась способность докладывать сухо, деловито и как бы между прочим, не высказывая личного отношения. То, как воспринял его доклад генерал, несказанно удивило Донского. Он слушал насупясь, но не перебивая, лишь несколько раз в продолжение рассказа взглянул на Донского почти умоляюще, как бы прося его не продолжать. Затем встал и заходил по комнате, странно ссутулясь и заложив руки назад, как полагается арестованному ходить под конвоем.

— Видишь ли, в чём дело, Донской, — сказал он после долгого молчания. — Они, как бы сказать... не пленные. Конечно, нехорошо это — в смысле воспитательном, для солдат. Но для них, пожалуй, лучше так. Чем ещё суток десять трибунала ждать, да потом вся эта церемония... По мне — так лучше сразу...

Донской, обретя уверенность, осмелев возражать, заговорил пространно, красиво и с задушевным пафосом — о том, что эти бессудные расправы, о которых он слышал доселе из чужих рассказов, а вот сегодня оказался свидетелем, расправы эти не только порочны в смысле воспитательном, но прежде всего не достигают цели, даже производят обратное действие. Предателей, перебежчиков нужно судить открыто, показательным судом, чтобы все видели, в чём их вина перед родиной и как глубоко падение. Но солдат-фронтовиков втягивать в исполнение, чтобы они участвовали в казнях — ведь это не укрепляет, а разрушает психику. Улягутся в их солдатской памяти и штыковые бои, с распоротыми животами, с проломленными черепами, простится себе и тот раненый, которого ты в смерть добивал сапёрной лопаткой или каской, — то было в бою, не ты его, так он тебя, — но никогда не простится, не забудется бессильная жертва, схваченная за локти, чтобы ты мог спокойно взвести затвор, а прежде разбить ему губы в кровь или, сняв ремень, свободно замахиваясь, пряжкой крест-накрест располосовать лицо. Это

не покинет тебя ни в снах, ни во хмелю, и до конца жизни будет маячить перед глазами. Озверевший садист может всего этого не предвидеть, или ему наплевать на последствия, но те, кому власть дана...

— Не дана, — глухо откликнулся генерал. И Донскому даже показалось, что он ослышался. Генерал уже не ходил по комнате, а смотрел не отрываясь в окно. — И ты вот что, братец... мне обо всём этом докладывать необязательно.

Донской умолк и более никогда об этом не докладывал. И с этого дня явственно зазвучали в нём слова, обращённые к генералу: «И ты такой же», — что-то не слишком определённое, в чём были и понимание, и сочувствие, и лёгкая насмешка, и оправдание себя самого. Увы, есть такого рода страх, которому все подвержены без исключения, и даже — вооружённые мужчины.

А страх такого рода, посетивший его самого, вовсе не труса, всё не выветривался. В столовой Военного совета он не мог заставить себя сесть рядом со Светлооковым, лишь украдкой, с неприятным чувством, поглядывал издали на его руки, точно бы это они держали тогда оружие, когда говорилось с ясной улыбкой: «Смоленские среди вас есть?..»

Но вот, несколько дней назад, Светлооков неожиданно оказался против него за столом и сказал вполголоса, глядя прямо в глаза:

— Охота мне, майор, с тобой посплетничать.

— Здесь? — почему-то спросил Донской, едва не поперхнувшись.

— Можно и здесь. Было время, мы стихи читали и водку до утра кушали. Но лучше в другом месте.

Станным показалось, что для «сплетен» он назначил свидание в леске, неподалёку от штаба, хотя мог бы, кажется, к себе пригласить, коли так дороги были ему воспоминания. И ещё неприятно покорибила эта его уверенность, что Донской придёт, куда ему укажут. В довершение всего он ещё выговорил Донскому, когда тот с намеренным опозданием явился к поваленной сосне:

— Опаздываешь, адъютант. Это не годится. От бабы, что ли, никак оторваться не мог?

Для таких случаев князь-Андреева наука предусматривала, как отбросить это прилипчивое «ты», переменить навязываемый тон, — для этого следовало соорудить на лице выражение, которое Донской мог бы сформулировать наизусть: «Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, коли вы не будете иметь достаточно уважения к самому себе, но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны».

— Простите, — сказал Донской с таким именно выражением, ещё усиленным холодностью тона, — как вас по имени-отчеству? Не имел до сих пор чести...

— Николай Васильич. Как Гоголя, — ответил Светлооков готовно, не оценив этой холодности. — Садись, потолкуем.

Донской, однако, остался на ногах и то прохаживался, то останавливался против Светлоокова, не сняв фуражки, как сделал он, и не расстегнув воротника.

— Ты чего-нибудь понимаешь, Донской, что происходит?

— Что вы имеете в виду? — Донской всё же не оставил усилий вернуться к допустимому «вы». — И где именно «происходит», как вы изволили выразиться?

— Ты чо это ершишься? — спросил Светлооков весело. — Вот, будем мерихлюндии разводить. «Не имею чести», «изволите». Кстати, можешь меня на «ты», мы вроде одногодки и в чинах одних. — Он вынул из кармана перочинный ножик и огляделся по сторонам. — Нагни-ка мне веточку.

— Какую веточку?

— Какая тебе понравится.

Донской, подёрнув плечами, пригнул ему вершинку молодого вяза. Светлооков ловко отхватил её и стал выделывать прутик, срезая боковые побеги.

— Я понять не могу, какой у него следующий шаг, у Фотия. Ну, повезло ему с плацдармом, это все признают, а дальше что? Есть у него в голове план или же торичеллиева пустота?

— Я попросил бы!.. — сказал Донской, вытягиваясь. — Я попросил бы вас о командующем...

— Брось, — перебил Светлооков. — Тут тебя не слышат. Намерен он этот Мырятин брать или ему сразу Предславль подавай?

— Всё возможно. Командующий наш — человек масштабный.

— Чепуха, — отрезал Светлооков. — Кто о Предславле не мечтает, не кланчит у Ватутина *, чтоб позволили взять? И масштабные, и не масштабные — все хотят и все могут. А только подавиться можно, хапнешь горяченького — а не проглотишь. Силёнок-то у Фотия и на Мырятин не хватает, так ведь получается объективно? Считаю, три недели армия топчется возле вшивого городишки.

— Простите, — Донской опять подёрнул плечами, — не предполагал, что и вопросы оперативные вас так живо интересуют.

— Меня всё интересует. Потому тебя и позвал.

— Но вам, насколько я знаю, по роду деятельности доступны оперативные документы, даже совершенно секретные.

— Это когда они есть, документы. А когда их нету, ещё не составлены? Как тогда?

— Что же может знать адъютант? Спросили бы у начальника штаба.

— Спрашивал. Начштаба он игнорирует, Фотий. Или же они в сговоре. А только ни хрена от начштаба путём не добьёшься. Может и так быть, что Фотий его заранее не посвящает. А кого он вообще посвящает? Ты ж помнишь, чего он тогда, накануне переправы, с танками учудил. Переполох устроил во фронтовом масштабе: сутки никто не знал — ни в армии, ни в штабе фронта, — куда танковая колонна делась, шестьдесят четыре машины! Один он знал, да распорядиться не мог. Во даёт! Собственные танки у себя, можно сказать, украл, только бы другим не достались. — Он поглядел искоса, снизу вверх, на Донского и быстро спросил: — А ты тогда — знал про эти танки, куда он их погнал?

— Ну, предположим...

— Знал всё-таки?

* Генерал армии Н. Ф. Ватутин — в описываемое время командующий 1-м Украинским фронтом, генерал-лейтенант Н. С. Хрущёв — Первый член Военного совета этого фронта. Номера частей, соединений, объединений (38-я армия и т. п.) — конечно же, условность.

— Простите, — сказал Донской, не отвечая на вопрос, — а что, у нас, в Тридцать восьмой армии, секретность подготовки отменена?

— Секреты секретами, а если б что случилось? В одном «виллисе» ездите, всех поубивало — с кого тогда за танки спросить?

— Насколько я в курсе, вопрос был заранее согласован с командованием фронта.

— А насколько я в курсе, Ватутин перед представителем Ставки оплошал. На вопрос, где танки Тридцать восьмой армии, ответить не мог. То же и Хрущёв — ни бэ ни мэ.

— Что ж, бывают у командующего и странности.

— Дурь наблюдается, одним словом?

— Ну, если вам угодно применить такой термин...

— Дурь — это хорошо, — перебил Светлооков. Он говорил: «храшо-о». — Дурь, она способствует украшению генеральского звания. — Донской подумал, что этот афоризм, пожалуй, следует прихватить в свою коллекцию метких фраз. — Только что у него ещё имеется, кроме дури?

— Знаете, не могу поддерживать в таком тоне...

— Брось! — сказал Светлооков, хлестнув себя прутиком по сапогу, отчего Донской слегка вздрогнул и выпрямился. — Ещё раз говорю — брось. Ты же не попка, не чурка с глазами. И знаешь прекрасно, что и командармы вашим умом живут — штабистов, оперативников, адъютантов. Да, и адъютантов. Нет-нет, да подскажите ему чего-нибудь путное. Да ещё внушите, что он это сам придумал, иначе же он из ваших рук не возьмёт.

Майор Донской, по правде, не припомнил бы случая, когда бы он что-то подсказал генералу, но услышать это было лестно. И всё же если не здравый смысл и его положение офицера для поручений, то по крайней мере хороший стиль требовал возразить.

— И вы не делаете исключения для генерала Кобрисова?

Светлооков посмотрел на него с простодушным удивлением в голубых глазах.

— А почему это для него исключение? Имеются и погромче командармы. Ты присядь-ка, — он похлопал ладонью по стволу, на котором сидел, и Донской, к удивлению своему,

подчинился. — Что у тебя за преклонение такое? Да в твоём возрасте, при твоих данных, другие бригадами командуют. А то и дивизиями.

— Умишком, значит, не вышел.

— Умишка тут много не требуется. А просто мямля ты. И тем, кто тебе мог бы помочь, сам руку не протянешь. Ты хорошо держишься, майор, скромно. Но нужно, чтоб от твоей скромности пар валил. И прямо Фотию в глаза. Тогда он тебя оценит. А может, и нет... Я-то вот — безусловно тебя оценил.

Сердце Донского ощутило дрогнуло. Было приятно узнать, что за ним наблюдали пристально и так неназойливо, что он этого не замечал, и, однако ж, не замечая, совершенно естественно, произвёл выгодное впечатление. Он понекому оттаивал и проникался расположением к той силе, которую представлял новый Светлооков, к неожиданной её пронизательности, и вместе с тем испытывал некую почти-тельную робость перед ним самим, — которую, впрочем, все снобы испытывают перед людьми тайной службы.

— Вы сказали — «руку протянуть». Что это значит? Мы как будто и так делаем общее дело...

Светлооков опять хлестнул по сапогу — точно с досады.

— Всё ты из себя непонятливого строишь. Ты же умный мужик.

— Предпочёл бы всё-таки, чтоб было чётко сказано...

— Скажу. — Светлооков закрыл глаза, как бы в раздумье, и, широко открыв их, весело огляделся по сторонам. — Природа хороша тут, верно? Нам бы любоваться — может, последняя в жизни. А мы тут чёрт-те чем занимаемся, интригами... А ты вправду не знаешь, что он там решил насчёт Мырятина? Брать его или обойти?

— Не знаю.

— Ни слова при тебе не говорил?

— Не говорил.

— Верю. И вообще знай — *мы тебе верим*. Ну, если скажет что про Мырятин — я про это должен знать. Сразу. Буквально через час.

Донской выпрямил стан и сделал строгое лицо. Ему показалось, что он уступает слишком рано — и оставленная позиция уже почти невозвратима.

— Вы понимаете, что вы мне предлагаете?

— Я-то понимаю, — сказал Светлооков, — ты пойми. Мы Кобрисова терпим, всё же у него заслуги имеются. Может, я тут кой-чего зря про него, надо быть объективным. Он и заместителем командующего фронтом был, и он же армию формировал, это нельзя не учитывать. Но боимся, дров он наломает. Надо за ним послезживать неусыпно. Понимаешь? Предупреждать нежелательные решения. Ватутин не всегда знает, что у Фотия на уме, куда его завтра занесёт. Он одно говорит, а делает другое. Он этим славится. Тут одна тонкость имеется... не знаю, известно тебе или нет. Он же из этих... ну, репрессированных.

Донской, со строгим лицом, важно кивнул.

— Знаю, — сказал он. Хотя услышал впервые. Однако он и не врал, в нём явственно прозвучало: «Ах, вот оно что!», словно бы подтвердились его догадки и всё наконец стало на свои места. — Но ему же как будто простили?

— А чего там прощать было? Ни за что попал. Да я не в том смысле, что ему не доверяют. Кто б его тогда на армию поставил? Но он-то себя обиженным считает, ему реванш нужен, реванш! Беда с этими репрессированными. Уже сказали ему: «Ошиблись, ступай домой», — нет, он вокруг себя сто раз перевернётся, чтоб всем доказать, кто он и что. Почему он на Предславль и нацелился: Мырятин — это шестёрка, это его не устроит, а там — туз козырный, как минимум две звезды — и на погон, и на грудь. А вдуматься — это же карьеризм чистый, надо же прежде всего о людях думать, о потерях. Одной дури и желания непомерного мало, ещё талант нужен. И учёт сил. Силами одной армии Предславль же не взять. Значит, надо координироваться с соседями. А он всё хочет единолично. Не получится это — одному банк сорвать!.. Моя бы власть, я б таким командования не доверял. С кем один раз ошиблись — тот для нас уже пропащий. Но — где-то повыше нас думали. И вот приходится нам возиться. Поэтому и прошу тебя — помоги нам. Давай уж вместе как-нибудь...

— Как я понимаю, — сказал Донской, сочтя уместным сделать шагок к оставленной позиции, — одних ваших сил недостаточно?

Светлооков покосился на него с насмешливым одобрением.

— Ну, не управимся без тебя. Это хочешь услышать? Молодец, майор, научился цену себе набивать.

Донской обошёл эту похвалу, не подобрав её.

— Могу я знать, кто такие «мы»? Это ваш «Смерш» или что-то другое?

— Одного «Смерша» мало тебе?

— Я только уточняю.

— А стоит ли уточнять? Чем дальше в лес — дорожка назад труднее.

Легко читаемую угрозу Донской пропустил; предприятие уже захватывало его, и голова кружилась не от страха — от возникающих перспектив.

— Бутылка вскрыта, — сказал он игриво, — надо пить вино.

— Это пожалста, — сказал Светлооков добродушно. — Хозяин — барин. «Мы» кто, хотел знать? Штаб фронта, ежели угодно. Некоторые представители Ставки. Такие, брат, инстанции, что вся твоя биография может круто перемениться. — И тут же быстро нахмурился. — Теперь понимаешь, что разговор у нас — смертельно секретный? Вот про этот лесок ни одна собака знать не должна. Ни шофёр Фотия, ни ординарец чтоб не почуяли. У них, ты это учти, носы по ветру стоят.

Он передвинул на колени планшетку, и у Донского заныло под ложечкой — от предчувствия, что ему сейчас будет предложено дать подписку и вряд ли он сумеет выкрутиться элегантно, не осердив Светлоокова отказом.

Донской кашлянул и сказал пересыхающим ртом:

— Понимаю, всё сказанное оглашению не подлежит. Меня об этом даже предупреждать не надо.

Светлооков, разворачивая планшетку, усмехнулся едва заметно.

— Знаю, тебя не надо. Всё торопишься, майор... Я тебе чистую карту приготовил, держи у себя в сумке. В случае чего — съешь. Здесь будешь отмечать все его задумки. Именно все. Он стрелу нарисует, после зачеркнёт — ты тоже нарисуй и зачеркни. И таким же цветом. Карандаши есть?

— Попрошу в штабе.

— Вот это не надо. Эх ты, стратег... На, держи. Всё понял? Ходить ко мне, звонить — не надо. В столовой не садись рядом. Я сам назначу, где встретиться. Мог бы я тебе дать явочного человека — для экстренных сообщений. Но мы этой детективщины избежим, будешь только со мной дело иметь. Потому что тут всё важно, мелочей в нашем деле нет.

Пряча карту — торопливыми и неловкими движениями, — Донской неуклюже пошутил:

— Теперь буду знать, как становятся агентами.

Светлооков, внимательно и хмуро наблюдавший, как он застёгивает сумку, сказал сухо:

— Успокойся, ты ещё не агент. До этого много воды утечёт.

— И только тогда, — спросил Донской в том же своём тоне, — последует награда?

Светлооков резко поднялся и зашвырнул свой прутик в кусты.

— Пошли. Вот что я скажу тебе, Донской. Ничего конкретно я тебе не обещал. Мы этого не делаем. Это не значит, что мы заслуг не отмечаем. Но вот чего мы не любим — это когда с нами торгуются.

Было похоже, как если бы смазали небрежно по лицу — вялой, потной ладонью. Донской даже ощутил очертания этой ладони, загоревшиеся неудержимым румянцем.

Светлооков, шедший впереди, вдруг остановился и, взяв его за портупею, приблизил к нему враз переменившееся лицо с простодушно вылупленными глазами.

— Слушай, Донской. Ты у нас образованный, вон книжки в сумке таскаешь. Может быть, умеешь странные явления объяснять. Вот сны, например. Погоди плечами вертеть, выслушай. Значит, такой сюжет — всю ночь я с бабой барахтаюсь. Не то, что она мне не уступает, а — вроде увертюры, удовольствие оттягивает. Потом же, ты ж знаешь, только лучше от этого. И значит, только-только я позицией овладеваю, ещё не овладел, но к первой линии определённо пробился, все заграждения преодолел — и надо же! Оказыва-ется, не баба это, а мужик! Что за плешь?

Молча, отупело Донской смотрел в эти простодушные изумлённые глаза, где в самой глубине, в расширившихся зрачках, таилось что-то больное, зерино-тоскливое.

— Не объяснишь мне? — спросил Светлооков печально. — К чему бы это, а?

Донской, выпрямившись, приняв надменный вид, ответил брезгливо:

— Н-не знаю...

— Жалко! — Светлооков ещё подержался за его португую, поцокал языком и вздохнул. — Ну, тогда разойдёмся. Счастливо! И кто ж мне это всё объяснит?

Говорилось ли это всерьёз или в шутку, но ощущение потной ладони на щеке не проходило, только ещё усилилось. «Чёрт бы тебя побрал, с дурацкими откровениями!» — рассердился Донской, но тайный голос ему говорил, что откровения были вовсе не дурацкими, они имели какую-то цель, уже хотя бы ту, чтобы смутить его, дать почувствовать, что он опутан — мерзкой, тягостной, нерасторжимой связью.

Ещё об одном вспоминалось теперь с неясной тревогой — о том, как впервые после той встречи в леске он вошёл к генералу, в комнату вокзальчика, лучше других сохранившуюся, где на двери уцелела табличка под стеклом: «Комната матери и ребёнка», где генерал спал и ел, откуда он командовал армией. Он сидел за столом, над картой, в чёрной кожанке, накинутой на белую рубашку, и, глядя на него со спины, на его напряженный раздумьем затылок, Донской вдруг отчётливо почувствовал странное своё превосходство над ним — превосходство ли тайного знания? скрытой ли силы, осознавшей себя? — и, кажется, впервые догадался, отчего так много значит для генерала какой-то вчерашний старлей. Да ведь он *имел доступ*, он знакомился с *делом*, он проник в подноготную, — может быть, прочёл, какие применялись на допросах *меры воздействия* к подследственному и *как тот себя вёл*, — вот в чём была его власть! Эту власть обретает даже читающий чужие письма к любовнице — как бы это ни осуждали моралисты. И то, что считалось зазорным когда-то, за что не подавали руки, отказывали от дома, били по морде подсвечниками, сделалось теперь как бы графским титулом, княжеским достоянием. Ставило майора вровень с генералом, а чем-то и повыше...

Генерала тяготил его взгляд, это стало видно по тому, как он плечами привздёрнул кожанку, чтобы прикрыть затылок,

и как резко прочертил изогнутую стрелу — так резко, что сломал карандашный грифель.

— Ах, ты... — Он длинно выругался и, полуоборотясь к Донскому, показал ему сломанный кончик: — Ножичка нет — очинить?

Не думая, Донской вытащил из бокового кармашка сумки отточенный красно-синий карандаш — и помертвел, встретив удивлённый, поверх очков, взгляд генерала.

— Уже успел? Ловкий ты, брат. Умелец!

То была мелочь, о которой генерал, наверное, тут же забыл, снова углубясь в карту, но которая обозначила для Донского все тернии извилистой тропы, выбранной им чересчур поспешно.

Впрочем, он по ней прошёл не далее первого шага. Оказалось, не так просто исполнить просимое Светлооковым. Не вычертив плана целиком, генерал свою карту от себя не отпускал и никому смотреть на неё не позволял. И Донскому пришлось испытать чувство унижительное, когда Светлооков, против их договорённости, вдруг сам подошёл к нему в столовой — только, впрочем, спросить вполголоса:

— Насчёт Мырятина есть решение?

— Нет, — быстро ответил Донской, косясь по сторонам.

Но людей из штаба не было в столовой. Два приезжих корреспондента, в полковничьих погонах, «отоваривали» свои аттестаты, шумно и придирчиво выясняя у начальника столовой, полагается ли им водка и по какой норме.

— Так я и думал. — Светлооков кивнул удовлетворённо и даже с каким-то торжеством. — А чем он вообще занимается?

— Читает Вольтера.

— Что-о? — У Светлоокова от мгновенного раздражения побелели глаза.

— Я не шучу — Вольтера.

— Ну-ну. Это хорошо. Это вот им скажи, — он кивнул на корреспондентов, — непременно вставят в свою писанину. А мне бы — чего посущественней. Если будет. Хотя — навряд ли...

Следовало ли так понять, что силы, нуждавшиеся в нём, Донском, уже обошлись без него? Или мечтательные раз-

мышления о ковровых дорожках Ставки всё-таки имели какое-то основание?

...А «виллис», яростно подвывая, мчался под серым промозглым небом, и неудержимо адъютантские размышления съезжали с ковровых дорожек к предметам иного свойства, о которых так сладостно думается в сырости и на ветру, — к стакану водки и тарелке дымящихся щей где-нибудь в тыловой комендатуре, к тёплой постели с чистыми простынями, а перед тем, чёрт побери, к жаркому блаженству бани. Или же он принимался думать о радостях этого случайного отпуска, о том, что удастся всё-таки побыть в Москве денька три-четыре и, может быть, оторвать у судьбы суровый роман, маленькое приключение с горьковатым привкусом неизбежной разлуки. А если оно и не состоится, эти три дня всё равно пойдут на пользу — рыжая Галочка из поарма *, которая всё ещё колеблется, непременно спросит, как он провёл их, и можно будет ответить: «Ох, Галочка, лучше не вспоминать...» А если она спросит, не скучно ли было в Москве, можно улыбнуться многозначительно, утомлённо: «Москва — живёт!»

Эта Галочка, правда, слабо вязалась с расчётами на новое назначение, но обращался он всё же к ней. Что-то ему говорило, что в эту армию он ещё вернётся. «Со щитом, — прибавлял он, — непременно со щитом!»

Князь Андрей, из своего века, подсказывал тоже недурной вариант: «Это будет мой Тулон!»

Глава вторая

ТРИ КОМАНДАРМА И ОРДИНАРЕЦ ШЕСТЕРИКОВ

1

Что же мог думать о Ставке третий — ординарец, сидевший за спиной генерала? Какой он её себе представлял — скуластый крепышок с лычками младшего сержанта,

* Политотдел армии.

с замкнутым лицом, жёстко обтянутым задубевшей кожей, со складкой на лбу, отражавшей сосредоточенность на несёлой мысли? А ничего он про эту Ставку не думал, не занимало его, где она там расположилась — в кремлёвской ли башне, в глубоком ли бункере, и какие там стены и потолки; да хоть золотые, хоть и хрустальные; ему, Шестерикову, она хорошего не обещала, она была лишь тем местом, где генерала будут изводить дурацкими расспросами, издеваться над ним и насмехаться — ни за что ни про что. Заведомо все неприятности, готовые пасть на эту седеющую и лысеющую голову, казались Шестерикову несправедливыми, и он единственный мог бы заплакать от жалости к генералу, он и вправду, хоть и без видимых слёз, оплакивал его судьбу, а заодно и свою собственную.

Скорчась в тесном углу «виллиса», он держал на коленях вещмешок и противогазную сумку, набитые разными твёрдыми вещами, на ухабах его швыряло и колотило, но всё было ничто в сравнении с тем сознанием, что лучшее в его жизни — кончилось; то, что делало её осмысленной и стоящей страданий, — теперь уж невозвратно.

И, как перебираем мы в памяти первую любовь, давно отлетевшую от нас, — день за днём, всё ближе к сладостному её началу, — так угрюмый Шестериков приближался к тому морозному дню под Москвой, когда их пути с генералом пересеклись. Удивительное то было пересечение! Кто бы это мог так распорядиться, расставить вехи, чтобы ни он, Шестериков, ни генерал не опоздали ко встрече, и ещё столько потом сплести событий, чтоб не показалась им эта встреча случайной? Как-то в душевную минуту, за водочкой, он даже высказал генералу своё удивление по этому поводу, и вот что ответил генерал: «А знаешь, Шестериков, оно иначе и быть не могло. Три генерала, три командарма в твоей судьбе участвовали». Ну, двоих-то из них Шестериков так и не увидел, а лишь своего командующего, Кобрисова, когда тот вышел в зверский мороз на крылечко избы, а Шестериков как раз и проходил мимо того крылечка, с котелком шей и с кашей в крышечке — для старшины своей роты.

За три дня до того батальон, в котором воевал Шестериков и где их осталось человек сорок, был причислен к ар-

мии, стоявшей на Московском полукольце обороны, — рассчитывали повидать столицу, за которую, может, и погибнуть предстояло, хоть отдохнуть в ней, отдышаться, да вот не вышло — и как хорошо, что не вышло! И мог бы старшина роты сам за своим обедом сходить, но прихворнул чего-то, лежал в избе под кожушком, глядя в потолок, — и хорошо, что захворал! Мог бы он кого другого послать на кухню, но Шестериков перед ним провинился, ответил грубо, и это ему вышло как наряд вне очереди, — и, Господи, как хорошо, что провинился! Ну, наконец, и генерал мог бы не выйти тогда на крылечко — в бекеше и в бурках, с маузером на ремне через плечо, готовый к дальнему пешему пути, — а вот это, пожалуй, и не мог бы, потому что был приглашён на коньяк, и не на какой-нибудь — на французский.

Он ещё и не обосновался в той избе, и комната его пуста была, из хозяйевых вещей оставили один топчан, всё вынесли, а письменный стол из штаба ещё не привезли, и связисты устанавливали телефон прямо на полу — от них-то Шестериков и вызнал потом все подробности.

Только подключили аппарат — заверещал зуммер, и генералу подали трубку. Телефонисты, проверяя качество связи, слушали по другой трубке, отводной.

— Рад тебя слышать, Свиридов, — сказал генерал. Звонил ему командир дивизии, полковник, с которым отступали полгода, от самой границы. — Опережаешь начальство, в принципе, я тебе должен первым звонить*. Как ты там? Больше всех ты меня беспокоишь.

Свиридов спросил, с чего это он больше других беспокоит.

— Как же, ты у меня крайний. Локтевой связи справа у тебя же нет ни с кем.

Свиридов подтвердил, что какая уж там локтевая связь, правый сосед у него — чистое поле.

— Должна ещё бригада прибыть, — сказал генерал. — Из Москвы, свеженькая. Вот справа её и поставишь, я её тебе отдаю.

* Генерал имеет в виду, что связь в войсках устанавливается от вышестоящего к нижестоящему.

Свиридов поблагодарил, но намекнул, что лучше бы дарить, что имеешь, а не то, что обещано.

— Рад бы, да сам пока обещаниями сыт, — сказал генерал. — Ну, докладывай. Может, чем утетишь...

Свиридов его утешил, что к нему на участок обороны прибыло пополнение — два батальона ополченцев из Москвы: артисты, профессора, писатели — одним словом, интеллигенция, очкарики, сплошь пожилые, одышливые, плоско-стопных много, — а вооружил их Осоавиахим учебными винтовками, с просверленными казённиками, со спиленными бойками, выстрелить — при испепеляющей ненависти к врагу и то мудрено, только врукопашную. Ещё у них по две гранаты есть, сейчас как раз обучают бросать — пусть не далеко, но хоть не под ноги себе. Знакомят некоторых, кто посмышлённей, с миномётом — мину они опускают в ствол стабилизатором кверху, но, слава Богу, забывают при этом отвинтить колпачок взрывателя.

— Ясно, — сказал генерал со вздохом. — Но настроение, конечно, боевое?

Свиридов подтвердил, что прямо-таки жаждут боя. Ни шагу назад, говорят, не ступят, позади Москва.

— Ясно, — сказал генерал. — Пороху, значит, совсем не нюхали. Но это же ещё не всё, Свиридов, должен же быть заградотряд.

Верно, Свиридов подтвердил, заградительный не задержался, прибыл батальон НКВД, да только он расположился во второй линии, за спиной у ополченцев, так что фронт растянуть не удаётся.

— А в первую линию ты их не приглашал?

— Как же, — сказал Свиридов, — ходил к ним, предлагал участок. Комбат отказался наотрез: «У нас другая задача».

— А ты ополченцев обрадовал, что бежать им некуда?

Да, Свиридов их обрадовал.

— И как отнеслись?

— Обиделись даже. А мы, говорят, бежать не собираемся.

— Правильно, — сказал генерал. — Назад не побегут. Что у них за спиной не одна Москва, а ещё заградотряд имеется, это они не забудут. Поэтому, как немец напёрёт, они в стороны расползутся. И придётся тогда уж заградотряду принять

удар. Всё хорошо складывается, Свиридов. Рассматривай этих энкаведистов как свой резерв. Им тоже бежать некуда. В случае чего они друг дружку перестреляют.

Свиридов помолчал и спросил:

— Не приедете поглядеть, как мы тут стоим?

— Да что ж глядеть... Хорошо стоите. Не сомневаюсь, ты всё возможное сделал.

— Тем более, — продолжал Свиридов голосом вкрадчивым, — есть одно привходящее обстоятельство. В красивой упаковке. Из провинции Сognaс. Парле ву франсе?

— Что ты говоришь! — Генерал сразу взвеселился. — Ах, проказник!.. Где ж добыл?

— Противник оставил. В Перемерках.

— Постой, ты что? Ты его из Перемерок выбил? Что ж не похвастался, скромник? Ай-яй-яй!

Но кроме «ай-яй-яй» упрёков Свиридову не было. Оба же понимали, что лучше не спешить докладывать. Ведь это, глядишь, и до Верховного дойдёт — а ну, как эти чёртовы Перемерки отдать придётся? С тебя же, кто их брал, голову свинтят.

Генерал положил трубку на пол, походил по горнице, бросил рядом с телефоном развёрнутую карту и, глядя в неё, опять трубку взял.

— Свиридов, тут их двое, Перемерок — Малые и Большие. Ты в каких?

— В Больших, Фотий Иванович, в главных. Малые пока у него.

— Ты это... не финти, ты мне скажи чётко: выбил ты его или он сам ушёл? Я тебя так и так к награде представлю, только по правде.

— Да как сказать? Желания у него особого не было за них держаться. Ну, и я со своей стороны помог. Во всяком случае — коньяк он забыл. Аж четыре ящика, представляете?

Генерал опять положил трубку, успокоился и снова взял.

— Знаешь, Свиридов... Пожалуй, мне твоя оборона нравится. Хорошего мало, а нравится. А может, он это... отравленный?

— На пленных испытали.

— Так ты и пленный взял? Ну и как?

— Согрелись. Дают показания.

Генерал поглядел в карту совсем уже весёлыми глазами, уже как бы отведая того «привходящего обстоятельства».

— Слушай, а ты сам-то где сидишь?

— Да в Перемерках же. От вас километров шесть. Могу лошадей выслать.

— Всё не приучишься «кони» говорить, Свиридов. Кони и у меня есть, только они с утра снаряды возили, пристали кони. Ведь не люди они — устают...

— Так всё-таки ждате вас? Опять же, День Конституции страна отмечает...

— Разболтались мы с тобой, Свиридов, — сказал генерал построжавшим голосом. — День Конституции выдаём. А враг подслушивает. У тебя всё? До свиданья.

Генерал, заложив руки за спину, походил взад-вперёд по горнице, погуживая себе под нос своё любимое: «Мы ушли от пр-роклётой погони, пер-рестань, моя радость, др-рожать!..», и стал против красного угла, разглядывая иконы.

— Это сей же час уберём, — поспешил к нему ординарец. — Это живенько!

— Зачем? — удивился генерал. — Чем они мешают?

— Мешают думать командующему, — тот ему отвечал молодецки, с восторгом в голосе. — Мысли отвлекают в ненужное направление.

Ординарец этот был, что называется, деланный дурак, то есть не от природы глупый, а для своего же удовольствия. Не рохля, а вполне даже расторопный, но говорил часто невпопад и ещё очень этим гордился. Особо раздражало генерала, что он вместо «Слушаюсь» усвоил отвечать: «С большим нашим пониманием!» — и никак его было не отучить. Ответил и на сей раз, когда генерал велел ничего в красном углу не трогать, оставить как есть.

Уже закипая, поджав губы недовольно, генерал разглядывал тёмные лики — Спасителя, великомученицы Варвары, Николы Чудотворца, — подержал палец над лампадкой, потрогал чёрное потресканное дерево киота.

— Вот это — как называется?

— Это? — Ординарец не понял ещё, что осердил генерала, и отвечал так же молодецки, с восторгом: — А это, Фоть Иваныч, никак не называется!

— Вот те раз! — даже ошеломился генерал. — Мастер их делал — может, три тыщи за свою жизнь, — и это у него никак не называлось?

— Ящичек — и всё.

— Тьфу! — сказал генерал. — Поддай мне бекешу. А шинель свою — оставь дома. И чтоб к моему приходу знал бы точно, как этот ящичек называется.

И ординарец, всё понявши, только ему и ответил «большим нашим пониманием». Более генерал ничего от него не услышал и самого его не увидел никогда.

Настала минута Шестерикова вступить в сектор генеральского наблюдения — с котелком и с крышечкой.

— Боец, подойдите, — услышал он голос с высокого крыльца, недовольный и обиженный, но это не к Шестерикову относилось, а к морозу, какого начальство, угревшееся в избе, не ожидало, — так уже должно было на кого-нибудь обидеться. Незнакомый грозный человек стоял, поёживаясь, подёргивая плечами, картинно при этом расставив ноги в бурках и утвердив руку на кобуре маузера.

— Слушаюсь, товарищ командующий! — Шестериков подошёл резво и доложил по форме, чему котелок и крышечка не помешали. Всю остальную жизнь он изумлялся, каким это чутьём признал он под бекешей без петлиц не просто генерала, а — командующего, и объяснения не находил. Разве что маузер в деревянной кобуре его надоумил, какой он видел в кино у революционных братишек и комиссаров.

— Будете меня сопровождать, — объявил генерал, оглядывая серое небо. — Автомат у вас полный? Пару бы дисочков иметь в запас...

Сердце Шестерикова стронулось и сладко покатило куда-то. Всё же он возразил, что связан приказанием — отнести обед захворавшему старшине. Генерал поморщился, но внял, согласно кивнул. И произнёс волшебные слова:

— Валяйте. Я подожду.

С этими словами река судьбы генерала и малая речка Шестерикова начали сливаться в одно.

— Я по-быстрому, — обещал он генералу не совсем по уставу и, зачем-то ему показав котелок, метнулся исполнять это самое «валяйте».

— А сам-то пообедал? — спросил генерал вдогонку. И, отсылая дальше рукою, себе же ответил: — Хотя ладно, там нас накормят.

С крупного шага история перешла на рысь. Но не таков был Шестериков, чтоб ещё пёхаться до этого старшины, будь он неладен со своей хворобой, однако и вылить обед на снег он тоже не мог. Заскочив за угол, в проулок, он малость отхлебал из котелка через край, ссыпал в рот горсточку три каши, отломил полгорбушки хлеба и положил за пазуху, чтоб не обмёрзла. Там ещё когда накормят, успокоил он шевеление совести, а пока дела серьёзные предстоят, не под колушком лежать, считать тараканов на потолке. На его счастье, двое дружков из своей же роты топали по проулку, сопровождая местную деву и стараясь наперебой, с обеих сторон, её насмешить. Шестериков напал на них диким коршуном и с ходу распатронил, отобрал два тяжёлых диска, а взамен отдал свой неполный, заодно и обед им вручил — с приказанием *от имени командующего* доставить срочно. Спустя лишь минуту предстал он снова пред генералом — и в самое время успел: в заиндевавшем окошке углядел он продышанный уголок, а в нём чей-то обиженный и завидуший глаз — поди, ординарца, на которого генерал за что-то прогневался. И ещё подумалось, что не к добру этот глаз окошко сверлит, — хотя и не верил Шестериков ни в понедельник, ни в число тринадцатое, ни в чёрного кота, но верил в порчу и сглаз.

— Уже? — спросил генерал и поглядел с одобрением на Шестерикова, готового к чёрту в зубы идти. — Ну, потопали.

И так-то они — хрум-хрум — начали свой путь по снежку: генерал — впереди, при каждом шаге отбрасывая маузер бедром, Шестериков — приотстав шагов на восемь. За околицей набросился на них степной ветер, стало уныло и даже страшновато, но генерал шага не убавлял, что-то его изнутри гре-ло и двигало вперёд.

Сперва шли по проводу, от шеста к шесту, потом кончилась шестовка, провод ушёл под снег. Однако ж тропинка, пробитая связистами и всякими посыльными, ясно видне-

лась — со склона в низинку и опять на бугор, так что — хрум да хрум — шли уверенно, и солнышко, хоть и туманное, а бодрило, а леса поодаль, хоть и чёрные, а не страшили неизвестностью. Поле и поле, Шестерикову было не привыкать. Да всё ничего, только вскорости, едва версту отмахали, мороз начал под шинелькой продирать насквозь, сил не стало терпеть, не хлопать рукавицами по груди, по плечам. И сперва Шестериков стеснялся при генерале, но, видно, и тому мороз не нравился, то и дело он руки в перчатках прижимал к ушам, и этими-то моментами Шестериков и пользовался, а то терпел.

— Не там хлопаешь! — закричал ему генерал. Всё же, значит, услышал. — Там тебя молодость греет. Ногами, ногами тупоти. Тут главное — не упустить.

Шестериков и не упускал, но в ногах-то ещё терпимо было, а вот душа заледенела.

— Большевицкую родную печать использовал? — спрашивал генерал, оборачиваясь с весёлостью и некоторое время идя спиной вперёд. — Газетку поверх портянок не намотал? А зря.

Так наставление советовало: читанное ещё раз использовать — против обморожений, но Шестериков в эти чудеса не верил, печать он пускал на курево и по другому делу, а больше доверял шерстяному платку, который ему жена прислала — разодрать на портянки.

Генерал про платок выслушал и развёл руками.

— Всё гениальное — просто. Кто это сказал?.. И я тоже не знаю.

Потом он придержал шаг немного, чтоб Шестериков его нагнал.

— Ты в бильярд не играешь? Учти, кто в бильярд играет — на местности лучше ориентируется. Вот как ты думаешь, километра четыре прошли уже?

По Шестерикову, так и все десять отхрумкали, а в бильярд он не играл сроду, потому, наверно, и вовсе не ориентировался.

— Ничего, потерпи, — утешил генерал. — Ещё полстолька пройти, и встретят нас в Больших Перемерках. Французский коньяк пил когда-нибудь? Попьёшь!

Генерал, видать, всю карту держал в голове, шагал без задержки, на развилке решительным образом вправо шагнул, хотя, отчего-то показалось Шестерикову, так же решительно можно бы было и влево. Но, пожалуй, это уже потом он себе приписал такое предчувствие, а на самом деле во весь их путь ни разу не догадался, что история уже притормозила свой бег, плетётся шагом, а зато круто набирала ход — география.

Они с генералом шли в Большие Перемерки — и правильно шли, а идти-то им нужно было — в Малые. Свиридову, который по величине судил и с картою второпях не сверялся, в голову не пришло, что тут, как часто оно на Руси бывает, всё обстояло наоборот. Малые Перемерки, возникшие после Больших, то есть настоящих, первых, и считавшиеся как бы пониже чином, понемногу раздобрели вокруг фабрички валяной обуви и давно уже переросли Большие, да названия уже не менялись; местные и так различали, а на приезжих было наплевать, и их это тоже не тяготило. Ну, и то правда, названия сёлам сменить — это же сколько вывесок надо перемалевать, да всяких бланков перепечатать, да и надписи переписать на тех ящиках, в которых малоперемеркинские валенки ехали во все концы отечества. Опять же, глядишь, захудалые Большие, в свой черёд, подтянутся, стекольный заводик отгрохают — и Малым, в Большие переименованные, опять догонять? А совсем другое название — откуда взять? Ещё и похуже выйдет — в Стеклозаводе каком-нибудь жить. Вот разве одни, предположим, Ждановском назвать, а другие Шкирятовым или Кагановичами, так ведь на все населённые пункты дорогих вождей не хватит...

Уже сумерки начали сгущаться, когда они с генералом дохрумкали наконец и на задах этих Перемерок увидели встречных. Человечков тридцать высыпало. Но как-то не торопились подскочить, доложиться. Генералу это понравиться не могло, он им ещё издали, шагов за полста, приказал сердито:

— Полковника Свиридова ко мне!

А встречные и тогда не зачесались. Переглянулись и отвечали со смехом:

— Карашо, Ванья! Давай-давай!

Генерал стал столбом и скомандовал Шестерикову:

— Ложись!

И только Шестериков упал, у одного из тех встречных быстро-быстро запыхало в руках впереди живота, и долетел сухой треск — будто жареное лопалось на плите. Генерал, свою же команду выполняя с запозданием, повалился всей тушей вперёд. Не помнил Шестериков, как оказался рядом с ним и о чём в первый миг подумал, но никогда забыть не мог, как, нашаривая в снегу слетевшую рукавицу, вляпался в липкое и горячее, вытекающее из-под генеральского бока.

— Товарищ командующий, — позвал он жалобно. — А, товарищ командующий?

Генерал только хрипел и кашлял, вжимаясь лицом в сугроб.

— Вот и бильярд! — сказал Шестериков, отирая ладонь о льдистый снег. — Ах, беда какая!..

Но какая случилась беда, он всё же не осознал ещё. В голове его так сложилось, что это свои обозначились спьяну или созорничали, придравшись, что им не сказали пароля. Таких дуболомов он повидал в отступлении — страшное дело, когда им оружие попадёт в руки. И в ярости, чтоб их прочувствовать, заставить самих повалиться на снегу, он выбросил автомат перед собою и чесанул по ним длинной очередью — над самыми головами. Дуболомы залегли исправно и открыли частый огонь, перекликаясь картавыми возгласами.

— Немцы, — вслух объявил Шестериков, то ли себе самому, то ли генералу.

И стало ему досадно, прямо до слёз, за те патроны, что он выпустил сторяча без пользы. По звуку судить, штук двадцать пять ушло. Впредь этой роскоши — очередями стрелять — он себе не мог позволить. И решительно переключил флажок на выстрелы одиночные. Как по уставу полагалось, раскинул ноги, упёрся локтями в снег, приступил к поражению живой силы противника. Впрочем, он не думал о том, скольких удастся ему убить или ранить, он был уже опытный солдат, и перед ним были опытные солдаты, и он знал, что, когда перестреливаются лёжа, на результаты ни та, ни другая стороны особенно не рассчитывают. Главное было — не дать им головы поднять, потянуть время, покуда они

убедятся, что можно подойти спокойно и взять живыми. И, конечно, не мешало создать у них такое впечатление, что не один тут постреливает, а всё-таки двое.

Он вытащил генеральский маузер из кобуры и, держа впервые такую красивую вещь, сразу сообразил, как вынимается обойма. В ней было девять патронов; он перещупал коченеющими пальцами их округлые головки, беззвучно шевеля губами: «Один, два, три...» — а дальше шли пустые пять гнёзд, маузер был 14-зарядный. И, видать, генерал любил пострелять из него — для настроения, а может быть, и самолично кого в расход пустить, есть такие любители. Ну, что ж, подумал Шестериков, на то война, ему вот и самому захотелось парочку этих «дуболомов» срезать, едва рука удержалась. Только обойму-то надо ж было пополнить. В кобуре было место для обоймы запасной, но самой её не было. «Пару бы дисочков иметь в запас...» — вспомнил он с укором. Но и себя укорил — зачем отдал тем дружкам свой неполный диск, они до того своей девкой заняты были, что и не заметили бы, если б не отдал. И тотчас — с обидой, с завистью — вспомнил саму деву, которую они наперебой старались насмешить армейскими шутками, вспомнил её раздурянившееся лицо, которое она, играючи, наполовину прикрывала пёстрым головным платком, — хорошо им сейчас в селе, в тепле, уже, поди, захмелившимся и напроочь забывшим о нём, который невесть по какому случаю лежит здесь в снегу, задницей к чёрному небу, перед какими-то чёртовыми Перемерками, бок о бок с беспамятным, безответным генералом, и перестреливается с какими-то невесть откуда взявшимися, как с луны прилетевшими, людьми. Но хорошо всё-таки, подумал он, что хоть дружки эти встретились, да с полными дисками, дай им там Бог время провести как следует.

Посмотреть, не всё в его положении было плохо, могло и хуже быть. Хорошо, что смазка не застыла и автомат не отказал в подаче, а теперь уже и разогрелся. Хорошо, что ещё маузер есть, с девятью патронами. Хорошо, что немцы не ползли к нему, постреливали, где кто залёг. Генерал тоже хорошо лежал, плоско, головы не высывал из сугроба. Но одна мысль, тоскливая, то и дело возвращалась к Шестерикову — что уже с этими немцами не разойтись по-хорошему.

Бывало, когда солдаты с солдатами встречались на равных, удавалось без перестрелки разойтись — какому умному воевать охота? Но тут — как разойдётся, когда генерал у него на руках — и живой ещё, дышит, хрипит. И эти, из Перемерок, ещё при свете видели, кто к ним пожаловал, видели тёмно-зелёную его бекешу, отороченную серым смушком, и смушковую папаху — разве ж с этим отпустят? Убитого раздеть можно, одежду поделить, а за живого — им, поди, каждому по две недели отпуска дадут. И сдаться тоже нельзя, стрельба всерьёз пошла, уж они теперь, намёрзшись, злые как черти! Его, рядового, они тут же, у крайней избы, и прикончат, а если ещё убил кого или подранил, то прежде уметелят до полусмерти. А генерала оттащат в тепло, там перевяжут, в чувство приведут, потом — на допросы. И если говорить откажется — крышка и ему.

Он отъединил опять ту обойму и выдавил два патрона, чтоб сгоряча их не истратить. Эти два он заложит в маузер перед самым уже концом — пробить голову генералу, потом — себе. Всё-таки лучше самому это сделать, чем ещё мучиться, когда возьмут, избыют всласть, к стенке прислонят и долго будут затворами клацать — надо ж потешиться, перед тем как в тепло уйти. Сперва он эти патроны запрятал в рукавицу, но там они сильно мешали и слишком напоминали о неизбежном, и он их сунул за пазуху. Тут его пальцы ткнулись во что-то твёрдое и шершавое — это в запазушном кармане хранилась его горбушка, уже как будто забытая, а всё же — краешком сознания — памятная. Чувство возникло живое и тёплое, но сиротливое, опять стало жаль до слёз — что придётся вот скоро убить себя. Он подумал — съесть ли её сейчас? Или — перед тем? И почему-то показалось, что если сейчас он её сжует, тогда уже действительно надеяться не на что.

А надежда оставалась, хоть и очень слабая. Постреливая одиночными — то из своего ППШ, то из маузера, — после каждого выстрела подышывая себе на руки и уже не различая, ночь ли глубокая или всё тянется зимний вечер, он всё же нет-нет да согревал себя тем мудрым соображением, что и противнику не легче. И когда женибудь наскучит этим немцам мёрзнуть на снегу, и плюнут они возиться с ним: за

ради бекеша жизнью рисковать кому охота, а на отпуск — если генерал не живой — тоже можно не рассчитывать. Только вот уйдут ли в тепло все сразу? Народ аккуратный, оставят, поди, часовых и будут подменивать — хоть до утра.

Что-то надо было предпринять ещё до света, хоть отползти подальше да схорониться в каком ни то овражке, либо снегом засыпаться. Генерала оставить он не мог, тот покуда хрипел, поэтому Шестериков, чуть отползя назад, попробовал его подтянуть к себе за ноги. Так не получалось: бурки сползали с ног, а бекеша задиралась. Он решил по-другому: толкая генерала плечом и лбом, развернул его головою от Перемерок и, на всё уже плюнув, привстав на колени, потащил за меховой воротник. Протащив метров пять, вернулся за автоматом — его приходилось оставлять, уж больно мешал. И, произведя выстрел с колена, в снег уже не ложась, поспешил назад к генералу — сделать очередной ползок.

Меж тем в Перемерках начались какие-то иные шевеления — огонь вдруг зачастил, крики усилились, и Шестериков это так понял, что к тем, замерзающим, прибыли на подмогу другие, отогревшиеся. Уже не тридцать автоматов, а, пожалуй, сто чесали без продыху, и все пули, конечно, летели в Шестерикова. Это уже потом он узнал, что Свиридов, обеспокоенный слишком долгим путешествием генерала, сунул наконец глаза в карту и, с ужасом поняв, в какую ловушку пригласил он дорогого гостя, выслал роту — прочесть эти Перемерки и без командующего, живого или мёртвого, не возвращаться. И, покуда та рота вела бой на улицах села, Шестериков ей помогал как мог и как понимал свою задачу: оттаскивал генерала, сколько сил было, подальше прочь. Стрелять ему уже и смысла не было, за своим огнём немцы бы не расслышали его ответный, а вспышки его бы только демаскировали.

Когда пальба в Перемерках поутихла, они с генералом были уже далеко в поле, и поземкой замело их широкий след, а там и овражек неглубокий попался, куда можно было стащить умирающего и хоть перевязать наконец. Расстегнув бекешу с залитой кровью подкладкой, Шестериков увидел, прощупал, что вся гимнастёрка на животе измокла в чёрном и липком. Из одной дырки, рассудил он, столько натечь не

могло, и не найти её было. Задрвав гимнастёрку и перекатывая генерала с боку на бок, Шестериков намотал ему вокруг туловища весь свой индивидуальный пакет да потуже затянул ремень. Вот всё, что мог он сделать. Затем, передохнув, опять потащил генерала — по дну овражка, теперь уже метров за полста переноса и вещмешок свой, и маузер, и автомат, и вновь возвращаясь за раненым. Генерал уже не хрипел и не булькал, а постанывал изредка и совсем тихо, будто погрузившись в глубокий сон.

Ещё до света слышно стало какое-то движение наверху, за гребнем овражка: рокот автомобильных моторов, скрип тележных колёс, голоса — не ясно чьи. Шестериков с одним маузером отправился ползком на разведку. Оказалось, овражек проходит под мостком, а по мостку идёт дорога. Ещё не добравшись до неё, он замлел от радости, расслышав несомненную перекасти-твою-мать, бесконечно знакомый ему признак отступления. А куда же отступить могли, как не на Москву, ведь Москва — рукой подать, к ней и движется вся масса людей, машин, повозок. Он не знал, что то было следствием удара 9-й немецкой армии, точнее — впечатлением от этого удара, опрокинувшим все надежды, что врага остановят подвиги панфиловцев и ополченцев и противотанковые рвы, отрытые женщинами столицы и пригородов. Впечатление, по-видимому, было внушительное: грузовики, переполненные людьми, неслись на четвёртых, на пятых скоростях, сигналя безостановочно, от них в страхе шарахались к обочинам повозки, тоже не пустые, нещадно хлестали ездовые загоняемых насмерть лошадей, но, как ни удивительно, а не сказать было, чтоб так уж сильно отставали пешие — кто с оружием, кто без, но все с безумными, как водкой налитыми, глазами. Вся эта лавина — с рёвами, криками, храпением, пальбой — текла по дороге, как ползёт перекипевшая каша из котла, у Шестерикова даже в глазах зарябило.

Но явилась надежда.

Быстренько он вернулся к генералу и, выбиваясь из сил, подтащил его поближе к мостку, чтоб на виду лежал; не могло же быть, чтоб не кинулись помочь, да хоть разузнать, в чём дело, почему тут генерал. Никто, однако, не кинулся, да едва ли и замечал постороннее.

Вдруг увидел он — милиционера, одиноко ссутулившегося на обочине, обыкновенного подмосковного регулировщика, в синей шинельке и в фуражке поверх суконного шлема, смотревшего на происходящее уныло, но без испуга, опустив руку с жезлом. Шестериков кинулся к нему с мольбой:

— Милый человек, останови ты мне машину какую или же повозку...

Милиционер только покосился на него и зябко передёрнулся.

— Мне ж не для себя, — объяснил Шестериков. — Мне для генерала. Вон он, можешь поглядеть, раненый лежит, сознание потерял.

— Чем я тебе остановлю? — спросил милиционер, не поглядывая.

— Как то есть «чем»? Вон у тебя палка руководящая да пистолет. — Шестериков забыл в эту минуту, что и у него маузер, а в овражке остался ещё автомат. — Погрози, погрози им — неуж не остановятся?

— Ты это... — сказал милиционер. — Пушку свою спрячь. И не махай.

И он показал глазами на то, чего Шестериков не заметил впопыхах, — на человека, лежавшего шагах в пяти от него, на той же обочине, в шинели с лейтенантскими петлицами. Он лежал вниз лицом, откинув голую, без рукавицы, руку с пистолетом, рядом валялась окровавленная ушанка.

— Всё грозился, — поведал милиционер. — Возражал очень: «Подлецы, понимаешь, трусы, Москву предали, Россию предали!» А они ему с грузовика — очередь. Теперь, видишь, смиренно лежит, не возражает.

— Что ж делать? — спросил Шестериков жалобно. И повторил свой довод: — Кабы я для себя, а то ведь генералу...

— Он что, — милиционер покосился наконец, — живой ещё?

Шестериков не уверен был, но тем горячее воскликнул:

— Дак в том-то и дело, что живой! Довезти б до госпиталя побыстрее...

Милиционер то ли задумался глубоко, то ли от безысходности примолк; его лицо, обветренное и от мороза багровое, движения мысли не выразало.

— А может, вдвоём попытаемся? — спросил Шестериков с надеждой, вспомнив наконец и про свой автомат. — Ша-рахнем по кабинке, а? Только заляжем сперва. Не очень-то нас это... очередью.

— Это не метод, — сказал милиционер. Похоже, он это время всё же потратил на раздумья. — Тут бы сорокапятачку выкатить. Со щитком. Да по радиатору врезать! Сразу несколько тормознут. А так их, очередями, не вразумишь.

— Сорокапятка — это вещь, — сказал Шестериков, вспомнив некоторые моменты из собственного опыта. — Да где ж её взять!

Милиционер ещё подумал и развернулся всем корпусом к Москве.

— Ты вот что, — посоветовал он, — сбегай-ка, тут, метров двести, за поворотом, зенитная позиция. Они против танков стоят, но, может, для генерала один снаряд пожертвуют.

Перед тем, как сбежать туда, Шестериков вернулся к генералу — проведать — и ужаснулся новому удару судьбы. Всего на минутку оставил он генерала, но кто-то успел стащить с его головы папаху, а с ног — бурки, прекрасные, валянные из белой шерсти, с кожаной рыжей колодкой. Кто был этот необыкновенный, неукротимой энергии человек, кто и в смертельной панике ухитрился ограбить лежащего, да у всех на виду? И ведь не за мёртвого же принял, видел же, что дышит ещё!

Уши и ступни генерала уже побелели, и нечем их было укрыть. Шестериков развязал вещмешок, без колебаний вытряхнул из него кое-какие инструменты, курево, спички, мыло, моток ниток с иглой и пару грязного белья. Это бельё он подложил генералу под голову, прикрыв уши, а мешок напялил ему на ноги и затянул шнуром.

— Облегчили? — спросил, подойдя, милиционер. Он покачал головой и заметил мрачно: — А не умерла Россия-матушка, не-ет!

— Милый человек! — взмолился Шестериков. — Ты побереги тут, чтоб его хоть из бекеши не вытряхнули. Тогда уже пиши похоронку. — И так как он привык вознаграждать

человека за труды, то подумал, что бы такое предложить милиционеру. Из содержимого вещмешка ничего, как видно, того не заинтересовало. — Тебе жрать охота?

— А кому не охота? — откликнулся милиционер угрюмо.

Шестериков, опять не колеблясь, достал из-за пазухи свою горбушку и, только малый краешек отломив, подал её стражу. Тот её принял, не благодаря, и это Шестерикову даже понравилось.

— Только ты недолго, — сказал милиционер. — Всем, знаешь, драпать пора...

...Зенитчиков оказалось двое: один — совсем молоденький и, как видно, не обстрелянный, весь в мыслях о предстоящем испытании, другой — постарше и поспокойнее, с рыжими гренадёрскими усами. Шестериков спросил, кто у них за командира, — по петлицам оба были рядовые.

— А нам командира не надо, — сказал тот, кто постарше, выуживая ложкой из консервной банки мясную какую-то еду. — Чего нам тут корректировать? — Он кивнул на зенитку, стоявшую стволом горизонтально — к повороту, из-за которого всё ползла человеческая лава. — Как покажется коробочка — шарахай её в башню и в бога мать. И спасайся как успеешь.

Банка у них, видать, одна была на двоих, и молодой внимательно следил, не переступил ли старший за середину. Старший ему время от времени ложкой же и показывал — нет ещё, не переступил.

— Чего ж вам-то спасаться, — подольстился Шестериков, стараясь на еду не смотреть. — Вон вы какая сила!

— А это ещё неизвестно, — сказал кто постарше, — станина выдержит или нет. Мы из неё по горизонтали не стреляли ни разу.

Просьбу Шестерикова они выслушали с пониманием и отказали наотрез.

— Ты погляди, — сказал молодой, — много ли у нас снарядов.

Снарядный ящик, из тонких планок, как для огурцов или яблок, стоял на снегу подле зенитки, и в нём, поблескивая латунию и медью, серыми рылами головок, лежало всего четыре снаряда.

— Только по танкам, — пояснил старший, — даже по самолёту нельзя. Иначе трибунал.

— Братцы, — сказал Шестериков, — но тут же случай какой. За генерала — простят.

Они пожали плечами, переглянулись и не ответили. Но старший всё же подумал и предложил:

— А вот к генералу и обратись. К нашему генералу. Его приказ — может, он и отменит. В виде исключения.

— Вообще-то навряд, — сказал молодой. — Генерал, он больше всего танков боится. Но уж раз такой случай...

— А где он, ваш генерал?

Старший не повернулся, а молодой охотно привстал и показал пальцем.

— А во-он, церквушку на горушке видишь? Там он должен быть. Километров пять дотуда. Может, поменьше.

Шестериков поглядел с тоской на далёкий крест, едва-едва черневший в туманной мгле морозного утра. Глаза у него слезились от студёного ветра, и никаких людей он близ той колоколенки не увидел.

— Что вы, братцы, — сказал он печально, — да разве ж до вашего генерала когда досягнёшь? — Он имел в виду и расстояние, и чин. — Да и есть ли он там? Может, его и нету...

— Где ж ему быть? — сказал молодой неуверенно. — Место высокое, удобное для «эмпэ». Оттуда, считай, вёрст за тридцать видно.

— Дак если видно, — возразил Шестериков, — у него сейчас одна думка: скорей в машину и драпать. Они-то первые и драпают.

Так говорил ему полугодовой опыт, и зенитчики не возражали, а только переглянулись — с ясно читавшимся на их лицах вопросом: «А не пора ли и нам?»

Шестериков ещё постоял около них, слабо надеясь, что зенитчики переменят своё решение, и поплёлся обратно, к своему генералу. В этот час он был единственный, кто двинулся в сторону от Москвы.

Между тем генерал, о котором говорили зенитчики и от кого исходил приказ — не трогать снаряды, под страхом трибунала, на какую цель, кроме танков, — находился в ограде той церкви и меньше всего собирался сесть в машину и драпать, хотя со своей высоты действительно видел всё. При нём, впрочем, и не было машины, он сюда поднялся пешком. Три лошади, привязанные к прутьям ограды, предназначались адъютанту и связным, но стояли надолго забытые, понуро смежив глаза, превратясь в заиндедевские статуи.

Со стороны показалось бы, что генерал в этот час был, что называется, *на выходе* — как бывает выход короля к своим приближенным, чтоб и на них поглядеть, и себя показать, как и у любого командира есть эта обязанность время от времени являться на люди — для одних тягостная, для других не лишённая приятности. Этот генерал, по-видимому, относился ко вторым, да и окружавшие не сводили с него преданных и умилённых глаз. Он резко выделялся среди них — прежде всего ростом, не уменьшенным, а даже подчеркнутым лёгкой сутулостью, в особенности же выделялся своим замечательным мужским лицом, которое, быть может, несколько портили — а может быть, именно и делали его — тяжёлые очки с толстыми линзами. Прекрасна, мужественно-аскетична была впалость щёк, при угловатости сильного подбородка, поражали высокий лоб и сумрачно-строгий взгляд сквозь линзы, рот был велик, но при молчании крепко сжат и собран, всё лицо было трудное, отчасти страдальческое, но производившее впечатление сильного ума и воли.

Человеку с таким лицом можно было довериться безоглядно, и разве что наблюдатель особенно хваткий, с долгим житейским опытом, разглядел бы в нём ускользающую от других обманчивость.

Он прохаживался среди своих спутников, не суетясь, крупно ступая и сцепив за спиной длинные руки; от всей его фигуры в белом тулупе, перетянута ремнём и португепеями, исходило спокойствие и уверенность, которых вовсе не было в его душе. Зенитчики ошибались: никакого НП здесь не было, не высверкивали из окон звонницы окуляры

стереотрубы, которые могли бы только привлечь немецких артиллеристов, а ясности не прибавили бы. И что привело сюда генерала, он и себе не мог бы признаться. Скорей всего страх, рождённый непониманием происходящего, который ещё усиливался в закрытом пространстве.

Ему вдруг невыносимо тесно стало в тёплой избе, с телефонами, картами, столами и жёсткой койкой за занавеской, тесно и в закрытой кабине «эмки», захотелось на простор, пройтись пешком, подняться хоть на какую-то высоту, хоть что-то понять и решить.

Несколько дней назад его, вместе с шестью другими командармами, вызвал к себе командующий Западным фронтом Жуков и, как всегда, мрачно, отрывисто и с неопределённой угрозой в голосе объявил, что, если хотя бы одной армии удастся продвинуться хоть на два километра, задача остальных шести — немедленно её поддержать, любой ценой, всеми наличными силами расширяя и углубляя прорыв. Семеро командармов приняли это к сведению, не делая никаких заверений, но, верно, каждый спросил себя: «Почему бы не я?» Про себя генерал знал точно, себе он сказал: «Именно я».

И вот, не далее как вчера, он попытался это сделать — силами двух дивизий — и попал немедленно в клещи вместе со своим штабом. Он испытал страх пленения, который и сейчас не утих, то и дело вспоминался с содроганием в душе, заодно и с чувством неловкости и стыда — оттого, что был вынужден по радио, открытым текстом, приказать всем другим своим частям идти к нему на выручку. Он успел унести ноги, он вырвался без больших потерь, но что-то говорило ему, что немцы и не могли бы создать достаточно плотные фронты окружения — внутренний и внешний, и, может быть, зря он поторопился наступление прекратить. Может быть, следовало идти и идти вперёд?

Против этого как будто говорила вся эта паника на Рогачёвском шоссе, которую он видел отсюда: замыкая клещи вокруг него, немцы произвели внушительное впечатление и на его соседей. Однако он знал: эта паника могла возникнуть и от одного-единственного танка, появившегося, откуда его не ждали, к тому же ещё заблудившегося. Наибольшего

эффекта, и весьма часто, достигают именно заблудившиеся. В августе под Киевом он был свидетелем, как три батальона покинули позиции, не вынеся адского грохота и треска, доносившихся из ближнего леса, — как выяснилось, это несчастный итальянец-берсальер, сам обезумевший от страха, метался меж деревьев на мотоцикле... Всё было возможно при той конфигурации фронта, какая сейчас сложилась к западу от Москвы, точнее — при отсутствии какой-либо конфигурации, когда противники не знают, кто кого в данный момент окружает. Так всё-таки — зря он поспешил или не зря?

В эти его размышления ворвался громкий и возмущённый спор его спутников, осуждавших панику с негодованием людей, смотрящих на чей-то страх со стороны. Следует, доказывал один, послать туда роту автоматчиков и кой-кого из этой сволочи перестрелять, тогда остальные опомнятся. Другой же говорил, что, напротив, все эти люди, потерявшие своих командиров, — ничейный резерв, который не худо бы присоединить к себе.

Генерал выслушал оба довода и сказал, легко перекрывая — и закрывая — этот спор своим звучным, глубоким, рокошущим басом:

— Когда русский Иван наступает — спиной к ненавистному врагу, — у него на пути не становись. Сомнёт!..

Он это сказал отчасти с восхищением, уластив последнее слово таким сложно-витиеватым добавлением, какие уже создали ему славу любимца солдат, первого в армии матерщинника. Спутники охотно смеялись, но сам он не рассмеялся, он удивился своему же неожиданному решению.

Ещё не зная, прикажет ли он сегодня продолжать наступление, он уже чётко себе уяснил, что против бегущих не выставит ни одного автоматчика, не истратит ни одного патрона. Лучше пропустить их мимо себя, а двинуться вдоль шоссе целиною. Есть даже некий оперативный смысл, своя изюминка — чтоб не было остановки в этом паническом бегстве.

— Что Иван опомнится и упрётся, этого немец ожидает, — произнёс он вслух. — А вот чего он не ожидает — кулака в рыло!

И это было первое правильное его решение.

Но пошла неожиданно метель, снег западал полого и так густо, что стало не видно лошадей у ограды, и он даже обрадовался поводу ещё потянуть с приказом. Никогда ещё в его военной жизни не было такой кромешной неясности. Никаких разведанных о противнике, кроме самых общих, к тому же устаревающих с каждым часом; рассчитывать он мог лишь на интуицию, которую за собою признавал, на везение, ну и на смелость, наконец, о которой кто-то из Мольтке, старший или младший, а может быть, и Клаузевиц, высказался неглупо: «Помимо учёта сил, времени и пространства, нужно же несколько процентов накинуть и на неё».

Он приказал, чтоб ему развернули карту. Поставив ногу на ступеньку паперти, он положил карту себе на колено и, сняв перчатку, огромной, костистой и красной от мороза кистью стряхивал с неё налетавший снег. Двое его спутников держали углы. Кажется, и они понимали, что он только тянет время, никаких подробностей карта ему не могла открыть, а то общее, что сложилось сейчас под Москвою, он видел и так. С севера, от Калинина, протянулась хищная, раздвоенная крабья клешня — танки Рейнгардта и Гёппнера; с юга, от Тулы, нацеливалась другая клешня, ещё того зловещее — танки Гудериана, и не могло быть решения безграмотнее, безумнее, чем ринуться в разинутый зев этих, готовых сомкнуться, клещей. Но — если б хоть иногда не выручало нас безумие, и только трезвый расчёт был бы нашим единственным поводырём, жизнь была бы слишком скучна, чтоб стоило её начинать. Было нечто, рассеянное в воздухе, не подтверждаемое, казалось бы, никакими объективными признаками и всё же профессионалами угадываемое безошибочно, — нечто, обещающее перелом, как обещает весну запах февральского снега. В жизни генерала, совсем недавней, три месяца назад, было и худшее, чем сейчас: когда пришлось свою армию, которой он командовал тогда, и остатки чужих разгромленных армий вытягивать из киевского «котла». Каким обещанием пахло тогда, что рассеяно было в воздухе? Нарастающее гудение земли, рёвы сотен моторов, дымом застланный горизонт — всё это вместе называлось «Гудериан» и появлялось, откуда меньше всего ждалось. Право же, появившись оно вдруг из этой метели, он бы это не посчитал

за чудо. Скорее чудом было, что удалось тогда вырваться, избегнуть стальной хватки клещей. Но ведь удалось же! Было везение, но было и умение не упустить его. Что ж, всего только и нужно сейчас — повторить чудо. И пришла робкая мысль — что ещё какое-то событие должно случиться сегодня, какое-то знамение будет ему подано, обещающее удачу. Только бы — не упустить...

Он давно уже смотрел поверх карты, на выщербленные малиновые кирпичи притвора, на ржавые двери с тяжёлым амбарным замком, на затёртую, еле различимую вратную икону. Вот что его тревожило: если всё-таки продолжать наступление, он должен будет пройти правым своим флангом мимо северной клешни, подставить бок, а затем и тыл под танки Рейнгардта. Сейчас в восьми километрах отсюда шёл бой за малую деревеньку Белый Раст, несколько дней назад отданную немцам. Два батальона моряков шли на смерть, чтоб только узналось — двинет Рейнгардт свои танки или примирится с потерей. Без этого, решил генерал, нельзя начинать.

В одиннадцать утра вынырнул из метели всадник, делегат связи, и доложил: Белый Раст взят, танки Рейнгардт не двинул.

Генерал не спешил что-либо сказать на это. Потому что известие ровно ничего не значило или почти ничего, он это понял в ту же минуту, как услышал. Больше хлопот доставляет противник, когда чего-то не делает, что, казалось бы, должен сделать, чем когда он действует — и можно оценить его действия и предсказать следующие. Не примирился, но и не двинул — потому ли, что не смог? Или какой-то иной был у него расчёт, и отдать этот Белый Раст даже входило в его планы?

Делегат связи ждал, свесясь с седла и отогнув ухо на ушанке.

— Узнай-ка, — сказал генерал, — чей престол у этой церкви.

Лицо делегата не выразило удивления — но лишь оттого, что залубенело на ветру.

— Вопрос понятен?

Делегат вопрос повторил, но спросил, в свой черёд, где это можно узнать.

— Об этом у начальства не спрашивают.

— Виноват, товарищ командующий. У кого прикажете узнать?

Генерал, одним краем рта, усмехнулся этой армейской хитрости.

— У любой бабки в деревне, на тридцать вёрст окрест. И можешь не проверять.

Делегат, взмахнув валенками, дал стремя коню и исчез в метели. Покуда он не вернулся, ни о чём существенном не было сказано ни слова, как будто ждали известия самого важного и главного.

— Узнал, товарищ командующий. И не у бабки, а у самого отца Василия в Лобне. Полагаю, оно надёжнее.

— Так чей же престол? — спросил генерал нетерпеливо.

— Мученика Андрея Стратилата.

— И с ним?

Делегат связи смотрел отупело и медленно багровел.

— Одного Стратилата он тебе назвал? А сколько же было вместе с ним убиенных?

— Виноват, вот число запомнил.

— Две тысячи пятьсот девяносто три?

— Точно!

Все посмотрели на окаменевшее лицо генерала, непроницаемо поблескивавшее очками.

— Это имеет какое-нибудь значение? — спросил, улыбаясь, начальник артиллерии, низкорослый и толстенький, но ужасно воинственный в своих скрипучих ремнях, с «парабеллумом», оттягивающим пояс, и с биноклем на груди. Фамилия у него была — Герман. Многие начальники артиллерии любят носить фамилию Герман.

— Значения никакого, — ответил генерал. — Кроме того, что это мой святой. И моего отца тоже.

— А Стратилат — это что значит? — спросил начарт. — Фамилия?

— Ты, конечно, безбожие исповедуешь? — генерал на него покосился насмешливо-добродушно. — Ну, а я, грешным делом, немножко верую. Теперь же это не возбраняется? — и, широко, даже несколько театрально, себя перекрестив замёрзшей огромной кистью, сложенной в троеперстие,

ответил на вопрос начарта: — Стратилат значит полководец, стратег.

— О, тогда это имеет значение. И очень большое. Разрешите поздравить?

— С чем же? Ведь мученик.

— Э! — сказал начарт. — А мы не мученики?

Начарт не знал, но генерал знал страшную историю Андрея Стратилата, преданного и убитого, со своим отрядом, теми, для кого он добывал свои победы. Предзнаменование было скорее ужасное по смыслу. «Значит, буду ранен», — решил генерал, но, не слишком устрасаясь будущей боли, понял, что этим лишь хотел бы отодвинуть худшее. Но ведь прежде, подумал он, Стратилат одерживал победы, а уж потом был предан и убит. В конце концов, может быть, это и справедливо, за чудеса приходится платить. Он спрашивал себя, готов ли он принести эту плату, но широкие его губы, деревенеющие от мороза, произнесли другое:

— Хотелось бы мне знать, что сейчас делается в башке у этого Рейнгардта!

Делегат связи, точно вопрос относился к нему, виновато развёл руками. Начарт поднял глаза к небу.

3

А быть может, в эту минуту мрачный Рейнгардт, одетый в русскую безрукавку, горбился перед низким окошком избы, складывая и перемножая тридцать пять градусов мороза с тридцатью пятью километрами, оставшимися ему до московского Кремля. Он не потому не двинул свои танки, что потеря Белого Раста ничего для него не значила — так не бывает, когда уже в бинокль видишь само окончание войны! — а потому, что был связан с южной клешнёю планом одновременного охвата Москвы. Оси наступлений пересекались на Садовом её кольце: где-нибудь на Таганке, или на Само-тёке, или на бывшей Триумфальной, теперь — Маяковско-го, танкисты Рейнгардта и Гёппнера должны были пожать руки танкистам Гудериана и тем завершить наконец столь затянувшийся блицкриг. Так было задумано — и так было близко!

Однако Рейнгардт знал: к этому дню движение немецких армий на всех фронтах приостановилось, и только Гудериан ещё каким-то чудом двигался. 3-го декабря он перерезал железную дорогу Тула — Москва и шоссе Тула — Серпухов, осталось развязаться с самой Тулой. «Тула — любой ценой!» — сказано было фюрером, но, видимо, было не в натуре «капризного Гейнца» исполнять чьи бы то ни было предписания «любой ценой», было против его правил и всей его науки растратить свои танки в бесплодном ударе в лоб: за Тулу с её оружейными заводами русские были готовы заплатить каким угодно количеством жертв. Их бронейщики и бутылкометатели умирали так охотно, точно бы смерть была для них единственной целью в жизни. И, насколько Рейнгардт мог понять, Гудериан не сделал того, чего хотели бы от него и фюрер, и русские, он только дал своим танкам ввязаться в бой, дал русским послушать рёв двухсот моторов, но встретились они — с его пехотными, конными и мотоциклетными частями, а танки он высвободил, как только он один умел, и длинным изогнутым рейдом обошёл Тулу с востока. Она оказалась в мешке, и мешок этот всё растягивался, и, кажется, Рейнгардт уже постигал своевольный замысел Гудериана: не Тула ему была нужна, а — Кашира. О, разумеется, Кашира, это чуть не вдвое ближе к Москве! При обстоятельствах чудесных, какие умел создавать или использовать «Быстроходный Гейнец», это мог быть один переход к окраинам русской столицы, один боекомплект, одна заправка баков, один суточный рацион экипажам. В любой час могла прийти весть о взятии Каширы, и это было бы сигналом Рейнгардту — начать и ему последний бросок. И вот этого часа Рейнгардт ожидал с ужасом.

Его танки, не двигаясь с места, жгли ночами безостановочно последнее горючее, иначе бы к утру не завелись моторы. В рубашки охлаждения вместо незамерзающего глизианта залита была вода — через час-другой остановленные моторы можно было считать погибшими. А ещё потому нерассчитанно много потрачено было горючего, что давно стёрлись шипы на траках гусениц, и буксование по гололёду стоило двойного, тройного расхода. Несколько дней назад на станцию Калинин пришёл эшелон, гружённый «особо

ценным грузом». Не разбитый русской авиацией, не подорванный партизанами, он привёз — вместо горючего, вместо глизиантина, вместо новых гусеничных траков, вместо снарядов — отёсанные плиты красного финского гранита: на памятник Адольфу Гитлеру в центре поверженной Москвы...* Так пожелать ли удачи Гейнцу или лучше бы о ней не услышать?

Впрочем, неизвестно, был ли бы Рейнгардт более мрачен или даже обрадован, если бы знал истину. В тот самый день, когда генерал Кобрисов, выслушав невесёлый доклад комдива Свиридова, сказал ему: «Ты знаешь, мне твоя оборона нравится», — и, прихватив с собою Шестерикова, так легкомысленно отправился в гости на французский коньяк, в этот самый день — да не в этот ли сумеречный час? — за двести километров к югу, за Тулой, накреньясь на обледенелом склоне и также лишённый шипов, неудержимо сползал в овраг командирский танк Гудериана. Взвихренным снегом застлало смотровые щели, и долгое скольжение вниз в белой слепоте было мучительным, как тошнота. Ещё тягостней, унижительней стало на душе Гудериана, когда танк наконец остановился — на самом дне. Ни словом не попрекнув водителя — прусская традиция предписывала адресовать своё раздражение только вышестоящему, никогда не вниз! — он вылез через башенный люк и побрёл по сугробам, ища, где бы выбраться. Танк, с задранной пушкой, медленно полз за ним.

А всего только час назад он был на позициях егерей своего 43-го армейского корпуса и возвращался оттуда обнадёженный, в душе его что-то пело, душа была тронута едва не до слёз, но для записи в дневнике отстаивалось суровое, торжественное, римское: «Солдаты узнавали меня и приветствовали радостными возгласами».

Так оно и было. Этот его танк, выкрашенный белилами, лишь с жёлтыми крестами и чёрными именованными литерами «G» на бортах, с качающимся над башней хлыстом антенны, так же медленно полз по дну неглубокой лощины — быть может, руслом вымерзшего ручья, — и с обеих сторон с

* Этими плитами облицованы в Москве, на ул. Тверской, цоколи зданий Центрального телеграфа и соседних.

пологих склонов сбегались, сходились к нему солдаты. Стоя по пояс в люке, он оглядывал их лица, поднятые к нему с надеждой и вопросом, сам при этом немалым усилием сохраняя лицо таким, какое они привыкли видеть в лучшие дни, — крепкое лицо ещё млажавого озорника, лукавое, но неизменно приветливое. А между тем он замечал и нечто кроме их лиц — грязных, заросших щетиной, тронутых обморожением, с конъюнктивитными красными глазами, — он видел разбросанные вокруг заметённые холмики, выглядывавшие из-под снега подбородки и носки сапог, иной раз ногу, согнутую в колене, скрюченные пальцы, засыпанные снегом глазницы. Случилось предельное и, наверно, необратимое: германцы перестали хоронить своих покойников! Их только оттаскивали от траншей — сюда, в эту лощину. Он сжал и топтал гусеницами кладбище!

Но, кажется, живые были всё-таки рады ему, он слышал возгласы, какие и хотелось ему услышать:

- Старик пожаловал...
- Молодчина, выглядит, как всегда...
- А может, не так всё и плохо?..
- Сейчас он скажет... Кто же, если не он?
- Гейнц, не скрывай от нас ничего!

Они перестали верить своим офицерам, они верили только ему. Это был его батальон, в котором давным-давно, ещё лейтенантом, он командовал ротой; здесь по традиции хранились его пилотка и пистолет, и он был произведён в «почётные солдаты»; здесь каждый день в его роте выкликал на поверках фельдфебель: «Гудериан Гейнц!» — и так же зычно откликался правофланговый: «Отсутствует по уважительной причине: командует нашей Второй танковой армией!» Эти сгеря и он считались «Kriegskameraden»*, и значит, они могли обращаться к нему на «ты» и спрашивать о чём угодно. Но, Боже, что сделалось с его батальоном! Это невозможно было признать за войско! Только редкие в полной форме — то есть в кургузых шинелишках, в каменных сапогах, уши прикрыты вязаными подшлемниками, большинство же — в пилотках, завёрнутых на щёки, или в русской драной

* Боевые товарищи.

ушанке, или обмотанные бабьим платком, в крестьянских тулупах или в женских шубках, кто в валенках, кто в резиновых галошах, набитых тряпьем и бумагой, кто даже в лаптях с онучами... Грязные, мучимые вшами, греющие руки под мышками, припрыгивающие с ноги на ногу, в глазах что-то собачье, слезливое, молящее, — так выглядели герои Польского похода, боёв на Маасе и при Дюнкерке, победители Бреста, Смоленска, Орла!

Он приказал водителю остановиться, сорвал с головы шлем с очками-«консервами» и чёрными капсулами ларингофона, стянул подбитые мехом перчатки, положил руки на обжигающую броню. Он знал, как говорить с солдатами, но нужно было, хотя бы отчасти, почувствовать то же, что и они.

Голос прежнего Гудериана разлетелся над ними, превратившимися в смердящий сброд:

— Солдаты! Я старался вести вас дорогой побед, и вы мне дарили эти победы. Я счастлив, что командую вами! Выше головы, нам есть чем гордиться. Бывало нам и жарче, чем в этих русских снегах, ведь правда? Но ни про одну нашу победу никто никогда не мог бы сказать: «Им повезло». А вот вашему противнику, — он протянул руку туда, где находились не видимые ему позиции русских, — ему просто везёт сейчас, везёт отчаянно. Но это не значит, что счастье покинуло нас навсегда. Ещё три дня — и всё переменится, только нужно сделать одно, последнее усилие. Но, солдаты... Генерал может потребовать от вас лишь того, что возможно, что в пределах человеческих сил, о невозможном он вправе только просить. Вы измучены, вы заслужили отдых, и я обязан вас отвести в тыл. Но я не могу этого, мне сейчас нечем вас заменить. И вот — ваш старый Гейнц просит вас...

Он оглядел всю толпу и ничего не прочёл на их лицах, задубевших от мороза, тупых, не способных выразить ни страха, ни уныния, ни даже покорной готовности умереть.

— ...просит вас, — повторил он, прижав руку к груди, — покауда ваши товарищи наступают на другом участке, ещё на три дня остаться в окопах. Подумайте хорошенько: быть может, кто-то из вас не доживёт до четвёртого дня. И любого, кто не захочет остаться, я отпущу. У меня язык не повернётся упрекнуть его. Это всё, солдаты.

Он слушал их молчание, вполне сознавая, что только оно и могло быть ответом на его призыв к последнему усилию. Мороз сжигал ему щёки и уши, ледяной ветер шевелил волосы и стягивал кожу на голове. Ему стоило усилий не вздрогнуть, не поёжиться под меховым комбинезоном.

Но какое-то движение произошло в толпе, чуткое его ухо расслышало некую перемену. И вот чей-то хриплый голос произнёс то, чего так напряжённо он ждал:

— Какие могут быть разговоры, Гейнц. Конечно... Мы останемся.

Как будто общий вздох облегчения прошёл по толпе, она смыкалась теснее вокруг его танка, и, сдавленные, вибрирующие от холода, их голоса звучали для него слаще любой музыки:

— Раз ты просишь, Гейнц, значит надо... Правда же, все, как один, останемся?

— Ты мог бы и не просить, а потребовать. Ты же немец, ты знаешь святое слово «verboten»*.

— Мы постараемся, Гейнц! Мы выведем русских из их позиций!

— Я этого не прошу, — отвечал он, почти никого не видя, чувствуя в горле запирающий комок. — Только в своих окопах. И только на три дня. За это время придёт пополнение, придут снаряды, горючее, вы наденете зимнее обмундирование. И отдохнёте в тепле.

— Не слишком ли много обещаешь, Гейнц?

Это послышалось сзади, и он обернулся — резко и гневно. Некто — маленький, чернобородый и носатый, похожий на итальянца, закутанный поверх шинели в рваное одеяло, — сердито хмурясь, зажав автомат под мышкой, простирает руки к створкам жалюзи, откуда веяло теплом двигателя.

Гудериан, рассмеявшись, сверкая зубами, показал на него рукою.

— Этому уже ничего не надо. Согрелся у моей задницы.

Тот, вздрогнув, убрал руки, смутился, но все уже смотрели на него с чем-то похожим на улыбки, и он тоже попытался улыбнуться.

* Запрещено.

Торстен Владимов

— Как тебя зовут? — спросил Гудериан.

— Рядовой Вебер, господин генерал-полковник.

— Господин Вебер, зачем такие строгости? Меня зовут Гейнц. А тебя?

— Ну, Фридрих... Фридрих Вебер.

— Что ты говоришь! Неужели — Фриц?

Тот, ещё больше смутясь, согнав улыбку, спросил с обидой:

— Не понимаю, что тут смешного?

— Ничего. Мой отец был Фриц. И мой брат — Фриц. Я смеюсь над тем, как тебя называют русские: «мороженный Фриц». По их понятиям, ты уже не вояка. Что скажешь на это?

И этот коротышка, такой с виду тшедушный — но, видно, из тех, кто показывает характер и в бою, и в постели, — вдруг закричал, трясаясь от ярости, подняв руку со скрюченными пальцами, никак не сжимавшимися в кулак:

— Прикажи атаковать, Гейнц!

— Ну-ну, успокойся...

— Ты увидишь сегодня «мороженого Фрица»! Десять русских покойников, тёпленьких, я тебе обещаю!..

Нет, это всё-таки было войско. Тевтонский дух под ровными рядами глубоких касок, под штандартами на парадном плацу, в гулком шаге марширующих легионов — это чересчур просто!.. Они этот дух явили — за пределом отчаяния, вмерзая в сугробы рядом с мертвецами; они уже с мыслью простились когда-нибудь вернуться к жизни, но при первом же к ним призыве встрепенулись, воспрянули, как боевые кони при пении горна, и вот уже шли гурьбою за его танком и требовали, потрясая оружием:

— Поведи нас хоть сейчас, Гейнц!

— Мы согреемся в атаке!

— Помнишь, как было под Дюнкерком?

— А как форсировали Березину? То ли ещё было!

...Что сказали б они сейчас, увидя, как он бредёт по дну бесконечного оврага, указывая водителю, где полуже, и уже заранее зная, что опять ничего не выйдет! Белый танк они бы, пожалуй, не разглядели в темноте, а лишь его самого в чёрном комбинезоне, кому-то куда-то

указывающего рукой, — зрелище, наверно, диковинное, но и жалкое; тот, «мороженный», хорошо бы посмеялся в отместку.

Оставив все попытки, он забрался в танк и приказал выключить двигатель, а люк держать открытым, чтобы не упустить какой-нибудь случайной машины. Он не решался радовать о своём несчастье, десятки слушачей услышали бы его просьбу, которую нельзя было даже зашифровать, и, разумеется, разнесли бы по всему фронту. Скорчась в остывающей стальной коробке, боясь задремать и время от времени взбадривая экипаж, он всё возвращался к тем егерям и думал о том, что солдатское обещание, которое он вырвал сегодня — нет, выманил! — из их обмерзающих уст, его самого повязало путами и давит на него убийственной тяжестью. Генерал, повелевая солдату умереть, по крайней мере не обманывает его. Но он трижды убийца, когда обещает победу, в которую сам не верит.

Близко к полуночи случайная машина связи подобрала их и доставила в штаб 2-ой танковой армии, расположившийся в Ясной Поляне, имени Толстого. Белые башни ворот — как и впервые, когда он в них въезжал, — показались ему бастионами, которые всякий раз приходится брать заново, и, поднимаясь к усадьбе аллеей могучих лип, он чувствовал, что поднимается к самому значительному за всю его жизнь решению.

Адъютант и офицеры штаба, ждавшие его с докладами, помогли ему стащить комбинезон, и он поужинал с ними за семейным столом Толстых, отогреваясь коньяком и рассказывая со смехом о происшествии в овраге. Он знал, что об этом будут рассказывать в армии его словами и подражая его интонации. С тем он отпустил их спать, попросив, чтоб они, не зовя денщиков, убрали со стола и заменили все четыре свечи в подсвечнике. Кроме того, он заказал связь с командующим группой армий «Центр» генерал-фельдмаршалом фон Боком — как только представится возможным.

Несколько минут он просидел неподвижно, прислушиваясь к шорохам, скрипам и жалобным вздохам старого дома, к вою метели и окрикам патрулей, проникавшим сквозь

плотные светомаскировочные шторы, затем встал, подошёл к стенному зеркалу в потресканной овальной раме орехового дерева. Зеркало, в которое, наверное, любили смотреться дочери Толстого, отразило сухошавую, но и достаточно плотную фигуру 53-летнего генерал-полковника германских бронетанковых войск, в сером мундире с чёрным плюшевым воротником, с Рыцарским крестом на шее и особо ценимой наградой — дубовыми листьями к Рыцарскому кресту, начавшее стареть мальчишеское лицо с серо-голубыми глазами и небольшими, пшеничного цвета, усами. Сейчас, когда лицо не для кого было делать, не выглядело оно ни улыбочивым, ни лукавым, а было измученно-серым. Вглядываясь в себя придиричиво, как женщина, он его умыл рукою, но только резче обозначились набрякшие потемнения под глазами. Затем рука опустилась, расстегнула две пуговицы мундира, проникла за обшлаг к левой стороне груди. Никто во всей армии, даже из самого близкого окружения, не знал, что храбрый Гейнц, казавшийся воплощением здоровья духа и тела, в сущности, очень больной человек, подверженный внезапным обморокам и сердечным припадкам. Пока ещё эту железную, но одетую в мягкое руку, сжимавшую сердце пугающим теснением, удавалось разжать двумя рюмками коньяка. Но рано или поздно следовало всё же открыться врачам. Он собирался это сделать в Москве. Но из сегодняшнего оврага Москва ему показалась уж слишком далёкой.

Взяв тяжёлый подсвечник, он перешёл в кабинет хозяйна, к письменному столу, которые были теперь его кабинетом и его рабочим столом. Решение было ясно и почти готово, но, страшась его, отодвигая его в сознании, он решил прежде написать письмо жене. Он ей пожаловался на теснения в сердце, о которых она уже знала, описал подробно свои ощущения и попросил, чтоб она осторожно, без огласки, посоветовалась с врачом. И далее, почти без перехода, обрушил на неё жалобы совсем не медицинского свойства, точно бы фрау Маргарита Гудериан, его Гретель, одна во всей Германии, могла ему и в этом помочь. Впрочем, годы спустя, называя три вещи, которые «делают нашу земную жизнь священной», упомянет он — любовь к женщине, и это,

несомненно, о ней, Маргарите Герне, с которой встретился двадцати пяти лет от роду, счастливым лейтенантом, командиром егерской роты, и особо оценил её способность быть *верной подругой солдату*, — кому же ещё и было адресовать горестные признания?

«Мне самому никак не верится, — выводила его рука, — чтоб за два месяца можно было так ухудшить ситуацию, которая казалась почти блестящей!..» Ей предстояло узнать, что «наше командование слишком натянуло тетиву лука, оно требует от армии выполнения задачи, невыполнимой при теперешнем состоянии дорог, погоды, снабжения частей горючим, техникой, зимним обмундированием...» К ней, наконец, посылался вопль души, говоривший и о том, что её Гейнц знает цену себе, своему умению, и о том, что резервы его умения исчерпаны: «Не могу же я один опрокинуть весь Восточный фронт!»

Но — откуда же взялось малое это словечко «почти», которое сама рука вывела и не решалась зачеркнуть? Не казалась ли ситуация блестящей — без всяких «почти» — в начале вторжения, хоть было известно заранее, и ему больше, чем кому бы то ни было, что русский «танковый аргумент» впятеро превосходит немецкий? «Зато, господа, — так ему передали слова фюрера, — у нас есть Гудериан!» И как кружила голову эта легкомысленная, в сущности, похвала!.. «Мой дорогой генерал-полковник, сколько дней вам понадобится разделаться с Минском?» — «Пять-шесть, мой фюрер.» — «Значит, я могу быть уверен, что вы там будете по крайней мере 28-го?» — «Да, мой фюрер.» Он ошибся — на один день: его танки и танки группы Гота были в Минске 27-го. Блицкриг с опережением на один день, пусть даже с запозданием на неделю, — разве не блестяще?

Но ещё весной, когда в Германии в последний раз побывала военная комиссия русских, и они, осматривая заводы Порше, спрашивали недоверчиво: «Неужели Т-IV ваш самый тяжёлый танк?» — закралось подозрение, что не в одном численном превосходстве дело. И уже в конце июня разнеслась весть о новом русском танке, превосходившем всё, что знало до сих пор танкостроение. В это не хотелось верить, но первое же знакомство с пленённым «русским

Кристи»*, под скромным индексом «Т-34», все сомнения опровергло. Поразило прежде всего изящество форм, наклонные плиты корпуса и башни, круглый её лоб. Ни одной вертикальной плоскости, и какая приземистая посадка, и какие широкие, в полметра, гусеницы! — как не додумались до этого ни Кристи, ни Фердинанд Порше, ни он сам, наконец, кого считают создателем бронетанковых сил Германии! Ему не терпелось испытать «тридцатьчетвёрку»; сев за рычаги, он погонял её по полю, изрытому окопами и воронками, пробил кирпичную стену, пострелял из пушки и обоих пулемётов — башенного и курсового. Потом её расстреливали из танковых пушек — она сопротивлялась активно, отсылая снаряды в небо, от попаданий под прямым углом оставались одни вмятины; только ударом сзади, в радиатор, удалось её подорвать. Танк умер, но не загорелся — и значит, спас был свой экипаж, — ведь он работал не на бензине, от которого немецкие танки полыхали кострами. Подойдя к этой чудомашине, положив руку на тёплую броню, он только и мог сказать с улыбкой восхищения, скрывавшей растерянность, ошеломление: «На таком лимузине я бы объехал весь мир!»

Это нельзя было превзойти, это — увы! — нельзя было даже повторить. Немецким изобретением — дизелем — русские распорядились, как не смогли сами немцы: в алюминиевом исполнении, из некоего загадочного сплава, он получился компактным и лёгким и достаточно охлаждался в корме танка. Безвестному русскому конструктору удалось преодолеть то, что составляло нелепый, чудовищный парадокс Германии: лёгкие бензиновые моторы на танках и чугунные дизели — на самолётах, где они ещё могли охлаждаться в скоростном потоке воздуха.

Бывая несколько раз в России, ещё в двадцатые годы, в составе миссии генерала Лютца, он себе не составил впечатления, что русские смогут так вырваться вперёд. Они

* Уолтер Кристи (Walter Christie) — американский конструктор, заложивший принципиальные основы танкостроения. Немцы называли «русскими Кристи» советские танки ввиду слишком откровенного заимствования его конструктивных решений. В отношении «Т-34» это несправедливо.

охотно показывали свои заводы и полигоны, он присутствовал на манёврах в Казани, бывал и в Туле, по этому шоссе, что в двух километрах отсюда, неслись тогда кавалькадой машины, и майор Гудериан с командиром механизированного полка П. так мило, откровенно беседовали — оба, конечно, не предвидя, что когда-нибудь генерал-полковник Гудериан встретит и обнимет генерал-лейтенанта П., угодившего к нему в плен под Киевом. У вынужденного гостя за дружеским ужином он и спросил напрямую, как создавался русский танк и почему немцы о нём не знали. «Всё очень просто, Гейнц. Его делали враги народа — значит, делали на совесть и, конечно, подпольно». — «То есть?» — «Заключённые. В особом цехе паровозного завода в Харькове. Ваши агенты искали небось на Тракторном?.. А имя русского Кристи — Кошкин. Кажется, ему пришили троцкизм, а может быть, даже покушение на Сталина. Это, в данном случае, не важно. А важно, что у него были идеи и три хороших помощника. Много приходилось делать впервые — и, конечно, не обошлось без русской смекалки. Когда имеешь крупновскую сталь, не задумываешься о формах; у них такой стали не было, а требовалось обеспечить непробиваемость — вот откуда наклонные плиты. Алюминиевый дизель — тоже от нужды: ты себе представляешь, сколько бы весил чугунный — при мощности в пятьсот сил, да ещё проблема охлаждения!.. Пришлось изобрести новый сплав. Тут главное — стимул: как-никак дополнительное питание и каждый месяц свидание с женой, сутки в отдельной камере. В случае успеха обещали освобождение». — «И они его получили?» — «Кроме Кошкина. Он освободился сам. Слишком волновался на испытаниях, сердце не выдержало...»

Так этот безвестный Кошкин из своего заточения, теперь уже — из могилы, достал-таки его, известного всей Европе, с Рыцарским его крестом и дубовыми листьями. Так четверо узников, вдохновляемых мечтой о свободе и о второй миске похлёбки, сотворили настоящее танковое чудо и заставили сжаться в тревоге сердце Гудериана! «Истинно говорится, — сказал он П., — не камнем и не железом крепка тюрьма. Она крепка арестантами. Пожалуй, рухнет она — без одного хотя бы узника-патриота». — «Не сомневайся,

Гейнц, — ответил П., усмехаясь. — Кошкин у нас не один. У нас таких патриотов — сколько понадобится».

(Разговор о патриотизме продолжился после ужина. «Изда, где тебя поселили, Миша, — сказал Гудериан, — не имеет заповор. Часовые, случается, засыпают на посту. В какой стороне восток, можно определить по звёздам, а впрочем, я подарю тебе компас. И можешь взять с собою двоих». П. размышлял минуты две — и отказался: «Кто же поверит, Гейнц, что я, генерал, ушёл от Гудериана!» — «И ты, патриот, предпочитаешь чужую тюрьму?» — «Я предпочитаю тюрьму, — отвечал П., — трибуналу и стенке. Спросят, почему не разделил судьбу Кирпоноса*, — и что я отвечу?»)

Но ведь были же — хотя всё больше вводилось в бой этих «тридцатьчетвёрок», — были «котлы» Белостокский, Киевский, Брянский, были за полгода три миллиона русских пленных, из которых он мог половину отнести на свой счёт. Что же это за страна, где, двигаясь от победы к победе, приходишь неукоснимо — к поражению?

Между тем он не мог не помнить, что на этом самом столе, за которым сидел он, лежала некогда рукопись, в которой объяснялось, что это за страна и откуда же черпает она такую силу сопротивления, когда уже всему миру и самой себе кажется поверженной и разбитой. Готовясь к вторжению, он читал эту книгу в числе материалов, относящихся к походам в Россию Карла шведского и Бонапарта, разыскал её и здесь, в библиотеке усадьбы, но именно теперь, когда она его больше интересовала, он мог читать лишь урывками, по несколько минут перед сном. Всё же одно место, подводившее итог Бородинскому сражению, было у него заложено муаровой ленточкой, и он к нему возвращался и возвращался:

«Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденное чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все... солдаты французской армии... испы-

* Кирпонос Михаил Петрович (1892—1941) — генерал-полковник, командующий Юго-Западным фронтом. В окружении под Киевом, согласно официальной версии, погиб в бою, по слухам — застрелился.

тывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв ПОЛОВИНУ ВОЙСКА, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения... Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знамёнами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная была одержана русскими под Бородином... Французское войско ещё могло докатиться до Москвы, но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть... Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, гибель пятисоттысячного нашествия и гибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника».

Из этих строк, так энергично звучавших на немецком, но, быть может, утративших в переводе свой подспудный, мистический смысл, он хотел извлечь урок для себя — и не мог извлечь, хотя шёл так близко от дороги Наполеона и несколько раз её пересекал. Он не испытывал наложения чьей бы то ни было руки, сильнейшей, чем его рука, не ощущал и нравственного превосходства советских генералов, так щедро бросавших лучшие силы на убой, без расчёта и смысла, слишком оправдывая известное положение Альфреда фон Шлиффена, что и побеждённый вносит свою лепту в дело твоей победы. Отдавая должное русским солдатам, их доблести, спокойной жертвенной готовности расстаться с жизнью, он в то же время твёрдо полагал, что они, в отличие от немцев, безынициативны, страшатся любой неясности, ведут себя непредсказуемо даже для них самих. То, поддавшись необъяснимому страху, сдаются овечьим стадом или бегут, не разбирая дороги, а то вдруг отчаянная горстка их вцепляется намертво в клочок земли, не стоящий не только их жизни, но одной капли крови. О защитниках Брестской крепости, сражавшихся только потому, что не могли поверить в бегство своей армии и не понимали, в каком они глубоком немецком тылу, об этой крепости, за которую фюрер всё укорял его, потому что, видите ли, обещал Муссолини дать обед в её стенах, он, Гудериан, говорил: «Значение этой крепости

неизмеримо вырастает, коль скоро мы ею интересуемся, и падает до нуля, когда перестаём интересоваться. Нужно у одного её входа поставить пулемётное гнездо и прожектор и у другого входа пулемётное гнездо и прожектор, самим же двигаться дальше».

Некоторые военные страницы Толстого он не мог читать без чувства неловкости за автора. Пренебрежение к «подвученным кускам материи на палках» или к цене пространства, где размещены войска, ещё можно было простить непрофессионалу, нельзя было ни простить, ни понять его упрямое непризнание войны как искусства, а не только бедлама, хаоса, в котором никто ничего предвидеть не может, а поэтому никакой полководец на самом деле ничем не руководит. Сколько страсти было потрачено — доказать, что Наполеон не руководил и не мог руководить ходом сражения при Бородине! И при этом автор забыл начисто, какой комплимент он уже отпустил Наполеону, когда описывал, как он с ходу, ещё до начала сражения, атаковал конницей Шевардинский редут и тем заставил русских передвинуться к полю, которое «было не более позицией, чем любое другое поле в России» и на котором «немыслимо было удержать в продолжение трёх часов армию от совершенного разгрома и бегства». Да после такого трюка, выигрыша позиции, Наполеону и не было нужды руководить самому, он мог всё препоручить своим маршалам, а сам идти играть в карты или пить свой пунш. Ну, и если быть справедливым, то и своим названием Бородинская битва обязана ему, а то б она была — Шевардинская. Однако ж у автора не поднялась рука написать, что битва была *выиграна* Бонапартом — ещё за двое суток до того, как она началась, — со скрежетом зубным он признал только, что она была *проиграна* глупым русским командованием. Граф, верно, придерживался того расхожего мнения, что из двух генералов один побеждает просто потому, что должен же кто-то оказаться глупее. Остроты подобного рода не трогали Гудериана, знавшего к ним поправку: подозрительно часто побеждает как раз тот, кого заранее считали глупее.

Но один эпизод по-настоящему трогал его и многое ему объяснял — то место, где молоденькая Ростова, при эвакуации из Москвы, приказывает выбросить всё фамильное

добро и отдать подводы раненым офицерам. Он оценил вполне, что она себя этим лишила приданого и, пожалуй, надежд на замужество, и он снисходительно отнёсся к тому, что там ещё говорится при этом: «Разве ж мы немцы какие-нибудь?..» Что ж, у немцев сложился веками иной принцип: армия сражается, народ — работает, больше от него никогда ничего и не требовалось. Вот что было любопытно: этот поступок сумасбродной «графинечки» предвидел ли старик Кутузов, когда соглашался принять сражение при Бородине? Предвидели ли безропотное оставление русскими Москвы, партизанские рейды Платова и Давыдова, инициативу старостихи Василисы, возглавившей отряд крепостных? Если так, то Бонапарт проиграл, ещё и не начав сражения, он понапрасну растратил силы, поддавшись на азиатскую приманку «старой лисицы Севера», на генеральное сражение, которое во все и не было генеральным, поскольку в резерве Кутузова оставались главные русские преимущества — гигантские пространства России, способность её народа безропотно — и без жалости — пожертвовать всем, не посчитаться ни с каким количеством жизней. И что же, он, Гудериан, этого не предвидел? Где же теперь искать *его Бородино*?

Ведь он всячески избегал этих азиатских приманок, встречи грудь с грудью — как прежде всего остановки в движении; без движения не было «Быстроходного Гейнца», теряли цену его манёвры охвата, клещей, рассекающие удары, быстрые рокадные перемещения, знаменитое его «вальсирование», «плетение кружева» — не теряя при этом контроля над всеми своими танками, держа их всегда «в кулаке, а не вразброс». А приманка спокойно дожидалась его — Киев, поворот армии на юг, к Лохвице, где его танкисты встретились с танкистами фон Клейста и своим рукопожатием замкнули «котёл» с пятью русскими армиями. Более чем полмиллиона пленных — разве не блестящая победа? Но блицкриг имеет одну особенность: он не терпит изменений, даже изменений к лучшему. Было гибельным уходить с главного направления, на Москву. Почему же на том совещании в Борисове он согласился с фюрером, который вдруг перестал интересоваться Москвой и всё внимание обратил на Киев и Ленинград? Почему оставил попытки переубедить,

не пригрозил отставкой? Потому что — солдат? Нет, этого мало сказать. Ему и самому захотелось уйти с Ельнинского выступа, где русские оказали сильнейшее сопротивление и где как раз назревало генеральное. Ему и самому казалось, что «сбегать» на 450 километров к югу и вернуться — ещё успеется до зимы. Не успелось. И не без оснований укорял его тогда Гальдер*, этот сухарь, штафирка, профессор, в жизни не командовавший даже полком, к тому же ухитрившийся не присутствовать на совещании:

— Как вы могли, мой дорогой Гудериан, согласиться на это? Ведь вы были против такого решения. На какой крючок вас поддели?

Было дико и обидно слушать это Гудериану, который, единственный из генералов, осмелился возражать фюреру. Но именно потому, что это было дико и обидно, он, вскипая, отвечал надменно и заносчиво, а главное, уже почти убеждённо:

— Я два часа говорил с фюрером наедине, и он сумел меня переубедить. Я обещал ему и я исполню обещанное как можно лучше. Я сделаю невозможное возможным.

— Но в таком случае, мой дорогой Гудериан, сами же и планируйте вашу операцию. Позвольте Генеральному штабу к ней пальцем не прикоснуться. Мы не занимаемся наступлениями, которые относятся к категории «невозможных».

— Мой дорогой Гальдер, — отвечал Гудериан, уже взяв себя в руки, улыбаясь своей знаменитой улыбкой солдата, славного парня, — это как раз то, о чём я всегда мечтал. Чтоб Генеральный штаб занялся посильным для него, а к моим операциям пальцем бы не прикасался.

Сухарь и штафирка был, однако, прав — разумеется, не от избытка ума, а от унылого житейского понимания, что этой стране всё на пользу, а прежде всего — её бедность, её плохие дороги, её бесхозяйственность и хроническое недоедание в деревнях, недостаток горючего, мастерских, инструмента, корма для лошадей. Теми шестьюстами с лишним

* Франц Гальдер — начальник Генерального штаба сухопутных войск. После 20 июля 1944 года Гитлер на эту должность назначит Гудериана.

тысячами пленных русские оплатили главное для себя — время, они купили себе и дождливую осень, и нестерпимо холодную эту зиму, всю дьявольскую полосу невезения, в какой сейчас оказались немцы. И хорошо, если только время утеряно. А если — мужество? А если даже смысл вторжения?

«Я только солдат», — говорил он о себе, но чем-то должна же была вдохновляться его энергия, не одними же мечтаниями о фельдмаршальском жезле, и она вдохновлялась сознанием, что серой чуме большевизма не сможет противостоять дряхлеющая Европа, предел поставит — лишь сильная духом, отмобилизованная Германия. И он чувствовал себя остриём меча, взнесённого отрубить все девять голов гидры, но, к сожалению... к сожалению, неповоротливую его рукоять держали другие. И не им это было заведено: генералы делают войну, политики делают политику. Как же втолковать тем господам в Берлине, которые не любят выглядывать из мира своих иллюзий, из скорлупы святого неведения, что здесь, в России, приходится заниматься и тем, и другим, и даже неизвестно, чем в первую очередь, приходится — страшно сказать — переосмысливать и самые цели войны? Как бы, к примеру, они отнеслись к словам старого царского генерала, которого он безуспешно приглашал в бургомистры Орла:

— Вы пришли слишком поздно. Если бы двадцать лет назад — как бы мы вас встретили! Но теперь мы только начали оживать, а вы пришли и отбросили нас назад, на те же двадцать лет. Когда вы уйдёте — а вы уйдёте! — мы должны будем всё начать сначала. Не обессудьте, генерал, но теперь мы боремся за Россию, и тут мы почти все едины.

При этом он был в мундире со всеми регалиями, пронафталиненном и со складками от двадцатилетнего хранения на дне сундука. И не отказывался поведать, как все эти годы он трясся от страха, что его генеральство откроется.

В те же дни было доложено Гудериану, что в камерах и подвалах городской тюрьмы найдены сотни трупов — узники, расстрелянные за день или два до падения города. Он приказал выяснить, кто эти люди и за что казнены. Ему пришлось, и не в первый раз, убедиться, что этот вопрос «За что?» — конкретный для любого мясника из гестапо, — здесь

звучит безнадёжной абстракцией. Ни один из казнённых не имел смертного приговора. Были, чаще всего, с 5-летними сроками, у некоторых они уже кончались, были и вовсе не имевшие приговора, только ещё подследственные — в большинстве по делам о «вредительстве», «антисоветских заговорах», «контрреволюционных намерениях»...

Он приказал выложить все трупы рядами на тюремном дворе и открыть ворота для всего города. Он и сам явился туда, назначив себе пятнадцать минут, и терпеливо их отстоял у стены, близкий к обмороку. Всё же он переоценил свои нервы, это оказалось ещё ужасней, чем он ожидал, чем если бы эта массовая бессмысленная казнь совершалась на его глазах. Боевого генерала не поразишь видом и запахом мёртвых тел, даже и в больших количествах, но до сих пор он их видел на полях боёв, в безмолвии и покое уже свершившегося и необратимого. Невыносимее было видеть — живых, когда они в припадке горя и какой-то сумасшедшей надежды пытались что-то вернуть, оживить родные лица, уже тронутые разложением, лаская их, исцеловывая, обливая слезами. Но что потрясло его ещё сильнее, было ужасней и смрада, и нескончаемого, не утихающего вопля — то, как смотрели на него самого: со страхом и ясно видимой злобой. Будто и он был к этому причастен или тем виноват, что мёртвые глухи к отчаянным мольбам откликнуться. Явно, от него требовали уйти, и он бы ушёл немедленно, но дело касалось армии, за которой не было вины, и люди должны были это понять!

Между рядами, щедро крестя убитых и живых, похаживал священник в лиловой рясе, полненький, сивогривый, потёртый русский батюшка, по всему виду — выпивоха и чревоугодник, но душою жалостливый и любвеобильный. Он всех оплакивал щедрыми непросыхающими слезами, то и дело утирая глаза и нос подолом рясы. Гудериан велел пододвать его и спросил:

— Почему ваша паства так на меня смотрит? Кто-нибудь им сказал, что это сделали мои танкисты?

Покуда переводили его вопрос, батюшка, всхлипывая и ёжась от страха, смотрел снизу вверх на стройного генерала в чёрном плаще и фуражке с высокой тульей, на которой

серебряный орёл держал в когтях венки со свастикой. Кажется, все слова застряли у него в горле от вида могучих охранников, немедленно, как только он подошёл, направивших на него винтовки. С этими парнями, тупыми — но, впрочем, готовыми умереть за него, — Гудериан ничего не мог поделать, они выполняли приказ фюрера, они головой отвечали за сохранность танкиста номер один.

— Говорите, — сказал Гудериан, — они вам ничего плохого не сделают. Но лучше, если оставите в покое вашу рясю.

Батюшка в ответ закивал и, не удержавшись, икнул от слёз.

— Господин генерал, вы бы не хотели, чтоб вам отвечали грешные мои уста, но ответила бы душа, потрясённая горем?

— Так, — сказал Гудериан. — Только так.

— Никто не думает, что это сделали ваши танкисты. Но может быть, не случилось бы этого, если б не ваши танки?

— Вы хотите сказать: я наступал слишком быстро? Перерезал шоссе, не дал времени для эвакуации? Это моё ремесло, батюшка. Старинное и почтенное, Бог его не отрицает. Я только стараюсь делать своё дело как можно лучше. Но вы уверены, что, если бы я его исполнял хуже и у тюремщиков было время, они бы не перестреляли узников, а вывели на грузовиках? Я почему-то уверен в другом: они бы сделали то же самое, а на машинах вывели бы самих себя и своё добро — как можно больше.

— Кто и в чём может быть уверен, кроме Бога единого?

— И тем не менее вы мне бросили упрёк. Хорошо, я его принимаю. Но тех, кто это сделал, вы не упрекаете, вы о них молчите. Как будто они — механическое следствие, безрассудная слепая сила. Как ураган, как землетрясение...

Батюшка, озираясь на винтовки охранников, тяжело вздохнул, по лицу его, по глубоким морщинам поползли слёзы.

— Да не обижу вас, господин генерал...

— Говорите всё.

— ...но это наша боль, — вымолвил батюшка, — наша и ничья другая. Вы же — перстами своими трогаете чужие раны и спрашиваете: «Отчего это болит? Как смеет болеть?» Но вы не можете врачевать, и боль от касаний ваших только усиливается, а раны, на которые смотрят, не заживают дольше.

Горный Владимир

— Значит, по-вашему, я сделал ошибку, что показал вам эти ваши раны? Лучше было бы скрыть их?

— Каждый шаг человека есть ошибка, если не руководствуется он любовью и милосердием. И если будете честны перед собою, господин генерал, то признаете...

— Благодарю, — сказал Гудериан. — Не смею вас задерживать.

Он прервал — не священника, а переводчика, уже догадавшись о сказанном и зная, что могло бы этому батюшке и не поздоровиться — потом, за его спиною. Уже сделали стойку офицеры из отдела пропаганды, пописывающие доносы и на него самого в Берлин, — впрочем, аккуратно перехватываемые своим человеком в армейской контрразведке, — да и не было нужды выслушивать то, что было на уме у всех у них, плачущих, вопящих, причитающих, и что он знал и без этого. Ты пришёл показать нам наши раны, а — виселицы на площадях? а забитые расстрелянными овраги и канавы? а сожжённые деревни с заживо сгоревшими стариками и младенцами? а все зверства зондер-команд и охранных отрядов, все насилия и грабежи, совершаемые армией Третьего рейха?.. Слава о них обгоняла ход его танков и уже была здесь, на тюремном дворе, прежде чем он сюда явился. А могла ли не начаться — или хотя бы прерваться в каком-нибудь звене — эта извечная бессмысленная кровавая чехарда: сопротивление — кара за него — месть за кару — новая кара за месть — новая месть за новую кару?

...А ведь в Лохвице — той, что замкнула Киевский «котёл», — его танк забросали цветами.

Рукоять меча держали другие — и они не расслышали слов кремлёвского тирана, сказанных на одиннадцатый день войны тому самому народу, над которым он всласть наиздевался. А ведь, очухавшись, этот азиат сказал самое простое, гениальное, безотказное: «Братья и сёстры!..» Может быть, потому не расслышали, что этими же словами так дешёво бросался Гитлер; в устах угрюмого Иосифа Сталина они звучали весомей и обещали некую перемену. На самом же деле он ничего не обещал, не признал никаких своих преступлений и жестокостей, он только приспустил один флаг и поднял другой. Но и месяцы спустя Гитлер не заметил этой

перемены флага — его разгневал наглый ноябрьский парад на Красной площади, но того, что он был обязан предугадать, он опять не расслышал, не внял речи, после которой ему противостояла уже не Совдепия с её усилением и усилением классовой борьбы, противостояла — Россия.

Всегда, до конца своих дней, считавший мифом «непобедимость русского колосса», Гудериан признавался себе этой ночью, что по крайней мере летняя кампания проиграна — в тот, одиннадцатый, её день, когда из Кремля разнеслось набатным колоколом: «К вам обращаюсь я, друзья мои!..» — а в Имперской канцелярии в Берлине это было пропущено мимо ушей. Так, верно, пропустил бы и Бонапарт, если б его лазутчики донесли ему, что, покуда он выигрывает позиции и ожидает на Поклонной горе ключей от Кремля, в это время — никем не предсказанная, не учтённая, сумасбродная «графинечка» Ростова без колебаний раздаёт свои подводы раненым. А между тем она ему объявила свою войну — и не легче войны Кутузова и Барклая!..

Но — Рубикон перейдён, и время не повернёшь вспять, к 21-му июня; что ж оставалось теперь, когда наступательные силы исчерпаны? когда изношены моторы и стёрлись шипы? когда осталось горючего на два дня боёв, на столько же — снарядов, и в кулаке только четверть прежнего количества танков, и нет надежды, что всё это придёт, хотя бы через неделю? Выполняя приказ фюрера, спешить экипажи и всех повести на отчаянный штурм? Это неплохо звучало бы для истории — «Ледовый поход Гудериана». И они — превосходные солдаты, они пойдут за ним куда угодно... Но пусть кто-нибудь другой погонит их в ледяную могилу. Что может Гудериан без своих танков?!

Его рука ещё выводила в письме: «Ростов был началом наших бед...» — но он знал: что простилось фон Клейсту, не простится ему. Старик фон Клейст брал Ростов и был вышиблен из Ростова, но он не оставлял следов, он не писал приказов, не принимал кардинальных решений. Гудериан, на которого столько возложено надежд, обязан принять такое решение, на которое не отваживается Генеральный штаб, да уже и принял его, и знал, что приказ будет им написан сегодня. Он уже выбрал участок обороны, куда следовало

отвести войска от Каширы и Тулы, — линия рек Шат, Упа, верхнее течение Дона, — с командным пунктом в Орле. Здесь укрепиться, перезимовать, а весною продолжить начатое — второй кампанией. Решение казалось ему здравым и единственно возможным, но какая же была насмешка судьбы, что именно он, гений и душа блицкрига, должен был здесь, в доме Толстого и за его столом, написать первый за всю войну приказ об отступлении! Приказ, грозивший ему отставкой, немилостью фюрера, вызовом на рыцарскую дуэль, злорадным торжеством многих его коллег из генералитета. И этот доставшийся ему жребий было не обойти.

С командующим группой армий «Центр» Фёдором фон Бокком его соединили в пятом часу утра. Фельдмаршал ещё не ложился, был крайне утомлён, говорил слабым голосом и рассеянно. Когда Гудериан поведал ему о своём решении, ответа не было так долго, что казалось, прервалась связь. Наконец фон Бок спросил:

— Где, собственно, вы находитесь?

— В Ясной Поляне, пятнадцать километров от окраины Тулы.

— Я почему-то думал — в Орле...

— Господин фельдмаршал, танковые генералы таких ошибок не делают. Я нахожусь достаточно близко от своих войск, чтобы видеть воочию страдания наших доблестных солдат. И я нахожусь в достаточном отдалении, чтобы наблюдать общую картину. Она — безотрадна.

— Я понимаю, — сказал фон Бок. — Я понимаю, почему вы так решили.

Гудериан всё-таки ждал чего-то ещё. И дождался:

— Скажите, мой дорогой Гудериан, вас там надёжно охраняют? Вы хоть можете спокойно спать?

— Вполне, господин фельдмаршал.

— А я, знаете ли, хоть и в семидесяти километрах, а чувствую себя...

— Я желаю вам, господин фельдмаршал, — сказал Гудериан, — спокойной ночи.

Прерывая дерзко вышестоящего, он давал понять, что и не рассчитывал на его заступничество перед фюрером. Фон Бок ответил поспешно и даже как будто обрадованно:

— Доброй ночи, мой...

Гудериан положил трубку, не дослушав. Минуту помедлив, он дописал в письме: «Я меньше всего думаю о себе, гораздо больше меня интересует судьба всей Германии, за которую я очень опасаюсь». Затем положил перед собою чистый бланк с грифом командующего 2-й танковой армией.

Совершая свой поступок — может быть, высший в его жизни, — он чувствовал нечто похожее на смертное равнодушие бегуна, которому вдруг безразличными показались все почести, ожидающие его на финише, и ничтожным, бессмысленным — азарт первых минут бега. Никогда таких трудов не стоило ему написать несколько фраз.

— Да поможет мне Бог, — произнёс он вслух, откладывая перо.

Приказ лежал на столе Толстого. Он заканчивался обычным «Хайль Гитлер!», оставалось лишь подписать его. А «Быстроходный Гейнц» всё медлил, точно бы опасаясь, что когда эта бумажка будет подписана, он станет уже не господин её, а покорный исполнитель. Но вдруг он увидел себя со стороны, сверху, бредущим по дну бесконечного оврага, указывая путь одному-единственному танку, бесильному одолеть совсем не крутой склон. И, уже не колеблясь, он расписался. Впервые обычная его подпись — без имени, звания, должности — показалась ему как бы отделившейся от него, чуждой всему, что он делал до сих пор, чего достиг, чем прославился. Просто человек, голый и беспомощный, — *Гудериан...*

4

Этот приказ только рассылался в войска, но ещё не приводился в действие, и советский генерал, находившийся в ограде церкви Андрея Стратилата, не мог о нём знать. Бездействие противника, выбитого из деревеньки Белый Раст, успокоения не принесло; в неожиданном и как будто покорном молчании Рейнгардта могли таиться и новый коварный замысел, и ожидание какого-то обещанного ему резерва, но и просто апатия, неохота посылать измученных солдат в метель и стужу на приступ. И, предполагая худшее, генерал то

и дело гонял конного связного за полтора километра на свой КП в Лобню, к телефонному узлу, хоть проще уже было бы дотянуть провод сюда или самому туда вернуться. Чего так хотелось ему — отрешиться, подняться над суетой и неразберихой, — не вышло и здесь; неизвестность только пуще изматывала ничуть не отделившимися угрозами. Здесь был он — страус, зарывший голову в снег.

В последний раз ждали связного особенно долго, и он возник из метели почему-то спешенный, ведя коня в поводу. Рядом возник ещё некто — в белом длиннополом тулупе, ушанке и валенках; на груди висел бинокль в новеньком футляре, плотно набитая командирская сумка моталась по бедру. Ещё молодое, обожжённое морозом лицо, с ямочками на щеках, выглядело как будто смущённым.

— Просытятся до вас, товарищ командующий, — сообщил делегат связи. — Говорят: заблудились маленько.

Пришедший с ним это подтвердил — охотно вспыхнувшей зубастой улыбкой — и сказал, чуть разведя руками в перчатках, отороченных на запястьях белым мехом:

— Чего не случается... Виноват.

Генерал, убрав ногу с паперти, намеренно повернулся сначала к делегату и потребовал доклада о Белом Расте. Выслушивая внимательно — всё о том же бездействии противника, — он боковым зрением не упускал пришельца. Скрипучая амуниция и слишком чистый тулуп не выдавали в нём фронтовика, но не мог он быть и порученцем из штаба фронта и тем более из Москвы, не так держался. «Морда, однако, у него командирская», — отметил генерал. И ощутил как бы крохотный толчок в сердце: не этот ли пришелец, стоящий в неловком ожидании, и есть то событие, которое непременно должно нынче случиться, то самое, поданное свыше, знамение удачи?

— Итак, заблудились, — протянул генерал басисто, поворачиваясь наконец к нему. И деланно возмущился, играя богатым своим голосом: — Как же так? Не понимаю! И бинокль не помог?

— Однако, — возразил пришелец со своей охотной улыбкой, — всё-таки вышли на вас. Если, конечно, вы — генерал Кобрисов. Не ошибаюсь?

Делегат связи стоял с невозмутимым лицом, поглаживая храп коню.

— Ошибаетесь, голубчик, ошибаетесь, — при том шутливо-драматическом тоне, в каком говорил генерал, его можно было понять двояко. — А я с кем имею честь?

Пришелец не чересчур поспешно вытянулся, изящно касаясь перчаткой своей пышной ушанки — много пышнее, чем у генерала.

— Подполковник Веденин, командир двести шестой отдельной стрелковой бригады. Прибыли в распоряжение генерал-майора Кобрисова.

— И что же с вашей бригадой? Не дай Бог, потеряли?

— Никак нет. Видите ли... Пунктом назначения нам были указаны Большие Перемерки. Впрочем, кажется, Малые... — Подполковник было потянулся к своей сумке, но по дороге к ней отдумал. — Ну, теперь уже не важно, мы и те, и другие как-то миновали. А вышли — вот, к Лобне. Просил вашего связного нас сориентировать — он вместо этого привёл к вам...

— Умник он у нас, — сказал генерал насмешливо-одобрительно. — Да почему же «вместо этого»? Привёл правильно.

Делегат связи, глядя так же невозмутимо, стал руки по швам. Конь, звякнув удилами, положил ему голову на плечо и всхрапнул.

— Сколько у тебя людей? — спросил генерал быстро и требовательно, вынуждая к ответу столь же быстрому:

— Два полка полного состава.

— Полного состава, — повторил генерал, как эхо. — Что, только сформированы?

— Свежие, товарищ генерал.

Подполковник отвечал таким тоном, как если б сказал: «Гренадёры! Орлы!»

— Свежие — значит, небитые. Так оно — на военном языке?

— Сибиряки, однако, — возразил подполковник.

— И что же? — Генерал к нему подошёл вплотную и посмотрел сверху вниз с насмешливым интересом. — Как понимать — это особая порода: сибиряки? Вы там, в Сибири,

с медведями в обнимку ходите? Водку из миски черпаками хлебаете и живыми тиграми закусываете?

Спутники генерала готовно хохотнули, но он оборвал их, возвысив голос до командного, глядя сквозь толстые линзы пронзительно-сурово:

— Особых ваших сибирских преимуществ не наблюдаю. Заблудились вы, как малые дети. И благо ещё, на противника не вышли походной колонной. Он бы вас отлично сориентировал — в гроб.

Подполковник, противясь распекающему начальству, как это принято в армии — одними пальцами рук в перчатках и пальцами ног в валенках, — вытянулся ещё попрямее, с потемневшим, построжавшим лицом.

— Прошу, товарищ генерал, указать наше расположение и поставить задачу. Если, конечно, вы — генерал Кобрисов. Если нет — прошу помочь исправить нашу ошибку. — Он поправился: — Мою ошибку.

— Твою, — подтвердил генерал. — А то ты всё: «мы» да «мы».

И, отвернувшись, он стал прохаживаться по церковному двору, сцепив руки за спиною. Эта бригада, из двух полков полного состава, то есть верных три тысячи людей, была, как видно, обещана его соседу Кобрисову, чтоб чем-то заткнуть широчайшую брешь между правым флангом его армии и Рогачёвским шоссе, и по всем военным законам, да просто по-соседски, следовало её переправить по назначению, выделив ей — ввиду неопытности командира и полного незнания местности — проводника. Но чего они стоили сейчас, соображения соседства и даже, чёрт побери, дисциплины? Армия Кобрисова, по плану, не участвовала в наступлении и не принадлежала Западному фронту, это была одна из двух армий, которые Верховный наотрез отказался передать Жукову, а поставил на внутреннем полукольце обороны. Он оставлял себе этот резерв на тот случай, если танковые клещи Рейнгардта, Гёппнера и Гудериана всё же сомкнутся вокруг Москвы, — тогда, умирая, эти две армии позволяют эвакуироваться ему самому и его сподвижникам из Политбюро и наркоматов, с их семьями и добром. Эту бригаду нельзя было выпросить у Кобрисова, нельзя было и у

Жукова, можно лишь у самого Верховного — значит, ни у кого, разве что у Господа Бога. Но... не Им ли она и послана была ему сейчас — для тяжкого искушения: присвоить эти три тысячи молодых, крепких, неплохо как будто одетых и вооружённых, пусть и необстрелянных, но — сибиряков, охотников, стрелков! В случае успеха — когда те две армии и не понадобятся, — о, разумеется, это простят. Но не пройди он хоть два километра — у какого же трибунала будут ещё сомнения насчёт его вины и единственной за неё кары?

Мученик Андрей Стратилат, с выщербленной вратной иконы, смотрел погасшими тусклыми глазами и ничего ему не советовал, лишь напоминал о собственной страшной участи.

Командир бригады, замерев, водил взглядом за его похаживаниями, все другие тоже следили напряжённо, и долее медлить было бы уже проявлением слабости.

Генерал подошёл медленно к подполковнику и сказал, опустив взгляд:

— С Кобрисовым мы всегда договоримся. Поступаете в моё распоряжение.

— Не понял, товарищ генерал, — сказал подполковник. — Вы всегда договаривались, а сейчас только намерены договориться?

От ямочек на его щеках только сильнее теперь выделялись внушительные желваки. В нём как бы разжималась упругая до поры тугая пружина.

— О моих намерениях, — властно пробасил генерал, — прошу вопросов не задавать. В армии, согласно уставу, выполняется последнее приказание. Так что будь спокоен, ты не отвечаешь.

— По уставу оно так, — согласился подполковник, но тут же и возразил: — И всё же попрошу о вашем приказании сообщить генералу Кобрисову. Или, разрешите, я сообщу.

Это маленькое сопротивление подействовало на генерала противоположно — только утвердило его в самоуправном, опасном для него, но, быть может, чем чёрт не шутит, и правильном решении — втором в этот день, после того как он не стал препятствовать бегству на Рогачёвском шоссе и понял,

что единственного не ожидает наступающий противник — удара «кулаком в рыло».

Впрочем, не столько об этом ударе думал он, сколько о том, чтоб подавить сопротивление стоявшего перед ним, когда посмотрел на часы и отчеканил:

— Вот что, подполковник. Объяви своим людям: даю им полтора часа отдыха. И — в бой.

Командир бригады, закусив губу, вмиг утрачивая свой румянец, ещё секунду постоял в раздумье.

— Есть, полтора часа отдыха — и в бой...

— Дать ему коня, — сказал генерал. — Справишься?

Подполковник молча кивнул. Делегат связи отдал ему повод и подтолкнул в седло.

Упираясь сумрачным взглядом в спину всадника, очень прямую, но с опущенными плечами, генерал представил себе, как дрогнут сердца этих трёх тысяч, когда им объявят, что война для них начнётся не через неделю, как они того ждали и готовились, а сегодня, сейчас, и как пронзит их всех сознание, что многие из них видят друг друга в последний раз. Он представил, как они прежде замирают от этой новости, встреченной в молчании, а затем понемногу в этой трёхтысячной массе начинается движение — поначалу суетливое, потом всё более осмысленное, спокойно-расторопное: приготовление к самому худшему, что должно было когда-нибудь случиться и вот случилось. А виной тому — слово, короткое, сорвавшееся как бы и невольно...

Но между тем какое-то движение началось и вокруг него самого: как в полусне, он слышал распоряжения и команды, кто-то отвязывал лошадей у ограды, вскакивал и отъезжал, другие раскрывали свои планшеты и сумки, доставали двухвёрстные карты, планы и боевые карточки; радист, как будто и не спросясь никого, распаковывал рацию, втыкал антенный штырь с лепестками-звездой, кричал в трубку: «Заря! Как слышишь, Заря?.. Седьмой будет говорить, передаю Седьмому!..» Никто ни о чём не спрашивал генерала, всё происходило само собою, и вот из не видной отсюда балки донеслись тарахтенье и взрёвы — то заводились моторы пятнадцати танков, выделенных ему из резерва лично Верховным и называвшихся не по чину «дивизионом»;

в разрывах и опаданиях метели стало видно, как в эту балку с дальнего холма стекает на рысях казачий эскадрон и выплёскивается, совсем уже близко, на этот берег, чернея бурками, алея верхами кубанок. И с замиранием сердца, как прыгнувший с высоты, он осознал, что приказ продолжать наступление уже отдан им — или по крайней мере так именно понято неотменимое слово командующего, сказанное тому, давно уже отъехавшему, командиру бригады: «Полтора часа отдыха и — в бой!»

Были побуждения — всё остановить, властным голосом всех вернуть на прежние места, сказать, что его не так поняли, совсем не то он хотел сказать. Но рот его, крепко сжатый, словно бы не мог разжаться, не могла, не смела гортань исторгнуть самые простые слова. И вместе с тем одна мысль, и окрыляющая, и парализующая, билась в нём, посылая толчками кровь в виски: что его поняли именно так, и приказал он именно то, что хотел — и не решался.

Если бы знать ещё с утра, что судьба даст ему пройти в наступлении не два километра, на что он смутно надеялся, и не двадцать, о чём он даже мечтать не смел, но все двести километров — до Ржева — будет его армия гнать перед собою немцев, этим рывком — от малой деревеньки Белый Раст на Солнечногорск — побудив и приведя в движение все шесть соседних армий Западного фронта!

Так минута его решимости и час безволия определили судьбу Москвы.

И хотя остальное уже не от него одного зависело, он навсегда входил в историю спасителем русской столицы — той, куда четыре года спустя привезут его судить и казнить, и всё же никогда, никакими стараниями, не отделят его имя от её имени.

Через неделю газеты всего мира заговорят о «русском чуде под Москвой», но в этот час оно показалось чудом, пожалуй, лишь одному человеку — Шестерикову, стоявшему в совершенном отчаянии на обочине шоссе над своим умирающим генералом. Уже и милиционер отвалил, исполнив свой же завет: «Всем драпать пора». Всё же, к его чести, он ту горбушку отработал — более ничего из вещей не было украдено, он даже нагрёб на них сапогами отличный холмик.

Другим таким холмиком, только подлиннее, был генерал. Однако ж, возле его рта ещё оттаивало, и, значит, Шестерикову не пора было драпать.

Неожиданно сквозь завесу метели разглядел он поодаль, в поле, нечто неясное и странное, двигавшееся встречно движению по шоссе. Редкой цепочкой выплыло несколько танков, тащивших за собою сани, а в санях плотно сидели люди — в белых полушубках, в ушанках, в валенках, — держа к небу чёрные стволы автоматов. Белыми призраками, в маскхалатах, скользили друг за другом лыжники, с притороченными за спиною винтарями. И, как в сновидении, медленной-медленной рысью, размётывая сугробы, шли чёрной россыпью конники в мохнатых плечистых бурках; передний держал стоймя у ноги зачехлённое знамя.

До сих пор Шестериков только убегал и прятался, и если б ему сказали, что он присутствует при начале *великого наступления*, он бы не то что не поверил, а не допустил бы до ума. Его озарила надежда — сугубо практическая: ближайший к нему танк, притом свободный от саней, полз в каких-то шагах тридцати, и он вовсе не был миражом, он рокотал двигателем, и чёрное облачко выхлопа реяло за его кормой; если изменили Шестерикову глаза и уши, так нос почуял знакомый запах работающего трактора. Это был танк, вещь убедительная, почище той сорокапятки, о которой возмечтали они с милиционером, и даже той зенитки с её ненадёжной станиной. И он кинулся наперерез, размахивая маузером, крича танку остановиться. Против слепой махины он себе сам казался муравьём, размахивающим лапкой против сапога. Но чудо произошло: танк ход замедлил, и приподнялась крышка башенного люка; вынырнуло из-под неё юное лицо, под сдвинутым на затылок чёрным шлемом, и ворот комбинезона с лейтенантскими кубиками.

Мальчишка-лейтенант, выбравшись до пояса, оглядывался по сторонам горделиво и мечтательно, дыша открытым ртом. Он будто и не слышал Шестерикова, который бежал рядом вприпрыжку, вздевая к нему руки и выкрикивая свои мольбы. Однако, не ответив ни слова, лейтенант кивнул ему, приопустился в люк и что-то там скомандовал. Танк повернулся на месте и пополз к шоссе. Он пересёк наискось

кювет, но весь на дорогу не выполз, а, медленно вращая башню, перегородил путь, как шлагбаумом, длинной своей пушкой.

Для лейтенанта, картинно стоявшего в люке, это могло добром не кончиться, и Шестериков ему покричал побережись, но тот либо не расслышал, либо по молодости не учёл. Впрочем, стрельнуть не посмел никто, а первая же повозка остановилась, и лошади, как их ни нахлёстывал ополоумевший ездовой, перед пушкой осадил, храпя и вылезая из хомутов. Бывшие в повозке, человек восемь, выскочили и пробежали, но ездовой своих кóзел не покинул, смотрел в страхе на лейтенанта, который молча, рукою, показывал ему на Шестерикова.

— Милый человек! — Шестериков бросился к ездovому, прижав одну руку к груди, а другой, по забывчивости, направляя на него маузер. — Пропустит он тебя, помоги только с генералом. Довези ты мне его до Москвы, до госпиталя, а там уж как Бог положит...

С натугой дошло до ездovого, что снежный холмик и есть генерал. Другие сообразили живее и уже покрикивали руководяще: «Под мышки его бери, а ты — под коленки...» — а там, не усидев, и сами кинулись помогать.

Шестериков уложил генерала на сено — головою вперёд, к Москве, сдул с лица снег, подоткнул сена под затылок ему и под бока, сеном же накрыл ноги, обмотанные грязным бельём, хотел бы и перекрестить, но постеснялся ездovого и лейтенанта, только махнул рукой танку. Пушка медленно отвернула, и ездovый, мига не теряя, нахлестал лошадей в галоп.

Шестериков подошёл к лейтенанту, который, так ни слова и не произнеся, стоял в люке горделиво, едва только не подбоченясь.

— Слышь, лейтенант, а как мне тебя потом вспоминать? — спросил он и благодарно, и с немалым удивлением. — Ведь так ты меня, милый человек, выручил! И откуда вы, такие, взялись тут? Все отступают, а вы наступаете...

То, что ответил ему лейтенант, перед тем как закрыть над собою тяжёлую крышку люка, сказать правду, не произвело на Шестерикова особенного впечатления. Но время спусти

он вспомнил эти слова отчётливо — и с горьким сожалением, что никогда никому невозможно их повторить:

— Запоминай, кореш: Двадцатая армия наступает! Командующий-то у нас — Власов Андрей Андреевич. Он же шуток не понимает, всё всерьёз.

Шестериков никогда не узнал, что лейтенанту этому уже не суждено было открыть люк самому. Встретясь через какой-нибудь час с головным отрядом 9-ой немецкой армии, его танк получил в башню снаряд, и хоть тот не пробил брони, но отколовшийся изнутри кусочек стали dokonчил дело, проникнув сквозь шлем и кости черепа в мозг...

Не узнал Шестериков и того, что люди, которых так неожиданно он разглядел сквозь завесу метели — десантники в санях, лыжники, всадники, — сгодились только на то, чтоб нанести 9-ой армии единственный встречный удар — и едва не всем полечь, устлав широкое поле белыми полушубками и маскхалатами, чёрными плечистыми бурками. Но и 9-я армия остановилась. Но и ей не хватило сил двинуться дальше, переступив через их тела. Самое большее, чего она достигла — завладела ненадолго полем, которое *было не более позицией, чем любое другое поле в России*, и на котором *немыслимо было удержать в продолжение трёх часов армию от совершенного разгрома и бегства...*

5

Успокоенный, Шестериков подобрал свой мешок, покидал в него всё добро, туда же и маузер в кобуре и, закинув автомат за плечо, отправился в свою роту. Он шёл той же дорожкой, по которой ташил генерала, а после и той, по которой они так резво хрумкали вдвоём, только теперь за версту обходя те чёртовы Перемерки — и не зная, что там живых с оружием никого не осталось, одни перестрелянные немцы да кого они успели перестрелять. И не ожидал он от всей этой истории хоть какого-то продолжения.

Однако ж оно состоялось. Всю эту массу бегущих задержал-таки на развилке Рогачёвского и Дмитровского шоссе своими пулемётами заградительный отряд, кой-кого — чело-вечков десять самых резвых, которые всегда первыми

поспевают, — тут же к стеночке прислонили и постреляли другим в острastку, а других — кого забрали для выяснения, а кого заставили на месте искупать вину, стаскивая с грузовиков и становя бетонные надолбы и сваренные из рельсов «ежи», в которых уже всякая нужда отпала, даже, наоборот, следовало от них шоссе очищать. Ездowego же с генералом не только пропустили, но ещё похвалили и записали все данные для представления к медали «За отвагу». И он эту медаль принялся отрабатывать так рьяно, что не успокоился, пока не домчал генерала до госпиталя, и помогал носилки тащить по лестнице, и в палату вносил, и в подробностях рассказывал дежурному врачу и комиссару госпиталя всю историю геройского ранения генерала и геройского его спасения из-под огня. При этом, пока не вскрыли «смертный медальон», он счастливо избег вопросов, как же фамилия его генерала и чем он командовал, называл его коротко и исчерпывающе — «наш генерал», а на расспросы, куда делись папаха и бурки, отвечал: «Э, ладно, что голову не потерял и ноги целы», — и такое было у него на лице, что лучше не спрашивать. В награду его накормили с водкой и выдали ему справку для патрулей, что прибыл в Москву, «выполняя задание своего командования», а такая справка была повесомее медали, которую он, к тому же, и получил-то тридцать два года спустя — из рук седовласого прихрамывающего военкома, при торжественном салюте пионеров-«следопытов» и в присутствии журналиста, написавшего потом заметку «Награда нашла героя».

Восемь автоматных пуль, вошедших в просторный живот генерала, прошли счастливо навывлет, не затронув жизненно важных точек, к счастью и то оказалось, что он не поел перед своим ранением, обошлось без воспалений и нагноения, а мощная плоть обещала засосать все пробоины и разрезы — и вскоре уже выполнила обещание. Куда хуже оказалось у него с ногами, обмороженными едва не до почернения, даже стоял вопрос — не отхватить ли их по колено, но после многих и долгих консилиумов рискнули оставить, ограничась переливаниями крови и питательными уколами. Поместили его в палату для обмороженных, хоть и отдельную, но наполненную таким ужасным, тошнотным запахом гниющего

заживо мяса, что он уже поэтому не мог не очнуться. А очнувшись, он почувствовал смертную тоску и обиду и стал вытребывать к себе запомнившегося ему солдата.

Генералу, конечно же, пересказали чудесную историю его спасения, довольно складную, но в которой для полной правдивости недоставало Перемеров и французского коньяка; он требовал не ездового, а то ли Шустрикова, то ли Четвертухина из роты автоматчиков. За те дни, что генерал пробыл без чувств, его армия прошла километров сорок и связь с отдельными её частями была такая, что ни дозвониться, ни запросить письменно, но генерал надоедал — и слабую запутанную ниточку размотали. Рота автоматчиков была одна в полку, находившемся прежде в том же селе, что и штаб армии; ни Шустрикова, ни Четвертухина в списках не оказалось, зато обнаружился Шестериков, от которого, правда, тоже не много осталось. И вот его, полуоглохшего, едва не утратившего рассудок, вытащили из мёрзлого окопа, где ему и спать приходилось, зарывшись в снег или в золу костра, выдали ему другую шинель и ушанку, паёк на три дня, продаттестат и предписание явиться в Москву, в военную комендатуру. С этим предписанием, где впервые в жизни увидел он свою фамилию напечатанной, хотя и с двумя подпрыгнувшими «Е», он на попутных машинах добрался до белокаменной, за которую чуть Богу душу не отдал и которую наконец увидел.

В волнении, какого отродясь не испытывал, шёл он по Москве, иногда перелезая через неразобранные баррикады из брёвен, трамвайных платформ и мешков с песком, минуя на перекрёстках посты милиции с винтовками, ступил под своды вестибюля бывшего музыкального института, а теперь госпиталя для старшего комсостава, поднялся по мраморной лестнице — и едва не был сражён наповал тем смрадом, от которого генерал очнулся. Тут ещё санитары выкатили ему навстречу из лифта каталку с горкой отрезанных конечностей, еле прикрытых окровавленной простынкой; от того разноцветного, что выглядывало из-под неё, Шестериков зашатался и закрыл глаза. Стараясь дышать пореже и ртом, он одолел тошноту, миновал, не заглядывая, двери общих палат и, добравшись наконец до отдельной, увидел своего

командующего — несчастного, исхудалого, без кровинки в лице, но, как отметил броский и незаметный взгляд Шестерикова, с обеими ногами под одеялом. И первое слово генерала было при их встрече:

— Пóпили!

— Чего уж, — сказал Шестериков, стараясь улыбаться по-веселее. — Отложили до другого разу...

— Но зато, — сказал генерал, — теперича различать будем, где Большие Перемерки, где Малые. Верно?

— Да уж, не ошибёмся!

Шестериков вытащил из мешка, который пронёс-таки под белым халатом, маузер и подал его молча генералу. Генерал открыл кобуру, вытянул маузер за рукоятку и прочёл гравированную витиеватую надпись на щёчке.

— Кому-нибудь ты его показывал? — спросил он, не поднимая глаз.

— Никому, — ответил Шестериков. — Иначе б забрали. Охотников много на такую вещь.

В последнюю фразу он вложил и другой, потаённый, смысл. Хорошая, уважительная надпись оканчивалась нехорошей фамилией — Блюхер. Генерал понял его и чуть усмехнулся:

— Стереть бы, да жалко. Дарёный всё-таки.

— Жалко, — сказал Шестериков.

Генерал отдал ему маузер.

— Пусть у тебя и побудет. Охотники и тут водятся.

День был свиданный, и генерал ожидал к себе жену, однако Шестериков, уже почувствовав себя как бы опекуном его, отсоветовал сюда её пускать: незачем женщине солдатские запахи вдыхать, это ей не свидание, а му́ка. Генерал, удивясь, согласился и велел позвонить к нему домой. Так вышло, что с генеральшей, Майей Афанасьевной, познакомились по телефону.

— А, Шестериков! — отозвалась она приветливо. — Знаю, знаю, слышала. А как по имени-отчеству?

— А это, Майя Афанасьевна, потом, когда уже повидаемся. А покамест я при командующем, так что — Шестериков, и всё.

— Ну-ну, — согласилась генеральша. И согласилась, что и в самом деле лучше не доставлять мужу стеснения.

В мешке Шестерикова среди прочих интересных вещей хранилась консервная банка со снадобьем, которое употребляли его предки при обморожениях лет двести: некий сложный состав из отвара корней и травок, гусяного жира, пчелиного воска и мёда. Те мази, какими пользовали генерала, он забраковал, посоветовал не давать мазать сёстрам, а чтоб оставляли баночку, а из баночки всё выбрасывать. Мазал он сам, скрывая отвращение, затаивая дыхание на целую минуту, а потом, отвлекая генерала от страшного зуда и жжения, что-нибудь ему рассказывал из своей деревенской жизни, ну, и встречно выпрашивал осторожно про его жизнь. Поселился он здесь же, в госпитале, под лестницей, в каморке у истопника, здесь же и *стал на довольствие*, кормился в столовой по норме санитаря. Норма была поменьше фронтовой, а выходило — получше, чем на фронте, где не каждый-то день горяченького поешь. Истопник же был по совместительству пожарник, стало быть, с телефоном, и Майя Афанасьевна в определённый час могла справиться, «как там наш».

— Наш ничего, — отвечал Шестериков. — Скоро запляшет. Уже у него ноги чешутся — плясать.

Ещё не повидавшись с нею, он уже всё вызнал: и что квартира у них на улице Горького — из четырёх комнат, не считая кладовки и «холла», — это слово и в госпитале говорили, зал был такой для ходячих, с шахматами и домино, и вот таким громадным Шестериков его себе и представлял, этот «холл», который *не считался*, — и что у генерала две дочки, шестнадцати лет и четырнадцати, одну, как и генеральшу, Майкой звать, а другую — Светланкой, в честь сталинской, и что — вот главное — сама генеральша родом деревенская, из-под Вышнего Волочка, и девичья у неё фамилия — Наличникова, а Майей она себя сама назвала, на самом же деле — Марья. Но, видать, от деревни своей она уже отщепилась, поскольку спрашивала Шестерикова, что вот генералов на дачные участки собираются записывать, по два гектара, в Апрелевке, так брать столько или не брать.

— Брать! — кричал в трубку из-под лестницы Шестериков. — Землю-то? Сколько дают, столько и брать!

Эта Апрелевка вошла в его голову и уж никак оттуда не выходила, заставляла ворочаться ночами на полу в истопниковой каморке, покуда тот, приняв кубиков двести медицинского спирта, похрапывал себе на топчане. Как думают о грозящем ранении или увечье, да с пущей ещё тоскою, думал Шестериков о возвращении в родную пензенскую деревню. Нисколько не мечталось ему вновь увидеть поникшие ветлы над тихой, ленивой речкой, пройтись босиком по росе или лошадь погладить по бархатистому храпу да после, вскочив на неё без седла, проскакать с полверсты и вогнать в речку по холку. Все эти радости уже лет десять как отошли от него, с тех пор, как с отцовского двора пришлось свести в добровольном порядке и обеих лошадей и корову, а земли урезали до лоскутка, так что не жаворонка в небе слышно, а как сосед пыхтит, вскапывая гряды. Из двух сараев и то пришлось один снести — тесно и не положено два. Всё же теперь общее — и значит, ничьё. Своя только бедность — и такая безысходная, лет на сто вперёд, что руки опускаются, не знаешь, за что раньше хвататься, всё ветшает, обваливается, линяет, все труды уходят в песок. Всё безразлично стало, даже вот какого председателя выбрать. Да какого велят — самого стоворчивого с властями да покрикливее, а значит, самого никудышного, пустопорожного мужичонку, а не найдётся такого — привезут откуда-нибудь. И никуда из этого не вырваться, не уехать, без паспорта на первой станции заберут, а справка от колхоза — самое большее на неделю, и ту выпроси, вымани. Вот так, отнюдь не поэтично, даже из мёрзлого окопа виделся Шестерикову его родимый край, над которым вместо весёлой гульбы, свадебных частушек и попевок, звяка поддужных колокольцев повисло в лунной ночи унылое, запьянцовское, хриплоголосое:

На селе собака лает.
Не собака — бригадир:
«Выходите на работу,
Не то хлеба не дадим...»

А вот Апрелевка эта, Апрелевка, ведь генеральская же земля, на неё кто посягнёт, кто посмеет урезать? Два гектара — да на них такое можно развести, что десять

семейств прокормятся и за забор не выглянут. Были бы руки при себе и малость бы силёнок война оставила.

Меж тем генеральские ноги подживали, на них новая кожа нарастала — розовенькая, как у недельного поросёнка, — и однажды он встать решился, попросился — в душ. Едва довёл его Шестериков, так его шатало от слабости, а там, в уютной кабинке, они оба разделись и даже попарились немножко, напустив из крана одной горячей. Генеральское тело поразило Шестерикова — и щедрой мощью, и белизною, и многими рубцами. Генерал воевал во всех войнах, какие вела Россия с 1914-го года, и с каждой войны привозил какую-нибудь рану. Даже на лбу у него из-под волос вытягивался шрам — от сабельного удара. Про каждое его повреждение можно было отдельно рассказывать, но он их все объяснял одинаково: «По глупости». Шестериков его помыл, как младенца, велел после этого посидеть, а сам при этом думал растроганно, что мог бы свою жизнь, всё равно не сложившуюся, посвятить холе этого тела и этой непутёвой и, как отчего-то показалось Шестерикову, по-своему настрадавшейся души.

Но вот настал день, когда генерал, с утра не ложась, а посиживая на койке, разглядывая розовые свои ступни, сказал мечтательно:

— Эх, мне бы коника сейчас, хоть какого. В седле бы я совсем ожил!

«Домой ему хочется. — На сердце Шестерикова потеплело. — Конечно ж, дома-то оно всё быстрее заживёт. Да где ж я ему коника достану?» Легче бы было с машиной, которую вызвали бы ему врачи, не возражавшие против досрочной выписки, — ан Шестериков и тут не оплошал. Ясным морозным утром, выйдя на крыльцо, поддерживаемый сёстрами, генерал перед собою увидел — коня. Даже трёх сразу: на другом восседал гордый Шестериков, а на третьем — тот, рогачёвский милиционер, который теперь служил в Москве, в конном патруле. Случайно с ним встретясь возле комендатуры, куда ходил каждый третий день отмечаться, Шестериков его пожурил за преждевременный драп, тот в оправдание ничего не привёл, а зато душевно справлялся о здоровье генерала и вот — испутил вину, удружил с кониками.

Генерал обошёл чалого конька вокруг, оглядел снисходительно его стати, попытался вскочить в седло, но не вышло, пришлось его подсаживать с крыльца. Зато, оказавшись в седле, он так привычно, одной рукой, разобрал поводья, так — одним похлопыванием по шее — и успокоил, и взбодрил конька, что не понадобилось и каблука под брюхо, а только чуть повод отпустить — и он уже понёс, понёс косо, изгибая красиво шею, с места вскачь.

В ту зиму Москва была такова, что никто не обратил особенного внимания на трёх всадников, проскакавших аллюром едва не по всей улице Горького — от Белорусского вокзала до Моссовета, — шли нестройной растягивающейся колонной ополченцы, поя негромко, точно бы про себя, «Священную войну»; шли суровые девушки в шинелях, сопровождая вчетвером громадную серебристую тушу аэростата, больше всего, казалось, озабоченные, как бы он их в небо не унёс; извилистые и почти недвижные очереди мёрзли у магазинов с заколоченными, заложенными мешками с песком витринами; никто не оборачивался на цокот подков, маленькая кавалькада с живописным генералом во главе проскакала точно бы по пустому городу. А всё же генерал остался доволен — помолодел, разругался, глазами рас-сверкался — и возле дома, отдавая нехотя повод милиционеру, сказал:

— Ну, спасибо тебе, Шестериков.

Не сказал за своё спасение, не сказал за сохранённый маузер, за весь уход в госпитале, а вот за коника — сказал.

Майя Афанасьевна встречать на улицу не вышла, а, как бы опоздав, встретила на лестничном марше — в полураспахнутой каракулевой серой шубке, такой же шапочке-кубанке и с муфточкой на одной руке, — всё тактически правильно, как отметил Шестериков, в её годы она бы на морозе так румяно не выглядела. От природы блондинка, о чём свидетельствовали голубые глаза, она уже сильно красилась — в блондинку же, но прежняя несомненная её красота не убывла настолько, чтоб дочери затмили мать; у них не было такого аккуратного, победно вздёрнутого носика, таких изогнутых и полных губ, такого лица, суховатого и крепкого, да и ладной такой фигуры. Дочки генеральские были

вылитые генералы, и что хорошо было в нём — просторно, могуче, полновесно, — то явно грозило их замужеству, хоть, впрочем, на генеральских-то дочек охотники найдутся.

Генерал, обцелованный всеми тремя, представил им Шестерикова:

— Это гость наш, не сильно его загружайте.

Генеральша, вынув руку из муфточки, ладошкой вниз, совочком, подала её Шестерикову и, глядя широко раскрытыми глазами прямо в глаза ему, сказала для полного освещения:

— Майя Афанасьевна Кобрисова.

А дочки, обняв так бурно, что он слегка зашатался, поцеловали с обеих сторон в щёки.

С этой минуты пошла у Шестерикова такая жизнь, какой он себе и представить не мог. Это она, сама жизнь — в облике генерала, — выходила к нему по утрам в столовую, облачённая в жемчужно-сиреневую пижаму, и, простирая руку к накрытому столу, возглашала, как о начале сражения:

— Сейчас мы будем завтракать. Прошу!

Сидя за общим столом и участь потихоньку, как следует вкушать хлеб наш насущный, чтоб не только себе было приятно, но и другим удовольствие на тебя смотреть, Шестериков решительно признавал, что если выпадают такие дни человеку, когда всё ему нравится, так вот они ему и выпали. Ему нравилось, как в этой семье все любят и уважают друг друга и что генерал не упустит поцеловать дочек в темя утром и на ночь, нравилось, что Майя Афанасьевна неукосни-мо укрепляла свои позиции, сидя дважды в день по часу перед зеркалом и никогда не являясь пред очи мужа распустёхой, и что генерал её за это особо ценит, нравилась даже и болезнь генерала — не какая-нибудь там кила с геморроем, а красивая, генеральская — «мерцание предсердия». Его, Шестерикова, и впрямь не загружали, да он сам рад был загрузиться: раз в неделю он со своим мешком и с чемоданом ходил за пайками, ежедневно убирал всю квартиру, еженедельно мыл и натирал полы, всё чинил, укреплял, подтягивал, понемногу вываживал генерала — сначала во двор, потом и по улице, по Тверскому бульвару. Его собственные

позиции так укрепились в доме, что Майя Афанасьевна без его мнения уже не обходилась, говорила соседке по лестнице: «Мой Шестериков не рекомендует... Мой Шестериков, например, так считает...» — звала его к чулану и консультировалась, не выкинуть ли, скажем, старый диван. «Ни в коем разе, Майфанасин! Ещё как захочется Фотий Иванычу на нём отдохнуть после принятия пищи. Всё починим, всему место найдётся!» Он держал в голове всё ту же Апрелевку, где будет ещё и «шале»... Насчёт Апрелевки он не уставал напоминать, и всей семьёй строились планы, какая будет дача и расположение сада и цветников, и где отвести места под гряды — салата, огурчиков, редиски. Романтический пейзаж при этом несколько нарушался, но, возражал Шестериков, «разве ж своё и покупное сравнишь? Тут каждый витамин тебе на месте!» Ну, и сам он, хоть не говорил этого, но тоже выстроил в мечтах на этих двух гектарах домишко себе и непременно баньку, где будут они париться с генералом и вспоминать боевые дни.

Главным предметом изучения и забот был, конечно, сам генерал, включая в просторное это понятие и коллекцию его четырнадцати охотничьих ружей, из которых одиннадцать были дарёные, и многие фотоальбомы, запечатлевшие всю его биографию. Шестериков их разглядывал все свободные часы, посиживая в кресле в том самом «холле», который оказался просто частью передней, только отделённой от неё раздвижной перегородкой с рифлёными стёклами. Сперва шли порыжевшие фотографии детства — маленький Фотя с двумя старшими братьями и тремя сёстрами, с матерью, могучей и очень на него похожей, и с отцом, казаком станицы Романовской, невысоконьким и худым, но, видать, быстрым и дерзким. А вот Фотя на коне, без седла, в отцовской фуражке, налезшей на уши, рот распялен в улыбке, зубы лопатками. Вот первое горе — всё семейство рядом с гробом отца, с напряжёнными вытянутыми лицами, глаза у всех какие-то рыбы. Несколько лет спустя повзрослевший Фотий Кобрисов стоял, в гимнастёрке и в фуражке с кокардой, возложив руку на плечо сидящему другу, такому же bravому и лупоглазому, оба — солдаты империалистической войны. Далее он один сидел, положила руки на эфес шашки, у же

с теперешними усиками на пухлой ещё губе, юнкер Петергофской школы прапорщиков. Потом шла Красная Армия: выпуск школы красных командиров, один ряд стоит, другой сидит, а возле ног у них двое лежат головами друг к другу, упираясь в висок ладонью, а локтем — в пол; Фотий Иванович сидит третий справа, немного отворотясь и выглядя мечтательно. Кое-какие снимки были отклеены, а на сохранившихся групповых некоторые лица то ли пальцем затёрты, то ли бритвочкой выскоблены, так что вместо голов на плечах у них сидели белые шары. Множество было снимков конных — рубка лозы по верхушкам, препятствия, вольтижировка, стойка на дыбы — она же «свечка», но чем более повышался Фотий Иванович в званиях, тем его конь делался степеннее: меняя масти и стати, он полюбил сниматься в одной позе — ногу вперёд выставляя и к ней наклонясь изогнутой шеей. А вот и коня не стало, бывший кавалерист Кобрисов, в чёрном комбинезоне, приоткрывал над собой гробовидную крышку танкетки — шлем с угловатыми очками сдвинут к затылку, лицо чумазое и весёлое, голова бритая «под Блюхера». И вот последние предвоенные: санаторий в Ялте, крыльцо с широкими ступенями и колоннадой, Фотий Иванович с Майей Афанасьевной, во всём белом и дочерна загорелые, стоят по разные стороны колонны и как бы друг дружку, потерявши, высматривают; потом они у фонтана встретились и вот наконец рядышком сидят — в гроте, увитом стеблями хмеля или плюща...

Одно лишь облачко реяло в безмятежном небе Шестерикова — то, которое набегало на чело генерала, когда он после завтрака читал газеты. Шло наступление, и сыпались награды, гремели имена Жукова, Власова, Рокоссовского, Говорова, Лелюшенко, а Кобрисова — не гремело, он себя в списках что-то не находил. Майя Афанасьевна так это дело объяснила соседке:

— А нас-то за что награждать? Мы ведь, по плану, и не должны были наступать, мы только подстраховывали. Вот если бы у них с наступлением не вышло, тогда вся надежда на нас. Но кто это сейчас помнит?

Генерал — тот помалкивал, только губу закусывал и пальцами барабанил по столу, но однажды всё-таки не

выдержал — когда прочитал, что к Власову, первому из советских генералов, допустили иностранную корреспондентку взять интервью для мировой прессы:

— Интересно, интересно! А не рассказал он ей, как он у меня бригаду украл?

Но, поостыв — и может быть, вспомнив про счастливое своё спасение, — добавил рассудительно:

— Ну, если по справедливости... украсть-то он, конечно, украл, но распорядился неплохо.

Всё же и ему — за дела наступавшей без него армии — слетела на петлицу звёздочка, присвоили генерал-лейтенанта.

— Вспомнили! — сказала Майя Афанасьевна. — И на том спасибо.

Но если б его это успокоило! Именно с этого дня — как подменили генерала, ни весеннее солнышко не радовало, ни водка не пьянила, одно нетерпение во всём. И однажды утром из ванной, где брился, он со злым весельем в голосе прокричал:

— Шестериков, ты воевать — думаешь?

Все враз примолкли — и генеральша, и дочери, а сердце Шестерикова ощутимо стронулось и покатилось августовской звездой, оставляя замирающий след.

Но в свою армию они уже не вернулись, там утвердился новый командующий, бывший начальник штаба, так что послали генерала Кобрисова в ближний тыл, под Воронеж, формировать новую армию — вот эту самую, Тридцать восьмую. С нею сперва отступили от Дона чуть не до Волги и снова в Воронеж пришли, а оттуда, уже не отступая ни разу, дошли до Днепра и взяли плацдарм на Правобережье.

Жизнь Шестерикова при генерале была сравнительно тёплой и сытая, хотя и погибнуть случаи выпадали. Но ведь оттого и смысл был высокий в этой жизни, и ценилась она не за тепло и сытость, а именно за высокий её смысл. По твёрдому Шестерикова убеждению, никто б на его месте не стоил того, что он, и сам он на другом месте стоил бы втрое меньше. Он не привык, он прирос к генералу, знал все причуды его и желания, как бы и несложные, а попробуй их предупреди. Сам генерал себя называл солдатом и привычки свои

солдатскими, и только Шестериков ведал, каково этим привычкам пострадать. В морозы баня — чтоб пар до костей прошибал, в жару вода студёная — чтоб зубы ломило, щи — чтоб ложка в них стояла и не валилась, к обеду — водки два стопаря, а лучше спирта чуть разбавленного, а после обеда — семьдесят минут сна и чтоб муха не пролетела. Тут повертись, покрути задницей! И в избе, какая ни попадётся, чтоб чисто было и натоплено и ничем бы не воняло, воздух бы свежий был, а фортка — затворена. Тяжко ли всё это было Шестерикову? Ну, так тем и любимо!

Вот с каким человеком пришлось встретиться майору Светлоокову из армейской контрразведки «Смерш», вот кого пригласил он выкроить часок и прийти к нему «посплетничать». Свидание их было назначено неподалёку от штаба, в леске, майор объяснил подробно, как выйти к поляне с поваленной сосной, и ещё попросил — генерала не извещать, поскольку тема беседы «деликатная». Шестериков не явился вовремя, как водитель Сиротин, и не опоздал, как адъютант Донской, он пришёл загодя и понаблюдал из-за кустиков за майором, как тот, раскрыв планшетку, что-то там перечитывает и подправляет, почёсывая лоб карандашиком. Затем подошёл бесшумно, стал у майора за плечом и вздохнул. Майор, всполошась, выхватил пистолет, а планшетку не закрыл.

— Что бродишь? — спросил он, недовольный собою, что его смогли застать врасплох. — Так до смерти напугать можно.

— Чо ж пугаться, — сказал Шестериков, — район охраняемый. А я грибок тут поискать хотел. Командующий по грибкам соскучился.

— Не нашёл?

— Где ж найдёшь, дождика две недели не было. Одни опять, да ведь надоесть могут — без белого или хоть маслачка.

— Заботливый ты, — сказал майор, упрятав пистолет суетливым движением, с лицом всё ещё недовольным и заметно растерянным.

Шестериков, не отвечая, уселся против него на травке, обхватив колени, и посмотрел в глаза майору смиренно и выжидательно.

— Печёшься о командующем, — продолжал майор, захлопывая небрежно свою планшетку. — Я вижу, лучшего союзника не найти мне. Вот как раз об этом я и хотел с тобой...

— Насчёт грибков?

— «Грибков», «грибков»! Меня нечто большее беспокоит. Здоровье командующего, общее состояние. Не нравится он мне последнее время. Нервничает, какой-то необщительный стал. Ты не находишь?

— Да вроде всегда такой был...

— Не скажи. Всегда-то он тон задавал, душою был армии. А теперь что-то гнетёт его, места себе не находит. С чего это он себе КП отдельно от штаба выбрал? Уставать начал от людей?

— От чего ж ещё так устанешь? — сказал Шестериков. — От них-то больше всего.

Какая-то неясная опасность подступалась к генералу, и Шестериков не мог понять, с какой стороны она грозит. Но он твёрдо знал, что с той стороны, где стоит он, Шестериков, эта опасность не подступится. Это он решил так же твёрдо и быстро, как в тот зверски морозный день у Перемежок, когда повалился рядом с генералом в кровавый снег и перевёл флажок автомата на одиночные выстрелы.

— Скажи мне честно, — майор наклонился к нему с видом озабоченным. — Девушка эта... не слишком его тогда к рукам прибрала? До сих пор, небось, переживает, что так с нею вышло...

— Это которая девушка? — спросил Шестериков, озабоченный не меньше.

— Ну, которая до переправы была... Надюша, сестричка. Ходила к нему уколы делать. И не одни там, поди, были уколы?

— Конечно, не одни. Давление ещё меряла. Пульс тоже считала.

— И всего делов?

— Какой там «всего»! — отвечал Шестериков. — Медики — они жутко настырные.

— Особливо фронтовички, — смеялся майор, — особенно молодые, горячие. А между прочим, — опять он делался серьёзным, — приказ Верховного, запрещающий кой-какие

отношения ближе пятидесяти километров от передовой, не отменён. И генералов он тоже касается. Так что если кто проговорится...

— Ну, может, они на пятьдесят первый километр специально уезжали. Не знаю, меня с собою не брали.

Насчёт «кой-каких отношений» генерала Шестериков не сказал решительного «нет», поскольку не знал, какие на сей счёт сведения у майора. Проговориться сама же эта Надюша могла подружкам, а какая-нибудь из них непременно была у него на крючке. О суровом приказе Верховного Шестериков слышал и знал, что этот приказ давно уже ни к кому не применяли. Однако ж могли применить, если есть он и если кому-то это понадобится. Поэтому решение он принял единственно верное: раз это тебе зачем-то нужно, тем более не скажу.

И майор Светлооков, быстро его поняв, свои поползновения с этой стороны — оставил.

— А что, сердце у него действительно барахлит? Пойми ты, не шашни меня волнуют, а его состояние. Спит он хорошо? Порошками не злоупотребляет?

Выяснилось, что сердце у генерала болит. Оно болит — за родину. Выяснилось, что спит он плохо, почти даже не спит, всё печётся об армии. Насчёт порошков, правда, ничего не выяснилось.

— Лучше уж водки стакана два хлопнуть, — посоветовал майор. — А утром чайком опохмелиться — из бутылки с тремя звёздочками.

«Ах, сука, — думал Шестериков, глядя на него ласково и со вниманием, — я б тебе не три, я б тебе четыре зуба сейчас бы вышиб». Но отвечал он обстоятельно:

— Не уважают они этого — на ночь пить, а утром опохмелиться. Стопку одну за победу хлопнут — и то себя корят, что слабость проявили.

— Так, так, — сказал майор. — Ничего мы, значит, с тобой не выяснили? Или не откровенен ты со мной или плохо своего Фотия Иваныча знаешь. Понаблюдал бы внимательней, дело-то первостепенной важности, тут все готовы на помощь прийти, и я в первую очередь. Должность такая.

Шестериков кивнул глубоко и спросил с большим интересом:

— А что это — «Смерш»?

— Не знаешь? — удивился майор. — Первый раз слышишь?

— Слышать-то слышал, а вот не знаю.

— Ну, «Смерть шпионам», если тебе интересно.

— Как же не интересно? Ведь она же мне первому полагается, если я при командующем шпионом буду.

— Что значит «шпионом»? — раздражился майор, начиная уже розоветь. — То категория вражеская. А мы о проявлении заботы говорим. Как ты её понимаешь — настоящую заботу, а не формальную?

— А так и понимаю, товарищ майор: ночей не досплю, а ни одна гнида к Фотию Иванычу не подползёт.

— Правильно, — сказал майор Светлооков.

Он улыбался широко, уже густо порозовевшим лицом, но глаза ему плохо подчинялись, выдавали досаду и злость.

— Тоже думаю, что правильно, — сказал Шестериков.

Больше всего любил он кино про шпионов и контрразведчиков — «Партийный билет», «Ошибка инженера Кочина», да много чего было! — и вот сошёл к нему главный персонаж тех фильмов, разведчик там или контрразведчик — пойдя разберись, но только воспринимал его Шестериков совершенно иначе. Не то чтобы те лучше были, а этот хуже, то были евклидовы параллели, ни в какой точке не пересекавшиеся. С таким же самозабвением смотрел он комедии из колхозной жизни, где мордастые и грудастые бабы, заходясь от восторга жизни, с пением бодрых маршей вязали в снопы и копнили непонятную поросль, и если б его спросили, как же это соотносится с той жизнью, какую он знал мозолями и хребтом, он бы только заморгал удивлённо: «Так это ж кино!» А впрочем, не исключал он и того, что где-то, может быть, и есть такие счастливые поющие колхозы, и люди там необыкновенные, которым повезло в тех местах родиться, где нас нет. Но насчёт сидевшего перед ним он не обманывался нисколько. И если для шофёра Сиротина «смершевец» этот был всемогущий провидец, властный чуть ли не снаряд остановить в полёте, если для адъютанта Донского он был тайная, границ не имеющая сила, восходящая

в сферы недостижимые, то для Шестерикова он был — лоботряс. Да уж, не более того, но лоботряс энергичный, из той породы, которая изувечила, выхолостила, обессмыслила всю жизнь Шестерикова и из-за которой любые его труды уходили в песок. Границы же власти таких людей, как Светлооков, он определял, не рассуждая, одним инстинктом травленого зайца: она там проходит, эта граница, где ты не допускаешь их к себе в душу, не отвечаешь улыбкой на их улыбку.

— Что ж получается? — спросил майор. — Не найдём мы с тобой общего языка?

— Да разве же не нашли? — услышал он спокойный ответ.

Кровавоглазая ненависть выглядывала из кротких голубых глаз Шестерикова — та ненависть, что подкидывала к плечу обрезы и поднимала на вилы охочих до чужого хлеба и заставляла своё сжигать, чтоб не досталось грабителям, и которая была обратной стороной любви — к мягкой родящей земле, к растущему колосу, к покорной и доверчивой, словно бы понимающей свой долг скотине, — ненависть человека, готового трудиться и поливать эту землю потом, чтоб накормить весь свет, и у которого не получается это, не дано ему, не нарежут ему земли вдоволь, потому что от этого странным образом разрушится весь порядок жизни, позволяющий такому Светлоокову холить своё мурло, писать бумажки, годные на подтирку, и чувствовать себя поэтому хозяином.

— Не наш ты всё-таки человек, Шестериков, — сказал майор, перестав улыбаться. — Или не совсем наш.

— Ваш, — возразил Шестериков. — Ваш совсем. Именно что — ваш.

В печали, с какой он это сказал, слышался человек беспачпортный, крепостной, не могший никогда наесться досыта, ухватившийся за соломинку и почувствовавший, что и ту из его рук выдирают.

— Я понимаю, — сказал майор, — откуда это у тебя.

— Чего «откуда»?

— Обида на нас. Можно сказать, классовая обида. Думаешь, перед тем, как с тобой встретиться для беседы, я тебя всего не изучил? Что тебе сказать? Попал ты под колесо

истории. Может, и несправедливо: ты ведь в кулаках не числился, а в подкулачниках, а это же почти что середняк, только идеология сходная. И какой ты, к чертям, подкулачник! Подумаешь, две лошади, да корова, да землицы малость. Много тогда было дров наломано. Но ведь это же партия сама тогда признала. Ты же товарища Сталина читал — «Головокружение от успехов»?

«Она-то головокружение своё признала, только не вернула ничего», — хотел сказать Шестериков. Но промолчал. Такие слова лучше было не говорить, даже и с глазу на глаз. И хотелось понять, куда теперь клонит майор Светлооков.

— Срежь-ка мне веточку, — попросил майор, доставая ножик.

— Зачем?

— Жалко тебе?

— Да чо жалеть, — сказал Шестериков. — Когда уж столько загублено...

Однако с места не сдвинулся. Ради майора что-то не очень хотелось ему шевелиться, вставать.

— Ладно, — сказал майор, — я сам.

Он потянулся к ольховому кусту, срезал ветку с покрасневшей уже кожицей, ловкими взмахами ножика стал выделывать прутик.

— Хочешь, Шестериков, я тебе всю твою классовую глупость докажу. Сам удивишься, до чего ж мы дураки бываем. Ты на своего хозяина молишься, хотел бы на всю жизнь к нему прилепиться, разве не так? А это у тебя — то же самое головокружение. Ты же про него не знаешь ничего. Вот такие, как он, и наломали дров тогда. И продотрядами твой Фотий Иваныч командовал, и раскулачивал в двадцать девятом, и бунты подавлял, и целые села переселял в места отдалённые. Родитель твой, по моим сведениям, коллективизации особо не противился, а то, глядишь, почувствовали бы вы руку Фотия Ивановича! Где-то он недалече от ваших мест шуровал. И такой был служака — родного брата не пожалел бы. Ну, а теперь, конечно, общее вас сплотило, война...

И Шестериков, с уныло сжавшимся сердцем, почувствовал, что вот это — правда. Чем же ещё и заниматься мог генерал между своими войнами, чем вся армия занималась,

на чём тактику отрабатывала! Выплыл в памяти и такой странный их разговор за водочкой, когда генерал выпрашивал настойчиво: «А всё же мужичок принял колхозы?» — «Как не принять, Фотий Иванович, ежели обрезов не хватило». И генерал, насупясь, не поднимая глаз на него, а глядя в стопку, сказал: «Ну, выпьем, чтоб в следующий раз — хватило...» Вот что за этим «выпьем», оказывается, стояло!.. «А всё равно, — подумал Шестериков, — майору этому не верь». Ведь сколько лет уже это в нём звучало, как заклинание: не верь им! Не верь им никогда. Не верь им ни ночью ни днём. Не верь ни зимою ни летом. Ни в дождь ни в вёдро. Не верь и когда они правду говорят!

Он поглядел на майора с грустью, с невольной навёрнувшимися слезами и сказал дрогнувшим голосом:

— А вам-то — какое до этого дело?

Майор Светлооков, словно бы не вынеся ни этого взгляда, ни дрожи в голосе, резко поднялся и хлестнул себя прутиком по сапогу.

— Всё, закрыли тему. Значит, договоримся: о беседе нашей никому. Вообще-то молодец ты, Шестериков. Тайны начальства хранить умеешь.

— Служу Советскому Союзу, — сказал Шестериков.

Майор, похлёстывая себя прутиком, пошёл впереди по тропке, но вдруг остановился с таинственным видом.

— Слушай-ка, Шестериков, ты в снах-то, наверно, разбираешься. Вот к чему бы это: всю ночь снится, что с бабой возишься, и вдруг не баба это оказывается, а мужик? Что бы это значило?

— Понятное дело, товарищ майор, — сказал Шестериков с ласковой улыбкой.

— Скажешь, поменьше про это думать надо?

— И вовсе даже другое. А просто — погода переменится.

— Что ты говоришь!

— А вот так.

Более майор не обернулся ни разу, и разошлись, друг на друга не взглянув.

И вот теперь, трясясь на заднем сиденье «виллиса», Шестериков заново перебирал весь тот разговор в леске. Он чувствовал: от той беседы что-то зависело, тайными

ниточками была она связана с внезапным отъездом генерала из армии, — и он искал, в чём мог бы укорить себя. Что он упустил? Какую позицию сдал? Кого предал? И находил, где и в чём сплеховал он, — в том, что майор Светлооков просил об этой беседе никому не рассказывать, и он — не рассказал. А может быть, это было важно для генерала, может быть, и не состоялся бы тогда этот их отъезд? Но и рассказать же он не мог — пришлось бы тогда выкладывать всё до конца, а он не мог бы видеть лица генерала, когда бы сообщил ему всё, что узнал об его подвигах. О продотрядах, о двадцать девятом «переломном» годе, о замирении бунтов, о переселении целых сёл в места отдалённые. Через это Шестериков переступить не мог — и сам же переломил соломинку, за которую уцепился.

А ведь и тут он правду сказал, майор Светлооков: давней, затаённой мечтой Шестерикова было — служить генералу и после войны. На это вдохновляли его и те, московские, планы насчёт Апрелевки, где как-то само собою выходило, что без Шестерикова не обойдётся, и письма генеральши, в которых Майя Афанасьевна упоминала в конце: «А ещё передай привет своему верному оруженосцу, и пусть он тебя бережёт. Ну, и себя, конечно...» В частых мечтаниях он представлял себе — вот закончатся бои, оттремят салюты, и генерал, прощаясь, спросит его: «Ну что, Шестериков, куда ж ты теперь, к себе под Пензу подашься?» — «Нет, Фотий Иванович. — Так заведено было, что ординарец, один из всей свиты, звал генерала по имени-отчеству. — Нет, не под Пензу». «А почему же? — спросит генерал. — Ты ведь пензенский, из тех мест». — «Родом-то я оттуда, да никого у нас там с жёнкой из родни не осталось. Мать с отцом до войны ещё померли, вы помните, а братан с сорок первого вестей не подаёт, не знаю — жив он, не знаю — нет. Я уж как-нибудь... — Здесь наберёт он в грудь воздух и выдохнет шумно: — ...при вас останусь. Такое у меня решение. Не знаю, как вы».

Весь разговор был давно отрепетирован вот до этого места. Но дальнейшее его течение раздваивалось. По первому варианту продолжения — генерал удивлённо вскинет брови и скажет, руками разведя: «Как же это при мне,

Горюхи Владимир

Шестериков? Ведь я на покой ухожу. — А и правда, он после этой войны в отставку собирался. — Мне прислугу держать — по штату не положено». И тут возразить будет нечего, генерал был большой хлебосол, но деньгам живым счёт знал. Ну, а без денег, на один прокорм пойти — не солидно.

По второму же варианту, от которого душа у Шестерикова замирала сладостно, генерал растроганно улыбнётся, даже слезу смахнёт и скажет: «Значит, решено не расставаться? Так, что ли, Шестериков?» — «Да уж, Фотий Иванович, такие мы с вами боевые кони». И на том их мужской разговор кончится.

Теперь же, с отъездом, оба варианта отпадали напрочь. Их разговор не имел никакого продолжения. То есть, конечно, он спросит, генерал, при расставании: «Куда ж ты теперь, Шестериков?» — но вот ответить ему: «Как-нибудь при вас» — нельзя, невозможно. Потому что он спросит уже насмешливо: «Как так — при мне? Меня, может, в тыл направят. И ты туда захотел?» И это будет ужасно, тем более напоследок. Таким генерал и запомнит его, так и рассказывать будет: «Солдатик мой, ординарец, просился со мною в тыл. Так уж ему хотелось в живых остаться». И не объяснил бы ему Шестериков, что выбрал бы и пекло, только бы — вместе.

С каждым часом пути всё тоскливее и пустее становилось в его душе и всё очевиднее, что лучшее в жизни отходило прочь, назад, к тому зверски морозному дню под Москвой, когда он нёс котелок со щами для захворавшего старшины, и ещё не окликнул его с крыльца — но вот сейчас окликнет! — грозный человек в бекеше и с маузером в деревянной кобуре.

Глава третья

**КОМУ ПАМЯТЬ, КОМУ СЛАВА,
КОМУ ТЁМНАЯ ВОДА...**

1

Если для адъютанта Донского, если для водителя Сиротина и ординарца Шестерикова всё то, что случилось с генералом, случилось бесповоротно, то для него самого как будто ещё продолжалось подвластное ему действие, которое он мог вновь и вновь переигрывать, ища и находя более выигрышные ходы. Вероятно, он занимался самым бесполезным делом — планированием прошлого, но в генерале Кобрисове эта работа происходила помимо его воли, к тому же он вынужден был ею заниматься. Мало того, что с каждым часом он всё больше отдалялся от армии, потеря которой означала для него потерю всего, что, как ему казалось, привязывало его к жизни, но ему ещё предстояло держать ответ перед Ставкой, претерпеть унижительную процедуру, которой не он первый подвергался: в непринуждённой беседе, где ему отводилась роль наглядного пособия при разборе оперативной ошибки, рассказать, ничего не утаивая и не ища оправданий, о своих промахах, после чего ему на них с торжеством укажут и вынесут вердикт, им же самим подготовленный и разжжённый: «Вот за это мы вас и снимаем».

Он живо, в режущих глаз подробностях, представлял себе огромный кабинет, обшитый дубовыми панелями, длинный стол под зелёным сукном и Верховного, неторопливо похаживающего по ковровой дорожке, посасывая мундштук погасшей трубки и время от времени перебивая общий разговор язвительной репликой. Что рассказать им всем, поворачивающим головы вслед за его похаживаниями, жаждущим хоть за минуту предугадать его решение?

Не начать ли с того, как в один из последних дней августа возник в окулярах стереотрубы огромный город на том берегу, весь в грудах кирпича и обломков железобетона, дымящиеся развалины проспекта, наклонно и косо выходившего к Днепру, и чёрный ангел с крестом на плече, высоко

вознесшийся над зелёным холмом, над кущами парка? Вернее, это так выглядело, как будто ангел, устав нести к реке тяжёлый крест, упёр его в землю колом и отдышал, привалясь к нему и опустив голову. Далеко позади него, в синеватой утренней дымке и не погасших дымах вчерашней бомбёжки, посверкивали позолотою луковки звонницы и четырёх боковых куполов и гигантский главный купол, с дырою от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри. Нет, никакой Бог не искривил пути снаряда, но прав оказался древний строитель, верно, наперёд знавший, что всему переходящему, сколько б его ни настроили потом, суждено погибнуть, а это — останется. Казалось, один его белый храм и высился целый над морем каменного мусора. Этого не объяснишь бережностью артиллеристов или пилотов, фугасы — свои и чужие — ложатся одинаково густо по всем квадратам, а церквам ещё достаётся особо за их удобство для наблюдателей, но — секрет ли тут каменной кладки или заговорённость, а только снаряды, попадая в стены, не рушат их, лишь отбивают углы да просверливают дыры. Вот это — интересно им будет послушать? Или тут же перебьют насмешливо? А ещё можно упомянуть лепнину старинных домов, повисшую над пепелищем, обнажившиеся пролёты лестниц и внутренность бывших жилищ, и над всем господствующее траурное сочетание — малиновую красноту кирпича и чернь окалины и копоти. И нужно ли добавлять, как всё виденное обжигало глаза и как звенели в ушах толчки сердца?

Не совладав с волнением, он покинул окопчик наблюдателей и пополз с биноклем к пустынному пляжу, где ещё сохранились красные, голубые, жёлтые, зелёные кабинки и лежаки, а возле спасательной станции — лодки с растресканными бортами, полузасыпанные песком или наполовину в воде. Распластавшись, как большая жаба, он вбирал в окуляры и в глаза всё бывшее перед ним — плёсы, заводы, островки с зарослями камыша и осоки, всю широкую серебристо-чешуйчатую ленту Днепра и — на том его берегу — завалы из брёвен и мешков с песком, стволы орудий и крупнокалиберных пулемётов, башни танков, обложенных кирпичом и булыжником.

Он смотрел на руины без той горечи, какую обычно предполагают и о какой принято говорить. Он не видел Предславля довоенного, существовал для него только этот, теперешний, — и волнение его было иного рода. Само необозримое нагромождение развалин говорило о величине города — наверное, самого большого из отданных немцам. О древности его он вычитал из армейской газетки, где бывший историк, а ныне военный корреспондент рассказывал, приводя цитаты из летописи — и, поди, наизусть шпарил, не таскал же он эту летопись в полевой сумке! — что город основали трое братьев — Кий, Хорив и Щек — и сестра их Предслава; в честь её и назвали братья маленькое поселение, ещё не ведая — или всё-таки предчувствуя? — что же из этого поселения вырастет. Было нечто трогательное и волнующее в том, что великий город сберёт имя женщины, от которой не то что костей, а пыли, наверное, не осталось; слышалось в её древнеславянском имени предвестие, предчувствие славы, и невольно думалось, что и его имя как-нибудь свяжется с этим городом; где-нибудь там, под завалами, лежит *его* улица или даже площадь *его* — и тем оправдано будет, искуплено всё горестное, унижительное, страшное, что было в его жизни. Он чувствовал жар в лице, дрожь вспотевших ладоней, сжимавших бинокль, и страшился что-то спугнуть; казалось ему, кто-то уже подслушивает его мысль, угадывает его вожделение, родственное охотничьему азарту при виде добычи, слишком большой для одного, слишком соблазнительной, чтобы другие на неё не позарились. Или это было сродни жаркому томлению любовника, слышащего в темноте шелест сбрасываемых одежд.

— Это я возьму, — сказал он вслух. — Моя будешь, овладею!.. — И, спохватясь, что сглазит удачу, добавил: — А как бы, однако, не увели девушку.

Рядом засопел подползший Шестериков, чем-то недовольный. И генерал, отдавая ему на минутку бинокль, сказал — то ли ему, то ли самому себе:

— Теперь, Шестериков, мы себя вести должны, как вкусная дичь. Которая знает, что она — вкусная. Видал, как она ходит? Ножку переставит — и оглянётся. Ещё шажок сделает — и оглянётся.

— Всё правильно говорите, — отвечал Шестериков, припадая к биноклю. — А делаете всё наоборот. Зачем для вас окопчик вырыли? Чтоб вы голову выставляли — прямо под снайпера?

— Брось, ни одна птица не долетит до середины Днепра!

— Насчёт птицы спорить не буду, а пуля — очень даже перелетит.

— Ты смотришь или не смотришь?

— Смотрю. И хоть бы плащ-палатку подстелили. Застудите грудь, кашлять будете.

— Пошёл назад, — сказал генерал, отнимая бинокль. — Карту сюда тащи, быстро! И карандаш с циркулем. И этот... как его?..

— Знаю, — сказал Шестериков, отползая ногами вперёд. — Курвиметор.

Генерал, снова и снова впиваясь взглядом в ангела с крестом, в золотящийся под облаками купол, в предмостные укрепления, спрашивал себя, повезло ли ему, что вышел со своей армией напрямую к Предславлю. Кто не мечтал, кто не просил командование фронтом, не писал прошений в Ставку, чтоб разрешили взять Предславль? Чем ближе к нему придвигался фронт, тем больше ощущал генерал Кобрисов как бы давление на фланги своей армии — так в тройке пристяжные жмут на коренника, заставляя его сместиться, и только оттого он не смещается, что каждая из них уравновешивает другую. Выпало ему оказаться этим коренником — и лишь затем выйти к великому Предславлю, чтоб любоваться им через реку и не мочь ничего. Форсировать реку на виду у города, да даже и на десять километров выше или ниже по течению — мысль эта, хоть и казавшаяся безумной, а всё же мелькавшая, сменилась при близком рассмотрении досадой на глупые свои мечтания. Здесь он положит половину армии — и не захватит ни метра земли на том берегу, даже и на малом островке. Свой «Восточный вал» немцы готовили долго и тщательно, здесь каждая руина стала ДОТом, оружейной позицией, пулемётным гнездом, не говоря о плавучих минах, выставленных на якорях под самой поверхностью реки. Высаженный батальон — если чудо ему поможет выса-

даться, — любой «Юнкерс» погребёт одной бомбой, не чересчур тяжёлой, и для метания он зайдёт так низко над улицей, что его не упредишь. Если б хоть он располагался в низине, трижды желанный и треклятый этот Предславль, но он стоял на господствующих высотах, как и подобало стоять великому русскому городу, и в том были и вся красота его, и неприступность!

Так вывела генерала Кобрисова его судьба, или его кривая, к самому Предславлю, чтоб стоять перед ним в готовности — на тот невероятный случай, если б фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру, командующему группой армий «Украина», вздумалось переправиться обратно и запереть с востока взятый уже плацдарм у села Сибез. Вся задача Кобрисова и была — пусть Ставка это вспомнит, учтёт! — лишь подстраховывать левого своего соседа, 40-ю армию Терещенко, вышедшего не напрямую, а на восемьдесят километров ниже по течению. Там посчастливилось найти излучину Днепра, капризно вильнувшего к востоку лет с полмиллиона тому назад, чтобы теперь подарить Терещенке неоценимую возможность — заявить свои права и на первый плацдарм, и на самый Предславль тоже. Щедрость подарка была ещё и в том, что на всём протяжении правый берег Днепра выше левого и открытый, а в излучине он такой же низкий, овражистый и лесистый, не надо карабкаться на кручи, ни ломать голову, как укрыть высаживающиеся войска. Она так соблазнительно выглядела, эта излучина, для присутствовавших на совещании у командующего фронтом Ватутина, в Доме культуры села Ольховатка, на неё безотрывно как замороженные смотрели и сам Ватутин, и представитель Ставки маршал Жуков, и командующие четырёх вышедших на Предславль армий — трёх общевойсковых и 1-ой танковой Рыбко. Тыча без конца в эту излучину палкой вместо указки, Терещенко страстно доказывал, что она подарена нам как бы самим Богом, — аргумент, иной раз действующий на грамотное начальство неотразимо, если высказывать его напористо и с восторгом, как умел Терещенко. К главному аргументу удачно пристраивались и дополнительные — вроде того, что этот участок берега, благодаря той же излучине, обстреливается нами с трёх сторон. Куда ни кинь, а другого

варианта и быть не могло, как захватывать плацдарм у Сибержа и Предславль штурмовать — с юга.

Один изъян этого варианта виделся сразу: всё то, что пришло в головы наступавшим, могло же прийти и немцам, именно генерал-фельдмаршалу Эриху фон Штайнеру. На это возражение, высказанное правым соседом Кобрисова, генерал-лейтенантом Чарновским, ответ у Терещенко был готов: «Что ж, если мы сами предвидим то, что противник может предвидеть, значит, кой-чему научились». — «Денис Трофимович, это не ответ! — кричал запальчиво Чарновский. — Одного предвидения мало, не худо бы и новинку применить, если фон Штайнер о тебе заранее побеспокоился...» Но с быстрой, хищной улыбкой Терещенко парировал: «Василь Данилыч, чего ему, фон Штайнеру, меня-то пугаться? Скорее он про Чарновского думает, больше наслышан...» И все присутствовавшие, тоже с улыбками, поглядели на Чарновского, молодого, красивого, удачливого, самолюбивого Чарновского, о котором не столько фон Штайнер, сколько весь фронт был наслышан, что он прямо-таки засыпал письмами Ставку: «Никогда ни о чём не просил, об одном прошу — разрешить мне взять Предславль». Обосновывал он свою просьбу тем, что родился близ этого города, здесь учился, вступил в комсомол, здесь женился, и первые годы его службы здесь прошли, за этот город он жизнь готов положить и т. п. Он-то и давил на Кобрисова, как пристяжная на коренника, иной раз смещая его боевые порядки, заходя «по ошибке» на его полосу наступления. Напомнив о зависти оппонента и тем смутив его, Терещенко добавил уже серьёзно: «Хочу заверить — вполне отдаём себе отчёт, кто такой фон Штайнер. Не раз встречались. В общем-то недурной вояка». Так сказано было о генерале, которого его немецкие коллеги называли «лучшим оперативным умом Германии» и который, будь у него не столько сил, как у Терещенко, а вполвину меньше, изметелил бы его за несколько часов. Впрочем, то был стиль не одного Терещенко, но установившийся уже во всей армии — говорить о противниках этак по-солдатски насмешливо, и были они — недурной вояка фон Штайнер, что-то кумекающий Паулюс, не совсем идиот Мантейфель. Хорошим тоном сделалось «презрение

к врагу» — за то, что у него меньше танков, меньше орудий, что он в невыгодном положении, а у нас, почитай, шести-, семикратный перевес, — и он ещё «рыпается». Когда же этот ослабший недотёпа вдруг резал по морде или уходил изящно от окружения, тогда он был «гад ползучий» и «сволочь редкая».

Однако же доводы Терещенко возымели действие, а возражения Чарновского, а за ним и Кобрисова едва ли приняты во внимание. Между тем Кобрисов высказал то, что не оставило бы камня на камне от этих доводов. Каким огнём обстреливался с трёх сторон предполагаемый плацдарм? Если ружейно-пулемётным, тогда, разумеется, три стороны предпочтительнее; для дальнобойной же артиллерии это безразлично — и стало быть, сибезская излучина не представляла особенного удобства в сравнении с любым другим участком реки, хоть прямым, хоть выгнутым наоборот, к западу. Далее, в местности лесистой и овражистой легче укрыться, но куда труднее передвигаться; чем окажутся там, как не обузой бесполезной танки и бронетранспортёры, самоходные и возимые орудия? В полную силу можно задействовать лишь пехоту, но и ту — не в наступлении. Казалось, и Жуков, и Ватутин к этому прислушались, и однако ж Терещенко поглядывал на всех с победной ухмылкой, словно наперёд зная, какое будет решение. Да и все знали самый главный его аргумент, не высказанный: этот кусок Правобережья можно быстрее захватить — и значит, много раньше доложить Верховному о форсировании Днепра. Этого жаждали с такой силой, что никакие возражения не могли перевесить, а могли быть объяснены — и не без оснований — завистью к Терещенко, завоевавшему уже летучее прозвище — «командарм наступления».

«Сколько же нужно положить за такое прозвище? Тысяч сорок, не меньше?» — спрашивал себя Кобрисов, вглядываясь в худенькое, востроносое, всегда обиженное лицо Терещенко, в худенькую быструю фигурку, стянутую, точно спеленатую, узким кителем. Из всех генеральских доблестей славился он, несомненно, одной — неукротимой энергией, то есть умением бестрепетно гнать в бой мужчин помоложе себя и держать армию в руках, без промаха и с одного удара

острым своим кулачком разбивая носы и губы подчинённым или колотя их по головам суковатой палкой. На укеры Ватутина он отвечал: «Я себя не щажу и других право имею не щадить». О том, как не щадит он других, свидетельствовали потери его армии, самые большие во всём Первом Украинском фронте; о том, как не щадит себя командующий, говорила повсюду разносимая легенда, что спит он четыре часа, печась об армии и «всесторонне пополняя своё образование», которое он считал недостаточным, а потому заваливал политуправление фронта приглашениями московским ансамблям и списками заказанных лично для него книг. Были тут Клаузевиц и Шекспир, фон Шлиффен и Тургенев, оба Мольтке и Горький; славные эти имена, однако ж, не расходились с палкой и кулачком, ни с плевками в лицо. И летучее прозвище «командарм наступления» — кажется, им же и придуманное, — тоже помогало делу: кто б ещё мог так смело запросить по пятнадцать, по двадцать тысяч пополнения — и кому б ещё их дали так безотказно? И, наконец, кому б ещё так легко простилось, когда Сибезский плацдарм оказался-таки ловушкой, старательно уготованной фон Штайнером, когда вся техника и впрямь увязла в лесах и оврагах, которые всё наполнялись гниющими телами, а наступление никак не могло начаться? Ловушкой оказалось и всё совещание в Ольховатке, где все коллеги Терещенко, не воспротивившись ему, взяли и на себя ответственность. Ловушкой оказался и доклад Верховному, тут же переменившему сроки взятия Предславля: не «до зимы», а теперь уже точно к празднику 7-го ноября. Сам же Терещенко не проиграл нисколько: не хватило сил заглотать, но уже за то, что укусил, он сделался генерал-полковником, и, провозись он теперь в Сибезе хоть полгода, в генерал-лейтенанты его уже не вернут. И странное дело, чем полней выявлялись все предвиденные опасности Сибезского плацдарма, тем горячее отстаивали этот вариант и тем больше посылалось туда, в насытную эту прорву, людей и техники. Почему-то так складывалось, что уже весь фронт обязан был работать на одного Терещенко, и когда очевидно стало всем и сам он перестал сомневаться, что одной его армии в Сибезе не управиться, её не вытянули оттуда, но бросили ей в подмогу ещё сосед-

ную 27-ю генерала Омельченко, а следом и почти всю танковую Рыбко. А Терещенко и здесь не сник, но с той же энергией выторговывал загодя, чтоб считалось, что главный удар по Предславлю наносит его армия, а обе другие будут вспомогательные. И похоже, вводилась единственно теперь спасительная тактика, которую Кобрисов про себя называл «русской четырёхслойной»: три слоя ложатся и заполняют неровности земной коры, четвёртый — ползёт по ним к победе. Вступало и обычное соображение, что раз уже столько потрачено сил, то отступить никак невозможно, и может случиться, «вырвет победу последний брошенный батальон», — то самое соображение, которое погубило немцев в Сталинграде.

Что же до армии Кобрисова, пока не задействованной, он всё чаще подумывал с беспокойством, что и от неё рано или поздно станут отрывать куски для той же ненасытной прорвы. И ту мысль, которая пришла ему в голову, когда он смотрел на чёрного ангела с крестом и на купол собора, сиявший чуть потускневшей или просто закопчённой позолотой, следовало продумать и провести в дело как можно скорее. Эта мысль пришла к нему не сразу. Как ни странно, мысли предельно простые приходят к нам позднее, нежели сложные и громоздкие. Он объезжал накануне свои войска севернее Предславля — так назывался предлог поохотиться в днепровских плавнях, отдохнуть от суеты, остаться на несколько часов наедине с собою. Был канун сентября, и сентябрь чувствовал он в душе, которой уже год как минуло полвека, близился конец полноценной мужской поре, тот переклон холма, за которым уже только спуск. Он так остро ощущал подкравшуюся осень, с такой грустью различал её начало в зелёной ещё листве, в ярко синеем небе, что даже подумалось: может быть, эта охота в его жизни — последняя? Лучше не ждать, когда ослабнет зрение и уйдёт твёрдость руки, а бросить сразу, чтоб не причинять Божьей твари лишнего страдания. Охота вышла неудачная — он подстрелил утку, но она, уже с зарядом дроби в теле, крича жалобно и печально, сделала ещё несколько взмахов пробитыми крыльями и приводинилась далеко от берега. К ней не подобраться было и в болотных сапогах, и не было собаки сплавать

за нею, да он бы, пожалуй, и не пустил собаку под пулю немецкого снайпера. Расстроившись, он уже больше не стрелял, но, может быть, тогда и пришла к нему эта мысль, когда, осторожно раздвинув камыши и глядя с досадой на умирающую утку, относимую течением, он взглянул поверх неё. Далёкий и зловещий в своей тишине, тот берег нависал над узкой песчаной полосой, как геологический разрез, и был усеян чёрными оспинами стрижиных гнёзд. На этих кручах не то что зацепиться, не на чем было и задержаться глазу, одни лысые холмы, тянувшиеся, быть может, на сотни вёрст, лишь кое-где изморщиненные расселинами, — из них в любую минуту могли ударить пулемёты. Они, однако, не ударили. Осмелев, он стоял совсем на виду, по колено в воде, и вдруг понял, что не так расселины придают тому берегу вид неприступности, как его нагота.

Нет, эта мысль ещё не тогда зародилась в нём, он ещё не почувствовал гулкие удары сердца, как в те минуты, когда увидел тот берег действительно неприступным, ошестинившимся тысячами дул предместных укреплений. Понадобилось сначала увидеть его пустым, а затем укреплённым и мысленно убрать эти укрепления, чтоб сердце вдруг застучало гулко и часто. Может быть, та напрасная утка, медленно уплывавшая, маячила в его памяти, когда он сказал себе: «Это я возьму!» — а Шестерикову сказал: «Мы должны себя вести, как вкусная дичь...»

Шестериков снова приполз — с картой и принадлежностями, но прежде заставил его перевалиться на расстеленную плащ-палатку. Всему, что ни делал с ним настырный Шестериков, генерал уже подчинялся безропотно, зная, что это будет разумно и правильно, а главное — что от него всё равно не отделаешься, покуда он своего не добьётся. Вот и под карту он догадался подложить твёрдое — крышку от ящика батарейного питания рации. Представль на этой карте был обозначен, как и любой крупнейший населённый пункт — четырьмя неровными заштрихованными четырехугольниками, как бы «кварталами», разделёнными белым крестом «проспектов», Сибез — обозначался кружком с точкой. Генерал Кобрисов, с явственной дрожью в пальцах, вонзил иголку циркуля в белое перекрестье и стал раздвигать

лапки, покуда вторая, с грифелем, не попала в точку кружка, обозначавшего Сибез, а затем, сделавши полуоборот, тем же раздвигом циркуля перелетел над синей извивающейся ниткой водной преграды «р. Днепр», в северной её части. И грифельная лапка попала в такой же точно кружок, в центральную его точку. Убрав руку, он прочитал название — «Мырятин».

Оно ничего не говорило ему, кроме того, что называвшийся так населённый пункт находился на таком же расстоянии к северу от Предславля, что и Сибез — к югу. Пройдясь по извивам «р. Днепра» колёсиком курвиметра, он получил результат почти такой же. Те же восемьдесят километров. Но то, что лапка воткнулась в самый центр кружка, показалось знаменательным. Сама судьба или Бог, как ни назови, подтвердили его решение. Но ведь и фаталист, бросающийся навстречу предзнаменованию, не только удачу предчувствует, но ощущает и холод в груди, страх неизвестности. Что-то в эту минуту сказало Кобрисову, что с этим безвестным Мырятином свяжется, быть может, и самое славное в его жизни, и самое страшное, не исключая и смерти. Он даже подумал, не свою ли могилу мы намечаем, когда кажется, что нашли искомую цель. Это двойственное ощущение — и захватывающее, и пугающее — продлилось недолго и вскоре погасло, почти забылось. И он прогудел дурашливым голосом:

Ты, подружка моя Тося,
Я тебе советую:
Никому ты не давай,
А заткни газетою...

Шестериков, оторвавшись от бинокля, поглядел на него подозрительно.

— Ты всё понял, Шестериков? — спросил генерал, проделывая снова операцию с циркулем.

— Ну, может, всё-таки в окопчик сползём? — сказал Шестериков. — А то весёлых-то чаще всего подстреливают.

— Какой окопчик! — вскричал генерал. — Нам только сейчас рассиживать! Дует к машине скорей. Танки надо спасать, таночки! Пока этот злыдень, Терещенко, из-под носа не увёл.

Как поздно он пришёл к своему решению! Если б тогда он его высказал, в Ольховатке, — может быть, те, полёгшие гнить по оврагам, остались бы живы? Нет, едва ли, они обречены были — своей гибелью доказать всю бесплодность затеи с Сибежским плацдармом. И они же, парадоксальным образом, укрепили «командарма наступления» — все только и заняты были, как ему помочь выбраться из авантюры, куда он и других втянул. Он и до этого, непонятно чем расположив к себе Ватутина, а через него и Жукова, брал от соседей, что хотел, — артиллерийские и миномётные полки, танковые дивизионы и бригады — и возвращал потрёпанные, поредевшие, до того измотанные, что их прежде всего следовало отправить в тыл на отдых и пополнить. Терещенко же, отдавая, и не думал их пополнять, все полагающиеся им пополнения он оставлял себе. В той же Ольховатке, когда уже всё решилось с плацдармом и рассаживались по машинам, он громко, при всех, спросил Кобрисова — может быть, и в шутку, но шутку малопритяную:

— Ты бы мне, Фотий Иваныч, не одолжил дивизиюшку? Всё равно они у тебя не задействованы.

— А какую б ты, Денис Трофимыч, дивизиюшку хотел? — спросил Кобрисов под общий добродушный смех. — Небось приглядел уже?

— Шестая гвардейская у тебя хороша.

— Что ж мелочиться? — сказал Кобрисов, отъезжая. — Ты бы уж всю армию у меня прихватил. Я с одним обозом повоюю.

А между тем перспектива с одним обозом и остаться не так уж далека была. Спешить надо было, спешить, ничего не отдать сейчас. И в особенности — танки.

К вечеру сложился в голове предстоящий разговор с Ватутиным, но лишь глубоко за полночь адъютанту Донскому удалось соединиться с командующим фронтом, когда тот вернулся к себе в Ольховатку с Сибежского плацдарма.

Звонить же Ватутину на плацдарм, где он мог быть с Жуковым и Терешенко, разумеется, не следовало.

— Николай Фёдорович, — спросил Кобрисов тотчас после приветствия, — карта перед вами?

— Ну, слушаю тебя, — Ватутин отвечал уставшим голосом и слегка недовольно. Карты перед ним, по-видимому, не было, но старый штабист, конечно, держал её в памяти, со всеми населёнными пунктами и расстояниями между ними.

— Там этот Мырятин видите? В семидесяти километрах севернее...

— В восьмидесяти, — сказал Ватутин. — Ну? Там же как будто Чарновский стоит.

Карты, значит, перед ним не было. Конфигурацию фронта он помнил, но не со всеми же стыками флангов.

— Ещё не Чарновский. Ещё я стою. Самым краешком правого фланга. Так вот, напротив этого Мырятина... Он там от берега километрах в десяти, что ли...

Кобрисов сделал паузу, чтоб вынудить Ватутина самому произнести:

— Хочешь взять плацдарм?

— Просил бы вашего разрешения. — Кобрисов почти видел, как его собеседник, озадаченный вопросом, расстёгивает воротник, всегда теснивший ему короткую шею. — Николай Фёдорович, я же фактически бездельничаю. Зачем я против Предславля стою, как жених перед невестой? Да ещё в присутствии родителей. Да ещё — перед чужой.

Это, он знал, заставит Ватутина возразить, ещё не закончив обдумывания.

— Как это — «перед чужой»? Невеста у нас — общая.

— А так бывает? — спросил Кобрисов улыбчивым голосом, но Ватутин шутку не подхватил.

— Ты не бездействуешь, Фотий Иваныч. Ты знаешь, зачем ты там стоишь. Если фон Штайнер затеет обратно Днепр пересечь да зайдёт с востока на Сибезж...

— Не пересечёт он. Такие фортеля Гудериан проделывал в сорок первом, а нынче бы и он не решился. Силы не те. Ведь он, фон Штайнер то есть, считайте, половину своих войск перед Сибезжем держит.

Это был подготовленный реверанс Ватутину — что излюбленный им Сибезский плацдарм столько на себя отвлекает. На самом же деле фон Штайнер бросил туда одну дивизию — правда, не обычную полевую, а дивизию СС «Райх», численностью в сорок тысяч и усиленную шестью сотнями танков, которую можно было считать маленькой армией, — и всё же только она одна противостояла трём армиям советским. Но Ватутин не стал возражать, что не половину, а самое большее треть сил фон Штайнера связал Сибез. Кобрисов ему загородил все возражения стеною лести, оставив в ней одну открытую дверцу — Мырятин.

— Что ж, Фотий Иваныч, оно не худо этот Мырятин иметь. Как дополнительный плацдарм, с угрозой Предславлю. Отнюдь не помешает. Но там же пустыня, берег лысый. Ты это учёл? Ты же там, как слеза на реснице Аллаха, стряхнуть тебя с кручи — плёвое дело.

— А вдруг не стряхнут? Вот вы же не ожидали, что я этот плацдарм попрошу. *Тем более*, может, и фон Штайнер не ожидает?

— Лъстишь, — сказал Ватутин насмешливо. Но против ещё одного реверанса тоже не возразил. — Ну, что ж, дерзай... А почему против Мырятина? Какой ни есть городишко, а подступы укреплены. Почему не севернее? Не южнее?

— А чтобы он думал, что я у него этот Мырятин хочу оттяпать.

Кобрисов держал в голове: «Чтобы вы все думали...»

— Резонно, — сказал Ватутин. — А ты его брать не намерен?

Кобрисов отвечал уклончиво:

— Я б не отказался. Да кто ж мне его задаром отдаст? — И, выдержав паузу, добавил: — Николай Фёдорович, я не брал городов, которые потом отдавать приходилось.

— Я это помню, — сказал Ватутин. — И цену.

«Если бы так!» — подумал Кобрисов. Потому что больше ценили Терещенко, который всегда «замахивался по-крупному», как говорилось всем в назидание, который поспешил взять Харьков, чтобы вскоре же его отдать — не возвратив, разумеется, награды, полученной за взятие. Кобрисову же

доставалось брать Обоянь или Сумы, те малые городки, которые никого особенно не обрадуют, не слишком прогремят в приказе Верховного, но о которых никто не услышит, что пришлось их оставить. Он был из «негромких командармов», кого мог отметить лишь проницательный глаз, умеющий читать скупые строчки: войскам генерала N «удалось продвинуться на 12 км... Удалось закрепиться...»

— При случае — возьму, — сказал Кобрисов, никак не намереваясь этого делать.

— Хорошо, Фотий Иванович. Думай сам, по обстоятельствам. Я почему спросил — как бы не пришлось тебе слишком потратиться на этот Мырятин. Мы же главным делом о Предславле думаем — ну, и на твои силы тоже рассчитываем.

— Останется моих сил достаточно. Да я вот свою артиллерию — тяжёлую, гаубичную — на этом берегу оставляю. Будет из-за Днепра дуэль вести через наши головы.

— Ты уже себя за Днепром чувствуешь? — усмехнулся Ватутин.

— Честно скажу вам, Николай Фёдорович, — как бы приоткрыл свои карты Кобрисов, — я на ваше разрешение уже так настроился, что мой седьмой кавкорпус уже на подходе к переправе. И сам я одной ногой там, хоть через час отбуду...

— А если б я не разрешил?

— А почему б вы не разрешили?

Ватутин помолчал и спросил:

— Ладно. А как насчёт танков?

Вот для этого-то вопроса — о танках, о шестидесяти четырёх возлюбленных его «коробочках», «примусах», «керосинках», «тарахтелках», — и готовился весь разговор, и ответ на него был приготовлен — с долгим тягостным вздохом:

— Эхе-хе, танки... Я так думаю, они вам на Сибеже больше понадобятся.

— Что-то слишком ты добрый. Неужели от души оторвёшь для Терещенки?

— Да ведь всё равно отберёте, — сказал Кобрисов безнадежно.

— Пока не отбираем...

— Отберёте, наперёд знаю. Я ведь для некоторых — копилка резервов. Как что, так: «Дай, Кобрисов, твоих таночков на недельку. Что там у тебя ещё хорошенького есть?..»

— Возможно, что так оно и будет, — перебил Ватутин. — Но пока, я считаю, танков у Терещенко достаточно.

— Живут же люди! Танков у них достаточно! Николай Фёдорович, чего и когда на войне хватает? Только того, что применить нельзя.

На этот выпад — против Терещенко и всех, кто его поддерживал, — Ватутин отвечать не стал. Вместе с тем Кобрисов так настойчиво и с такой безнадёжной печалью прямо-таки навязывал свои танки, которые на Сибеже *применить нельзя*, что уже невозможно было не отказаться от них наотрез:

— Я сказал: пока что они твои.

— Посоветуете их тоже переправить? — спросил Кобрисов с невинной ноткой готовности.

— Фотий Иваныч, ты мне только что про этот Мырятин сказал, и уже тебе советы подавай. Завтра обратись. Я подумаю. Может, ещё какие соображения появятся. Желаю тебе успеха.

Лёгким раздражением в голосе он давал понять, что испрашивать советов — это уже лишнее. Не надо переигрывать. И не надо забывать: от подчинённого всегда предпочитают услышать готовое решение. Стало быть, главное указание, которого и добивался Кобрисов, он получил: не надоедать начальству. А что станет говорить начальство на следующий день, когда всё произойдёт по его раскладке, это он мог легко себе представить. И, зная хоть в малой степени участников разговора, был он не так уж далёк от истины...

...В глубоком, под семью накатами брёвен, штабном блиндаже на Сибежском плацдарме прогудел зуммер, и оперативный дежурный по штабу фронта доложил, что подвижные соединения 38-й армии генерал-лейтенанта Кобрисова производят скрытую рокировку в направлении — Мырятин. Сам командующий также отбыл к месту будущей дислока-

ции. Три славнейших полководца — маршал Жуков, генерал армии Ватутин, генерал-полковник Терещенко — при этом известии подняли головы от карты.

— Чего это он? — спросил Терещенко. — Неужто плацдарм задумал взять?

— Просил разрешения, — сказал Ватутин. — Обосновал убедительно, я отказать не счёл нужным.

— Но это же несерьёзно, Николай Фёдорович! Да его же там за тридцать вёрст видно, как на ладони. Его же оттуда веником сметут. Обычная Фотиева дурь!

Однако Жуков, поглаживавший в раздумье свой массивный подбородок, вдруг быстро притянул карту за угол к себе и впился в неё цепким всеобнимающим взглядом.

— Не скажи, Денис Трофимыч, — возразил он, усмехаясь. — На войне многие большие дела начинаются несерьёзно.

— А танки? — спохватился Терещенко. — Тоже он их на плацдарм перетасчит? Зачем они ему — на голых-то кручах? Они нам тут нужнее.

И Ватутин не мог не вспомнить с досадой, как ему Кобрисов сам же предлагал свои танки для Сибежа, буквально их навязывал, а он — отказался. Но признать себя так легко обведенным вокруг пальца — при том, что он же сказал: «ещё подумаю!» — Ватутин тоже не мог. И он приказал оперативному дежурному выяснить немедленно, где в настоящий момент находится танковый полк 38-й армии. Не более чем через десять минут оперативный дежурный позвонил снова и сообщил, что танковая походная колонна находится где-то в пути, движется предположительно в направлении — Мырятин.

— Что значит «где-то»? Что значит «предположительно»? — вскричал Терещенко обиженным петушиным тенорком, еле не выхватывая у Ватутина трубку. — Пусть запросит командира полка, где он находится!

Оказалось, командира уже пытались запросить, но, видимо, ему запрещено откликаться на запросы некодированные. Как, впрочем, и всегда это полагается на походе.

— Но сам-то генерал Кобрисов, — спросил Ватутин, — может связаться с полком? Какой-то же шифр у них установлен?

Оперативный дежурный позвонил ещё через десять минут и сообщил сведения ещё более удивительные. Генерал Кобрисов связаться со своими танками не может и даже не знает, каким путём они идут к Мырятину. Выбор пути предоставлен на усмотрение командира полка. Танковые рации опечатаны и не работают даже на приём — во избежание провокационных приказов со стороны противника.

— Ну, Фотий!.. — вскричал Терещенко с некоторым даже восхищением. — Ну, артист! Сам у себя танки украл — только б соседям не отдать. Видали жмота, бандюгу?

Ватутин только вздохнул безнадежно. А Жуков, всё так же усмехаясь, подмигнул Терещенко.

— А что делать, если соседи — такие же?

И всё же, если исключить вопрос о танках, сообщение оперативного дежурного по штабу фронта не произвело на всех троих полководцев слишком сильного впечатления. Это был второй захват земли на Правобережье, который, конечно, должен был отвлечь на себя какие-то силы фон Штайнера, однако не столь значительные, чтоб сибезская излучина утратила своё значение главного исходного пункта для броска на Предславль.

В планы генерала Кобрисова это именно и входило.

2

Навстречу шли «студебеккеры», крытые брезентом, и на буксире тащили пушки с зачехлёнными дулами. На крутом закруглении шоссе водители весело орали «виллису»: «От ствола!» — и поспешно козыряли, разглядев генеральский погон. Под брезентом сидели солдаты в касках, держа оружие между колен. Они смотрели назад — и видели край неподвижного серого неба и землю, стремительно убегавшую от них.

Это были ещё не обстрелянные солдаты и новенькие машины и 122-миллиметровые пушки, и генерал не мог не думать, что станется с ними там, на Мырятинском плацдарме. В его представлении всё, что ни двигалось навстречу, направлялось, конечно же, на *его плацдарм*. Уже две понтонные переправы были наведены через Днепр, севернее и южнее

Мырятина, и к двум этим ниточкам стекалась река людей и техники. Подняться б ему на самолёте, он бы увидел эту реку — шириною километров в тридцать: по дорогам и без дорог, полями и лесными просеками двигались колонны танков, самоходок, грузовики с пехотой, тянулись конные обозы с дымящими кухнями, санитарные автобусы и легковушки с той публикой, которая так охотно заполняет зону второго эшелона, когда передний край отодвинулся достаточно и не грозит подвинуться вспять.

Глупее и обиднее было не придумать: генерал Кобрисов оставил свою армию, он с каждой минутой всё больше от неё отдалялся, с каждым оборотом колеса, и ни один человек в этой лавине войск, стронувшейся с мест и потёкшей к Мырятину именно по его замыслу и воле, не мог бы о том догадаться, а мог лишь подивиться, отчего одинокий «виллис» так упрямо пробивается на восток, когда всё движется, валит, течёт — на запад. Он с этим ещё не смирился и мысленно, не имея сил на что-то другое переключиться, продолжал командовать своей армией и втекающими в неё пополнениями, распределял войска, указывал им колонные пути движения, перемещал с пассивных участков на участки угрожаемые, намечал для артиллерии секторы обстрела и режимы огня — словом, проделывал ту работу, которую армия, с её большими и малыми начальниками, могла бы, казалось, совершать и без него, а на самом деле, он твёрдо верил, никогда не совершает, как бы ни была сильна и опытна, но всёгда питается от аккумулятора, который зовётся командующим, движется его энергией, его нервами и бессонницей, его способностью вникнуть во всякую мелочь.

После звонка Ватутину и его разрешения занять плацдарм началось сколачивание переправочного парка, и прихлынули сведения, что вот у станции Торопиловка имеются у местных жителей полсотни деревянных лодок и штук тридцать резиновых «надувнушек», и ещё партизаны обещали пригнать двести рыбачьих баркасов, а некий старик-рыболов принёс удивительную весть, что на дне, близ берега, покоятся несколько танковых паромов, затопленных ещё в сентябре сорок первого, которые можно поднять, залатать, оживить

движки. И вот сапёры, заголясь до кальсон, ныряют и привязывают к ним тросы, а потом их выволакивают машинами — полуторками и трётонками, от которых шума поменьше, чем от гусеничных тягачей, — вот и об этом надо же напомнить, распорядиться, и чтоб сварщики латали их днём, упаси Бог ночью, когда за три версты видно прерывистое зарево дуги. Это потом придут понтонные полки и понтонёры наведут свою переправу — не прежде, чем хотя бы трём батальонам удастся закрепиться, переправившись на лодках, на плотках, на брёвнах, на бочках, обвязанных верёвками, на пляжных лежаках и садовых скамейках.

А ещё до тех батальонов малой группке — двадцати одному человеку в четырёх лодках — предстояло скрытно, во тьме, высадиться на узкой полоске берега под кручей и, разведав, где находятся (и находятся ли?) немецкие позиции, подать сигнал. В эту группку — «штурмовую», или «группу захвата», — подбирались люди, умеющие грести без плеска, способные не закричать от боли ранения, а коли тонуть придётся — не звать на помощь; её, если можно было, оказывали только безгласному, закричавший мог схлопотать удар веслом по голове. Этих «штурмовиков», или «захватчиков», напутствовал по традиции сам командующий, и составил уже обряд такого напутствия: их выстраивали перед шлагбаумом штабной деревни, он к ним выходил с начальником политотдела, с ними вместе выслушивал его призывы любить родину беззаветно, не щадя своей крови и самой жизни, затем обходил строй, самолично проверяя снаряжение, каждому пожимая руку, и предлагал напоследок: если кто в себе не уверен, пусть сделает два шага вперёд. Это говорилось для украшения обряда; никто, разумеется, из строя не выходил: одни — потому что вошли уже во вкус и жаждали новых наград или 10-дневного отпуска, другие — были штрафники «до первой крови», а в таких случаях кровь им засчитывалась и когда не бывала пролита, третьи — этих «шагов позора» страшились больше самого задания.

В этот раз генерал Кобрисов от традиции уклонился — процедура вдруг показалась ему фальшивой и ненужной, только напрасно взвинчивающей людям и без того напряжённые нервы, и он это испытывал на себе, чувствуя невнят-

ный страх перед чем-то, связанным с этим Мырятином, — вместо построений и напутствий он позволил людям поспать лишний час после ужина или написать прощальные письма, в которых они всегда писали о себе в прошедшем времени: «Дорогие мои, помните, я был весёлый, любил друзей и жизнь...» Поговорить он пожелал лишь с командиром группы, лейтенантом Нефёдовым, и пригласил его к себе. Шестериков подал ужин на двоих, выставил фляжку водки и удалился в другую комнату, к телефонам. Ещё четыре фляжки были положены Нефёдову в мешок для всей группы.

— Нефёдов, — сказал генерал, когда выпили по первой стопке, — ты сейчас главный человек в армии. Не я, а ты. Вся армия на тебя смотрит.

Нефёдов, опустив глаза, сказал смущённо:

— Постараюсь оправдать...

— Повтори мне, пожалуйста, что ты должен сделать. Только ты — ешь. Ешь и рассказывай.

Он внимательно смотрел, как 19-летний мужчина, с худым, большеротым лицом, с пробором в светлых волосах, непослушными от смущения руками режет мясо на фаянсовой тарелке, скрежеща по ней ножом.

Нефёдов, как об уже состоявшемся, рассказал, что он бесшумно преодолеет водную преграду (он так и назвал Днепр «водной преградой»), — затем, высадясь на плёсе, пошлёт троих в разные стороны на кручу — разведать, на каком расстоянии от уреза воды (он так и сказал: «от уреза воды») находятся немецкие окопы или иной опорный пункт; по возвращении всех троих подаст сигнал фонарём: если всё спокойно — длинными проблесками три раза, при опасности — серией коротких. Рацию — применит в случае окружения. Тогда, по-видимому, скорректирует огонь на себя.

— Сладками как поступишь? — спросил генерал. — Пригопишь? Или песком засыплешь?

Нефёдов быстро, по-птичьи, повернул к нему голову и ответил, глядя в глаза:

— Отошлю назад. Хотя мне каждый человек там нужен.

Это означало — он себе отрежет пути бегства. И предчувствие, что с этим юношей что-то плохое должно произойти, — предчувствие, впрочем, обычное для таких случаев, — пронзило генерала шемящей жалостью. Он подумал, что стареет и что нельзя ему поддаваться чувству, неуместному и не ко времени.

— Минус четверо, — сказал генерал. — Останется вас семнадцать.

— Девятнадцать, товарищ командующий. Лодки свяжем все вместе, хватит и двоих гребцов.

— А выгребут поперёк течения?

— Назад — выгребут. Я бы и одного послал, но вдруг с ним что случится — и пропали лодки.

— Что ты о лодках беспокоишься! Мы без них обойдёмся.

Нефёдов опять поглядел ему в глаза.

— Не в этом дело, товарищ командующий. Нам эти лодки там — не нужны.

Да, он так и хотел — отрезать себе пути бегства.

— Заместителя себе назначил? — спросил генерал, наливая по второй.

— Так точно... Конечно, товарищ командующий. Старший сержант Князев меня заменит. Я его проинструктировал.

— Ну... Дай Бог, чтоб не пришлось ему... тебя заменить. Давай за это.

Нефёдов молча с ним чокнулся и подождал, покуда генерал пригубит первым.

— Лейтенант Нефёдов, — сказал генерал, чувствуя прихлынувшую расслабленность, доброту, — возьми мне этот плацдарм. Очень тебя прошу. Ты, брат, не знаешь, что это для меня значит. И не надо тебе это знать. Думай обо всей армии. Как зацепишься, проси любой поддержки — артиллерией, авиацией. Найдёшь нужным — батальон тебе в подмогу пошлю. Считаю, что ты уже представлен на Героя Советского Союза. И ещё четверо, кого ты сам назовёшь. Остальные — все — к «Красному Знамени». Только постарайся, милый. В случае чего — ты знаешь, как меня вызвать по ради. Обращайся только к Кирееву. Это я буду Киреев. Так и требуй: «Киреева мне!»

Было что-то и впрямь неуместное, фальшивое в том, чего и как он просил у юноши, которому предстояло проплыть тысячу двести метров холодной быстрой реки, рискуя вызвать при всплеске сумасшедший сноп немецких осветительных ракет, и потом, на полоске берега, умирать от страха перед засадой, перед автоматной очередью, от которой не спрячешься под кручей, — тогда как он сам останется в чистой, покойной избе, где свет и тепло, и на столе ужин с водкой, и куда вскоре придёт к нему та, которую он так напряжённо ждёт и о ком Нефёдов наверняка знает, наслышан. Словно бы тоже чувствуя фальшь и его неловкость от сказанного, Нефёдов ответил смущённо, не поднимая взгляда:

— Товарищ командующий, я всё сделаю для Киреева...

Казалось, ему теперь хотелось бы уйти, побыть одному, только он не решается отпроситься. И генерал раздумывал, сказать ли ему про то, что оправдывало бы его самого, посылающего людей на гибель. Сказать или не сказать, что он сам переправится если не с первой ротой, так с первым батальоном? Он не помнил, когда пришло решение, — может быть, когда разглядывал в окуляры стереотрубы чёрного ангела с крестом и вдруг почувствовал, что перед ним, возможно, осуществление самой большой из его надежд? Или когда лапка циркуля ткнулась в сердцевину кружка и он сам ощутил еле слышный укол в сердце, как будто кто-то свыше дал ему знать, что с этим Мырятином свяжется для него, может быть, самое страшное? И может быть, наперекор этому страху он и решил включить в план операции свою гибель — как возможный или даже неизбежный её эпизод. Скорее всего, им двигало суеверие, которое, он знал, противоположно вере, но голос, явственно прозвучавший в нём, обращался к Тому, о Ком до этого он не так часто задумывался всерьёз: «Возьми тогда и меня, если не дашь мне удачи. Я сделаю так, я под такой огонь себя подставляю, что Ты не сможешь меня не взять. Дай мне только доплыть. А живым меня с этого плацдарма не сбросит никакая сила!»

Вот что пришлось бы тогда рассказать юноше, который, наверное, счёл бы это бреднями опьянённого мозга. Поэтому генерал сказал лишь:

— Чего мы ещё с тобой не учили, Нефёдов?

И тот откликнулся словно бы с облегчением:

— Товарищ командующий, в двух лодках мы кабель должны тащить для артиллерии. Но что это за кабель, вы бы видели! На нём живого места нет, сплошные обрывы. Кое-как они срошены, но не опаяны, изоляция прогнила. Ребята его обматывали газетами, промасленными тряпками, потом изоленты намотали, но мы ж его не посуху разматывать будем, а по дну. Суток трое он прослужит, а потом замкнёт.

Генерал почувствовал, как его лицо и шея наливаются кровью стыда и гнева — на лоботряса, ледащую сволоочь, которая так распорядилась, чтоб эти парни, которых завтра, может быть, на свете не станет, ещё бы и мучились сегодня, латая и укладывая заведомо негодный кабель.

— Шестериков! — позвал он, не поворачиваясь и закрыв глаза, чтоб успокоиться. Шестериков явился молча и быстро, точно сидел у двери и подслушивал в замочную скважину. — Свяжешься с начснабом по связи, скажешь от моего имени: если через час не отгрузит им полтора километра кабеля — целёхонького, трофейного, в гуттаперчевой оболочке, есть у него... Какой тебе нужен, Нефёдов? Четырёхжильный или шести-?

— Лучше бы шести-. Будет потяжелее, но хоть не зря трудиться, второй, может, и не придётся укладывать.

— Вот так, шестижильного, — сказал генерал. — Если не притащит в зубах и сам в лодки не уложит, со своими снабженцами толстожопыми, я из них жилы вытяну. А его — расстреляю завтра. Своей железной рукой. Перед строем. Понятно?

Шестериков, что-то не помнивший, чтобы генерал кого-то расстреливал своей рукой перед строем, тем не менее важно кивнул и удалился. Стало слышно, как он неистово крутит рукоятку зуммера.

— Что ещё? — спросил генерал Нефёдова.

— Всё, как будто...

— Совсем никакого желания?

Нефёдов повёл худым плечом и, вертя в пальцах пустую стопку, сказал смущённо:

— Ну, если вы спрашиваете, товарищ командующий... Я бы не хотел, чтобы из-за меня кого-то расстреляли. Я же понимаю, кабель у него на вес золота, и все требуют: «Дай километр! Дай полтора!» Хотел сэкономить человек. А этот, может, и не замкнёт сразу, две недели послужит, а там пере-права будет, по ней проложат...

— Ладно, — перебил генерал, насупясь. И было не понять, возражает он или обещает никого не наказывать.

Явился Шестериков, и генерал, поворотясь, уставился на него вопросительно.

— Погрузили кабель, — сказал Шестериков. — Давно, оказывается, погрузили.

— Когда «давно»?

— Два часа, говорят, как отправили. Ну, может, машина застряла...

— И что же он, не знает, что делать? — спросил генерал, опять впадая в сильнейшее раздражение. — Пусть на другой машине протрясётся и эту вытаскивает, если вправду она застряла. Или перегружает.

— Так и обещал, — сказал Шестериков, отчего-то вздыхая. — Через два часа будет сделано.

Оба понимали, что кабелем этим только и занялись после особого приказа, и эти два часа начальник снабжения связи взял себе авансом. Чёрт, подумал генерал, всё какое-нибудь враньё. Не получается без вранья воевать.

— Ты сам-то откуда, Нефёдов? — спросил он, берясь опять за фляжку.

— Ленинградец.

— В институте там учился?

— В университете. На филологическом. Со второго курса ушёл.

Он не добавил — «добровольцем», и это генералу понравилось.

— Фиологический — знаю, — объявил генерал. — Это где стихи учат писать. Счастливый ты человек, лейтенант!

— Почему счастливый?

— Ну... Есть у тебя профессия послевоенная. А у меня — нету.

— Но вы же... генерал.

— И что из этого? Генерал воевать должен. А что я после войны делать буду — не представляю... Я — человек поля. Поля боя. Научил бы ты меня стишки кропать. Тоже, небось, писал?

— Немножко...

— «Жди меня, и я вернусь, — продекламировал генерал. — Только очень жди...» Как там дальше? «Жди меня, и я вернусь — всем чертям назло!»

— «Смертям», — поправил Нефёдов.

— Любишь эти стихи?

— Нравятся, — сказал Нефёдов, слегка заалев.

— И мне тоже. Хотя «смертям» — это хуже. С чертями-то шутить можно, а вот со смертями — лучше не надо. Он потому такой уверенный, Симонов этот, что не побывал у нас на плацдарме. Которого ещё нет, но будет. Вот ты — можешь так уверенно сказать: вернусь непременно, ждите?

Помня о своём решении, генерал чувствовал себя вправе так спрашивать и спрашивал он себя самого. Нефёдов, не отвечая ему, заметил:

— Нет, он много по фронтам ездит, в отличие от других.

— По фронтам ездить — ещё не воевать... А в отличие — от кого?

— Ну, вот... Луговского хотя бы...

— Володьку — знаю, — объявил генерал, мотнув головою. — Он у меня в гарнизоне выступал в тридцать девятом. И потом мы с ним пили. Вдвоём, представь себе. Ну, ещё адъютант мой был, но быстро под стол уполз. А Володька — молодец. Всю ночь мне стихи читал. Одному.

И прочёл, дирижируя фляжкой в одной руке и стопкой — в другой:

Так начинается Песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, бредущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны...
Звенит эта Песня, ногам помогая
Идти по степи по следам Улагая...

Он умолк, опустив голову, и было похоже, что сейчас заплачет.

— А дальше забыл... Пили же всю ночь. Как собаки.

— Что же с ним случилось? — спросил Нефёдов. — Я слышал, его к нам не вытянуть, чтоб стихи почитал. На сто километров к фронту не приближается...

— На пятьсот — не хочешь? В Ташкенте окопался. Или — в Алма-Ате. — Генерал и сам точно бы впервые задумался, что случилось с поэтом, таким мужественно-красивым и так звонко воспевающим мужество, доблесть, воинскую честь. Такой неодолимый ужас вселили в него первые московские бомбёжки? Или война оказалась совсем не такой, как он её представлял себе, вдохновляясь собственными стихами? Всё же юноша задал вопрос и ждал на него ответа, и генерал ответил: — Знаешь, Нефёдов, нам его не надо судить. Вот я — куда только не совался. А что хорошего? Перед дождём все болячки ноют. И главное, всё — по глупости. А если разобраться, так тоже со страху. Сам себе боялся признаться, что страшно мне. Мы же с тобой оба этого боимся, верно? А он — не побоялся. Так и заявил: «Страшно мне. Я наперёд знаю: меня там обязательно убьют...» Ну, и Бог с ним, незачем ему сюда ехать, пусть лучше сидит и пишет. — И, спохватившись, вспомнив, что произносит за другого то, чего тот, возможно, и не говорил, он разлил по стопкам и переменял тему: — Кто же у тебя там остался, в Ленинграде?

— Никого. Мать успела с заводом эвакуироваться — ещё до блокады, а отец тоже воюет. На Втором Белорусском.

— А девушка?

Нефёдов стал медленно и красиво розоветь.

— Что девушка, товарищ командующий?

— Она успела?

— Да, только в другой город. За Волгой.

— Адрес её — тоже оставил?

По заведенному порядку люди из группы захвата не брали с собою никаких документов, ни даже «смертных медалей», всё сдавалось отряжавшему их офицеру.

Нефёдов молча кивнул, ещё гуще краснея.

— Как зовут её? — спросил генерал легко, не слишком интересуюсь ответом.

Нефёдов, опустив глаза, сказал с усилием:

— Разрешите, товарищ командующий, на этот вопрос не отвечать.

— Пожалуйста, — сказал генерал удивлённо. — Хороший ты парень, Нефёдов.

Ему почудилась там какая-то сложная драма, с размолвками, примирениями и кратким прощанием, которое, наверно, не обещало обязательной встречи, если останутся живы. У таких, как этот Нефёдов, чистых, слишком густо краснеющих, слишком много души уделяющих своим девушкам, которые наверняка того не стоят, всегда с ними нелады. И никакая война, наверно, таких не переделает.

— Если с тобой там что случится, не дай Бог, — спросил генерал, — награды кому переслать — ей или матери?

Нефёдов опять быстро, по-птичьи, повернул голову и посмотрел в глаза.

— Я всё написал, товарищ командующий. Награды — матери. А ей — пусть просто напишут.

— Ей напишут, — пообещал генерал, испытывая глухое мстительное чувство к той, неназванной. — Я сам напишу.

Нефёдов от этого ещё сильнее смутился и ответил, кашлянув:

— Спасибо...

— На здоровье, — генерал поднял стопку. — И чего это мы с тобой раскаркались? Верней — я. Ничего не должно случиться. Давай — на посошок, тебе тоже отдохнуть не мешает. Ты из счастливых, Нефёдов, так что всё обойдётся. Ещё золотую звезду нацепишь, девушка за тобой убегается.

Нефёдов, со стопкой в руке, почтительно кивнул.

В посошке принял участие и Шестериков, но отчего-то избегая глядеть на юношу. И каким-то сверхчутьём, пробившимся даже в захмелевшем мозгу, генерал понял, отчего он не смотрит. Он тоже знал, что таким, как этот Нефёдов, честнягам и романтикам, войны не пережить, и вот пришло время этому подтвердиться. «Может, отставить его? Другого кого назначить, постарше?» — подумалось на миг, но он воспротивился этой мысли. Войну и вытягивали эти девятнадцатилетние, эта прекрасная молодость, так внезапно для

него вставшая на ноги и так охотно подставившая хрупкие свои плечи, и никем, никем этих мальчишек было не заменить. Лучше всего это солдаты понимали: сорокалетние отцы семейств, относясь к ним по-отечески добродушно, даже порой и насмешливо, слушались, однако, беспрекословно. Когда-нибудь скажут, напишут: эту войну не генералы выиграли, а мальчишка-лейтенант, Ванька-взводный. Вся иерархия страха, составлявшая суть управления войсками, опиралась в конце концов на него, единственного командира, который мог бояться противника больше, нежели начальства. Верховный давил на командующего фронтом, тот — на командарма, командарм — на комдива, далее устрашали нижестоящего командиры полка, батальона, роты, а на нижней ступеньке этой лестницы стоял тот, кому устрашать уже было некого, кроме своих пятнадцати-двадцати солдат, и кто ничем не мог заслужить привилегии — не идти в бой вместе с ними. «Так что же, — спросил себя генерал, — одного Ваньку-взводного отставить и такого же послать? Нет, войну не обманешь, что одному суждено, то и другому...»

Он быстро взглянул на часы, и, как ни старался, неуловимое это движение не укрылось от юноши. Тот быстро встал и, надев пилотку, откозырял. Генерал, грузно поднявшись, притянул его к себе, обнял худое тело и похлопал по спине. И ему, — да, верно, и юноше, — это показалось ненужным, лишним.

Потом, еле дождавшись, когда затихнут шаги Нефёдова и закроется наружная дверь, он себе налил ещё две стопки и выпил их быстро, одну за другой, тупо уставясь в угол и чувствуя, как нарастает в нём напряжение ожидания.

Она не запоздала ни на минуту. Эта её всегдашняя точность и нравилась ему, и претила: он не мог понять, дорожит ли она каждым мигом свидания или только спешит на вызов начальства. Но торопливый перестук её каблучков по глиняному полу, когда она пересекала комнату с телефонами, отзывался в нём радостным гулом и, казалось, совпадал с ударами сердца. В такие мгновения он думал о том, что ещё не стар и до старости далеко.

Шестериков, пропустив её, затворил за нею дверь. Как-то негласно было заведено, что когда она приходила,

скосясь набок от тяжёлой брезентовой сумки с красным крестом, телефонисты сразу же удалялись и возле аппаратов оставался один Шестериков. Считалось, что командующего *во время осмотра* никакие звонки не должны были потревожить, разве что от Верховного. Ничто ни для кого давно не было тайной, но генералу Кобрисову хотелось думать, что некая тайна всё-таки сохраняется, и люди из его окружения настолько преданы ему, что берегут эту тайну, а не только соблюдают все внешние признаки её сохранения.

Свалив сумку на табурет, она взяла его за руку у запястья и задержала на полминуты, вглядываясь в свои наручные командирские часы с чёрным циферблатом, светящимися стрелками, красным секундником, — его подарок ей из американской посылки для старших офицеров.

— Что вы чувствуете? — спрашивала она озабоченно.

— Тебя чувствую, дочка.

— Я же серьёзно.

— И я не шучу.

— Ну, давайте хоть помолчим, а то я собьюсь. Ну, вот... сбилась!

Глядя снизу на её лицо, сосредоточенное, с закушенной нижней губой, он думал о том, что такие лица, пожалуй, не могут быть у девиц, переживающих своё девичество между войнами; лишь время войны накладывает эту печать мужественности и простоты, придаёт взгляду бесхитростный и гордый вызов. Но что станет с её лицом лет через десять-двенадцать, — если, конечно, она до того лица доживёт! — как будет оно проигрывать в сравнении с лицами невоенной поры, ухоженными, натренированными утаивать любые чувства! Ему вспоминались лица бывших девушек Гражданской войны, без конца выступавших с воспоминаниями, лица огрубелые и жалкие — оттого, что жизнь заполнялась лишь памятью о прошлом. Бывшее тогда кровавым, грязным и страшным, оно, отойдя, сделалось прекрасным, лучшим в судьбе. А настоящего, о котором тогда так мечталось, не досталось им, чтобы создать новое лицо, с чертами по-иному прекрасными.

Сейчас её лицо, не столь и красивое, было прекрасно своим выражением непритворной заботы — о нём, о нём! Со-

всем иное, чем у жены, оно и волновало его особенно этой непохожестью; эта темно-русая, темноглазая девушка, *юница*, с большим и по-детски припухлым ртом, была *из другой жизни*, и погружение в эту жизнь, в пугающую сладость измены, ему кружило голову. Не сдержавшись, он её привлёк, посадил на колени себе, обхватив тонкую талию, перетянутую широким жёстким ремнём, с подвешенным к нему пистолетом, — этот маленький испанский браунинг «Лама» тоже он ей подарил. Всегда он ей дарил что-нибудь из военного снаряжения. С большей охотой он бы ей подарил парфюмерный набор («Красная Москва», других он не знал) или кружевную сорочку, но было невозможно кого-либо попросить, чтоб привезли из Москвы, а заказать снабженцам что-нибудь сверх того скудного, жалкого «ассортимента», что имелся на армейском складе для военнослужащих женщин, было ему ещё недоступнее, чем ей; он не мог и поручить это Шестерикову; стало бы слишком ясно, для кого старается ординарец, который сам вполне *устраивался* без этого, и тогда уже, как считал Кобрисов, даже видимость тайны перестала бы сохраняться во всей армии.

— Что вы делаете? — мягко укорила она. — Я же должна вас прослушать, мне ваш пульс не нравится совершенно, опять перебои. И что с вами делать, просто ума не приложу. Просили, чтоб я вам что-нибудь принесла, чтоб не спать, или укол сделала, но вы же выпили...

— Так вот же и принесла. Нешто с тобой заснёшь?

— Ну, вот... Что с вами поделаешь?

Сидя у него на коленях, она расстёгивала китель на его груди, прикладывалась ухом к сердцу; в её движениях, во всём милом, девически незавершённом лице не видно было никакого лукавства, игры — это и трогало его, и обижало.

— Да ты любишь ли меня?

— Но вы же знаете...

Как было понять её покорность? Вы же знаете, что да? Или — что я это обязана сносить, потому что вы генерал, вы командующий, а я — лейтенант, медичка? И однако, при всей покорности, сколько ни возражал он, она упрямо звала его на «вы». Покуда одетые, никогда по имени, а только — «вы». Другое дело — в постели.

— Я шприц приготовила для укола, — сказала она грустно. — Ну, есть же какой-то порядок, режим, зачем же вы раньше времени выпили?

— Раньше какого времени?

Она лишь потупилась, повела плечом.

— Ну, выпей и ты. Для порядка...

Он ей налил с размаху, с переливом, в свою стопку и поднёс к её губам. Она от запаха сморщилась, но слегка запрокинула голову, чтобы он мог влить всю стопку разом. Это он приучил её так пить; в первые их свидания она непременно перехватывала стопку пальцами обеих рук и выпивала маленькими судорожными глотками. Выпив, она опять припадала щекою к его груди, и это служило как бы условным сигналом, частью прелюдии, после которой с нею всё можно.

Господи, как будто ему с нею хоть что-то было нельзя! Как будто он это всё не проделывал тотчас же, как она к нему входила, не дав ей хоть юбку стащить, не заботясь о том, как же она выйдет потом в измятой, — как и вообще не заботило его, скольких усилий стоило ей, при всех передвижениях армии, являться к нему всегда чисто вымытой и опрятно одетой, наглаженной; её испуганные взгляды на дверь не понуждали его хотя бы накинуть крючок, а лишь задёрнуть полог в углу, где помещалась его походная койка, — хотя и этого можно было не делать, ничья нога не ступила бы сюда, миновав Шестерикова. Как много было потеряно — и её движений при раздевании, трогательно готовных, и своего же горячего томления, всего прелестного, таинственного, о чём только и помнится потом, тогда как то, что он называл «делом», забывается напрочь. Сейчас ему горько было представить себе, как, наверное, безобразен был он с нею, и оттого особенно горько, что таким она и запомнит его. И может быть, в час другой, в другой постели, с кем-то другим, она, вспоминая его, вздрогнет с отвращением.

А впрочем, стыд за себя недавнего был недолог. Он и сейчас думал, что его решение, в которое он не находил нужным её посвятить, освобождает его совесть от всех укоров. «Меня, может, завтра и не будет, — говорил он себе с почти детской обидой. — И это, может, в последний раз... Неужели

же мне всё не простится?» И раздевал её торопливо и неумолимо, разгорячаясь всё более от её податливости, любуясь откровенно при свете керосиновой лампы каждой открывшейся пядью девического тела, а затем, не сводя глаз с неё, раздевался сам, гордясь, что и она тоже любит его им, робко притрагиваясь к его шрамам. Вскинув её на руки, он не ощутил совсем тяжести, напротив — прилив сил от ожидания большей близости, и, задув лампу, понёс свою ношу в угол, в темноту, поспешно, как если б кто хотел и мог её отнять у него.

Потом, и впрямь, ничего запомниться не могло — от первых её судорожно-робких объятий до последнего задыхания, до того, как она, выгнувшись с неожиданной силой, не опала наконец, сразу сделавшись расслабленным, потерявшим упругость пластом. Однако сознание его не затмилось ни на миг, в нём явственно промелькнуло сказанное кем-то: «Самая лучшая не может дать больше, чем имеет», — и он подивился очевидной ошибке или нарочитой лжи: так сказано теми, кто не знает, что взять, или взять не может. Невесты отчего довольный своим открытием, он, отвалясь, изредка и как-то машинально прикинул губами и лбом к её виску с пушистым завитком, как бы прощения испрашивая за извечную мужскую вину, и нехотя, хриплым голосом, говорил о чём-то, совсем не главном: кровать узка, звёзды в окне какие высыпали, кто-то в углу скребётся — не мышь?..

— Что же с нами будет? — вдруг спросила она, глубоко вздохнув.

Она смотрела в тёмный потолок хаты, и он скорее угадал, чем увидел, на её глазах слёзы — от унижения и опустошения? от счастливой усталости? или от любви, которой не суждено продолжиться нигде, никогда? Он провёл по её щеке ладонью, хотел привычное пробормотать: «Ну, что, глупенькая? Ну, перестань...» — но она быстро перехватила его руку своими обеими и прикинула к ней щекой, потом губами, быстро целуя и всхлипывая.

— Что-то с тобой должно случиться... Я так боюсь за тебя, ты же безрассудный! Я просто вижу, как ты лежишь — на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения...

— На том — это ещё ничего, — сказал он тем беззаботно усмешливым тоном, каким всегда так приятно мужчине говорить с женщиной, беспокоящейся о нём.

— На том, — повторила она, как эхо. — Нет, переправиться ты успеешь. Но далеко не уйдёшь.

— Да что со мной случиться может?

— Не знаю. Разве бы я тебя не предупредила, если б знала?.. А только ты со мною уже не будешь. Не дождусь я этого. Никогда.

Он хотел расспросить её об этом предчувствии, — не потому, что слишком оно его пугало сверх предчувствий своих, но просто он знал, что звук собственного голоса успокаивает многих женщин, — как в комнату вдруг ворвался рёв телефонного зуммера, и клацнула за дверью быстро схваченная трубка.

— Алё, — сказал глухо Шестериков, должно быть прикрыв рот ладонью. — Нет, не товарищ командующий. Отдыхают они... Отдыхают, говорю. Устали очень.

— Прохиндей, — сказал генерал, усмехаясь.

Она усмехнулась тоже.

— Мне скажите, если что важное, — говорил приглушённо Шестериков. — Это поглядим, надо ли ещё будить. Доплыли, говорите?.. Фонарём посветили?.. Ладно, доложу. — И громко, явно для сведения того, кого просили разбудить: — Значит, доплыли, дали сигнал... Сколько проблесков?... Два проблеска. Значит, ещё не разведали, а только преодолели. Как разведают, три раза должны посветить... Шестериков принял, дежурный у аппарата. Будьте спокойны, мне ж трибунал, если не доложу... И вам всего наилучшего. Счастливо оставаться.

Он прокрутил отбой и чем-то громко зашелестел — должно быть, газетой.

Время, вспугнутое звонком и подхлётнутое вскачь этим первым сообщением, опять замедлилось, потекло в бесконечной, безысходно-мучительной благодарности ей, которая была так чутка и покорна, так хотела всю себя отдать. И, хотя усталость ещё не прошла и силы не вернулись, он не мог не потянуться к ней снова, прижавшись губами и горячим повлажневшим лбом. Она отстранилась, насколько

ко можно было, чтобы не прикасаться, пока не пришло время.

— Всё-таки жалко, что я тебя не полечила, — так она объяснила своё движение. — Ты плохо к себе относишься, совершенно наплевательски к своему здоровью. А ведь уже возраст, никуда не денешься. И выпил зря так много... Много ведь выпил, да? Ну, согласишься со мной.

— Угу, — сказал он. — Соглашаюсь.

Она вздохнула удовлетворённо и, помолчав мгновение, вдруг сказала с неожиданной страстью и сквозь слёзы в голосе:

— Счастливая твоя жена!

— Чем счастливая? — он удивился. — Что я ей тут с тобой изменяю?

Он тотчас пожалел о сказанном, но она его слов как бы не услышала, простила.

— Как же не счастливая — с таким, как ты!

— С каким таким особенным?

— Нет, вовсе не в том дело, что генерал... Не в этом совсем...

— А в чём же?

Впервые она ему отвечала на вопрос, которого он не решился задать, и он боялся спугнуть её, ждал продолжения. Но продолжения не было.

— Так в чём же?

— Разве я тебе не всё сказала? — ответила она удивлённо и печально. — И ты сам не видишь, какая я с тобой? Когда только вхожу к тебе, у меня праздник, рук и ног не чувствую. А когда одна остаюсь и о тебе думаю, ну такая печаль, такая тревога за тебя, ведь ты же... совсем один! Такой одинокий, так тебя жалко. А тебе для меня и полчаса было много. Не потому, что заботы кругом и вздохнуть некогда, а просто я на полчаса и нужна. — И, смутясь, что укоряет его, чего раньше себе не позволяла, добавила мягче: — Мне не за себя обидно, мне и так счастье. Обидно, что ты себя обкрадывал. С другой так не делай никогда. Обещаешь мне?..

...Всё же он заснул ненадолго — может быть, на несколько минут, — как провалился в чёрную яму, без какого б то ни было сновидения, и проснулся от того, что всегда тревожит

и будит человека воюющего — тишины. Она спросонья была пугающей, в ней таилось что-то зловещее. Но у лежавшей рядом юной женщины глаза были открыты, она стерегла его сон, и, значит, ничего особенно страшного случиться не могло, по крайней мере за то время, что он отсутствовал. Он к ней прильнул с ощущением своей неясной ему вины и благодарности за снисхождение, но резкий зуммер опять прорвался сквозь дверь, клацнула трубка, Шестериков приглушённо сказал своё «Алё!» И громче, нежели нужно было собеседнику на том конце, стал переспрашивать:

— Три раза посветили?.. Ну, значит, разведали... Ты, это, и думать брось, что я не докладываю, мне жить ещё не надоело. Только зачем будить, если порядок во всём? Благодарю от лица службы... Кто принял? Шестериков принял. Есть такой... Вот, теперича будешь знать... Постой, куда уходишь? Кабель они размотали? В воду не упустили? Надо ж прозвонить его, вдруг не действует, где ни то обрыв... Вот и займись... Ладненько, служим дальше. Как родина велит.

Трубка упала на рычаг, и время опять потекло медленно, можно было вновь жарко приникать друг к другу, переплетаясь, как стебли, но равенства и согласия в их любви, только что как будто достигнутых, уже не было, что-то иное вторглось и требовало своего места в его сознании, и она это чувствовала и с этим соглашалась, жалея его и только робко прося побыть с нею, не уходить так далеко. Однако далёкий и как будто совсем посторонний образ маячил в его мозгу, образ тех, прячущихся на узкой полоске под обрывом, съедаемых страхом и всё же делающих дело, для кого-нибудь последнее в жизни. И ему не давало покоя, что он что-то упустил и не может вспомнить, что ещё следовало приказать, но вдруг опять властно заговорил Шестериков:

— Алё, прошу назваться... Ну, считайте, Киреев говорит. Что там шестая рота подельывает?.. Готова? Пускайте роту. С Богом. Людям объявили насчёт награды? Пять званий Героя на роту дадено, кто первым уцепится... Ну, лады.

— Что он делает? — спросила она испуганным шёпотом.

— Ничего особенного. Командует армией. Ты мне его не сбивай.

— Что же одна рота сможет?

— Всё правильно. Он дело знает. Сейчас батальон поднимет.

И, точно Шестериков мог это услышать, он уже опять кому-то звонил:

— Как там люди?.. Сладко ночевали, глазки слипаются? Кончай ночевать!.. Командующий, значит, так велели: людей накормить, а водки им не давать... «Почему», «почему»? Ну, сам же знаешь, река пьяных не любит. На том берегу по двойной примут...

Она вздохнула протяжно, как ребёнок, спросила печально:

— Пора нам прощаться? — И, не дождавшись ответа, сказала решительно: — Я с этим батальоном пойду.

Она не просила разрешения, это было её дело, её боевая обязанность, в которую он никогда не вмешивался. Он лишь подивился нежданному совпадению. Словно бы она обо всём догадалась.

Всё же он ещё раз хотел того, что могло быть последним. Он поймал себя на том, что не думает о ней, для которой это, быть может, уже не так желанно. Но и укорив себя, всё же глухо повторил:

— Еще не пора. — Он вложил в эти слова двойной смысл, она поняла и головой коснулась его плеча. Он добавил: — Ещё колонна должна объявиться.

— Какая колонна?

— Какая надо. Не забивай себе голову...

Было договорено, что танковая походная колонна, идущая к траверзу Мырятина по плавной дуге, объявится в эфире с половины пути. Для этого оставят там радиста, который выйдет на связь лишь через полчаса после её ухода. Если его и засекут пеленгаторы, огонь обрушится на него одного. И возможный смертник, наверное, медлил надеть наушники, вытянуть антенну, дать свои позывные. Генерал его понимал, а всё же изнывал от нетерпения, подступающего гнева.

Он поднёс к глазам руку с светящимися часами, которые не снял. Ночь ещё чернела в распахнутом окне, ещё мерцали звёзды, а время летело неумолимо. И вот взревел наконец зуммер, и Шестериков громче обычного заговорил в трубку:

— Объявился радист? Порядок, благодарю! — И, как бы предупреждая вопрос генерала, сам спросил: — А не засекали его?.. Гляди-ко, фриц тоже не спит, службу несёт... Да уж, пора будить. Шас доложу.

Но, положив трубку, продолжал сидеть, громко, как жестью, шелестя бумагой. А ночь в окне уже не была так непроницаема, как несколько минут назад, к её черноте примешивалась робкая просинь. В том последнем, от чего невозможно было отказаться, он прощался с женщиной, как прощаются с жизнью, с самым дорогим в ней, искупающим все страдания, обиды, предательства судьбы. И она отвечала ему так же прощально, пусть без горячности, без стенаний, которые и хотелось бы ему услышать, но с таким глубоким, страстным, упрямым молчанием, как если б уже принесла последнюю жертву любимому и больше отдать было нечего.

И когда разомкнулись, долго не произносили ни слова, лежали в оцепенении, далёкие друг от друга. Так же, в молчании, поднялись, и она смотрела на него, запрокинув голову, опустив руки. Он успел подумать, что от этой ночи, которая была уже на исходе, может быть, что-то останется — новая жизнь, и она её понесёт так же покорно, какой всегда была с ним. Но эту мысль, и пугающую, и внушившую гордость, перебил зуммер.

— На подходе уже? — кричал Шестериков. — Говорите, Торопиловку проследовали?.. Быстрые! И чего наблюдатели докладывают?.. Ни одной не потеряли?.. Значится, могу доложить — все целы коробочки, примуса, тарактелки? Благодарность от лица службы!

Наклоняясь, опуская книзу чуть продолговатые колокольчатые чашки девических грудей, ещё не утративших для него своей неповторимости и тайны, и значит, ещё любимых, она подбирала с полу свою одежду, которой теперь больше стеснялась, чем наготы, грубую одежду не девушки, а солдата. Он порывисто к ней шагнул, вспомнив, что и ей сегодня то же предстоит, что и ему. Но больше думал уже о другом, о себе, об армии, изготовившейся к переправе, когда привлёт к себе тонкое тёплое тело, стиснул, поцеловал её в лоб. И сказал, глядя уже куда-то сквозь стены, поверх её темени:

— Береги себя, дочка.

Танки...

Танки...

Танки...

Здравствуй, наша сталь!

С. Кирсанов

Как всё удавалось ему поначалу, как ложилось в намеченные сроки!

Танковый полк прибыл ещё до света и втянулся в длинный неглубокий овраг, выходящий косо, под острым углом, к Днепру. Устьем оврага была уютная бухточка, тихая заводь, куда могли войти мелкосидящие танковые паромы и опустить на песок свои ржавые искромсанные аппарели. И они уже с ночи сгрудились там, причаленные бортами друг к другу, легонько покачиваясь и поскрипывая. Приняв на себя всё руководство переправой, он сам и присмотрел эту бухточку, и распорядился, чтоб просчитали течение и снос, да погнали бы в воду сапёров с шестами — промерить глубины, и чтоб было с запасом, чтоб под тяжестью танков паромы бы не просели до дна.

Между тем правый берег молчал, и не было сигнала, что переправившаяся рота закрепилась, очистила хоть двести метров будущего плацдарма. Молчание это вселяло, как водится, тревогу, но могло быть и добрым знаком, что всё идёт по плану, и вот-вот прохрипит в наушниках весёлый, блудливый голос: «Киреев! Ты, говорят, женишься? Когда ж на свадьбу пригласишь?» И с той же котиной ухмылкой ответят ему: «Женюсь, да невеста задерживается, долго марафет наводит...» Эту немудрящую конспирацию немцы, конечно же, сразу рассекретят, поднимется суматошный лай крупнокалиберных пулемётов, тяжкое уханье гаубиц, и покажутся недооценённой отрадой едва поредевшая ночная мгла, шелест осоки и камыша, обиженный вскрик чем-то потревоженной птицы.

Он ехал ухабистой дорогой, стелющейся по дну оврага, вздрагивая под своей кожанкой от предутреннего холодка, но больше от возбуждения и нетерпения, и одна за другой

выплывали из сумрака тёмные громады — его «коробочки», его «керосинки», «примуса», «тарактелки». Побитые, изгрызенные осколками, многожды латанные, покрытые копотью, они спрятали свои раны и шрамы под ветвями, ещё не сброшенными с башен, привязанными шпагатом к стволам пушек. Вот что он упустил, пожалуй, — распорядиться, чтоб натянули над оврагом маскировочные сети. Но может быть, и не понадобятся они — если всё сложится по его плану, танки уйдут к переправе ещё в темноте.

Он обогнал две полковые кухни на конной тяге, передвигавшиеся неспешно от танка к танку; экипажи, не сходя с брони, а кто и прямо из люка, тянулись вниз с котелками, куда им щедро сыпали черпаком комковатое варево. Туман, застлавший дно оврага, смешивался с дымом кухонь, с дизельным выхлопом, ещё не успевшим рассеяться, пахло солляркой, мясной едой, лошадьми, — он втягивал эти запахи раздувающимися ноздрями и взбадривался, одолевая свой страх — перед тем, что затеял он и что должно было вот сейчас начаться.

Появление командующего было до того неожиданным, что на него поначалу не обращали внимания, но всё же срабатывал таинственный, ему не видимый телеграф, и где-то в середине колонны уже выходил ему навстречу командир полка — с чумазым лицом и, верно, красными от недосыпа глазами. Под шлемофоном различалась в полумраке тёмная чёлка, а по верхней губе продёргивалась ниточка усов. Такого образца усики генерал Кобрисов привык видеть по утрам в зеркале, бреясь; у командира полка, при худобе лица и чёрных запавших глазах, они выглядели иначе и делали его похожим на грузина. Мода в 38-й армии, как уже не раз отмечал генерал, исходила от него; те, кто не мог его видеть, перенимали её от вышестоящих, — и значит, он, а не какой-нибудь легендарный разведчик или иной герой, был самым популярным в армии человеком; это и приятно было сознавать, и отчасти раздражало: если каждый захочет походить на Кобрисова, мудрено отличиться самому Кобрисову.

Рапорт командира он выслушивал сидя, но не утерпел, выбрался из «виллиса», разрешающим жестом опустил его

руку, вскинутую к шлемофону, затем поймал её и крепко, порывисто стиснул, горячую и грязную.

— Ладно, с прибытием тебя, майор. Всех привёл? Никого не потерял?

— С чем вышли, товарищ командующий, с тем и прибыли, — ответил командир уклончиво, смущаясь ли этого неуставного тисканья или оттого, что не всё у него вышло без неполадок.

— Хорошо говоришь, только непонятно. Что значит «с чем вышли»?

Право, генерал не нашёл бы, в чём его упрекнуть. Ночной рейд был проделан без опоздания, и это при том, что двигались без фар и габаритных огней; водители, выдерживая дистанции, ориентировались лишь на белый круг в корме впереди идущего, и это восемь часов без единого привала; чудо, что не заснул никто, не столкнулись, не повредили ни пушек, ни радиаторов.

— Товарищ командующий, — сказал майор, заминаясь, — я, помните, докладывал... Две машины у меня не вышли из ремонта.

— Ну? А что с ними?

— Я докладывал — башни не вращаются. Если помните.

— Как это не вращаются? Почему?

И, ещё задавая свой вопрос, генерал вспомнил отчётливо, как в ответ на его приказ о передислокации этот командир ему пожаловался, что в мастерской всё тянут с ремонтом двух машин. И вспомнил даже, в чём было дело. Снаряды, угодившие в стыки между башнями и корпусами, выбили зубья больших поворотных шестерён; этими зубьями, отскочившими внутрь, ранены были в одном танке башенный стрелок, в другом — командир; они, впрочем, успели уже вернуться из медсанбата, с зубьями же оказалось хуже, нежели с человеческой плотью. Приваривая их, не избегли коробления; малые шестерёнки, набегая на сварной шов, застопоривались, и электромоторы поворота гудели и дымились. Замену снабженцы не подвезли, и башни просто опустили в гнёзда и закрепили по курсу — от чего пушки, естественно, лишились горизонтальной наводки. Наводить их можно было лишь поворотом всего танка, что требовало немислимой

в бою согласованности между водителем и стрелком. Генерал, выслушав доклад, вскипел тогда: «Бардак у тебя вечный!» — и швырнул трубку. И казалось, его гнева достаточно, чтоб всё наладилось срочно и с этими заклиненными башнями ему более не досаждали, но вот они выплыли снова — как первая и непредвиденная помеха.

— И ты их оставил? — вскричал генерал, отшвыривая руку, только что пожимаемую крепко и порывисто. — Два танка оставил! Ну, майор, удружил! Низко тебе кланяюсь...

Свою руку он вдруг ощутил чем-то запачканной, какой-то маслянистой дрянью, и брезгливо ею потряс. Донской, оказавшийся рядом, с невозмутимым лицом подал ему чистый платок. Генерал отёр свою руку платком и швырнул его наземь.

— Век буду благодарить! — вскричал он едва не жалобно.

Донской молча кивнул, как будто это к нему относилось, и от этой нелепости генерал ещё сильнее обиделся. В ослепляющем гневе он не находил, какие ещё слова бросить в уму-чренное лицо, ставшее ему ненавистным, да с трижды теперь ненавистными усиками. И ещё больше гневало его, что лицо это было сама виноватость, даже как будто искривилось от сдерживаемых слёз.

— Что кривишься! Плакать он мне тут собрался!

— Товарищ командующий, — робко воспротивился майор. — Да разрешите же объяснить... Я ведь как подумал...

— Чем ты «подумал»?

— ...зачем нам на тот берег инвалидов тащить?

— Умник ты! «Инвалидов»! И хрен с ним, что башня не крутится. Он — танк. У него ещё мотор есть. И броня. Мне на том берегу любая колымага сгодится, только бы двигалась.

Ничего, разумеется, не решали эти два танка, но они грозили стать началом в цепи непредвиденных осложнений, а цепь эта всегда начинается с дурацких мелочей. Всегда раздолбай найдётся — испортит праздник. И хотя генерал понимал хорошо, что до праздника ещё очень далеко и что командир этот вовсе не раздолбай и заслуживает не нагоняя, а благодарности, и даже есть резон в его оправдании — хотя бы суеверное нежелание начинать ответственную операцию

с «инвалидами», — но не мог примириться, что уже какая-то мелочь вторглась в его план, а пуше не мог примириться, что у кого-то могли быть свои суеверия, кроме его собственных. Недопустимой роскошью казалось ему сейчас, чтобы у каждого в армии были суеверия.

— Товарищ командующий, — сказал майор, вытягиваясь и бледнея, что стало различимо даже в полумраке, — можете меня отстранить, если не справился. Но разрешите...

— Что-о?! — перебил генерал и в изумлении даже отступил на шаг, разглядывая его как будто впервые. И кажется, в эту минуту оба они поняли каждый своё. Майор — что можно было и взять этих «инвалидов», вреда бы они не принесли, а польза была бы, да хоть лязгу побольше и рёву, а генерал — что можно было их и не брать, пользы только и есть, что рёву и лязгу. — Нет уж, иди войой. С чем есть. И задачу мне выполни. А не выполнишь — под трибунал пойдёшь...

Он кинул взгляд на платок на земле, которым только что отирал руку, и осознал, что притихшие экипажи наблюдают эту сцену — в сущности, безобразную, поскольку он распекал командира при подчинённых, — и наблюдают не столько с любопытством, сколько с угрюмым осуждением.

Огромный детина, и мускулистый, и полный, сидевший на броне с котелком между колен, звякнул ложкой, сам от этого звука вздрогнул и поспешил сказать:

— А может, и не придётся, товарищ командующий, под трибунал? Выполним мы задачу. Неуж не выполним?

Генерал бросил взгляд на его добродушное, лунообразное лицо — и ещё раздражился: зачем такого верзилу в танке держат, где и шуплому тесно, ему бы милое дело в пехоте, в рукопашной поработать. И тут же вспомнил, что бывает, приходится соединять разорванную гусеницу, и вот где пригождаются эти медведи. Вот этот луноликий, голыми руками взявши концы, багровея, стянет их и будет держать, покуда не вставят запасной трак, не просунут и не забьют кувалдою шплинты. Генерал живо себе представил верзилу за этой работой — и смягчился.

— А ты сиди там! — рявкнул он на луноликого, отчего тот ещё сильнее вздрогнул и с грохотом уронил котелок.

Вылившееся варево — то ли жидкая каша, то ли густой суп — поползло по броневой плите. И вдруг генералу стало жалко этих людей, в сущности прекрасно выполнивших первую задачу, и подумалось, что ведь это удовольствие — хоть поесть вволю за час до переправы — может быть, последнее в жизни луноликого.

— Котелок подбери, — сказал генерал, уходя к «виллису». И жестом остановил спешившего сесть Донского. — На кухне сказать, чтоб ему три порции наложили. Вишь, он какой у нас... дробненький. Расти ему надо. А до обеда ещё ждать...

С внезапной грустью он почувствовал себя лишним среди людей, меньше всего нуждавшихся в его распеканиях и понуканиях. Усевшись и избегая смотреть на майора, стоявшего с видом виноватости и огорчения, он сказал примирительно:

— Ладно... С прибытием тебя. Там разберёмся.

«Там» означало — на правом берегу.

«Виллис» понёс его к кавалеристам, расположившимся на широком лугу, за рощей, которая их укрывала от наблюдателей с того берега. Разумеется, он не ждал увидеть эскадрон в строю, со знаменем и вздетыми «подвысь» клинками, но всё же подивился открывшейся ему картине. Конников ещё не начали кормить, и они, времени не теряя, кормили своих коней, то есть попросту их пасли на лугу. Разнузданные и не стреноженные, их кони разбрелись по всему лугу, ещё серому в полумраке, тогда как хозяева покуривали, рассевшись группками на траве. От одной такой группки отделился и направился к «виллису», не чересчур спеша, командир эскадрона. Генерал, с заранее добрым чувством к нему, отметил кавалерийскую походку, слегка заплетающуюся, при которой особенно мелодично позвякивали шпоры, нарочито неуклюжее ступание чуть раскоряченных ног в лёгких, собранных гармошкой сапогах и не бренчащую, легонько рукой придерживаемую шашку. Остальные поднялись с земли, но сигарок и самокруток не притушили. В ожидании боя старые вояки не так уж внимательны к начальству, уже что-то иное над ними властвует, и генерала нисколько это не кололо, никакая объяснимая вольность; он с удовольствием оглядывал импозантную фигуру комэска, широкую в

плечах, узкую в чреслах, чеканное загорелое лицо, чуть тронутое улыбкой, с удовольствием втягивая при этом всегда его волновавшие запахи конницы, без примеси солярки и выхлопа, запахи засохшего конского «мыла», навоза и мочи, перепревшей ременной сбруи.

Комэск, подойдя, изящно подкинул к фуражке руку с висящей на запястье плетью, другой рукой обхватив чёрные облупившиеся ножны. Фуражка была у него набекрень, пышный чуб выпущен, ремешок огибал самый кончик подбородка. На верхней его губе генерал обнаружил свои усики.

— Ну, как, отживающая боевая сила? — спросил генерал, опережая его доклад. — Ясен тебе твой крестный путь? Переправочных средств на тебя не хватило, самим придётся плыть.

— Плыть так плыть, товарищ командующий, — отвечал комэск с шутливой покорностью судьбе. — Дело привычное.

— Жаль мне тебя, — сказал генерал, — уж больно ты красив. Что от твоей красоты останется?

— Обсохнем, — заверил комэск. — Ещё красивше станем. Да не впервой же!

Генерал, проникаясь к нему любовью, несколько успокоился. И впрямь, не впервой ему, сукину сыну, и мокнуть, и обсыхать.

Увидя, что рапорт перетекает в беседу, подходили ближе другие конники. Кто-то, засмотревшись, налетел на шедшего впереди, кто-то споткнулся, зацепясь за свою же шпору. И по тому, как они смотрели на генерала, он безошибочно различал ветеранов и новичков из пополнения. Не то чтобы новички робче перед начальством, но в его словах, в его улыбке или хмурости ищут с тревогою ответа на предстоящее им, тогда как ветераны, познавшие настоящий страх, ответа ищут в себе и ни в ком другом; подчиняясь лишь своему предбоевому настрою, они точно бы выходят из всякого другого подчинения. Он понимал их неизбежную сейчас отрешённость, углубление в себя, но с безотчётной ревностью хотел бы напомнить им, что и от него они зависят не меньше, чем от своей планиды.

— Есть такие умники, — сказал он, возвышая голос, чтоб слышали и дальние, — в сёдлах норовят плыть. Как,

понимаешь, подпаски деревенские, когда они коней купают в речке. Такого увижу — из маузера ссажу. Рядышком надо плыть. Как с братом родным или же с любимой девушкой в пруду. И за седло не держаться, а только под уздцы. Главное — не давать ему голову задираТЬ. А то он волны пугается и кверху тянется, даже, бывает, «свечку» делает в воде. А из-за этого, бывает, захлёбывается, тонет. Следить, чтоб у него только храп был бы над водой...

Он вдруг увидел, что пасшийся невдалеке жеребчик поднял голову и, вздев уши, вникает ему с интересом. В повороте красивой сухой головы, в косящих обиженных глазах ясно читалось: «И что ты мелешь? И вовсе я не задираю голову. И всё-то я знаю, что со мной будет...» Право, казалось, он в самом деле знал, что с ним случится сегодня, бедный конёк, неповинный ни в чём, вынужденный делить с человеком все его дела и глупости. Генерал даже осёкся и с явным ощущением своей вины перед ним смотрел в укоряющие глаза коня, покуда тот, мотнув головою, не опустил её низко к траве.

Этот перегляд, кажется, все уловили и разулыбались.

— Да не впервой, товарищ командующий, — сказал комзэк. — Давно, что ли, Десну форсировали?

— То Десна, — возразил генерал. — Триста метров каких-нибудь. А тут, считай, километр двести...

— Ну, значит, четыре Десны, — подхватил с ухмылкой комзэк и совсем уже нагло подмигнул: — Раз так, то, может, нам четверной положен боезапас?

— Я те дам «боезапас»! — закричал генерал. — Четверной ему! На том берегу — пожалста. Только доплыви сперва. До него, знаешь...

Но что сам он знал про тот берег, заслонённый тёмной иззубренной стеною рощи? По-прежнему оттуда не было ни звука. И казалось странным, что где-то за рекой, в пяти километрах отсюда, стоит тишина, хутора живут своей неспешной жизнью и только-только просыпаются, пастух собирает от дворов скот, женщина в платке, надвинутом на глаза, перебирая руками шток «журавля», тянет ведро из колодца. Он посмотрел в ту сторону, и следом посмотрели все. Чёрные лохмотья туч уже понемногу стали сереть, и можно было

догадаться, что это не тучи, но облака. Пока не занялся рассвет, спешить нужно было, спешить...

Он чувствовал себя лишним и здесь. На самом деле это было не так, он всюду был нужен, только не затем, чтоб сообщать людям то, что они знали и без него, а чтоб войти в их настроение и передать им своё. И это-то значило много больше, чем его распеkania и советы.

Он приказал везти себя к бухточке. Паромы уже побряхтывали движками, и как раз головной танк, задрав пушку, взрѣывая, круто вскарабкивался на аппарель. Гусеницы скрежетали по приваренным планкам, аппарель под страшной тяжестью вминалась в песок и взвизгивала истерично, едва выдерживая и яростные удары траков, и затем переваливание на палубу. Весь хлипкий паромчик ходуном ходил, покуда танк поворачивался на нём и устраивался поудобнее, раздирая дощатый настил. За ним, не давая барже успокоиться, выровняться в воде, уже напозал второй танк, изготавливался в очереди третий.

Генерал, даже привстав на сиденье, напряжѣнно следил, не просядет ли паром до дна бухточки, но всё обошлось, бодро и нетерпеливо всхрапнул движок, скрежетнул на прощанье песок плѣса, и паром, покачиваясь, медленно тронулся в путь, как оторвавшаяся от берега льдина. Генерал беззвучно прошептал ему вслед: «Ну, с Богом!» — и поймал себя на том, как сильно ему хочется перекрестить эти три танка, уже понемногу сносимые течением влево. Через миг они исчезли из виду, заслонѣнные высоким камышом. В ту же неизвестность отправлялся второй паром, и генерал его проводил с тем же сложным чувством тревоги и сумасшедшей радости, и одновременно с сознанием какого-то, ему самому не понятного, своего греха, а на третий он дал погрузиться одному танку.

— Въезжай давай ты теперь, — приказал он Сиротину. — Пошёл!

Сейчас, сидя вот так же, справа от Сиротина, он вновь увидел, как тот оглянулся на него с удивлением и внезапным отчаянием, с лицом, на котором ясно написано было: «Что же вы с нами-то делаете?» Офицер, дежурный по переправе, со скрученным в трубку флажком, кинулся

остановить непредусмотренный «виллис», но Донской так спокойно взглянул на дежурного, так красноречиво-убедительно выставил перед ним растопыренную ладонь, что тот сразу всё понял: они переправляются тоже, и бронетранспортёр охраны с ними, это оговорено заранее, странно, что дежурному это неизвестно. Не сильно удивился и Шестериков, только упрекнул со вздохом:

— И что было раньше не сказать? Чем я вас там кормить буду в обед?

Ни погрузку, ни миг отплытия память не удержала, а лишь то, как он уже стоял на палубе, уже плыл в неизвестность, расставив по-моряцки ноги и сунув кулаки в карманы чёрной своей кожанки, рядом с «виллисом», принайтовленным цепями к рымам на палубе, и в лицо, взбадривая и тревожа, ударял влажный и холодный речной ветер.

Понимал ли он вполне, что делает и зачем? Понимали ли это рулевой в рубке и старик-шкипер? Шестериков, скорчившийся на сиденье, и там же развалившийся Донской, вывалившийся через борт «виллиса» журавлиные свои ноги? Радист, выглядывавший из приоткрытого кормового люка бронетранспортёра? Они посматривали на него украдкой, и он обострившимся боковым зрением улавливал их удивление, досаду, отчасти и злость. И если б кто спросил его тогда, зачем он здесь, он бы затруднился ответить. Сейчас, на пути в Ставку, он смутно сознавал, что совершалось тогда нечто значительное и оправданное, даже необходимое.

Генерал Кобрисов решил, что его гибель на Мырятинском плацдарме не только возможна, но даже, наверное, неотвратима; и он согласился с тем, что его косточки будут лежать где-нибудь на Мырятинском кладбище или в центральном парке этого городка, никогда им не виденного, но никакая сила не сбросит его живым с правого берега Днепра, если он только ступит на этот берег, уже получивший название «плацдарм». А когда человек так ставит крест на собственной жизни — спокойно и просто, никого не оповещая, когда он не из слепого отчаяния и не для театрального эффекта вставляет в свои расчёты собственную возможную гибель, тогда зачастую случается, что ему удаются предприятия, казавшиеся безумными, в которые не смеет верить

надежда и не надеется вера, тогда воды реки перед ним становятся твердью, и покоряются ему неприступные крепости и плацдармы.

Но как ещё было до этого далеко! Два парома, отчаливших раньше, были опять на виду, и первый из них уже, наверное, пересекал ту невидимую вожделённую линию, которая зовётся стрежнем и на прямом участке реки должна была находиться близ середины; в тишине натужливо стрекотали их состарившиеся движки, не заглушая при этом дремотно-ласкового подхлюпывания под бортом, — и в одно мгновение эта тишина оборвалась рёвом и воем. То, что казалось уже преодолённым, встало перед ним новой преградой, и он сам едва не взвыл от обиды, от беспомощного гнева, когда увидел эскадрилью «юнкерсов», три тройки, стоявшие над его головою — так спокойно, точно у них была тут назначена встреча с ним. Они не летели, не плыли в небе, они именно стояли на месте, дожидаясь, когда он задерёт голову и посмотрит на них, и затем тотчас же плавно сошли со своих мест, набирая скорость.

Первая тройка пикирующих штурмовиков «Юнкерс-87», у немцев именуемых «штука», а у нас получивших прозвище «лапотник», в аккуратном симметричном строю — один впереди, двое чуть приотстав, — прошла над паромом и вернулась, сделав красивый полукруг. За спиною, на своём берегу, торопливо затыкали скорострельные зенитки, роскошной басистой трелью разразился крупнокалиберный пулемёт, но вспышки и облачка разрывов не помешали «юнкерсам» ещё раз плавно уйти в боевой разворот для прицельного бомбометания или обстрела. Слишком рано он позволил себе только подумать: «Переживём...»

— ...товарищ командующий! — уже давно кричал ему радист из чрева бронетранспортёра, протягивая трубку. — Вас просят.

— Слушаю! — прижав к уху тёплую трубку, он расслышал прерывистое дыхание и далёкий лязг танковых гусениц. Что-то случилось и там, на правом берегу, куда он так спешил и где, казалось ему, группа Нефёдова уже исчерпала свою задачу. — Слушаю!.. У аппарата!

— Кто? — спросила трубка. — Кто меня слушает?

— Я, — сказал генерал, не переставая смотреть в небо. — Кобрисов слушает.

— Как? — переспросила трубка хриплым и точно бы пересыхающим от жажды голосом. — Кобрисов? Я такого не знаю... Не вызывал. Не слышал такого — Кобрисова.

Бог ты мой, он совсем забыл, кто он сегодня, забыл своё условное имя, и это ему показалось ещё одним неучтённым препятствием. В придачу ко всем неожиданностям, он себя уже раскрыл — и немецкими слухачами засечён, у них это быстро делается, а связь с правым берегом вот сейчас оборвётся, бессмысленно настаивать и глупо надеяться, что полуоглохший Нефёдов узнает его по голосу.

— Нефёдов! — закричал он, обрадованный, что нашёл выход. — Мы же вчера с тобой гудели. Вспомни, родной, водку пили, стихи я тебе читал... Ну? Вспомнил?

Трубка ещё секунды три помолчала и ответила слабым голосом:

— Плохо дело, Киреев.

Вот кто он был сегодня — и вылетело из головы. Всё эти «юнкерсы» вышибли.

— Плохо дело, — повторила трубка. — «Фердинанды» тут у меня... Не предвидел, что объявятся. На хуторе скрывались, замаскированные... Восемь штук. А средства отражения какие? Гранаты, слава Богу, взяли противотанковые... Немного, правда. Бутылки с «каэсом»*, штук десять, но это же близко надо подпускать... А с ними автоматчиков — до взвода. Если даже прибавил со страху — всё равно у меня людей меньше...

Нефёдов так себя раскрывал, поскольку и немцам было известно, какие у него «средства отражения». Самое страшное, что могло случиться, вот и случилось. Даже не так страшны были эти «юнкерсы», как упущенные воздушной разведкой «Фердинанды». Маскируемые, верно, копнами сена, выползли эти самоходки-страшилища и поставили заслон его

* КС — самовозгорающаяся жидкость, названная так по инициалам изобретателей — Качугина и Солодовникова. На Западе её называют «коктейлем Молотова» (никакого отношения он к ней не имел).

танкам. От удара их снаряда башню «тридцатьчетвёрки» вышибает из гнезда и отбрасывает чуть не на сто метров. А корпус... Какой там корпус! Погибли, погибли, ещё не коснувшись берега, его «тарактелки», «примуса», «керосинки». Против толстой брони «Фердинанда» что стоили их пушки! Зато его длинная пушка делает из них обгорелые коробки. И он представил себе тупые рыла этих чудищ, уродливую заднюю посадку башни на корпусе, длиннейший хобот ствола с набалдашником дульного тормоза. И стало понятно, почему немецкая артиллерия не обрушилась тотчас на группу Нефёдова, едва он себя раскрыл, не разворотила весь берег, который был же пристрелян заранее. Свои «Фердинанды» там, вот и весь секрет молчания. Нет, это невозможно было снести! Это было несправедливо! Ведь хорошо же всё начиналось!..

— Нефёдов! — закричал он в трубку молящим голосом, даже привзвизгнув. — Задержи мне их! Любыми силами задержи!

— Какие у меня силы? — тем же усталым голосом сказал Нефёдов. — Ну, постараемся, товарищ Киреев...

— А рота где же? Роту я тебе послал, под твоё начало. У них и ружья противотанковые есть... Ну, и вообще — рота всё-таки...

— Роту ещё собирать и собирать. Где-то она пониже высадилась, течением снесло. Слышу, бой ведут... Слышу, но не вижу. И кажется мне... может, ошибаюсь, — погибает рота...

— Понятно, — сказал генерал упавшим голосом. — Понятно, милый... Ну, сейчас я тебе огонька подброшу, гаубичного. Свяжу тебя с ними, ты скорректируй...

— Слишком близко я их подпустил... Теперь только себе на голову корректировать.

— Что же ты так, Нефёдов? Почему ж не разведал?

— Сам себя грызу... Но уж так.

В трубке послышался нарастающий лязг, в ухо ударило из неё грохотом, и генерал трубку выронил — в руки Донского.

— Любого огня требуй, — сказал генерал. Донской молча кивнул, ничуть не изменяясь в лице. — Только скажи, чтоб

поаккуратней работали пушкари. Никому в смертники неохота.

Но сам он понимал, что и Нефёдов, и двадцать его людей, так благополучно одолевшие водную преграду и укрепившиеся на пяточке, уже вдвойне смертники. Если не «Фердинанды» их втопчут в землю, так свои щедрым огоньком — как его ни корректируй. Это же надо Нефёдову выйти из боя и всю группу отвести... Возможно ли это? Или уже так втянулись, что не выйти? Так что же, соображал он лихорадочно, вернуть танки назад, пока не поздно? Скомандовать, чтоб задержали погрузку — тех, что ещё не погрузились? Нельзя, невозможно, дело начато, и он должен был предвидеть продолжение. Да ведь и предвидел же, знал хорошо: весь ужас переправы — что она неотменима.

Сошедший на воду — должен её переплыть. Или на дно пойти. Только одно было позволено ему, генералу, — самому вернуться. Не упрекнёт никто. Ни своя свита, ни все те, кто расценивали как дурь его желание переправиться вместе с ними. Но себе он простит когда-нибудь — так много надежд связавший с этим плацдармом, жизнью поклявшийся?

Впрочем, ни одну свою мысль он не мог до конца додумать. Только что он всё видел и слышал, как потревоженный зверь, ещё минуту назад, ещё несколько секунд назад, и вот уже всё переменялось, и он, оглохший, с поплывшими в глазах радужными кругами, не мог понять, что за всплески запрыгали вдруг по воде, по лоснящимся волнам, приближаясь к борту парома, зачем это его подхватили под руки и куда-то волокут Шестериков с Донским, и отчего вдруг, побелев лицом, отпрянул радист в открытом люке бронетранспортёра, и как странно, съёжась, скорчась на сиденье, прикрывает голову руками — руками! — Сиротин.

Подняв лицо навстречу рёву, он увидел, как один из «юнкерсов», утративший свою длину, своё крестообразное очертание, вырастает в своей ширине, в размахе крыльев, он пикирует, показывая подробности окрашенного лягушечьими разводами фюзеляжа, остекления кабины, обтекателей неубирающегося шасси — а вот его почему «лапотником» зовут, подумалось спокойно, даже слишком спокойно, —

и стало различимо, как эксцентрично вращается широкий и тупой обтекатель втулки винта — почему-то красный, что же это за маскировка? И такие же красные украшения на крыльях... Какие там украшения! Вспышки из крыльевых пулемётов...

Пули цокали по броне танка и рикошетом, с протяжным пением, уходили куда-то. Вокруг парома на лоснящихся волнах вскипала дождевая пузырчатая сыпь.

Его силком тащили, пригибали ему голову, чтоб втолкнуть в люк. Он в этом увидел непереносимое унижение для себя и, мгновенно рассвирепев, рванулся из этих рук, ставших ему ненавистными.

— Сколько у меня истребителей? — закричал он, трясясь от гнева, который даже пересиливал страх. Лицо Донского, бледное, но внимательное, вбирающее неслышные слова, приблизилось к нему, к его лицу. — Я спрашиваю, сколько у меня истребителей!..

В эту минуту «юнкерс», достигнув опасной для него высоты, стал выходить из пике, снова показывая свою бесконечную длину и крестообразность, своё голубое брюхо, расчленённое стыками, пластинчатое брюхо громадного ящера, которое ещё приближалось от «проседания», перекрывая небо. И вот, наконец, пронеслось оно — с ужасающим рёвом. Под крыльями висели на кронштейнах две пузатые бомбочки. Почему не сбросил? Оставил для второго захода? Но этот-то — кончился?

Он упустил, что «штука» уходящая всё ещё страшна. Ибо, взмывая, она открывает обзор и обстрел воздушному стрелку, сидящему сзади. Но, к счастью, плывшие на парамах об этом не забыли. И задравши стволы, встречно его огню били по его фонарю из автоматов, винтовок, башенных пулемётов.

— Извини, Фотий Иваныч, — вдруг точно с неба послышалось, сквозь рев и треск перестрелки. — Ну, придержались маленько, надо ж чайку попить перед вылетом... Сейчас я его уберу...

Радист из люка, откуда и исходил этот голос, протягивал генералу трубку радиотелефона. Генерал её принял, не поняв толком, зачем она, если собеседник его и так услышал.

— Ты, Галаган? — спросил генерал, хотя ни треск в самой трубке, ни рёв «Юнкерса» уже далеко за спиной не смогли этот знакомый голос исказить. — Куда ж твои соколы подевались?

— У меня не соколы, — сказал Галаган с неба. — У меня — орлы. Ты их не порочь, они у меня обидчивые. Хлопцы, расходимся! Каждый себе дружка выбирает по личной склонности...

Краснозвёздная шестёрка — четверо «МИГов» и две «Аэрокобры», — заканчивая взмыв в высоту, перевалив невидимый хребет, плавно и красиво расходясь веером, опускалась на «юнкерсов». Одна «кобра» была самого Галагана, другая — его ведомого. Ни больше ни меньше, как сам командующий воздушной армией вылетел на охоту.

— Хлопцы, прошу внимания! — командовал Галаган, живя полной жизнью. — Вот этого, сто сорок шестого, который чуть Фотия Иваныча не обидел, не трогать, это мой... Надо его наказать примерно... Сейчас я морду ему набью...

«Славные же мы конспираторы, — подивился генерал. — Он меня Фотий Иванычем, я его — Галаганом. Уж будто не знают немцы, кто такой Фотий Иваныч. А про него — уже, поди, во всех наушниках вой стоит: «Ахтунг! В небе — Галаган!»»

Вся шестёрка наших пронеслась над Днепром и вскоре вернулась, освещённая где-то уже всходящим солнцем, которого ещё не было на земле и воде. «Юнкерсы» расходились в разные стороны; тот, что напал, теперь, сильно накрёнаясь, входил в разворот, чтобы уйти.

— По-английски уходишь, не попрощавшись? — возмутился Галаган. — Куда ж это годится? Не-ет, не уйдёшь.

Немец, зная отлично, что в прямом полетё «кобра» его настигнет легко и всё спасение лишь в одном его преимуществе — маневренности, пролетел с километр и повернул обратно. Галаган со своим ведомым, пролетев много дальше, пропали из виду и показались не скоро. Пожалуй, теперь уже немцу было не до паромов с танками, обе свои подвесные бомбочки он сбросил как попало, совсем в стороне, только бы облегчиться; и не так страшны ему были все те, что плыли под ним по всей ширине реки, ничем не защищённые,

такие удобные, ну разве что излишне разбросанные мишени; из этой игры он выключился вовсе, включился в другую игру, *на другом этаже*, в не лишённую увлекательности воздушную дуэль с русским асом, где ставкой была уже только собственная жизнь, а выигрышем — уйти от смерти. Но на что надеялся немец? Что вот так и будет он уворачиваться от сверхскоростной, но неповоротливой «кобры», пока у неё не опустеют баки? Опять с рёвом, буравящим уши и мозг, промчался «юнкерс» над паромом — так низко, что показалось, он ногою шасси сшибёт с генерала фуражку. Верно, был у немца расчёт, что преследователь остережётся расстреливать его над головами своих. Он имел радио, но не знал русского — и не знал Галагана. Вот уж чего мог немец не опасаться, так это генеральских пулемётов. Расстрелять в воздухе — это не удовольствие было для Галагана, удовольствие было — *набить морду...*

Разогнавшаяся «кобра» настигла «сто сорок шестого» с таким избытком скорости, что можно было подумать, она либо опять проскочит мимо и придётся возвращаться, либо врежется ему в хвост. Но, не долетев метров с полсотни, она вдруг взмыла круто, почти вертикально, и оттуда, с далёкой высоты, переворотом через крыло повернула обратно, западала вниз, вниз, уже сомнений не оставляя, что вот сейчас расплющится об воду. Генерал Кобрисов, глядя заворуженно, с колотящимся сердцем, всё же упустил непонятным образом, когда же прекратилось падение и как оказался Галаган ровнёхонько у «Юнкерса» за хвостом. Воздушный стрелок «Юнкерса» уже, видно, был ему не опасен — то ли убит, то ли кончились у него патроны; чёрный ребристый ствол пулемёта задрался кверху и болтался из стороны в сторону.

Погасив свою сумасшедшую скорость, Галаган оставшийся излишек её убрал взъерошенными тормозными щитками — и летел уже почти вровень с немцем, пристроясь чуть выше, метра на три, медленно опускаясь на него своим серебристым брюхом. Всё же для рубки пропеллером ещё оставался некоторый излишек, и, должно быть, не одному видевшему всё это хотелось крикнуть в азарте: «Проскочишь!» — но замедленно, как в полусне, откинулись створки под крыльями, и вышли ноги шасси — как выпускает когти

ястреб-тетеревятник над своей неминуемой добычей. При-
тиснутый к воде немец лишился единственного манёвра,
который может совершить преследуемый, — резкого клевка,
ухода вниз. Перед «коброй» он был беззащитен совершенно.
Плавное проваливание, удар ногою по фонарю кабины,
и засверкали, крутятся, брызнувшие осколки плексигласа.
«Кобра», приподнявшись, ещё продвинулась вперёд, опять
провалилась и новым касанием снесла немцу лобовое остек-
ление. Затем, приотстав, остекление заднее. Теперь над
стёсанным фюзеляжем торчала лишь одна чёрная голова
пилота, вертясь и уклоняясь от новых ударов резиновой ку-
валды.

Когда простым и нежным взором
меня ласкаешь ты, мой друг, —

мурлыкал Галаган в своей кабине; голос он имел среднего
достоинства, но был, однако ж, большой любитель попеть
«на охоте», —

необычайным цветным узором
земля и небо вспыхивают вдруг!

— Галаган, — уже взмолился Кобрисов, — и что ты там
кувыркаешься, делать тебе не хрена. Уведи ты его, да и при-
кончи разом!

Галаган услышал, сдвинул назад фортку своего фонаря,
помахал рукою в перчатке.

— Грубый ты, Фотий Иваныч, — отвечал Галаган. — За-
чем же «разом»? Надо — нежно. И постепенно. Следующим
номером нашей программы будем скальп снимать...

Оба исчезли из виду, и когда появились вновь, на немце
уже не было его чёрного шлема — должно быть, сорвал его
вместе с наушниками и очками, из страха не всё увидеть и
услышать. Встречный поток лохматил светлые, соломенно-
го цвета волосы, голова пригибалась к приборной панели,
и черная шина совершала над нею округлые пассы...

Во всём этом хватало безумия. Галаган не в пустом возду-
хе кувыркался, и не в пустом вели свой многоэтажный хоро-

вод пятёрка «МИГов» с восьмёркой «юнкерсов», а в прошлом, прожигаемом снарядами зениток с левого берега, очередями крупнокалиберных пулемётов; эти невидимые трассы вдруг становились видны, когда срабатывали дистанционные взрыватели и вокруг «юнкерсов» вспыхивали молочно-розовые облачка — оставалось изумляться меткости зенитчиков, ухитрявшихся пусть не попасть в немца, но и своего не задеть. Но вот одному из «юнкерсов» всё же досталось — снаряд ему попал в корень крыла, и, отделяясь от фюзеляжа, оно устремилось вверх, вращаясь в размашистой спирали, сам же «юнкерс» — тоже в спирали, только обратного вращения — устремился к воде. При такой малой высоте пилоту и стрелку было не выброситься с парашютами; впрочем, и неизвестно было, что сделалось с ними при таком сотрясении, они свои фонари не открыли, падая, не открыли при ударе об воду, погрузились в прозрачной своей коробке и так и не вынырнули, покуда ещё маячило над местом падения, как плавник гигантской акулы, другое крыло с чёрным крестом.

Пришедшая от утопленника волна так накренила паром, что танк со скрежетом пополз боком к фальшборту, едва обрывая слабые цепи. С грохотом откинулась крышка башенного люка, показалось искажённое ужасом лицо. Молоденький танкист не вынес этого особенного страха, и впрямь непереносимого в тесном пространстве и темноте, вылезти под пули ему было не страшнее, чем пойти на дно в муках удушья.

— Закройсь! — рявкнул на него генерал. — Ты мне тут не нужен пейзажем любоваться, ты мне там нужен целенький. Чего напугался — не выберешься? Жить захочешь — выберешься.

Лейтенант смотрел тупо, но понемногу приходил в себя, видя, как паром качнуло обратно и цепи, ослабнув, легли на палубу. Донской спокойно, ладошкой, ему напомнил закрыть за собою люк. И лейтенант, подчиняясь, уже улыбался трясущимися губами, смутясь своего греха. Выбраться при утоплении смог бы он один, башенному стрелку, сидевшему ниже, и тем паче механику-водителю судьба была захлабнуться.

Всё, что происходило вокруг генерала, было как в полусне. Он кричал на танкиста, но как будто он только слушал и наблюдал, как кто-то другой кричит. И кому-то другому опять подали трубку из люка бронетранспортёра, и он за этого другого должен был спешно решать, что делать. Нефёдов ему докладывал, что «Фердинанды» уже занимают огневую позицию, уже вышли на прямую наводку, ожидают, когда подплывут поближе танки.

— Уходи! — кричал генерал. — Уходи с людьми подальше и корректируй. Больше ты же не сможешь, Нефёдов! Ну, не совсем же у нас пушкири криворукие, авось что-нибудь смайстрячат...

Трубка не отвечала. Должно быть, полуоглохший Нефёдов там соображал, что бы такое могли «смайстрячить» артиллеристы. А может быть, уже просто не слышал ничего...

— Что молчишь? — спросил генерал.

— Да вот думаю... Лучше ли оно будет — всю работу пушкарям передоверить?.. Не знаю.

И трубка замолчала надолго. Уже насовсем.

...А всё же кто-то из них вынырнул, из экипажа утонувшего «Юнкерса». Неожиданно среди зыбей показалась его одинокая голова в шлеме и выпуклых очках, как будто поднялся из глубины обитатель дна, и первое, что он сделал, хлебнув воздуха распяленным ртом, — что было сил закричал. В его крике был пережитый ужас, неодолимая жалость к себе, обида на весь треклятый мир. Он кричал и плыл — торопясь, загребая широкими взмахами, выскакивая из воды чуть не до пояса, тратя много яростной энергии, да только не туда плыл, куда ему следовало, плыл к левому берегу, до которого его не могло хватить, плыл навстречу тем, кто не должны были его пощадить, а должны были забить насмерть чем попало — прикладом, веслом, сапёрной лопаткой. Что-то случилось с его головой — он потерял всякие ориентиры или потерял зрение, или, проще того, не соображал протереть запотевшие, забрызганные очки, да просто сорвать их к чертям — и увидеть, что ещё не потеряно спастись... А над ним, над всею переправой, преследуемый неистовым Галаганом, всё носился затравленный «сто сорок шестой», уже, наверное, на исходе горючего, и, может быть, завидуя участи

товарища по эскадрилье, мечтая хотя бы приводниться, как он, или, напротив, страшась такого приводнения, в котором так же мало было спасения, как и в воздухе, перенасыщённом ненавистью...

...Палуба вдруг пошла из-под ног. Это паром с разбегу уткнулся в песок плёса. Лишь тогда генерал, повернув голову, увидел нависавшую над ним, уходящую в небо кручу берега. Потревоженные стрижи выпархивали из своих нор и кружились стаями, не желая разлетаться далеко. Упали на плёс аппарели, и выпрыгнувший всё же из танка лейтенант, давеча испугавшийся, вместе с Шестериковым освобождали танк от его цепных пут. Механик-водитель из своего люка выглядывал — не пора ли ему рвануть.

И рванул-таки, не дожидаясь команды, еще не выдернув из палубы последний удерживавший его рым; гусеницы яростно отшвырнули назад визжащую аппарель, и паром, всплывая, отвалил от берега и закачался на волне, не давая сползти «виллису» и бронетранспортёру.

Латаная чумазая «тридцатьчетвёрка» шла уже по Правобережью, она шла под обрывом, узкой полоской, где было бы не разойтись двоим, она тыкалась в расселины, ища, где положе, где бы ей взобраться на кручу, а где-то высоко над её башней ещё, наверно, шёл бой за её спасение, горстка людей пыталась отвлечь от неё бронебойные жерла «Фердинандов». Под кручей она ещё была в безопасности, но что ещё ждало её наверху? Что там вообще происходило?

Генерал, не дожидаясь «виллиса», сейчас и не нужного ему, прыгнул в воду, ему оказалось по пояс, и побрёл к берегу, помогая себе взмахами рук, точно при косьбе. Пехота, попрыгавшая с плотов, его обгоняла, один кто-то его узнал, сообщил дальше: «Командующий на плацдарме!» — и другим тоже захотелось посмотреть на командующего, в кои-то веки достаётся такое увидеть солдату. А может статья, поглядывали, как бы не допустить гибели этого чудака, зная по извечному русскому опыту, что новое начальство всегда хуже прежнего. Во всём, что он делал, тоже хватало безумия — куда теперь так спешил он? Донской и Шестериков разыскали для него тропку, взбегающую серпантинном, пошли впереди него, они заранее его заслоняли от пуль,

могших полоснуть с обрыва. По этой тропке, протоптанной, должно быть, жителями хутора, которые приходили сюда купаться или скотину пригоняли на водопой, он поднимался бесконечно долго, тяжело отдуваясь, обрывая сердце, от высоты уже начинало дух занимать, а в ноздри ударяли запахи гари, и едкий дым щипал горло; мучительно, тошнотворно пахло горящей резиной...

...Это догорали обрешиненные катки «Фердинандов», стоявших вразброс посреди клеверного поля, дальше пустого — вплоть до огородных плетней хутора. Там уже хозяйничали свои — наклоняли «журавль», с бодрыми возгласами доставали воду из колодца. «Правильное место я выбрал, — похвалил себя генерал. — Но что же они тут защищали? И как почувствовали, что я именно здесь высажусь с танками?» На некоторые вопросы никогда не находилось ответа, и он отвечал на них одинаково просто: «Война». Шесть обгорелых, подорванных чудищ с открытыми люками, покинутые своими экипажами «Фердинанды» выглядели по-прежнему грозно, но сталь их была мертва — это сразу чувствовалось. Всю жизнь имевший дело со смертоносной, поражающей или, напротив, защитной сталью, он каким-то чутьём, неясным ему, но безошибочным, определял сталь неживую, уже не способную двигаться, работать, исполнить своё назначение; даже казалось ему, она пахнет мертвечиной и вскорости станет разлагаться, как умершая плоть людская. Этой плоти, упакованной в чёрные комбинезоны, тоже довольно здесь было; ища спасения от невыносимого жара, от страха сгореть заживо, они нашли всего лишь более лёгкую и быструю смерть неподалёку от своих машин. Светлые волосы выбивались из-под шлемофонов, ветер их шевелил и овевал изжелта-чёрным дымом. Этот же волнуемый ветром клевер упокоил и свою «серую скотинку», тоже разбросанную прихотливо — кто к небу лицом, а чаще затылком, стриженным «под ноль», — зрелище, столько раз виденное и к которому не мог он никогда привыкнуть. Между своими и немцами не было никакой нейтральной полосы; так близко сошлись в бою, что теперь иные лежали вперемешку. Один свой как будто пошевелился слабо, но, может быть, это лишь показалось генералу.

Живых осталось четверо. Трое из них успели уже после боя крепко хватить из фляжек, а может быть, и повредились в уме, говорить с ними было непросто. Лейтенанта Нефёдова нашли в мелком, наспех отрытом окопчике, где он едва помещался сидя, опираясь затылком на бруствер. Руки он прижимал к животу; под задранной гимнастёркой, измазанной в липкой земле, белели намотанные щедро и беспорядочно бинты. Глаза его были закрыты, бледные губы обкусаны, лицо осунулось и стало почти неузнаваемым.

Донской наклонился над ним.

— Жив, — сказал он уверенно. И спросил раненого: — Можешь поговорить с командующим?

Нефёдов, с видимым усилием, приподнял веки. Глаза его где-то блуждали, смотрели как бы сквозь людей. При виде генерала едва обозначилось в них удивление.

— Так это вы с парома со мной говорили? — спросил он каким-то бесцветным голосом. — А я думал, с берега. И чего, думаю, шум у него такой? Ну, значит, лично будете принимать?..

Он опять закрыл глаза.

— Что он сказал? — спросил генерал. И тоже наклонился к раненому. — Что принимать, Нефёдов?

— Плацдарм, товарищ Киреев, — ответил раненый. — Плацдарм... Или вы уже не Киреев?.. Там, на хуторе, ещё два «Федьки» прячутся. Ушли. Вы уж как-нибудь их сами...

— Ты не беспокойся, — сказал генерал. И спохватясь, что ещё что-то должен сказать, добавил: — Спасибо тебе, дорогой. Считаю, ты уже на Героя представлен.

— Вам спасибо, — ответил Нефёдов не скоро, и было не понять, улыбается он или кривится от боли. — Но мне уже не нужно ничего... Видите, схлопотал очередь... Теперь мне бы только покоя...

— Кого б ты ещё назвал, четверых? — спросил Донской, раскрывая планшетку. — Кто, по-твоему, особо отличился?

— Никто. Мы не отличались... Мы все старались... Как я могу кого-то обидеть?

— Всем ордена будут. Но кто-то же больше всех сделал, — говорил Донской ласково-терпеливо, но и настойчиво. — Князев, заместитель твой? Ещё кто?

— Старший сержант Князев погиб самым первым. У него бутылка разбилась в руке. При замахе. Может, пуля попала... Не знаю, не видел. Видел, как он горит факелом. И нельзя было потушить никак... Там он лежит, узнать его можно. Вы только осторожно тут ходите, вдруг кто стрелять начнёт... в полусознании.

— Князеву посмертно, — сказал Донской, взглянув вопросительно на генерала. — Кого ещё назовёшь?

— Никого. Никому ничего не нужно посмертно. Я это хорошо знаю. И мне тоже не нужно, когда умру. И если выживу — не нужно. Я слишком многое понял... Только говорить трудно... А помните, — он снова открыл глаза и тотчас закрыл, — вы написать обещали?..

— Что ты! — сказал генерал. — Жить будешь, Нефёдов. Сейчас помогут тебе.

— Ох, ничем вы мне не поможете... Никто. И не спрашивайте меня... Можно, я просто так полежу?..

Все трое стоявших над ним распрямились. И генерал не знал, что ещё сказать умирающему, чем ободрить. Вся его чудовищная власть — одного над сотнею тысяч — сейчас была бессильна не то что помочь этому парню выжить, но хоть уменьшить страдания. Даже такого простого он сейчас не мог — обратной переправой, этой наперекор, чтоб его доставили и сразу положили на стол и, может быть, что-то сделали.

— Шестериков, — сказал генерал, отведя его подальше. — Санитары должны бы прибыть, но что они знают? Сходи сестру разыщи, она с батальоном должна была переправиться. Его перевязать надо, бинты протекли, но мы же тут напортачим без неё. Может, его обмыть надо, а может, водой мочить — только загубим. Она — знает.

Шестериков молча кивнул и, закинув автомат за плечо, пошёл к обрыву.

Генерал, расстегнув кожанку и сняв фуражку, медленно бродил по этому маленькому лагерю бессловесных. Никто уже не шевелился, и некого было спросить, как же здесь всё происходило. Бой был коротким, скоротечным, и часа не прошло, как Нефёдов сказал, что ещё подумает, передоверить ли эту работу артиллеристам или же исполнить её самим, обойдясь гранатами и бутылками. Как из восьми

«Фердинандов» шесть были уничтожены, это на них читалось ясно, а двое ушли потому, наверное, что совсем лишились прикрытия пехоты. Вот все они лежат — семнадцать своих и, наверно, столько же немцев; судить по петличкам, это техническая обслуга была, механики, слесари-оружейники, они и не обязаны были идти в бой, у немцев это чётко расписано, однако в тяжкую для их товарищей минуту хватали автоматы и попытались защитить свои «коробочки», свои «керосинки». Они тоже не отличались, они старались. Что ж, и они свой долг исполнили, ответили по-солдатски на вызов судьбы, но самим-то себе ответили они, зачем оказались здесь? Зачем пришли на чужую землю — и погибли, спасая железные коробки? Вот так, буквально, случилось казавшееся даже пошлым: «Люди гибнут за металл». Хватило ума хотя бы двоим экипажам уйти от безумия.

— Вернулся, — сказал Донской совсем рядом. Он, оказывается, всё это время бродил следом, как тень. — За смертью тебя посылать, Шестериков!

Шестериков, взобравшись на кручу, шёл и оглядывался куда-то назад, на Днепр. Он не спешил ни отозваться, ни подойти. И генерал никак не мог понять, почему так долго идёт к нему Шестериков. Вдруг он сел на землю, стащил сапог, стал перематывать портянку. Наверное, что-то попало туда, камешек или песку насыпалось, но почему-то, покончив с одним сапогом, он принялся за другой. В оба сразу, что ли, попало ему по камешку? И ещё долго, прыгая на одной ноге, он свой сапог натягивал. Сердце у генерала билось всё тревожнее, а Шестериков всё шёл и шёл к нему и никак не мог приблизиться.

Наконец он подошёл и, не подняв глаза на генерала, сплюнул в сторону.

— Что скажешь? — спросил генерал. — Высаживается батальон?

Шестериков кивнул молча.

— Где ж сестра? Она с ними должна быть.

— Должна, да не обязана, — сказал Шестериков и опять сплюнул. Он ещё никогда не позволял себе таких вольностей. Затем посмотрел наконец в глаза генералу. — Потонула сестричка, Фотий Иванович. И главное дело, никто не

видал как. Смотрят, а уже и нету её в лодке. Наверно, в голову попало. А то бы закричала.

— Как же это? — спросил генерал. — Как допустили?

— Переправа, — объяснил Шестериков.

Он сказал вещь бессмысленную, но всё объясняющую. Генерал смотрел на него и ждал, что он ещё что-нибудь скажет. Может быть, скажет, что это ещё не достоверно, что вот сейчас всё выяснят и доложат — и окажется, что ошиблись, она в другой лодке была...

— Всё точно, — сказал Шестериков. — Ну, хотя бы не мучилась...

— Да откуда ты знаешь?

Шестериков лишь вздохнул покорно.

Генерал, оставив его, пошёл к обрыву. То самое чувство влекло его, которое тянет нас посмотреть на чью-нибудь недавнюю могилу. А ведь всё так недавно и было, ещё звучал для него, не искажённый временем, печальный ночной шёпот: «...вижу, как ты лежишь — сразу же за переправой, совсем без движения... далеко не уйдёшь...» Но вот он стоял высоко над бездной, куда её утянула тяжёлая сумка, с которой она не могла расстаться, и он был невредим и мог идти дальше. Только одно сбилось: «...ты со мною уже не будешь».

Хриплые вскрики ворвались в его сознание: «Взяли!.. Ещё разок... Взяли!» Внизу, как раз под ним, артиллеристы поднимали «сорокапятку». Пехота им помогала. Два десятка людей, отягчённых своей амуницией и оружием, голыми руками упираясь в ступицы колес, в станины лафета, в шит, а кто ухватясь за рёбра дульного тормоза, хрипя от натуги, втаскивали пушку на крутизну плацдарма. Одолев метр-полтора, подкладывали под колёса камни и отдыхали, отирали пот из-под касок, поправляли шинельные скатки, держась за свою «прощай-родину» и отчего-то улыбаясь друг другу. Спихватясь через полминуты, наваливались снова. Было в этой картине что-то уже забытое человеком, из времён пещерных. «Это ещё что, пушинка, — подумал генерал, — а вот как танки будем подымать тридцатитонные?.. А так же и будем». И надо было спешить, покуда не прочухали немцы, что «Фердинандов» больше нет, и не обрушили свой огонь на пристрелянный берег. Это чудо какое-то, что ещё

не спохватились! Найдя наконец чем себя занять, он скинул свою кожанку — прямо наземь, зная, что подберёт Шестериков, — и стал закатывать рукава рубашки. Покуда не взойдут на плацдарм танки, не скажешь себе: «Дело сделано», переправа ещё не состоялась.

Там, на востоке, куда обращал он взгляд, день уже занялся, но солнцу никак было не пробиться сквозь плотные мглистые облака. Лишь круглое скользящее посветление указывало, где оно сейчас находится. Он смотрел долго, не в состоянии вместить в себя всё, что уже случилось в это утро и ещё должно было случиться начинающимся днём, и глаза у него слезились. Он их потёр руками и когда глянул снова, то увидел в облаках просвет, крохотное озерцо синевы, куда солнце проникло краешком и тотчас брызнуло золотым лучом. Он был устремлён вверх, к небесному хмурому своду, но ветер гнал облака, и луч повернулся в разрыве между ними, в проталине синевы, как огромная стрелка часов. Он сначала расширялся веером, но вскоре стал сужаться, с каждой секундой меняя цвет, покуда не сделался медно-красным.

Узким разящим мечом он опустил на воду, разрубив Днепр надвое, и светлая бликующая дорожка, пересекавшая реку, запламенела, окрасилась в красно-малиновый. По обеим сторонам дорожки река была ещё тёмной, но, казалось, и там, под тёмным покровом, она тоже красна, и вся она исходила паром, как дымится свежая, обильная тёплой кровью, рана.

Река крови текла между берегов, и всё, что плыть могло, плыло в этой крови. Плыли конники, держа под уздцы коней, возложив на сёдла узлы с одеждой и оружием. Плыли артиллеристы на плотках, везли свои «сорокапятки» и тяжёлые миномёты, упираясь ногами в мокрый настил, а руками крепко держась за своё добро, чтоб не утопить при накренинии. Плыла пехота в лодках и на плотках, на связанных гроздьями бочках, на пляжных лежаках, на брёвнах, на кипах досок, сколоченных костью или обмотанных верёвками, на сорванных с петель дверных полотнах и просто вплавь, толкая перед собою суковатое полено или надутую автомобильную камеру.

И плыли густо — наперерез им — убитые, по большей части — вниз лицом, а затылком к небу, и на спине у многих под гимнастёркой вздувался воздушный пузырь. Живые их отталкивали, отводили от себя вёслами и баграми, стволом автомата и плыть продолжали.

Всё живое — пёстрое, шумное, нескончаемое — достигало плёса, цеплялось за кромку берега сапогами, копытами, колёсами, траками гусениц и ползло, ползло по крутостям склона сюда, к нему, так вождельно стремясь к унылому клеверному полю, с его мертвецами и сгоревшими «Фердинандами», — зловещая, отвратительная, но и прекрасная картина, от которой он не мог оторвать глаз.

Глава четвёртая

ДАЁШЬ ПРЕДСЛАВЛЬ!

1

Женщина переходила дорогу и остановилась, услышав недалёкий, из глубины лесной просеки, шум мотора. Приближался крытый брезентом «виллис», без номера и с маскировочными синими фарами, с белой левой частью бампера, а женщина знала по опыту, что фронтовые шофёры правилами не утруждают себя и очень не любят тормозить; особенно же не любят они, когда неизвестные перебегают им дорогу, да притом в лесу, и самое разумное — застыть на месте и переждать. Женщина так и поступила, опустив на асфальт вёдра, полные грибов. «Виллис» налетел и промчался, обдав её влажным ветром и бензиновой гарью. На миг показалось полутёмное его нутро, и сквозь забрызганное слюкотью лобовое стекло она успела разглядеть сидевшего спереди крупного человека — нахмуренное его лицо, примятую полевую фуражку, две большие звёзды на погоне.

В деревне, где жила женщина, увидеть генерала считалось к добру, хотя едва ли бы кто взялся объяснить, в чём бы это добро состояло. Однако ж, промелькнувшее видение прибавило ей настроения и чем-то отличило этот день из

тысячи других. И так как «виллис» промчался в сторону Москвы, то она решила, что генерал, верно, туда едет за орденом, и пожелала ему самого главного из всех орденов, а по привычке подумала о нём как о возможном муже, с которым бы она жила в той далёкой Москве, если б выпало ей там родиться и если б какие-нибудь счастливые обстоятельства их свели. Но, поскольку она Москвы не видела и не надеялась в ней когда бы то ни было побывать, то и представление о муже-генерале не удержалось в её сознании, его заполнили другие соображения, главным образом о грибах, которые ей сейчас предстояло перебрать, почистить, отделить, какие для сегодняшней варки, а какие для засолки — горячей или холодной.

В свой черёд, и генерал не миновал своим вниманием женщины под серым платком, в безразмерном ватнике и резиновых сапогах, стоявшей на обочине шоссе с полными ведрами, — это показалось ему доброй приметой, хотя он и не знал в точности, что она означала. И мысль его об этой женщине была заурядной мыслью проезжего человека: что вот и здесь живут люди своей муравьиной жизнью, в которой нашлось бы место и ему — быть хотя бы мужем этой женщины, не старой и не молодой, а как раз ему по возрасту; здесь бы он затерялся, как песчинка в прибрежной отмели, укрылся от всех огорчений и забот, исполнил самое, может быть, естественное для человека — уйти от суеты мира, от слишком пристального внимания ближних. А может быть, и не было бы у него вовсе этих тревог, когда бы выпало ему родиться здесь, в нетронутой лесной глуши. А впрочем, война, которая и сюда докатилась и схлынула, всё равно бы его достигла и отсюда вытянула, да и не его удел — укрыться от чего бы то ни было...

...Как ему и предсказывала та, о ком он напрасно старался не думать, он далеко не ушёл от переправы. Его временное житьё на отшибе, в разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, в двух километрах от Днепра, кончилось неожиданно и сразу, когда он услышал железное урчание и в проломе стены проплыл дульный срез танковой пушки, а следом всплыла и замерла высокая башня «КВ». Кажется, Хрущёв завёл моду высоким чином разъезжать повсюду

в танках — признаться, не лишённую смысла: она и проходимость повышала, и сокращала нужду в большой охране. В этом танке наехал к нему Ватутин — как и он сам любил наезжать неожиданно к своим подчинённым, чтобы *застать всё как есть*. Напрасно ему казалось, что если не тревожить начальство новыми предприятиями, то всё обойдётся. Он забыл своё же мудрое изречение насчёт вкусной дичи: она вызывает интерес не тем, что кого-то беспокоит, а тем, что вкусная.

Кобрисов, спешно застёгиваясь, вышел встречать. С видимым трудом, при своей коренастости и тучности, командуя фронтом протиснулся из люка, но спрыгнуть молодого не решился. Кобрисов ему помог сойти — за что получил добрый совет:

— И ты бы вот так ездил, очень даже удобно. Хотя — ты моими советами пренебрегаешь.

Это он напомнил, что Кобрисов к нему не обратился в канун переправы, а поспешил свои танки угнать. Кобрисов склонил голову, что могло значить и признание своего проступка, и что победителей не судят.

— Духоты не люблю, — сказал он примирительно. — Люблю чистым ветерком дышать. — И добавил некстати: — Тоже и армия хочет видеть своего генерала.

— А я хочу видеть тебя, — возразил Ватутин слегка запальчиво. — Живого и не раненого.

Убежище Кобрисова — наспех отрытую щель под окнами — он осмотрел критически, заметил, что слишком близко к стене и при бомбёжке завалить может, не удержался и от других замечаний:

— Что у вас делается, генерал Кобрисов? Охранения — никакого. От самой переправы еду, и никто мой танк не задержал.

— Стало быть, знали, кто в танке едет.

— Ах, так...

— Да уж, догадались. А что вы моего охранения не заметили, за это я им, с вашего разрешения, благодарность объявлю. Умеют маскироваться и начальство зря не беспокоят.

Ватутин посмотрел на него с лёгкой усмешкой, едва скрывавшей раздражение.

— Занятный ты мужичок, Кобрисов. Ладно, веди в свои покои, посмотрю, как ты живёшь.

Кобрисов его повёл на второй этаж, в дальнюю угловую комнатку с табличкой на двери «Комната матери и ребёнка»; там Шестериков поставил койку, письменный стол и табурет. Другая мебель здесь бы не поместилась, поэтому хозяин уселся на койку, гость же оседлал табурет, — не сняв кожанки и отклонив предложенный чай, тем подчёркнув спешность и кратковременность своего пребывания.

Не сказать, чтоб жилище Кобрисова ему больше понравилось.

— Что-то ты... слишком уж скромненько. Прямо, как студент, живёшь. При штабе оно бы веселее...

— Да штаб мой ещё не весь переправился. Как только окопается — тут неподалёку, в селе, — так и я переселюсь.

— Ага... А то уже слухи ходят, ты с людьми не уживаешься.

— Слухи, — сказал Кобрисов.

Ватутин долго смотрел на него синими глазами, слегка досадливо покусывая губы. Он в этот приезд заметно внимательней всматривался в лицо Кобрисова, желая, верно, прочесть в нём что-то новое и ещё не открывшееся, либо то, чего раньше не замечал.

— Хочешь моё мнение знать? — спросил он.

— Весь внимание, Николай Фёдорович.

— С переправой тебе, в общем, повезло. Почти не встретил сопротивления. Противник здесь не имел резервов. Что, между прочим, соответствовало нашим предварительным оценкам. Это не значит, что нет твоей заслуги — хотя бы в выборе места. А всё же ещё две причины сработали: одна — что фон Штайнера всё ж таки Сибезский плацдарм, который ты критикуешь, сильнее занимает. А вторая — может быть, тут сыграло роль, что не сразу ты эту переправу затеял. Он уже, поди, считал, что мы тут не рискнём. А мы вот рискнули — разрешили тебе взять плацдарм. Ну, и твоя заслуга тут тоже есть — напомнил, настоял...

Кобрисов дважды покорно склонил голову, не соглашаясь ни с первой причиной, ни со второй.

— Подозрительно мне, — сказал Ватутин, — когда ты соглашаешься. Всё же загадочный ты мужик, Фотий... Но... Бог

с тобой. Я не затем к тебе на пароме переправлялся, чтоб твоё согласие спрашивать...

«А зачем ты переправлялся?» — подумал Кобрисов.

— А затем, — продолжал Ватутин, — чтоб сказать тебе: определись, Кобрисов. Определи свои отношения с соседями. Вот ты переправился — и глазом уже на Предславль косишь. Уже твоя армия правым плечиком вперёд стоит и команды «Марш!» ожидает. Ну, так мы все и подумали сразу. Не буду тебя экзаменовать, как мальчишку, какой у тебя дальнейший план. А только о Мырятине ты всерьёз не думаешь — как оно, между прочим, было бы по правилам. Это для тебя мизер. А напрасно, противник ещё далеко не выдохся, он может вот именно тут подтянуть резервы. Я ни на чём не настаиваю, генерал Кобрисов. То есть я пока не настаиваю. Но грянет час, тебе этим городишкой станут глаза колоть.

— Что ж вы думаете, вдруг я Предславль возьму? С моими-то силёнками?

— Прибедняешься, — сказал Ватутин. — Я тебя ценю... ценил до сих пор, по крайней мере, что ты всё же не числом пытаешься воевать, а каким-никаким умением. Но «вдруг» у тебя уже точно не получится. Покуда стоял ты себе спокойно, где судьба определила, никого это не волновало. А ты — плацдарм берёшь... Так что «вдруг» тебе одному не обломится. Но на свою долю... значительную долю в общей победе — ты теперь можешь претендовать. За успешную переправу. За дерзость. И вообще — пора тебе как-то приобщиться побольше к людям, в круг войти. Ты же любимцем фронта мог бы стать, не хуже Чарновского. Подумай об этом. И не уставай благодарить соседей. За вклад. За чувство локтя... или как там? В общем, солидарность прояви. Мой тебе совет. Не начальственный — дружеский.

— Спасибо...

— На здоровье. Это уж как водится...

Большей откровенности они бы достигли, прибегнув к водочке, но это для данных русских особей исключалось, поскольку один из двух, Ватутин, был непьющий. Среди генералов, каких только знал Кобрисов, этот выделялся не столько редкой работоспособностью, как этим дивным

свойством. За что и считался «интеллигентом». Не так чтобы истый был трезвенник, мог при случае и пригубить, но к откровенности это не больше располагало, чем «напиток полководцев» — чай.

И всё же Кобрисов смог оценить расположение к нему начальства, когда оно, понизив голос, произнесло с грустью:

— Ты же знаешь, Фотий, мы со своими больше воюем, чем с немцами. Если б мы со своими не воевали, уже б давно были в Берлине...

Этими словами, подчеркнув интонацией и скорбной игрой лица, что они — предел доверительности, он её и закрыл. Откликнуться на них нельзя было иначе, как долгим вздохом и невнятными междометиями. А сколько ещё хотелось спросить Кобрисову, как жгло ему язык: «Упрекали меня, что не замахваюсь по-крупному. Ну вот, ещё не замахнулся, даже и намерения не проявил — и что же? Нет у меня права на такой замах, все права — у Терещенки?» Но он предпочёл — благодарить. И кажется, его благодарность не показалась Вагутину подозрительной. Значит, повёл себя, как вкусная дичь.

Тотчас по отбытии командующего фронтом генерал Кобрисов достал свою карту с первоначальным эскизом, который он набросал сразу после переправы. Эскиз успел постареть: уже не один, а два плацдарма имела его армия на Правобережье, соединённых узкой, в полкилометра, полоскою берега. Между ними вклинивался «свиньёй» передний край немецкой обороны; почти в центре этого треугольного выступа и находился Мырятин. И первой же мыслью Кобрисова было — ударить с двух сторон под основание выступа. Два глубоких охватывающих вклинения, так повёрнутых остриями друг к другу, чтобы где-то за Мырятином угадывалось пересечение осей, создавали бы предпосылку окружения. Мысль была проста до примитива, но тем и нравилась Кобрисову. Она вполне удовлетворяла известному требованию Гинденбурга: «Наибольший успех нам обеспечивает простота замысла». Было здесь, правда, и осложнение, связанное с передачей оперативной инициативы противнику; пришлось бы ждать его ответных шагов, но на сей счёт генерал Кобрисов беспокоился не слишком и говорил, сам себе

подмигивая: «И подождём, куда тут торопиться...» Его замысел, помимо достоинств простоты, ещё и успокоил бы тех, для кого надо было *изобразить операцию*. Эти клинья, вонзившиеся в оборону противника, хотя бы на том и застывшие, выглядели куда динамичнее линейного фронта; немцам они грозили «котлом», соседи — могли убедиться: человек поглощён операцией с решительной целью и большим размахом, о каком Предславле ему ещё думать...

Вычертив эти две стрелы, он принялся *раскладывать паcьянс*. Всегдашнее горестное занятие генерала — что-то выкраивать из дорогих ему, таких необходимых сил и средств, которых всегда не хватает! Не хватает людей, орудий, танков, самолётов, снарядов, горючего, водки, жратвы, чёрта, дьявола. (И, конечно, всегда баб не хватает!..) Счёт шёл уже не на дивизии — на полки; разведанные силы противника большего и не требовали, но жаль было и полков! С болью в душе он выделил на каждое вклинение по три отдельных стрелковых полка, усиленных противотанковыми артдивизионами. Ещё покряхтев, вспомнив, что скупой платит дважды, добавил по пулемётному батальону. Записал себе — попросить у Галагана хоть по две эскадрильи штурмовиков. Танков — рука не поднялась хоть один отдать из шестидесяти двух. «Выкуси! — сказал он тому неведомому, кто на них рот разевал, всё требовал и требовал. — И на том спасибо скажи!»

Особенной скрытности он не добивался, напротив — командирам полков велено было не таить приготовлений. Он даже прибавил к своему замыслу пошуметь танковыми моторами, полязгать, пострелять, а затем незаметно их вывести и уже бесповоротно обратить на Предславль! Была надежда, что окружения и не понадобится, слишком очевидна его неотвратимая угроза, и всяк здравомыслящий должен бы загодя унести ноги из «мешка».

Но, когда обрели его изогнутые стрелы материальное воплощение, когда шесть полков, с боями не чрезмерно кровавыми, — а местами, в лесах, и вовсе без боёв, — углубились под основание Мырятинского выступа, вдруг выявилась эта странность в поведении противника: он не выказал жгучего желания унести ноги из «мешка». Он как будто вообще не

принял всерьёз угрозу окружения. Воздушная разведка не отмечала признаков эвакуации, ни приготовлений к ней. Командиры полков докладывали об ожесточении обороны, каждый километр забирал всё больше усилий и жертв. Такой прыти — и такой неосторожности! — не ожидалось от немцев после Курской дуги. Всякий час тревожился Кобрисов, что клинья увязнут совсем и повторится ситуация на Сибее. И речи уже не будет о том, чтобы и Мырятин тебе, и Предславль, но либо то, либо другое. А скорее — *то*. От него станут требовать и ждать, чтобы он как-то вышел достойно из авантюры, в которую влип, или бы уже продолжил свою операцию до победного исхода, и он будет бросать и бросать войска, не видя конца этому, ни дна ненасытной прорве, и вся надежда будет, что вырвет победу последний брошенный батальон...

Он ломал голову: с чего вдруг так вцепились немцы в заштатный городишко? Что прикрывает собою этот, с позволения сказать, опорный пункт? Какой оперативный замысел на него опирается? А не могла ли то быть ещё одна ловушка фон Штайнера, чтоб тут увязли русские — и не помышляли о броске на Предславль? Красную тряпку бросили быку — топтать её в ярости. Задним числом казалось Кобрисову, что и тогда было что-то пугающее в подозрительной простоте замысла. Некое коварство таилось в ней — как в вечном двигателе, который оборачивается инженерным абсурдом: не только не работает, но даже с трудом выводится из инерции покоя. Он клал перед собою снимок фельдмаршала, едущего по приволжской степи на танке, высунясь из люка по грудь, вглядывался в полное холёное лицо под чёрной пилоткой, с надменной складкой рта, усиками «лопаточкой», посверкивающим в глазу моноклем. Эти усики *под фюрера* и монокль в сочетании с башнею танка не говорили о слишком оригинальной личности, но был же он и впрямь *недурной вояка*. «Что же это ты мне уготовил, братец Эрих?» — спрашивал Кобрисов, и тут же закрадывалось подозрение: да, может статься, ни черта не уготовил братец Эрих, не мог же он предвидеть, что возникнет плацдарм раздвоенный, что придет Ватугин со своими советами, что Кобрисов и сам, ещё до этого, на всякий случай, станет набрасывать свой

эскиз. Просто, сложилось так. Но — откуда же такое ожесточение? Что их там держит, не помышляющих ни о каком отступлении?

В конце концов он понял, что его пугало. Он знал о численности войск противника, но не знал их состава. А могли же быть в Мырятине части СС, которым отступить не позволяют соображения престижа. И перебежчиков от них не дождёшься — ввиду причастности к операциям карательным. Так пришла мысль, что позарез нужен пленный. И коли дело касалось, скорее всего, *духа армии*, то безразлично было, какого чина ему добудут. Право, какой-нибудь обозник свидетельствует об этом духе даже выразительней.

И буквально через час, как адъютант Донской заказал «языка» разведотделу штаба, сообщили, что вот есть свеженький, взят неподалёку от наших позиций, утверждает, что шёл сдаваться. Впрочем, к допросу ещё не приступали.

— И хорошо, что он у вас не допрошенный, мне такого и надо, — сказал генерал. Уже допрошенный «язык», он знал, только и думать будет, как бы не разойтись с первоначальной версией. — Гоните его сразу ко мне, с переводчиком.

Начальник разведотдела возразил, странно помявшись, что переводчик не потребуется.

— Он что, — спросил генерал, — и по-русски лопочет?

— Только по-русски и лопочет, ни на каком другом. Так он утверждает.

— Не понимаю... Он из местных, что ли? Или же дезертир какой?

— Не из местных, товарищ командующий. И не дезертир. С его слов — наш будто бы. Ручаться не могу.

Ничто не предвещало особенной неожиданности, когда пленного доставили, и генерал направился к нему в другое крыло вокзальчика, в комнату, очищенную от обломков и даже со вставленными стёклами, где он принимал подчинённых. При виде него вскочил коренастый, невысокий ростом, круглоголовый парень в пятнистом комбинезоне, назвалса то ли Лобановым, то ли Барановым, генерал не разобрал. Пленный был очень напряжён и, наверное, оттого взрывчато заикался.

Встал от окна ещё кто-то, освещённый сзади, сказал несколько ирриво:

— Всё тот же вездесущий майор Светлооков. Разрешите поприсутствовать, не помешаю. — И, прежде, чем генерал мог бы ответить, пояснил, усаживаясь: — Пленный как-никак за мной числится, за нашим отделом.

Генерал возразил было, что у него и у «Смерша» интерес к пленному разный, и, может быть, лучше бы допрашивать раздельно, но затруднился, говорить ли со Светлооковым на «ты» или на «вы». Так повелось в армии, что сверху нисходило отеческое «ты», а встречно восходило сыновнее «вы» — в зависимости от чина-звания, не от разницы в годах. Так разговаривал он с Ватутиным, годами намного младшим. С майором Светлооковым тоже сложилось на «вы», но при тоне ирривом, когда это и выглядело как шутка. Серьёзного же разговора у них покуда не было, к тому же генерал не знал толком, в какой мере подчиняется ему этот майор. Говорилось о двойном подчинении «Смерша», о «тесном контакте» с госбезопасностью, но, похоже, истинно и признавали они только её министра Абакумова.

— Не возражаю, — сказал генерал угрюмо и на себя же рассердился — за то, что Светлооков и дожидаться не стал сего разрешения. Побарабанив пальцами по столу, за которым сел напротив пленного, генерал успокоился и задал вопрос неожиданный, но очень естественный в армии: — Кормили тебя?

Пленный опять вскочил, оглядываясь в растерянности на Светлоокова. И обещавший не вмешиваться Светлооков отвел за него:

— Не извольте беспокоиться, товарищ командующий. Они там отобедавши.

— Где «там»?

— Там, откуда прибыли. У противника. И двух часов не прошло.

Пленный было рот раскрыл что-то сказать, но лишь кивнул согласно.

— Поведай, — сказал генерал, — как попал в плен. Как из него бежал.

На Светлоокова он не смотрел, и пленный, который был весь внимание и звериная напряжённость, это заметил, стал говорить уже не так заикаясь, а главное, с видимой жадной выговориться.

Поведал он про то, чего всё же не ждал генерал от своих нещепетильных соседей, что переполнило уже налитую до краёв кровавую чашу Сибежского плацдарма. В довершение всей авантюры попытались её исправить новой авантюрой — воздушным десантом, и столь массивным, какого ещё не видывала история войн. Общего числа пленный, естественно, не знал, но свою воздушно-десантную бригаду назвал пятой, из чего генерал мог заключить без большой ошибки, что пять их, поди, и было задействовано — число, предпочитаемое дураками... К могучему замаху ещё добавилась тонкая идея десанта ночного, «под покровом темноты» — будто немцам составило бы тяжкий труд рассеять этот покров прожекторами, осветительными ракетами, тысячами бомбами-лампами! И отсюда пошли все беды. Выбросить пять бригад решено было за одну ночь, в крайнем случае за две, не имея аэродромов ближе, чем за двести километров от Днепра, не имея и самолётов в достатке. Это какой-нибудь 40-местный ЛИ-2 или же буксировщик планёров должен был за ночь несколько рейсов совершить, несколько взлётов, посадок... Так спешили, что задачу десанникам ставили за час до взлёта, а обдумывали её на лету. Так спешили, что в экипажи набрали пилотов, не имевших опыта ночных вылетов; выдержать нужную малую высоту они и не старались, от огня зениток и ночных истребителей уходили повыше и увеличивали скорость, и людей разбрасывали по огромной и неизведанной площади. Падали в воды Днепра — и тонули многие, не сумев ещё в воздухе освободиться от стропов. Падали, ослеплённые прожекторами, на немецкие боевые порядки, падали навстречу трассам зенитного огня, на многожды пробитых, на сгорающих куполах парашютов. Самых удачливых относил благодетельным ветром к своему левому берегу, и уже свои наверняка заподозривали дезертирство из боя, которое, и впрямь, не так сложно для десантника, наученного управлять падением и сносом. Те же, кто приземлялись всё-таки в заданном месте,

должны были его обозначить кострами и ракетами, но вскоре и немцы из противодесантных отрядов стали разжигать костры и пускать свои ракеты. Иной же связи не было: из опасения, как бы радисты не попали в лапы врага с секретными *радиоданными*, решили их не сообщать до приземления, и эти коды и позывные летели отдельно, в других самолётах, и на земле не суждено им было воссоединиться с бесполезными рациями, которые оставалось только разбить да выбросить.

Это и рассказывал десантник-радист, ещё не вполне исчерпавший умом всю меру изумления головоунытием.

— У нас же вся кодировка была под ключ, а голосом — так у меня микрофона нету, не велили с собой брать, — говорил он с не прошедшим, неизжитым отчаянием. — Ну, что... ну, я могу открытым текстом: сюда, мол, не сбрасывайте людей, тут засады кругом... Но кто ж мне поверит, когда я радиоданных не имею, кодов не знаю, своих позывных? У комбата всё, а где он, комбат?

— Действительно, — подхватил майор Светлооков, — кто ж тебе поверит. Ты же всего наблюдать не мог. Или кто-нибудь потом рассказал тебе?

Десантник от этих слов осёкся и вновь замкнулся. Между тем виделся человек очень не робкого десятка, кто побывал в передрягах и находил в них прелесть и смысл жизни, из тех, кто воевать умеет и любит. Было что-то звериное в его мощной тренированной фигуре, взрывчатая кошачья сила и ловкость, которые у генерала вызывали симпатию и молодецкое желание побороться с ним, и, наверно, была прежде горделивая осанка человека, ценимого командирами и знающего себе цену, привыкшего изъясняться, не утруждаясь выбором слов. Но, видимо, в этот раз испытал он то, что уже превысило меру его храбрости и сломило её; может быть, на всю жизнь оставило неизгладимый устрашающий след.

— Так, — сказал генерал, — рацию ты разбил. Дальше что?

Неожиданно для него десантник не ответил сразу, а потупился в пол и, вцепясь обеими руками в края стула, выговорил с усилием:

— Не разбил, товарищ командующий. Тут ведь как вышло? Покуда падал, страху натерпелся — как вспомнишь, так

вздригнешь. А приземлился — хорошо, на поляну, не на деревья. Руки-ноги целы, не ободрало нигде. И тащило меня недолго, купол погасил быстро. И вроде никого кругом, можно и расслабиться. Ну, развернул рацию — хоть что-нибудь услышать, наушники надел, работаю. И не услышал, как они сзади подкрались, человек пять. Вдруг наушники с головы срывают и в рожу — стволы: «Хенде хох!» Я и ножичек не успел вынуть.

— И автомат пришлось отдать, — сказал майор Светлооков.

— Взяли автомат, — сказал десантник. — Я только потянулся — сапогом дали под челюсть...

Он показал рукою, куда ему дали, там лиловел кровоподтёк. А лёгкая его усмешка показывала, что схлопотать по морде, хоть и сапогом, не такая уж для него трагедия. Майор Светлооков заглянул сбоку и покачал головой.

В какую из минут, не уловленных генералом, парень стал губить себя? Когда, поддавшись его доверительному тону или просто не смея лгать командующему, решил говорить правду — что не разбил рацию, как предписывалось, не отстреливался до последнего патрона, не резал врага финкой, не рвал зубами? Да, это всё поводы для «смершевца» сделать стойку. Но только он её раньше сделал — когда рассказывалось о десантировании, о котором рассказать солдатской массе невозможно, немыслимо, выглядело бы клеветой на командование, *злой антисоветчиной*. Как часто людям приходится отвечать за то, что они не могут не рассказывать о грехах других людей, и как охотно эти другие переключают на них свои вины! Только формулировку подобрать. В сущности, за любым обвинением политического свойства всегда стоял чей-нибудь личный интерес — и непременно шкурный. И уж эти мастера себя выгородят перед Верховным и награды себе отхлопочут — можно ведь из любого головоутиательства выйти с достоинством: «В ходе операции советские воины проявили массовый героизм, мужество и стойкость». И всё ведь чистая правда, кто-то же проявил, сплотился в группу, в отряд, оказал сопротивление. А все другие будут уже к ним подстраивать свои легенды. Только вот этот парень не озаботился запастись легендой. И значит, был

обречён, ещё когда прыгнул в ночную темень, если не раньше — когда всходил по трапу в самолёт.

— Что с теми было, кто отстреливался? — спросил генерал. — Удалось им оборону какую-то организовать?

— Я, когда повезли меня, видел — вешали на стропах. На ихних же стропах. Ну, забавлялись. Несколько тяжелораненых или кто ноги поломал — свалили в кучу, забросали хвостом и зажгли. Крик стоял жуткий. На весь лес. И мясом пахло горелым.

— А тебя, значит, везли, — сказал Светлооков.

— А меня везли, — повторил десантник. И вдруг взорвался: — Что же я, п-просил их меня в-везти, ш-што ли? Я им п-продался, да? С-служить п-пооб-бещал? Лучше бы меня т-тоже п-повесили? Или — с-сожгли? С-скажите уж п-прямо!

— Это скажут тебе, — ответил майор Светлооков. — А что лучше, что хуже для тебя — это сам решишь. — И, как бы спохватясь, добавил: — Виноват, товарищ командующий. Я, наверно, мешаю?

«Не «наверно», а мешаешь!» — хотелось генералу рявкнуть. Но, допустив первые вопросы и реплики Светлоокова, почему было вдруг упереться на этой? Противника останавливают на дальних подступах, на ближних — ещё удастся ли?

Стой же доверительностью в тоне и как бы не слыша Светлоокова — что казалось ему сейчас лучшей тактикой, — генерал опять обратился к десантнику:

— И куда же они тебя повезли?

— В город повезли.

— В какой город?

Десантник потёр лоб тылом ладони, словно бы мучительно вспоминая.

— В этот... В Мырятин.

...Как помнилось генералу, некую обожжённую лица и всего тела испытал он сразу при этом имени — от предчувствия, что вот сейчас откроется тайна, которую он был обязан узнать, перед тем как вычерчивать свои вклинения и раскладывать пасьянсы. И кто виноват, как не он один, что разведка ему этой тайны не раскрыла? Он ведь не ставил разведке вопроса, что за люди обороняют этот городишко, — хоть и блуждала мысль о *духе армии*.

— Почему в Мырятин? — спросил он. — Зачем?

Десантник исподлобья взглянул на него с удивлением.

— Так там же русские, — сказал он. — Русские там.

И генерал явственно ощутил на своём вспыхнувшем лице давящие взгляды десантника и Светлоокова.

— Что, пленных туда согнали? Концлагерь? — спросил он оторопело, где-то на краешке сознания зная ответ, но стараясь его отогнать, заклясть, чтоб именно то оказалось, о чём он спрашивал.

Десантник помотал головой.

— Я что-то не видел, чтоб под конвоем держали. Вполне даже свободные они. Сами батальоны сформировали, сами и на фронт выступили, никто не гнал. И меня тоже не быстро принуждали. Сказали: «Ну, раз ты русский, то вот пусть русские с тобой и разбираются. И спасибо скажи, что не к хохлам тебя везём, к самостийникам, они б тебе дружбу народов вырезали на пузе. Или где пониже...»

— Ты говоришь — формирование у них батальонное. И сколько же батальонов, хоть приблизительно?

— Вроде бы, говорили, десять или одиннадцать воюют уже. А тот, что в городе формировался, куда меня воткнуть хотели, тоже почти укомплектован был, и оружие им раздали, только форму ещё не подвезли. Были — кто в чём перебежал. Некоторые в штатском — кто из местных влился.

— Форму какую? Немецкую?

Вопрос так поразил десантника, что он даже не ответил. И это и было ответом.

— Я не надел, — сказал он, помолчав. — Не надену, говорю, хоть к стенке ставьте. Ну, тоже не настаивали: «Поживи с нами, приглядишься. Может, надумаешь...»

— Кто командует ими, не слыхал? — спросил генерал. Он ждал услышать о Власове.

— Как кто? — сказал десантник. — Немцы. Командирами батальонов — немцы поголовно. И заместители ихние — тоже.

— Они что, по-русски говорят?

Десантник пожал плечами.

— Ну, может, десяток знают команд. Много, что ли, надо Ивану?

— А над этими немцами — кто?

— Другие немцы.

— А ещё выше? Какой-нибудь генерал?

— Генерала я не видел, но, в общем, тоже фриц какой-то. Один раз, когда уже мы на позициях были, оберст приезжал инспектировать. По-нашему полковник. Чего-то гавкал, но непонятно было, ругался он или, наоборот, хвалил.

— Значит, воюют, говоришь, — сказал генерал. — А обстановку знают они? Что окружение им готовится?

— Знают. Говорят об этом.

— Почему ж не уходят?

Десантник снова пожал плечами. Они как бы вспрыгивали у него — должно быть, сильно гуляли нервы.

— Так приказа же не было... Как отходить? Обязались приказы исполнять, если форму надели, иначе — «эршиссен», расстрел. Как немцам. Назад — ни пяди!

Генерал хотел спросить про заградительные отряды, о которых говорилось на политбеседах, но спохватился, что такой вопрос опасен для десантника, точнее — ответ на него, если окажется отрицательным.

— Значит, ждут приказа, а его всё нет?

— Когда я уходил, всё ждали — вот-вот. Но, похоже, забыли про них — где-то там, на самом верху...

Вот это и была — и как проста! — вся «ловушка», уготованная братцем Эрихом. И это в голову не могло прийти, хотя о скольких «забытых» приходилось слышать. Забывали роты и батальоны, забывали дивизии и корпуса, целую армию забыли в «мешке» у села Мясной бор близ реки Волхов — ту самую, 2-ю Ударную, которую досталось вытягивать Власову. В панике от грозящего окружения, улепётывая на штабных «виллисах», забывали приказать батальону прикрытия, чтобы и он отступил. Зато не забывали кинуть в бой хоть знаменную группу, где всего-то три человека — знаменосец и ассистенты. Не забыли в одной из его дивизий погнать в огонь ходячих раненых из медсанбата — в халатах и кальсонах, не позаботясь раздать хоть какое оружие, только б заткнули прорыв... И случилось чудо: эти безоружные остановили немцев. Настреляв с четверть сотни тел, немцы вдруг покинули захваченные высоты, а там подоспели конники и оттеснили их совсем. Взяли их командира, как раз

тоже оберста, и генерал Кобрисов потребовал его к себе. «Почему вы отступили? — спросил он строго. — У вас такие были позиции, вы же с этих высот одними пулемётами тут дивизию могли разогнать к чертям собачьим!» Оберст посмотрел на него печально и даже с какой-то жалостью и ответил кротко: «Господин генерал, мои пулемётчики — истинные солдаты, у меня к ним никаких претензий. Но расстреливать безоружную толпу в больничных халатах — этому их не обучили. У них просто нервы не выдержали — может быть, впервые за эту войну». Много дней спустя генерал ещё продолжал размышлять, как бы он поступил с теми, кто заслонился телами раненых. Прошло первое желание, от которого горела и сжималась ладонь: расстрелять своей рукой перед строем, и в конце концов он нашёл возмездие другое: выстроить в две шеренги друг против друга, срывать награды с опозоренных кителей и тут же их прикалывать к госпитальным коричневым халатам. Он даже поделился этим желанием с начальником штаба — и был тотчас возвращён с небес на землю: да эти бесстыжие в Президиум Верховного совета пожалуются, который их награждал, и всё им вернут, а ему, Кобрисову, укажут строжайше на самоуправство. Да уж, чего не случилось в эту войну, но чтоб забыли своих бережливые немцы, не бывало на его памяти. А вот забыли и они. Впрочем, не своих — русских. Точнее — «русских предателей».

— Могу, если надо, — сказал десантник, — насчёт вооружения рассказать...

Генерал встал и заходил по комнате.

— Про это не надо мне. Ты лучше расскажи: как тебе удалось бежать?

Подспудная мысль была — дать парню шанс выставить и себя в хорошем свете. И смутно чувствовалось, что тем самым он участвует в игре, навязанной присутствием Светлоокова. А всякую игру *они* выигрывают заранее.

— Да ничего особенного, — сказал десантник, — не держали. Десять дней я у них пробыл, «карантин» прошёл, как они говорят, ну, спросили: «Не надумал с нами остаться?» А когда сказал, что нет, братцы, не надумаю никогда, не спрашивали больше. Попросил автомат вернуть — вернули, только диск дали пустой: «Вдруг ты ещё по нам пальнёшь». И на

прощанье сказали: «Встретимся в бою — не жалуйся». — Он помолчал, вспоминая что-то, и добавил: — У меня впечатление, товарищ командующий, что драться они будут как звери, а на свою судьбу — рукой махнули... Никакого просвета впереди, и ни к чему душа не лежит, кроме водки. И — крови. Песня у них есть боевая, вроде гимна: «За землю, за волю, за лучшую долю берёт винтовку народ трудовой...» А поют печально, чуть не со слезами...

— За сердце берёт, правда? — вставил Светлооков. — Я вижу, грустное было расставание.

Десантник посмотрел на него долгим взглядом и сказал, с горечью и обидой:

— Точно, товарищ майор, грустное. Потому что ещё сказали они мне: «Зря возвращаешься, тебе дорога назад заказана. Раз ты с нами какое-то время побыл и вообще в плену, веры тебе не будет. И ещё радуйся, если проверку пройдёшь и дальше воевать пустят». Вот не знаю, правду сказали или нет...

— Я тоже не знаю, — сказал Светлооков. — Не бог я, не царь и не герой. Другие будут решать...

Повисло молчание, которое генерал не знал как прервать. И даже почувствовал облегчение, когда Светлооков спросил:

— Нужен вам ещё пленный, товарищ командующий?

Генерал, отвернувшись и заложив руки за спину, ответил:

— Мне всё ясно.

Ему самому было ясно, что никакой иной разговор при третьем невозможен.

Светлооков, не вставая, сказал десантнику:

— Ступай к машине. Скажешь конвойным, я задержусь на пару минут. Видишь, я тебе доверяю, что всё будет без эксцессов...

Десантник, поднявшись, вытянул руки по швам и обратился к генералу:

— Разрешите идти, товарищ командующий?

В его голосе ясно звучало: «И вы меня отдадите, не заступитесь?» Генерал, повернувшись, увидел взгляд, устремлённый к нему с отчаянием, мольбой, надеждой. Он хотел подойти и пожать руку десантнику и вдруг почувствовал, что

не сможет этого сделать при Светлоокове, неведомое что-то сковывает ему руки, точно смирительная рубашка.

— Счастливо тебе всё пройти, — сказал генерал. — И доказать... что потребуют.

Десантник молча вышел, и было слышно, как он медленно, точно бы сослепу нащупывая ступеньки, спускается по лестнице. В разбитом вокзальчике насчитывалось, наверное, пять-шесть обширных пробоин — и по меньшей мере столько же возможностей не выйти к подъезду, где дожидался восьмиместный «додж» с конвоирами «Смерша», а тем не менее майор Светлооков уверенно знал, что всё обойдётся без эксцессов, этот десантник, могший бы справиться со всем конвоем, покорно сядет в «додж» и поедет навстречу выматывающим допросам, фильтрационному лагерю и всей, уже сложившейся, судьбе. В который раз показалось генералу диковинным, как велика, необъятна Россия и как ничтожна возможность укрыться в ней бесследно. Да если и выпадает она, человек всего чаще от неё отказывается как от выбора самого страшного.

— Парню отдохнуть бы, — сказал генерал, не глядя на Светлоокова. — Нервы подлечить — и в строй. Я б таких в своей армии оставлял. Какой комбат от него откажется?

— И какой чекист не проверит? — прибавил Светлооков.

— Да уж, это как водится у вашего брата... И долго его... щупать будут?

— От него зависит. Насколько откровенен будет. Мы же с вами не знаем, товарищ командующий, почему так легко отпустили его. Главного-то он не сказал — почему это его одного в Мырятин повезли, к землякам? А он — руки поднял.

Генерал, выбирая фразу без личных местоимений, спросил раздражённо:

— Откуда это известно?

— Ну, это ж элементарно, — сказал Светлооков. — Кто не поднял, тех ликвиднули.

— Что же, если его с ними не вздёрнули, не сожгли, так он уже виноват? Ему, значит, задание дали шпионить? Или пропаганду вести? Чепуха собачья...

Светлооков поднялся на ноги и, наматывая на руку ремешок своей планшетки, посмотрел на генерала простодушными голубыми глазами.

— Вот интересно, товарищ командующий. Возмущаемся, что кого-то виновным назвали: это, мол, должен трибунал решать. А невиновного — это мы сами определим, тут ни контрразведка, ни трибунал нам не указ. Нелогично, правда же? Не осмелюсь я ни обвинять кого, ни оправдывать; пусть уже, кому там виднее, головы ломают... А разговор тут интересный был, я лично много полезного извлёк. Вот насчёт Мырятина и этих... перебежчиков, перевёртышей, в общем — власовцев. Как я заметил, и вас это интересует. И, насколько судить могу некомпетентно, операция у вас получается красивая.

Похвала эта была генералу, как режущий звук по стеклу, и операция тотчас показалась ему уродливой, бездарной.

— И вот подумалось, — продолжал Светлооков, — хорошо бы, если б командование, планируя ту или иную операцию, учитывало бы наши интересы, я о «Смерше» говорю. Как-то бы согласовывало с нами... Мы, например, очень были бы заинтересованы в окружении.

Генерал, чувствуя подступающий непереносимый гнев, сказал медленно:

— А в том, какие потери будут при окружении, тоже вы заинтересованы? Не дождётеесь вы, чтоб я с вами согласовывал свои операции.

— Жалко... — Светлооков вздохнул смиренно и, вытянувшись, пришёлкнул каблуками. — Виноват, не подумал. Разрешите идти?

После его ухода чувство обожжённости ещё усилилось. С некоторых пор труднее было генералу остаться наедине с собою, чем вынести самых назойливых. Своя вина жгла сильнее, чем мог бы кто другой его упрекнуть: сегодня открылось ему то, с чем он так не желал встречи, надеялся, что его-то обойдёт стороной. Как же он проглядел, не предчувствовал? И ведь это не были те малые группки, те как бы и случайные вкрапления среди немецких частей, о которых приходилось слышать ещё до Курской дуги, ещё при первых движениях армии от Воронежа, — нет, перед ним предстала

организованная сила, составившая, может быть, костяк обороны.

Никак не предвиделось это более года назад, когда впервые услышалось: «Генералы Понеделин и Власов — предатели», когда прозвучали страшные слова: «Русская Освободительная Армия», страшные таившейся в них обречённостью, гибельным упрямством смертников — и, вместе, слабым упрёком тому, кто, всё понимая, в этом гибельном предприятии не участвует. Вскоре посыпались с самолётов аляповатые листовки — одновременно и пропуск в плен, и «художественная агитация»: Верховный с гармошкой приплясывал в тесно очерченном кругу, где помещался один его сапог, из рта летели веером слова попевочки:

Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья...

Был приказ офицерам и солдатам эти листовки сдавать политработникам, за хранение и передачу грозила высшая мера. Никто их особенно и не подбирал, ещё меньше хотелось хранить их. Но вскоре посыпались другие листовки, где был посерьёзнее текст и на которых предстало сумрачное, очкастое, закрытое лицо Власова. Оно было скуластое, с широким носом, простоватое, но и чем-то аристократичное. Из роговой оправы очков смотрели пронзительные, внимательно изучающие глаза, большой рот — не куриное, обиженно поджатое гузно, — говорил о силе, об умении повелевать. Из такого можно было сделать народного вождя.

Понеделина генерал Кобрисов не знал, а с Власовым, своим подмосковным спасителем (от чего было не откреститься), он встречался в Москве, на слёте дивизионных командиров, где была всем в пример поставлена власовская 99-я стрелковая дивизия, занявшая первое место по Союзу. Дивизия Кобрисова, входившая в Дальневосточную армию, тоже оказалась среди лучших, так что сидели рядом в президиуме, и Власов его отчасти удивил, слушая произносимые речи с блокнотиком, вылавливая Бог весть какие жемчужины, когда все другие позёвывали. Потом оказались — не случайно — рядом на банкете. Называлось это, правда, не

«банкетом», а «командирской вечеринкой»; была она как сомкнувшиеся волны над ушедшими ко дну; имена тех, кто не выплыл, и тех, кто ещё барахтался на плаву, не произносились, тосты поднимались за Красную армию, за её «славное прошлое и победоносное будущее»; настоящее — пропускалось, но похоже, был здесь молчаливый реквием по отсутствующим, и каждый, поднимая бокал, заклинал судьбу, чтоб его миновала чаша сия. Ждали на слёт Сталина с речью, он не явился. «Не почтил, — сказал Власов. — Занят. Ну, ему сейчас работы для ума хватает». Сам он выглядел счастливецом, который своим отличием избег общего жребия, и дал понять, что и Кобрисову так же повезло.

Пивал Андрей Андреевич крепко, а нить разговора не терял и мог вполне здраво продолжить, о чём говорилось стрезва. Виден был ум, оснащённый эрудицией, отточенный чтением; свою речь он пересыпал цитатами из Суворова и других полководцев российских, не расхожими пословицами, из них теперь чаще вспоминалось: «Каждый баран за свою ногу висит». Он уже давно не сомневался, что воевать предстоит с Германией, и война эта будет самым тяжким испытанием для советской России. Похоже, что и пакт с Риббентропом его в том не поколебал. «Удобнее, чем сейчас, момента у них не будет, — сказал он, имея в виду всё то, о чём не говорилось. — А у нас — неудобнее». И не только не ошибся Власов в своём предвидении, но и более других оказался к испытанию готов. В те месяцы 1941-го года, когда всё попятилось на восток, и было лишь два исключения из всеобщего панического бегства — либо в плен попасть, либо в окружение, — на 37-й армии Власова держалась вся оборона Киева, и свою армию он не потерял, вывел её и остатки других из грандиозного киевского «котла», где сгнуло более 600 тысяч. Так отдавать города, как Власов отдал Киев, так ускользнуть из мёртвой хватки Гудериана и фон Клейста — значило дать понять и своим, и немцам, что не все лучшие выбиты предвоенными «чистками», осталось ещё на кого возложить надежды. Второй раз прогремел он под Москвой — и Кобрисов не мог не оценить всей дерзновенной красоты его авантюрного решения, безумного самонадеянного рывка — без разведанных, в метель, наугад,

с прихватом чужой бригады, за что при неуспехе он бы ещё неумолимее был поставлен к стенке. И скорее этот рывок спас Москву, чем те сибирские дивизии, сбережённые Верховным, которые пороху не нюхали, но почему-то должны были оказаться боеспособнее отступавших фронтовиков. В третий раз уже ждали от Власова чуда — когда Верховный, по совету Жукова, послал его спасти 2-ю Ударную, которую так бесполезно, бездарно сгубили на Волховском плацдарме, рассчитывая ценой её гибели сорвать блокаду Ленинграда. В третий раз чудо не удалось ему. Знал ли он, летя сквозь плотный зенитный огонь в полуокружённую армию, что ничем ей не поможет? Здесь при оценке Власова руководствовался Кобрисов не точными данными — их не было, — а той сочувственной легендой, какие складывались вокруг удивительного генерала. Говорили, что на Волховскую операцию смотрел он обречённо, как на заведомое поражение, и лишь надеялся, что Верховный позволит ему армию распустить и прорываться на восток малыми группами. Верховный таких полномочий не дал, Власов их взял сам — и в предатели попал уже с этого шага, а не тогда, когда то ли священник, то ли церковный сторож навёл немцев на его убежище. Пожалуй, на церковников, подозревал Кобрисов, возвели напраслину, скорее всего выдали советского генерала советские крестьяне, которым было за что возлюбить Красную армию и её славных полководцев, — начиная с Тухачевского, а пожалуй, и пораньше, с Троицкого. И должно быть, не испытали эти крепостные большего злорадства, чем когда прогудело басисто из глубины храма: «Не стреляйте, я — Власов».

Ещё в июле, из Винницы, едва разменяв второй месяц пленения, призвал он русский народ к борьбе со Сталиным. А в январе заявил в Смоленском манифесте: свергнуть большевизм, к сожалению, можно лишь с помощью немцев. «К сожалению» было при немцах и сказано, с этим он в Смоленске выступал в театре, о русской победе с немецкой помощью отслужен был молебен в соборе, вновь открытом, бывшем при большевиках складом зерна. В апреле — была поездка в Ригу, во Псков, посещение Печерского монастыря, игумен ему кланялся до земли, в театре две тысячи

устроили овацию. В штабе немецкой 18-ой армии сказал, что надеется уже в недалёком будущем принимать немцев как гостей в Москве. Советские газеты называли его троцкистом, сотрудником Тухачевского, шпионом, который и до войны работал на немцев, на японцев. Кобрисов, которому случалось быть «лакеем Блюхера» и продавать родину японцам, всерьёз этого не принимал. И от него не укрылось, что Власов не называет немцев хозяевами, но лишь помощниками, гостями в России, пытается дистанцироваться от них, даже как будто добивается впечатления, что свои манифесты пишет едва не под пистолетом.

Вот что смущало: свои отважные антибольшевистские речи, свои эскапады против Верховного стал говорить Власов, когда попал в плен. А если бы не попал? Так бы и восходил по лестнице чинов и наград со своими потаёнными обидами? Да, кажется, и не много их было, он даже фразу особо выделил в первом своём открытом письме: «Меня ничем не обидела советская власть». По способностям своим дослужился бы до генерала армии, до командующего фронтом, а то и до маршала, заместителя Верховного, вровень с Жуковым. Вот разве очки помешали бы, выдавали, что много читает. И ростом не вышел — именно своими чуть не двумя метрами. Для малорослых недокормышей, из кого и вербуются советские вожди, был бы всегда чужой. Кобрисов, и сам-то высокий, в этом ему сочувствовал. Ну, ничего, очки объяснились бы наследственной близорукостью, а при хорошем росте так выразительны поклоны. Но вот попал в плен — и принял иную роль так, будто всю жизнь к ней и готовился, выдал всю правду-матку. Право, больше бы в неё верилось, если бы сам перешёл. Нешто так трудно перейти, имея верного человека в свите? Никогда не подвергая такому испытанию, Кобрисов тем не менее отчего-то уверен был, что, позови он с собою Шестерикова, тот пойдёт, не спрашивая ни о чём, ну разве что — взять ли диск запасной к автомату. Вот что, наверно, следовало сделать Власову — уйти с десятком людей и образи армией. При его имени, славе, облике военного вождя могло бы это удался — объединить разрозненные, но уже сложившиеся части: казачьи, украинские, белорусские, грузинские, калмыцкие легионы.

Не «жалкая кучка иуд, продавшихся за тридцать сребреников», вдруг «захотела возврата к прошлому»; измена была столь массовой, что уже теряла своё название, в пору стало говорить о второй гражданской войне в России. Ну, так и вести её надобно — под своим знаменем, не выбирая между Сталиным и Гитлером. Власов же решил сыграть *прозревшего в плену*, под влиянием нового (старого, эмигрантского) окружения — и было, впрямь, что-то наигранное в его бурных откровениях. Позволил себе стать, каким его хотели видеть, — вот что политика делает с людьми, даже сильными и талантливыми. Был игрок, а стал — игрушкой.

Генералу Кобрисову, по его должности, полагалось знакомиться с документами, недоступными даже и высокому офицерству, чаще всего — их выслушивать в чьём-нибудь чтении, сделав при этом брезгливое лицо, насупясь, ни с кем не встречаясь взглядом. Читали обычно начальник политотдела либо Первый член Военного совета, по-старому — комиссар, в одинаковой предустановленной манере, что даже делало их похожими. В своё чтение они вкладывали толику актёрства, какие-то места выпячивая карикатурно, где-то и похохатывая — и как бы приглашая к своему хохоту слушателей, а где-то возвысаясь до пафоса грозного возмущения. И заползала Кобрисову лукавая мысль, что такое чтение, может стать, производит обратное действие, и кое-кто в прочитанном кое с чем согласен, кое-что разделяет. Чтобы в том убедиться, надо было поднять глаза и всех слушающих оглядеть, но этого он не делал ни разу. Ведь та же лукавая мысль могла посетить не одну лишь его голову, и кто-то же мог его в ней заподозрить, как он других.

Уже за то, что Кобрисов измену Власова считал роковой ошибкой — скажи он кому об этом, — он был бы тотчас отставлен от армии, лишён звания и наград и в лучшем случае послан камень дробить в Казахстане, а то и в шахты Воркуты. Ошибка же, по его мнению, была в том, что нельзя было оказаться с немцами — и не потому, что те не дали — и не дадут — сплотиться в решающую силу. Ошибка была — что хотя б на время стали рядом с теми, кого уже увидел народ палачами и мучителями. Если сумели им всё простить и быть заодно, значит — такие же! И эту свою ошибку не понимал

Власов, как и того, что уже опоздал он со своей РОА. После Сталинграда, после Курской дуги, не видя, не чувствуя, что Верховный уже эту войну выиграл и вся масса народа на фронтах и в тылу принимает его сторону, Власов, сам руку приложивший к его выигрышу, пообещал, что закончит войну по телефону! То есть он позвонит Жукову, Рокоссовскому, друзьям по академии, с которыми *так откровенно говорили*, — и они ему сдадут фронты! Здесь уже стало видно, в каком состоянии находится Власов — боевой генерал, разучившийся понимать, что такое война, русский, разучившийся понимать Россию!

По-человечески это понятно было Кобрисову, который умел поставить себя в положение другого — с тем, разумеется, непререкаемым чувством превосходства, с каким оставшийся верным долгу смотрит на переступившего долговую черту. Не раз он примерялся к положению Власова и даже находил иным его действиям оправдание. Но зачем, спрашивается, позвал за собою этих курносых, пухлогубых, лопоухих, сбитых с толку, раздавленных немецким пленом — после всего, что извели от власти родной, рабоче-крестьянской, — если ничего дать им не мог, кроме громкого своего имени? Идея была так заманчива, кто не мечтал вернуться в Россию во главе армии! Но вот прошло более года войны — и говорит десантник, что русскими батальонами командуют немцы, и не он один это говорит, — что же, через немцев ниспосылает приказы своим войскам пленный генерал? Стало быть, нет у Власова армии в России, и все эти русские, объединяемые огульно под его именем, на самом деле — никакие не «власовцы».

С Власовым всё было ясно, его ждёт петля. Батяка его достанет. Не ему, а себе не простит Верховный, что полтора или два миллиона неразумных детей замахнулись оружием на Отца народов, и поймёт он это так, что был ещё слишком мягок с ними. Об их участи не мог не задумываться Кобрисов, и сам-то перед ними виновный. Они «продали родину»... А — за что продали? За такой же обрушенный окоп, за атаку по грязному чавкающему месиву, за спаньё в снегу или в болотной жиже, за виселицу при поимке (ведь в плен не берут!) или скитания по чужим землям — когда придётся

из России уходить? Тех, кто хотел остаток жизни прожить хорошо, комфортно, кто покинул родину в тяжкий для неё час, — тех не было перед Кобрисовым, не было в секретных документах «Смерша», ни в донесениях политотделов. Были те, кто не покинул. Вот эти, в Мырятине, отказавшиеся уйти от окружения, не покинули её! И при этом — разве не знали они, что имя «предатель» — издревле позорно в русском народе, и никогда не будет им прощена измена? Какой же долг обязаны были они исполнить, или — какая боль их вела, если не остановило, что в веках будут прокляты и никогда не дождутся благодарности? Ведь если б чудо случилось и они победили — какая была бы обида народу, что сам он не справился, помогли иноземцы, притом — враги, оккупанты!

К людям, ставшим за черту, его влекла тайная тяга, сильнейшее любопытство, как влечёт посмотреть на лицо осуждённого, которому вот через час класть голову под топор. И как хотелось хоть одного из них посадить против себя и расспросить, разговорить наедине, благо тут не требовался переводчик. Но слишком хорошо он знал, что это несбыточно. Не дадут ему этого. Не он будет расспрашивать этих людей, а майор Светлооков. И не затем нужен он и его армия, чтоб тешить своё любопытство, выясняя мотивы их греха.

А зачем он нужен? Чтоб их изловить, скрутить, поставить на колени, пригнуть их повинные головы к земле, которую «продали»? Сказал же осторожный Ватутин: «Мы со своими больше воюем, чем с немцами». Что это было? Невольно вырвалось, что сидело в уме? Ведь он был начальником штаба Киевского округа, служил вместе с Власовым, не мог о нём не задумываться. Впрочем, не он один сейчас задумывался, что страшнее войны гражданской быть не может, потому что — свои. Древнейшее почитание иноземца — в русских особенно сильное, до раболепного преклонения, — не всякому позволит сделать с ним то, что со своим можно. Как, в сущности, скоро остывает злость к пленному немцу, и как ожесточается к «своему». Зелёным огнём загорелись глаза у Светлоокова в предвкушении «священной расплаты». Право, нет на Руси занятия упоительнее!

Горячим летом 1942-го, после сдачи Ростова и Новочеркаска и приказа 227, «Ни шагу назад», как соловьиство защёлкали выстрелы трибунальских исполнителей! Страх изгонялся страхом, и изгоняли его люди, сами в неодолимом страхе — не выполнить план, провалить кампанию — и самим отправиться туда, где отступил казнимый. Так обычен стал вопрос: «У вас уже много расстреляно?» Похоже, в придачу к свирепому приказу спущена была разнарядка, сколько в каждой части выявить паникёров и трусов. И настреливали до нормы, не упуская случая. Могли расстрелять командира, потерявшего всех солдат, отступившего с пустой обоймой в пистолете. Могли — солдата, который взялся отвести дружка тяжелораненого в тыл: «На то санитарки есть». А могли и санитарку, совсем молоденькую, которая не вынесла вида ужасного ранения, ничего сделать не смогла, сбежала из ада. Ставили перед строем валившихся с ног от усталости, случалось — от кровопотери, зачитывали приговоры оглохшим, едва ли вменяемым. И убивали с торжеством, с таким удовлетворением, точно бы этим приблизили Победу.

...И вот однажды пришёл из боя лейтенант с одиннадцатью солдатами, остатком его роты, и сказал, что есть же предел идиотизму, что с такой горсткой людей ему не отбить высоту 119, и он их губить не станет, пусть его одного расстреляют. Лейтенант Галишников — так звали обречённого, генерал его имя запомнил. Он сам наблюдал этот бой из амбразуры дивизионного НП и видел, что не выиграть его, по крайней мере до темноты; можно лишь всем полечь у подошвы той высоты, чтоб исполнился приказ 227. Но наблюдал не он один, с ним вместе находился в блиндаже уполномоченный представитель Ставки, генерал Дробнис, с многолюдной свитой. Эта свита вполне бы составила доброе пополнение тем одиннадцати измученным солдатам. Но известно же: в атаку идти — людей всегда не хватает, а зато их в избытке, где опасность поменьше. И чем дальше от «передка», тем народу погуще, тем он смелее и языкастей. Вот и свита Дробниса, наблюдая в хорошие немецкие цейссовские бинокли, критиковала неумелые действия ротного: всё-то он толчётся у подошвы, которая немцами хорошо

пристреляна, велит людям залечь, тогда как надо броском преодолеть зону обстрела. И они прямо-таки вскипели негодованием, когда стало видно, что он отступает.

Генерал Дробнис распорядился позвать его в блиндаж. И лейтенанта Галишникова привели — чёрного и потного, едва шевелившего языком. Он опирался на автомат, как на посох, и всё порывался то ли присесть, то ли прилечь и уснуть.

Генерал Дробнис был грозою генералов и умел нагонять на них страх, не будучи ни полководцем, ни корифеем-штабистом, ни сколько-нибудь сильной личностью; он был цепной пёс Верховного и выказывал ему собачью преданность такого накала страсти, что Верховный устоять не мог, он тоже имел слабости — и прощал Дробнису, за что другой бы угодил под высшую меру, как несчастный Павлов. Расстрелять Дробниса могли за один только Крым, куда он был послан спасти положение и для этого наделён полномочиями, которые его ставили вровень с командующим Крымским фронтом; разумеется, Дробнис его подмял, воителя способного, но мягкотелого, и раскомандовался сам, чем сильно помог Манштейну справиться одной своей 11-ой армией с четырьмя советскими. Сказывали, прощение у Верховного Дробнис выслужил, став на колени, плача и клянясь, что жизнь у него отнять могут, но не отнимут его преданности любимому вождю, и не так смерть ему страшна, как расстаться с предметом его любви *преждевременно*. Будто бы нагадали Дробнису, что умрёт он за три недели до Верховного — и, значит, будет избавлен от горя пережить его, и не так много потеряет счастья жить в одно время с ним. Это поразило Верховного до глубины души. Командующего фронтом он отстранил, а Дробниса, всё по той же слабости, крепко пожутив, пообещав ему в следующий раз ближе познакомить с товарищем Берия, назначил представителем Ставки. Суждено ему будет за войну побывать в членах Военных советов семи фронтов — и нигде не прижиться, всех командующих отвратить интригами и наушничеством Верховному, доведя до слёзных молений: «Уберите его!» И Верховный, вздыхая, куда-нибудь его переместит, другому командующему в острастку, чтобы не зазнавался. В то лето Дробнис, кочуя по

всем фронтам, появлялся неожиданно с командой старших офицеров разного рода войск и *проводил волю Верховного*. Битьё командиров по мордасам, не принося ощутимого успеха, из моды уже как будто выходило, да, впрочем, генерал Дробнис этим и не пользовался, уважая свой статус комиссара; он другое делал, для кого-то даже и худшее: командира, по его мнению, не справлявшегося, тотчас отставлял и временно, до приказа Ставки, назначал кого-нибудь из своих. Этими полномочиями он пользовался размахисто, и простирались они вплоть до комдивов.

Боевые генералы признавались, как страшит их лицо его, с заросшими густо углами лба, красными сверлящими глазками, крючковатым носом, патрициански надменной отвислой губою — таким, верно, было лицо Нерона, лицо Калигулы. Страх наводила его речь, всегда таившая угрозу, раздражённо вскипающая при малейшем ему возражении, мгновенно переходя в злобное, и непременно капитальное, обвинение. Ввиду малого роста носил он сапоги на высоком каблуке и не снимал пошитую на заказ фуражку, с высоким околышем и приподнятой тульей. Такие обычно ещё и ненавидят «длинных».

И вот перед ним предстал высокий нескладный юноша, с измождённым лицом, без конца моргая запорошенными землёй глазами, в порванной, без пуговиц на груди, гимнастёрке, со сбившимся набок ремнём. Всем в блиндаже, шеголеватым, отглаженным, он был такой чужой, а более всех Дробнису — и кажется, не испытывал перед ним страха, по крайней мере большего, чем только что испытал на высоте 119, после которого уже ничем его нельзя было напугать.

Дробнис это учуял, однако ж он был психолог и знаток человеков, то есть знал, что напугать всегда можно, и знал, чем напугать.

— Ну, что, вояка? — сказал он со смешливым презрением. — И сам высшую меру заработал, умник, и бойцов своих под монастырь подвёл.

— Чем? — точно бы очнулся лейтенант Галишников. — Чем я их подвёл?

— Ну, как же! Верховный, кажется, предельно ясно выразился: «Ни шагу назад без приказа высшего командования».

А люди по чьему приказу отступили? Ты для них — высшее командование? Всем — штрафная рота, вот что ты им сделал.

Лейтенант Галишников медленно разомкнул запёкшиеся губы:

— Всё же не смерть...

Генерала Дробниса это позабавило:

— Я же говорю — умник. Он думает, что там санаторий! Курорт!

Вся свита взвеселилась тоже. Лейтенант Галишников урюмо склонил голову, так постоял секунды две и вдруг вскинул автомат. Показалось, он сейчас всех посечёт, кто был в блиндаже. Свита похваталась за свои кобуры.

— Натё, — он на обеих ладонях, как на подносе, протянул автомат Дробнису. — Берите ваших людей, вон у вас их сколько. Атакуйте! Может, у вас получится.

Генерал Кобрисов успел подумать — его пристрелят сейчас же, в блиндаже, не дожидаясь трибунала. Однако ж Дробнис сказал спокойно и не повысив голоса:

— Это ты неплохо придумал. Только я, видишь ли, не в твоём возрасте — в атаки бегать. Мне уже, слава Богу, пятьдесят четыре. И мои люди другие обязанности исполняют, которые на них родина возложила. Поэтому вот что мы сделаем: сейчас мой человек возьмёт твоих людей и покажет, как это делается. Как высоты берут, когда хотят их взять. А потом, с чистой совестью, мы тебя расстреляем. И напишем родным твоим: «Лейтенант Галишников расстрелян за трусость». Идёт? Или, может быть, передумаешь, сам пойдёшь?

Лейтенант Галишников молча помотал головой. Взгляд Дробниса обшарил всю свиту, задержался на самом молодом и младшем по званию. Был он полнотел и статен, с округлым ясным лицом, со смешливыми ямочками на щеках, в движениях нетороплив и слегка небрежен, но точен.

— Майор Красовский, — сказал Дробнис, — примите у него оружие.

Улыбчивоглазый майор, хоть и привыкший к причудам хозяина, всё же взял автомат с некоторой оторопью, вмиг переменявшись лицом. Он улыбался, но какой-то натужной

улыбкой, явно предчувствуя нехорошее. С таким лицом, подумал Кобрисов, не идут отбивать высоты. Даже когда очень хотят их взять.

И, конечно же, он её не взял, бедный майор. Он под огнём залёг ещё поспешнее Галишникова и сразу потерял нескольких, остальные уползли под прикрытие сгоревшего «тигра». Видимо, утратив над ними власть, уполз и он. Больше они оттуда не высывались. В блиндаж он вернулся весь потухший, зябко вздрагивая и избегая взгляд поднять на Дробниса. Тот и сам не спешил посмотреть на него. Настал черёд рассмеяться лейтенанту Галишникову. Это было похоже на рыдание, в его смехе звенели слёзы, и слёзы текли из глаз, оставляя на щеках борозды. Не забыть Кобрисову, как страшно, с пеной на губах, ругался лейтенант Галишников.

— Ну, что, папаша? — выкрикивал он, перемежая матерщиной, срываясь в хриплый фальцет, и на его лбу и на шее вздувались жилы. — Не вышло у твоего холуя? Ага, то-то, папаша! Спасибо, хоть посмеяться дал перед смертью. Теперь можно и к стеночке. Со спокойной душой. Ну, где тут меня в расход выведут? Ведь кажется, ясно Верховный выразился: расстрел на месте!..

Генерал Дробнис, багровый лицом и затылком, выслушивал это, отвернувшись от зрелища, для него неприличного, — от впавшего в истерику, плачущего мужчины. Чтобы не уронить себя навсегда, он должен был найтись и что-то совершить невероятное. И он таки нашёлся и совершил.

— Лейтенант Галишников, — сказал он спокойно и тихо, — вы свободны.

Кажется, это всех поразило. Лейтенант Галишников, взглянув удивлённо, помотал головою и вышел, тяжело ступая. Майор Красовский, пылая, прильнул к биноклю, весь ушёл в наблюдение за оставленной им позицией. А у Кобрисова от сердца отлегло: хоть один своим страхом не навлёк на себя смерть, но отдалил её. Между тем была исполнена та часть уговора, которая молчаливо подразумевалась. В том поднебесном кругу, где *вращался* Дробнис, были же какие-то блатные правила, был свой разбойничий этикет, ему не чуждый. Поистине, Бог эту страну оставил, вся надежда на дьявола.

Поздним вечером, возвращаясь к себе в штабную деревню, проезжая овражистым редколесьем, он увидел в стороне от дороги странное свечение неба. Рассеянный свет из оврага или иной какой низинки озарял стволы сосен и плывущие над самой головою лохмы облаков; при этом слышались слабые хлопки пистолетных выстрелов. На бой это не походило, да и быть его не могло вдали от уснувшего «передка», откуда и возвращался Кобрисов. Он велел подъехать осторожно — и с откоса увидел картину, в которой сразу не смог разобраться. Несколько «виллисов», расставленных полукругом на дне заброшенного глиняного карьера, светили полными фарами, и на границе мрака слабо маячили застывшие фигуры людей.

Всё непонятное мгновенно раздражало Кобрисова. К тому же здесь, очевидно, не думали о близ расположенных закрытых позициях артиллерии, с запасами снарядов. Не ровен час, подкравшийся «юнкерс» шмальнёт сюда бомбочку, всё вокруг взлетит от детонации.

— Почему свет? — спросил он гневно.

На него оглянулись, кто-то посветил в лицо фонарём, ответа он не дождался. Но скоро и сам разглядел того, кто стоял в центре этого полукруга — в гимнастёрке без петлиц, без ремня, с непокрытой головою и босого. Он, впрочем, не стоял, он извивался и подпрыгивал, вскрикивая визгливо при каждом хлопке, как избиваемый плетью. Хоть он и был залит светом, трудно в нём было распознать майора Красовского, ещё утром холёного и небрежно-самоуверенного.

— За что? — спрашивал он жалобным голосом, в котором не так боль слышалась, как ошеломление и жгучая обида. — Леонид Захарович, за что?

Генерал Дробнис, в своей знаменитой фуражке, сидел бочком на переднем сиденье «виллиса», вывалив ноги за борт, и постреливал неторопливо. По звуку различался пистолетик Коровина, калибра 6,35 генеральская игрушка, терявшаяся в доброй мужской ладони, последнее утешение незадавшихся полководцев — тремя пальцами поднести к виску. Сразить из него человека одной пулей с десяти шагов было изрядной задачей, но тут, похоже, задача была другая — покачать непременно *своей* рукой. Дробнис прицеливался

тщательно, подолгу ведя стволом сверху вниз, и сажал пулю за пулей в своего плотного майора, — и попадал, в лучшем случае, в края мишени, в мягкие его части. На гимнастёрке и галифе у Красовского, на рукавах и на ляжках, проступала кровь. При этом подвергаемому экзекуции не отказывали в ответах на его «за что?»

— Красовский, — говорил Дробнис в перерывах, монотонно и скрипуче, но всё больше вскипая злостью, — вам же прочли выписку из трибунала, что вам ещё неясно? Вы нарушили священный приказ Верховного главнокомандующего «Ни шагу назад».

— Для меня ваше мнение дорого, Леонид Захарович, а не трибунала, — спешил, захлёбываясь, выговорить Красовский. — Неужели я вам совсем уже не нужен?

— Мне лично не нужен человек, который меня подводит, марает мою репутацию, предаёт меня в ответственную минуту... Вы опозорили мои, уже довольно-таки седые, волосы.

— Ну, проверьте меня ещё раз! Дайте мне другое задание... смертельно опасное. Вы увидите... Я вас не подведу.

— Вы такое задание имели, Красовский, и преступно его сорвали. И сейчас вы тоже имеете — принять наказание, как подобает советскому воину, тем более командиру. И не надо меня отделять от Верховного. Я не за себя вас наказываю, я бы вас простил, а за преступление против его приказа.

Обойма у Дробниса кончилась, он её выщелкнул, швырнул в кусты и протянул руку, не глядя. Кто-то из свиты готовно вложил в неё новую обойму.

— У вас ещё есть вопросы, Красовский? По-моему, всё ясно. Вы должны были сегодня умереть с честью, а вместо этого умираете с позором.

Мягких частей у майора Красовского было достаточно, и продолжаться это могло ещё долго.

— Что вы мучаетесь? — сказал Кобрисов. — Взяли бы автоматчика и парочку выводных, они всё сделают грамотно. А так — во что наказание превращается? Ну да, ведь работа ж для вас — непривычная...

Он вложил в свои слова, сколько мог, язвительного презрения, которое, впрочем, ни на кого здесь не подействовало. Дробнис коротко на него оглянулся, в свете фар

сверкнул красным огнём его глаз, и снова прицелился. Но вот кто ответил ему — Красовский. Подняв взгляд на Кобрисова, запрокидывая голову, он закричал — с явственно слышимым возмущением:

— А вам не кажется, товарищ генерал, что вы не в своё дело вмешиваетесь? Леониду Захаровичу лучше знать, какое ко мне применить наказание. И во что оно должно превращаться... Так что не суйтесь, понятно? Если я виноват, я умру от руки Леонида Захаровича, но ваших сентенций, извините, слушать не желаю!..

Жалок маленький человек,веряющий свою жизнь другому, признающий его право отнять её или оставить. Жалок, но и страшен: если не спасается бегством, не бросается зверем на своего палача, во что же оценит он чужую жизнь? Кобрисов, лишь рукой махнув, побрёл прочь. Следом слышались хлопки и взвизги.

Никогда потом он не мог себе простить своих слов насчёт автоматчика и выводных. Он их сказал вовсе не затем, чтоб доставить жертве ещё мучений и страха, а вышло, что как бы поучаствовал в казни. Когда же не станет у него этой неволи — участвовать во всех делах этих людей, которые ему чужды, ненавистны — и так же враждебны к нему?

Может быть, с того дня стало происходить с генералом Кобрисовым нечто опасное и гибельное, запретное человеку, назначенному распоряжаться чужими жизнями числом в десятки тысяч, — если не хочет он превратиться в ту сороконожку, которая некстати задумалась, в каком положении её семнадцатая лапка, тогда как она передвигает тридцать вторую. Он ступил на трясинный затягивающий путь, с которого почти никому не выбраться на прежнюю торную тропу, почти никакому сердцу не очерстветь заново. Всё чаще он стал ощущать отчаянное сопротивление души, измученной неправедным и недобровольным участием. Он и раньше думал постоянно о потерях и старался относиться к людям, как рачительный хозяин к неизбежно расходуемому материалу, который следует всячески экономить, — чтобы тот, кому суждено погибнуть, по крайней мере продал свою жизнь дороже, пал бы хоть на сто километров подальше к западу. Теперь же он стал задумываться о том, что роты

и батальоны состоят из людей с именами и отчествами, памятные даты, днями рождения, сердечными тайнами, житейскими историями, что они, помимо того, что рядовые или ефрейторы или сержанты, ещё чьи-то дети, чьи-то мужья и отцы, и где-то ждут их, сильно надеясь, что какой-нибудь генерал Кобрисов отпустит их с войны живыми и, крайне желательно, целыми. И стало частым непривычным ему, раньше и не сознаваемое как необходимость, обращение к Тому, о Ком он не задумывался путём, лишь тогда вспоминал, когда смерть грозила, или мучило ранение, или напала болезнь.

То, что принёс десантник, застало его врасплох, и он вновь ощутил сопротивление души и обиду: почему это выпало именно ему? Почему не другому, для кого, может быть, вовсе безразлично, кто они там, защитники Мырятина? Могло же и повезти ему, как везло хотя бы Чарновскому: у него целый фланг держали румыны, о которых сам фюрер высказался: «Чтоб заставить воевать одну румынскую дивизию, надо, чтоб за нею стояло восемь немецких».

И как же выскользнуть из этой ловушки? Может быть, только одним путём: завлечь в неё другого, для кого она и не ловушка, а самый обычный городок, опорный пункт Правобережья, за который тоже награды...

...В этот вечер генерал Кобрисов сказал адъютанту Донскому:

— А соедини-ка меня, братец, с нашим соседкой.

— С которым? — спросил Донской. — Справа? Слева?

— Ну, что ты, братец! Который слева, до него не дозволишься, он важным делом занят, Предславль берёт. С Чарновским хочу поговорить. Если его нет на месте, пусть позвонит, когда сможет. Есть у меня для него сюрприз.

— Так и сказать: «сюрприз»?

— Так и скажи.

2

И вот он подходил к черте решающей, к Рубикону. В тот солнечный, даже слишком щедрый для середины октября день они стояли у окна, генерал Кобрисов с генералом

Чарновским, на втором этаже вокзальчика в Спасо-Песковцах, бдительно поглядывая на площадь внизу и на устье впадающей в неё аллеи.

Маленькая площадь, усыпанная облетевшими зелёными листьями тополей, была пуста, стоял на ней только «виллис» Чарновского. Из-под «виллиса» торчали ноги водителя Сиротина — он, как всегда, с охотой чинил чужое. Шофёр Чарновского, присев на корточки, подавал советы.

Центром площади был круглый насыпной цветник, на нём сохранился изгрызенный пулями и осколками серый пьедестал «под мрамор», из которого росли ноги с ботинками и штанинами. Сам гипсовый вождь, крашенный в серебрянку, лежал ничком в высоком бурьяне, откинув сломанную указующую руку. Свергли его, должно быть, не снарядом, а поворотом танковой пушки — о том говорили изогнутые, вытянутые из пьедестала прутья арматуры.

— Что ж, Василий Данилыч, считаем — договорились? — сказал Кобрисов, чувствуя нетерпение и даже отчего-то страх.

Чарновский, держа руку на его плече и слегка обвиснув, приклонил к нему голову и легонько боднул в висок. Лицо Чарновского светилось улыбкой, классическое лицо украинского песенного «лыцаря», гоголевского Андрия, чернобровое и белозубое.

— Будь спокоен, Фотий Иваныч, не дрожи. А всё же скребёт маленько, сознайся? Кошки не скребут?

— С чего бы?

— А может, прогадываешь ты? — Чарновский большим пальцем пырнул его в широкий бок, чуть повыше ремня, от чего Фотий Иванович и не пошевелился. — Участок твой, что ты мне отрезать готов, вдруг — золотая жила? А я её разработаю. Честно сказать, с этим твоим Мырятином мне возни дня на три, не больше. Да к нему — две задействованные переправы. Которые я, между прочим, себе запишу в актив.

— Правильно сделаешь.

— Итак, положен салют Чарновскому — из ста двадцати четырёх орудий. А ты с Предславлем, глядишь, и не упрaviшься один. Не будешь тогда жалеть?

— Очень даже буду, — сказал Кобрисов искренне. — Зато ж какой замах!

— За замах дорого не платят. Платят, когда он удался. Или — если и не удался, но причины были объективные. А тут этого не скажут. Скажут, сам напросился, и положение было на редкость выгодное. Не представляешь ты, как тебе сейчас все завидуют!

— Представляю, — сказал Кобрисов. И тревога в нём ещё усилилась. — Но, может, и я тебе kota в мешке продаю?

— Не сомневаюсь, Фотий Иванович. От тебя разве чего хорошего дождёшься?

Лицо Чарновского легко, по-мальчишьи, вспыхивало улыбкой. Шутил он или впрямь догадывался, какого kota скрывал мешок? То, что уступал Кобрисов правому своему соседу Чарновскому — кусок плацдарма с наведенными к нему переправами, но и с не взятым ещё городишкой Мырятином, — выглядело не более подвохом, чем любая другая изюминка, орешек, бастион «Восточного вала», как немцы назвали свою оборону по Правобережью Днепра. Возни там, конечно, не на три дня, это так говорится для украшения солдатской речи и чтобы сбить цену подарку. Но то главное, что сильнее всего страшило Кобрисова, от чего он всеми хитростями хотел уклониться, могло быть и вовсе безразличным этому счастливцу, «любимцу фронта». Русские батальоны, брошенные в оборону Мырятина, составлявшие костяк её, явились бы для него, вполне возможно, только противником, как немцы или румыны, разве что более яростным и особенно опасным — в окружении. А судьбы этих защитников, трибунальские страсти, вакханалия «священной расплаты» — почему в голову это брать солдату, выполнившему долг и приказ? Впрочем, он, может быть, даже приятно удивится, когда узнает...

— Едут, — сказал Чарновский.

Тотчас и Кобрисов услышал завывание моторов и дробный рокот шин по укатанным, вдавленным в почву обломкам кирпича. Из аллеи выкатился бронетранспортёр головного охранения с задраным к небу сдвоенным пулемётом; над скошенным его бортом, в маскировочных лягушечьих разводах, торчали головы в касках. Следом появилась машина Ватутина, сделала плавный полукруг и стала рядом с тем «виллисом». Охрана командующего фронтом ринулась

рассыпаться по кустам, беря вокзальчик в кольцо. Шофёр Чарновского вскочил, напялил пилотку и выпятил грудь. Ноги Сиротина по-прежнему торчали из-под машины — впрочем, невидимо для вновь прибывших.

— Пойти встретить, — сказал Кобрисов.

Но рука Чарновского ещё сильнее надавила ему на плечо.

— Не торопись. Ты хозяин, должен на пороге встречать. К тому же ты сегодня именинник. А я пойду встречу — на правах гостя.

— Боюсь я, — Кобрисов озабоченно вглядывался в пустынное светло-голубое небо, — не приведи Бог, супостат налетит...

— Так ты что, начальство грудью прикроешь? Не хватит, Фотий Иваныч, твоей груди. Ты ещё не знаешь, сколько к тебе начальства пожалует. Да ничего, не налетит супостат, уж так ты его прижал — можно сказать, всей тушей!..

Чарновский легко сбежал вниз и, покуда Ватутин всё выбирался из своего «виллиса», успел обогнуть клумбу. Шаг его казался побегом, так был стремителен и упруг. Руки при этом ловко опраправляли гимнастёрку под ремнём. Китель он не носил никогда, предпочитал гимнастёрку — в ней он выглядел стройнее, плечистее, а главное — моложе. Последние три шага он отпечатал, подбросив руку к виску. Ватутин невольно улыбнулся ему, сказал несколько слов — должно быть, своё обычное: «Ты у нас не генерал-лейтенант, а лейтенант-генерал», — и, глядя на Чарновского почти влюблённо, рукою опёрся на капот «виллиса», тем позволяя подчинённому стоять вольно.

При каких-то словах Чарновского он слабо поморщился, отмахнулся, как от ерунды, принялся разубеждать и тут поднял нечаянно взгляд к окну. Тяжёлое, набрякшее лицо Ватутина отразило миг смущения, точно бы Кобрисов мог его услышать, и тотчас они оба повернулись к аллее, встречая следующую машину.

Следующим прибыл Хрущёв. Этого никакая форма, ни награды во всю грудь не делали генералом-строевиком или пусть комиссаром, каковым он и состоял при Ватутине, что-то оставалось неискоренимо тыловое, интендантское. Приплюснутая, с длинным козырьком, фуражка сидела на нём,

как сидел бы соломенный брыль. На заднем сиденье адъютант с ординарцем держали на коленях огромный картонный короб, перевязанный красной лентой с бантом, — похоже было на именинный подарок с куклой, говорящей «мама» и противно закатывающей глаза. Выбравшись, Хрущёв потоптался на месте — не так чтобы ноги разминая, а как бы утверждая себя на земле. Покончив с этим, он перешёл к другому делу — стал распоряжаться, чтоб выгрузили короб и несли бы осторожно. Из жестов его всё было понятно без слов.

Третья машина была сюрпризом для Кобрисова. В ней прибыл Терещенко. Что здесь понадобилось командарму, воевавшему Бог весть как далеко, за сто шестьдесят километров ниже по течению, этого Кобрисов не мог себе объяснить. Но ещё большим сюрпризом было увидеть, кто поспешил приветствовать гостя — майор Светлооков! И откуда только взялся он, не в кустах ли дожидался встречи? И кажется, они даже знакомы были, да точно, Терещенко ему улыбнулся милостиво, протянул руку, и тот, улыбаясь, склонился в почтительной стойке, как не склонялся никогда перед Кобрисовым. О чём-то они перекинулись несколькими словами, и Светлооков вдруг исчез бесследно, точно кусты раздвинулись, втянули его и опять сошлись. Видно, Терещенке стало неудобно с ним говорить, подходило высокое начальство, Ватутин с Хрущёвым, — и в тысячный раз Кобрисов подивился, как можно искусством вести себя восполнить, и с преизбытком, отнятое природой. Терещенко, худенькая обезьянка с обиженно-недовольным личиком, должен бы, казалось, ловко выпрыгнуть и подскочить к встречавшим его Ватутину и Хрущёву, ан нет, он продолжал сидеть, утвердив между коленей палку, и ровно столько сидеть, чтоб к нему подошли и начали разговор над ним, ещё сидящим. Грузные люди, начальники ему, они с ним шутили — он выговаривал, не торопясь, что-то обиженное, недвольное.

Из опасений налёта кавалькада машин сильно растянулась, гости прибывали с интервалом в три, в четыре минуты. И каждого встречали весело, шумно, будто расстались не час назад, а месяц. Прибыл цыганистый Галаган, командующий

воздушной армией, поддерживающей армию Кобрисова, — как всегда, без свиты, «виллисом» он правил сам и так гонял, что с ним не всякий отваживался сесть. Ему всегда выговаривали за лихачество — и в воздухе, и на земле, — выговаривали, уж точно, и сейчас; он только сплёвывал и поглядывал с тоскою в голубое небо, летать ему хотелось без конца, в любой час. Прибыл командующий 1-й танковой армией Рыбко — «танковый батько», как его называли, — человек уже сильно пожилой и на вид сугубо штатский, похожий на директора совхоза или завуча сельской школы. Снявши фуражку, положив её на толстый портфель перед толстым животом, он отирал платком блестящий череп, наполовину лысый, наполовину бритый, и что-то рассказывал, смакуя, — верно, о том, как его повар выучился готовить гуся с яблоками.

Площадь заполнялась, на ней становилось тесно от машин, однако прибывшие ещё кого-то ждали, до его прибытия не смея уйти в помещение. И, верно, прибыть он должен был последним, а после него уже никто не смел прибыть.

Приехал и он, наконец, в сопровождении замыкающего бронетранспортёра, — высокий, массивный человек, с крупным суровым лицом, в чёрной кожанке без погон, в полевой фуражке, надетой низко и прямо, ничуть не набекрень, но никакая одежда, ни манера её носить не скрыли бы в нём военного, рождённого повелевать. Вставши, он оказался далеко не высоким, но при нём все тянулись, как могли, и закидывали головы, что как раз не доставляло ему приятного. Вскочил тотчас и Терещенко, не посмев и мига просидеть, коли тот встал. Узнав его, почувствовал и Кобрисов холодок под сердцем и понял, что не одни легенды, бежавшие впереди этого человека, навеивали страх перед ним, но от него и впрямь исходило что-то пугающее.

Маршал Жуков, заместитель Верховного, едва ли и не сам Верховный, не отвечая на приветствия, лишь коротко всех оглядев, направился к дверям вокзальчика. За ним потянулись почти бесшумно, слышались одни его твёрдые шаги. И Кобрисова сами ноги понесли вниз по лестнице — успеть распахнуть двери и вытянуться.

Здесь некоторую помощь генералу Кобрисову оказала пружина двери, которую он должен был придержать рукою, отчего его стойка вышла не вовсе истуканной, чуть повольнее. Жёсткий взгляд маршала — снизу вверх — ударил ему в лицо, внимательный, вбирающий, точно бы пережёвывающий стоящего перед ним, выказывая одно раздумье — съесть его или выплюнуть? Чудовищный подбородок, занимавший мало не треть лица, двинулся в речи, твёрдые губы обронили слово, до Кобрисова дошедшее чуть запоздало. Слово это было:

— Здрась...

Кобрисов что-то пролепетал, не слышное ему самому. Маршал, плечом вперёд, миновал его, перестав интересоваться, но вдруг обернулся.

— Ты кто — швейцар или командующий? Я двери и сам умею открывать. Если командующий, то и командуй, куда идти.

— В зал ожидания, пожалуйста.

Маршал не удивился, но махнул рукой, как машут на дурачка.

Вокзальчик имел один большой зал, высотой в два этажа, с выходами на площадь и на перрон, и несколько служебных клетушек в крыльях. С купольного потолка смотрели на публику закопчённые лики: шахтёр с отбойным молотком на плече, грудастая колхозница у комбайна, обнявшая сноп какого-то злака, пограничник с собакой, похожей более на отощавшего дикого кабана, лётчик и пионеры под самолётным рылом с пропеллером. В сорок первом году вокзальчику шибко досталось — и от чужих, и от своих, — в нём гулял ветер и свивали гнёзда птицы, углы густо заросли паутиной. Сапёры наспех расчистили завалы щебня, залатали пробоины в куполе фанерой и брезентом, составили рядами уцелевшие скамьи, из кабинета начальника станции принесли стол. Проломы в стене оставили как есть — и сквозь них пламенела прощальной красой листва клёнов и дубняка.

Маршал, всё оглядев коротко и более ни на что не глядя, сел за стол и развернулся боком к карте, которую развесили на стенке билетной кассы, прежде остеклённой, теперь

просто решётке. Кобрисов стал около неё с указкой, ожидая, когда рассядутся. Выглядело — как в школьном классе: учитель за столом, ученики за партами, вызванный — у доски. Урок, однако, начался не сразу — следом за Хрущёвым внесли тот короб с красным бантом.

— Гёр Константиныч, — обратился Хрущёв к Жукову, с чего-то заговорщицки улыбаясь во всё широкое круглое лицо с двумя разновеликими и прихотливо расположенными бородавками. — Разрешите, прежде чем начать, вот, значит, вручить скромные подарки всем, это вот, присутствующим от лица, вот, значит, Военного совета фронта. Да, Первого Украинского. Дни у нас, можно сказать, особенные, предстоит, значит, освобождение священного города Предслава, жемчужины, можно сказать, Украины. И я хочу отметить, что вот и солнышко всем нам по этому, значит, случаю как-то так светит, празднует как бы вместе с нами, вот, значит, наше торжество...

Жуков, с каменным лицом, кивнул.

— Хорошо сказал, Никита Сергеич. Главное — коротко.

Короб взгромоздили на стол. Никита Сергеич, ещё много чего имевший сказать, потоптался в огорчении, напряживая круглый затылок, и подал знак рукою, как ко взрыву моста. Длинный и от волнения ещё удлинившийся адъютант развязал бант, вскрыл короб и отступил. Хрущёв, запуская туда обе руки, доставал и каждому подносил, согласно привязанной бирочке, что кому причиталось, в целлофановом пакете: курящим — томпаковые портсигары с выдавленной на крышке Спасской башней Кремля и по блоку американских сигарет, некурящим — шоколадные наборы, тем и другим — по бутылке армянского марочного коньяка, по календарю с картинками и именные часы, тоже американские, с вошедшими только что в моду чёрным циферблатом и светящимися стрелками. Непременной же и главной в составе подарка была рубашка без ворота, вышитая украинским орнаментом, со шнуровкой вместо пуговиц, с красными пушистыми кистями.

Гости хрустели пакетами, прикладывали рубахи к груди, Жуков тоже приложил и спросил:

— Это когда ж её надевать?

— Всегда! — отвечал Хрущёв с восторгом. — Я вот повседневно такую под кителем ношу. — И, расстегнув китель, всем показал вышитую грудь. — Хотя не видно сверху, а мою хохлацкую душу греет. Думаю, что и с командармами в точку мы попали, кто тут не хохол ширий? Терещенко — хохол, Чарновский — оттуда же, Рыбко — и говорить нечего, Омельченко со Жмаченкой — в обоих аж с носа капает. Ты, Галаган, вообще-то у нас белорус... А Белоруссия — она кто? Родная сестра Украины, их даже слить можно в одну. Вот я только про Кобрисова не знаю — тэж, як я розумию, хохол?

— Никак нет. С Дону казак.

— С Дону?.. Ну, в душе-то — хохол?

— И в душе казак.

— Та нэ брэши, — Хрущёв на него замахал руками. — Почему ж я тебя за хохла считал? У нас это, помню, в Донбассе жили такие, Кобрисовы, шахтёрская семья, дружная такая, передовая, так ни слова кацапского, всё украинскою мовою.

— Бывает, — сказал Кобрисов. Против дури, знал он, лучшее средство — дурь. — А в моей станице Романовской три куреня были — Хрущёвы, так по-хохлацки и не заикались, всё по-русски.

— Притворялись они! — всё не унимался Хрущёв. — А может, матка от тебя утаила, шо вы хохлы?

— Матка-то, вроде, говорила, да батько разубедил. А я его больше боялся. Так уж... Ну, а за подарок — спасибо.

— Это женщин наших, славных тружениц, благодарите, — объяснил Хрущёв. — Лучшие, значит, стахановки с харьковской фабрики «Червонна робитниця» наш заказ выполняли. В неурочное время, в счёт сверхплановой, понимаете, экономии. Специально для командармов-украинцев.

— Выходит, не для меня, — сказал Кобрисов. И, чувствуя на себе всеобщие взгляды — настороженные, любопытствующие, — он прошёл к пустой скамье и положил свёрток.

— Нет, ты носи, — сказал Хрущёв. Он имел счастливое свойство не замечать производимых им неловкостей. — Носи, Кобрисов, рано или поздно, а мы тебя в хохлацкую веру обратим.

Жуков, прогнав жёсткую, волчью свою ухмылку, отодвинул свёрток на край стола, расчистив место для рук, сцепил их в один кулак, поиграл большими пальцами.

— Так, полководцы. Оперативную паузу заполнили. Командующий, слушаю ваш доклад.

Кобрисов, оборачиваясь к карте через плечо, взмахивая указкой, казавшейся в его руке дирижёрской палочкой, доложил:

— Двадцать четвёртого августа, с разрешения командующего войсками фронта, захватил плацдарм против города Мырятин. Через неделю, именно второго сентября, ещё один плацдарм — южнее, восемь километров ниже по Днепру. Впоследствии эти два плацдарма удалось соединить. Одновременно, силами шести стрелковых полков, двух дивизионов самоходных орудий, при поддержке авиации фронта выдвинулся клиньями севернее и южнее Мырятина, создавая угрозу окружения. Основные же силы армии... — Он замолчал на миг и услышал повисшую тишину, даже различил в ней шелест листы. — ...можно считать, всю армию повернул правым плечом на юг, в направлении — Предславль.

Никто не перебил его, и он коротко указал теперешнее расположение своих девяти дивизий, объяснил значение вычерченных стрел, обрисовал разведанные силы противника, напоследок назвал населённые пункты, где сейчас завязывались бои.

— Ближе всего к Предславлю, — сказал он, — нахожусь у села Горлица. Это двенадцать километров от черты города. По докладам командиров, некоторые здания — на возвышенных, конечно, местах — просматриваются в бинокль хорошо.

— Горлица! — не выдержал Чарновский. — Это же дачное место уже! Там у нас комсоставские курсы были, лагерный сбор. Знаю Горлицу... Там я, между прочим, с будущей супругой познакомился.

Собрание загудело, закрипело скамьями.

— Лирические воспоминания потом, — сказал Жуков. — Горлица эта — вся у нас в руках?

— Со вчерашнего вечера вся, товарищ маршал.

Кобрисов едва удержал лицо, чтоб не расплылось глупой, довольной улыбкой. Жуков, цепким, хищным глазохватом как бы вбирая в себя карту, поигрывал большими пальцами.

— Всё у вас, командующий?

— Пока... всё.

— Суждения будут? Высказываются командармы. Начиная с младшего.

Командармов ниже генерал-лейтенанта не было, среди них Чарновский был младше по возрасту.

— Что тут судить? — сказал Чарновский, вставая и осаживая книзу гимнастёрку, отчего рельефнее выделялись плечи и грудь. — К генералу Кобрисову у меня претензий нету, кроме... Кроме лютой чёрной зависти! Доведись мне, я бы всё сделал не лучше.

— Но и не хуже, наверно? — хриплым своим фальцетом вернул Терещенко.

Чарновский ответил угрюмо, не повернув к нему головы:

— Считаешь, Денис Трофимыч, просто повезло Кобрисову? Да, повезло несказанно. Но надо ещё своё везение — угадать! Надо ещё уметь свою удачу за крылья схватить. И не упускать!

«Танковый батько» Рыбко, доселе как будто мирно дремавший, положила руки на толстый портфель, приоткрыл один глаз.

— Лучше всего — за гузку её.

Чарновский, махнув рукою, сел.

— Генерал Галаган, — объявил Жуков. — Ваше мнение?

Воздушный лихач Галаган, смотревший уныло в пролом стены, на краешек неба, высказался не вставая:

— Моё мнение — лихо! Так это Кобрисов провернул, что дай Бог. Рисковый человек, я таких люблю. Я всю операцию наблюдал — и аж сердце подскакивало. Действуй в том же духе, Фотий Иваныч, и мы за тобой, авиаторы, в любой огонь полетим.

И он сделал движение рукою, как будто покачал штурвальную ручку истребителя.

— Откуда ж ты наблюдал, — спросил Терещенко, — что сердце подскакивало? С какой высоты, Иона Аполлинарьич?

Батько Рыбко приоткрыл второй глаз.

— Из стратосфЭры.

Сильнее нельзя было задеть Галагана. Смуглое его лицо сделалось ещё темнее.

— Ты, Денис Трофимыч, напрасно язвишь. Я в стратосферу не ухожу, я, когда надо, и брюхом по земле ползаю. Во всяком случае, когда Кобрисов на пароме Днепр переплывал, я его чёрную кожанку видел. И видел, как он от страха бледный стал, когда на него «юнкерс» спикировал, а с палубы всё-таки не уходил. Насилу я этого «юнкерса» увёл, так ему генерала хотелось подстрелить.

— Хорошего мало, — заметил Терещенко, — жизнью своей, командующего армией, без нужды рисковать.

Галаган, не отвечая, перевёл на Кобрисова тоскующий взгляд ярко-синих (особо ценимых в авиации!) глаз, опушённых густыми чёрными ресницами. В этом взгляде можно было прочесть: «Чёрта ли ты, Кобрисов, не летаешь? Милое дело — небо! Туда б за тобой никто из них не полез...»

— Я беру слово, — сказал Жуков.

В зале мгновенно стихло. Маршал, прежде чем что-то сказать, несколько раз повёл короткой шеей в теснившем его воротнике, откидывая голову к плечу и закрыв глаза. Углы его рта загибались книзу.

— От вас, Галаган, я ждал именно взгляда с высоты. Орлиного взгляда, как говорит Верховный. Не дождался. Сплошные эмоции. — Он посмотрел пристально на Кобрисова — тем взглядом, от которого, говорили, иные чуть не падали замертво. — Командующий, вы стоите слишком близко к карте. Я вам советую рассматривать её метров с полутора. А то вы упёрлись в свой замысел и не видите всей картины. Такого авантюрного варианта, какой вы избрали, ещё свет не видывал. Вы наступаете в узком коридоре шириной километров... в восемь, что ли?

— Местами и шесть.

— Ещё не легче! Слева — река, противник — справа. Движение — с оголённым правым флангом, с растянутыми коммуникациями. По сути, незамкнутое окружение. В которое вы сами втянулись. Противник вас может прошить насквозь. Прямой наводкой. Из вшивенькой 57-миллиметровой

пушчонки. В любой час, когда ему заблагорассудится, он вашу армию разрежет на куски. Как колбасу. Ему и прижимать вас не нужно к берегу, вы и так прижаты. Ему только выбрать, с какого куска лучше начать, какой на потом оставить. Вы ослепли? Или думаете, противник ваш — слепой?

— Да ведь пока, товарищ маршал... — начал было Кобрисов.

— «Пока» — это не гарантия, — перебил Жуков. — Это случится завтра. Сегодня. Через час.

— Разрешите малость мне защитить свой замысел?

— Только и жду.

— Вот вы, товарищ маршал, рискнули ко мне приехать, — начал Кобрисов издалека. — По рокаде ехали — и не думали, что каждый час могут её перерезать. Почему же было и мне не рискнуть? Тем более, я свой риск подстраховал, считаю, неплохо. Всю тяжёлую артиллерию я на плацдарм не тащил, оставил на том берегу. С тем, чтоб она вдоль всего берега вела бы дуэль через наши головы, создавала бы защитный огневой вал. И в этом случае, товарищ маршал, узкий коридор — может быть, преимущество наше? Артиллерия, даже гаубичная, работает не на пределе прицела, имеет манёвр огнём. Каждый метр, буквально, у неё пристрелян. Скажу, что да, были попытки прорыва и разрезать нас... как колбасу. Были — и сразу нами пресечены. Учтём тем более господство нашей авиации.

Жуков помолчал и спросил:

— Связь с артиллерией — по радио?

— Проводная, товарищ маршал. У меня первая же лодочная группа и кабель разматывала по дну. Трофейный, ёмкостью в шесть проводов. Потом и второй мы проложили. Прелусмотрена, конечно, кодированная радиосвязь, но пока не пришлось использовать.

— Убедительно, — сказал Жуков. — Убедительно защищаетесь, командующий. А выглядит, прямо скажу, несерьёзно.

Он снова вглядывался в карту. Углы его рта при этом выпрямились. Может быть, вспомнил он, как сам же сказал, узнав о захвате плацдарма на голых мырятинских кручах: «Что ж, на войне многие большие дела начинаются несерьёзно».

Может быть, со своим звериным «чувством противника», он понимал, что защитники «Восточного вала» не так уж горят желанием воевать, если русская армия проходит мимо, не причиняя им особенного вреда, направляясь к Предславлю, за который, в конце концов, не они отвечают.

— Если честно, — спросил он, — противник здесь оказался пассивнее, чем вы ожидали?

Кобрисов, помявшись, ответил:

— Я, товарищ маршал, на эту пассивность его и рассчитывал.

И немедленно, только того и дождавшись, попросил слова Терещенко.

— Фотий Иваныч, — заговорил он, не вставая, опершись обеими руками на палку, с обидой в голосе. От обиды на голове у него вздуло хохолок. — Мне странно слышать, как ты говоришь: «Рассчитывал». Всё только себе в плюс. А почему рассчитывал — не говоришь. Что ж такая неблагодарность к соседям своим, командармам? А может, тебе потому и легко, что другим трудно? Потому что они на себя главную тяжесть приняли на Сибеже? Ты по ровному идёшь, а кто-то в оврагах, в болотах лесных барахтается, глину месит, костью ложится, чтоб тебе в руки Предславль положить...

— Согласен, — сказал Кобрисов, чувствуя, как вскипает в нём раздражение, как затмевает ему голову, и боясь этого, и не в силах будучи удержаться. — Но неужели ж не видно было, что этот ваш Сибежский плацдарм хорошей жизни не обещает? Устроили себе тритатуси, теперь вот мудохаетесь там...

— Попрошу командующего, — сказал Жуков бесстрастно, — придерживаться военной терминологии.

— Виноват, товарищ маршал. Но хотел бы спросить соседей-командармов: чёрт их там вырыл, эти овраги, пока вы переправлялись?!

Он задал тот вопрос, на который и двадцать, и тридцать лет спустя будут искать ответа и не находят его: что же, заранее не было ясно, что южный плацдарм у села Сибез — ошибка, западня? Что овраги, леса и болота не преимущества этого выбора, но тяжкое его осложнение? Отчего так невнятно, уклончивы объяснения историков: «К сожалению,

Сибежский плацдарм оказался сильно пересечённой местностью, изобилующей...» Когда «оказался»? До или после переправы?

— Что же ты считаешь, — спросил Терещенко, голос был тонкий, ломкий, еле не плачущий, — наши усилия, наши потери общие, жертвы наши — всё зря? Почему ж раньше молчал? А сам тихой сапой, понимаешь...

— Он не молчал, — сказал Жуков, нахмурясь.

Да, цепкая его память удержала то совещание в Ольховатке, где и Кобрисов, и Чарновский высказывались против варианта с Сибежским плацдармом, которому сам-то он был защитник.

Терещенко примолк, съёжился, только смотрел исподлобья на Кобрисова — с обидой, укоризной, побелевшими от злости глазами.

Жуков, прикусив нижнюю губу, сдвинув брови, мрачно уставился в карту. О чём теперь задумался маршал? Не о том ли, что сам поддался эмоциям, позволил себя втянуть в афёру, доверился очевидному, которое вовсе не было очевидным? Закрыл себе глаза на все иные возможности, которые вот же углядел этот увалень, преподавший всем урок гениальности? Да, принимая тогда своё «несерьёзное» решение, он был хоть на минуту гением. Взгляд посредственности цепляется за овраги, излучины, петляет в лесных зарослях, а взгляд гения упирается в пустынный берег и в голых кручах находит решение загадки.

А отгадка так проста была — танки! Нужно было их любить, как этот Кобрисов, чтоб знать, что любят они — ровную, слегка всхолмлённую местность, где можно укрыться как раз по башню, а то вдруг вылететь на бугор, отстреляться, вновь затеряться в низинах, в реденьких перелесках и рощицах, искажающих рёв и лягз, главное — не теряя темпа...

— Вы генерал с танковым качеством, — сказал Жуков. — Я это ценю. Как же вы их на кручи-то волокли?

— По-всякому. Бывало, и слегами подпирали под гусеницы. Одного вытащим — другого он тащит тросами.

— Небось и сами плечо подставляли?

Кобрисов только повёл могучим плечом, и зал заскрипел скамьями, дробно рассмеялся.

— Фотий Иванычу нашему, — сказал Терешенко, — такому лбу, хоть на спину взвали...

— Сколько было машин? — спросил Жуков.

Вместо Кобрисова, встрепенувшись от дрёмы, ответил Рыбко:

— Шестьдесят четыре. Минус две.

«Батько» всегда знал, разбуди его среди ночи, сколько у кого танков.

— Две ещё на том берегу потеряли, — уточнил Кобрисов, неожиданно для себя тоном оправдания. — Теперь-то мы с них пылинки сдуваем...

Снова повисло молчание. Жуков, повернувшись к залу, смотрел на всех недобрым взглядом. Под этим взглядом все казались — или хотели казаться — на голову ниже, опускали глаза. Хрущёв ёрзал по скамье, точно она была утыкана шильями. Ватутин смотрел прямо, но какими-то отсутствующими глазами.

— Так, полководцы... — начал Жуков зловеще. Но не продолжал. И показалось Кобрисову, что не только он над ними имеет власть, но какую-то и они над ним. Может быть, не меньшую.

Терешенко быстро переглянулся с левым своим соседом по фронту, Омельченко, тот согласно моргнул и поднял руку для слова. Тучный, круглоголовый, луноликий Омельченко, с пробором в рыжеватых волосах, уложенных плойками, настроил себя на тон проникновенный, был сама скорбь и душевная боль.

— Мы тут услышали грубые слова от товарища нашего, Кобрисова...

— Не для нежных ушей? — сказал Жуков.

— Не в том печаль, товарищ маршал, что грубые, мы в своём коллективе по-солдатски привыкли, а — обидные. Упирается человек в своё лишь корыто, а того не видит, что, может, всё по плану делается. Что командование фронтом свою задумку имело. Одним такая доля выпала, чтоб, значит, фон Штайнера этого на себя отвлекать, нервировать его, а другим — знамя над горсоветом водрузить. Необязательно всех было посвящать, но теперь-то можно же догадаться, что был заранее спланированный

манёвр. И как у поэта сказано, у Маяковского, не грех напомнить: «Сочтёмся, понимаешь, славою, ведь мы ж свои же люди...»

Вот как всё было, оказывается! Вот как было, когда он, Кобрисов, смотрел в стереотрубу на чёрного ангела с тяжёлым крестом на плече, высоко вознёсшегося над кущами парка, на ослепительный купол собора, с пробойной от снаряда, чудом не разорвавшегося внутри, на дымящиеся руины проспекта, наклонно и косо сходящего к Днепру, и думал о том, какая обидная доля выпала ему: стоять против великого города и только страховать Терещенко — на тот невероятный случай, если б фон Штайнеру вздумалось переправиться на левый берег и запереть Сибезский плацдарм с востока. Вот как было, когда трясущимися руками, подстелив плащ-палатку, он разворачивал карту и колёсиком курвиметра вёл по извилям водной преграды «р. Днепр», когда раздвигом циркуля отмерял расстояние от Предславля до Сибеза и то же расстояние отложил к северу, и грифельная лапка уткнулась в сердцевину кружка, и прочиталось: «Мырятин». И было, оказывается, предвидено, спланировано заранее, как он, по колено в воде, ища свою подстреленную утку, раздвинет камыши в плавнях, и посмотрит на тот берег, и поразится его зловещему безмолвию, и услышит толчки сердца в висках...

— Должен я отвечать на упрёк, товарищ маршал? — спросил Кобрисов.

— Необязательно, — сказал Жуков.

Он снизу послал многозначительный взгляд, которого Кобрисов, однако, не видел, смотрел в глаза Ватутину.

— Николай Фёдорович, предвидели вы, что я сам попрошу разрешения?

— Почему ж не предвидел? — раздражаясь, спросил Ватутин. — Когда позвонил ты мне в Ольховатку, я же не удивился, тут же согласие дал. А если б не попросил — тебе бы рано или поздно приказали...

— И когда я свои танки быстренько на правый фланг уводил, сам от себя прятал, чтоб другие не увели...

— Ну, всего не предусмотреть. И танки я от тебя не требовал кому-то передать.

Два человека кричали в Кобрисове, и один твердил упрямо: «Не было этого, не было!», а другой: «Остановись же! Вот здесь остановись!» Но, понимая отчётливо, что каждым словом обрубаёт ниточку, которую протянули ему, он всё же не мог не бросить им свой горький, злой упрёк:

— Пускай бы вы просто на берегу стояли против Сибержа — и то бы фон Штайнера отвлекали. Нервировали, по крайней мере. А так — слишком дорогая получается мясорубка. — Он увидел грустный предостерегающий взгляд Галагана и всё же продолжал: — Он ждал вас на юге — и дождался. А если б сразу начали, где я, да всем гуртом навалились, он бы рокироваться не успел.

— Не доказано, — сказал Жуков. — Не кормите нас гипотезами. Кое-что справедливо говорите, но — не всё. С кем согласовывали наступление на Предславль?

Кобрисов отвечал уклончиво:

— Товарищ маршал, а для чего ж тогда плацдармы берутся?.. И что ж меня судить, когда мои части в двенадцати километрах?..

Он удержал на языке, не прибавил того, что кричало в нём: «Да что происходит здесь? Что происходит? Вы там, на Сиберже, навалили горы битого мяса, и всё топчетесь, топчетесь который месяц, а я, с потерями вдесятеро меньшими, уже вплотную к Предславлю подошёл, но не я сужу вас, а вы приехали меня судить, и никому из вас это не удивительно!.. Ехали сюда — не удивлялись, зачем едете?»

— Никто вас не судит, — сказал Жуков.

— Победитель ты, Фотий Иванович, — начал было Галаган, но Жуков его остановил, выставив ладонь:

— Не судим, а разобраться хотим. Как дальше быть.

— Вот я тоже разобраться, — поднял руку Хрущёв. — Почему это так, что и судить нельзя? У нас таких нет, чтоб судить нельзя было. Я не в смысле, значит, трибунала, а в смысле суждений, значит. Партия такое право всегда имеет, и нам тоже предоставлено. И победителей тоже, значит, иногда, если они...

— Никита Сергеевич, много у тебя? — спросил Жуков.

— Ну... Я по оперативному скажу вопросу. Вот вы наступайте, Кобрисов, да? Наступаете пока, можно сказать,

успешно. А поглядите вы через плечо. Через правое. И что у вас за спиной делается? А там, понимаешь, целый город у вас в тылу остаётся. Мырятин этот, значит. Намерены вы с ним что-то делать или как?

— А на кой он ему? — спросил Галаган.

— Как «на кой»? — удивился Хрущёв. — Хорошее дело — «на кой»! Город советский. Занятый, понимаешь, врагом.

На этот вопрос, которого более всего опасался Кобрисов, и должен был ответить Чарновский: «Отрежьте мне этот кусок плацдарма, вместе с Мырятином. У меня перед фронтом более или менее крупных городов нет, я бы и этому рад был». Так должен был сказать Чарновский, но почему-то молчал. Отсев подальше от Кобрисова, смотрел сосредоточенно в пол.

— Командующий, — спросил Жуков, — как у вас складываются отношения с противником в районе Мырятина?

— Нейтралитет у меня с ним, товарищ маршал. Друг друга не тревожим.

— Но он угрожает вашим переправам.

— Угрожал. В основном авиацией. Бывало, по сорок самолётов налетало, а то раз и семьдесят мы насчитали. Но потом генерал Галаган обеспечил здесь наше господство, так что — тихо сидит.

— Но вы же клинья зачем-то выдвинули. Планировали окружение?

— Не было такого плана. Только угроза окружения. Где мне, с моими силами, ещё окружать!

— И не надо, если не хотите. Двиньте вы ваши клинья километров на пять. Да он оттуда раком уползёт!

Так оно, верно, и будет, подумал Кобрисов. Уползут. А только в последнюю очередь те, кому больше угроз от пленения. Когда паника начнётся, не достанется русским ни машин, ни повозок, ни сёдел, ни танковой брони. Им — прикладами по пальцам, чтоб не цеплялись. Здесь конец боевому содружеству, каждый за себя. Умрите вы, падаль, а нам прикройте отход. И вы же в своей России остаётесь, чего вам бояться — встречи с земляками?..

Заговорил между тем Терещенко:

— Разрешите, товарищ маршал, и с вами немножко поспорить... Как понимать это — «пусть уползёт»? Это же

предоставление инициативы противнику. Это мы ещё ждать должны, как он решит: захочет — уползёт, захочет — клинья обрежет. Много чести, мне кажется. Не сорок первый год, теперь мы ему должны навязывать нашу идею, а он — пусть принимает. И тут я у командующего чёткой идеи не вижу пока. Я б такую занозу, Мырятин, у себя на фланге не остав- лял бы.

Жуков, не отвечая ему, обратился к Кобрисову:

— Сколько бы вам понадобилось ещё машин? Если б была у фронта возможность.

Кобрисов задумался, набрал в грудь воздуху, выдохнул шумно.

— Сто бы мне. «Тридцатьчетвёрочек».

— Почему сто? С потолка берёте?

— Так двести же не дадут.

— Генерал Рыбко, могла бы ваша армия сколько-то выде- лить ему?

«Батько», очнувшись, поближе к животу прибрал свой портфель, точно там они и были, танки.

— Цэ грэба розжуваты, товарищу маршал. Да он же у нас такой озорник, Кобрисов этот. Ему дай сто, хоть и двести дай, он же их все на Предславль угонит...

— Ну, это уж как он распорядится.

— ...а то ещё куда-нибудь. А сам и знать не будет, где они у него.

— Ничего, найдутся. Он их теряет, он же их и находит.

— Давай, батько, раскошеливайся, — сказал Галаган.

Кобрисов тоже смотрел на «батьку» выжидающе. Кто-кто, а танковый генерал наибольшую нёс ответственность за аван- тюру с Сибеем, должен был предвидеть лучше других, что его «керосинкам» там уготовано сделаться свалкой металло- лома, и воспротивиться этому, а сейчас — мог лишь привет- ствовать возможность перебросить их на Мырятин.

Мучительная дума пересекла «батькин» лоб горизонталь- ной морщиной. И вдруг он блаженно разулыбался.

— Анекдот вспомнил. Разрешите, товарищу маршал?

— Оперативная пауза, — сказал Жуков.

— Приходят это чекисты с ГеПеУ к еврею: «Рабинович, сдай деньги в госбюджет!» Ну, жмётся Рабинович: «Та откуда

ж у меня деньги?» — «У тебя-то, может, и нету, а у твоей Саррочки, ГеПеУ знает, припрятано. Давай выкладывай». — «А зачем вам деньги?» — Рабинович спрашивает. «Как это «зачем»? Социализм строить». — «А у вас их нету, денег?» — «То-то и дело, что нету!» — «Так я вам так скажу: когда нету денег — не строят социализм».

На анекдот генералы отвлеклись охотно, у Жукова края рта завернулись кверху.

— А мы его вроде построили, социализм? — спросил он, улыбаясь как-то неуверенно, как бы прося снисхождения. Что-то в его улыбке напоминало беззубого ребёнка.

— Как же, Гёр Константинович! — укорил Хрущёв. — Верховный ещё когда говорил: «Завоевания социализма».

— А, так его ещё завоёвывать нужно...

— Да нет же, Гёр Константинович, это он завоёвывает, социализм!

— За всем не уследишь, — сказал Жуков виновато. — Ну, на то у нас комиссары есть. Ладно, полководцы, оперативную паузу заполнили. Вернулись к Предславлю.

— К Мырятину, — напомнил Терещенко.

— Да, к Мырятину.

К танкам, однако, не вернулись.

Маршал помолчал, умыл толстой ладонью свой чудоподбородок с «полководческой ямочкой». Наверно, ни при какой погоде сам бы он не стал возиться с городишком районного масштаба, имея впереди «жемчужину Украины», и понимал, наверно, Кобрисова, и потому опять смотрел на всех недобрым взглядом.

— Какая всё-таки причина, — спросил он, — что командующий не хочет брать Мырятин? Он же у вас на ладони лежит.

Ещё в эту минуту можно было выиграть затянувшийся бой, перетащить Жукова на свою сторону, только высказать самый веский довод.

— Товарищ маршал, — сказал Кобрисов. — Это так кажется, что на ладони.

— Мне кажется?

— Вам не всё доложили. Операция эта — очень дорогая, тысяч десять она мне будет стоить.

— Что ж, попросите пополнения. После Мырятина выделю.

— Мне вот этих десять... жалко. Ненужная это сейчас жертва. И одно дело — люди настроились Предславль освободить, за это и помереть не обидно, а другое дело — я их сорву да переброшу на какой-то Мырятин. Жалко мне их. И ради чего я ими пожертвую, когда мне каждый сейчас, в наступлении, втрое дороже? Есть у меня мысль, что противник как раз и ожидает, чтоб мы здесь потратились материально...

— А мне, — спросил Терешенко, — думаешь, так хочется за Сибезж ничтожный тратиться? А приходится.

Жуков его остановил:

— Уважайте соседа, полководцы. Он не всегда глупости говорит. Что ж, командующий, к вашему доводу следует прислушаться.

Но по голосу чувствовалось: не прислушался нисколько. Любой другой аргумент он бы рассмотрел внимательно и во всех подробностях, этого — он как бы и не слышал. Тем и велик он был, полководец, который бы не удержался ни в какой другой армии, а для этой-то и был рождён. Всё было у него — и подбородок крутой с ямочкой, и рост достаточно невысокий, и укажут остряки на первый слог в его фамилии со звуком «У», столь частый у полководцев — Суворов, Кутузов, Румянцев, Брусилов, Куропаткин, два Блюхера и Мюрат, Фрунзе, Тухачевский, Клюге, Гудериан, да хоть и Будённый, и даже Фабий, своей медлительностью заслуживший прозвище «Кунктатор», — но главное для полководца пролетарской школы было то, что для слова «жалко» не имел он органа восприятия. Не ведал, что это такое. И, если бы ведал, не одерживал бы своих побед. Если бы учился в академии, где всё же приучали экономно планировать потери, тоже бы не одерживал. Назовут его величайшим из маршалов — и правильно назовут, другие в его ситуациях, имея подчас шести-, семикратный перевес, проигрывали бездарно. Он — выигрывал. И потому выигрывал, что не позволял себе слова «жалко». Не то что не позволял — не слышал.

— Стоит прислушаться, — повторил он. — Но вы мой довод не опрокинули. Вот что делает ваш противник. Удар во фронт. По ослабленному плацдарму. С выходом к Днепру.

— Это был бы акт отчаяния, — сказал Кобрисов. — Зачем ему между клиньями лезть?

— Согласен. Но акт возможный. Приказ есть приказ, и солдат его выполнит. И это было бы для нас очень болезненно. Переправы сейчас — самое для нас ценное. Так что подумайте. Подумайте о Мырятине.

Кобрисов запнулся на секунду, было у него чем этот довод оспорить, но тотчас ворвался в разговор Хрущёв:

— Вот я, Гёр Константинович, ну кто о чём, а вшивый, значит, о бане. То есть я, значит, как политработник волнуясь. Насчёт, значит, укрепления морально-политического духа в войсках. Тем более «жемчужина Украины» и всё такое. Вот были мы с Николаем Фёдорычем в Восемнадцатой армии, там такой, значит, начальник политотдела, заботливый такой полковник. Как его, Николай Фёдорович? Гарнэсенький такой парубок, с Днепропетровска, бровки таки густы. Когда мужик из себя видный, тоже ж играет значение! Душевно так, заботливо с солдатами перед боем поговорит, освещение подвигов подаёт, наладил, значить, вручение партбилетов прямо на передовой. «Бой, говорит, лучшая рекомендация». Его, кстати, идея была — символические подарки украинцам-командармам. Хорошо б его сюда для обмена, значит, опытом как-то прикомандировать. Как же его? От же, склероз, вылетело...

— Никита Сергеич, — поморщась, сказал Жуков, — вспомнишь — вернёмся к вопросу.

Он уже вставал, заставляя и всех вскочить. Низко напяливая фуражку, подошёл к Кобрисову. Выпрямясь и сделавшись на голову выше маршала, Кобрисов увидел мгновенную вспышку раздражения в его глазах, извечного раздражения низкорослого против верзилы. Впрочем, маршал её погасил тотчас и осведомился благосклонно:

— Командующий, откуда я вас ещё до этой войны помню? Не были на Халхин-Голе?

— Был, товарищ маршал.

— А по какому поводу встречались?

Кобрисов, помявшись, сказал:

— А вы меня к расстрелу приговорили. В числе семнадцати командиров.

— А... — Маршал улыбнулся той же улыбкой беззубого ребёнка. — Ну, ясно, что к расстрелу, я к другому не приговариваю. Не я, конечно, а трибунал. А за что, напомните?

— За потерю связи с войсками.

— Как же случилось, что живы?

— А нас тогда московская комиссия выручила, из Генштаба, во главе с полковником Григоренко. Они ваш приказ обжаловали и, наоборот, кое-кого к «Красному Знамени» представили. В том числе и меня. Вы же потом и подписали.

Брови маршала сдвинулись на миг и снова разгладились.

— Припоминаю. Ну, видите, как хорошо обошлось. И вы теперь связи уделяете должное внимание. — Он протянул руку. — Поработайте ещё, командующий. Желаю успеха.

Генералы, шелестя целлофановыми пакетами, подходили к Кобрисову попрощаться.

— Ты, часом, не в обиде на меня? — спросил Терещенко. — Пощипали тебя, так и ты ж нас тоже. Первый притом. Поверишь ли, большие струны задел!

— И с чего, спрашивается, гавкаемся? — сказал огорчённый Омельченко. — Общее ж дело делаем, мирно бы надо.

— Ладком? — сказал Кобрисов.

— Именно. Сошлись бы как-нибудь втихаря, ну там бутылочку уговорили. Почему нет?

— Слушай их, Фотий Иваныч, — сказал Галаган, — а делай всё наоборот. Три к носу, держи хвост трубой.

Подошёл и Чарновский. Постоял, покачиваясь с пяток на каблуки, поднял хмурое лицо, с еле не сросшимися густыми бровями.

— Извини, что не поддержал тебя. Но и ты себя с людьми не так повёл. Мы не об этом договаривались.

— Никаких претензий, Василий Данилович. Поступил ты по совести, тактично.

Чарновский, ярко вспыхнув, что-то хотел сказать, но круто повернулся и вышел.

Остался Ватутин. Он долго стоял у пролома в стене, смотрел, как рассаживаются по машинам, кому-то крикнул, что поедет последним, наконец повернулся к Кобрисову:

— Как самочувствие?

— Душноовато, — сказал Кобрисов. — Дышать тяжело. Расстегнуть бы две пуговички. Ежели позволите.

— Давай.

Они расстегнули по две верхние пуговики на вороте и перешли на язык, невозможный у начальника с подчинённым.

— Операция эта всё-таки дорогая, — сказал Кобрисов. — Я подумал: а сколько же в Мырятине этом жило до войны? Баб, стариков, детишек ты не считай, одних призывных мужиков сколько было? Да те же, наверно, десять тысяч. Которых я положить должен. Что же мы, за Россию будем платить Россией?

— Да только и делаем, что платим, Фотя. Когда оно иначе было? И будем платить, мы ж её пока что не выкупили...

— Я старше тебя на девять лет, Николай. Послушай мудрого. Не всегда это доблесть — бой навязывать противнику, иногда умней уклониться, больше потом возьмёшь. Ты вот о «котлах» думаешь, об окружениях, да кто об них не мечтает. А знаешь, чем ты прославился уже, чем, может, в истории останешься? Двумя отступлениями. Под Харьковом и на Курской дуге. Это изучать будут, как ты сумел людей сохранить, технику всю вытащить, противника измотать и сразу, без паузы, способен был контрудар нанести.

— Любо тебя послушать, Фотя, — сказал Ватутин, усмехаясь. — Лестно.

— Ты знаешь, что я не только льстить могу.

— Знаю. Не знаю вот, принять ли за комплимент, что одними отступлениями... Ладно, не в этом дело. Отвечу тебе комплиментом — всех ты нас удивил. Переиграл. Да ведь я давно считаю, что тебе по годам, по знаниям пора бы уже и фронтом покомандовать. Ты прав оказался, а мы — не правы. Ну да, не всё мы продумали с этим Сибеем. На поводу пошли у Терещенки...

— А что же Константиныч его поддерживает?

— Так кто же и докладывал Верховному про сибеевский вариант? Константиныч и докладывал. Его тоже понять можно... Теперь подумаем вместе — что скажет солдат? Что командование фронтом, представитель Ставки — чурки с глазами? Один генерал Кобрисов в ногу шагал? А солдату вера

нужна в своё командование, иначе — как дальше ему воевать?

— А так же, как и воевал. Думаешь, вера в начальство сильно его греет?

— Ты не пререкайся со мной, Фотя. Тебе же так откровенно, как я, никто карты не выложит.

— Знаю, — сказал Кобрисов. — Ладно, помолчу.

Ватутин прохаживался по залу между скамьями — грузной поступью, заложив короткие руки за спину, склонив круглую лобастую голову римского центуриона; из-за обвисших щёк и резких складок у рта казался он много старше своих сорока трёх.

— Терешенко тоже незачем топить. Ну, ошибся. Увлёкся. Все тогда увлеклись.

— Его утопишь! — вскинулся Кобрисов. — Поди, считает «командарм наступления», что я сейчас его место занимаю!..

По тому, как быстро, удивлённо взглянул Ватутин, видно было, что это для него не ново.

— Ещё раз скажу тебе, Фотя: армией ты командовал безукоризненно. И я за то, чтоб ты и дальше Тридцать восьмой командовал. Хотя замечу — Терешенко бы не пришлось уговаривать этот городишко прихватить.

— Как будто не понимаете вы: с потерей Предславля не будет фон Штайнер за этот городишко держаться, сам оттуда уйдёт. Если прежде Гитлер его не снимет.

— И опять же — ты прав. И в то же время — не прав. Есть тут один тонкий «политес», который соблюдать приходится. Сибежский вариант согласован с Верховным. И так он ему на душу лёг, как будто он сам его и придумал. Теперь что же, должны мы от Сибежа отказаться? «Почему? — спросит. — Не по зубам оказалось?»

— И про все потери спросит...

— Да уж, непременно. В первую очередь — про потери. И в будущем сто раз он нам этот Сибеж припомнит. Значит, как-то надо Верховного подготовить. И не так, что северный вариант лучше, а южный хуже, а подать это как единый план. И надо ему всё дело так представить, чтоб он сам к этой идее пришёл. Вот для чего и нужен твой Мырятин. Услышит он — трубочку раскурит, на карту поглядит и сам

себе скажет: «Они там, дураки, не видят, что у них под носом делается, а я из Москвы не выезжаю — и всё мне, как на ладони, видно!» Тогда с Верховным любо-дорого дело иметь, что хочешь у него проси. Понял ты наконец?

— Всё финтим, — сказал Кобрисов печально. — И со мною ты финтишь: уже обсуждалось, как меня от армии отставить. Мне эти финты уже вот так настроили. Как ты-то от них не устал? Вроде не в тех ты уже летах, не в тех чинах...

Ватутин, потемнев лицом, потянулся к воротнику и застегнул пуговицы. Сделал то же и Кобрисов.

— Ожидаю доклада о взятии Мырятина, — сказал Ватутин. — План прошу мне представить самое позднее через сорок восемь часов.

— А если не представлю, то...

— Генерал Кобрисов, я не слышал этого!

Всё же Ватутин казался подавленным. Молча он прошёл к машине, молча кивнул шофёру ехать, ссутуленные его плечи и затылок под фуражкой имели вид какой-то убитый, пришибленный. «Лучше других ты, Николай Фёдорович, — думал Кобрисов, глядя ему вслед, — стало быть, тоже не свой. Рано или поздно, а и тебя укатают...»

Первым побуждением было этот план всё-таки подготовить, то есть ещё раз обдумать тот прежний, что он составил сразу после переправы. Несколько часов просидел он в тесной своей клетушке, раскладывая «пасьянс», — какие части отвести безболезненно из района Горлицы, с участков, казавшихся пассивными, какие перебросить к Мырятину из того резерва, что приберегался для уличных боёв в Предславле. Не выходило безболезненно, выходило больно, вынужденно и всюду опасно. Единственное, на что была надежда — когда план будет представлен, ему кое-что подкинут, хотя бы полсотни машин от «батьки».

А вечером, подавая ему ужин, ординарец Шестериков вдруг сказал, тяжело вздыхая:

— Не знаю — говорить вам, не знаю — нет...

— В чём дело?

— Да плохо дело. Для нас плохо. Сиротин наш кое-чего услышал тут, под машиной когда лежал. Да лучше я его позову самого.

И вот что поведал смущённый, тоже сильно расстроенный Сиротин:

— Значит, когда это, командующие армии Чарновский до командующего фронта подошли поприветствоваться, то те им говорят: «Ну, как, мол, лейтенант-генерал, настроение?» — «Да что говорить, — командующие армии сказали, — завидую Кобрисову». — «И зря, Кобрисову не завидуйте, ещё, мол, вопрос о командарме, который в Предславль войдёт, будет решаться. Есть, мол, такая идея, чтоб это украинец был. У нас же в частях фронта семьдесят процентов украинцы и город великий украинский, так что логично, чтобы и командарм был украинец». — «Так я же, — командующие армии сказали, — тоже ведь хохол, здесь родился, здесь женился, в комсомол, в партию вступил, почему ж, мол, не я?» — «А кто говорит, что не ты? Может, и ты. Вопрос ещё решается...»

— Всё? — спросил Кобрисов. не поднимая головы, разглаживая карту ладонью.

Было жарко лицу — от унижения ему, генералу, выслушивать шофёра, подслушавшего речи начальства.

— Дальше не слышно было, тут первый член Военсовета подъехали, генерал Хрущёв, и разговор перебили...

— Ладно, ступай.

Сильно хотелось напиться и было впервые неловко позвать Шестерикова, чтоб принёс фляжку. Он бы настроился выпить, как всегда, вместе, говорил бы утешительные слова, и некрасиво было бы его отослать, да и пить в одиночку считал Кобрисов самоубийственным. Самое обидное, но отчасти и верное было в рассказе Сиротина слово «логично». Да, логично она должна была родиться, эта «идея», кому бы ни пришла в голову, как бы ни была омерзительна, гнусна. Ничем другим, видно, не свалить его, Кобрисова, не подкрепить пооблетевшие шансы Терещенко. Логично было и Чарновскому промолчать, не выступить, как договорились. «Хотя напрасно ты, напрасно, Василий Данилыч, — думал Кобрисов. — Не про тебя эта идея». Вот бы над чем задуматься Чарновскому, над какой логикой: почему же одних командармов эта идея касалась? Пойдите же до конца — русских десантников, заодно казахов, грузин — снимите с танковой брони. Лётчика-эстонца — верните на аэродром.

И пусть танкист-белорус вылезет из душной своей коробки, пусть покинет свою «сорокапятку» наводчик-татарин. Вот ещё тех евреев оставьте, у которых целые семьи в этом Предславле, во Вдовьем Яру, лежат расстрелянные. Всех непричастных отведите в тыл, пусть отдыхают, пьют, гуляют с бабами, сегодня одни лишь украинцы будут умирать за свою «жемчужину».

И апатия, тяжёлая, неодолимая, овладела генералом Кобрисовым. Как будто опустошили сердце, вынули то, что стало в последние месяцы главным в жизни, что привязывало к ней; куда-то уплывал и самый облик никогда не виденного им, кроме как в бинокль, великого Предславля, покрывались туманной мглой чёрный ангел с крестом и ослепительный купол собора; ему, «негромкому командарму», отводилось его всегдашнее место, его роль — быть «на подхвате» и довольствоваться «разновесами», как Фатеж или Сумы, или станция Лихая. Он проник в замысел своих коллег и понимал, что с этим Мырятином его заставят потерять время, напор, да и сил его ни на что другое не хватит, и покуда он тут провозится, они проделают какую-нибудь рокировку, перебросят войска с Сибезского плацдарма сюда к нему и главную роль отведут, ясное дело, Терещенко — нельзя же его топить, он им свой...

А что обещал Мырятин? Выдвинутые клинья уже не втянуть назад — этого ни перед командованием не оправдаешь, ни перед солдатами, потерявшими в боях товарищей. Значит, окружение? Как он и намечал? А если не уползут из мешка защитники Мырятина, если обречены или сами себя обрекли участи смертников, наподобие финских снайперов-«кукушек», привязывавших себя к верхушкам сосен?

И отсюда вспоминалась ему ранняя весна, когда входили в обычай «ответные» казни на площадях, и именно первая им увиденная, которой не могли же себя не обпачкать вчерашние освободители. Поехали после совещания всем гуртом, было не отговориться, сказали, что *политически важно для населения*, чтоб самые крупные звёзды присутствовали. Вот уж не думалось, что когда-нибудь, да на переломе войны, введут эту казнь — отвратительную, в которой есть что-то идиотски-остроумное: убить человека его собственным

весом, притяжением к земле! Мы только надеваем несложное приспособление, а затягивает его сам казнимый... Было их четверо — сельский староста, хлипкий, сильно пожилой мужичишко, двое молодых, лет по девятнадцати, полицаев и немец из комендатуры. Их вели под морозящим дождиком без шапок, со скрученными за спиною руками, было тяжело смотреть, как у них побелели омертвевшие пальцы; у старосты на голове шевелились от ветра реденькие седые клочья, он был как в полусне, голосила и рвалась к нему его, должно быть, жена, вот уже скоро вдова, её удерживали двое подростков, тоже почему-то без шапок, с белыми лицами; политически неразвитое население всё воспринимало как-то растерянно, ошарашенно — может быть, чувствуя себя вторично оккупированными; один из парней-полицаяв всё оборачивался и спрашивал: «А чо я такого сделал? Чо сделал?» — и никто не отвечал ему. Да кто ж бы из них осмелился пикнуть, хоть в оправдание ему, хоть в осуждение, — из второсортных, нечистых, кто и сами себя чувствовали виноватыми, что остались под немцами? Немец, слегка горбоносый, голубоглазый и белокурый, крепкий, лет тридцати, шёл в расстёгнутом мундире, с голой розовой грудью, и усмехался, сверкая ровными белыми зубами. Казнимых взвели на грузовик, поставили у кабины лицами к толпе, желтоволосые мордастые выводные сноровисто накидывали петли, вполголоса командовали: «Подбородочек повыше!», затем лично проверил исходную затяжку длинный кадыкастый лейтенант в очках, с сурово сжатым ртом (особо запомнился бугристый чирей на шее, заклеенный грязным пластырем); он же зачитал выписку из приговора, по его мановению грузовик стал медленно отъезжать. И вот тут немец, что-то прокричав — насмешливое, злорадное, — побежал, крепко топая сапогами по днищу кузова, добежал до края и ринулся, рухнул сам, не дожидаясь неизбежного. И пока те трое ещё переступали, ещё шаг делали, ещё полшага, тянулись на цыпочках к последнему глотку дыхания, он уже висел, выгибаясь и крутясь, поворачиваясь из стороны в сторону синемагровым, надувшимся, залитым слезами лицом. Было похоже, он убил себя сам, но ушёл от казни, кто-то из выводных даже крякнул с досады.

Не было ощущения расплаты, а теперь генерал Кобрисов понял, что и не могло его быть. И не потому, что он толком не знал, что такого ужасного натворили эти четверо, чтоб полагалось прервать им и ту крохотную частичку вечности, которая нам отпущена так неумолимо скупое. Нет, изучи он весь свиток их злодеяний и не найди он никакого оправдания, он бы и тогда испытал другое ощущение, неотвязное и унижительное, как если бы всё совершалось применительно к нему самому, к его рукам, вот так же бы скрученным сзади и омертвевшим, к его шее, на которую так же сноровисто надевали бы размокшую, смазанную тавотом петлю, проверяли бы, хорошо ли затянется, — и при этом не проявляли бы не только сострадания, но просто любопытства, что же чувствует, о чём думает человек, глядя в лица сородичам своим по человечеству, остающимся в этом мире и собравшимся смотреть, как он будет этот мир покидать. Должно быть, какой-то высший судья насылает на нас это ощущение, наказывая за соучастие, а зритель ведь тоже — соучастник. И, верно, не один Кобрисов чувствовал так: ехали обратно, в штабном автобусе, как-то разрозненно, стыдясь друг друга, и рады были разъехаться каждый в своём «виллисе», никого не позвав, как всегда бывало, к себе в гости, — люди войны, наученные мастерству убивать, причастные к десяткам тысяч смертей. Всё-таки это разные вещи: почему-то же для войны годится почти любой здоровый мужчина, но для этого ремесла подбираются люди особые, чего-то лишённые или, напротив, наделённые чем-то, чего все другие лишены. Генерал, при своих звёздах и орденах, чувствовал даже некое превосходство над ним этих расторопных сержантов, которым, видимо, нравилась их работа — и не только тем, что спасала их от передовой, — этого долговязого сурового лейтенанта в очках, который, проверяя затяжку, просовывал скрюченный голый палец между верёвкой и тёплой шеей казнимого. Больше того, чувствовал перед ними необъяснимый страх, чувствовал и тогда, на площади перед сельмагом, и даже теперь, лёжа во тьме на узкой койке, посреди плацдарма, где они уж никак не могли появиться.

Он не знал, смог ли бы скорее отдать свою жизнь, чем отнимать её у другого, безоружного, судьба ни разу

не предъявила ему такого выбора, но и теперешний его выбор был чем-то сходен и нелёгок по-своему. И на тяжесть его он пожаловался самому себе, но скорее — тому судии, который должен был услышать его и избавить от страхов и разрешить сомнения:

— Я не палач! Моё дело такое, что у меня должны умирать люди, но я — не палач!

Несколько раз он повторил это, что-то утверждая в себе. Он себя укорил, что был нечестен, когда пытался тайком навязать другому, чего сам страшился. И почувствовал даже облегчение, решив бесповоротно — не прикладывать рук к делу, которому противилась душа.

Командующий, не представивший требуемого плана, подписывает себе отставку. Но за весь следующий день ничего не было предпринято в отношении Мырятина; все распоряжения делались, как будто и не было совещания, ни ультиматума Ватутина, а в те промежутки времени, когда генерала не тревожили, он читал Вольтера. У него была причина читать этого автора, и по его просьбе жена ему прислала первое попавшееся его — «Кандида». Приопустив очки на нос, он читал неторопливо, вдумчиво и всё же не понял, почему из многочисленных злоключений героя следует вывод, что «всё к лучшему в этом лучшем из миров». Но венчающая фраза — «Нужно возделывать свой сад» — ему понравилась, он даже подумал, что неплохо бы её ввернуть на каком-нибудь совещании, когда зайдёт речь о восстановлении народного хозяйства: «Как говорил Мари Франсуа Аруэ, он же Вольтер, нужно возделывать свой сад». И, закрыв книгу, вздохнул — какие там совещания, это всё грезился ему день вчерашний.

Поздним вечером, уже в темноте, подкатил к вокзалчику одиночный «виллис». Адьютант Донской с Шестериковым встретили гостя, но подняться он не спешил. Кобрисов, накинув на плечи кожанку, спустился в зал. Почему-то не через двери, а через пролом в стене вошёл кто-то невысокий и тучный, с портфелем. Это был начальник штаба армии, генерал-майор Пуртов, живший неподалёку, в селе Спасо-Песковцы, где и расположился весь штаб. Здесь он почти не появлялся, Кобрисов сам туда ездил

работать с ним, и это появление было как проблеск новой надежды.

Они стояли друг против друга в тёмном зале, где едва брезжило рассеянным призрачным светом луны, оба величественные по-своему, не любящие лишних движений, а всё вокруг чем-то напоминало неубранную после спектакля сцену, при опущенном занавесе.

— Стряслось чего-то? — спросил Кобрисов.

— Фотий Иванович, осталось двенадцать часов. Думаешь ты что-то предпринять?

— А что б ты мне посоветовал?

— Давай так рассудим. Противник не делал попыток уйти от окружения...

— Правильно. Потому что понимает: у нас на это сил нет.

— Неточно. Потому что он считает, мы по науке должны окружать. Создадим внутреннее кольцо и внешнее. На это действительно сил не хватит. А если нам одним внутренним обойтись? Кто его пойдёт выручать в Мырятине? Скажи только «гоп», я до утра успею разработать.

— Ты уже разработал, — сказал Кобрисов. — Вон, я вижу, в портфеле принёс. А «гоп» я тебе не скажу. Я, Василь Васильич, с тобой полтора года работаю, и что мне нравилось в тебе — ты на авантюры не шёл никогда. Это я, командующий, могу и с дурью быть, мне она положена по чину званию, а ты мою дурь обязан скорректировать, в рамочки ввести. Понимаю, ты обо мне печёшься, хочешь меня выручить, но из-за этого людей губить...

Он не договорил. Эти два человека в равной мере знали, какую новинку таил Мырятин, и не могли об этом сказать друг другу.

— Другой вариант, — сказал Пуртов. — Назовём его: «Имени Терещенко». В принципе — лобовой удар. С юга. Отбросим его хоть на три километра от переправ.

Кобрисов спросил, не скрыв усмешки:

— И долго ты его... готовил?

— Видишь ли, вариант Терещенко тем и прекрасен, что его и готовить особенно не надо. Наступает каждый оттуда, где стоит. Одним словом — «Вперёд!» Нам бы только начать, а там попросим пополнения.

— И дадут?

— Не могут не дать, — сказал Пуртов не очень уверенно.

— Привык я, Василь Васильич, деньги считать, когда они в своём кармане. Вроде бы оно надёжнее. И печальных неожиданностей не будет, а только приятные для сердца сюрпризы. В любом варианте должны мы от Предславля что-то оторвать. Я под расстрел пойду, но этого не сделаю.

Пуртов снял фуражку и держал её у груди.

— Фотий Иванович, мы ведь с тобой хорошо работали, правда?

— Душа в душу, Василь Васильич.

— Это лучшее, что было у меня за всю войну. Я это на любой случай тебе говорю. А за эти... варианты — извини. Я тоже на некоторую дурь имею право.

— Что-то мы разнервничались с тобой. Поднимемся ко мне, чайку попьём? Из фляжки, что нам Шестериков выставляет.

— Ты ж знаешь — язва. Не хочу лишним быть за столом. И настроился я поработать. Может, что и придумаю. Тогда позвоню. А лучше — заеду.

Кобрисов, провожая его, знал, что не позвонит он и не заедет. Потому что придумать тут нечего. Но был он благодарен Пуртову за визит, за добрые слова, хотя никто третий их не слышал...

...Ватутин дал ему лишних два часа. Позвонив из Ольховатки, он ни о чём не спросил, он сказал:

— Поговорил я тут со Ставкой. Они согласились с моей оценкой, что поработал ты хорошо и сделал много, но — перенапрягся, нуждаешься отдохнуть в санатории, побыть с семьёй. Так, недельки три. В общем, особенно мучить тебя не будут, только доложишься по приезде.

«Значит, и расспрашивать не будут», — подумал Кобрисов.

— Спасибо за вашу заботу, Николай Фёдорович.

— Да уж как водится...

— А не может того быть, что вдруг меня Верховный вызвать захочет?

Ватутин подумал секунду.

— Не исключается.

— Да нет, это я на всякий случай. Чтоб знать, что говорить.

— Скажешь, как есть.

«Провентилировали они свою «логичную» идею», — подумал Кобрисов. И спросил, что оставалось ему спросить:

— Кому передать армию?

Не унять было дрожь в руке, державшей трубку, и, казалось, Ватутин это слышит.

— Твой начальник штаба за тебя остаётся пока. Вопрос о командующем ещё не поднимался официально.

— Ну, что ж... Я главное дело сделал. В двенадцати километрах нахожусь...

— Их ещё пройти надо, Фотий Иваныч.

— Ну, это уж совсем кретином надо быть — не пройти. Главное всё-таки сделано. А там — кто бы ни был. Хоть бы и Терещенко. Для хорошего человека не жалко.

Ватутин промолчал.

— А знаете, Николай Фёдорович, — сказал Кобрисов, — всё равно я буду считать — я взял Предславль!

— Я тоже так буду считать, — сказал Ватутин. — Да если б всё от меня зависело... Но это, наверно, не мужской разговор.

— Пожалуй.

— Когда намерен отбыть?

Для генерала не существует «через неделю», не существует и «завтра».

— Сегодня, — ответил Кобрисов.

— Мой «Дуглас» могу предложить, Галаган тебя свезёт.

— Спасибо ещё раз, но боюсь я.

— Чего боишься?

— Высоты боюсь. А ещё больше — Галагана. Он меня как-то по-дружески на бомбовозе прокатил, так руки тряслись неделю. Я уж как-нибудь на своём Сером.

— Во всём ты упрямый, не переделаешь тебя. Попрошаться заедешь?

— Ну, если прикажете...

— Какой тут приказ?

— Тогда не заеду. Крюк большой...

— Как знаешь. До свиданья, что ж...

— Счастливо оставаться.

В четыре часа пополудни тяжело нагруженный «виллис» достиг Днепра и стал спускаться к переправе. Так вышло, что генерал Кобрисов только сейчас впервые увидел её — изогнувшуюся дугою, громыхающую на зыбях цепь ржавых понтонов, с дощатым настилом и леерами на стойках. С обеих сторон её стояли по две зенитки, с ухоженными орудийными двориками; вдоль и поперёк медленно бороздили реку бронекатера с задранными к небу орудиями и счетверёнными пулемётами; в рваных тёмных клочьях облаков барражировали * истребители Галагана. Переправа выглядела прочно обжитой, а ему-то, Кобрисову, всякий прибывавший к нему на плацдарм казался героем! С сильно бьющимся сердцем смотрел он, хотел узнать — не здесь он сам переплывал полтора месяца назад, стоя на палубе танкового парома, так громко называвшейся дырявой самоходной баржи с помятыми бортами и деревянной, в щепу искрошенной рубкой, среди всплесков пуль, воя налетевших «юнкерсов», ржанья коней, стонов раненых. Не тот был теперь Днепр, по-другому оживлённый, по-другому шумный. Истинно, не войдёшь в одну реку дважды.

Регулировщик — с полосатым жезлом, с белыми ремнём и португеей — чётко поприветствовал генерала, затем подошёл к фанерной будке без двери, где стоял на полочке телефон с зуммером.

— Шура! — кричал он в трубку. — Задержи там, пока генерал проедет!

— Всё чином, — сказал восхищённый Сиротин и мягко вкатил машину на податливую шаткую аппарель.

Они проехали середину реки, когда к левому берегу подошла колонна танков, автоцистерн и конных повозок. Тамошний регулировщик её задержал жезлом — на узком понтоне «виллису» с танком было б не разминуться. Сколько было танков, генерал отсюда не мог определить, хвоста колонны не было видно. Может быть, это и были те сто машин

* Барражирование — дежурство самолёта в воздухе. При этом он летает над охраняемым объектом по замкнутому маршруту — кругу, квадрату и т. п.

из «бабкиной» заначки, которых не хватило генералу Кобрисову, чтоб ехать ему сейчас триумфатором по главному проспекту Предславля. Имя это — «Предславль» — опять зазвенело в нём, но как надтреснутая труба, слышались предчувствие, предвестие славы, но и предсмертный крик воина, падающего с городской стены вместе со штурмовой лестницей. Кобрисов не знал, что то было начало грандиозной операции под кодовым названием «Туман» — отчасти предвиденной им рокировки войск с южного плацдарма на северный. Им предстояло втайне покинуть рубежи на Правобережье и переправиться обратно на берег левый, затем передвинуться на сто шестьдесят километров к северу, минуя траверз Предславля, и вновь переправиться и тогда уже двинуться на юг — тем коридором, который пробила армия Кобрисова.

Множество хитростей содержала эта затея, не зря названная «Туманом». Не говоря о том, что само передвижение должно было совершаться ночью или в тумане, разрозненными рокадными дорогами, заглушаемое барражирующей авиацией, но для сохранения секретности оставлялись на Сибезском плацдарме ложные батареи, то есть вышедшие из строя или сколоченные из брёвен орудия, такого же происхождения макеты самоходок и танков, ящики от боеприпасов, оставлялись и ложные радиостанции, продолжавшие переговариваться и перепискиваться замысловатыми шифрами, управляясь автоматически. Военные историки уверят нас, что люди при этом не оставлялись, что раненые были все вывезены, а убитые преданы земле. Уверят и в том, что хитроумный Эрих фон Штайнер так-таки ни о чём не догадался и немецкие наблюдатели не заметили, что макеты всё-таки неподвижны, рации твердят одно и то же, а чучела в касках и шинелях лишь слегка колеблются от ветра. И вот этой громоздкой, мучительной и не столь уж бескровной, вынужденной операцией будем мы гордиться, называть гениальной новинкою, более напирая на победное её завершение и заминая бесславное начало, когда можно ещё было обойтись и без неё...

— Что я вижу! — вдруг сказал адъютант Донской, разглядывавший тот берег в бинокль. — Регулировщик-то и

вправду — Шура. То есть Шурочка. Во всяком случае — в юбке. И кажется, сапожки на каблучках. И сама — ничего, ничего!..

Он передал бинокль генералу. Воспользовавшись минуткой, регулировщица, позволив жезлу висеть на запястье, вынула из нагрудного кармашка зеркальце, критически осмотрела потресканные губы, облупившийся носик, заправила под пилотку выбившийся белокурый локон.

— Товарищ командующий, — спросил Сиротин, — это если девку справную, на каблучках, поставили регулировать, то значит, дело уже назад не повернётся?

— Куда ему повернуться, — сказал генерал. — Теперь уже — до Берлина.

Сиротин, воодушеваясь, было прибавил скорости, но генерал его усмирил взглядом. Танковая колонна могла и подождать генерала, полагалась ему такая почеть.

И покуда командарм-38, генерал-лейтенант Кобрисов Фотий Иванович, едет по переправе, есть время и у нас хоть коротко рассказать, как сложатся военные судьбы участников того совещания в Спасо-Песковцах. Троице из них не пережить войну. Так радевший и считавший логичным, чтоб «жемчужина Украины» была бы и взята украинцем, генерал армии Ватутин полгода спустя на просёлочной дороге получит в бедро пулю украинца-самостийника — возможно, отравленную, — и разгорится гангрена, усилия лучших врачей не спасут ни ногу, ни жизнь. Как и предсказывал Кобрисов, два знаменитых ватутинских отступления будут изучать в академиях и штабах многих армий мира; что же до его последней операции, Корсунь-Шевченковского «котла», она осуществлялась силами не одного, а двух фронтов, но и ватутинскую половину славы сильно пощиплет нахрапистый Конев, поставив на рубеже встречи свой танк и выбив на пьедестале надпись, лично им сочинённую. Не будучи филологом — и против истины не греша, — он проявит, однако, немалую тонкость в понимании русской фразеологии, где подлежащее и сказуемое имеют решающее преимущество перед вялым дополнением: «Здесь танкисты 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии И. С. Конева пожали руки танкистам 1-го Украинского фронта под

командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина, тем самым завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск...»

Несколько позже в Восточной Пруссии, генералом армии и самым молодым из командующих фронтами, погибнет Чарновский — от осколка, попавшего ему в спину, под левую лопатку. Наверно, вторую бы жизнь отдал Чарновский, чтоб рана была — в грудь... Лихой Галаган, поднявшись в свой 251-й боевой вылет в небо над Балатоном, встретит противника, который покажется ему достойным, чтобы, не прибегая к тривиальной перестрелке, затеять с ним рыцарскую игру «кто кого пересмотрит». Считается, что ни один немецкий ас не принял русского лобового тарана, но, может быть, этот попросту растерялся, не справился с управлением, а только не отвернул он — и долго они не расставались, падая одним сверкающим факелом, покуда их не приняла остужающая озёрная гладь... Генералы Омельченко и Жмаченко доводят достойно, не чересчур выделяясь, но и других не хуже, за что и получают по генерал-полковнику и по Кутузову 1-й степени — кажется, оба в один день. «Танковый батько» Рыбко, носивший в своём толстом портфеле бесконечные разработки и выкладки, соображения и дополнения, сделает карьеру не только военную, но и учёную, как раз к исходу войны разбивши в пух и прах «пресловутую доктрину хвалёного Гудериана», после чего уйдёт в академию преподавать доктрину свою. Особенно же повезёт Терещенко: вступив в командование 38-й армией, он, разумеется, одолеет те двенадцать километров и возьмёт Предславль ровно к празднику 7-го ноября. Пройдя по Карпатам, он сильно пошерстит армейский состав, так что по пальцам можно будет пересчитать солдат-ветеранов, начинавших от Воронежа, а напоследок, для вящей иронии судьбы, достанется ему освободить Прагу — уже почти освобождённую Первой дивизией РОА. Победы маршала Жукова, покрывшие грудь ему и живот панцирем орденов, не для наших слабых перьев, скажем только, что против «русской четырёхслойной тактики» не погрешит он до конца, до коронной своей Берлинской операции, положила триста тысяч на Зееловских высотах и в самом Берлине, чтоб взять его к празднику 1-го Мая (опоздал на день!)

и чтоб не поспел на подмогу боевой друг Дуайт Эйзенхауэр. Треть миллиона похоронок получит Россия в первую послевоенную неделю — и за то навсегда поселит Железного маршала в своём любящем сердце! Военная стезя генерал-лейтенанта Хрущёва проляжет не так звёздно, и звук «У» в первом слоге тут не поможет, однако ж война сохранит его для дела не менее славного — низвергнуть Верховного. Оценим же юмор и художественный дар, с какими запечатлит он Верховного в нашей памяти, вложив ему в руки, как зеркало Афродите, глобус, по которому тот будто бы и провоевал всю войну. Оценим неистовую энергию, с которой ещё и ещё потопчет он бывшего кумира и хозяина, плиты его пьедесталов употребит на щиты электростанций, бронзу памятников перельёт на подшипники, самый его прах вышвырнет из Мавзолея догнивать в простой могиле, но и оттуда, из нового захоронения, достанет-таки его Верховный, достанет не своею набальзамированной рукою, а руками того заботливого полковника, безвестного во всю войну, а зато красавца, любимца и любителя женщин, дружеского застолья и душевных песен, руками того «гарнэсенского парубка», имени которого так и не вспомнил Хрущёв на совещании.

Среди таких биографий — как не затеряться «негромкому командарму» Кобрисову? Кто вспомнит, как он стоял на пароме посередине Днепра, умирая от страха перед «Юнкерсом», пикирующим прямо на него, плюясь огнём из обоих крыльевых пулемётов? А между тем в эти минуты в историю Предславской операции, в историю всей войны вписывалась страница, удивительная по дерзости и красоте исполнения, которой суждено будет войти в учебники оперативного искусства и опрокинуть многие устоявшиеся представления, но и страница загадочная, как бы недосказанная, не сохранившая имени автора.

Страницу эту назовут — Мырятинский плацдарм. Её, как водится в стране, где так любят переигрывать прошлое, а потому так мало имеющей надежд на будущее, приспособят к истории, как ей надлежало выглядеть, но не как выглядела она на самом деле, и понаторевшие в этом лекторы из ветеранов, прихрамывая вдоль карты с указкой, убедительно докажут, что Мырятин с самого начала считался

плацдармом основным, а не отвлекающим, — эту роль отдадут Сибезу, — и было это, конечно же, заранее спланированным манёвром, а не так, что случайно ткнулась лапка циркуля. Вот разве что сыщется всё-таки дотошный историк, который не пощадит штанов в усидчивом рвении и докопается до истины? Или найдётся шелкопёр, бумагомака, душа Тряпичкин, разроет, вытащит, вставит в свою литературу — и тем спасёт генеральскую честь?

Впрочем, и этого не надо. Противник, судящий нас порою справедливее, чем мы друг друга, именно генерал-фельдмаршал Эрих фон Штайнер, в своих послевоенных мемуарах «До победы — один шаг» вот что скажет об этой загадочной странице: «Здесь, на Правобережье, мы дважды наблюдали всплеск русского оперативного гения. В первый раз — когда наступавший против моего левого фланга генерал Кобрисов отважился захватить пустынное, насквозь простреливаемое плато перед Мырятином. Второй его шаг, не менее элегантный, — личное появление на плацдарме в первые же часы высадки. Я понимал его чувства: подобно всаднику, посылающему лошадь на препятствие, он должен был прежде перенести через него своё сердце!.. Но уже на третий ход — русских не хватило. Я так и предвидел, что вместо немедленного, всеми наличными силами, броска на Предславль они предпочтут штурмовать этот городишко Мырятин, который мы сами не считали столь важным опорным пунктом. Это им стоило трёх недель промедления и нескольких тысяч убитыми, которых могло не быть. Русские повели себя, как нищие: перед ними лежал алмаз, а они предпочли выторговывать — грошик...»

Но — кончается переправа, блондинка-регулирующая высоко подняла жезл, сама вытягиваясь в струнку, и танковая колонна взревела дизелями, окуталась чёрным дымом, готовая вступить на измочаленный настил.

У самого съезда возились двое сапёров, привязывали к леерной стойке шест с фанерным щитом. По белому полю бежала размашистая чёрная надпись: «Даёшь Предславль!»

— Даю, — сказал генерал. — На серебряном подносе даю. Только руку протянуть.

Так пересёк он Днепр в обратном направлении, расставшись с вожделённым, никогда не виденным Предславлем, оставив свою армию, — он, поклявшийся, что никакая сила не сбросит его живым с плацдарма.

Глава пятая

КТО БЕЗ ГРЕХА?

1

Обиды, обиды... Они жалят сердце! Они душат горло и заставляют ворочаться и скрипеть зубами в неизбывной злости. И выпивка помогает ненадолго, просыпаешься среди ночи, и нет бодрости встать, чем-то занять себя — тут они и впиваются, как ночные зверьки, которые днём прячутся в глубоких норах, а с темнотою выползают и набрасываются скопом. Одно спасение — не противиться, какой-нибудь из них дать себя погрызть; тогда другие, заждавшись своей очереди, уползут до следующей ночи.

Среди всех обид, какие нанесли генералу жизнь и люди, особенно мучили те, которые сам же помог нанести по глупости. Их не на кого было свалить, некому бросить в лицо злой упрёк. И к ним теперь прибавилась та последняя, которую нанёс он себе при отъезде. Он всё-таки сделал эту глупость, поехал через Ольховатку, мимо штаба фронта, с надеждою, что Ватутин, увидев воочию его отъезд, не утерпит, велит задержать, пригласит ещё подумать вместе. И может быть, нашлось бы приемлемое для обоих решение. Не мог же Ватутин так равнодушно с ним расстаться — ведь, кажется, ценил его, и столько провоевали вместе! И ведь предлагал же заехать...

Возле Дома культуры, с античными его колоннами и портиком, сгрудились штабные «виллисы», «доджи», верховые кони, шмыгали разных чинов офицеры. И чувствовалось по их суете, что командующий фронтом у себя, не отъехал обедать, ни на плацдарм. Кто-то из них должен же был Ватутина оповестить, да и пост охранения ещё при въезде в село

небось передал, и сам он вполне мог увидеть из окна, что бывший командарм-38 едет мимо — не спеша, в машине с откинутым тентом. Кобрисова узнали — кто-то вытянулся, откозырял, другие лишь повернулись к нему, и ни один не расшевелился сбегать доложить. И теперь казалось ему и особенно язвило, что Ватутин всё видел из окна, шепнули ему, обратили его внимание — и он не приказал остановить, не пожелал на прощанье хоть десять минут посидеть вдвоём — без адъютантов, без соглядатаев. И наверняка те офицеры сообразили, что Ватутину видеть бывшего командарма незачем. Эта штабная мелюзга собачьим верхним чутьём унюхивает кровоточащую рану, а подошвами ощущает дрожь, какую распространяет по земле агония умирающего тела. А ведь сначала верное было решение — не ехать через Ольховатку! Что за дурак! Никак не научится доверять первому движению души, — как, впрочем, и первому впечатлению от человека, — а они-то, звериные, не обманывают!

За этой обидой дождалась своей очереди самая большая — весенняя 1941-го года, которая всю его жизнь перевернула, сделала его другим. И не сказать, чтобы она совсем была неожиданна. Перевод в столицу, пусть в том же звании и должности, воспринялся как повышение и скорее льстил ему и окрылял, хоть и печалил тоже — расставанием с людьми, с налаженным укладом жизни, роскошными охотами в тайге. Но были и опасения — смутные, в которых и разбираться казалось трусостью. Кобрисова отзывали в Московский военный округ формировать дивизию, намекалось — противодесантную, для охраны столицы; здесь как будто не ожидалось подвоха, а тем не менее сказала жена:

— Смотри, Фотя... Вот так и Василия Константиновича выманили. Уж будто в Москве своего не нашлось формировать, тебя приглашают.

Это правда, взяли Блюхера не прежде, чем отделили обманно от Дальневосточной армии, где никакие чекисты, хоть и сам Ежов, его взять не могли бы. С ним, Кобрисовым, едва ли бы стали так церемониться. А что формировать московскую дивизию призывали дальневосточника, так то был всегдашний государственный принцип — разбивать солидарность, земляческую или национальную, это ещё от царей

пришло — чтобы в охране служили инородцы. Для Москвы и был Кобрисов инородцем.

Однако ж дивизия оказалась не выдумкой чекистов, уже почти составился её штаб в Филях, укомплектованы хозяйственные тылы, прибыли с завода первые танки, восемь машин, и даже назначены участвовать в первомайском параде. И он написал жене, чтоб собралась и приехала выбирать квартиру, ему некогда ездить по четырём ордерам. Самого его пока поселили в гостинице «Москва».

Та весна 1941-го была долгая и холодная, обложные изматывающие дожди не переставали до середины июня, а сама Москва поражала и разлитым в воздухе ожиданием иной грозы, военной, и жадным стремлением не видеть, откуда надвигались тучи, надыхаться покоем. В кино показывали «Если завтра война», зрелище вполне успокоительное, там наши боевые самолёты выпархивали прямо из подземных ангаров, а танки спускались на тросах с кручи и так же форсировали реку, не касаясь воды, — об амфибиях, поди, и не слыхивали киношники, — и условный враг в условной униформе погибал несметными полчищами, не вынеся своей глупости. Закрывались посольства Бельгии и Греции, оккупированных германскими войсками, но для лекторов «главными нашими врагами» оставались «Англия на западе, Япония на востоке». Рудольф Гесс, второе лицо в Германии, заместитель Гитлера по партии, перелетел на самолёте в Англию — и, наверное, не войну ей объявить, а совсем наоборот, и газеты заикнулись было об «англо-германской сделке», но тут же примолкли, когда англичане миссию Гесса отвергли, а самого его посадили в тюрьму. К туманному Альбиону это симпатий не вызвало, он в любом случае был плохой. В саду «Эрмитаж» конферансье рассказывали анекдоты «с международным уклоном»: Гитлер жалуется товарищу Молотову: «Вот уже полтора года бомбим Лондон, а всё не можем его разрушить». — «А мы вам, — ответил Вячеслав Михайлович, — пришлём десяток московских управдомов, они любой город разрушат в три месяца». Смеялись и хлопали, но человеку военному, который знал бомбёжки, слушать это было и тогда стыдно, и ещё стыднее потом, когда бомбы упали на Киев и Минск, и эта бомбимая не

подававшаяся Англия первая себя объявила союзницей России.

И был холодным и пасмурным, хоть и не дождливым Первоймай, когда впервые Кобрисов, стоя на трибуне для гостей, увидел Вождя. Увидел издали, снизу, и то и дело его заслонял рослый Тимошенко. А впрочем, и времени высматривать было у Кобрисова мало, в общем строю сводного полка Московского гарнизона должны были пройти его танки. Свои БТ-7 он узнавал уже среди всех других, даже не по номерам, а как укротитель в цирке не спутывает своих тигров ни с чьими другими, как будто такими же полосатыми, и их самих различает по именам. Он их узнал сразу — и смотрел напряжённо, как они пройдут. Он сам тренировал водителей держать равнение, чтоб ни на сантиметр никто бы не выдвинулся и не приотстал, и уже мог быть уверенным, а всё же волновался изрядно. И вот через несколько секунд они должны были пройти траверз его трибуны, и он бы увидел равнение их пушек и корпусов. Но прежде они должны были миновать траверз Мавзолея.

Среди гостей того последнего довоенного парада мало кто услышал, за маршами и ликующими выкриками из динамиков, перемену звука моторов, мало кто обратил внимание, что два танка в шеренге вдруг замедлили ход, и торчавшие из башенных люков головы и плечи командиров сразу же исчезли, и захлопнулись крышки люков. Полной остановки не было, но так как всё двигалось и обгоняло их, как стоячих, то и показалось, что они стоят. Это длилось не более четверти минуты; танки, шедшие следом, плавно их обогнули, а там и те два тоже двинулись и ещё до подхода к Василию Блаженному выровняли строй. И, может быть, у кого-то из зрителей крохотная эта заминка оставила впечатление изящного, заранее отработанного манёвра, — но, верно, не у военных. А у Кобрисова ёкнуло и заныло сердце.

После парада он вызвал к себе командиров, выслушал их объяснения о том, что вдруг начались перебои в двигателях, и они припустились узнать, в чём дело, и, может быть, помочь водителям восстановить ход. Всё было просто, ясно, понятно, а тем не менее оставило в Кобрисове неприятный осадок, и он не рассеивался от новых забот, но оставался

где-то глубоко, в виде покалывания или ноющей боли. Было особенно неприятно, что тем и начнётся его служба в Москве.

На двенадцатый день пришли за ним в номер. Постучались сразу после восьми утра, когда он, выбритый и освежённый одеколоном, надевал фуражку ехать в свой штаб, и, когда открыл — стояли двое в коридоре, вежливо взяли под козырёк, сказали, что машина ждёт, но шофёр заболел и повезёт другой, один из них. А почему двое их, новый шофёр просил извинить, что подкинет дружка в одно место неподалёку. Долго потом терзало генерала, что он мог бы и догадаться, да ведь и догадался, почувствовал же первоначальным звериным чутьём какую-то игру, но вместе и странное оцепенение — от слишком обидной мысли, что с ним могут обойтись так немудряще, так унизительно просто. Впрочем, уже в машине играть перестали, сказали, что место, куда *подкинут* генерала, такое, что вся Москва перед ним трепещет и каждый старается побыстрее пройти мимо, даже не посмотреть на эти ворота, к которым вот как раз и подъехали. И, словно бы эти слова были паролем, глухие безглазые ворота раскрылись, пропустили машину и тут же хлопнулись. Генералу ещё услужили — «дружок», выскочив первым, раскрыл ему дверцу.

Через каких-нибудь полчаса он был обыскан, лишён ремня и кобуры, бумажника с документами и фотографиями жены и дочек, часов, ключей и даже алюминиевой расчёски, и обмакнутые в чёрную краску пальцы ему прокатывали по бумаге. А следом подвергся и «физиологическому обыску», то бишь предстал голый перед громадной бабой в белом халате, с белым пустым лицом, на котором глаза располагались выше, чем следовало, а рот — малость ниже. Величиною она была с памятник Екатерине в Питере, купно с его пьедесталом.

— Ко мне спиной, — командовала она хоть и грубым, но всё же бабьим голосом. — Нагнитесь. Раздвиньте ягодицы.

— Да что я там могу спрятать? — вскричал генерал.

— Ко мне лицом, — говорила женщина-памятник. — Поднимите половые органы.

— Батюшки, неужто и тут прячут?

Он ещё пытался корявыми шутками побороть стыд, довольно неожиданный в человеке военном, ежегодно проходившем медкомиссию, в составе которой были и женщины, подчас хорошенькие. Как ни странно, а перед ними предстоять в чём мать родила он стыдился куда меньше, там всё смягчалось лёгкой игрой, с ними и пошутить было приятно, и на темы пикантные, этими шуточками перекликалось Божье братство полов, так пленительно меж собою враждующих. Вот чего не было там — брезгливого равнодушия к твоему стеснению. И тело твоё не рассматривалось с той точки зрения, что и куда можно в нём спрятать. Интересно, когда бы он успел, арестованный внезапно и всё время бывший под присмотром?

— Одевайтесь, — сказала пустолицая.

В обыском боксе ему выбросили его гимнастёрку с отпоротыми петлицами и срезанными пуговицами и тоже без пуговиц галифе, которые он должен был придерживать руками. Впрочем, надзиратель дал ему с полметра шпагатика и показал, как одним концом обвязать верхний угол ширинки, а другой конец продеть в пуговичную петельку. Он же, сердобольный, объяснил, почему нельзя пуговицы — что не заточил о каменный пол и не взрезал себе вены. Сапог ему тоже не вернули, а дали шлёпанцы без задников, они постоянно спадали с ног, так что ходить нужно было в них, не отрывая от пола, со стариковским шарканьем. И такого, потерявшего вместе с формой нечто весьма важное для человека военного, который себя и в штатском костюме чувствует не совсем ловко, ввергли в одиночную камеру и с грохотом заперли.

В отличие от многих и многих, генерал Кобрисов не счёл свой арест ошибкой, тогда как все другие арестованы правильно; их уже слишком было много, правильно арестованных, чтобы не понять, что всё отличие его состояло в том, чем всегда отличается твоя боль от боли чужой, — твоя больнее. Но в эти часы ареста у него возникло ощущение какого-то огромного разветвлённого заговора, охватившего всю страну; некие силы, дотолё скрытые, вышли из своих укрытий и одержали верх и вот скоро повергнут наземь и придавят сапогом всю могучую структуру государства, все его службы

и ведомства, вплоть до Политбюро и самого Вождя. И не нашлось во всём народе силы противостоять повальному уничтожению, потому что заговорщики действовали умно: они начали с главного звена, захватили службу безопасности и сделали её своей отмычкой ко многим дверям, душам и умам, а затем они обезглавили и обескровили армию. А она единственная и могла спасти страну от этого внутреннего — а может статься, и внешнего? — нашествия. Знал ли про всё это Вождь? Вполне возможно, что и не знал, они достаточно были хитры. А могло и так быть, что знал, но оказался беспомощной жертвой их, игрушкой, которой они вертели, как им было угодно.

И в первый же вечер началось ужасное. За стеной послышался бычий рёв мучимого человека, с которым непонятно что делали, при этом терпеливо, почти ласково в чём-то убеждая. Не скоро, из многих бессвязных криков, генерал постиг, что его соседу уже пятые сутки не давали спать. После ночных допросов он валился на пол, но тут же гремело веко глазка и врывались надзиратели его поднимать. Чувствовался человек большой телесной силы, которая его и обрекала на беспомощность, не давала впасть в спасительное беспамятство, чтобы не слышать пинков и шлепков по лицу; и та же могучая плоть требовала могуче хоть получаса, хоть пяти минут сна. «Вот это, — сказал себе Кобрисов, — и с тобой проделают». А с ним *это* уже и проделывали. Не по случайной ошибке поместили его в таком соседстве, и не затем только, чтоб этими рёвами и ласковыми пришепетываниями ему самому расстроить сон. С ним ещё ничего не сделали наружно, не тронули пальцем, но внутри него точно бы происходила химическая реакция, в которой одним компоненты соединялись, а другие распадались на составные частицы, и всё приходило к тому, что вещества конечные были уже с другими свойствами, чем изначальные.

На четвёртый день сочли, что он вполне созрел для встречи со следователем. И верно, созрел — поднявшегося ему навстречу старшего лейтенанта, с тонким лицом, с аккуратным пробором в светлых волосах, который с достоинством его поприветствовал глубоким кивком и чётко представился: «Опрядкин Лев Федосеевич», — он принял едва не за

избавителя и обратился к нему с жалобой, что не может нормально спать. Так сделал он крупную ошибку — и выказал свою слабость, и пожаловался неправильно: надо было начальнику тюрьмы и непременно письменно. Не должно быть сговора со следователем, а должна быть — жалоба на нарушение режима.

Следователь, разумеется, принял сообщение близко к сердцу.

— Это меня огорчает, — сказал Опрядкин, указывая место арестанту за столом напротив себя. — И вообще, это не дело — держать вас в одиночке. Сегодня же вас переведут в общую камеру. Там довольно тихо и не тесно: человек пять-шесть. Если, конечно, желаете.

Генерал согласно кивнул.

— Ну, вот и решили проблему. Я думаю, мы прекрасно поладим. Я помогу вам, а вы мне. Должен вас уведомить, Фотий Иванович, что дело ваше мне представляется чрезвычайно простым. Особенных усилий оно от нас не потребует. Мы за вами наблюдали очень давно и только ждали — на чём вы сорвётесь.

— Я сорвусь? — спросил генерал. — Это как же понимать?

— Но вас же всё время преследуют неудачи. Сначала — не вышло с японцами. Теперь вы решили сорвать злость на самом для нас дорогом.

— Что вы такое порете? И на чём это я «сорвался»?

— Я думал, вы уже всё про себя поняли, — сказал, улыбаясь, Опрядкин. — Как вы себе объясняете, за что вас арестовали?

— А это вы мне сказать должны. Я и гадать не стану.

— Не станете? — сказал Опрядкин и поглядел на него пристально и с лёгкой усмешкой. — Ну-ка, покажите мне ваши руки. Положите на стол. Я вам сам погадаю.

Ничего не подозревая, генерал их положил. И Опрядкин, схватив со стола линейку, быстро шлёпнул его сначала по одной руке, затем по другой. Шлёпнул не больно, однако именно это оказалось всего обиднее и вызвало непереносимый гнев.

— Ты что делаешь, мразь? — вскричал генерал. — Ты с кем это так?

Опрядкин, откинувшись на стуле, вздохнул почти горестно.

— И не хочется, а придётся вас наказать. — Он показал линейкою в угол комнаты. — Вон туда, арестованный. На колени в угол. И чтоб я больше не слышал в моём кабинете этого тыканья и грубых слов. Ну-с, я жду.

Кобрисов сидел недвижно, как бы в оцепенении. Гнев ещё затмевал ему голову, и он, понимая, что говорит лишнее, всё же сказал:

— Может оказаться, что я ни в чём не виноват. Вы к этому придёте. А дело сделаете — непоправимое. Я же этого не забуду.

— Интересно, на кого же вы обидитесь? — спросил Опрядкин. — На родную нашу власть? — И, так как генерал молчал, он напомнил: — А ведь я, кажется, что-то приказал вам? Фотий Иванович, я ведь для родины на преступление пойду. Возьму грех на душу, вызову трёх надзирателей, ну четырёх, они вас разденут догола и всё равно поставят, как я сказал. Только сначала они вас потреплют немножко. Руками и ногами. В кровавый ком превратят, в кричащее мясо. Но, Фотий мой Иванович, зачем? Лучше же без этого. Ведь это уже не вы будете, а, извините, зарезанный кабан. А мне нужно, чтоб вы остались самим собою — и чтоб вся правда сама выплыла, как на духу. Поэтому — лучше вы это сами делаете, правда?

Как теперь вспоминалось, когда генерал сделал это, когда прошёл туда и опустился, то прежде всего удивлён был, как просто это вышло. И было успокоительное ощущение, что ни пяди своей позиции не оставлено, как если бы он уступил машине.

Опрядкин, стоя над ним, сказал с сожалением:

— Я понимаю, с вами ещё так не обращались. Я не хотел никакого насилия, это не в моих правилах. Вы меня вынудили к этому. Ну, а теперь вы расскажете мне, и подробно, как вы готовили ваше покушение.

— Какое покушение?! О чём это вы?

— Не поворачиваться. Лицом в угол, пожалуйста. Как вышло, что ваши танки вдруг затормозили напротив Мавзолея? И что дальше помешало вашим танкистам? Не

решились? В последний момент всё же отказались от задуманного? Это же очень важно, это меняет квалификацию.

— Что за чушь вы плетёте?

— Вы опять грубите, — сказал, вздыхая, Опрядкин и взялся за свою линейку. — Руки назад, ладонями вниз. В следующий раз, если будете грубить, я вам горошку подсыплю. Вы на горохе ещё не стояли ни разу? Так, на первый раз довольно. Сейчас вас отведут в камеру, а там вы подумаете хорошенько. Я дал вам намёк, бросил, так сказать, ниточку путеводную, а вы уж размотайте весь клубочек.

— Да что я разматывать-то должен? Не понимаю я!..

— А вот и неправдычка, Фотий Иванович. Вы же не маленький, вы всё понимаете прекрасно. Если ваши танки во время парада вдруг тормозят напротив Мавзолея — напротив Мав-зо-лея! — то как это называется? По-ку-ше-ние, Фотий Иванович, покушение. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно.

— Да у них моторы глохнуть стали, какое там покушение!

— Сразу у двух машин? Ну, допустим. Но зачем ваши командиры покинули башни?

— Надо ж узнать, в чём дело. Водители — молодые, могли растеряться, не справились с управлением.

— Допустим. Всё как будто тасуется. Есть только одна ма-аленькая деталь — зачем они люки за собой закрыли? Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!

Генерал молчал, не смея повторить: «Чушь!» и не желая всё валить на своих лейтенантов.

— Я вижу, вы устали, — сказал Опрядкин. — Лучше вам поразмыслить наедине со своей душой. Можете встать. — И нажал кнопку вызова конвоя. — Отведите в общую.

Тем же вечером генерала перевели в другую камеру, не перенаселённую, где было восемь коек, и одна из них ему предназначалась заранее — не у двери и не у параши, как полагалось бы новичку, а чуть не рядом с окном, где воздух посвежее. Сосед его справа был полный и седой, барского вида, с розовым одутловатым лицом, слева — аскетичный брюнет, долговязый и с впалыми щеками, у кого всё лицо, казалось, и состояло из больших очков с чёрной массивной

оправой. Оба лежали поверх одеял и смотрели на него — как, впрочем, и вся камера.

— А у вас тут недурно, — сказал генерал, чтобы что-то сказать будущим соседям.

— Грех жаловаться, — ответил розоволицый барин. — В других камерах, насколько известно, много хуже.

— Это потому, — мрачно сказал очкастый, — что у нас к небесам поближе.

Розоволицый сразу посерел и, замкнувшись, отвернулся.

Несколько дней генерала на допросы не вызывали, и понемногу, когда прошло первое потрясение, он мог оглядеться и прислушаться к тем, кто волею судеб оказался рядом, прежде всего к ближайшим двум соседям. Ему хотелось сравнить, насколько хуже было их положение, чем его, и хоть в этом найти зыбкое утешение.

Оба они ничего хорошего для себя не ждали. Очкастый, как составилось из его реплик, преподавал логику в школе, а до этого, бывши студентом-заочником, зарабатывал себе пролетарский стаж в литейном цехе завода, а совсем до этого был он белым воином, офицером под знамёнами Корнилова, и вместе с ним проделывал знаменитый Ледовый поход. В том походе он простудился, схватил крупозное воспаление лёгких и чудом был спасён влюбившейся в него медсестрою, которая увезла его из армии и спрятала на хуторе у своих родичей. С нею прожили они более двадцати лет, не позволяя себе детей, чтобы случайно перед ними не проговориться и чтоб они не проговорились или не донесли о родителях-белогвардейцах. Но всё тайное когда-нибудь становится явным. Был в его корниловском прошлом крохотный эпизод, когда он доставил пакет самому Лавру Георгиевичу, и надо же было случиться, чтоб как раз этот момент был схвачен кинокамерою приезжего оператора. Молодой поручик лихо подлетал на коне к стоявшему на пригорке генералу, лихо осаживал, соскакивал, вытягивался в струнку. И генерал, достав руки из-за спины, принимал пакет, а затем, ласково улыбаясь, пожимал руку посланца. По этому пятисекундному кадру, включённому в какой-то документальный фильм о Гражданской войне, бывшего поручика, теперь и очкастого, и усатого, опознали сослуживцы и сосед по

коммуналке. К тому же бывший корниловец не удосужился фамилию сменить, а она была нацарапана гвоздём на коробке с плёнкой. И вот гуманная рабоче-крестьянская власть донимала его вопросом, на который при всём желании он не мог ответить: почему из тысяч пакетов именно этот необходимо было запечатлеть для истории? Небось такое в нём содержалось, что стоило многих смертей и крови бойцам Красной Армии.

Случай розоволицего барина — или, как он говорил, «казус» — был совсем особый. Барин, в звании профессора, читал в университете лекции по уголовному праву и как-то не обратил должного внимания, когда один его студент избрал темой дипломной работы правовую деятельность Временного правительства в период между двумя революциями. Профессор вяло возражал, что это неинтересно, недиссертательно, что там «тёмный лес» и «чёрт ногу сломит», но тем, кажется, ещё сильнее распалил любопытство настырного студента; он засел в архивах и выудил нечто сверхдиссертательное. Это был ордер на арест гражданина Ульянова («он же Ленин»), подозреваемого в шпионаже в пользу Германии, подписанный в отсутствие прокурора Временного правительства одним из его заместителей — или, как тогда говорилось, товарищем прокурора. Имя этого «товарища» и его подпись удивительно совпадали с именем и подписью руководителя дипломной работы... И что особенно отяжеляло вину розоволицему соседу, так именно его бывшее звание. Прокурор бы этот ордер выписал по служебному долгу, товарищ — не иначе как по велению души.

Поначалу «казусы» его соседей казались генералу таким же бредом, как и его собственное дело, однако своих вин они не отрицали, даже охотно их разбирали вдвоём.

— Да не за это вы сюда попали, — досадливо отмахивался корниловец, — а за лень. За преступное, я бы сказал, бездействие. Ордер-то выписали, а за исполнением не проследили. Вот и выпустили подранка. А это, всякий охотник скажет вам, самый опасный зверь.

— А вам не следовало лезть под объектив, — огрызался товарищ прокурора, и склеротические жилки на его щеках проступали краснее. — Тщеславие вас обуяло,

милостивый государы! Хотелось в истории след оставить, вот и дали след.

— Ну, это уж не от меня зависело. Это, если хотите, господин Неуправляемый Случай. А у вас — все вожди были в руках. И подумать только — скольких людей вы могли осчастливить!

От их бесед генерал поначалу старался быть подальше. Могло же быть, что Опрядкин его подселил нарочно к *явным врагам*, чтоб подследственный ужаснулся, до чего докатился он, в какой компании оказался. Или же это были «наседки», назначенные спровоцировать его, чтобы потом навесить ему «недонесение». Много было тут подозрительно: в камеру приводили с допросов — а чаще приволакивали — избитых, окровавленных, языком не ворочавших от смертной усталости, эти же двое приходили целёхонькие, их вроде бы пальцем не трогали. Но понемногу, к его удивлению, проходила изначальная неприязнь к *явным врагам*, а с нею вместе рассеивались и подозрения. Выпал случай заметить, что свои прения они вели и без него. А не трогали их потому, что они в своих винах не запирались, а бывший корниловец так даже своею гордился. И разве его, Кобрисова, если не считать линейки, так уж тронул Опрядкин?

И пора же было открыться им, никуда не денешься. Както они втянули и его в откровенность, он им поведал о танках и Мавзолее — с опережающей усмешкой, как о несусветной чуши. Оба выслушали внимательно и задумались.

— А боекомплект был? — первым спросил корниловец.

— Боекомплект? — это генералу как-то не приходило в голову.

— Ну да, снаряды, патронные ленты к пулемётам. Не собирались же вы, товарищ красный генерал, драгоценную усыпальницу гусеницами давить.

— Это же самое важное, — сказал товарищ прокурора. — Это меняет всё дело.

— Мог и быть, — отвечал генерал. — В часть пригнали укомплектованными. А в парадах с танками никогда не участвовал.

— Говорите, что не было, — сказал корниловец. — Кто станет проверять? Они тоже лени подвержены, как и все мы.

— Ошибаетесь, дорогой, — возразил товарищ прокурора. — Им ничего не лень! Они и подложить могут задним числом.

— Вот так и говорите, если на то пойдёт, — сказал корниловец. — «Вы же сами и подложили». Главное, чтобы вы первый заявили, что не было боекомплекта. И добейтесь, чтоб это в протокол вошло.

Получилось, однако, не так, как советовали генералу соседи. Опрядкин его возражение выслушал, наливаясь лицом, и при этом он медленно, один за другим вытягивал ящики письменного стола, а затем разом их задвинул дверцей — с грохотом, от которого генерал даже вздрогнул.

— Фотий Иванович, — заговорил Опрядкин, вышагивая по кабинету, животом вперёд, разбрасывая ноги в стороны и рубя воздух ладонью, — да если б был он, боекомплект, если бы были снаряды, я бы с вами не разговаривал. Я бы вас вот этими руками растерзал, удушил бы. А вот потому, что не было, я и говорю: «покушение». Ну, чёрт с вами, оформлю через статью девятнадцатую — как «намерение». От которого по какой-то причине отказались. Но не потому, что вдруг обнаружилось отсутствие боекомплекта. Придумайте что-нибудь убедительней. Я от вас высшую меру хочу отвести, а вы мне помочь не желаете. Я вам хочу десятку оформить, так давайте же вместе, вдвоём, поборемся за эту десятку!

Генерал уже и не знал, что отвечать на это.

— Но снарядов же не было! — твердил он упрямо. — Патронов к пулемётам — не было!

Опять он вздыхал, Опрядкин, и брался за свою линейку.

К некоторому даже удивлению генерала, в камере предложение Опрядкина было воспринято и рассмотрено вполне серьёзно.

— Это не так кровожадно, как на первый взгляд кажется, — сказал товарищ прокурора. — Он предлагает компромисс — и взаимовыгодный. Ведь ему тоже надо что-то представить начальству, а вы без десятки всё равно отсюда не выйдете. Можно построить очень даже трогательную версию на том, что отказались от покушения. Увидели обаятельные лица вождей, поразились обликом товарища Сталина... что-нибудь в этом роде. И устыдились. Точнее — ужаснулись.

Так правдоподобней. Совсем отрицать хуже. Нужно же и следователю дать кусочек хлебца с маслицем.

Угрюмый корниловец этот вариант забраковал напрочь.

— Не стоят они вашего «правдоподобия». Нашли компромиссы — между кошкой и мышкой! Глухая несознанка — вот лучшая защита. Или он должен признать, что взяли боекомплект на парад? Да за это одно — к стенке. Даже если правду можно сказать, всё равно врите. Спросят, кто написал «Мёртвые души», — говорите: «Не знаю». Гоголя не выдавайте. Зачем-то же им это нужно, если спрашивают. А впрочем, — прибавил он, оглядев генерала взглядом отчуждённым, едва не презрительным, — я ведь исхожу из своего опыта. У вас опыт — другой. Вся ваша жизнь, товарищ красный генерал, доселе была, в сущности, компромиссом. Так что, может статься, вы со своим следователем и поладите.

Стена отчуждения всё время стояла меж Кобрисовым и обоими его соседями, и за надёжных советчиков он их всё-таки не держал. В глубине души — в такой глубине, что он постыдился бы себе признаться, — он не стремился эту стену разрушить, он её даже укреплял, внушая себе, что у соседей всё-таки были, не в пример ему, основания находиться здесь и ждать расстрела. Они, как уже, верно, сформулировано было в их обвинительных заключениях, активно боролись против советской власти, он — активно её защищал. И то, что годилось для них, не могло относиться к нему. Не вполне исключалось, что он бы мог со *своим* следователем и поладить.

Ещё и то способствовало разобщению, что им, москвичам, регулярно доставлялись передачи, а ему, иногороднему, оставалось довольствоваться кашей на хлопковом или конопляном масле, которую приносили в ведре и вышвыривали ему половником в подставленную миску, фунтом липкого хлеба, двумя кусочками сахару и чаем из сушёной моркови и яблочной кожуры; этого было мало ему и это огорчало едва не до слёз; он съедал свой обед, так пристроясь, чтоб не видели его лица. Он себя стыдился, он стыдился унижений, каким подвергали его, и не понимал, что тем он себя унижает ещё сильнее. Но вот как-то увидел он, что его

соседям передачи от жён или детей, которые не отказались от них, доставляют не столько радости, как можно было бы ожидать; корниловец, съедая домашние пирожки с мясом, разломанные надзирательскими пальцами, ещё больше мрачнел, а розовый барин, разложив снедь на койке, долго смотрел на неё и проникался к себе такой жалостью, что на глаза у него навёртывались слёзы. Однажды генерал засмотрелся на него слишком открыто и продолжительно, и товарищ прокурора, заметив его взгляд, расценил это по-своему. Он густо намазал большой кусок хлеба маслом, а сверху нагрузил толстым пластом колбасы и всё это протянул генералу:

— Позвольте угостить, не побрезгуйте.

Генерал, спохватясь, отпрянул и помотал головою.

— Они не возьмут у вас, — сказал корниловец, глядя на него почти брезгливо. — Коммунисты же против частной благотворительности.

— Генерал, это прежде всего некрасиво, — сказал товарищ прокурора, держа бутерброд терпеливо в протянутой руке. — Делиться едой — святая тюремная традиция.

— Да я что же... Только чем отдавать буду? Мне-то передачи носить — некому.

— Но если бы передачи носили каждому, тогда бы и традиции не возникло. Примите, прошу вас.

И генерал принял тюремный дар и отведал его. Корниловец протянул ему пирожок, генерал принял и его.

Понемногу становился он другим, чем был до этого. Он, как бы даже отстранясь, постигал тюрьму. Ему уже не нужно было объяснять, почему ложку ему дали деревянную, а миску — железную, с толсто закруглёнными краями. А отчего суп из трески отдавал содой, это он мог сам объяснить соседям по-солдатски: «Чтоб поменьше о бабах думали. А с чесноком было бы — наоборот». С интересом, подчас и с восхищением он воспринимал предусмотрительность стражей, но и хитроумие охраняемых. В предбаннике стриг волосы и подбривал усы парикмахер из вольных — всё машинкой, никаких бритв, и совершенно голый! Это чтобы он не смог послужить почтовым ящиком между тюрьмой и волей и между клиентами из разных камер. Ночами предпринимались «мамаевы побоища» — повальные шмоны с выгоном из камеры

по команде «Все с вещами!», проколы шомполом подушек и матрасов, разрывы швов на одежде, — и никогда ничего не находили, и почта всё равно работала: утаённым грифелем, который, бывало, припрятывали в ноздре, на клочке подтирочной бумаги писалась цидулька — два-три слова: «Такого-то — к вышке», «Такой-то — наседка» или просто отчаянный зов: «Валя, отзовись!», — послание закатывалось в хлебный мякиш и прилеплялось к банной скамейке снизу. Это было почтовое отделение номер два, номером первым был сортир. Непостижимо меж разгороженными, разобшёнными людьми растекались новости с воли, приносимые новыми арестантами, — и против законов человеческой солидарности радовались новичку, точно он был вестником свободы. Его называли «свежей газетой», и главная его весть была — о новых и всё расширяющихся посадках. Но, странное дело, это не только угнетало и печалило, но чем-то и обнадеживало: процесс вот-вот перешагнёт критическую черту, когда он сделается неуправляемым. И тогда маятник, достигший крайней своей точки, начнёт движение обратное.

Новой волною арестов, — что заранее необъяснимо узнавалось в камере, — принесло В., знаменитого московского литературоведа. Обрадовались и ему — как простому свидетелю, что берут уже всех без разбору, а не только «политиков», и это к лучшему: чем больше людей арестуют, тем скорее исчерпана будет возможность держать столько людей в неволе. Сам новичок был, правда, другого мнения — что возможности России в этом отношении неисчерпаемы, — как, впрочем, и во многих других.

На какое-то время он сделался центром внимания и пребывал в постоянных беседах — групповых или наедине. Ни своей профессией, ни багажом своих знаний генерал никак не соответствовал новому соседу, не мог бы приблизиться собеседником, а тем не менее стал им — неожиданно быстро.

Как-то, при общем выводе на opravку, досталось им вдвоём выносить парашу. Староста камеры нашёл, что они ростом подходят друг другу, и, значит, перекося не будет, содержимое не расплещется. Литературовед В. был, и впрямь, длинён, только худюш и одышлив, а главное — нервен излишне.

То и дело он подёргивал слабой своей рукою — и не для перехвата, а по случаю стукнувшей ему в голову идеи.

— Мой генерал, — спросил он, — не кажется ли вам, что копь скоро чаша сия не миновала нас, мы могли бы извлечь из неё... то есть, разумеется, не из неё самой, а из процесса её несения, ценности интеллектуального порядка?

— Какие же это, к примеру? — спросил генерал.

— Ну, скажем, дать определение новейшей исторической формации: «Коммунизм есть советская власть минус канализация». И что самое приятное, эта формация уже построена!

Генерал лишь оглянулся — не слышал ли кто эти речи. Слава Богу, напарник его говорил, будто с вишнёвой косточкой во рту, за два шага уже нельзя было разобрать.

— Вы смущены парадоксальностью определения? — продолжал он, кося выпуклым глазом куда-то в потолок, свободной рукою оглаживая лысину, с начёсом реденьких чёрных волос. — А мне представляется, оно ничуть не противоречит тезису основоположника: «плюс электрификация». Всё очень симметрично. Применив «плюс», он тем самым не исключил существование «минуса».

— Он ни хрена не исключил, — сказал генерал, сбиваясь на полущёпот. — Всё-то у него симметрично. Хошь в ту степь, хошь в противоположную...

— Bravo, мой генерал. Никто не постиг этого человека лучше вас. Вы никогда не пробовали доверить свои мысли бумаге?

— Это, стало быть, особому отделу? Не пробовал. Это уж ваше дело — литература.

— Я к литературе имею отношение косвенное. То есть занимаюсь, с вашего разрешения, литературой о литературе.

— Ну, так или иначе, а вы человек писучий?

— Как вы сказали?

— Ну, есть у вас такая писучая жилка, что ли.

— Подозреваю, — сказал литературовед В., — что мысленно вы меня так и называете: «писучая жилка». Я угадал?

Генерал так не называл его, но согласился, что оно и неплохо. С этого дня пошли у них долгие беседы, которые и название получили: «Размышления у парашаи». Смысл

названия был не столько топографический, сколько исторический — просто, с параша всё началось.

Отношения их вскоре сложились так, что генерал мог задать вопрос деликатный и обычно избегаемый в тюрьме: «За что попали сюда?»

— За вину, — ответил «писучая жилка». — То есть посадили меня, как водится, ближние, мои же коллеги, но не безвинно, нет.

— Какая же вина?

— В писаниях моих было много непродуманного. Ну, хотя бы, что Вольтер своими идеями оказал сильнейшее воздействие на русских революционных демократов.

— А он — оказал?

— В том-то и дело, что ни хрена. Скорей — они его презирали, и слово «вольтерьянство» считалось у них ругательством. Но зачем я это написал! Вот и сижу.

— Да ведь чепуха собачья!

— Я тоже так думаю. Расстрелять — не расстреляют, это в следующий раз. Но экскурсия на Соловки, лет на восемь, мне обеспечена.

В свой черёд, генерал ему без утайки рассказал о своём. «Писучая жилка», выслушав его, помрачнел.

— А вам, мой генерал, надо бояться.

— Чего?

— А того самого. Что мне не грозит пока. Вам есть прямой смысл бояться и не верить ни одному слову вашего следователя. Вы должны во что бы то ни стало выйти на волю. И держите себя с уверенностью, что вы им ещё понадобится. Сумейте их в этом убедить. Именно в этом, а не в своей невиновности. Вы им не свой, только не подозреваете об этом. Есть христиане, которые не подозревают, что они христиане. И это — самые лучшие из них. Так и вы. Не свой, вот в чём ваша вина. Однако не всё для вас потеряно. Ведь война на носу, мы только не говорим об этом. И наши ганнибалы, конечно же, не справятся, просрут. И так как слишком многих убиенных уже не воскресить, то вся надежда будет на вас, мой генерал.

— Да в том-то и дело, что не верят они насчёт войны.

— Верят, не сомневайтесь в этом. И бояться смертельно.

— Почему же армию так разоружили, лучших людей — в распыл? Ну, провинились, допустим, так и держали бы их про запас по тюрьмам...

Задавая этот вопрос, он о себе спрашивал, и «писучая жилка» это понял, ответил и с печалью, и с явным желанием приободрить:

— Вы дослужитесь до маршала. Если только выдержите. Боже мой, как трудна ваша задача! Мало побеждать во славу цезаря, надо ещё все победы класть к его ногам и убеждать его, корча из себя идиота, что без него бы не обошлось! Ваши несчастные коллеги этого не поняли, вот в чём они провинились. Но вы спрашиваете, почему нельзя было, учитывая их заслуги, что-то другое для них придумать, почему обязательно — смерть? Не так ли, мой генерал?

— Так.

— Я думаю, правы те умные головы, кто исследует для этого случая модель воровской шайки, законы общества, которое себя чувствует вне закона. Воры и бандиты никакого другого наказания не знают, только смерть. Это даже не наказание, это просто мера безопасности. По тюрьмам будут сидеть те, кто у них не вызывает опасения. Но при малейшей опасности... Вы меня понимаете?

— Что-то слишком они стараются, — сказал генерал. — Зачем столько, удивляюсь я. Одного напугать как следует — это трём тыщам наука.

— О, вы преувеличиваете совокупный интеллект человечества. Оно плохо усваивает уроки истории, то есть даже совсем не усваивает, и приходится эти уроки повторять и усиливать, главное — усиливать. Так что наши следопыты действуют мудро. Инстинктивно, а — правильно. Они проводят величайший исторический эксперимент. Чтобы искоренить неискоренимое — собственность, индивидуальность, творчество — они положат хоть пятьдесят миллионов, а напугают полмира. Эксперимент — бесконечный и заранее обречённый, через тридцать-сорок лет это будет ясно всем. Но на их век работы хватит.

— Что-то мрачно вы рисуете, — возразил генерал. — Что же, они о внуках своих не думают?

— Напротив. Всё и делается ради внуков. По крайней мере так часто они об этом твердят, что и сами поверили. Только не знают, что внуки от них отшатнутся в ужасе.

— Ну, кто как. Некоторые и погордятся. Это же как бы новое будет дворянство.

— Вы думаете? А, пожалуй, вы правы... Кстати, как мы условимся их называть? Просто — «они»? Ведь нет им аналога в мировой истории.

— Злыдни, — сказал генерал. — Злодеи.

— Позвольте, мой генерал, не согласиться. И самый главный из них — не злодей. Он — слуга народа. Я не думаю, что ему доставляет удовольствие уничтожить таланты, он даже старается кое-кого защитить. Но это ему не всегда удаётся. Народ любит казни, а он — восточный человек, он понимает такие вещи. И глупо называть его извергом. Он просто придумал новые правила игры. Представьте, вы играете в шахматы, и ваша пешка ступает на последнее поле. Ваш противник обязан вам вернуть ферзя. А он берёт да этим ферзём — вас по голове. Оказывается, он ввёл новое правило, только вас не предупредил.

— И какая же тут защита?

— А никакой. Не садиться играть в такие игры, где правила меняются с каждым днём. Как только сели — Господь Бог уже не на вашей стороне, всем теперь заправляет сатана. Вы, мой генерал, по роду своей профессии играете в эти игры, так должны быть готовы ко всему. Пусть вас утешит, что наши худшие опасения всё-таки не сбываются. То есть не всегда сбываются.

— Но, может, и у него свои правила, у сатаны? — спросил генерал, усмехаясь. — Не одно злодейство на уме?

— Мой генерал, вы на верном пути. Вам надлежит усвоить: ничто у нас никогда не делается из побуждений добра, то есть делаются и добрые дела, но всё равно из каких-то гнусных соображений. Я верю, например, что у вас всё кончится хорошо — но не потому, что кого-то одолеет жажда справедливости, кто-то за голову схватится: что же это мы творим! А вмешается — дьявольская сила. Вот на неё и надейтесь. Она окажется сильнее. Бог эту страну оставил, вся надежда — на Дьявола.

Между тем всё то, что казалось таким ясным и очевидным в камере, в их «размышлениях у параша», не оказывалось таким в кабинете следователя. Игру, от которой предостерегал «писучая жилка», генерал не мог пресечь, не мог сомкнуть уста и вовсе не отвечать на любые задаваемые ему вопросы. Так, верно, следовало поступить при начале следствия, но не тогда, когда уже согласился хотя бы назвать своё имя и звание — то, что следователь мог вычитать из документов, изъятых у арестованного. И надо было обладать волшебным умением пропускать мимо ушей вопросы и обвинения самые чудовищные, подчас идиотские, от которых кровь бросалась в голову и затмевала сознание.

— Вы же лакей Блюхера! — кричал Опрядкин. — И вы эту связь будете отрицать?

Кобрисов был «лакеем Блюхера» в той же мере, как и лакеем Ворошилова, а связь была такая, что Блюхер командовал, а Кобрисов ему подчинялся. Но теперь выплывало, что слишком хорошо подчинялся, Блюхер на смотрах и учениях ставил его дивизии самые высокие баллы, а его самого представил к ордену Красного Знамени. И говорил не раз, что может вполне положиться на дивизию Кобрисова.

— Это — в каком же смысле? — спрашивал Опрядкин. — Это когда придёт время открыть границу японцам?

Свой вопрос повторял он часто, и всякий раз генерал так и видел себя, поднимающего полосатый шлагбаум, и колону ожидающих грузовиков с желтолицей пехотой.

Об одной детали Опрядкин говорил не без удовольствия, что она далеко не лишняя в его «следовательской копилочке». На обычных стрелковых мишенях, где изображался бегущий в атаку пехотинец, он был в мелкой каске — неопределённого образца, скорее английского (напоминание об Антанте). Так вот, генерал зачастую на стрельбищах выражал недовольство этими, утверждёнными Наркоматом Обороны, мишенями, говорил, что каски следовало бы наклеивать глубокие, как у немцев, какие и придётся увидеть стрелку.

— Это что же? — вскрикивал Опрядкин. — Считали возможным противником Германию? И это вы бойцам внушали? Перед лицом вооружающейся Японии?

И самое стыдное, генерал почему-то страшился так и сказать: «Да, считаю Германию!» Он предвидел, какой вопрос за этим последует: а как определил он возможного противника? Ответить ли, что *по сходимости*? Исходя из того, что два медведя не уживутся на одной поляне, в какую сейчас превратилась Европа?

— Да вы это о чём? — вскипал гневом Опрядкин, точно бы прочтя его мысли. — Вы и думать об этом не смейте. Разве не ясно товарищ Молотов сказал, Вячеслав Михайлович: «Мы с немцами братья по крови». Не читали? Быть того не может! Сознательное притупление бдительности в войсках — вот как это называется. Разоружение перед реальным врагом.

Более всего поражало и бесило генерала, как всё то, что, казалось бы, могло считаться заслугой, выворачивалось ему в вину. Имел грамоту за высокую дисциплину в частях — но Красная Армия славится не *тупым подчинением*, а высокой сознательностью; для того и муштровал дивизию, что расхлябанная не соберётся тотчас в кулак и не пойдёт, куда он прикажет — хоть и напрямиком в японский плен. Много внимания уделял противотанковой обороне, защитным приёмам одиночного бойца — это прекрасно, но какие же у японцев танки, против них рукопашный следует применять, *наш излюбленный бой*, которого они избегают, а он-то в дивизии Кобрисова был не в почёте, и не странно ли это для конника, знающего цену острой шашке? Учил манёврам отступления — это ещё зачем? Это не наша доктрина, мы наступать будем, воевать на чужой территории и малой кровью. А перед кем нам отступать?! Сюда же ещё улика — своих командиров, переводимых на восток с западной границы, поощрял вывозить оттуда и семьи, охотно давал им на это отпуска и сопровождающих для укладки и переезда, выбивал у местных властей жильё для комсостава — да никак целую республику хотел создать на Дальнем Востоке, с последующим отторжением под эгиду Японии?

Так сама земная твердь уходила из-под ног, так любые его поступки оказывались шагами к расстрельной стенке. Иной раз генерал, чувствуя себя спелёнутым этими изощрёнными путами, взрывался и лез напролом:

— Но вы же никаких заслуг не цените! У того же Блюхера — не было их? Или у Тухачевского?

— Какие же, интересно? — вскидывался Опрядкин. — Что вы считаете их заслугой?

— Убираем протокол?

— Убираем, это мне самому интересно. — И Опрядкин захлопывал папку.

— Если война грянет, вы же Блюхеру скажете спасибо, что у нас танки есть. И неплохие танки. А если у нас и самолёты есть, то скажете спасибо Тухачевскому.

Он тут же спохватился, вспомнив, как называл аресты и Тухачевского, и Блюхера головотяпством, преступлением. Но, верно, слышавшие это не донесли на него.

— И скажем, — отвечал Опрядкин с некоторым удивлением в голосе, будто ждал откровенности куда большей. — За танки и самолёты мы и сейчас им говорим спасибо. Вы думаете, товарищ Сталин не ценил их? Не ценил Уборевича, Якира? Очень даже ценил и ценит. Но расстрелять-то их — надо было.

— Да почему «надо»?!

— Они в заговоре участвовали или нет?

— И это доказано?

— Собственноручными показаниями! Признавались, как у попа на исповеди.

Генерал на это замыкал уста. Опрядкин подозрительно озирался вокруг и понижал голос:

— А вы сами — не понимаете, почему их ликвидировать пришлось? Они же стали бы тормозом. Обновлять нужно армию, а они молодым не дали бы ходу. Если сейчас их не убрать, потом будет поздно. Это, если хотите, сверхпредвидение.

— Так вы из людей, из вернейших, заранее врагов делаете! Зачем?

— Фотий Иванович, а из кого же их делать? Бывает, самый лучший враг — из своих, который вчера ещё другом казался. Больше он злости вызывает. Ну, это в порядке юмора, не под протокол. А если серьёзно, то советская власть никаких врагов не боится. Столько у неё единомышленников — во всём мире, не только в стране, — что их всех и не

прокормишь. Так что она себе может позволить такую роскошь — друзей на прочность проверить, а кого и ликвидировать, даже самых верных. Если это надо.

— Опять «надо»!

— Да! Да! Значит, были на то соображения. Вы поймите: советская власть — это ослепительный вариант! Это такая удача в мировой истории, что все наши ошибки не могут нам повредить! Если вы вдруг миллион выиграли, неужели вы пожалеете сто рублей на шампанское? Советская власть может себе позволить всё. Уничтожить сотни тысяч, миллионы. И сотни тысяч, и миллионы встанут на её защиту. Такие ценности написаны на её знамёнах. Вы возьмите меня — кто я был? Подкидыш, беспризорник. С чего началась моя карьера? С того, что я украл одеяло. Укрыться хотелось потеплее, Фотий Иванович, не пропить, нет. Я жил в дровяном подвале, там холодно. А меня накрыли, били сапогами в поддых, лежащего... Вас, кстати, ещё не били сапогами?.. И кто меня выручил? Сотрудник ГПУ Удальцов Фёдор Палыч. Он мне сказал: «Лёва, я знаю, ты от меня убежишь, но ты наш человек, Лёва, попомни мои слова, ты к нам придёшь». Я убежал тогда, скитался два года, воровал в поездах — и вернулся. Я осознал — всё, что я мечтаю получить, мне только советская власть может дать. Образование, почёт, самоуважение. И вот я с одеяла начал, а теперь — старший лейтенант государственной безопасности. А завтра — капитан...

— А послезавтра — майор.

— Да! — вскричал Опрядкин. — Да! А там и старший майор. А это уже равно генералу. А ты, ссука, откуда пришёл, — он показывал под стол, — туда и уйдёшь! Тебя революция, советская власть генералом сделали, а ты это ценил? Вот с тебя и сорвали петлицы...

— Я не сука, — сказал Кобрисов. — И я генералом мог при царе стать. Может, даже скорее.

— Ну, знаешь ли!

— Знаю.

Опрядкин, не найдя, чем ответить на эту наглость, вскакивал, некоторое время ходил по кабинету из угла в угол, животом вперёд, разбрасывая ноги в стороны. Затем, успокоясь, брался за свою папку.

— Н-да, — говорил он, вздыхая. — Наговорили мы тут, напозволялись!..

— Ничего я вам не сказал, — спохватывался генерал.

— А если бы и сказали? Не под протокол же. Зачем же я буду такой поросёнок — джентльменское соглашение нарушать? Мне ваше доверие дорого, вот чего вы понять не можете. Помогли бы мне построить дело, и я бы вам помог — как от высшей меры уйти. Можно же на покойника свалить — это он, Блюхер, хотел границу открыть, а вы были слепым исполнителем. Вот вам смягчающее обстоятельство. А иначе — вот какой вопрос возникает: мы все его врагом не считали, но почему это он нас обманул, а вас — нет? Вы ж ему до сих пор верите!..

Генерал молчал угрюмо, и Опрядкин, вздохнув, нажимал кнопку вызова конвоя:

— Уведите.

В камере предложение Опрядкина — всё валить на покойного маршала — встретили по-разному. Корниловец от обсуждения устранился:

— Наша чванливая офицерская честь и подумать об этом не позволяла. Но у вас на красных знамёнах иные заповеди: «Всё нравственно, что на пользу пролетариату». Вы сейчас самый что ни на есть пролетариат, вот и думайте.

Товарищ прокурора осторожно заметил, что речь идёт всё-таки о мёртвом, которому ведь ничто не грозит. Корниловец его не удостоил ответом. Совсем иного мнения был «писучая жилка». В очередной «беседе у парашаи» он сказал:

— Дело тут даже не в чести, а в пошлой прагматике. Этот ваш Блюхер, если мне память не изменяет, заваливал Тухачевского — живого. В составе суда, зная, что невиновен, что всё бред, приговорил к смерти. И что на этом выгадал? Сам через год угодил под тот же топор... Так что не мучайтесь. Я бы на вашем месте подумал о другом: нарушит ли ваш Опрядкин слово?

— Тоже думаю, — сознался генерал.

— Нет, мой генерал, не нарушит. Расстреливать вас будут другие. А он уйдёт в отпуск. Я вижу, вы втягиваетесь в игру, она вас увлекает. Вам уже хочется испытать, держат ли слово урки, бандиты. Держат, у них есть кодекс чести, но только

в своём кругу. Так если на то пошло, станьте одним из них. Ну, если не можете совсем отказаться от игры, тогда — притворитесь. Ведь всюду сговор, почему бы и вам не сговориться. От вас не веры требуют, а лишь показать символ веры — так покажите! Убедите их, что вы им верите, не сомневаетесь, что они — рыцари идеи. Им это понравится, и они вам не станут делать худо. А впрочем... Нет, не советую. У вас не получится. Всё несчастье, что мы с вами думаем мозгом, а они — мозжечком, гипоталамусом. Это вернее.

— А не упрощаете? — возражал генерал. — Что-то ж действительно там написано, на знамёнах, из-за чего люди умирать пойдут.

— Он вас не обманул, — сказал «писучая жилка». — Ваш Опрядкин не врёт. Французская революция написала: «свобода», «равенство», «братство» — и рубила головы, ничуть не опасаясь всеобщего разочарования. А у *них* — ещё проще. Они свой лозунг укоротили до одного слова, но зато могут его написать громадными буквами. Только одно: «равенство». Всё остальное — ерунда. «Свобода» — на самом деле никому не нужна, люди просто не знают, что с нею делать. «Братство»? Его нет в природе, нет в животном мире, почему бы ему быть в человеках? А вот равенство — это вещь. Мне плохо, но и тебе тоже плохо — значит, нам обоим хорошо. У меня мало, но и у тебя не больше — значит, у нас много! За это и умереть можно. И никаких жизней не жалко. Ни своей, ни тем более — чужих.

— Ну и век же нам с вами выпал — жить! — говорил генерал почти с восхищением.

— Век разочарований, — «писучая жилка» разводил руками и усмехался, поддёргивая небритой щекой. — Взбесившаяся мечта всех просвещённых народолюбцев — толпа наконец приобрела право распоряжаться собою. Сидели бы спокойно при своих династических монархах, которые и убили, то все вместе едва ли больше, чем ваша славная армия в восемнадцатом году. Видите, как всё смещается, когда свергают умеренного деспота, какими были наши цари. Когда в тайге убивают тигра, то размножаются волки, от них урона куда больше. Увеличивается потребление — и каждый

хочет воспользоваться своим правом. Сколько прав лежало перед «маленьким человеком» — он охотнее всего воспользовался самым примитивным: тоже быть тираном. Мы с вами говорили о нём, — тут «писучая жилка» на миг устремлял косящий взгляд в потолок, — ему самому много ли надо? Ну, помучить одного-двух, чтоб не напрасно день прожить. В масштабе страны — это пылинка, микроб. Но за это надо заплатить — то же самое разрешить и другому, кто тебя подерживает, ему тоже хочется помучить...

Генерал не рассказывал никому о методах Опрядкина, стыдился рассказывать, тогда как «писучая жилка» делился охотно всем и со всеми. В чём его вина состояла, генерал понять не мог, как и того, стоило ли так упорствовать, что греко-микенская культура ничуть не ниже той, что привнесла Великая французская революция, или что Мейерхольд на десять голов выше Завадского или Охлопкова (а по генералу, так пропади они все трое, чтоб из-за них ещё ночами тягали на допросы!), однако же методы следователя Галушко произвели на него впечатление. Этот Галушко тоже себя считал интеллигентом и пути расколоть подследственного выбрал интеллигентные. При аресте и обыске у «писучей жилки» нашли в архиве восемнадцать писем Вольтера — подлинных, как утверждал владелец и против чего нисколько Галушко не возражал — иначе бы его метод копейки не стоил. Вот что придумал он — сжигать по одному письму на свечке, когда подследственный запирался или казалось Галушке, что он не откровенен. Письмо сжигалось в конце допроса, при подведении итогов, так что минутный акт сожжения подследственный переживал заранее долгими часами. И, разумеется, ему прежде показывалось это письмо, даже в руки давалось подержать, дабы он ещё раз осознал его ценность.

Уже три письма было так сожжено, и Галушко пообещал, что как доберётся до восемнадцатого, то самого владельца оформит к расстрелу — за уничтожение величайших культурных ценностей.

— Да как же он докажет, — поинтересовался учитель логики, а прежде корниловский офицер, — если он доказательства сожжёт?

— Очень просто докажет, — отозвался товарищ прокурора Временного правительства, — ссыплет весь пепел в архивный конверт и даст эксперту, а тот понюхает и напишет заключение, что пепел — тот самый. А где сжѐг? Да у себя дома на свечечке, чтоб не досталось народу.

Самого же «писучую жилку» не так поразила перспектива быть расстрелянным за Вольтера, как то, что Галушко назвал эти письма «величайшей культурной ценностью».

— Так, значит, понимает, что ценность? — прямо-таки бесновался он. — Ведает, что творит?

— А они всегда ведали, — сказал корниловец. — Не ведал бы — так не жѐг.

Генералу было мучительно видеть, как убивается «писучая жилка» из-за каких-то бумажек, и он, отозвав его в угол, осведомился полушёпотом:

— Позвольте узнать... А копии с этих писем — составлены? Они в надёжном месте? — И, кашлянув смущѐнно в кулак, добавил: — Если во мне не уверены, то не отвечайте...

«Писучая жилка» взглянул на него с изумлением.

— Боже мой, о чём вы? Да говорите, кому хотите. Копии есть во многих музеях. Они приведены в книгах. Но, мой генерал, он сжигает не копии, он сжигает подлинники!

— Ах, вон что... — сказал генерал. — Да, я понимаю.

И ему самому показалось, что он это понял.

На четвёртом письме великого эпикурейца, которое лишь подпалилось с угла — и тут же Галушко его погасил, — на этом письме «писучая жилка», не битый, не тронутый пальцем, сломался. Он согласился подписать всё, что ни натолкал ему в протокол изобретательный Галушко, и возвратился в камеру с просветлённым лицом, имея впереди восемь лет Соловков, а при его истрѐпанном сердце — так и неминуемую быструю смерть.

— Всѐ! — сказал он генералу, вздохнув освобождѐнно. — Теперь я — человек.

И странно, с этого дня внутренне оборонился и генерал против своего Опрядкина, понял, что не всё отдано и растоптано, что и в слове ещѐ не падение человека, можно и сдаваясь победить, если избрать своим оружием — смирение, смирение разума перед тупой и дурной силой, которая

не есть человек, никак, никогда не может считаться человеком, а потому и оскорбить и унижить не может. И мгновенно это понял Лев Федосеевич Опрядкин, почувствовал своей бессовской интуицией блатаря, что сломался он, а не Кобризов, когда тот совсем другим человеком явился к нему на допрос. Этот человек не покорно, а свободно протянул руки под его линейку и опустил на колени в углу, о чём-то своём думая. Ни на какие вопросы он не отвечал, он их не слышал.

— С вами невозможно, — сказал Опрядкин. — Я буду вынужден передать вас другому следователю.

Лоб у него заблестел и глаза замерцали от злости, но уголовная этика не позволила взорваться. Он лишь пообещал холодно:

— Завтра же он вами займётся по-другому. Я воздерживался от того, чтобы сделать из вас окончательного врага. Я вас рассматривал как оступившегося, но всё же нашего человека. Мой коллега решит иначе — что вы отсюда никогда не выйдете. Не должны ни при какой погоде. Даже если в чём-то с вами ошиблись, как же вы после этого будете советскую власть любить? Кто в это поверит?

Ни назавтра, ни послезавтра вызова не последовало, и генерал мог свободно предаться раздумьям, что значило такое обещание. Между тем с его сокамерниками происходили перемены. Вызвали с вещами товарища прокурора, который при этом известии немедленно стал лишаться чувств. Настал для него тот час, о котором он говорил слегка дурашливо: «Суд краткий, как свидание с любимой, чтение вслух самого волнующего произведения — приговора. И в этот же день — исполнение всех желаний. Кажется, дают папироску, но я, к сожалению, не курю. Попрошу, чтоб наручники защёлкнули спереди, а не за спиной. С моим животиком это, знаете, неудобно...». Собирать его вещи и выводить из камеры пришлось двум надзирателям и корниловцу, который счёл это «последней услугой товарищу». Он даже просил, чтоб позволили ему проводить товарища хоть до конца коридора, но, разумеется, не позволили.

— И зря, — сказал корниловец, — они же с ним намучаются, а я бы сумел его поддержать. Я бы ему внушил, что

в Лефортове это делают быстро и элегантно, без лишних издевательств.

Через час выкликнули и самого корниловца.

— К исполнению готов, — сказал он, прищёлкнув каблуками.

У него всё было уложено, упаковано в солдатский мешок. Время, полагавшееся на сборы, он отвёл для прощания с камерой, сказал каждому несколько слов, должно быть заготовленных.

Генералу он поклонился глубоким кивком, и тот ему ответил тем же.

— Знаете, — сказал бывший корниловец, — а всё же хорошо, что мы с вами не встретились в бою, правда?

— Правда, — отвечал генерал. — Сейчас-то я куль с дермом, а тогда плечико у меня было — будь здоров! Мог до седла разрубить.

— Но вы не знаете, какая у меня была тогда реакция. Ваш удар я бы успел предупредить. Однако, что ж это мы машем шашками после драки? — он помолчал и добавил: — Если вы, господин красный генерал, протянете мне руку, не удивлюсь. Если нет — не обижусь.

Генерал руку ему протянул и пожелал стойкости во всём предстоящем.

— На сей счёт, генерал, вы можете быть уверены, — сказал корниловец и снова прищёлкнул каблуками.

На другой день отбыл «писучая жилка» на свои Соловки, беззаботный и бестрепетный, точно гору свалил с плеч. Перед уходом он ко всем обратился с речью:

— Сокамерники мои, кто останется жив и отсюда выйдет свободным, а я вам этого всем от души желаю, пусть не забудет и расскажет, что в моём деле, в архиве НКВД, остались пятнадцать подлинных писем Вольтера. Следователь мне обещал, что дело будет храниться вечно. И я надеюсь, что лучше, чем у них, эти письма нигде не сохранятся. Персонально за них отвечает следователь Галушко. А впрочем, это имя можно не запоминать. Запомните — Вольтера.

Камера обещала запомнить и пожелала ему освободиться с полсрока.

К генералу он подошёл попрощаться отдельно.

— Мой генерал, я навсегда запомню наши беседы у параша. Они были чрезвычайно интересны, полезны и плодотворны. Вы согласны?

— Я тоже запомню, — сказал генерал.

— Это не может быть иначе. Ах, мой генерал, неужели вы всё это когда-нибудь забудете? Нет, вы теперь — другой. Но я хочу надеяться, что вы стали христианином, который уже знает, что он христианин, и равно любит как друзей своих, так и врагов. И когда грянет тяжкий час для нашей бедной родины, вы, мой генерал, покажете себя рыцарем и защитите её — со всей человеческой требухой, которая в ней накопилась.

— Не знаю, — сказал генерал. — Да кто их защищать-то будет, сукиных сволочей, когда они такое творят?

— Вы, мой генерал. И — наилучшим образом!

Они обнялись, похлопали друг друга по спине и прослезились немножко.

После отбытия этих троих он себя почувствовал совсем одиноко, тоска обострилась, но с теми, кто их сменил, он уже не хотел сближаться. Он — думал.

Он думал о том, что человек обязан выйти с ружьём в руках на порог своего дома и защищать этот дом и свою семью, не шадя своей жизни. Безоружный, он обязан умереть достойно, не целуя сапоги палачам. Но кто осудит, если мучения пыток он не вытерпел, не согласился терпеть, да просто не рассчитан на это — как танк не рассчитан, чтобы его резали газовой горелкой! И он твёрдо решил: когда они его позовут в ту комнату — почему-то ему казалось, что *это* делается в особой комнате, — когда они только достанут мерзкие свои орудия, он скажет: «Не надо этого. Пишите там, что хотите. Я подмахну». Но это, решил он, только если своими показаниями никого другого не потянет он за собою в смертную яму. На себе самом он поставил крест. «Писучая жилка» ошибся. Никакая дьявольская сила не вмешалась, чтобы его, Кобрисова, спасти.

И, как бы в подтверждение этого, однажды утром надзиратель забрал у него гимнастёрку, а взамен выдал серую, больничного вида, пижаму — тоже без пуговиц, застиранную до ветхости, но хоть не пахнущую потом. А поди, пропитана

бывала обильно, подумалось ему, потому что в этом, наверное, и приводят в исполнение, нельзя же командира Красной Армии в форме, даже и со срезанными петлицами... Соседи по камере смотрели на него сожалеюще. И он, почувствовав себя уже отъединённым от них, от всего человеческого, не устыдился жалких своих обносков, но сформулировал раздумчиво: «Тут всякая мелочь направлена к унижению человека. И так — до последнего его шага».

На другой день, когда его выкликнули, была в тюрьме необычная тишина. На целый час запоздали утренняя каша и чай. И вызвали его в необычное время — в полдень, и никто не встретился по пути, не пришлось отворачиваться к стене. Шаги его и надзирателя звучали гулко в гробовой тишине. Что-то чувствовалось напряжённое и зловещее в этих переменах.

Но встретил его в кабинете тот же Лев Федосеевич Опрядкин. Встретили — полутьма от наглухо затянутых штор, мягкий свет лампы, отвёрнутой, чтоб не беспокоить, и странные предметы на столе, заменившие толстую папку, — бутылка коньяка, две бутылки минеральной воды, нарезанный уголками торт.

— Как это понять, гражданин следователь? Новые методы воздействия?

— Никаких методов, — сказал Опрядкин. — Поскольку вас от меня забирают, хочу попрощаться по-хорошему. Чтоб не поминали меня лихом.

Он разлил коньяк в пузатые фужеры и протянул на серебряной лопатке увесистый ломоть с ядовито-зелёным и розовым кремом. Генерал помотал головою.

— Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович. Последний довоенный торт. Сегодня ещё можно купить без очереди.

Тут вспомнились генералу непривычная тишина и что никого другого не вызвали сегодня на допрос.

— С кем же война, гражданин следователь?

— Вам ли спрашивать, Фотий Иванович? С вашим предполагаемым противником, с кем же ещё.

Ни в голосе, ни в лице Опрядкина не выразилось смущения. Не в первый раз и не в последний наблюдал генерал в соотечественниках своих эту чистосердечную правоту: «Тогда

было такое время и такая была установка, и я говорил так, а теперь время другое и другая установка, и я говорю другое. И просто смешно меня в этом укорять». Некоторые ещё добавляли, что нужно знать диалектику.

Генерал и не укорял, только спросил:

— И когда ж это он напал, мой противник?

— А почему вы думаете, что это он напал? А может быть, мы его упредили?

Генерал лишь пожал плечами. «Если бы упредили, — подумал он, — ты бы меня коньячком и тортиком не угощал».

— Вчера, в четыре утра, — сказал Опрядкин. — Вероломно, без объявления войны.

Он всё стоял с куском торта на лопатке, в глазах его уже разгоралось мерцание злости, и показалось, он сейчас вмажет этот кусок арестанту в непокорное рыло. Было омерзительное предощущение сладких сгустков, ползущих по лицу, спадающих с носа и губ. И тогда арестант не выдержит, расплачется от унижения и бессилия.

Лев Федосеевич вдруг улыбнулся. Он понял генерала по своему:

— Бойтесь отравы? Не тот вариант, Фотий Иванович... Зачем? Хотите, с любого края отведаю? Да хоть от вашего же куска.

Он и вправду отведал. Генерал, которому эта мысль в голову не приходила, подивился только: был, значит, и такой вариант, отчего же не применили? Ему всё ещё не верилось, что он *понадобился*. И вдруг увидел на диване свою отглаженную гимнастёрку с пришитыми петлицами, придавленную тяжёлой кобурой.

— Что ж, гражданин следователь, — сказал он, поддёргивая спадающие штаны, но уже голосом построжавшим, уже как имеющий власть, — вместе будем теперь отечество спасать?

— Каждый на своём месте, — отвечал скромно Опрядкин. — И я вам не «гражданин следователь», а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал... вам сейчас пришьют пуговицы, а то так не годится... поедете в свой наркомат. Вам доверяют дивизию.

— Что, уже другую формировать?

— Дивизию вам дают на западе. Она сформирована, но, насколько я знаю, отступает в беспорядке. Есть мнение, что под вашим командованием она отступать не будет. В противном случае могут вас и расстрелять. Это жалко, все мои труды пойдут прахом. — Под тяжёлым взглядом генерала он перестал усмехаться и добавил: — Полетите сегодня ночью.

— А семью мою известили, что я освобождён?

— Вашу семью не ставили в известность, что вы под следствием. А сегодня за вашей семьёй посланы люди, два расторопных тыловика — помочь уложиться и переехать. Ваша квартира в Москве готова. В самом центре, на улице Горького.

Генерал медленно повернулся выйти, ещё не до конца веря, что его сейчас не остановят:

— Пойду сам уложусь.

— А всё же напрасно вы моим угощением побрезговали, — сказал Опрядкин даже с какой-то печалью. — Эх, Фотий Иванович, золотая вы ошибка моя! Если б вы знали, какие звёзды решали вашу судьбу! А без мелкой сошки всё-таки не обошлось, без Опрядкина Льва Федосейча. Это его участие вас спасло. Ну, и, конечно, то, что товарищ Сталин особо доверяет кавалеристам.

— Давно уже я не кавалерист.

— А это неважно. Вы кавалерист по Гражданской войне. И не возомнили о себе. Товарищ Сталин не любит тех, кто возомнил. Может быть, ваше счастье, что вы тогда не слишком прославились. Я так и написал в характеристике: «Скромнен. Читит товарища Сталина как спасителя социалистического отечества». И, как видите, помогло!

Генерал это сообщение принял молча.

— Есть вопросы? — спросил Опрядкин.

— Есть, — сказал генерал. — Можно считать беседу нашу законченной?

— Вас просто тянет в камеру, — сказал Опрядкин с досадой. — Что вам укладывать? Всё ваше здесь, поедете прямо от меня.

— Должен я с соседями попрощаться.

— О! — воскликнул Опрядкин, сверкнув глазами. — Вы уже причастились, освоили тюремную этику. И вы так и пойдёте — в этом рубище?

— Так и пойду. Неужели при генеральских петлицах прощаться?..

— Ну-ну, — Опрядкин покачал головой в изумлении. — Когда прощаетесь, не оглядывайтесь на дверь. Иначе вернётесь к нам.

— Знаю, — сказал генерал.

— Знает он, — подтвердил надзиратель. — Учёный...

Опрядкин его осёк пронзающим взглядом. И велел сопроводить арестованного уже как вольного.

Всех дней генерала Кобрисова не хватило узнать, что означали загадочные слова Опрядкина: «Какие звёзды решали вашу судьбу!» Он это понял так, что на каком-то столе его судьба случайно была переложена из одной папки в другую, и этим-то всё решилось. Но ничего случайного не происходит в заповедной области судьбоносных бумажек. Две звезды и в самом деле рассиялись над его судьбою. В первые же часы войны на стол будущему Верховному, на его подпись, легли два списка. Имя Кобрисова было в обоих. Один был представлен начальником Генерального штаба Жуковым и содержал три сотни имён командиров, ожидавших своей участи в камерах московских тюрем. Для всех них Жуков не просил ни оправдания, ни помилования, а лишь отложить следствие либо исполнение приговора до окончания военных действий. Предполагались эти действия недолгими и победными, ну а пока требовали возвращения этих людей в строй. Второй список, представленный Генеральным комиссаром госбезопасности Берия, был изъятием из первого; сохранилось в нём более сорока имён разного калибра — от майора до генерала армии — тех, кого не расстрелять было бы уроном для тайной службы и личной обидою для её шефа.

Верховный просмотрел оба списка и первый оставил без следов своего пера или ногтя, а во втором против некоторых имён поставил вопросительный знак. Это могло читаться и как сомнение в целесообразности их ликвидации, и как требование так их доследовать, чтобы все сомнения отпали. В отношении же Кобрисова знак «?» скорее всего означал:

«Такого — не знаю. Что за птица?» Кроме хозяйственников, не обеспечивших должной боеспособности Красной Армии, в списке преобладали авиаторы, недобитая тухачевщина, как сюда затесался конник?

Ни первого, ни второго списка Верховный не подписал. Но, так как из второго он всё же сделал изъятие некоторых имён, то значит, с другими косвенно согласился, и весь остальной список мог считаться механически утверждённым. А так как он сам был изъятием из первого, то утверждался механически и этот список Жукова, и всем, кто в нём состоял, даровались жизнь и свобода вплоть до конца войны, а с ними, стало быть, и возможность заслужить прощение.

Судьба Кобрисова могла бы и так решиться, чтобы примкнуть ему к тем двадцати пяти, которых в октябре, в дни панического бегства из Москвы, увезли в Куйбышев и частью в Саратов, и там оказались напрасными все их препирательства на допросах, стойкость в перенесении пыток, надежды оправдаться перед судом — их расстреляли без суда, по приказу Берии. Судьба же Кобрисова пребывала в шатком равновесии. Берия не знал его — и не имел вожделиний непременно ликвидировать. Но не знал и Верховный — и не вспомнил бы справиться: «Как там с этим конником, не расстреляли за компанию?» И тут к звёздам двух сиятельных генералов, Жукова и Берии, присовокупились, чтобы одной из них пересидеть другую, лейтенантские кубики Опрядкина.

В те же первые часы войны лубянские стены пронизали два слуха, очень нестойких и противоречивых; собственно, ещё не слухи, но робкие дуновения их. Одно из них говорило, что политика меняется и некоторых подследственных, возможно, возвратят в строй. Это дуновение отразилось морщинкой раздумья на лбу коллеги Опрядкина, а оттуда перенеслось и на лоб самого Опрядкина. Будет, стало быть, спущен план возвращения, а где план, там и перевыполнение его, там передовики и отстающие. Он даже представил себе плакат, на котором пожилой чекист, с серебряными височками, с шевронами и скрещёнными мечами на рукаве, полубняв чекиста молодого, белозубо ощеренного, спрашивал: «А ты, сынок, скольких невинных возвратил в строй?» Опрядкин от этой картинки отмахивался, как от собачьей

бредятины, — какие могли быть «невиновные», если арестованы *органами*? — а всё же обеспокоился, как бы не попасть в отстающие, кто не осознал суровости момента, не проявил гибкости, какой потребовали от нас, чекистов, судьба страны и воля вождя.

И само дело Кобрисова уже *посыпалось* — в части его намерений сдать Дальний Восток японцам, маскируясь фальшивыми предостережениями о другом противнике. Что ж, скажет Военная коллегия, предостерегал насчёт немцев, так немцы и напали, какое же тут «притупление бдительности», надо что-то другое поискать. За покушение на любимых вождей, даже *в виде намерения*, можно бы и казнить мерзавца, то есть непременно и беспощадно казнить, но... преступление — групповое. А где ж те лейтенанты, непосредственные исполнители? А те лейтенанты небось тряслись со своими танками на платформе эшелона или уже вступили с ними в бой. Высокая коллегия могла спросить: «Их что, отпустили воевать? Доверили судьбу Родины?» И тогда бы их следовало вернуть из всех контратак, в которые они удалились от правосудия, или же, если успели погибнуть, выкопать из братской могилы, отрубить кисти рук для опознания и закрыть дело ввиду кончины обвиняемых. Это не избавляло следователя от взыскания, но всё же смягчало его. Однако их местонахождения Опрядкин не знал — и не мог узнать срочно.

А слух другой, противоположный, был о том, что некоторые дела будут сворачивать, то есть участь недоследованных будет решаться не судом и не индивидуально, а оптом, и даже в их отсутствие, ибо зачем же им присутствовать и своими объяснениями отнимать время, разве сам факт ареста не доказывал их вины? Такое вот *укороченное судопроизводство* предоставлено самим *органам* с началом военных действий. Сказать честно, это не нравилось Опрядкину, ведь тогда обесценивались все усилия следователя, его замысловатая игра, тонкие методы. Просто весь интерес пропадал, а вне этого интереса старший лейтенант госбезопасности Опрядкин был человек незлобивый, даже по преимуществу добрый. И не было ему резона подводить Кобрисова под вышку, если это не сулило Опрядкину капитанской шпалы в петлицу или хоть

малого ордена. К тому же, коль скоро отпала версия с японцами, переменялся и Опрядкин к своему «крестнику»; даже симпатия к нему возникла, а к себе чувство горделивое, что он своего подследственного всё же уважал и ценил, вёл себя с ним тонко, деликатно, ничего ему не повредил, не покалечил, даже и не *опустил* по-настоящему, то есть не подверг унижению губительному, и сохранил для родины как значительную боевую единицу. С чистой душой он вынул из дела Кобрисова уже составленное обвинительное заключение и вложил другое, всего на полстранички, что основания для уголовного преследования имеются, но в этот грозный час важнее для социалистического отечества использовать генерала Кобрисова по профессии. Совсем безвинными и он, и его лейтенанты быть не могли, поскольку органы не ошибаются, но в виде исключения можно было им позволить доблестью либо пролитой кровью заслужить прощение. Что же до танков, затормозивших у Мавзолея и правительственной трибуны, то здесь потребовалась экспертиза по двигателям внутреннего сгорания, и этому эксперту Опрядкин поставил вопрос, отчасти содержащий в себе ответ: «Возможен ли отказ танкового двигателя даже при тщательной его подготовке? Если да, то возможен ли он одновременно у двух машин?» Эксперт, привыкший к другим заключениям, взглянул на Опрядкина удивленно и, уловив, что на сей раз от него ждут объективности, написал, что отказ может иметь место, в особенности при неловких действиях водителя, участвующего в таком напряжённом ответственном мероприятии, как парад на Красной площади. Возможен и отказ одновременно у двух машин, поскольку оба экипажа находятся в одинаковом психологическом состоянии. На том дело Кобрисова было приостановлено, и все дальнейшие действия Опрядкина были выражением чистой радости избавления, включая коньяк и торт, купленные не на казённые деньги, но на его собственные.

Так судьба генерала Кобрисова не склонилась к тому, чтобы стать ему двадцать шестым расстрелянным в октябре в Куйбышеве или Саратове, а склонилась к тому, чтоб оказаться в огромном коридоре Наркомата Оборона, в толпе командиров, числом не менее ста, выпущенных в тот день

из московских тюрем. Здесь были люди с треснувшими рёбрами, затянутые под гимнастёрками в корсеты из бинтов и уклонявшиеся от объятий, были с повреждёнными ногтями, упрятавшие свои руки в перчатки и избегавшие рукопожатий, были с припудренными синяками и выбитыми зубами, они предпочитали не улыбаться. Были и те, кого, как Рокоссовского, и дважды, и трижды выводили расстреливать, зачитывали приговор и стреляли поверх головы, отчего эти непробитые головы покрывались в одночасье сединою. Был и тот, опухший от битья и бессонницы, кто ревел быком за стенкой, сводя с ума соседей, — он оказался из «испанцев», то есть воевал в Испании под именем «камарада Хуан Петров» и едва жизнью не поплатился «за сговор с Франко». В общем их гудении особенно выделялся изумлённый голос одного, подвергшегося более чем странной процедуре: нынче утром к нему явились, увезли в военную прокуратуру и там велели расписаться, что он извещён об освобождении из-под ареста и прекращении его дела за недостатком улик. А он и не арестовывался вовсе, а он и не знал ни о каком деле. И вот теперь, напуганный задним числом, он всё не мог успокоиться, он вибрирующим голосом и с блуждающей улыбкой спрашивал, не могут ли *они там* одуматься и не означает ли вызов его, что где-то сверху спохватились, а где-то внизу недопоняли, и так он шумел, едва не впадая уже в истерику, покуда его не прервали окриком: «Вот будешь базлать — накаркаешь. Плюнь и забудь!» Если не считать этого чудака, то все находились в приподнятом настроении, и о том говорили их лица, сияющие вдохновением и готовностью. Война началась, говорили эти глаза, говорили жёсткие обтянутые скулы, говорили рты, сохранившие и не сохранившие свои зубы, и вот теперь мы докажем *им*, докажем родному Сталину, что мы никакие не враги народа, мы любим свой народ и всем нам дорогую советскую власть и нашего вождя, мы до сих пор не имели такой возможности — доказать свою преданность и любовь, разве только клятвами и слёзами, но ведь Москва слезам не верит, а вот теперь у нас эта возможность есть, и наша ли вина, что нам её подарили немцы? А вскоре принеслось дуновение или чьё-то распоряжение, чтоб все присутствующие командиры

сосредоточились по одной стороне коридора, так как по второй его стороне сейчас *должны пройти*.

И вот они выстроились длинно и стройно, и каждый — согласно уставу — *видел грудь четвёртого человека, считая себя первым*, а по коридору, под его высокими сводами, шли двое. Они вышли из высоких дверей и шли неторопливо по ковровой дорожке, один за другим: передний — в полувоенном френче и в бриджах, заправленных в мягкие сапоги, шедший за ним — в кителе и в широких штанах с лампасами. Была некая странность в том, как они шли и как говорили друг с другом. Для них словно бы не существовало этой шеренги командиров, нависших над ними в почтительной стойке, они шли словно бы по пустому залу, и шедший впереди говорил что-то злое своему спутнику, не оборачиваясь, а тот отвечал, заходя то справа, то слева, посверкивая стёклышками пенсне. Они говорили громко, порою даже кричали, но так неразборчиво, что речь их казалась каким-то лепетом. В то же время отчего-то сомнений не было, что они говорят именно о тех, мимо кого проходили, совершенно не принимая их во внимание, — как замечательно это умеют кавказцы, отключаясь от всего окружающего, живя в своём языке, в своём племени, в своей истории.

Остановясь против Кобрисова, первый что-то стал говорить, то ли ему адресованное, то ли шедшему сзади. Тот, во всяком случае, продолжал отвечать, стараясь, как казалось, его успокоить, поправляя своё пенсне и криво улыбаясь. Прямо перед Кобрисовым стоял некто, обидно маленький, рыжеватый, с грубым рябоватым лицом; он смотрел в лицо Кобрисову с ненавистью; топорщились, как у рассерженного шипящего кота, обвисшие усы, трепетали крылья мясистого грубого носа, — и что-то он лепетал злое, раздражённое и угрозное. В тяжёлом взгляде жёлто-табачных глаз горели злоба, и страх, и отчаяние, как у подраненного и гонимого зверя. В продолжение тех секунд, что он смотрел на Кобрисова, тот чувствовал головокружение, ватное тело будто проваливалось куда-то, ноги его не держали. Показалось, стоявший перед ним что-то спрашивал у него, он повторил свой вопрос, но отозвался стоявший за спиной у него, и тотчас сквозь жёлтые прокуренные зубы выхаркнулась ругань. Не

понимая ни слова, Кобрисов явственно различил в невнятном лепете, в гортанных обрывках фраз: «Труссы, предатели, зачем выпустили, никому верить нельзя...» Так слышится злая брань в собачьем лае, в крике вороны. Видеть это и слышать было и страшно, и брезготно — мог ли так вести себя человек военный, да просто мужчина, мог ли — Вождь! Ибо стоявшее перед ним, рябоватое, затравленное, лепечущее, это и было — Сталин.

И никакого заговора против Вождя не было, вдруг промелькнуло где-то на самом краю сознания у Кобрисова. Вождь был сейчас со своей армией, готовой за него умереть, и ненавидел её, и в чём-то подозревал, и не желал говорить с нею на языке, понятном ей. Как насмерть испуганный припадает памятью к облику матери, к её лицу и рукам, так и он припадал к родной грузинской речи. Унизив, изнасиловав чужую ему страну, он теперь убегал туда, к своему горийскому детству, к мальчишеским играм, к семинарии своей, где он себя готовил стать пастырем духовным. И выглядело это, как обильный верблюжий плевок во все лица, обращённые к нему в трепетном ожидании.

Кобрисову потребовалось усилие, чтобы не отвернуться, а ещё большее — чтоб удержать лицо от гримасы злости и презрения. Вождь постоял и двинулся дальше. В напряжённом молчании всего набитого людьми коридора слышалась поступь его мягких сапог, поступь танцора на свадьбах, тифлисского кинто, но никак не твёрдые шаги командующего. Шаги Берии звучали слышнее. И даже когда они двое уже ушли анфиладою, командиры ещё стояли в молчании, потрясённые, только сейчас, казалось, осознавая, что же стряслось с несчастным их отечеством и какие его ожидают судьбы.

Этой ночью, летя к фронту в пустом холодном брюхе бомбардировщика, генерал Кобрисов был под тем же гнетущим впечатлением. Рассеялось оно ещё нескоро — когда он окунулся в свои военные дела и всё более стал ощущать, что судьбы отечества меньше всего зависели от мягкой или твёрдой поступи вождя, а больше от душевного настроения свидетелей. Этот настрой заставляет иной раз видеть и слышать то, чего на самом деле и не было. 3-го июля, слушая по армейскому

приёмнику речь вождя, перебиваемую бульканьем воды в стакане, Кобрисов непостижимым образом различал и дрожь голоса, и сдерживаемые слёзы, и стремление проникнуть в каждое, ответно устремлённое сердце — всё то, чего много позднее, увидя и услыша эту же речь в кинохронике, отнюдь не обнаружил; лишь неожиданное обращение «Братья и сёстры!» отличало этот очередной, ну, может быть, чуть более торопливый, доклад. Никакого обещания не было, ни удержанных слёз, ни сдавленного дыхания, одно сухое бубненье с акцентом. Это у него, Кобрисова, дрожало в ушах, это в нём клочкотали слёзы, это ему жаждалось поднести к пересохшим губам стакан. С идолом ничего подобного не происходило, в нём — ничего не дрогнуло. Он себе не дал труда вложить в свою речь даже толику волнения, пусть бы и актёрства, не попытался войти в роль иную, чем раз и навсегда усвоил. Он знал заведомо, что его воспримут, как хочется ему и независимо от того, удастся ему или не удастся увлечь свою послушную аудиторию.

2

Казалось генералу, он не забудет ни один из дней войны, они впитались в поры его души и тела. Но вот прошло полтора года, и многое, многое кануло в море забвения, над которым высились разрозненные островки, а между ними колыхались среди зыбей всплывшие обломки, которые неизвестно к чему должны были причалить. Так помнилось ему теперь то причудливое, горестное, порою ужасное, что сам он мысленно называл — «поход на Москву».

Третье утро войны застало его в просторной горнице добротного каменного литовского дома, на краю большого села близ Иолгавы, где он вручил командующему армией своё предписание на должность комдива. Окна в горнице были предусмотрительно распахнуты, цветочные горшки сняты с подоконника на пол. Было в уши тутими резиновыми ударами, которые ощущались всей кожей лица, и в большом резном буфете вздрагивала посуда. В двух с лишним километрах отсюда вела бой его дивизия, которую он ещё не видел. Она вела бой наступательный — за Иолгаву, которую сперва

прошли насквозь и оставили немцам почти без выстрела, а теперь, занятую немцами, пытались у них отнять.

Генерал Кобрисов уже знал, что командир дивизии застрелился утром 22-го, не вместив в свой разум, почему он должен «всячески избегать провокаций», когда его людей убивают. Командование перенял начальник штаба, который решил «действовать по обстоятельствам», но был вскоре убит. Командовал теперь комиссар, который иного боя, кроме наступательного, не знал и знать не хотел. Всем троим, по-видимому, чужда была великая наука — отступать. Иначе бы постарались оторваться километров на сорок, закрепиться на выгодных рубежах, встретить противника при нулевой внезапности.

Командарм, весьма пожилой и болезненного вида, с впалой грудью, сидел, глубоко утонув в диване, прижимая руки к животу. Это не было ранение, это была разыгравшаяся язва. При нём находилась медсестра — женщина крупная и полнотелая, её щедрая плоть рвалась наружу из тесной шевитовой гимнастёрки с тремя лейтенантскими кубиками; толстые круглые колени, в нитяных телесных чулках, принципиально не желали быть укрощаемы юбкой. Она сидела с расстёгнутым воротом и открыто ласкала, гладила командарма по его лысеющей голове. От близких разрывов она тоже вздрагивала всем телом, купно с буфетной посудой, и вся была охвачена страхом, но не за себя одну, больше — за командарма. Время от времени он её руку отводил, но было видно, ему вовсе не претит страх женщины за него; даже, кажется, помогает принять важнейшее для него решение.

— Я так боюсь за него! — призналась женщина Кобрисову, хоть это было излишне. — Не дай Бог прободение...

Кобрисов подумал, что бояться следовало бы другого «прободения» — трибунальской пулей за оставление Иолгавы, но ничего говорить не стал, увидя его запавшие виски с реденькими волосами, не столько прилизанными, сколько мокрыми от пота: боль, наверное, была нешуточная.

— Ну-ну, так ты мне и вправду накаркаешь, — сказал командарм ворчливо и как бы чувствуя неловкость перед посторонним.

Он ещё раз взял предписание, пробежал глазами и отложил бумагу на диван. Следом взяла и посмотрела бумагу женщина, и он не одёрнул её. Кобрисова это неприятно кольнуло.

— Разрешите вопрос, — сказал он. — А зачем её брать, Иолгаву?

— Как «зачем»? Есть директива Генерального штаба отбросить противника за линию границы, есть на то воля Сталина.

— Он так прямо и приказал — взять Иолгаву?

— Это и не нужно приказывать, общая установка такова. Ни пяди земли врагу.

— А тогда разрешите другой вопрос. Зачем оставляли Иолгаву?

Женщина посмотрела на Кобрисова укоряющим взглядом, в котором так ясно читалось: «Ну, зачем, зачем вы мучаете его? Вы же видите, он болен и так страдает!.. И вы сами — разве не делаете ошибок?»

— Разрешите считать, я дивизию принял, — сказал Кобрисов. — О чём вам и докладываю.

— Вот и отлично! Я надеюсь, под вашим командованием...

— Есть мнение, — не перебил Кобрисов, а использовал небольшое замедление в речи начальства, — что под моим командованием она в полном порядке отступит.

— Я такого приказа не отдам.

— Я отдам. И, поскольку своего расположения у вас нет и вы находитесь в моём расположении, то я вас направлю в госпиталь. В свой, дивизионный. А госпиталь — эвакуирую в первую очередь.

— Я мог бы тут, в медсанбате... Всё-таки при войсках...

— Не приличествует командующему. Там будете раненых стеснять. И самим неудобно будет, крику много.

Командарм посмотрел на медичку жалобно — зачем он меня обижает? Она такой же взгляд метнула в Кобрисова. Но следом посмотрела на своего гарнизонного мужа продолжительно и красноречиво: дурачок мой, ты же ничего не понимаешь, это же *наше* спасение. Она быстрее него поняла, что это наилучший выход. Кто-то перетянул тяжкую его ношу на себя.

— Я, право, чувствую себя предателем, — сказал командарм, с той интонацией, с какой начинают фразу, не зная, чем её закончить. — Сваливаю на вас всю ответственность...

— Да ведь я вас, можно сказать, силком отправляю, какое ж тут предательство. Могу и конвой назначить, если будете сопротивляться лечению.

Спустя десять минут, прошедших по большей части в неловком молчании, была подана к крыльцу штабная «эмка», командующий в неё сел — не без поддержки медсестры — и навсегда исчез из жизни Кобрисова.

Нет, это ещё не вся была ноша. После отступления от Иолгавы сделалось ясно — если вообще что-то могло быть ясно, — что внятной боевой задачи у всей армии нет, и что Кобрисов принял решение не только за свою дивизию, но и за четыре остальных. Так повис в воздухе, истекающем зноем, задымленном бесконечными лесными пожарами, вопрос — кто же *станет на армию?*

Пятеро комдивов сошлись на лесной поляне, усыпанной песком вперемешку с хвоей, уселись вокруг костерка, в котором пеклась картошка; адъютантам велено было отойти за кусты. Слово, как водится, предоставили младшему по званию, полковнику Свиридову, вида и впрямь молодежавого, даже несколько гусарского; он себя без долгих церемоний объявил председателем собрания и секретарём, объявил и единственный в повестке дня вопрос — выборы командарма. Сам же и предложил кандидатуру Горячева, старшего всех годами.

Генерал-майор Горячев, пожилой, морщинистый, с полным ртом стальных зубов, но телом крепкий и плотный, из бывших конников, снял фуражку, обнажив голову, бритую наголо, и вытер её платком — сразу потемневшим от пыли.

— Имею самоотвод, — сказал он, глядя угрюмо на свой платок. — Сложившуюся обстановку не понимаю. Не могу объяснить людям, почему они должны так действовать, а не иначе. Не знаю, куда вести людей, чего от них требовать. Кобрисов — знает. Может быть, и не знает, а только вид делает. Но и на это нужно мужество, а у меня его нет, извините.

Платок он двумя пальцами опустил в костёр, и все смотрели зачарованно, как белая ткань корчится, точно живое

существо, которому больно умирать в пламени. Затем посмотрели молча на Кобрисова.

— Тоже не знаю, коллеги, — сказал Кобрисов. — А вид делаю потому, что люди должны чувствовать: они не брошены, как падаль на дороге, кто-то о них думает. Из этих соображений, согласен армию принять.

— Кто ещё выскажется? — спросил Свиридов.

Генерал Черномыз, прокопчённый и пропылённый, чьи гимнастерка и галифе свидетельствовали, что он из тех, кто не брезгает ползать под огнём, сказал:

— Я бы всё же Кобрисова послушал, какой у него план. А тогда я решу, принять мне его с этим планом или же не принять. А не так, чтобы он всё взял на себя, а у нас бы у каждого голова не болела. Родину все любят горячо, а ответственность — не так горячо.

Последний опрошенный, генерал Новицкий, человек склада нервического, с измождённым лицом, пребывающий, видно, в большом ошеломлении, сказал раздражённо, едва не истерично, что выполнит любой приказ, но пусть это будет наконец приказ, внятный и членораздельный, ему надоели общие слова и всеобщий бардак.

— Значит, так, коллеги, — сказал Кобрисов. — Контрнаступления не обещаю, ещё не полный идиот и псих. Обещаю — драп. Не простой, а планомерный. Покамест я в верхних эшелонах не вижу ясности, считаю главным делом — сохранение армии.

Свиридов предложил всем подумать минуты три.

— Руки поднимать не будем. А просто, кто согласен, прошу встать и приветствовать нового командующего согласно уставу.

Сам он остался на ногах. Через минуту и все поднялись в молчании.

Кобрисов, тоже встав и всем козыряя, сказал:

— Благодарю за доверие. Завтра до рассвета, с Божьей помощью, побредём потихоньку. А сейчас прошу садиться: может, спеклась уже картошка. И вот, я вижу, у Свиридова фляжечка пояс оттягивает. Разрешаю угостить товарищей.

Было потом и сказано Кобрисову, и внесено в его послужной список, и вошло в annales Генерального штаба, что

вверенная ему армия семь раз на своём пути попадала в окружение и столько же выходила из него, но сам он удивлялся такому выводу. Его можно было сделать, если только предположить, что немцы наступали неразрывным фронтом и что в каждом захваченном населённом пункте они оставляли по гарнизону и, значит, всегда имели свободные резервы, чтоб тут же заблокировать любое появившееся у них в тылу инородное тело, — чего на самом деле не было и быть не могло. Как иначе могли бы существовать обширные полости и каверны, в которых так вольготно размещались партизанские владения, месяцами не знавшие особых утешений, постоянно державшие оккупантов в напряжении и страхе? Применительно к своей армии генерал избегал говорить о *кольце* окружения — к тому же, как полагается, двойном, к тому же и семикратном, — но предпочёл бы говорить о *подкове*, обращённой своим разрывом то в одну, то в другую сторону, так что всегда оставался выход. Да потому, наверно, и считается, что найти подкову — к счастью: она обещает, что положения безвыходного у вас не будет.

Ещё говорилось потом, что это чудо какое-то, что армия уцелела, не имея связи с высшим командованием, а Кобрисов скромно помалкивал, что потому-то она и уцелела, что лишилась руководящих указаний сверху и жила своим умом. А когда спрашивали его, откуда же черпалась информация о положении в стране, без которой воинское объединение просто погибает, он отвечал маловразумительно, с оттенком генеральской придури: «Разведчиков надо хорошо кормить. Лучше всех. Тогда они свою работу ценят и про свои три «О» забывают». Имел он в виду те три «О», которыми всегда оправдывают разведчики невыполнение задания: «обнаружены», «обстреляны», «отошли».

Дни стояли стеклянно-ясные, безветренные, и далеко разносились запахи гари; казалось, армия идёт сквозь непрерывный, со всех сторон окруживший её, пожар. Горели трава и ветви деревьев, горели хаты, горели нефть и сталь, электроизоляция и резина. Горело мясо.

Вся масса войск двигалась тремя колоннами, друг от друга в два, в три километра. Он настоял, чтоб не шли вразброд, но хоть подобием строя, чтоб не было «партизанщины». Так

легче идущему преодолеть потрясение оставленности, безвестности. Обозы и госпитальное хозяйство переместили в середину, как это было в Запорожской Сечи. Были головная походная застава, заставы боковые и тыльная, и была постоянная между ними связь посыльными. Ночами походные заставы превращались в походное охранение. Правда, решив однажды проверить, как же несётся это охранение, он многих застал спящими, свалившимися от непомерной усталости. К счастью, ещё не миновала та пора, когда немцы ночами не воевали. Всех провинившихся он приказал собрать и сказал им, что они этой ночью предали своих товарищей, на первый раз прощается, но впредь проверяющий будет пристреливать спящих, не затрудняясь их будить. Однако и сам он больше не проверял и не требовал об этом доклада, зная, что ничего другого не останется, как примириться.

Немцы, сперва наседавшие на пятки, вскоре оказались справа и слева, временами забегали вперёд. По целым дням слышались отдалённые рёвы моторов, лязганье сотен гусениц. Позднее объяснят генералу Кобрисову и покажут на карте, что маленькой его армии угораздило втереться меж двумя жерновами — танковыми армадами Гота и Гудериана. А наша агентура вызнала, что два корифея блицкрига друг с другом не ладили, совместных операций избегали и своими флангами старались не соприкоснуться. Ох, если б соприкоснулись! Позднее они и вовсе разошлись: Гот повернул на Ленинград, на соединение с Гёппнером, Гудериан — к фон Клейсту, на Киев. Преследовали Кобрисова части пехотные, мотоциклетные, кавалерийские, без конца донимали самолёты. Поначалу немцы рьяно пытались что-то отрезать, окружить, но постепенно эти попытки ослабили. Может статья, это объяснялось тем, что какой-нибудь нижестоящий генерал не решался доложить генералу вышестоящему, что с ним соседствует и движется в ту же сторону некое войсковое соединение русских, ибо неизбежно последовал бы вопрос, долго ли соседствует с ним это русское соединение и почему до сих пор оно не разгромлено. Но хотелось объяснения другого: армия, всё разрастаясь и усиливаясь, вызывала к себе всё большее уважение, вынуждала противника остерегаться её, и при этом не слишком досаждала ему, она бои не навя-

зывала, она их принимала и при первой возможности из них выходила. Было похоже, у неё своя боевая задача, очень дальняя, которую немцам ещё не удалось разгадать.

А задача была, как и обещал генерал Кобрисов у костерка, чтобы как можно больше сберечь людей к тому часу, когда он даст бой решающий и переломный *на выгодном рубеже*. Одной этой задачи хватало, чтоб занять все его мысли и силы. Там, где отступавшие не опередили в бегстве свои тылы, там они имели обозы с армейским продовольствием, были у них сухари, мука и крупы, мясные и рыбные консервы и сухофрукты, сахар, жиры, каша в концентрате, были и кухни, и свои пекарни. Слишком поспешные теперь продовольствовались кормами подножными и подручными, прореживали колхозные поля и огороды, в сёлах брали что попадалось под руку. Увы, скоро кончились благодатные земли сплошь курортной Прибалтики, и сразу почувствовался тот резкий перелом, который всегда поражает путника, ступающего на землю Белоруссии: он видит приземистые тёмные хаты, взывающие к жалости, золотушных детей и улыбочивых взрослых, болотистые, скудно родящие низины; в этом краю зачастую только и знали картошку и молоко. Ещё был приبلудный скот, остатки стада, угнанного на восток, чтоб не досталось ни оккупантам, ни — так уже вышло — оккупируемым. Это огромное, мычащее и блеющее, не доенное, по пути рожающее и околевающее стадо расстреливалось немецкими самолётами, чаще всего штурмовиками «Ju-87», наравне с пастухами-перегонщиками и просто беженцами, но только скотинке не полагалось ни лечения, ни похорон, она невыносимо смрадно разлагалась вдоль дорог в невыносимую июльскую жару, а уцелевшие особи разбредались по лесам или чаще возвращались к своим дворам — и так становились добычей армии.

Армейские снабженцы и самостийные добытчики не делали различия между скотинкой казённой и личной, это к хорошему не могло привести. Близ Молодечно немцы точным фланговым вклиниванием отсекали головную заставу, а позади выбросили десант. В кольцо оказалась вся штабная группа, с которой двигался Кобрисов, — и в кольце огненном: лес, в котором при всей сырости много было сухостоя,

загнившего на корню, подожгли с разных сторон огнемётами и зажигательными бомбами. Стены жара сходились неумолимо, треща и стреляя горящими головешками, в панике люди припадали к земле, её сыростный запах казался заменой воздуха, которого совсем не стало. Палило затылок и уши, казалось — они уже дымятся. Но это и пересилило страх перед пулями. И, уже не думая об опасности иной, а только жаждая глотка дыхания, генерал с полусотнею людей предпринял бросок сквозь пламя. И ещё надо было перебежать широкую просеку, которую немцы простреливали насквозь пулемётами с мотоциклов. Навести окружение столь точное воздушная разведка не могла, помогли, без сомнения, местные жители. Впрочем, об этом не думалось, когда перебегали сквозь пулемётные трассы, перепрыгивая через упавших, кому не повезло и кто, может быть, своими телами заслонили более счастливых. Воздух ворвался в лёгкие опьяняюще, они должны были разорваться от его напора, иссохшей гортани было от него больно. В прохладном лесу, где они отдышивались после перебега, попадались бочажки, ещё хранившие воду после давнего — может быть, ещё майского — ливня. Она была тухла и вонюча, покрыта ряской и пеной лягушечьей икры, иссекаема зигзагами водяных насекомых. Спасшиеся люди, став на колени, разгребали себе касками более или менее чистую воронку, зачерпывали и пили — и не могли напиться. Он выпил тогда одну за другой четыре полных каски. И лишь после этого ощутил боль и что сапог полон крови.

Свои две пули он, разумеется, не мог не схлопотать. Одна повыше другой прошли насквозь, не задев кости, но идти он не мог, и его сначала понесли на носилках, сделанных из ветвей и шинели, потом раздобыли ему лошадь под седлом.

Он ехал, вытянув забинтованную ногу поверх стремяни — слабый и беспомощный, не могший без чьей-нибудь поддержки слезть по нужде. Но наружно он был — всадник, былинного облика воитель и вождь, и, не зная этого, являл собою притягательную силу — человека, знающего, куда вести. Если б он передвигался на машине, если бы суетился, даже распорядился энергично, он был бы от многих взоров

без пользы скрыт, но человек на коне, пребывающий в спокойствии и раздумье, помещает себя в центр внимания, он вознесён над головами толпы и владеет её тревогами и надеждами. Он ехал, ослабив поводья, бросив руки на луку седла, морщась от боли, но чувствуя постоянно обращённые к нему взгляды. И далеко окрест разносилась весть о генерале, собирающем несметную силу для отпора.

Нога распухла, и опухоль ползла к колену; было похоже на гангрену, и оставалось только перетянуть ногу жгутиком и отсечь клинком. В деревне близ Орши хозяйка избы усадила его, завернула штанину, приложила к опухоли тряпицу, сочившуюся пахучим настоем из травок и корней, прищёптывала над нею, затем помазала слюною коровы, лизавшей своего раненого телёнка. Неизвестно, какой был тут главный ингредиент, но день на третий, на четвёртый опухоль стала опадать.

...Теперь уже не помнилось, с какого дня пристроился к его стремени новый для генерала и по меньшей мере странный человек, бригадный комиссар Кирнос. Как-то вдруг с высоты седла генерал обнаружил его подле себя, вышагивающим в мрачной задумчивости. В любой толпе военных он бы выделялся обликом неискоренимо штатским: тяжёлыми кирзовыми сапогами с прямыми голенищами, слишком широкими для его тонких голенастых ног, слишком длинной гимнастёркой, сбитым набок ремнём, впалой своей грудью и выпяченным животиком. Чем-то напоминал он больную нахохленную птицу семейства журавлиных, скорее всего беспокойным лихорадочным видом, заострённым носом, исступлённо горящими круглыми чёрными глазами. Вспомнилось — он комиссарствовал в той дивизии, которая предназначалась Кобрисову, и это он предпринял контрнаступление на Иолгаву. И вообще-то не расположенный, как многие боевые командиры, к политработникам, генерал его тотчас отставил от командования и попросил впредь не утруждать себя военными делами. Можно было ждать возмущения, обиды, но нет, с видимым облегчением Кирнос уступил эту должность одному из полковых командиров, которого сам же генералу и рекомендовал, и вот появился рядом и вышагивал часами неотступно.

— Чем могу вам услужить, комиссар? — спросил генерал слегка насмешливо.

— У вас ромб в петлице и у меня ромб, — мрачно ответил Кирнос. — Мы можем и на ты.

Он не спрашивал, а утверждал непререкаемо, генерал не нашёлся возразить. Полевая сумка у Кирноса, оттягивавшая ему плечо, под напором содержимого расправила все свои гофры и уже не застёгивалась; генерал в ней предположил смену белья, полотенце и мыло, принадлежности для бритья, но оказалось иное. На вопрос, чем это сумка так набита, Кирнос едва не с гордостью показал пачку тонких книжечек, частью во что-нибудь обёрнутых, частью своего, красно-малинового, цвета.

— Партийные билеты, — пояснил он. — От коммуниста должен остаться партийный билет. Это доказательство, что он жил не зря и погиб не зря.

Он поведал, что начал собирать свою пачку в первые же часы войны и теперь пополняет её после боёв, после обстрелов и бомбёжек. Генералу рассказывали, как он бродит среди убитых и обыскивает их карманы, которые у рядовых бойцов помещались внутри галифе; чтобы до них добраться, надо было расстегнуть ремень и пуговицы на ширинке. С немалой досадой он пожаловался генералу, что далеко не все партбилеты удаётся собрать. Накануне, к примеру, сидел он на берегу речушки с командиром батальона, беседовали, курили — и были разбросаны близким разрывом шального снаряда. Кирнос остался невредим, только в голове у него до сих пор звенит и слух ослабел — но это, впрочем, уже проходит, — а вот у комбата отделившуюся верхнюю половину туловища перенесло через речку. Бесконечно жаль настоящего, пламенного коммуниста, но ещё досаднее оттого, что в кармане его гимнастёрки остался партийный билет. Нельзя ли, спросил Кирнос, послать за ним людей, ведь это всё-таки память о командире Красной Армии, не говоря о том, что билетом воспользуется враг.

У генерала возникло лёгкое головокружительное ощущение нереальности того, что пришлось услышать, но и поразило соображение, что эти тоненькие книжечки, пожалуй, долговечнее фанерной таблички на колышке, с надписью

химическим карандашом. А к тому же и сведения у Кирноса были подробнее, в графе «Уплата членских взносов» он записывал, к примеру: «Погиб 16-го июля в бою у деревни Барыбино» и далее координаты этого боя по карте-двухвёрстке.

«А что же, беспартийным учёт не полагается?» — хотелось спросить генералу, но не стал.

— Речушка-то узенькая, Евгений Натанович, — сказал он как можно серьёзнее. — Чего б тебе самому не сплавать?

Кирнос поднял к нему страдающее, искажённое гримасой стыда лицо.

— Не умею, Фотий Иванович. С детства никак не мог научиться.

Он сказал, что не боится ничего, самое страшное для него на войне — форсировать водные преграды.

В горящем лесу он был рядом с генералом и простреливаемую просеку перебежал не спеша, точнее переходил журавлиным шагом, тревожась больше о драгоценной сумке. Это он и высказал предположение, что немцев навели местные жители. И с удивлением, всё ещё не улёгшимся, стал рассказывать, как проходили через Каунас и как его жители провожали отступавших:

— Кто-то пустил слух, что высадились на город парашютисты, немецкий десант, и мы это так объясняли бойцам. На самом деле это были не парашютисты. Они бы стреляли, бросали гранаты, но в нас бросали из окон цветочные горшки, куски штукатурки, шлак с чердаков, кирпичи, а то и детские посудины опорожняли на наши головы. Я должен составить политическое донесение, как мне это оформить? Как воздействие вражеской пропаганды? Или раскрылись подлинные настроения народа, который так и не влился в полноправную семью, не успел за два года привыкнуть к новой жизни? Я не могу написать, что это были отдельные жители, это был чуть не весь город. А если это народ, то чему он сопротивлялся? Отступлению?

— Тебе это для себя нужно? — спросил генерал. — Или для политдонесения?

— Я себя и партию не разделяю.

— Это я усвоил, что не разделяешь. А кому всё же конкретно пишешь?

— Партии. Но не теперешней, которую испохабили и разложили, которая утратила всё лучшее, что в ней было, а той, какая должна быть — и будет.

— А, ну это долго... Это значит, пока что — себе... Да ничему они не сопротивлялись. Просто зло срывали.

— Но что мы им сделали? Чем так насолили?

— А разве ничем? В гости пришли без спросу. Расположились, как хозяева.

— Так они же сами позвали! Они же пожелали присоединиться! Большинством голосов!..

— Евгений Натанович, это кто же и когда армию на свою землю звал?

— Как?! Историю надо знать. В начале века армяне позвали русскую армию против турок.

Генерал об этом услышал впервые и сказал коротко:

— Ну, так то — армяне.

Час спустя, проведя его в полном угрюмом молчании, Киринос ему сказал:

— Ты избрал мудрую тактику — всех прощать.

Но генерал никакой тактики не избирал, просто владело им твёрдое сознание, что все эти люди, окружавшие его, не виноваты. Не по своей вине они проиграли первые бои на границе — только идиот мог приказать им сражаться там, и значит рассматривать условную и случайную линию как боевой рубеж. Сражаться — и где ручеек журчит, и где она — середина реки, и где — низ холма. Так облегчили немцам задачу — ворваться на их плечах на позиции укрепленные, заранее предусмотренные для обороны и теперь бесполезные. Вот он услышал о *факторе внезапности*, который составлял временное преимущество немцев, а единственная внезапность была в том, что величайший полководец всех времён и народов оказался недоучкой и дезертиром, на целых одиннадцать дней устранившимся от командования. Что же после этого винить тех, кто сорвал петлицы или зарыл документы? Или тех, кто поднял руки, а потом бежал из плена, пробирается к своим? Генерал велел принимать всех до единого, не делая никаких поправок. Свинтил знаки различия — будешь рядовым. Бросил винтовку — возьми у погибшего в бою, добудь у врага. Знамя потеряли — вступайте в ту

часть, которая его сохранила. Если вообще они нужны, знамёна...

Иной раз целыми часами шёл Кирнос рядом, словно бы и не чувствуя едущего шагом генерала, погружённый в свои мрачные неповоротливые мысли. И однажды, разомкнув бледно-лиловые свои губы, спросил вдруг:

— Фотий Иванович, скажи мне, ты отступаешь или наступаешь?

— Как это? — генерал удивился искренне.

— Ну вот ты говорил, что главное — оторваться от противника, ради этого можно многим пожертвовать. Но мы же от него не отрываемся. Мы с ним непонятно как сосуществуем.

— А не надо мешать ему, и он нам мешать не будет. Зачем ему облегчать разведку боем? Чем больше огрызаешься, тем больше он про тебя узнаёт.

— Но вот я вижу, в некоторых частях пушки волокут — без снарядов! Зачем такая бессмысленная растрата энергии? И так ведь лошадей не хватает. Мы свою артиллерию в Каунасе, поскольку снаряды кончились, всю побросали в Неман. Заводили моторы тягачей и направляли в воду.

— Ух, какие ж бесхозяйственные мужики!

— Чтоб не достались врагу!

— Так и самим же не достались! Затем волокут, Евгений Натанович, что снаряды легче найти, чем стволы. Этих пушечек полковых, семьдесят шесть миллиметров, много выпущено, снаряды для них найдём. Ну, и бросить жалко. Одни прицелы каких денег стоят!

Кирнос едва не час вышагивал молча, потом спросил:

— А всё же ты не ответил мне: ты отступаешь или наступаешь?

— Сам не знаю, — отвечал генерал. — Иду на восток, в Россию. Хочу, понимаешь ли, концом копыя Волгу потрогать. Говорят, часовенка там поставлена, где она вытекает из родничка. Там я посижу, подумаю — и скажу тебе, жива ли Россия или уже нет её.

— А злость ты чувствуешь?

— Чувствую, Евгений Натанович. Огромной силы злость.

— На немцев?

— Не только на немцев. Больше даже — на своих.

— А чувство мести — горит в тебе?

— Да кое с кем бы я посчитался...

— Так я скажу тебе, — произнёс Кирнос почти торжественно, с просветлённым лицом, с горящими глазами. — Так ты таки наступаешь!

Генерал ответил, пожав плечами:

— Разницы не вижу. Иду вольный по своей земле. Никто не гонит меня, да вроде и не препятствует никто. А в душе — тоска.

Кирнос, оглядываясь вокруг, не подслушивает ли кто их разговор, сказал, понижая голос до свистящего хрипа:

— Этого не может быть, что мы такие одни! Ведь говорят, что мы, земляне, навряд ли единственные мыслящие существа во Вселенной. Почему же в России таких, как мы с тобой и все наши люди, больше нет? Ты представь себе, какие полчища сейчас движутся к Москве! И сколько ненависти они в себе несут, сколько обид накопилось. Но это же не армии, это орды, неорганизованный сброд. Ты, Фотий Иванович, сейчас, может быть, единственный командир, у кого под началом — армия! Я всё думаю об этих пушках и прихожу к выводу, что ты прав. Нужно добиваться полного комплектования. Чтоб у нас всё было своё!

Пожалуй, генерал, уже хорошо пуганный, сорок дней проведенный в камерах Лубянки, заподозрил бы провокацию, если б не полнейшее, безграничное простодушие собеседника. Оно не могло быть игрой, иначе пришлось бы признать этого Кирноса гениальным актёром, каким он до смешного не был.

— Вот, оказывается, какой ты собственник, — сказал генерал, усмехаясь. — Может, и свой трибунал заведём? Свою гауптвахту?

— Я серьёзно.

— А серьёзно, так у нас покамест только пленные свои. И то не знаем, что с ними делать.

Было их с десятков — взятых в разное время «языков», которых отпустить за ненадобностью нельзя было, они бы стали «языками» для своих, а расстрелять — жалко и не за что. Немцы были послушны, сносили терпеливо все тяготы пути,

они форсировали реки бок о бок со своим единственным конвоем, которого они обожали, приносили ему обед с кухни, а когда он прилегал вздремнуть, охраняли его сон и его оружие. Похоже, они были рады, что война для них кончилась, для полного счастья недоставало только уверенности, что их всё же не расстреляют.

— Своя артиллерия, свой госпиталь, — перечислял Кирнос мечтательно. — Будут и свои танки, и самолёты...

— Вот ты в облаках и паришь, Евгений Натанович, — перебил генерал. — Нам бы о патронах думать, где их пополнить, а ты — о танках... Госпиталь у меня! Ты б в этот госпиталь сунул нос. Что армию больше всего характеризует? Отношение к раненым. Слава Богу, мы их не бросаем, не дожили до этого, а толком их полечить не можем. На мою ногу бинтов хватило, а бойцам сестрички любовные подарки делают: своё исподнее режут на ленты и этим перевязывают. А к ранам прикладывают подорожник. Нажуют и прикладывают...

— Но ведь заживают раны, Фотий Иванович?

— Да уж... Заживают.

— Мы всё это возьмём по дороге. Я тут приложу все усилия. И надо быстрее, быстрее идти на Москву. Надо противника опередить, чтоб он не ворвался на наших плечах!..

— Ну, это, положим, хороший генерал не допустит. Только зачем опережать? Знаешь, когда медведь на охотника насаждает, хочет его задрать, куда верная собачка медведя кусает? Не в морду, нет, она его за вислую задницу тьяет. Вот и я его, как та собачка, сзади тьяну. И покамест фриц со мной отношения не выяснит, в Москву он не войдёт.

— В Москву мы войдём, Фотий Иванович! — восклицал Кирнос, уже голос не приглушая, и желваки гуляли по его худым щекам, поросшим иссиня-чёрной щетиной. — Оборону там ничего не стоит взломать, да её и нет, она вся погибла на границе, разговоры о резервах — пропаганда, мне-то лучше знать, чем кому бы то ни было. Самое большее там — три полка НКВД. Кремлёвскую дивизию можно не считать, это для почётных караулов, это опереточное войско. И то уже, наверно, разбежалось...

— Но мы же, как-никак, радио слушаем. Вождь любимый — из Кремля говорил.

— Почему ты так уверен, что из Кремля? Если тебе говорят, что это передаёт радиостанция «Коминтерн», так ты думаешь — из Москвы? А может быть, из-за Урала уже вещают? Из Сибири? Из-за Полярного круга?.. Нет, какая наивность!

— Может, и так. Да что-то блазнит мне, что Москва не сгинула!

— Это ты себя убеждаешь. Это политика страуса. Значит, ещё не понял ты, что всё погибло. И тебе не только армию придётся взять на себя.

— А что ещё? — спросил генерал едва не испуганно.

Кирнос, подняв к нему лицо, искажённое мукой, выкрикнул:

— Всё! Буквально всё!

— Ну-ну, — сказал генерал примиряюще, — перегрелся ты, возьми фляжку у меня в подсумке, водички попей...

Кирнос продолжал, словно бы не слыша его, а может быть, и впрямь не слыша:

— Тебе выпала историческая роль: принять на себя всё руководство страной, объявить себя единовластным и полномочным диктатором. Да, диктатором. И кто будет этому сопротивляться — предъявить ультиматум. Если не примут, перебить беспощадно. Да! «Если враг не сдаётся, его уничтожают».

— Господи, твоя воля, — генерал возражал терпеливо, как будто уговаривая больного. — Хорошую ты мне работу придумал.

— Я не придумал. Так складываются обстоятельства.

— Да зачем это мне? Почему мне?

— Потому что больше никому.

Вспомнив, должно быть, свои же слова: «не может быть, что мы такие одни», он добавил:

— Ну, возможно, ещё десяток-другой генералов найдётся, которым этот бардак осточертел. Пусть будет — совет. Или — военная хунта. Или чёрт его знает как это будет называться, неважно, лишь бы страну спасти, завоевания революции!.. Почему-то я думаю, что ты будешь — старшим.

А я при тебе комиссаром. Я помогу тебе избежать многих ошибок...

«А своих не наделаешь?» — подумал генерал.

Остальной путь до вечера Кирнос молчал, погружённый в свои загадочные раздумья. Разговорился за ужином, в хате, словно и не замечая хозяйки-старухи, собравшей им на стол с дюжину картофелин в мундире, две больших луковицы, бутылку мутного самогона.

— Можно объявить себя военным диктатором, — сказал он, макая картофелину, с лепестками неснятой кожуры, в тряпицу с солью. — Но лучше — народным президентом. Которого выбрала армия в ситуации чрезвычайной. Это не противоречит духу марксизма-ленинизма, а если угодно, то и букве — учению о вооружённом восстании. Революция обязана себя спасти любыми средствами.

Хозяйка, приглашённая выпить с ними, взглядывала на Кирноса испуганно-уважительно. Едва ли что понимала она в речах двух фронтовиков, поедавших её картошку, и, верно, не чаяла услышать эту музыку в бедной своей хате, в которой вчера только побывали немцы — и пренебрегли, ушли. И непонятно было, как же эта музыка, возвратившаяся из недавних времён, звучала в её ушах — сладостно или зловеще? Об этом спросил себя генерал, приняв некую дозу, так горячо, блаженно растекавшуюся внутри. И ещё о том он подумал, что, наверное, прав был Верховный, когда во всех подозревал врагов. В сущности, каждый мог им стать. Но ведь сам же он эту вражду и породил.

Генерал хотел спросить у Кирноса, что он про это думает, но такие вопросы нельзя было задавать даже и в тылу врага. Впрочем, когда беседа приняла пьяный оборот, Кирнос об этом заговорил сам, прихлопнув ладонью по столу и затем помахивая перед лицом генерала длинным согнутым пальцем:

— Он... ты знаешь, о ком я говорю... он должен быть низложен. Это первое, что надо сделать! И судить всенародно. Он должен ответить за все свои преступления.

Генералу, хоть он думал сходно, отчего-то захотелось противоречить:

— Что ты так на него свирепствуешь? Тебя лично — чем он обидел?

— Я понимаю твой вопрос. «Кем бы ты был, неистовый еврей, если б не революция, не советская власть? Ты бы свой нос не высовывал из местечковой лавки, где торговали все твои предки до четвёртого колена». Шучу, Фотий Иванович... Это — под влиянием возлияния... Итак, отвечаю: меня лично ничем советская власть не обидела. Мне революция, можно сказать, открыла все пути. Имею политическое образование, которого ты таки не имеешь, возможность жить идеями, духовной жизнью. И что же, я за это должен ему простить тридцать седьмой год?

Генерал удивился, что именно такого ответа и ждал.

— Да что за год такой интересный, скажи на милость! Вот слышал я... в одном заведении, где пришлось мне сорок дней побывать: «Сейчас ещё что, а вот тридцать седьмой!» Ну, что же тридцать седьмой? А то, что самих начали хватать, «своих», которые других раньше хватали. Забыл Тухачевский, как он кронштадтцев на льду расстреливал и в проруби спускал? А вспомнилось, поди, когда самого... Главное — самого. Не-ет, я не в обиде на него за тридцать седьмой. Да за одно то, что он Бела Куна шлёпнул, я б ему памятник поставил. Этот Бела Кун тридцать тысяч офицеров пленных расстрелял в Крыму. Которые по его призыву к его сапогам оружие принесли и положили. Могли бежать, но не бежали, остались новую Россию строить — революционную! А он их собрал — что значит «собрал»? предложил собраться — и всех перестрелял в долине.

— Он своё получил, — сказал Кирнос. — Я согласен, многие своё получили справедливо — за настоящие, не выдуманные преступления. За то, что уничтожали испытанные партийные кадры...

— В чём испытанные? В живоглотстве, в живодёрстве, ты меня прости. Я так говорить могу, потому что и сам руку прикладывал к неправому делу. И прощения себе не нахожу. В молодые годы я за басмачами гонялся. Да кто такие эти басмачи — с ихними английскими маузерами? Где они скачут на своих арабских скакунах? По московским улицам? Нет, по барханам своим. Да я-то зачем полез в ихние барханы? Я-то чего грудью встал за бедных дашнаков? Они меня об этом просили? Ещё придёт время — внуки этих дашнаков

песни сложат про басмачей — и национальными героями назовут. Вот как!..

Хозяйка им постелила на полу, накрыв цветистой занавеской два полушубка. Генерала вполне устроило это ложе, мощам Кирноса оно было жёстко, он постелил ещё и шинель.

Спали, накрывшись одной шинелью, но вскоре генерал почувствовал, что лежит один. Кирнос сидел на лавке у окна, в которое яростно светил молодой месяц, курил, что-то шептал про себя. В звенящей тишине ночи, с таким уютным пиликаньем сверчка, был пугающе странен этот шёпот, похожий на страстную молитву.

— А примет ли она, Россия, свободу из наших рук? — спросил генерал.

Кирнос, тяжело вздохнув, ответил, что сам об этом думает и просит дать ему ещё немножко подумать. Утром, едва тронулись дальше в путь, он продолжил этот разговор с полуслова:

— Что значит «примет ли»? Есть историческая необходимость, народ это обязан понять и поймёт. Мы установим подлинное коммунистическое правительство. В духе священных для нас заветов Ленина. То, о котором мечтали лучшие умы человечества. То, что и называется «диктатура пролетариата», а не тирана, возомнившего себя гением. Если только получится у нас, я благословлю эту войну!

Генералу от этих слов делалось уныло. Не под эту ли музыку — «диктатура», «священные заветы», — стоял он на коленях в углу и протягивал руки для битья линейкой? Умереть за Россию, за народовластие — это да, это понятно. Но умереть за «диктатуру пролетариата»? А что это? Те чумазые слесари и такелажники, те грузчики и шофёры, которые опохмеляются пивом у ларьков и говорят непечатно о бабах — это их диктатура? Да что они про неё знают?

Кажется, он свои мысли всё же выразил вслух, потому что Кирнос откликнулся:

— Но мы установим диктатуру человечную. Которую каждый примет как свою.

— А такие бывают?

— Мы установим, чего бы это ни стоило!

— Правильно. А кто возражать будет — того к стенке.

— Что ж, расстрел во имя человечности, самый массовый и жестокий — я за. Но это в последний раз!

...Лошадь погибла где-то между Оршей и Ярцево. Нежданно зашли над лесом «юнкеры» и сбросили бомбовый запас на головы людей, не успевших не то что разбежаться, но хотя бы пасть на землю. Генералу никто не помог, он остался в седле и только ждал, удивляясь, отчего так долго не впиваются обильные осколки, визжащие над ухом, не изрешетят его и лошадь. Ему не досталось, досталось ей. Впервые с тех пор, как научился ездить верхом, он утратил власть над лошадьёю; не слушаясь рывка поводыев, она кинулась вскачь сквозь кусты и попала обеими ногами в какую-то рытвину или в барсучью нору. Сквозь грохот бомбёжки он услышал треск ломаемой кости и затем жалкий задушенный, едва не человеческий вскрик. Упав, она ему придавила больную ногу, он света не взвидел от боли, а она продолжала биться, порываясь встать и снова падая...

Подбежавший Кирнос не знал, что делать, как помочь ему выпростать ногу.

— Она встать не может, Фотий Иванович. Обе ноги передние...

— Знаю, что передние, — прохрипел генерал. — Пристрелить её надо. Быстрей!

Кирнос, выхватив пистолет, направил его в морду лошади и так сморщился, побелев лицом, как будто в него самого направили воронёное дуло.

— В ухо! — кричал генерал. — Самое верное!..

Кирнос, вставив пистолет в ухо лошади, которая сразу и странно притихла, бесконечно долго не нажимал на спуск.

— Да не мучь ты её! — взревел уже генерал, едва не теряя сознание.

Кирнос, отвернув лицо, выстрелил. Несколько секунд спустя решил он взглянуть на дело рук своих — и ужаснулся разбухшему, раздавленному черепу, выпученному глазу. Лошадь перестала биться, но вылезти генерал всё не мог. Кирнос, точно в столбняке, замер во весь рост под осколками. Помогли трое бойцов, которые, передвигаясь на корточках, оттащили лошадь за хвост.

— Ты в жизни в кого-нибудь стрелял? — спросил генерал.

— Никогда. В первый раз.

Лошадь раздобыли другую, много хуже убитой. С той крепкой литовской кобылкой, могшей чуть не призы брать, было не сравнить водовозного флегматичного мерина, с отвислым брюхом и нелепыми белыми пятнами по буланой масти.

Кирносу мерин не понравился, вызвал едва ли не омерзение.

— Типичное не то, — сказал Кирнос. — При первой возможности достанем тебе совсем белого.

— Белых в кавалерии не бывает. Бывают — соловой масти. И тогда будет истинное коммунистическое правительство?

Шутка тоже не понравилась Кирносу. Он промолчал.

На другой день он изложил свой план — ему не под силу осуществлять защиту идей с применением оружия, для этого нужны другие свойства души. И он сосредоточится исключительно на руководстве партией.

— Это моя стезя. А ты отвечаешь — за армию.

Генерал покорно свою обязанность принял.

— Надо ещё подобрать способных командиров — возглавить руководство военной промышленности. В наших рядах такие есть. Но самое главное дело — на тебе и на таких же боевых генералах. Надо переломить ход войны. Выиграть эту войну. Ты — сумеешь.

— Думаешь, так уж я в стратегии силён?

— А кто такие были Чапаев, Котовский, Фрунзе, наконец? В военном отношении были неучи, не в пример тебе. Но был в них революционный дух, вот чего тебе не хватает. Надо же наконец-то вплотную познакомиться, что писали Маркс и Энгельс, что говорил Ленин. Тебе бы кое-что почитать. Хотя бы «Критику Готской программы». У меня она как раз законспектирована.

— Я и саму-то Готскую программу не читал.

— Саму — не надо. Надо — критику. Ты поймёшь, что жил до сих пор в темноте. Ну, скажем, в полумраке. А здесь ты попадаешь совсем в другой мир, где всё просто, предельно понятно, кристально ясно.

Ночью приснилась генералу «Критика Готской программы». Он её увидел отчётливо — в белом балахоне, с прорезями для глаз. Она выходила к нему, приплясывая, как на танцульках деревенских выходят девки к парням, вызывая отколоть коленце. Почему-то было ясно, что это женщина, и что она — неживая, и почему-то её звали «Критика Готской программы». Кажется, она сама так себя называла. Проснулся он удивлённый и несколько расстроенный: «Ох, неспроста бабы снятся!»

Однажды — уже под Ярцевом это было — прибилась, вырвавшись из своего окружения, группа человек в семьдесят. Кирнос, выявив коммунистов, поставил их на партучёт, провёл с ними краткую политбеседу. Впрочем, суетливых этих сокращений: «партучёт», «политбеседа», которые жизненного времени отнюдь не сберегают, он не употреблял, но всегда — «партийный учёт», «политическая беседа». Вернувшись, он рассказал о «случае возмутительном» — как эти люди попали в засаду. Завела их к немцам вертлявая бабка, у которой всего-то конфисковали кабанчика. Конфискацию она приняла спокойно, разве что губы поджала, и вызвалась проводить гостей в соседнее село, где будто бы кричала: «Так вам и надо, извергам, всю жизнь порушили, испакостили, изговняли, так пусть вас тут всех перестреляют!».

— А не перевелись ещё Сусанины на святой Руси, — подивился генерал. — И что ж, укоротили бабку? И речь бабкину, и бабкин век?

— Да, пришлось... Без суда. Я понимаю... Но есть же законы военного времени!

— А той бабке, небось, всего пятьдесят стукнуло...

— Не знаю. Ты что, жалеешь её? Ту, которая за кабанчика сочла возможным человеческими жизнями расплатиться?

— Расплатилась-то она, — заметил генерал, чем вогнал Кирноса в мрачное раздумье. — А представляешь, что был для неё этот кабанчик? Небось, имечко было у него. А как же, покуда растят его — член семьи. А перед тем, как зарезать, прощения у него просят. И почему ж его надо было под мобилизацию отдавать? За что?

Кирнос, снизу вверх, посмотрел удивлённо, сказал то ли серьёзно, то ли шутя:

— Вот не знал, что у генерала Кобрисова кулацкие настроения.

— А нет кулацких настроений. Они — человеческие. Ты мне скажи, комиссар, вот этого коника мы по какому праву конфисковали у сельчан?

— По праву армии. Население обязано считаться с нуждами армии.

— Не то говоришь, Евгений Натанович. Армия имеет права, когда она защищает население, когда наступает. А когда она драпает — нет у неё никаких прав. Молочка попросить — и то нету. Только водички из колодца.

— Спорно. И к чему ты это ведёшь?

— А к тому, что мы всегда всё по праву берём — и всё авансом, всё в кредит. Когда ж отдавать будем? И чем?

Кирнос, с лицом, которое сделалось от злости каменным, сказал упрямо:

— Есть обстоятельства, когда надо суметь подавить в себе жалость. Сентиментальность — только выглядит, как человечность. Но это — суррогат. Истинная человечность бывает иногда на вид страшна. Но — оправданна.

Ответная волна злости затмевала генералу голову, стучало от неё в висках. Как ни странно, а первым, кого пришлось бы расстрелять, оказался бы Кирнос. Чем не диктатор, дай только волю! Но если пришло на ум, что кого-то для общего счастья надо в расход пустить, то почему не с него начать, с Кобрисова?

Некоторое время двигались молча, затем генерал спросил:

— А ты, Евгений Натанович, крестьянские волнения подавлял?

— Не приходилось. Но что такое классовая борьба в деревне, я представление имею.

— Да? — удивился генерал. — А я вот не имею. Хотя, можно сказать, поучаствовал. Вот, хочешь, расскажу тебе про классовую борьбу. В одной волости помогали мы с коллективизацией. Не так чтобы сильно возражал народ, но надо было семенной фонд обеспечить будущему колхозу, а с этим делом всегда сложности большие. Так что пришлось оказать помощь... не останавливаясь перед применением оружия. И вот, крепкий мужик один, по-нашему с тобой — «кулак»,

попросил соседа-бедняка, Афоню... вот, даже имя запомнил... попросил спрятать у себя несколько мешков зерна. Тот согласился — не за деньги, и не за долю хлеба, а вовсе бесплатно — потому что не любил этих экспроприаторов, то есть нас с тобой не любил, а хозяев крепких, наоборот, уважал, считал — тот богат, кто умеет своё беречь и использовать, а не тот, кто чужого нахапал. И не думал никто этого Афоню обыскивать... Посадили кулака в холодную — на хлеб и воду, сказали, что сгноят, если не скажет, куда упрятал зерно. День на десятый он сознался. И где хлеб, сказал, и кто его прячет. Взяли того Афоню, повезли в райцентр, на показательный суд. На одной подводе они с кулаком ехали. И он соседа простил по-христиански. Ни словом не попрекнул того, кто его выдал, всю его судьбу покалечил. А ждала их обоих судьба лютая, одно облегчение — что короткая... А кто же классовый враг-то был? А я и был, Фотий Кобрисов, нынешний советский генерал. И вот понял я: армия существует не для этого. Не для того, чтоб я баб и стариков побеждал да принуждал. Что это за «преобразование» такое, что должны его под дулами и штыками проводить?

Киринос ни слова не сказал в ответ.

...К августу стало совсем худо. Едва тащилось усталое ослабевшее войско, в изодранном обмундировании, в обуви, которая «просила каши», да и десяткам тысяч ртов этой каши уже не хватало, армейские обозы истощились вконец, а земля, по которой шли, была разграблена и нища. С огородов всё уже было вырыто, на полях сожжено, в лесах сорвано и убито всё, что могло быть пищей. Уже не нужно было призывать командиров отказаться от своего дополнительного пайка в пользу бойцов, голодали все одинаково, и генерал голодал со всеми наравне. Подступало бездонное, безвылазное отчаяние.

В таком вот отчаянии, когда с утра во рту маковой росинки не было и не обещалось быть, они с Кириносом сидели на земле, прислонясь спинами к дереву, бессильные пальцем шевельнуть и языком. Киринос ещё вдобавок мучился без курева.

И вышел на поляну солдатик — в горбатой шинельке с бахромою на пдлах, — пригляделся к ним, склонив набок

голову в добела выцветшей пилотке, и произнёс в горестном изумлении:

— Бог ты мой, командующий с комиссаром не евши сидят, бедненькие. А нам-то хоть сухари выдали. Дай-кось поделимся.

Сунув руки в карманы едва не по локоть, перегибаясь с боку на бок, он что-то нашарил, вытащил каменный армейский чёрный сухарь и разломил его надвое.

— Натё-кось, поточите зубки.

Предприняв такие же глубокие изыскания, он вытащил и ссыпал Кирносу на ладонь горстку махорки, вперемешку с сухарными крошками. Двое высокорослых и вышестоящих мужиков смотрели оторопело в курносое лопухое лицо солдата, едва достававшего, наверно, до плеча им. Они не догадались поблагодарить его, а он того и не ждал; ушёл довольный, что кого-то сумел ублажить, сам себе объясняя убыточную свою щедрость:

— Нельзя ж так людям — совсем без ничего.

Генерал Кобрисов, с сухарём в руке, чувствуя в горле комок, скопился на Кирноса — у того в глазах стояли слёзы. Стыдясь их и злясь на себя, он их утирал кулаком с зажатой в нём махоркой.

— Я это не смогу забыть... Никогда! — выдавил он из себя. — Я судил о жизни и ничего о ней не знал, а теперь я знаю всё. И я благодарю войну — за то, что дала мне это узнать.

Генерал говорить не хотел. Он знал, что голос его превётся.

— А мы даже не спросили, как его зовут, — сказал Кирнос. — Наверно, и спрашивать бессмысленно, этот он и есть — народ... О котором мы оба с тобой ничего не знали.

«Так сразу ты всё узнал, — подумал генерал. — Даже завидно. А я вот и раньше не знал и ещё больше не знаю».

...По всем прикидкам генерала, он должен был вывести армию куда-то севернее Москвы, скорее всего к каналу Волга — Москва, который мог бы стать рубежом окончательным. Он таким и стал, когда в ноябре подползли к нему танки Рейнгардта и Гёппнера. Есть сведения, что немцам удалось даже переправиться через канал, но лишь на сутки, и место

переправы оказалось, по-видимому, ближайшим для них подступом к Москве. По одним отсчётам, это в 17-ти километрах от неё, по другим — в 35-ти. И то, и другое верно, всё дело в том, откуда считать — от окружной железной дороги, бывшей тогда границей города, или от Спасской башни Кремля, служившей издревле как бы начальным верстовым столбом. Суждено и генералу Кобрисову принять участие в тех боях и выбыть из них по оплошности — может быть, извинительной, — чтоб быть чудесно спасённым руками Шестерикова и наступлением Власова. Но это случится в декабре, а в августе 1941-го было ещё так далеко до Волги, которую мечтал он потрогать концом копья...

...В августе он дошёл до малого городка под названием, которое показалось ему знаменательным: «Владимирский Тупик»; в тридцати километрах от него брала начало из родника другая великая река России — Днепр. Впрочем, и об её истоке не узнал он, поставлена ли над ним часовенка или нет. Вероятно, он проявил бы побольше любознательности и упрямства, если б мог предвидеть, что когда-нибудь свяжется его жизнь с тем же Днепром, но в его полноводном течении, с плацдармом на Правобережье, с городишком Мырятином, с другой армией, не этой, которую он потерял, отправясь на французский коньяк в Большие Перемерки.

В этом Владимирском Тупике впервые за войну увидели трамвай. Может быть, то была единственная на весь город линия, у неё и номер-то был первый. Вагоны, один красный, другой синий, были с двумя токосъёмными дугами — во избежание вольтовых вспышек ночью. Здесь блюли светомаскировку. Стёкла вагонов были крест-накрест заклеены полосками газетной бумаги, и трамвай вёз на себе плакат: «Трус и паникёр — пособники врага!» Всё в этом мобилизованном воинственном трамвае показалось генералу трогательным и беспомощным. Он необъяснимым чутьём почувствовал, что перед ним до самой Москвы — едва ли не пустое пространство. И он представил себе, как его пересекает орда войск, врывается в столицу, растекается по её улицам и площадям, как его танки, невесть откуда взявшиеся, лязгают по брусчатке и наполняют городской пейзаж

чёрным дымом. Он первым делом отворяет все тюрьмы, а затем, надев шпоры, сопровождаемый своими командирами и толпою недавних арестантов, входит в ворота Кремля, поднимается широкой лестницей, идёт по ковровым дорожкам высочайшего учреждения. Здесь обрывалась его фантазия. Далее он не заглядывал — как человек военный, который не привык строить далеко идущие планы. Никогда ни одно сражение не было по такому плану выиграно. Война сама подскажет, что делать.

Стало вдруг ошутимо, что впереди уже никаких немцев нет. Похоже, они на что-то напоролись и растеклись в стороны, опасаясь попасть между двумя огнями. Казалось, уже и нет препятствий всё же дойти до того родничка, но вдруг головная застава упёрлась в чью-то оборону и была обстреляна. Разведка принесла новость: там, в окопах, слышится явно русская речь. А затем понемногу, постепенно стало происходить то, что и всегда бывает в таких случаях, когда наступающие и обороняющиеся говорят на одном языке. Плотная оборона оказалась вполне проницаемой, нашлись такие смельчаки, назвавшиеся «ходаками» или «землепроходцами», которые сквозь неё хаживали погостить и возвращались. С той стороны тоже были «ходаки» и «землепроходцы», они смущённо выведывали: «Вы ж не против нас, верно?» Так, сутки напролёт, стояли одна против другой две силы, неизвестно чем и почему разъединённые и томимые взаимным притяжением.

И вдруг всё оборвалось. От последних гостей стало известно, что весь передний край в одну ночь заполнился частями НКВД. И как будто передний край отсекли, он ошестинился пулемётными гнездами, засадами снайперов; где протоптаны были тропы мира, поднялись ряды кольев с пряжами колючей проволоки, зазмеились в травах и лопухах спирали Бруно. А где и так нехожено было, выросли таблички, извещавшие путника о минных полях. Затем появилась громкоговорительная установка, огласившая окрестность призывами переходить к своим, не слушаясь провокационных приказов командиров. Гарантировались освобождение от наказания, возможность — после надлежащей проверки — встать на защиту любимой родины.

Генерал с Кирносом слушали это сквозь распахнутые окна хаты, на окраине села, и оба молчали. Кирнос был мрачен и нахохлен, лоб его бороздили мучительные складки. Он курил и морщился, не поднимая взгляд. И отчего-то было впервые неловко вдвоём.

Затем появился в небе двухмоторный десантный ЛИ-2, с красными звёздами на крыльях и фюзеляже. Это был первый самолёт, от которого не надо было прятаться. И люди, высыпающие на улицы, смотрели на него заворуженно. Он полетал кругами, должно быть что-то высматривая, затем от него отделились и зависли над лесом три парашюта.

Были у троих этих посланцев одинаково жёсткие лица с глазами ястребиными, которые сверлили и повелевали, вынуждая к заведомой покорности. Было похоже, они себя подготовили к возможной смерти и перешли ту грань, за которой уже ничего не страшно. И оттого неподавимый страх возникал в душе собеседника. Такие лица, подумал генерал, бывают, наверно, у расстрельщиков. Позднее, повидав эту категорию людей, он убедился, что у хорошего расстрельщика, любящего своё дело, лицо зачастую пухловатое и задумчивое, рот небольшой, чувственный и женственный, а глаза мечтательные, с поволокою. Нет, перед ним были отчаяуги, боевики, профессионалы ножа, стрельбы навскидку, костоломных и смертельных ударов руками и ногами. Такие часто вербуются из блатных.

Один из них, с перебитым носом, представился старшим, второго тоже назвал по имени и званию. Третьего почему-то ни он не назвал, ни сам тот не назвался. Этого можно было и не заметить, но за генералом был уже тюремный опыт, камерные предания, из которых он почерпнул, что во всякой группе славных чекистов есть непременно один, который себя не называет; он-то и есть главный. В разговор этот неназываемый не вступал, а только смотрел в упор с нескрывтой враждебностью.

Они потребовали оставить их наедине с командующим. Кирнос взглянул на генерала вопросительно и тотчас опустил голову и застыл, как будто ждал себе приговора. Было несколько тяжких секунд, покуда генерал размышлял, а те трое не сводили с него взглядов. Он думал о том, что это

всего лишь излюбленная их «проверка на вшивость» и что подчиниться ей унижительно, но не менее унижительно ей воспротивиться, выказав тем свой страх. Он не думал о том, что в эти секунды решает он судьбу другого человека.

— Подожди у себя, Евгений Натанович, — сказал он как можно спокойнее, беззаботнее, всем видом не придавая важности этому требованию парашютистов. — Мы тут с товарищами ненадолго...

Кирнос встал медленно, точно бы отклеиваясь от лавки, с бледным, сразу обострившимся лицом, зачем-то расстегнул и застегнул свою драгоценную сумку, ещё раз взглянул на генерала — показалось, с укором и жалостью. Никто из них троих не смотрел на него, покуда он не вышел.

— И охота вам была с неба прыгать? — сказал генерал. — Хорошо, что ноги не переломали об деревья. А что б вам было чинно не прийти, парламентарями?

— Это как? — спросил старший, обдав его ледяным взглядом. — К вам с белым флагом?

Тот, который не назвался, смотрел с презрением.

— Не учёл, — сказал генерал, — что так нынче положено встречать окруженцев.

Было тягостное унылое чувство разочарования: вот он пришёл к своим, к соотечественникам, о встрече с которыми всё же не переставал мечтать, а вышло, что прежде всего утратил свободу, какая была у него в самые горестные дни, в задымленных лесах и вонючих болотах, и теперь остаётся лишь пригнуть голову и покорно стать в стойло. Кто ещё так мог бы встретить его, кто ещё так обожает соотечественников своих, как русские?

— Какие намерения, генерал? — спросил старший, с перебитым носом.

Второй смотрел так, словно вот сейчас выстрелит. Третий, который не назвался, его усмирил взглядом, в котором ясно читалось: «Погоди, никуда он у нас не денется».

— Куда ж мне от вас деться? — сказал генерал. — Вы намерения мои наперёд знаете.

— Отчасти знаем, — сказал перебитоносый, с неопределённой угрозой в голосе, налегая локтями и грудью на стол, за которым сидел против генерала. — И кое-какие настроения,

имеющие место в вашей, с позволения сказать, группе войск, себе представляем.

— С позволения сказать, у меня армия, — сказал генерал.

Никто из троих не возразил ему, но как не возражают сморозившему явную глупость. А в голове пугающе пронеслось, что, наверно, кто-то же слышал его с Кириносом беседы и как-то сумел передать — да через тех же «ходоков», «землепроходцев»...

— Ваше соединение, — сказал старший, — придётся расформировать по отдельным частям. Есть указания о выходящих из окружения. В таком виде ваша армия существовать не может. Будете противиться — предъявлю вам ордер на арест. На ваше имя, подписанный.

— Вы рискуете. Не забудьте — находитесь в расположении моих войск.

— Мы вас отсюда выведем и через всё расположение проведём под конвоем, без ремня. Уверяю вас, генерал, ни один человек из вашего войска за вас не вступится.

Тот, который не назвался, застыл и, казалось, моргать перестал, смотрел колючими глазами в упор. Второй смотрел на него вопросительно: может быть, не церемониться, взять и скрутить? И то и другое показалось генералу разыгранным приёмом. Не раньше они его могли бы вывести под конвоем, чем он отдал бы приказ разоружиться. Иначе зачем бы им тратить время на беседы? Но едва отдаст он этот приказ, они его, уж точно, скрутят.

— Как люди военные, — сказал генерал терпеливо, — вы должны понимать, что выход из окружения такой массы войск — дело сложное и опасное.

— Как военный человек, — сказал старший, — вы тоже должны понимать: наши люди идут на риск, когда выходят на соединение к неизвестным частям. Неизвестно, кто вы такие в данный момент. Может быть, продались давно немцам. Может, нападёте и всех нас перестреляете, как куропаток.

Весёлая мысль пришла в голову генералу, и он её высказал:

— Почему ж так неуверенно: «Может быть, продались», «Может быть, нападёте»? Неужто людей ваших, осведомителей, не было в моей армии?

— Я только указываю основания для законного недоверия, — сказал старший. — А без наших людей нигде не обходится. И они представили свои рекомендации. Потому и настаиваем на разоружении.

Генерал закрыл глаза на несколько мгновений, ощутил себя как бы в одиночестве, где можно было принять верное решение, и сказал:

— Оружие сдать отказываюсь. Противник от меня в опасной близости. Оставить людей на фронте безоружными хоть на час — это гибель. Этого я не прикажу. Можете в меня стрелять. Можете убить, но тогда уже вам самим придётся объявить моим людям, чтоб сложили оружие. Жалко, я не увижу, что они с вами сделают.

Все трое переглянулись. Такой поворот беседы, очевидно, был у них предвиден. Тот, который не назвался, еле заметно кивнул.

— Тогда так, — сказал старший, — по одному полку, в походном строю, оружие — тоже по-походному, на ремне за спиной. Орудия, миномёты зачехлены, снаряды и мины, если они есть, отдельно.

— В общем, шаг вправо, шаг влево — считается побег?

— Считается — сопротивление. Выходить в строго указанные время и место. В других местах, при попытке проваться, будете расстреляны артиллерией и танками.

— А у вас они есть?

— Будете расстреляны всеми огневыми средствами обороны, какие имеются в наличии.

— Блефуете вы, никаких сил и средств нет у вас. Разве что ополчение. А это я знаю, что такое. Я с ополчением в Гражданскую навоевался.

Их молчание сказало ему, что он угадал. Он, впрочем, возражал только чтобы выгадать время и всё как следует обдумать. Он знал, что и полчаса взять на размышление не может. Эти полчаса ему зачтутся потом в трибунале. Но ему, даже к удивлению его, хватило и минуты. Оказалось, он давно всё это обдумал.

Никуда не уйти было — ни от тех перспектив, какие обещал Кирнос, ни от тех требований, что сейчас были ему предъявлены. Всюду неизбежность.

Ещё частичку времени он выгадал себе, спросив:

— А кто же полки поведёт? Мои командиры или вы своих назначите?

— Второе, — ответил старший. — Вам же нужны провожатые. Кто вашим людям укажет проходы в минных полях?

— Да как-то находили мои люди проходы, ухитрялись... А я с комиссаром — в какой роли выступим?

— За вами придёт машина.

— Закрывающая? С провожатыми?

Старший, поглядев на того, кто не назвался, ответил холодно:

— Можно и в открытой.

— Так, — сказал генерал. — И найдутся такие, кто мою армию возьмёт?

— Хоть отбавляй, — сказал старший, усмехаясь всё ещё напряжённо.

Генерал тоже усмехнулся и, заложив руки за спину, прошёл по комнате.

— В июне что-то не много было охотников. А тут нашлись...

— Так уж два месяца прошло, пора и в чувство прийти.

Ординарец, ворвавшийся с грохотом, всех заставил вздрогнуть. Парашютисты, повернувшие головы к двери, не привскочили, но в руках у всех троих оказались пистолеты.

— Товарищ генерал! — кричал ординарец с порога, не замечая наведенных на него стволов. Этот предшественник Шестерикова и поступал, и выражался своеобразно и несколько невпопад. — С Евгением Натановичем — беда!

— Что за беда? Припадок сердечный?

— Хуже.

— Арестовали, выручать надо?

— Хуже. И сказать вам не смею. Беда, и всё тут!

Генерал, поняв, что он не врёт, кинулся со всех ног, даже подумать не успев, что незваные гости его догонят и скрутят.

В отведенной Кирносу хате бросились в ноздри генералу запахи жжёной бумаги и порохового дыма. Кирнос, в странном белом тюрбане, полусидел в углу, куда свалился с лавки после выстрела. Пистолет лежал рядом на полу.

Перед тем, как выстрелить, он обвязал голову полотенцем, чтобы не разнесло череп. И всё равно было видно, что в этом комке собраны разрозненные части. Никакой записки он не оставил, лишь аккуратная высокая стопка партбилетов была на столе и несколько страниц из школьной тетрадки в косую линейку, исписанных карандашом, — политдонесение, начинавшееся отчётом о Каунасе. Командирская сумка его была пуста, в перевёрнутой каске — пепел и клочья разорванных и полусгоревших бумаг. Это были его письма, фотографии, давние конспекты, испещрённые поздними карандашными пометками.

«Что же ты сделал, Евгений Натанович? — спросил генерал. — Побоялся, что я твои мысли несоответствующие перескажу кому следует? За кого ж ты меня держал?»

Но дело было не в этом, совсем не в этом.

Как многие самоубийцы, он сохранил на лице выражение, с каким убивал себя, — и это было выражение муки, непосильного для души страдания и тяжкой своей вины. Не перед кем-нибудь, перед самим собою. Точно бы он себя казнил за своё святотатство. Так оно, верно, и было.

Парашютисты стояли за спиной генерала, он затылком чувствовал их дыхание. И не назвавший себя разомкнул наконец уста:

— Интересно, чего это он боялся?

Генерал, вспомнив, что Кирнос говорил ему о жене и сыне, сказал:

— Ничего он не боялся. Контузия у него была.

...Куда девались потом эти парашютисты, генерал не мог бы вспомнить. Они как будто испарились — бесследно и стремительно, как и те части НКВД, заполнившие передний край. Похоже, произошло это при первых же залпах немецкой артподготовки, слишком массивной, чтоб остались сомнения насчёт неминуемого удара. И уже ни о какой проверке окруженцев не могло быть речи, вся забота была — как развернуть в краткие часы громоздкое тело армии для удара упреждающего. Спешно формировались несколько батальонов, куда входили на равных и вчерашние окруженцы, и те, кто их встретил близ Владимирского Тупика, неподалеку от истока Днепра.

В закатный час генерал вышел на крыльцо проводить их. Он их провожал на запад и сам смотрел туда же, где небо цвело тревожным оранжевым цветом, всё больше густеющим, переходящим в тёмно-свинцовый. Батальоны уходили в ночь, чтобы на несколько часов, пока развернётся армия в боевые порядки, заслонить её своими телами. Артиллеристы катили пушки на конной тяге, пехота — с тяжёлыми скатками через плечо, в ботинках с обмотками — пылила следом по улице села и пела про них — голосами, соответственно уставу, бодрыми и молодцеватыми:

Час пробил,
Труба зовёт.
Батарея, стройся!
Гром гремит.
Война идёт.
Заряжай,
Не бойся!

За плечами этих солдат — за километрами, окопами, батареями, бетонными надолбами и рельсовыми «ежами», и всё же за плечами этих солдат — лежала великая столица, погружённая во мрак и тревожное ожидание. Войска готовились к легендарной обороне.

И дико было представить генералу Кобрисову, как бы он взламывал эту оборону, покуда ещё такую жиденькую, как подавлял бы сопротивление этих людей, ничего не подозревавших и которые так тепло, с чистыми сердцами, приняли его людей, накормили их, поделились «наркомовской нормой» и махоркой.

Но не так же ли дико — плечом к плечу с ними, локоть к локтю, кровью и плотью своими оборонить истязателей и палачей, которые не имели обыкновения ходить в штыковые атаки и выставляли перед собою заслон из своих же вчерашних жертв?

А может статься, и завтрашних?..

Глава шестая

ПОКЛОННАЯ ГОРА

*Кажется, трудно отразить картину
Нарисовать, генерал?*

Н. А. Некрасов,
«Железная дорога»

1

Чем ближе к Москве, тем чаще возникали на пути контрольно-пропускные «рогатки», где вместо шлагбаумов перегораживали шоссе грузовики, стоявшие впритык радиаторами друг к другу, нагруженные мешками с песком, и лишь по предъявлении документов дежурному и по его команде раздвигались, давая пройти «виллису». Документы предъявлял адъютант, всякий раз извлекая их из целлофановой обёртки — как из платка или онучи. Генерал молчал, старался глядеть в сторону, с видом безразличным и настороженным, мучительно ожидая каких-нибудь расспросов. Но дежурные ни о чём не спрашивали, только быстро и косо оглядывали машину и, почему-то вздохнув, козыряли на прощанье. Адъютант вновь, не спеша, заворачивал документы в целлофан. Но, кажется, они успели всё-таки отсыреть.

Впрочем, всё меньше генерала Кобрисова раздражали эти мелочи, всё реже вспоминал он свои споры с Ватутиным, с Жуковым и уже уставал переигрывать то совещание в Спасо-Песковцах, которое постепенно приходило к одному варианту — тому, какой и был в действительности, — а всё чаще задумывался, что ожидает его в Москве. В общих чертах он представлял себе разговор в Ставке, после которого и в самом деле месяца на полтора, на два отпустят отдохнуть — скорее всего в Архангельское, благо зима на носу, походит на лыжах, проделает эти ихние дурацкие «процедуры». После чего, вероятно, позовут формировать новую армию — не для себя уже, разумеется, для чужого дяди. Или дадут училище — выпекать шестимесячных лейтенантов. А то — засадят в каком-нибудь управлении Генштаба бумажки

перебирать до конца войны. Дальше — за тот барьер, который назывался «конец войны», — он не заглядывал, там ему как будто и места уже не было. И всё чаще звучали в нём чьи-то, невесть где подхваченные, слова: «Жизнь сделана». Оказавшаяся такой короткой, вот она и подошла к своему пределу.

А в самом деле, куда ему теперь вкладывать силы, чем увлечь себя? Дачей в Апрелевке? Неужели дойдёт он до того, что жизнь заполнится радостным созерцанием муравья, переползающего тропинку в саду, или дрожью крыл стрекозы над прудом — после того как её наполняли карты и планы сражений, конский топот и лязганье гусениц, сладкий воздух вокруг грохочущих батарей? Всякое созерцание пугало его, оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет всё безобразнее — погружение в непрерывный послеобеденный сон, потом — сон при гостях, покуда последняя дрёма не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтоб подольше выдержать одолевающее притяжение небытия?

Что скажет жена, он тоже представлял себе — огорчится, конечно, а в глубине души всё же и обрадуется, что он, слава Те, Господи, отвоевался, жив, с нею рядом. Вот с дочками будет потруднее: не раненый, не контуженный, как он им всё объяснит? Разве втемяшишь им в головы, в которых сейчас кисель вместо мозгов, что бывают, хотя и редко, такие случаи, когда снимают именно за успех? Нет же, навсегда он будет для них — незадавшийся полководец, несправившийся командарм. Где «не справившийся»? Да под несчастным Мырятином! А сколько он стбит, этот Мырятин? Десять тысяч? Пятнадцать? Легко считать, если ты пришёл на готовую армию, не тобой сформированную. А если ты сам её собирал — с бору по сосенке, из маршевых необстрелянных рот, из частей, раздробленных в окружениях, сохранивших свои знамёна и потерявших свои знамёна?

Почему-то он спорил с дочками, будто они и в самом деле его корили, и чувствовал к ним неприязнь, и к жене её чувствовал — за то, что не родила сына. Вторую-то, собственно, и затеяли, потому что хотелось парня. И добро бы они пошли в неё, она хороша была молодая, но каково было

узнавать в них свою «корпулентность», мясистость лица, и каково ещё будет с ними потом, на выданье. Лошади, думал он, вот бы о чём побеспокоились, а то всё с расспросами, с упрёками!.. Ах, как сейчас недоставало сына, который бы всё принял к сердцу, как если бы сам прошёл с отцом от рубежа к рубежу, и понял бы его без долгих слов, и не осудил. Сыну-то можно было бы объяснить, что жить им довелось в стране, где орденов и всяких иных наград выдаётся больше, чем в какой бы то ни было другой, и где никакие заслуги не имеют цены, стоит тебе лишь пошатнуться.

Уже замелькали подмосковные названия, он узнавал знакомые места, или ему казалось, что узнаёт, и сердце сжималось от робости и тоски. Он уже рад был, что день кончается и к своему дому на улице Горького он подъедет совсем к ночи. Дочки уже будут спать, а жена выйдет встречать в халате и в косынке, низко надвинутой на лоб, — простоволосая она давно уже не ходила, а всё в косынках, стянутых спереди узлом, — она повиснет на нём, заплачет от радости, и он скажет ей только: «Покорми нас, мать, да и спать уложи, завтра наговоримся». В хлопотах ей и гадать будет некогда, почему вдруг приехали, а утром он уже явится в Ставку, и после того гадать будет не о чем.

Но прежде, чем кончился день, кончился бензин в баке, и куда искали, где заправиться, ходили туда с канистрой, быстро, неумолимо стемнело. А ехать без света, с одними синими подфарниками, не хотелось, всё-таки не фронт, зачем зря себя мучить. Заночевали в дежурке, возле «рогатки», и была грустна и бессонна для генерала последняя эта ночь перед Москвой, всё он кряхтел и ворочался на скрипучей койке в жарко натопленной комнатке. Он зло завидовал своим спутникам, мигом провалившимся в сон, и чувствовал себя уже безнадёжно состарившимся, изношенным, едва не большим.

И что-то тревожило его, дёргало, вырывало из сна — всегдашнее его беспокойство, что он чего-то не сделал, не успел. Девушке Нефёдова так и не написал он, как обещал. Читая Вольтера, отвлекался от всех своих забот, а о той, не виденной, всё-таки помнил. Но так быстро всё отошло от него вместе с армией, он сразу оказался не у дел. И написать

ей — тоже не было его делом. И куда-то непременно он должен был вернуться, где давно ждали его, — это, он уже знал, началось засыпание, это пришёл сон, который несколько раз ему снился, так что уже не помнилось, сон это или воспоминание о яви. Было мглистое утро поздней осени, и вокруг были товарищи его, юнкера Петергофской школы прапорщиков; с ними он шёл к вокзалу, где предстояло им разделиться: одни уезжали в Петроград, другие их провожали. Ещё, значит, не распалось их мужское содружество, а выпили они перед тем не на прощанье, а оттого, что настроение было молодое и приподнятое. Но, странное дело, это однокашников своих он видел молодыми, тогдашними, а себя — нынешним, пожилым, с ноющими суставами, и от этого ныло сердце: может быть, это он среди мёртвых? А значит, и среди убитых им?

В те дни на улицах Петергофа много появилось революционной матросни, братишек из Кронштадта и Ораниенбаума, с пулемётными лентами крест-накрест и маузерами, свисавшими только что не до земли, они задирали офицеров и юнкеров, приставали с вопросами: за кого ты и против кого, — и если ты говорил, что не за и не против кого бы то ни было, то они решали, что ты за того, против кого они, и затевали драку. Ходить по Петергофу надо было втроём, вчетвером. Кобрисова, рослого и на вид опасного, да при солдатском Георгии на груди, не трогали и одного, но вслед выкрикивали оскорбления и угрозы «будущему золотопогоннику». А накануне они устроили митинг на площади перед вокзалом и призывали не оказывать никакой поддержки гнилому продажному контрреволюционному буржуазному правительству, засевшему в Зимнем дворце. Между тем едва не половина юнкеров школы для того и спешила в Питер, чтоб заступить на охрану этого правительства, а другая половина не видела в том нужды или вовсе была против, но не заодно с братишками. В этом и была сложность: и те, кто уезжал, и кто оставался, и сами эти полосатые братишки — все были сплошь революционеры. И все люто враждовали с революционерами, которые были также и контрреволюционерами. К революции призывал главарь большевиков Ленин, но и генерал от кавалерии Корнилов был спаситель революции,

он её спасал от революции Ленина, а министр-председатель Керенский спасал революцию от революций их обоих. Получалось, что у каждого своя революция, а у противника она была — контрреволюция, и, кажется, один Кобрисов не имел ни того, ни другого, поэтому и не знал, ехать ему в Питер или остаться, и этого было не решить на коротком пути к вокзалу.

Петергофский вокзал имел две платформы, выходившие из-под высокой остеклённой арки и далее крытые лёгким навесом на чугунных, фасонного литья, опорах; ближняя сейчас пустовала, и юнкера спрыгивали с неё на рельсы и шли ко второй платформе, где стоял поезд, карабкались на высокие трёхступенчатые подножки, колотились в запертые с этой стороны тамбуры. За пыльными стёклами вагонов мелькали фуражки и лица отъезжавших. Решиться надо было в какие-нибудь секунды, потому что уже пробил второй звонок и вскоре было бы не успеть перебежать через рельсы: приближался встречный из Питера. В этом месте своего сна чувствовал Кобрисов неодолимое оцепенение, сковавшее и ноги, и всё его большое тело, чувствовал страшную, изнурительную раздвоенность — ему хотелось и опередить встречный поезд, и чтобы он скорее налетел и не пришлось бы уже перебежать. Вот уже последние, кто хотел того, перебежали, вцепились в поручни, повисли гроздьями, и тут поезд тронулся медленно, как бы в раздумье, и они оглядывались на тех, кто оставался, и так до самой последней секунды, когда встречный налетел с грохотом и заслонил их. Вспоминал об этом Кобрисов с грустью и теснением сердца, оказалось это не простым расставанием, но великим русским разломом. Он это смутно чувствовал и тогда, хотя отъехавшим надлежало всего несколько дней отстоять в карауле у Зимнего и вернуться. Не вернулся никто.

А уже через год так сложилось, к тому привело Кобрисова его оцепенение, что где-нибудь в Сальской степи он летел на своём чалом Буяне, с оттянутой назад шашкой, распяливая рот криком: «Даёшь Котлубань!» — а встречно летели с оттянутыми шашками и с криком бывшие дружки, Мишка и Колька, теперь смертельные враги ему — только из-за того, что они перебежали через рельсы, а он нет... Он

не знал, как всё это объяснить своим дочкам, и надо ли объяснять, имея на погоне две генеральские звезды. Но почему-то опять он злился и доказывал им, что выбор уехавших оказался не лучшим — было повальное бегство из Крыма, чужбина, голод, позор нищеты посреди чужого богатства и роскоши. Хотели бы они, что их папка зарабатывал им на жизнь, играя на гармонии в ресторанах? Или бы в цирке показывал вольтижировку? Да пошли они прочь, не о чем ему с ними разговаривать!

Но понемногу приходило к нему смирение, и прежде всего он примирился с женою, зная, что в споре его с дочками она, конечно, примет его сторону и пресечёт неуместные расспросы. Она примет его сторону в споре с целым светом и найдёт слова самые убедительные и выскажет их не сразу и не напрямую, но исподволь, в час по чайной ложке, и выйдет само собою, что все кругом карьеристы и шкурники, один её Фотя — талант и храбрец, которого ценить не умеют. Это у неё так славно получалось!

У неё много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако ж ума этого хватило, чтоб заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об её лицо. Кажется, впервые он задумался всерьёз, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастало в деревне близ Вышнего Волочка, вёрстах этак в тридцати, а по другую сторону того же Волочка, и на таком же почти расстоянии, дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но всё дело в том, что деревня её была не просто глушь, но глушь с обидою на железную дорогу, проходившую вблизи, на магистраль Москва—Ленинград, глушь с завистью к поездом, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещённым то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которых вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусить бутербродами с заветренной чёрной икрой, а Вышний Волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное

существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчёт «идиотизма деревенской жизни» запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности «раскрепощённого советского крестьянства» — в них лукаво прочитывалось именно «закрепощение», и в самом воздухе реяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма ещё должно прихлынуть, так что от него уже будет не избавиться. Ещё пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку, но её пугали рассказы вернувшихся оттуда; в её представлении с этими стройками нерасторжимо связалось житьё на голом энтузиазме, в грязном и тесном общежитии, с клопами и вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженски тяжёлый труд, с производными от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки и поножовщина, приставаания, насилия и аборт, которые в девяти случаях из десяти кончались гибельно. А ещё, рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строителей в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать... Насколько всё это правда, она не знала. Но знала, что живёт в стране величайших возможностей, где возможно всё.

Был и второй путь — и всё чаще она, девятнадцатилетняя, думала о нём, сознавая и цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, а где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежало ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет её отсюда — в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своём воображении облик своего избранника, а точнее того, кто избранницей сделает её. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах, годков отвела ему на шесть больше своих — ибо на семь было бы уже многовато, вернее старовато, а младше того был бы уже почти сверстник, а сверстников

она, как многие девицы, презирала, — она его одела в командирские шевиотовые гимнастёрку и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами, и в подчинение ему дала эскадрон, лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила «под Котовского», а для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у неё вылитый Фотий Кобрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре, и сразу он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им общим судьбою. И оружием в нелегком этом предприятии выбрала она — семечки.

Земли вокруг Вышнего Волочка не так обильно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов, но уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и ссыпались кому в кулёчек, тут же ловко сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они всё и распродали и, поместивши выручку в прелестные сейфы — кто за чулок, а кто за лифчик, — направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов — сходить в кино на фильм «Катька, Бумажный ранет», накушаться мороженого от души и ещё в запас, упиться до икоты лимонадом или яблочным суфле, покататься на карусели в парке, пострелять в тире — и посчитать себя вполне удовлетворенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотостудии с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Соянцеву в кино «Аэлита». Прекрасная шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившая землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имела надмирное,

которое чрезвычайно нравилось Маше и с которым она находила лестное сходство у себя.

— Вот я хочу, как здесь, — сказала Маша.

Ей возразили было, что как же без шлема, не получится «как здесь», но Маша настаивала, что шлем — это не главное, а главное — то выражение, которое она сейчас соорудит.

Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком в редееющей шевелюре, её понял и усадил так, что она своё выражение видела в зеркале. Накрывшись чёрной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел её. Он сказал, что у него выйдет «даже лучше, чем здесь», что было воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась, но, когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки.

— Да чо ж там смотреть? — сказала она. — Я ж вижу — мастер. Приехать я не смогу, в Москву меня вызывают на два месяца. Вы лучше по почте пришлите, мне куда надо перешлют.

— Но мало ли что, — сказал мастер. — А вдруг вы моргнули?

— Я, когда надо, не моргаю, — ответила Маша.

Он записал её адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила ещё три ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала, он попался во все четыре.

Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился тотчас, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в три четверти справа, смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор её был отуманен любовью, но адресован кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра, — это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой оторвавшись от магнетического лица, он пошёл дальше — и через

два квартала опять споткнулся о лицо чрезвычайно похожее, но только отвёрнутое ещё дальше от него. Теперь Аэлига показала ему свой левый профиль, который выглядел ещё надменнее и как-то более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В третьей витрине он увидел её запрокинутый фас, с блуждающими глазами; лишь какого-то «чуть-чуть», лишь полградуса недоставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлён, расстроен, повергнут в чувство гнетущее. Но витрина четвёртая обнадёжила его, здесь он увидел фас наклонённый, с глазами, стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчёсанных волосах; здесь превыше всего ставились девичья честь, целомудрие, скромность, и давалось понять, что ещё не всё для него потеряно...

Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка, он умолял и брал фотографов за грудки; ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством; он настаивал, что его воинская часть давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться; его не стали уличать в несурaziце и предлагать ему в газету же и обратиться; красного командира поняли как надо и пошли ему навстречу — знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Марья Афанасьевна Наличникова.

В ближайший же выходной по селу проскакали двое верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешили у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкою усов по верхней губе, смущаясь, напомнил Маше, случайно одетой в самое своё нарядное, что комсомол является шефом Красной Армии, и вот они с товарищем налаживают смычку с молодёжью окрестных сёл, и вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше, — подумала Маша, — так сладко ты врёшь!». В свой черёд, она возразила

обоим товарищам, что они ошибаются, комсомол шефствует не над Красной Армией, а над Краснознамённым Военно-Морским Флотом, и, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла ей уже целая пачка писем, с предложениями несерьёзными — руки и сердца, а если говорить о серьёзном общении, то она прямо не знает, когда и время-то найти для этой смычки, всё дела, дела... Усатенький был смущён и не нашёлся что сказать, но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть с лучшей её подругой и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент, для Кобрисова опасный: Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища, и это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему, и сделала это даже подчёркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть: у него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться, он приехал знакомиться с будущей женой.

— Ну, естественно, — сказал Кобрисов, — я же тебя уже выбрал.

— Нет, — сказала Маша, — это я тебя выбрала. И раньше, чем ты меня.

Почин Маши Наличниковой оказался заразительным и был подхвачен. Тем же путём, через те же фотоателье, но уже под Машиним руководством, прошла не лучшая её подруга, а младшая её сестра, которая досталась в жёны товарищу, тоже эскадронному командиру. Затем, хоть и с трудностями, но выдали сестру старшую, уже несколько засидевшуюся в свои двадцать четыре, за молоденького заместителя Кобрисова. Сестра двоюродная тоже удачно вышла за полкового начфина, а троюродная так совсем поднебесно — за начальника полкового коннозапаса. Позднее, когда подходило время нянчить у Кобрисовых детей, выписывали жить в гарнизоне двух Машиных племянниц, одну, а потом другую, и тоже хорошо их выдали — за начальника продфуражного снабжения и за ветеринарного фельдшера. С неустроенной личной жизнью никто отсюда не уезжал, и род Наличниковых всё

шире вторгался в жизнь гарнизона, заодно и вышне-волоцким посевам маслосемян светило расшириться до размеров жёлтых морей Украины. Положение Кобрисова всё укреплялось и укреплялось, прорастая узами служебными и родственными, и всем брачующимся Наличниковым казалось, что будут они теперь одна большая нерасторжимая семья. Но никто б не уготовил им расставания более неизбежного, чем выходить за военных, которые, каждый в свой час, разъезжаются по разным гарнизонам и никогда не старятся там, где были молодыми.

Память ещё немножко хотела задержаться на том времени, когда ещё была любовь вдвоём, без третьего. Что особенно он ценил в своей подруге жизни, так то, что она не считала своё завоевание окончательным. Не в пример другим женщинам, которые, добившись своего, точно бы садятся в поезд и всю дальнейшую свою жизнь считают обеспеченной дорожным расписанием, она его завоёвывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Она за свою молодость, отданную ему, сражалась смолоду, а не как все другие, лишь спохватясь. Разменяв только третий десяток, почувствовала уже беспокойство — и помолодела непостижимо как, постригшись короче и приняв новое имя — Майя. Действительно, чем-то майским повеяло, ранневесенним, и она дала почувствовать, что может быть *другой*. А чем бы ещё его завлечь? Стать вровень с ним — сильной и умелой амазонкой. Так и пришло в их жизнь третье — прелестная каурая трёхлетка Интрига, строптивая дочь Интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается кавалерийской лошади, первые слоги их имён.

Вооружась шамберьером, он их обеих гонял на корде до пота и мыла — красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребьячем восторге, в состоянии осязаемого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтоб всадница и лошадь сливались — нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали «манежную езду», «полевую езду» и тот упруго-напряжённый рысистый бег, что звался длинно и торжественно: «марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя»,

а в довершение, на закуску, атака с шашкою наголо, «аллю три креста». Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать, и тогда наконец труднейшее и опасное:

— Бросить стремя, руки в стороны, галопом на препятствии!

От избытка чувств и чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь чтоб не задерживалась переменить ногу, он их подхлестывал длинным пастушеским посылом, с пистолетным щёлканьем, норовя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стремянем. Брюки она сама себе сшила, и так они её обтягивали, что голова у него кружилась и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво и только головами качали, как же это командир свою бабу мучает. Она — терпела. Но терпела чутко. Едва заметив, что не всегда он её бьёт за дело, а вовсе из другого к ней интереса, возмутилась:

— Что ты меня почём зря хлещешь? Всю исхлестал!

— Терпи, раз уж вызвалась, — ответил он. — В прежнее время берейторы великих князей били по ногам, и те ничего, терпели.

Она задумалась, сделала круг и подъехала снова.

— А княгиней?

— Чего «княгиней»?

— Великих княгиней тоже по ногам хлестали?

— Ну, это уж я не знаю... Наверно.

— А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи.

Но вот однажды, усталая, вымотанная вконец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой чуть печальной и чуть загадочной:

— Придётся нам перерыв сделать. Скоро ты у меня отцом станешь.

Так она и кончилась, любовь вдвоём, без третьего, который (или которая) её прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через два года так же, и теми же словами, объявила о второй дочке. А когда внесли её в дом, сказала, едва порог переступив:

— Больше рожать не стану. Сына, видать, не будет.

Но и потом, и долго ещё, была Интрига — не до старости, но до «морального износа», когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с двумя гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней лихих и легендарных тачанок, стреляющих назад, будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперёд, а не намного спустя и танк с поворотной башней, — и пришлось переучиваться, и жена разделила новое его увлечение, научилась водить гусеничные чудища. Заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы вместе быть с мужем и чтоб он любовался ею, какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в чёрное, не ниже восьмёрки. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старость ещё! Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх — и тем, что придётся *общаться*, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных.

Он вспоминал лето 1940 года, санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустила затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до десяти вечера, потом уже не спалось, подъезжала машина, слышались шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь, ещё не твою, ломкий дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставляла великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но, казалось, во всём санаторном корпусе. Бывало, они ошибались — может быть, и не преднамеренно, — заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, а потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом, и человеку, уже попросившемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегчённо, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, спускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу. Никогда не спешили. И никогда не

уезжали пустыми. За тот месяц, что Кобрисовы пробыли там, освободилась, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных ещё текли сроки путёвок.

Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случилось. Вставал в шесть утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз, и не миновать было обогнуть центральную клумбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумывал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию и видна из всех окон, которые выходили к морю. Одна рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию, — в такой позиции Вождю вести было некуда и некого, и скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательства преданности и любви.

В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллеи, по которым обычно к этому часу уже расходились и разбежались любители зарядок и пробежек, были пустынные, весь парк точно бы вымер. Потом оказалось, что несколько отдыхающих, прервав свой отпуск, уже отбыли на такси в Симферополь, надеясь успеть на утренние поезда, другие собирали чемоданы, третьи не знали, какой выход лучше, предпочли довериться судьбе. Всё же один попался навстречу — знакомец, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни, в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращается с полдороги. И почему-то он не поздоровался, и шёл, не поднимая глаз, а поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель:

— Не ходи дальше, Кобрисов.

Всё мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чём дело, всё же продолжил свой путь и — увидел, к чему приближаться ему не следовало и крайне

желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей или же был он недюжинным метателем, во всяком случае его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником или — что тоже было предосудительно — бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а то даже и любит-ся им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шеи, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих и все окна были зашторены, и за портьерами стояли, с гулким сердцебиением, герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрёл обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку, для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, но поворачивать было поздно, это бы выглядело подозрительной суетой. Оказавшись наконец в своих апартаментах, возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучатся, но так ничего и не решил и тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собою устранилось, исчезло, испарилось.

Мадам генеральша проснулась около восьми, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка и кого это её ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тотчас поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла.

Вскоре она выплыла вниз, держа наперевес лёгкую садовую лестницу, за ней семенила бабуся-нянечка с ведёрком и шваброй. Лестницу упёрли в белый живот, нянечка взлезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведёрко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозенье намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по

усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное: задрал полу своего халата, да так неловко, что приоткрылись байковые нежно-сиреневые трусы до колен, схваченные резинками, она этой полрой протёрла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила её работу и помогла слезть.

Она вернулась недовольная, хмурая и сказала, для чего-то понюхав руки:

— Икра баклажанная. И всего делов.

Тут же она завалилась досыпать. А проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда. И несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем. И решила — никак.

Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала — этому неодолимому давящему страху подвержен каждый, он со всех сторон, он снизу и сверху, он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворён в воде, которую пьёшь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им всё же остаться храбрецами.

Для неё муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. Даже особенно она это подчёркивала — жестом, улыбкой, говорившими так красноречиво: «Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотя всегда прав. Убейте меня, а он прав». Это и умиляло его, но зачастую и раздражало, а вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас эта её святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал, он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она, единственный *его* человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется, где-то уже совсем близко, в каких-то сорока пяти километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах ещё и не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.

Хмурые от недосыпа, они, наверно, кляли его в душе и, наверно, думали, что вот уже скоро от него избавятся, и он

за это злился на них, злился на слишком медленный бег машины. А между тем шоссейка сделалась шире, побежали молоденькие саженые сосны, ещё серые перед рассветом, замелькали среди них позиции зенитчиков, истребителей танков, стянутые за обочину рельсовые «ежи», бетонные надолбы — и все четверо оживились, заёрзали на сиденьях, предчувствуя конец пути. И вот увидели Москву — сверху, с холма.

— Вот она и Поклонная, братцы-кролики, — сказал генерал. И тронул за локоть вертевшего головою водителя. — При- тормози-ка, Сиротин.

Выбравшись из машины, он медленно, закинув руки за спину, прошёл несколько метров до спуска.

2

То, что принимал генерал за Поклонную гору, на самом деле не было ею. Единственный из четверых москвич, но москвич недавний, он не знал, и никто не мог ему подсказать, что ещё километров пять или шесть отделяют его от того невысокого и не столь выразительного холма, шагах в двухстах от филёвской избы Кутузова, где и стоял Наполеон, ожидая напрасно ключей от Кремля. Генерал же Кобрисов находился в начале того длинного и крутого спуска к убогим домишкам и садам Кунцева, где, однако ж, впервые чувствуется несомненная близость Москвы. Теперь здесь многое переменялось, сады повыврублены, сместилось в сторону и само шоссе, а весь спуск и низина застроены 14-этажными домами-«пластинами», расставленными наискось к улице, линияло-бежевыми и в проплешинах от облетевшей кафельной облицовки, на каждом из которых сияет какой-нибудь краснобуквенный транспарант: «Свобода», «Равенство», «Братство», «Мир», «Труд», «Май». И не найти уже того места, где в один из последних дней октября 1943 года остановился закиданный грязью «виллис», не определить достоверно, где же она была, Поклонная гора командарма Кобрисова.

Тем не менее была она, и Москва для него начиналась внизу, под краем огромной чёрно-сизой тучи, завесившей

всё Кунцево и дальние, еле различимые скопления домов и труб. Аэростаты заграждения — серебристые на фоне тучи и тёмные, уродующие небо, на узкой полоске зари, — медленно вплывали в серый мгlistый рассвет. Он обещал редкое солнце поутру и унылый полдень, с ветром и моросящим дождём.

Ничего доброго не обещала генералу столица, где испытал он унижение, которое не уляжется в беспощадной памяти до конца его дней, где в один час был он ссажен с коня и растоптан в прах, где лубянский следователь Опрядкин ставил его на колени в угол и шлёпал по рукам линейкой, — вот и вся пытка, но, может быть, не так жгуче, не так раздирающе вспоминалось бы, если б дюжие надзиратели, втроём, избивали в кровавое мясо и зажимали пальцы дверьми? Как изжить из сознания, чем выжечь склонившееся к тебе лицо, этот убегающий подбородок, тонкие бледные губы и светло-ледяной взгляд, аккуратный пробор в прилизанных жёлтых волосах, голос насмешливо-ласковый и поучающий: «Фотий Иванович, ну вы ж не маленький, если ваши два танка на первомайском параде вдруг тормозят напротив Мавзолея — напротив Мав-зо-лея! — то это на юридическом языке называется — как? По-ку-шение. На жизнь кого? Не смейте произносить, а только представьте мысленно... Закрытый башенный люк означает — что? Боевое положение танка. Бо-е-во-е!» Не легче было и себя вспоминать — как, оборачиваясь из своего угла, кричал визгливо, точно в истерике: «Но не было же боекомплекта! Снарядов — не было! Патронов — не было!» И огорчённый Опрядкин, вздыхая, брался опять за свою линейку. «Ну, честное слово, вы, как дитя малое. Да если б были снаряды и патроны, я бы с вами не разговаривал, я бы вот этими руками вас бы растерзал!.. Ну, чёрт с вами, оформлю вам «намерение», будет законная десятка... так давайте же вместе поборемся за эту десятку!» И ведь была глухая мысль — не поладить ли на этом, хотя лучше других мог бы предвидеть, как это всё произойдёт: серо-зелёные мундиры вдруг хлынут через Неман и Прут, и двуххвостые бомбовозы с крестами на крыльях поползут с прерывистым воем над Киевом, Ленинградом и Минском, и тот же Опрядкин

в своём кабинете «вот этими руками» подаст ему отглаженную гимнастёрку с уже пришитыми петлицами, вернёт ремень с тяжёлой кобурой, широким жестом покажет на свой стол, где пухлую папку сменили коньяк и круглый, нарезанный уголками торт. «Напрасно отказываетесь, Фотий Иванович, последний довоенный торт». И видно было по ледяным глазам, с каким бы удовольствием вмазал он жирный сладкий ломоть арестанту в непокорное рыло! Да только вся непокорность арестанта на том и выдохлась, что отказался от угощения. Вместо того, чтобы хрястнуть, пустился в язвительные беседы: «Стало быть, гражданин следовательно, вместе будем теперь отечество спасать?» — спрашивал, рукою придерживая спадающие штаны, на что Опрядкин отвечал спокойно и с достоинством: «Каждый на своём посту. И я вам в данный момент не гражданин следовательно, а товарищ старший лейтенант. А вы, товарищ генерал... вам сейчас пришью пуговички, а то ведь спадут, нехорошо... вы поедете в свой наркомат, вам доверяют дивизию». И была мысль, сжигающая, мстительная, бессильная, — повстречать бы этого Опрядкина одного на улице, затащить в подъезд... Но тем же вечером пришлось вылететь — принимать свою дивизию, которая в панике отдала Иолгаву и в панике же пыталась её отнять...

Но вернулся он и сейчас на коне. Его опять охватили робость и беспокойство. И было досадно — зачем так спешил, какой такой «святой неправотою» себя тешил, пора бы уже трезво смотреть. Он постоял над безлюдным спуском и вернулся к машине.

— Привал, — объявил он своим спутникам.

Все трое смотрели на него с недоумением. Он объяснил мрачно, насупив брови:

— Рано ещё, восьми нет, куда денемся? И прибраться бы надо, побриться, в столицу прибываем.

— Она? — спросил водитель, кивая с улыбкой вдаль, в сторону Москвы.

— Она самая, Сиротин. Не верится?

— А метро тут близко? Я вот две вещи посмотреть мечтаю — Кремль и метро.

— Будет тебе и Кремль, будет и метро...

Генерал первым спустился с невысокой насыпи на лужайку. Адьютант Донской, глядя бесстрастно-иронично на его широкую сутулящуюся спину, на складчатую шею, отметил про себя, что в этой очередной дури, пожалуй, есть свой резон. Появляться — особенно в данной ситуации — следовало при полном параде и лучше слегка припоздняясь.

Сиротин вырулил на обочину, все трое вылезли, разминали затёкшие ноги, курили, а глаз не могли отвести от мажорской Москвы.

Шестериков приволок из машины мешок и противогазную сумку, туго набитые, выбрал место поровнее и расстелил на траве плащ-палатку, а поверх — старую, отслужившую срок шинель адъютанта, которую всегда с собою возил для таких случаев. Трава поседела от инея и приминалась с звенящим шорохом, от которого делалось зябко. Он выудил из мешка термос и все принадлежности для бритья, взбил помазком пену, усадил генерала на шинель и повязал ему на грудь салфетку, затем, передвигаясь вокруг него на коленях, быстро и ловко выбрил до розового блеска. Ножничками немецкой золингеновской стали подровнял ему брови и дал посмотретья в круглое автомобильное зеркальце.

Адьютант Донской побрился сам. Водитель Сиротин погладил себя по щекам и раздумал бриться.

Слово «привал» Шестериков понимал капитально, во фронтовом смысле — постелил белую камчатую скатерть и выставил на неё консервы, буханку белого хлеба в целлофане, четыре гранёных стопки, флягу с водкой и едва початую бутылку коньяка — французского, из провинции Сognaс. Бутылку он, впрочем, отставил подальше, вытоптав каблуком в земле лунку, чтоб стояла твёрдо и не свалилась впоследствии от размашистого жеста. Аккуратно, финским ножом с наборной рукояткой — из пластинок цветного плексигласа и алюминия — он взрезал большую немецкую банку с маринованными лиловыми свёколками; банку американскую, четверугольную, красоты необычайной, с розовым фаршем в желе, вскрыл специальным, к ней же припаянным ключиком, наворачивая на него полоску жести и тем отчасти губя красоту; на дощечке, гладко выструганной, нарезал хлеб и всем положил немецкие вилки, из алюминиевого сплава

фантастической невесомости, с выдавленными на ручках орлами и свастиками. Что ещё он забыл? Спихватясь, переменял генералу салфетку. После чего присел, умиротворённый, сцепив на коленях большие руки, картофельной желтизны, с узелками набухших вен.

Генерал смотрел на его работу внимательно, склонив голову набок и чему-то усмехаясь. Вдруг он спросил:

— Что же теперь, Шестериков? Куда твои таланты девать?

Он задал тот вопрос, который давно предвкушался Шестериковым и имел свой заготовленный отрепетированный ответ, и сердце Шестерикова ошутимо дрогнуло. Он знал, что дважды такие вопросы не задаются, иного случая ему не представится, и всё же не выдал волнения, ответил просто, как будто даже беспечно, в широкой улыбке показывая крепкие прокуренные зубы:

— Насчёт талантов, Фотий Иваныч, что уж тут такого особенного... Главное, живы были бы, руки-ноги при себе, и чтоб печали нас миновали. — Потом добавил, вздохнув: — Много перемен бывает, а не всё же к плохому. Может, ещё обернётся как-то...

Донской коротко взглянул на него, удержав усмешку, как удерживают зевоту.

— Какие там перемены, — сказал генерал. — Ну, прошу к столу.

Все четверо придвинулись, ноги положив на траву. Генерал откупорил коньяк, налил адъютанту и себе, поставил перед водителем и ординарцем, чтоб и они себе налили.

Шестериков быстро сказал Сиротину:

— А мы с тобой — водочки, верно?

Сиротин взял осторожно коньяк, пощупал с недоверием цветистую наклейку и рельефный узор, поглядел на мир сквозь тёмное, глубокой прозелени стекло и отставил в лунку.

— Да, не про нас питьё. Только добро переводить.

Первый тост, как было принято в этом маленьком кругу, не произносился, а лишь подразумевался, он был за всех тех, кого уже с ними не стало, поэтому выпили молча и не чокаясь, затем, соблюдая очерёдность, принялись выбирать себе из банок мясо и свёколки. Генерал и адъютант под

вилками держали салфетки, ординарец и водитель — куски хлеба.

Неожиданно маленький пикник был потревожен негромкими голосами. Обочиной шоссе шли женщины — в телогрейках, в платках, в резиновых сапогах, держа на плече лопаты. Небольшая толпа женщин, растянувшаяся на подъёме, взобралась на гору и проходила поверху, обтекая забрызганный грязью «виллис», — явление четырёх фронтовиков, расположившихся на лужайке под насыпью, и среди них — генерала, было для кунцевских жительниц, верно, в диковинку, они враз умолкали и проходили, как бы не глядя, лишь кто помоложе посмеивались и перешёптывались.

— Эх, бабоньки, гвардейцы пищеблока! — пожалел их Сиротин, слегка уже разомлевший. — Картошку, поди, заготовляют. Какая теперь картошка!

— «Какая!» — сказал Шестериков. — Самая дорогая, сверхплановая. Которую в сентябре не собрали. Небось теперь и себе наберут, не только государству.

— Ну, всё он знает! — изумился Сиротин.

— Как же не знать, ежели лопаты каждая свою несёт. Совхозные — они там побросали, в будке. А своей-то — глубже достанешь.

— А мы-то, дураки, — сказал генерал недовольно, — в рощицу не догадались съехать, расселись на виду пировать. Люди-то изголодались...

Одна из женщин остановилась как раз над ними и, скинув лопату с плеча, запричитала сирым, простуженным или прокуренным голосом:

— Ой, ну, что ж это вы, мужчины, на сырой-то земле устроились! Так же ревматизм схватите...

— Не жалея нас, мамаша, — Сиротин ей показал стопку, вновь наполненную, — у нас от всех ревматизмов лучшее лекарство.

— Уже я тебе «мамаша», — сказала женщина. — Я думала — сестра старшая. А это всё обман, лекарство твоё. Тебе-то, молодому, ещё всё нипочём, а товарищ генерал у вас — пожилые, им бы побережся.

— Ну, уж и пожилые, — обиделся генерал слегка игриво. — Я ещё таких молодых двоих заменю.

Она в ответ слабо улыбнулась, показывая этим, что есть вещи, о которых ей-то уже думать поздно, и генерал ей сказал серьёзно:

— Спасибо тебе, дочка. За твою заботу.

— Ой, да за что ж спасибо! — Она вдруг обрадовалась, что может чем-то помочь этим четырём сильно бедствующим мужчинам. — А вы б, знаете, вон до будочки б доехали, там и обогреечка есть, стол есть, лавки. А нас там до обеда никого не будет, вам свободно. А то на вас даже смотреть зябко.

— Ничего, дочка, — сказал генерал. — Мы привычные. Спасибо тебе.

— Зато какой пейзаж! — сказал Донской, слегка уже порозовевший от коньяка, поведя рукою в сторону Москвы.

Женщина не нашлась ответить ему. Её подруга — с таким же серым, опавшим лицом, — приотстав от толпы, сказала ей строго:

— И что ты, Любаша, к людям пристала, смущаешь. Люди себе хорошее место выбрали, Москву наблюдают. И радио, может, хотят послушать.

— Это где же радио? — спросил генерал.

— А вона! — Женщина, которую назвали Любашей, вновь осветилась улыбкой. — Вона же, на столбе. Не заметили?

Шагах в пятнадцати позади машины свисал с телеграфного столба огромный репродуктор с чёрным квадратным граммофонным рупором. И впрямь, не заметили, миновали.

— Он горластый, — сообщила Любашина подруга. — Нам на картошке слышно, как известия передают. А вы сами — с фронта будете?

— Откуда ж ещё! — обиделся Сиротин, для него все мужчины делились на фронтовиков и дезертиров.

Она сделала таинственное лицо.

— А сейчас отдохнуть приехали? Или — на переформировку?

— Есть у нас дела, — ответил сухо Донской.

— Ну, ладно, — заторопилась Любаша. — Отдыхайте, приятного вам.

Обе женщины пошли дальше, вскинув лопаты на плечо. За ними от Кунцева ещё шли, группками и порознь,

и одна — молоденькая, круглая, как бочонок, в своём ватнике, перетянута в поясе концами серого шерстяного платка, — крикнула звонко:

— Фронтовикам, дролечкам, горячий привет от трудящего тыла! Как там орёлики наши, хорошо бьются?

— Ох, и бьются, лапонька! — отвечал Сиротин. — Так бьются, что ключья летят!

— С наших-то? Или с фрицев?

— С наших — чуть-чуть, с фрицев — покудрявее.

— То-то весёлые вы. А за компанию к вам — нельзя?

— А это спросим, — Сиротин поглядел вопросительно на генерала.

— Отчего ж нельзя, — сказал генерал. — А кого ж мы тут ждали?

Она прыснула и сделалась пунцовая, но тотчас заробела, прикрыла рот ладошкой и затесалась среди других.

Мужчины же, дождавшись, когда пройдут, выпили ещё — за Победу, закусили и снова выпили — за Верховного и ощутили некое вознесение от принятого внутрь, от запахов отогревающейся земли и травы и оттого, что ждала их вдали Москва, понемногу высвобождаясь из-под сизых лохмотьев тучи. Донской, привстав на колени, вытащил свой самодельный портсигар, на котором сапожным шилом выколоты были скрещенные, перевитые гвардейской лентой штык и пропеллер, а повыше и пониже рисунка — «Будем в Берлине, Андрюша!» и «Давай закурим, товарищ, по одной!» Все по одной и взяли, кроме генерала, от которого они ладонями отгоняли дым. То была непрямая минута молчания, должная отграничить разговоры суетные от разговора сокровенного и значительного, и она длилась, длилась, никто не осмеливался её прервать, все ждали слова от генерала, и он это понимал, только не мог собраться — что же ему сказать этим людям, с которыми он прожил, провоевал полтора года и которым завтра уже будет не до него?

Запомнят ли они этот час? Понимают ли, поймут ли когда-нибудь, зачем он выкроил этот привал, ведь другого случая побыть им вместе, вчетвером, может быть, не представится? И ещё вопрос — так ли уж хотелось им этого на прощанье? Вот сидит его шофёр, Сиротин Вася, великий

химик насчёт раздобыть и обменяться и столь же великий модник: гимнастёрку он себе обкорнал снизу, так что она едва выглядывает из-под ремня; ремень у него — конечно, офицерский, с пятью-шестью антабками, на них болтаются ножичек в чехольчике, зажигалка на цепочке, «парабеллум» с длиннейшим, плетённым из красной кожи темляком; в погоны — чтоб не топорщились и не гнулись — вставлены целлулоидные пластинки; голенища сапог — тоже офицерских — вывернуты жёлтым наружу; мало того, он ещё шпоры нацепил, да пришлось приказать, чтоб снял, ведь мешают же на педали нажимать (уверял, что нисколько). Водитель он в меру лихой, в меру осторожный, и машина у него ни разу не подвела, но кто-то внушил ему, что с этим генералом он войну не вытянет, — это уже по тому чувствуется, как Сиротин поглядывает на него при обстреле или налёте: будто не с неба и не со стороны, а именно от него, генерала, жди погибели... Вот сидит его адъютант, майор Донской, в общем-то порученец толковый и памятливым, только излишне много думающий на тему: отчего бы ему самому чем-нибудь не покомандовать, бригадой там или даже дивизией, да не пробиться в генералы? Другие же преуспели, в те же тридцать с чем-то, отчего бы и не ему? А чёрт его знает отчего, есть у него как будто и способности, и знания какие-то, и с начальством обхождение, и, что называется, «личная храбрость», да всё чего-то строит из себя, непонятно — что, но бабы-то, поди, вернее чувствуют, чего мужик стбит: он вот крутит галантную платонику с рыжей Галочкой из поарма, а эта самая Галочка наставляет ему ветвистые рога с начальником артразведки, о чём вся армия только что песни не поёт в строю... Вот сидит его ординарец Шестериков, самый близкий ему человек на войне, прямо-таки свирепо заботливый и без которого действительно как без рук, изучивший все его прихоти, научившийся столы сервировать и подавать крахмальные салфетки, страдающий оттого, что не припасено белого вина к рыбе или красного — к мясу. Мечта у него — служить у генерала и после войны; не сказать, что вовсе несбыточная, о том же и сам генерал, и мадам генеральша подумывали, да так уж оно повернулось, что либо ему на «передок» в автоматчики возвращаться, либо другому так же

служить верно... Вот они, его люди, всё, что ещё на несколько часов осталось ему от армии, от её мудрёной жизни, из которой он выпал, как выпадают на ходу из поезда. А поезд летит себе дальше, не заметив потери, и нельзя её замечать, невозможно приостанавливать ход из-за каждого, кто выпал, чтобы не утратить налаженный ритм, чтобы и быт не потревожить, который так тяжко складывался и наконец сложился. Да, сама война стала бытом — как вон у тех кунцевских женщин, что сажают и выкапывают картошку среди артпозиций и противотанковых «ежей», уже их не замечая, либо спокойно вешая на эти «ежи» свои ватники и авоськи. И армия валит на запад, таща с собою свои моды, свои интриги, свои суеверия и свою счастливую, спасительную забывчивость, и, чёрт дерни, в этом тоже есть логика, тоже заключена та самая «непобедимость»!

Он вот бы о чём сказал, пожалуй, но слова как-то не шли или шли самые пустые, вроде того, что «ну, братцы-кролики, не поминайте лихом», и не выручало хмельное вдохновение. Может быть, потому не выручало, что всех троих братцев-кроликов вызывал к себе для бесед майор Светлооков из «Смерша», наверняка вызывал, не мог не вызвать, да оно ведь и чувствуется — люди после этого как-то иначе смотрят, иначе говорят, — и никто из троих про это не сказал генералу, и Шестериков не сказал — вот что всего обиднее было, всего больнее! — некогда жизнь спасший, столько раз выпивавший с ним наедине. Какую верность выказал, а этого испытания не прошёл! О, нет, никого из них не хотелось винить, и даже Шестерикову упрёка особенного не было: в чём-то же и ты виноват, если посмели тебя предать, так и начни с себя — почему не отставил их, почему хотя бы не отдалил, сколько можно, свою свиту, почему вид делал, будто ничего не произошло? Да вся история России, может статься, другим руслом бы потекла, если б отказывались мы есть и пить со всеми, кого подозреваем. А может, на том бы она и кончилась, история, потому что и пить стало бы не с кем, вот что со всеми нами сделали. Но не об этом же было говорить к застолью, тем более — к последнему. О чём же тогда?

В репродукторе, что висел на столбе и о котором успелось забыть, вдруг щёлкнуло — раз, другой, — слышались

хрипы и вроде как визг пилы, затем в его чёрном нутре прорезался женский голос, сказавший время, поздравивший дорогих радиослушателей с добрым утром и приказавший им слушать последние известия. Чёрный раструб и впрямь был горластый, рассчитанный на всю округу, чтоб широко разливалось над рощами, лугами, оврагами, над огородами и позициями, захватывало бы небось и половину Кунцева.

— Я чего спросить хотел, — очнулся водитель. — Почему ж они «последние» называются, известия? Ещё солнце не взошло. Надо их «первые» называть. А последние — это уж вечером.

Генерал досадливо поморщился.

— Ты послушай, Сиротин, послушай. Может, и нас касается, нашему фронту приказ...

И, едва сказав, сам понял, чего так ждал все двое суток пути. Ждал, отодвигая в сознании, как ждут приговора. Жаждал услышать и страшился услышать — кто же теперь *стал на армию*? кто её дальше поведёт, к новым победам и жертвам?

Голос, выплеснувшийся из чёрного раструба, был теперь мужской, гортанно-бархатный, исполненный затаённого до поры торжества:

— ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО...

Женщины, копавшие картошку, распрямили спины и замерли, опираясь на свои лопаты. В орудийном дворике прислушались, подняв головы в касках, зенитчики.

— ГЕНЕРАЛУ АРМИИ ВАТУТИНУ...

Дыша коньяком, придвинулся Донской — шепнуть: «Угадали!», удивлённо взглянули Сиротин и Шестериков. Генерал всем ответил коротким кивком и слушал, уже не поднимая глаз.

— АРТИЛЛЕРИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СЕРАПИОНОВА... ЛЁТЧИКАМ-ШТУРМОВИКАМ

**ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ГАЛАГАНА... СТРЕЛКАМ И
ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА...**

Сам обомлев, он не видел, как вытаращились на него ординарец и водитель, как привстал на колени адъютант, побледневший от волнения. А голос пропал на долгий миг и вернулся, набрав новой силы, загредел звонко-трубно, державно-ликующе в холодном, изжелта-голубом воздухе:

— ...К ИСХОДУ ДНЯ НАШИ ВОЙСКА ПОСЛЕ РЕШИТЕЛЬНОГО ШТУРМА, ПРЕОДОЛЕВ УПОРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВНИКА И ЗАВЕРШАЯ ОКРУЖЕНИЕ, ОВЛАДЕЛИ ГОРОДОМ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИЕЙ...

Ещё пауза, крохотная и тягучая, как вздох перед разбегом, как замирание перед прыжком с высоты...

— МЫ-РЯ-ТИН!..

Вот как просто — и вместе торжественно — произнесено было, кинуту в пространство это труднейшее в мире слово. И, точно бы враз истощился запас сил, ликования, голос приопустился в спокойные низины, даже чуть потускнел:

— ПРОТИВНИК, ПОНЕСЯ ТЯЖЁЛЫЕ ПОТЕРИ, ОСТАВИВ НА ПОЛЕ БОЯ ТЫСЯЧИ УБИТЫХ И РАНЕНЫХ, ДЕСЯТКИ И СОТНИ ТАНКОВ, ОРУДИЙ, АВТОМАШИН И ИНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ...

— Ну, прямо сотни! — сказал Сиротин. — Насчёт техники всегда заливают. Десяточки — и то слава Богу...

Адъютант Донской на него цыкнул.

— ...ОТБРОШЕН НА ОДИННАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ И ОТСТУПАЕТ В НАПРАВЛЕНИИ...

— После штурма, — заметил адъютант, придвигаясь, скорбно приподняв бровь. И снова стал — весь внимание.

Генерал молча кивнул: да, он слышал. Да, после штурма. И — «завершая окружение». Что значило это — «завершая», но не — «завершив»? В голове у него сильно шумело, и далёкие дома Москвы, которые он видел отсюда, казались не существующими в объёме, а словно бы намалёванными на громадном колеблющемся полотне. А голос, бухающий в уши, словно бы долетал, разрастаясь, из полутёмной прохладной глубины мраморного зала. И не поддаться его ликованию было невозможно, думать иначе — дико, кошунственно.

— ...ПРИСВОИТЬ НАИМЕНОВАНИЕ «МЫРЯТИНСКИХ» И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ... — приказывалось осеннему хмурому небу и стьлой, усыпанной жёлтыми листьями земле. — ОРДЕНА КУТУЗОВА ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ШЕСТАЯ МЫРЯТИНСКАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ... ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СТО ДЕСЯТЫЙ МЫРЯТИНСКИЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ПОЛК САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ...

Был избран и задействован тот самый вариант, который сложился сразу после переправы, а задумывался раньше ещё — может быть, на пароме, пересекавшем Днепр, — и который он сам от себя прятал, когда узналось, какую угрозную новинку скрывает Мырятин. Как потом не хотелось этого окружения! Как сожалел он о выдвинутых неосмотрительно клиньях, мечтая втянуть их потихоньку обратно, как какой-нибудь рак или краб инстинктивно утягивает защемляемую клешню, и морочил головы штабистам, говоря, что не время, что руки не доходят, что есть поважнее цель, что нужно ещё прикинуть, подправить, прежде чем отдать им «Решение командующего» для детальной разработки, И так и не подправил, не вернулся к нему, против своего же замысла рогами упирался на том совещании в Спасо-Песковцах. И вот он задействован, брошенный на полдороге план, кому-то там впопыхах подвернувшийся под руку, и уже ничего не исправить, ни одной жизни не вернуть, истраченной согласно этому плану... В паузе было слышно, как шелестит бумага на столе у диктора, но другой шелест возникал в ушах генерала, покалывая сердце тревогой, — шелест еловых лап,

оппадающих с брони танков, когда перед рывком из укрытий командиры пошевеливают башни вправо и влево, проверяя поворотные механизмы. С рёвом и свистом пронеслись «горбатые» * — низко над окопами, не заботясь об ушах онемевшей пехоты, бережа от «мессеров» слабые свои животы. Пришёл тот момент беспомощности, когда всё, что должно было и могло быть сделано, уже отдано в другие руки — и теперь на три четверти, на девять десятых он не властен что-либо изменить. Наклонилось огненное жерло — и литейщик отшагнул от формы, в которую полился расплав. Теперь всё зависело от сотен и тысяч волей, от желаний или нежеланий, от чьей-то смелой дерзости или трусливой осторожности, от чьей-то расторопности или головоуятия, но больше всего — от крохотных серых фигурок, рассыпавшихся по белой пелене снегов. Была ещё поздняя осень, и никакого снега там, под Мырятином, ещё не выпало, но генерал их видел такими, как в первых наступательных боях под Воронежем, — крохотные серые фигурки на белой, слегка всхолмлённой равнине. Они бегут, бегут, оглашая поле протяжным «А-а-а!» — и падают, и тотчас же отползают в сторону, чтобы в другом месте подняться через несколько секунд. Но отползают только живые, мёртвые не выполняют этого требования устава, они просто падают и остаются лежать... Что они знали, что успели прослышать — о споре его с Ватутиным, с самим Жуковым, о том, почему их командующий оставил армию, и какая операция дороже, а какая дешевле? Но вот артиллерия перенесла свой огонь на двести шагов вперёд, и ракета позвала их на рубеж атаки — о, как тянет назад окоп, уютная глубина его, как трудно подняться над бруствером, как заранее жалят тебя всего невидимые осы! — но они поднялись и пошли, пошли, пошли по кочковатому болотистому полю, перепрыгивая воронки от мин и витки проволоки, разрезанной этой ночью сапёрами, чувствуя холод в низу живота и горяча себя криком, всеми силами подавляя страх смерти, страх боли, увечья... И сделали его тем, кем он был сейчас, — командармом, принимающим сводку победы.

* Штурмовики «Ил-2».

Он не видел их лиц, а лишь затылки под касками и ушанками, лишь спины и плечи под серым сукном, подпрыгивающие на бегу. Ни одного имени не мог он вспомнить, и не было утешением, что это и не дано командарму, который не может увидеть свою армию, разбросанную на многие вёрсты, по хуторам, сёлам и даже городам, как может любой батальонный увидеть сразу весь свой батальон, даже полковой командир видит свой полк, хотя бы на торжественном построении. И как вообще представлял он себе ту или иную часть, то или иное соединение? Прежде всего — лицо командира, его голос, ну ещё начальника штаба, ещё нескольких офицеров — и как он обедал у них, и чем кормили и поили, а потом уже — войска в каре, молчаливая пехота, замаскированные орудия, забросанные ветвями танки...

— ...МОСКВА САЛЮТУЕТ ДОБЛЕСТНЫМ ВОЙСКАМ, — разлеталось из раструба, — ДВЕНАДЦАТЬЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ ЗАЛПАМИ ИЗ СТА ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЁХ...

— Ну, поскупились, — не утерпел Сиротин.

Донской снова на него цыкнул.

«И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ», — звенело ещё в ушах генерала. Он сидел на шинели, склонив отяжелевшую голову, а в это время серые фигурки уже достигли окопов первой линии, прыгают с разрушенных брустверов на тех, кто успел вернуться после артобстрела, и с руганью, хряском и лязганьем бьются там, делают своё проклятое мужское дело. Они себя не слышат, как же услышать им этот голос, роняющий слова так ликующе звонко, объявляя как о высшей награде:

— И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ...

Он падал с высоты и ударялся обземь, как отбивая золотые слитки — цену их усталости, страха, безумной жажды выжить, жаркого мучения ран — пулевых, колотых, резаных... и какие ещё бывает раны? — цену их злобы к врагу, сумевшему опомниться и вернуться в окопы и встретить огнём — кинжальным, фланкирующим, косоприцельным... и какие

ещё есть огни?.. Потом всё стихло, не слышно стало и шелеста.

Однако голос вернулся. С новой бодростью диктор читал о награждениях и повышениях, и генерал — как сквозь вату — опять услышал о себе, а скорее почувствовал на плечах некое прибавление тяжести, а на груди — лёгкое жжение привёрнутых к кителю наград. Всё это надобно было как-то переосмыслить и как-то примерить к себе, словно бы Героем и генерал-полковником стал не он, Кобрисов, сидевший на разостланной шинели со стопкой в руке, а некто другой, стоявший сейчас в вышине, над дымными, чадными полями сражения, как над расчерченной стрелами картой...

Он не сразу почувствовал, как Донской взял его руку со стопкой и наливает ему из бутылки,

— Товарищ командующий, за вас хотим... Разрешите? — кажется, в третий раз он говорил, глядя восхищённо и преданно. — А я бы добавил — за перспективу. За генерала армии Кобрисова. За командующего фронтом. Я серьёзно.

Сиротин и Шестериков сидели, раскрыв одинаково рты, на лицах блуждали одинаковые блаженные улыбки.

— За орёликов надо бы, — сказал генерал, насупясь. — Которые жизнь отдали, но обеспечили победу.

Сиротин и Шестериков слегка посуровели и спешно себе налили из фляжки.

— Тем самым и за вас, — сказал Донской с нажимом в голосе.

— «Тем самым»!.. Мы-то тут при чём?

Глаза адъютанта сделались строгими, в них появился металлический блеск.

— Чужого не берём, товарищ командующий, — сказал он твёрдо, поднимая стопку. — Виноват, у меня своё мнение.

В его строгих, в его преданных глазах, однако ж, мог прочесть генерал мучительную, судорожную работу мысли: «А действительно — мы-то при чём? И кто его в список вставил? Ватутин — по старой дружбе, на прощанье? Или — сам Жуков, в виде отступного? А может быть... Нет, не может быть. Ну, не может Верховный всех упомянуть! А скорей всего — просто машинка сработала. Пока мы тут двое суток шкандыбали... Ах, как чисто сработала! Снятие-то ещё не

оформили, не согласовали, а новый ещё не стал на армию... А Москве — что? Москва смотрит — чья армия Тридцать восьмая? Кобрисова? Звезду ему на грудь, этому Кобрисову. И на погон заодно. Что мы, не знаем, как это делается?» Впрочем, возможно, и не об этом думал адъютант Донской или не только об этом, а ещё и о том, как он теперь пройдёт по ковровым дорожкам Генштаба, — чуть позади генерала и чуть поодаль, всё остаётся прежним, ничего не меняется, лицо и походка те же, но смысл-то — совсем другой!

— За орёликов, — повторил генерал тоном приказа.

Адъютант Донской склонил голову, подчиняясь с видимой неохотой. Все выпили и зашарили вилками в банках.

— Значит, говоришь, чисто сработала машинка? — спросил генерал, усмехаясь. Глазки его, из-под толстых бровей, блеснули озорством и злорадством.

Донской замер с куском во рту, щёки у него ярко вспыхнули пятнами. И, глядя на его растерянную, чеканность утратившую физиономию, генерал ощутил, как в нём самом поднимается волна грозного веселья, мстительной радости, жгучей до слёз, поднимается и несёт его.

— Не бурей, Донской, не бурей! — Он хлопнул адъютанта по плечу, отчего тот мало не сломался в спине. — Верно говоришь: своё берём! Чисто, не чисто, а пускай нам хоть кто словечко скажет. Чихали мы с высокого косогора! Мы ещё за этот Мырятин попляшем, верно?!

Он потянул из-за воротника салфетку. Шестериков, с радостно вспыхнувшей улыбкой, кинулся к нему.

— Дайте сменю, Фотий Иваныч. Немножко желеем залили.

— Ступай ты... со своим желеем!

Кряхтя, багровея лицом, генерал поднялся на ноги. Шестериков и адъютант вскочили тоже и поддержали его под локти. Он вырвался от них и, скомкав салфетку в кулаке, погрозил этим кулаком кому-то вверх, в пространство.

— Чихали, говорю! Вот что главное... С высоко-окого косогора!

«Никак, он и в самом деле плясать собрался? — подумал адъютант Донской почти испуганно. — А ведь с него, чёрта, станется».

Генерал, притопнув, взмахнул салфеткой и запел хриплым, не прокашлявшимся баритоном:

Ах, мы ушли от пррроклятой погони,
Перрррестань, моя радость, ддррожать!
Нас не вввыдадут верррные кони,
Воррроных — уж теперь не догнать!..

Трое спутников его встали навтытяжку, не зная, куда себя деть; между тем на них уже обращали внимание — подходили солдаты, оставившие свои зенитки, подходили робко женщины с огородов, воткнув в землю свои лопаты, притормаживали проезжавшие шофёры — и все смотрели, как грузный, хорошего роста генерал приплясывает около разостланной скатерти с выпивкой и закусками, взбрыкивая начищенным сапогом и помахивая над головою салфеткой.

Застелю мою бричку коврами,
В гривы конские — ленты вплету,
Пррроскочу, прррозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету!..

Адъютант Донской смотрел на него, кусая губы с досады, чувствуя в душе странное уязвление. Не то чтоб ему чересчур неловко было за генерала, это бы ещё полбеды, но он вдруг почувствовал, что сам бы он, приплясывающий и припевающий обочь шоссе, со своей поджаростью, со своим чеканным профилем, тонким «волевым» ртом и холодными, «металлического оттенка» глазами, выглядел бы совершенно невозможно, несусветно, и никогда бы эти женщины, солдаты, шофёры не смотрели на него с просветлёнными улыбками, как смотрели они на эти восемь пудов... чего? Он и сформулировать сейчас не мог чего, но, Бог ты мой, как всё вдруг сделалось неважным — и что им теперь запоют в Генштабе, и как они будут выглядеть перед тамошними офицерами, проходя вдвоём с генералом по ковровым дорожкам, и даже что скажет, узнав, рыжая Галочка из поарма...

На дикой скорости подлетел со стороны Можайска «студебеккер» с надставленными бортами, гружённый брюквой, и стал, клюнув носом. Водитель, лет сорока солдат, опустив

стекло, долго приглядывался, что происходит, потом закричал весело, кивая вверх, на чёрный раструб, из которого изливался теперь победный марш:

— Что берём, бабоньки? Неужто Предславль?

— Мырятин какой-то, — отвечали женщины.

— Чего? — Он приставил к уху ладонь совочком. То ли был глуховат, то ли ему мешал подвывающий двигатель.

— Мырятин! Уши прочисти!..

— Сятин? — переспросил водитель «студебеккера». — Хороший город Сятин. Я, правда, не был, но слышал. — Он послушал марш и опять закричал: — Мелкоту отмечаем! А как Харьков сдавали — кто помнит, бабоньки? Одна строчечка была в газетке!

Генерал вдруг замер с открытым ртом. Он дышал тяжело, лицо малиново наливалось гневом.

— Я те шас дам «мелкоту»! — Он полез наверх, к шоссейке. — Я те шас покажу «Сятин»! Стратег выискался, Рокоссовский, Наполеон... Засранец! Предславль ему подавай. А Берлина, деятель тыла, не хошь сразу?

Водитель, при виде генерала, подбиравшегося к нему снизу, с салфеткой в тяжёлом кулаке, обмер и стал бледнеть. Как бы сама собою, судорожно подкинулась к виску ладонь. Как бы сам собою, «студебеккер» тихонько тронулся и, взревев, бешено рванул со спуска.

— Гопник несчастный! — кричали вслед ему женщины, с мгновенно вспыхнувшей злостью к дураку, испортившему праздник.

— Дезертир!

— Чтоб ты взорвался!

— Чтоб тебе, падла, всю жизнь этой брюквой питаться!

Генерал, выбравшись наконец на асфальт, плюнул вслед «студебеккеру», уже и не видному за спуском. И, точно бы его сил только на то и хватило, вдруг поник, обвис, шумно засопел, замычал, как от боли.

— Орёлики мои! — Все его обиды нахлынули на него разом, от слёз защемило в глазах, и он, не таясь женщин, вытер глаза салфеткой. — Эх-ма, орёлики...

Отчего так грустно стало, почти невыносимо душе? Из-за этого дурака тылового? Или оттого, что, битый по рукам

учительской линейкой, стоял на коленях носом в угол, и это никогда не забудется и ничем не искупимо? Неужели никогда, ничем?.. Он стоял одиноко посреди шоссе, никто не осмелился к нему подойти близко, и он смотрел вверх голов на облако, медленно наползавшее со стороны Москвы, изборождённое серо-лиловыми извилинами, а снизу чуть позолоченное краешком восходящего солнца. Облако меняло свои очертания, различались на нём то надменная голова верблюда с отвисшей губой, а то журавль с изогнутой шеей и распахнутыми крыльями, и вдруг оно заулыбалось, явственно заулыбалось — злорадной ухмылкой Опрядкина. Той самой ухмылкой, не затрагивающей ледяных глаз, с какой он протягивал на тарелочке жирный сладкий ломоть. «А всё-таки вмазали они тебе этот торт, — сказал себе генерал. Было и впрямь, как тогда, предошущение противной сладости на губах, сползающих с носа и подбородка липких сгустков. — Нравится? И кушай на здоровье!» Тут ему вспомнились его предчувствия, что с этим Мырятином непременно должно связаться что-то роковое для него — может быть, даже смерть, и будут его косточки лежать где-нибудь в городском скверике, под фанерным обелиском, — кажется, так теперь, после гибели Опанасенко в Белгороде, хоронили генералов? Ну, не связалось роковое, погребальные дроги миновали его, страхи не сбылись — много ли они значат, наши предчувствия? — но он-то их пережил! Не подумали об этом оставившие его от армии. Не подумали, как ему далась одна эта переправа, где его сто раз могли подстрелить, как селезня.

Почему-то ему казалось обязательным, чтоб те, кто вырывает у нас кусок изо рта, ещё бы при этом задумывались, как он нам самим достался. Но ведь нашёлся же кто-то, неведомый судия, кто увидел всю цепь его унижений и своим вмешательством разорвал её, постарался поправить, что можно ещё поправить. Могла, и в самом деле, «машинка» сработать, но мог же и сам Верховный углядеть, оценить, что не в Мырятине, заштатном городишке, всё дело, а что плацдарм Мырятинский — ключик не к одному Предславлю, но, может быть, и ко всей Правобережной Украине, и подчеркнул его имя — жёлтым ли ногтем, черенком трубки: «Есть

мнение, что в отношении товарища Кобрисова допущено нечто вроде несправедливости. Пожалуй, я к этому мнению присоединяюсь. Нельзя так людьми разбрасываться. Тем более он у нас, если я не ошибаюсь, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Или я ошибаюсь?» Да, могло и так быть. Ну, и что, если даже Сам? «А только то, — сказал себе генерал, — что вместо одного куска два кинули...» Почему всё так поздно к нам приходит, так безнадежно поздно! Хотя бы и вернули его на армию — разве сам он останется тем же? Непоправимо никакое зло — и не оставляет нас прежними.

Адъютант Донской, поднявшийся следом за генералом на обочину шоссе, наблюдал за ним пристально, с язвительной усмешкою на тонких губах. Право же, мудрено было поспеть за этими причудливыми изменениями: только что генерал плясал и пел, а теперь вот ушёл к столбу, стоял одиноко под ревушим репродуктором, держась рукою за столб, опустив голову без фуражки. Ветерок лохматил ему редкие волосы, вид был неприкаянный. «Перебрамши малость», — определил Донской. И сформулировал по привычке: «Восемь пудов неизъяснимой скорби». А более всего коробило майора Донского, что генерал дал основание женщинам и солдатам-зенитчикам, собравшимся около машины, вслух обсуждать его.

Женщины поняли генерала по-своему. Иные согласно заплакали и утирались концами платков, иные так объясняли себе и другим:

— Бедненький, как за сынов убивается!..

— Вот судьба-то — всех разом...

— Поди, в одном танке сгорели.

— Чего ж он тогда плясал?

— Дак им же всем Героя присвоили. Он уж потом-то сообразил, что посмертно.

Далее, на взгляд адъютанта, пошло уже и вправду несусветное: одна из женщин всё же осмелилась, подошла к генералу и, взяв его за рукав, принялась утешать, что не такой-то он старый, жена ему ещё и двоих, и троих народит, а он ей отвечал, что чихать он на всё хотел с косогора, но люди-то не патроны, их экономить надо, каждого жалко.

— Ещё бы не жалко! — отвечала женщина со слезой в голосе. — Зато их народ не забудет, памятник всем поставит...

Долее адъютант Донской уже не мог терпеть.

— Шестериков! — позвал он. — Сходи-ка за ним, приведи.

— Почему я? — спросил Шестериков. — Вам же ближе.

Донской было заметил, что ближе-то к генералу как раз ординарец, но сказал другое:

— Я при командующем для более важных дел. А ты за его состояние отвечаешь, за физическое. И знаешь, как с ним обходиться.

— Если б знал! — проворчал Шестериков. — Каждый день им, что ли, звёзды переппадают?

Но всё же полез наверх.

Женщина робко попятилась и отошла подальше. Генерал услышал, что кто-то тянет из его руки салфетку, поднял голову, увидел Шестерикова, смотревшего на него грустно и укорительно.

— Фотий Иваныч, пойдёмте, нехорошо вам тут.

— Нехорошо? — глаза генерала были мутны. — Хочешь сказать, я нехорош?

— Ну, и это тоже...

Сказавши так, Шестериков почувствовал, что власть его, маленькая, но осязаемая власть ординарца над своим хозяином, богом, упёрлась в предел, который переступить страшно. Генералу же вспомнилось мимолётное: как он, выплясывая, вдруг словно бы напоролся на этот же, грустный и укоряющий, взгляд своего ординарца.

— Что, на костях плясал?

Шестериков зябко повёл плечом и не ответил.

— А ты, — спросил генерал, — всегда со мной такой... откровенный?

Шестериков тотчас понял, о чём он говорит и о ком, и опустил глаза. И от этого генерал уверился, что да, было такое, доверительные беседы, о которых умолчал верный человек. Да и нельзя было бы слишком ошибиться — у того же Опрядкина читал он показания бывшего своего адъютанта, бывшего шофёра, бывшего ординарца, снятые особистами дивизии задолго до его ареста — после «разоблачения» Блюхера. Никто не отказался показывать на «любимого

командира». Никто, правда, особенно и не закладывал его, даже старались, каждый в меру своего ума, как-то его выгородить, но никто же и не сообщил ему о тех беседах. Что же мы за народ такой, думал генерал. И злые слова шли на язык: «Кому ж ты доложишь, как я себя вёл? Твой-то майор Светлооков — где он теперь?» Но вид Шестерикова был такой убитый, что слова удержались — действительно непоправимые. Можно ли было совсем забыть, как этот же самый человек, попавший в сети матёрого, закалённого «смершевца», да неизвестно ещё, насколько в них запутавшийся, и неизвестно, что и как отвечавший при тех беседах, этот же человек в сорок первом, не так далеко отсюда, у села Перемерки, тогда ещё незнакомый, только что встреченный, повалился рядом в кровавый снег, один отстреливался, вытащил, от верной смерти спас, а могло быть — и от плена, от участи того же Власова?

— Прости, если что худое сказал, Шестериков. — Генерал почувствовал себя так, будто он те слова произнёс. — Прости, брат...

— Фотий Иваныч! — Шестериков, с горящим лицом, подался к нему. — Я всё собирался, да никак... Я вам расскажу, как получилось...

Генерал хотел было отстранить его рукою, но только поморщился.

— Не надо, — сказал он, тряся головою. — И слушать не стану. Зачем это мне? — И повторил: — Прости, брат.

Хмель наплывал и слынывал волнами, и в голове никак не укладывалось, что делается вокруг и почему делается. Водитель Сиротин, не усидевший один внизу на плащпалатке, взобрался с фляжкой в руке к машине, уселся на своё сиденье, вывалив ноги на асфальт, и всем желающим наливал из фляги в крышечку.

— Женщины и девушки! — орал Сиротин, перебарывая радио. — Красавицы вы мои! Я правду вам скажу: на войне — всё, как в жизни. Кому гроб, кому слёзы, кому почёт на грудь. Поэтому за всех выпить полагается!.. Выпьем и отдадим все силы фронту. Все силы!..

Адъютант Донской высился на обочине одиноким столбом, кривил губы насмешливо-брезгливо, но вмешаться не

спешил. Уже какая-то, мигом захмелевшая, бабка, дробненькая и темноликая, в расхристанном ватнике не по росту ей, пританцовывала, притопывала огромным башмаком, истошно гикая и то попадая в такт бравурного марша, а то нарочно не попадая. Бабка из своих малых сил очень старалась всех развеселить, насмешить — и явно преуспевала: парни-зенитчики, спешившиеся шофёры, женщины с огородов, запрудив шоссе, сгруживались вокруг неё, и кто подхлопывал в ладоши, кто подгикивал, кто просто смотрел с невольной, не сгоняемой улыбкой. Поглядывали с улыбками и на него, генерала, — как из отодвинувшейся перспективы, из окуляров перевернутого бинокля; уже, поди, выяснилось вполне, что не погибли генеральские сыновья, чепуха это, всё у него в ажуре, и, стало быть, за него тоже праздновали, за его, как с неба свалившиеся, звёзды. Худые пареньки с тонкими шеями, кормленные по тыловой норме, в шинельках второго срока, с бахромою на полах и на рукавах, в ботинках с обмотками, женщины с опавшими или одутловатыми лицами, чуть только разгоревшимися, порозовевшими от выпитого, от смеха, в тяжелых, как доспехи, уродующих ватниках, в заляпанных грязью и обвисших юбках, в пудовых сапогах, — так выглядел этот, всегда непонятный, *народ*. И генерал представил себе, как бы он вдруг объявил всем этим людям, что там, в Мырятине, русская кровь пролилась с обеих сторон, и ещё не вся пролилась, сейчас только и начнётся неумолимая расправа — над теми, чья вина была, что им причинили непоправимое зло, — и ещё добавь, добавь, сказал он себе, что и сам его причинял с лихвой! — и они этого зла не вытерпели. У каждого была своя причина, но то общее, что сплотило их, заставило надеть вражеский мундир и поднять оружие против своих — к тому же и неповинных, потому что истинные их обидчики не имели обыкновения ходить в штыковые атаки, — это общее, заранее объявленное «изменой», не простится одинаково никому, даже не будет услышано. И как не считались они пленными, когда поднимали руки перед врагом, не будут считаться и теперь. Скажи он всё это — и что произойдёт? Проникнутся эти люди *чужими* сломанными судьбами? И хотя б на минуту прервётся или омрачится праздник? А может быть,

тяжкий грех — прерывать его, омрачать? Может быть, всё то, что он сказал бы, и не важно — в сравнении с этой скудной радостью, какую доставил взятый вчера и никому из них не известный «Сятин»?

Наверно, есть, думал генерал, ещё какая-то справедливость, другая, которой он не постиг, а постиг — Верховный. Он-то лучше всех изучил, что нужно этому народу. Не для себя же одного придумал он эти салюты, не для себя настоял в ноябре сорок первого: «Парад на Красной площади состоится, как всегда». Говорили, это ему посоветовал Жуков. Но так ли важно, кто подал совет, да были же и другие советы, важно — какой из них он принял, а принял — как полководец, понял, что такое война. А может быть, и большее он успел понять — что люди, к которым он был так жесток, мучил, убивал, гноил, единственные и верные его спасители, — и человеческое в нём дрогнуло? Не мог же так просто, на ветер бросить: «Братья и сёстры!» Так Бог не обращается к человеку! То был — «отец», а то вдруг — «братья», «сёстры». С горной высоты сошёл смиренно, почувствовал себя равным со всеми, одним из всех. И в самые страшные дни, на пределе отчаяния, сказал вовсе не парадно, а как мог бы любой, как равный всем: «Будет и на нашей улице праздник». Какие слова нашёл! Какое в них послышалось обещание! Отныне всё по-другому пойдёт — ещё не сейчас, а когда немца прогоним, последнего немца с последней пяди России, сейчас только об этом думать! Вот и ему, Кобрисову, протянул руку — поверх всех голов, над интригами завистников — и разрубил узел, который никак не развязывался, враз облегчил бремя, все мучившие его мысли, в которых не дай Бог кому признаться, прочёл — и отвёл: «Мелочи, мелочи, не имеет значения». И остановил на пороге Москвы, как будто пригвоздил, предупредив все нелёгкие разговоры в Генштабе. И отметил то как — в числе немногих, самому Ватутину не дал Героя, а ему, Кобрисову, пожаловал... И оставил только одно, не отменимое никакими наградами: помнить и угрызаться, что план по Мырятину был составлен наспех и брошен на полдороге, и все потери, которых могло не быть, повисли на нём...

Между тем содержимого фляжки там, ясное дело, не хватило, и явилась на свет пятилитровая канистра из-под моторного масла с чуть разбавленным спиртом-сырцом. Адьютант Донской и тут не вмешался. Шестериков, охнув, кинулся было спасать канистру, но генерал его удержал за локоть.

— Не надо, — сказал он, всех, кого видел, любя и жалея. — Не жмись. Гуляют люди!

...Гуляли, наверно, и там, в Мырятине. Ещё на западной окраине автоматчики вышибали немцев с верхних этажей и чердаков, и артиллерия на всякий случай старательно расстреливала колоколенку на холме, безглазую и пустую; ещё искали «керосинщиков», поджёгших мебельную фабрику, только что занятую и оприходованную как спасённое имущество, — пока не выяснилось, что сами же и подожгли ненароком; ещё не различить было, где перестрелка, а где так, салютуют от избытка чувств, а уже кто-то спал вповалку посреди газона в скверике; уже в центре телеграфистки и радиосточки сменили тяжёлую кирзу на сапожки с каблучками, пошитые на заказ, и собирались выйти погулять на главный проспект; уже кто-то разведал, где дополнительное спиртное, и тащил его в родную роту сразу в четырёх касках, держа их за ремешки; уже дымили на площади походные кухни, и осмелевшие мырятинцы пристраивались в очередь с кастрюльками и горшочками — и снова вдруг начиналась пальба: обстреливали немецкий взвод, который вышел сдаваться аккуратным строем, но с таким грязным лоскутом, что его не признали за белый... И может быть, вся вот эта неразбериха и нужна была, чтоб люди пришли в себя и понемногу забыли, как на мгlistом рассвете они стояли в сырых окопах, чувствуя холод в низу живота, молясь про себя и ожидая ракету.

Потом они узнают, потом объяснят им, что это было *великое наступление*.

Генерал вытер пальцами под глазами и увидел перед собою адъютанта — вытянутого, как палку проглотил, с генеральской шинелью на локте.

— Товарищ командующий, — сказал Донской построжавшим голосом. И поправился, нарочито выделяя новое обращение: — Товарищ генерал-полковник... Виноват, но всё-таки ехать пора. Тут уже, в конце концов, я отвечаю.

Генерал молча кивнул. Дал себя одеть в шинель, нахлобучил фуражку.

— Ожидается, что мы сегодня прибудем, — напомнил Донской, застёгивая на нём пуговицы. — Хорошо бы до одиннадцати. Время есть, но нужно же в себя прийти.

— Хорошо бы, — сказал генерал.

Он шёл к машине охотно, даже покорно, слегка поддерживаемый адъютантом под локоть. Люди, которых он смутно различал, сразу отчего-то притихшие, расступались перед ним широким коридором. Внизу, под насыпью, Шестериков торопливо совал в мешок стопки, вилки, ножи, салфетки, сворачивал скатерть, плащ-палатку, шинель. С двумя громоздкими свёртками он поднялся к машине и сунул их за передние сиденья, под ноги адъютанту и себе.

— Получше не мог уложиться? — спросил генерал.

— Фотий Иваныч, дак тут ехать-то сколько...

— Сколько б ни ехать, а фронтovou укладку соблюди. Чтоб ничего не торчало, ноги бы не мешало вытянуть.

— Ну, я на колени возьму.

— Не надо на колени.

Генерал заговорил строго, посверкивая глазками из-под насупленных бровей; в нём появилась какая-то мрачная решимость, и адъютант Донской почувствовал в груди некое замирание: «Никак, он сразу *туда* решил ехать». Это даже восхитило Донского — в высочайшее присутственное место заявиться вот такими, как есть, на заляпанном «виллисе», во всём повседневном, полевом, пропахшими грязью дорог, пóтом, бензинной гарью, немножко и коньячком — тоже не повредит в такой день! — *пропахшими фронтом*. И ещё бы разыграть, что не слыхали о Приказе, пусть-ка сначала им сообщат, поздравят. Если в том и есть генеральская дурь, то — высокого свойства. Интересно, подумал он, из ста генералов сколько так бы и поступили? А сколько — не посмели бы?

Однако ж генерал сто первый, лучше всех изученный Донским, поставил ногу в «виллис» и спросил водителя:

— Как у тебя с бензином, Сиротин?

— До Москвы-то? — Сильно порозовевший Сиротин, переваливая малопослушные ноги с асфальта к педалям, беспечно рассмеялся. — Да на нейтралке с горушки домчим, даже без зажигания. На одном, тарщ командш, эн-ту-зи-азме!

— А до Можайска? — спросил генерал. — Хватит без правки?

В груди адъютанта Донского явственно что-то стало опускаться.

— Товарищ командующий... Виноват, но — Москва! Нас ведь сегодня в Ставке ждут...

— Кто? — спросил генерал, тем же мстительным голосом, каким он кричал про чиханье с косогора. — Кому там без нас не прожить? Ставка нам уже всё сказала. *Сам* сказал!..

— Ещё раз виноват... *Хоть я и перебрал малость*, — последнюю фразу Донской произнёс с нажимом, — но осмелюсь настаивать. Это чрезвычайно важно! Вы же потом с меня взыщете...

Генерал, широко взмахнув рукою, показал ему на репродуктор. Победные марши смолкли, из чёрного раструба изливалась тягучая печальная мелодия.

— Вот это мы приняли? — спросил он, глядя в упор в бледнеющее лицо адъютанта. — Звёзды на грудь и на плечи — приняли, я спрашиваю? То, что ты говоришь — «своё»... Значит, и всё остальное должны принять! Кровь пролитая, люди погибшие — не зовут тебя, майор Донской?

Шестериков, укладывавший возимое добро в бортовые коробки, выпрямился и поглядел на генерала с удивлением, с восторгом, но и с мольбою.

— Ставка-то — Бог с ней, оно и лучше туда носа не казать. Но неужто домой не заедем? Фотий Иваныч, дочек не повидаем? Майю нашу Афанасьевну — не порадуем? С меня не то что вы — она с меня взыщет!

— Порадуются и без нас, — буркнул генерал. — Приказ небось уже слышали. Что мы им другого скажем?

Он поглядел на Москву, всю в проплешинах от лучей бледного холодного солнца, проникавших в разрывы облаков. Он поглядел на неё без всякого интереса, и это яснее всего сказало Донскому, что убедать его, соблазнить чем

бы то ни было — бессмысленно: ни тем, что им всё-таки есть резон хоть показаться в Генштабе и кое-что разведать, ни тем, что они вполне бы могли, без особенных угрызений, провести сутки в Москве, хлебнуть столичного воздуха и увезти кое-какие воспоминания, ни даже несколькими часами дома, с семьёй, которую генерал может и до конца войны не увидеть. А то и вовсе не увидеть.

— Так чего, заводить? — спросил Сиротин. — Куда поедем?

— Указан тебе маршрут, — сказал Донской потухшим голосом.

До Сиротина, однако, не всё дошло толком. Он смотрел на домишки и сады Кунцева и улыбался.

— Эх, да как же не погулять, салют не поглядеть, в кои-то веки? На метро не прокатиться? Был я в белокаменной или не был?

Генерал, грузно усаживаясь, отвечал ему ещё сдержанно:

— Нагуляешься, Сиротин. После войны. Ребёнок ты? Не видал, как из пушек бабахают? Давай заводи.

Но и запустив мотор, Сиротин ещё не всё до конца понял.

— А может, сгоняем? Ну, на часок хотя бы... Ведь дело ж какое!..

Генерал, багровея, затрясся от гнева.

— Что, совсем окосел? Трезвей у меня шас же, мобилизуйся! Какое у тебя там дело? У тебя на фронте все твои дела! В армии! Понял? И крути назад! Крути, говорю!

Сиротин поспешно схватился за рычаг, со скрежетом включил передачу. Выкручивая руль до отказа, он взглядывал на генерала испуганными глазами, словно с недобрый предчувствием; лицо его было несчастное, едва не плачущее. Люди, всё видевшие и слышавшие, медленно расступались перед широким тупым рылом «виллиса». Солдаты-зенитчики поднесли ладони к каскам, женщины крестились. Темноликая бабка, поднявши троеперстие и кланяясь, крикнула шепеляво: «Сохрани вас Господь, касатики!..» Лица у всех были печальны, точно бы на них отражалась истекавшая из чёрного раструба тонкая пронзительная щемящая нота.

Генерал, против устава, всем откозырял сидя.

Адъютант Донской, стиснутый, скорчившийся на заднем сиденье, чувствовал в душе уязвление — оттого, что не разгадал эту очередную дурь. Вина, разумеется, была его, но винил он в своей ошибке почему-то генерала, которому не преминул съязвить:

— А хорошо бы, товарищ командующий, нас на первом КПП* не завернули — без надлежащего предписания.

— Нас-то? — Генерал не оглянулся, а лишь откатнул голову назад. — А хотел бы я посмотреть тому в рыло, кто нас от войск завернёт. Чёрта ему лысого, хренушки — нас теперь от армии отставить! Успеть бы только, успеть... Нам бы вчера там быть. Давай, Сиротин, жми!

Круто вильнув и оставив на шоссе две синусоиды грязи с обочины, «виллис» взревел и пошёл, набирая ходу, в сторону Можайска. Ещё раз, из-под брезента, с отчаянием на лице, оглянулся водитель Сиротин. И более все четверо на Москву не оглядывались. Траурный марш отдалялся и затихал, всё сильнее бил в стекло и хлопал брезентом ветер.

Прав оказался генерал Кобрисов, а не адъютант Донской — на первом КПП их не только не завернули, а ещё поздравили и передали о них по телефону на следующую «рогатку», чтоб пропускали без замедления. Их кормили и водку им отпускали без продаттестатов и заправливали бак бензином, не спрашивая талонов и накладной. Среди машин, спешивших на запад, маленький «виллис» не мог затеряться и застрять, он переходил из одних предупредительных рук в другие.

Сегодняшний день — весь целиком — принадлежал генералу. Весь этот день он ехал триумфатором, потому что столбы с чёрными раструбами попадались на всём его пути, и каждый час гремело из них, как с неба:

— ...СТРЕЛКАМ И ТАНКИСТАМ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА КОБРИСОВА...

И державно ликующий голос разносился широко окрест — над холмами и ухабистыми дорогами, выбегавшими

* Контрольно-пропускной пункт.

к шоссе, над мокрыми прострелянными перелесками, над печными трубами деревень и уторов, испутившими свой последний дым два года назад:

— ...И ВПРЕДЬ ИХ ИМЕНОВАТЬ...

Всякий раз, подъезжая к такому столбу, водитель Сиротин притормаживал, чтобы ещё раз послушать и дать послушать генералу, а потом рвал, как угорелый, мучая мотор, губя покрышки. И ветром дороги отбрасывало, уносило вдаль, за корму:

— ВЕЧНАЯ... ПАВШИМ... НЕЗАВИСИМОСТЬ... РОДИНЫ...

Этого, впрочем, генерал как будто и не слышал. Он сидел неподвижно, вцепясь обеими руками в поручень у приборной панели, выставив на ветер толстое колено, обтянутое полою шинели, и смотрел хмуро и сосредоточенно в летящее навстречу пространство. Адъютант Донской, перегибаясь с заднего сиденья, заботливо укутывал ему горло серым, домашней вязки, пушистым шарфом.

Он мог бы этого и не делать. Генералы — когда они едут к войскам — не простужаются.

Глава седьмая

СНАРЯД

1

Майор Светлооков сидел один в комнатухе сельской хаты на Мырятинском плацдарме. Он сидел за столом лицом к окну, держа около уха трубку телефона, другой рукой машинально расправляя шнур. Быстро вечерело, но огня он не зажигал, не хотелось занавешивать окна и сидеть потом в слепой и глухой норе. Спасо-Песковцы не переставали быть ближним тылом, а теперь, с наступлением, они оказались

неожиданно в зоне боевых действий. Разумеется, штабное село охранялось, но лучше было всё видеть и слышать и иметь под рукой пистолет, вынутый из кобуры.

То, что сообщали майору Светлоокову, отражалось на его лице игрою бровей и губ — отражалось бы, если б не так стремительно сгущавшаяся темнота.

— Зочка, друг мой, — говорил он. — Ты там сидишь на коммутаторе, на главном, можно сказать, пульте управления, так ты пресекай, пресекай эту болтовню по связи. Чтоб у тебя отводная трубка от уха не отлипала. И как услышишь, что маршрут сообщают и время, прерывай тут же. В разговор не встрывай, замечаний не делай, а тут же прерывай.

— Я так и делаю, майор, — отвечала трубка.

— Кто ещё знает, кроме начштаба? Ну, начальнику разведотдела полагается это знать, а кто ещё?

Трубка ему перечислила трёх-четырёх посвящённых.

— Да, — сказал майор Светлооков, — это уже не секретность. Уже, как пить дать, где-нибудь утечка произошла, что барин едет. Ну, хоть бы просто трепались, анекдоты рассказывали, насчёт баб опытом обменивались, а то ведь такие вещи по проводу сообщают! А вот подслушают, да устроят барину перехват в лесу, да в плен возьмут... У них же мечта — нам ультиматум предъявить.

Люди, которых называли бандитами и предателями, рыскали вокруг по весям и малым хуторам, и вели они себя дерзко. Из страха окружения они подались не на запад, куда бы им следовало прорываться любой ценой, а на восток, к берегу Днепра, — этого не объяснить было никакой логикой, но лишь инстинктом загнанного животного, которое бежит туда, где не так пышет огонь или не так леденит дыхание смерти, — хотя там-то как раз она и поджидает его. Спасаясь от окружения незавершённого, из которого ещё можно было вырваться, они попали в такое, откуда им выхода не было вовсе.

— А Светлооков — ему безопасность обеспечить! — сказал майор Светлооков с досадой. — Волшебники мы, что ли?

— Скромничаете, майор, — сказала Зочка и рассмеялась серебряным смехом. — Я-то вас считала волшебником.

— Уже не считаешь?

— Считаю, считаю. Кого же мне ещё с вами рядом поставить!

— Ну, придётся нам с тобой этой ночью попотеть...

— Фи, — сказала Зочка, — не ожидала, что вы так вульгарно...

— Ну, я хотел сказать, потрудиться.

— Не лучше.

— Слушай, Зочка, ты что-то у меня сегодня игривая. Уговор был какой? Всякие шуточки на скользкие темы во время работы отставить. А тебя только туда и тянет. Где он сейчас примерно?

— Не примерно, а точно — к Торопиловке приближается.

— Там он ночевать не захочет. И в Спасо-Песковцах не захочет. Он в свой вокзальчик поедет. А там сейчас неизвестно кто и что. Я звоню — без результата. Линия туда обрешана?

— Нет.

— Это почему? Сказано же было: все линии, которые могут быть захвачены, обрезать.

— Можете не беспокоиться, я все концы в руках держу.

— Н-да? — спросил он с гнусавой ухмылкой. — Это хорошо, Зочка. Я так и вижу тебя, как ты концы необрезанные в ручках своих нежных держишь. Впечатляющая картиночка!

— Ну вот, — обиделась Зочка, — вы же сами на скользкие темы...

— Виноват, виноват... А ты сейчас и командующего могла бы прослушать?

— Командующего — это что! Я вас могу.

— Ого! А ты знаешь, Зочка...

Он хотел продолжить: «А ты далеко пойдёшь!». С некоторым даже испугом, но и восхищением он отметил, что она уже высвободилась из-под его первоначального подавляющего авторитета и неуловимо наглеет. Вот уже называет его не «товарищ майор», а просто «майор». И нет смысла делать ей замечание, это ведь не Зочкина особенность, а той службы, которой принадлежали они оба и которая, по самой природе своей, разрастается и наглеет, наглеет и разрастается. Знать о людях больше, чем они того хотели бы, и чтоб это не сказывалось на посвящённом в чужие тайны? Невозможно.

— А ты молодец, — прервал он свою затянувшуюся паузу. — Благодарность от лица службы.

— Служу Советскому Союзу.

— Неправильно говоришь. От лица *нашей* службы. На это наши люди отвечают глубоким сосредоточенным молчанием. — Трубка помолчала. — Вот, правильно. Сейчас я по карте посмотрю, где эта Торопиловка. Что ж, дорогая моя...

— Приятно слышать.

— Не в смысле — дорогая женщина, а дорогая помощница.

— Тоже приятно.

— Придётся нам сегодня, Зюечка, проявить себя волшебниками. Тут что главное сейчас... когда уже произошла утечка и не исключается подслушивание. Нужно создать... как бы это выразиться?... хорошую неразбериху.

— Я это поняла, майор. *Можешь* на меня положиться.

— Зер гут, — сказал он весело. И подумал, что лучше с этой Зюечкой не ссориться, слишком она влезла во все дела. — Созваниваемся. Ты знаешь, где я буду. Адъё!

Он положил трубку, прокрутил отбой и несколько мгновений сидел неподвижно, в рассеянности продолжая расправлять шнур. В окнах всё больше чернело, и темнота понуждала его приступить к делу.

«Эх, Фотий Иванович, зачем?! — произнёс он мысленно. — И что вам в Москве не посиделось? Не побыли дома, с женой любимой, с дочками подрастающими, а прямо к нам. Ведь расплатились же с вами! Неужели мало? Звезду на погон и Звезду на грудь — фактически за одну только переправу... за один лишь замах! Другой бы доволен был выше головы, а вам подавай — Предславль!.. Один Бог знает, как я вас уважаю. Но ведь правду говорят: жадность фэраера губит!»

— Ну, что поделаешь, — произнёс он вслух. — Вызываю огонь на себя.

Но и после этих слов он сидел, огорчённо вздыхая, и не мог себя заставить подняться, неумоготу было перенести всю тяжесть свою на ноги. Он надел фуражку и, взяв со стола пистолет, поставил его на предохранитель и вложил в кобуру. Казалось ему, на это ушли все его силы. При свете было бы видно, что лицо его хмуро и печально.

Приблизительно в этот час в маленькой землянке на левом берегу Днепра сидели за столиком, друг против друга, командир батареи 122-миллиметровых гаубиц и наводчик первого орудия. Сидели они хорошо, у них ещё были полторы фляги водки-сырца, полбуханки хлеба, пачка печенья из офицерского пайка и большая, килограммовая банка американской мясной тушёнки, из которой они себе накладывали в миски понемногу, чтоб банка подольше была украшением стола. И был у них повод выпить — за перемену позиции. Их батарея покидала своё расположение и перебиралась на новое место — уже на том берегу, на плацдарме, который они два с лишним месяца поддерживали огнём. Комбату отчасти и жаль было покидать обжитую землянку, такую низкую, что в ней едва он мог распрямиться, а зато дивно пахло от пола, укрытого еловым лапником и ссохшейся полынью. И сначала они говорили о том, что следующие свои землянки они выроят поглубже, в них будет теплее, — и не так, добавлял наводчик, чтобы десять рыл друг у друга на голове, а по двое, скажем, или хотя б по пятеро, — но потом вспомнили, что и в прошлые разы это же обещали себе, и пришли к тому, что, наверное, и не понадобится их рыть вообще, потому что пошло наступление и, может быть, жить они будут в хатах наконец, а не в земле.

Попивая и закусывая, они с душевной приязнью смотрели друг на друга при свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы от малой зенитки, — наводчик, мужичок лет тридцати, с лычками сержанта, юркий и расторопный, а когда надо степенный и немногословный, и комбат, возрастом помоложе его лет на восемь и всячески старавшийся это своё досадное отставание преодолеть с помощью усов и деланной басистости в голосе. От чадающего фитиля ноздри у них были чёрные. Кроме того, у наводчика темнело вокруг правого глаза и несколько припухла бровь. Наводчик имел пагубную привычку — закончив наведение, не сразу отстраняться от прицела, а ещё мечтательно задумываться о траектории снаряда, покидающего ствол, и мысленно провожать его в полёте до самой цели, которой он никогда не видел, так как

стрелять ему приходилось всегда с закрытых позиций. Из-за этой мечтательности и задумчивости ему частенько доставалось от толчка, который не целиком поглощался дульным тормозом и противооткатной гидравликой. Резиновый наглазник окуляра удар, конечно, смягчал, но и натирал ему надбровье.

Они сидели достаточно долго, чтобы почувствовать произошедшие в них изменения. Наводчик первого орудия с удивлением осознал, что жизнь его была бы решительно неполна, если б не повстречался на его путях-дорогах командир батареи 122-миллиметровых гаубиц. Со своей стороны, и комбат должен был признать, что в жизни своей не встречал человека лучше, чем наводчик первого орудия. И с некоторым удивлением он вспоминал, как совершилось это открытие. Наводчик пришёл к нему отпроситься часика на три, на четыре в село под названием Свиные Выселки, — там, в дополнение к местному контингенту, располагался армейский госпиталь с разнообразным женским персоналом и, к счастью, немногой охраной, — и скрепя сердце комбат отказал ему, мотивируя тем, что уже много людей ушло, а на батарее осталось мало, вот разве только вернётся кто-нибудь до срока, тогда почему ж не отпустить... Надежды на это не было никакой, но разговорились, комбат почёл своим командирским долгом расспросить подчинённого, как складывается жизнь его на батарее, чем заполняется личное время и что едят из дому; слово за слово, выставилась на столик фляжка, достанная из стенной ниши, где она сохранялась в земляной прохладе, выпили по четверти кружки, потому что нельзя же так разойтись, потом ещё по четверти, потому что «надо ж повторить», а к третьему наливу появилась ответно фляжка другая, как бы вынырнувшая из шинельного рукава наводчика, его «вступительный взнос», с которым он бы в любой компании был принят сердечно; тут, само собою, продолжили и воспрянули, а вскоре и вознеслись, и наводчик совершенно перестал жалеть, что не понёлся по осенней грязище и по холоду за пять вёрст в эти Свиная Выселки.

— А почему это происходит? — спрашивал он с упрямством в голосе. — Вот почему?

— Да, почему? — спросил комбат. И спохватился: — А что происходит?

— Вот такие встречи. Почему, капитан, я тебя в мирной жизни не встречал? Потому что не мог. Увидеть — мог, а разобраться не мог, кто хороший человек, а кто, понимаешь, сволочь. А тут и разбираться не надо. Лично я считаю, на фронте — кто воюет, конечно, — все люди хорошие. И чем к переднему краю поближе, тем лучше.

Комбат был с этим вполне согласен, но считал, что если он возражать не будет, спор у них быстро выдохнется, поэтому сказал:

— Ну, это не совсем так...

— Так! — сказал наводчик и вытаращил глаза. — Резкое уменьшение. Резкое! То есть уменьшение кого? Сволочей. Их, понимаешь, передовая отсекает. Напрочь! Это вот как будто кто их отодвинул на край земли. Нету их! Не чувствуются! Вот что война сделала.

Комбат понимал инстинктивно, что нетрезвый разговор по душам всё же должен одолевать некое сопротивление, не такое маленькое, чтобы его перешагнуть, не заметив, но всё же мягкое и формы как бы округлой, чтоб его можно было и обойти, не доходя до резкостей и излишних телодвижений. И он говорил тоном мягким, лишь легонько подначивающим:

— А мы же её кончить скорей хотим, войну.

— Правильно!

— Ну, так они ж опять придут, сволочи.

— Придут, куда им деться.

— А нам куда деться?

— А нам — никуда. Жить дальше. С ними. Но зато — пожили. Зато вот я тебя встретил, а ты меня.

Комбат всё порывался ответить наводчику, но не получалось сформулировать, что есть какая-то сила в их общей жизни, вовсе не случайная, не тупая, не механическая, а очень даже направленно сволочная сила, которая специально заботится, чтобы людям было хуже. Сейчас эта злая сила отодвинулась от них двоих за тридцать, за сорок километров, но как обозначится перелом окончательный, так она снова к ним явится. Она никуда не девалась, эта сила, она за

ними шла по пятам. Вот они очистили землю до Днепра, и скоро и она придёт на эту землю и всё захватит в свои руки.

— Не захватит! — закричал наводчик, и это означало, что какие-то слова комбат всё же сформулировал и произнёс. — Всё не захватит! Нас с тобой, капитан, она не разобьёт нипочём. Мы как стали братья, так и дальше останемся.

— Так за что выпьем? — спросил комбат.

— Вот за это, — ответил наводчик. — Что встретились мы с тобой.

— Выходит — за войну?

— Выходит — да...

И, ощутив подступившее желание немедленно закурить, наводчик потянулся к кисету. Как раз в эту минуту загудел зуммер. Оба посмотрели друг на друга вопросительно. Комбат с опаской взял трубку.

Звонили с дивизионного узла связи, сказали, что будет говорить шестой, согласно нехитрой конспирации — командир дивизиона. Комбат, быстренько мобилизуясь, как это хорошо умеют облечённые ответственностью фронтовики, подчас в усмерть пьяные, застегнул ворот и сел прямо, выткнув шею.

— Что подделываешь, капитан? — спросила трубка.

— Пока ничего, — отвечал комбат голосом трезвым, только излишне громким. — Ну, то есть уже ничего, а до этого подделывал.

— И что же ты там подделывал?

— А всё, что надо. Батарейка приведена в походное положение. Дело только за тягачами. Как придут тягачи — двинемся, задержки не будет.

— Люди твои — все на месте?

Комбат глубоко вдохнул и выдохнул медленно и бесшумно в сторону от трубки.

— Н-никак нет, не все. Кой-кто в отлучке.

— А куда ж они отлучились? И кто это позволил? Праздник устроили!..

Командир дивизиона говорил так, как привык при грохоте пальбы, в тишине это выходило излишне крикливо, и казалось, он сильно гневается.

— Мне, товарищ шестой, тягачи обещали не раньше пяти. Ну, позволил людям друзей навестить — и своих тут, соседей, и в селе, у кого завелись. Ведь столько тут стояли, надо же попрощаться по-человечески. Но — чтоб к пяти ноль-ноль были бы, как штыки! Ну, отдохнуть же надо, понимаете?

Командир дивизиона был из тех, кто понимал.

— Не хотелось тебя дёргать, капитан, поскольку ты с позиции снимаешься, я Шурупову звонил — он лыка не вяжет. Ты тоже хорош, хотя на ногах, я чувствую, стоишь.

Комбат при этих словах привстал с табуретки. Наводчик смотрел на него пристально и с яростной надеждой, что не придётся никуда идти.

— И вот думаю, — продолжал командир дивизиона, — бывают же чудеса, вдруг ты мне боевую задачу сумеешь выполнить...

— Почему это не сумею? Минимум людей у меня имеется.

— Ну, раз так — переводи батарею в положение боевое. Тут, понимаешь, сообщают о прорыве большой группы. Из окружения, понимаешь. Захватили машины, понимаешь, носятся по нашим тылам, нападают, стреляют. Надо пресечь. От тебя тоже потребуются огневой налёт. Всеми орудиями. Задачу понял?

К унынию, к великой досаде, комбат себе представил, что его людям, которые уже зачехлили орудия, свели станины и взяли их на передки, долго и нудно перетягивали стволы в заднее, походное положение, всё это укрыли маскировочными сетями, плащ-палатками, еловым лапником, теперь предстоит эта работа в обратном порядке, а потом, по выполнении огневой задачи, всё опять начинать сначала. Когда же они поспят до пяти?

— Так точно, товарищ майор, — сказал комбат, вытягиваясь и упираясь головою в бревна потолка. Оправляя гимнастёрку под ремнём, он прижимал трубку к уху плечом. — А кто у меня глазами будет?

Он имел в виду корректировщика огня.

— Будет офицер один, ты его не знаешь. Он к тебе обратится по-старому. Не забыл, как в последний раз тебя звали?

— Это... Как его?.. Резеда.

— Помнишь хорошо. Глаза будут нормальные, он дело знает. Сейчас он туда выехал, позвонит тебе на батарею, укажет координаты цели.

— Всё понял, иду на батарею, — сказал комбат. И, положив трубку, поглядел с сожалением на оставляемый столик. — Вот, никогда за войну пить не следует. Тут она как тут.

Покуда наводчик надевал шинель — так размашисто, что занимал этим надеванием три четверти землянки, — и покуда нахлобучивал ушанку, задевая локтями потолок, комбат связался с батареей и объявил боевую готовность. Потом комбат надевал шинель и ушанку, занимая три четверти пространства, а наводчик, локти расставя, оборонял от задева водку и закусь. Полминутки помедлив, дав себе свыкнуться с неизбежностью, они вышли в ход сообщения. Ход был капитальный, шириною двоим разойтись, с отлогими утрамбованными стенками, а дно усыпано мелким речным песком, крахмально поскрипывающим под ногами. И наводчик подумал, что хорошо бы стенки ещё обложить, как у немцев, аккуратно нарубленными и проволокой перевязанными ветками. У них и тропинки между землянками и блиндажами выложены такой плетёнкой, в любую непогодь грязи в жильё не нанесёшь. Но потом он подумал, не без грусти, что у немцев времени много, вот они и возятся, а у нас, русских, его всегда не хватает, очень уж часто приходится задумываться о разном, и куда-то оно девается незаметно. И в утешение себе он решил, что если бы и впрямь ходы сообщения были такие благоустроенные, так ещё бы жальче было отсюда уезжать.

Огневая позиция батареи была расположена среди редколесья, орудийные дворики хоть и разбросаны друг от друга в отдалении, но все проглядываемы меж кустов и деревьев. В брезжившем свете луны, не видной за облаками, даже приземистая серая туша последнего, четвёртого, орудия виднелась отчётливо. А от Днепра загораживала всю позицию плотная стена елей и берёз, их вершинки сейчас чернели на темно-синем, как острия частокола. Батарейцы, повыползшие из своих землянок, хотя и в малом числе и довольно-таки замедленно, шевелились уже при орудиях. Станины они

развели, теперь только сошники забивали в грунт, да из снарядных погребков подтаскивали ящики со снарядами и зарядными гильзами.

Наводчик первого орудия к этим делам не прикасался. Первое орудие было и *основное*, для него рассчитывались установки для стрельбы, по оси его ствола, при надобности, строился батарейный «веер», с результатами его пристрелочного огня согласовывали свою цифирь наводчики других орудий. И наводчик номер один сразу же прошёл к своему особому, привилегированному месту — слева, перед самым щитом, — снял чехол с прицела, снял кожаную крышечку с окуляра панорамы и положил в карман шинели, затем маховиком подъёмного механизма стал задирать уже перетянутый в боевое положение ствол. Как по сигналу, толстые стволы других трёх гаубиц тоже поднимались в ночное небо, к плывущим лохмотьям облаков. Командир первого орудия отсутствовал, он ушёл в село попрощаться со своей двухмесячной зазнобой, «закруглить роман», как он поведал всему огневому взводу, но он и не нужен был наводчику, поскольку сам командир батареи расположился невдалеке, у хода сообщения, накрытого плащ-палаткой. Там в нише сидел связист с телефонами дальней связи и внутренней батарейной. Комбат сел около него на землю, подоткнув под себя полы шинели и свесив ноги в окоп, и развернул на коленях свой координатный планшет.

Было холодно, промозгло, и наводчик, вздрагивая под своей шинелькой, согревался предвкушением, как они вернутся в тёплую землянку. Наверное, и другим номерам поредевших расчётов хотелось поскорее в свои норы, однако стояли терпеливо и молча.

— Вас, товарищ капитан, — сказал связист и снизу, изпод плащ-палатки, протянул ему трубку.

Комбат, пошатнувшись, наклонился и поймал её.

— Поработаем, Резеда? — сказала трубка. Голос был незнакомый, какой-то неуловимо наглый и заранее насмешливый, тотчас вызывающий раздражение. — Как слышишь?

— Слышу, — сказал комбат. — Ты кто?

— А чего ты хриплый такой? — вместо ответа спросила трубка. — Простудился? Или же сильно перебрал?

— Слышу, — повторил комбат, давая понять, что в эти «разговорчики» он не вступает. — Спрашиваю, кто ты?

— Кто я? Тоже на «ры», только не Роза и не Ромашка, а — Ревень.

— Так это ж не цветок, — удивился комбат.

— Не пахнет, это верно, зато от запора помогает. Старички говорят. От ревматизма тоже полезно. Ладно, что там у тебя пристреляно на рокаде — между Озерками и Голубковым? Вот, около рощи... Как ты её зовёшь, роща Кудрявая?

— У меня много чего пристреляно, — сказал комбат обиженным тоном. — Так это ж когда было! Больше двух месяцев...

— Но ты же свои таблицы не скурил, я надеюсь? Или ты их в печке сжёг?

— Чего это мне их сжигать? — возмутился комбат.

— Ну, напрягись там. Усишься. Должен наизусть помнить.

— Пожалста... Выезд из рощи Отдельная, где развилка. Дальше влево — дуб одиночный, от обочины метров сорок. Раскидистый такой... Не знаю, стоит он там или уже нет...

— Не такой раскидистый, но есть. Ты по нему шмоляешь, и чтоб он тебе всё раскидистый был. Значит, репер номер один — развилка, репер номер два — дуб одиночный, бывший раскидистый. Правильно я тебя понял?

В отуманенной голове комбата всё происходило, как у сельского киномеханика в потрёпанном фильме. Одни кадры застывали надолго, потому что лента рвалась и останавливалась, другие промелькивали стремительно, когда она с места пускалась вскачь. И всё же, как ни был силен хмель, а комбат заподозрил, что с координатами цели что-то напутано. С какой такой стати обстреливать ему рокадную шоссе-секу? Она звалась рокадой уже не потому, что была параллельна фронту, который далеко от неё ушёл, но параллельна Днепру. И проходила она совсем близко от переправы. Можно сказать, глубокий тыл. Неужели так много туда просочилось из Мырятинского то ли «мешка», то ли «котла»? Он знал, что и по берегу Днепра идёт охота на беглецов из окружения, но действовали оперативные отряды, тяжёлая артиллерия не задействовалась. И даже такая несусветная мысль посетила его голову: а не разыгрывает ли его этот Ревень?

Может быть, ни черта он там не корректирует, а сидит где-нибудь в тёплом укрытии, смотрит в карту-двухвёрстку и тычет пальчиком — где, по его мнению, что-то должно быть. А хотя, чёрт его знает, ведь звонил же о нём шестой...

— Э! — сказал комбат. — Ты там не ошибся, Ревень? Похоже, я по своим ударю.

— Ты охренел там спяну? — кричал ему в ухо наглый голос. — Какие они тебе свои? И с какого дня, интересно? Ви-селица по ним плачет, а ему — свои.

Комбат, развернув планшет, осветил на него фонариком. Хотя довольно было света невидимой луны.

— А ты сам-то где находишься, Ревень? — спросил комбат.

— Где я? Скажу тебе по секрету: на конце провода.

— На каком... конце?

— На том. На противоположном. Давай сосредоточься. Пошупаем твою пристрелку, цель номер один.

— А я тебя не могу поразить?

— Можешь вполне. Ну, такая наша горькая участь, приходится иногда и на себя огонь вызывать.

Когда эти слова дошли до сознания комбата, они ему показались лучшим доказательством, что координаты даны верные. За любую ошибку, свою ли собственную, или огневиков, корректировщик расплачивался своей жизнью. И комбат проникся наконец доверием к Ревеню, который первоначально показался ему несимпатичным. Он даже усовестился, что подумал о своём боевом товарище нехорошо.

— Цель номер один, — повторял за Ревенем комбат. — Прицел восемь, левее три. Первому оружию один снаряд огонь!

Наводчик приник к панораме и, вращая маховики, отсчитал табличные деления от горизонта орудия и от вспомогательной точки — вбитого в землю невдалеке белого шеста. За правым его плечом тяжёлый снаряд упал рылом в полукруглое приёмное ложе казённого, двинулся на своей смазке вглубь, до упора в пояс, и мягкая медь пояса толчком вбивалась в устья нарезов. Следом вползла зарядная гильза. Лязгнул затвор. Осталось протянуть руку и, не глядя, нащупать спуск.

Уже необратимо тугой на ухо, сильнее — на правое, он легче прежнего переживал свирепый грохот выстрела, но ощущал всем существом тяжкий присед и подпрыг всей гаубицы, резкий отлёт ствола и неспешный его возврат, звонкий выброс горячей дымящейся гильзы и тотчас ударявший в ноздри запах дыма, окалины и горелого масла.

Вскоре же заверещала трубка дальней связи, и комбату стали сообщать поправки на перенос огня. Комбат громко переспрашивал, уже оглохший, другое ухо зажав ладонью.

В это время наводчик думал о том, как слова комбата, влетающие в трубку, бегут один за другим по проводу в оболочке, проложенному под Днепром, в холодной глубине, между камней, осколков и не всплывших трупов, и далеко на том берегу вылетают из трубки в ухо корректировщику. А его слова той же дорогой бегут навстречу. Интересно, что будет, если обоим заговорить одновременно? Наверно, слова встретятся где-нибудь на дне и дороги друг другу не уступят, так что никто ничего не услышит. Хотя, вроде бы, не с чего им друг в друга упираться, могут и разойтись мирно. Говорили ребята из первой лодочной группы, погибшие потом со своим лейтенантом Нефёдовым, что сам командующий армией выделил артиллеристам немецкий кабель с гуттаперчевой изоляцией, ёмкостью в шесть проводов. Долгонько же он прослужил, этот кабель, — немцам на их же голову.

Да если бы только немцам! С неожиданным облегчением наводчик услышал, что никуда ещё не попал. Со вторым снарядом то же случилось, хоть и поближе к цели. И от всего вместе наводчику было не по себе: и неловко за своё облегчение, и грустно отчего-то, и схватывало странное, невнятное опасение, будто кто-то подсматривал за ним, подслушивал его неуместные, непозволительные *настроения*. Чем бы он перед этим тайным соглядатаем мог оправдаться? А перед собою? Всё-таки он стрелял не по фрицам, которые пришли на чужую землю и Бог знает что на ней творили, а по людям, на этой земле родившимся. Про них говорили, правда, что они ещё хуже немцев, и объясняли это тем, что они подняли оружие против своих. Однако ведь и он стрелял

не по чужим... Странно, он никогда не ставил себя мысленно на место немца, а на их место — пробовал.

Было дико, что земля плацдарма, уже освоенная, обжитая, стала таким опасным районом, где не так-то просто было передвигаться — и в одиночку, и группами. Несчастные беглецы, они бродят там — в немецкой форме, ищут советскую, снимают её с убитых, кого не успели убрать похоронщики, нападают из засад на проезжающих по дороге, убивают без пощады, только бы переодеться и как-то затеряться в массе людей, которые возвращаются после госпиталя, разыскивают свою часть. А главная их цель — переправиться через Днепр, дальше они надеются затеряться совсем. Они выходят к реке, чтоб переплыть его или только воды испить — и по ним стреляют из пулемётов с бронекатеров либо сверху — с самолётов. Никто не ожидал, что они прихлынут к Днепру, думали — под угрозой окружения они уйдут на запад с немцами. Они не захотели с немцами, хотели сдать себя своим, приходили поодиночке и целыми взводами, но скоро узнали, что их путь в плену — до ближней стенки, и уже не сдаются. Сейчас, говорят, всё делается, чтобы не давать им покоя, спать не давать ночью. А днём, когда их голод одолевает и тяжкие мысли, им и так не спится. И ходят по деревням и хуторам голодные, усталые, затравленные люди. На дорогах и лесных просеках их ждут машины с оперотрядами «Смерша», прочёсывают заросли, обходят овраги и воронки, штыками тычут в копны сена.

Накануне вернулся с того берега почтарь, заехал взять письма на батарее и рассказал — он как раз подъехал к переправе, когда пригнали к берегу с полсотни пленных. Все сошлись на них посмотреть. Смертникам велели спуститься с кручи на плёс. Они, может быть, думали — их будут допрашивать, что их с немцами свело, приготовили ответы, хотели высказать свои обиды. Им объявили сверху в мегафон: «Плывите. Кто доплывёт, пусть землю целует, которую предал, просит у родной земли прощения». Они спросили: «Да что ж плыть, вы же стрелять будете?». — «Стрелять не будем». — «Обманете. Когда это вы не стреляли?» — «А сейчас не будем. Слово чекиста». И не стреляли. А послали катер вдогонку, он по ним носился зигзагами,

утюжил и резал винтом. Вскипала кровавая волна. Не выплыл никто.

— Батарея! — кричал комбат в трубку внутренней связи. — Прицел восемь, левее шесть, два снаряда осколочно-фугасных огонь!..

И наводчик это так понимал, что не по танкам сейчас бьют, не по иной броне, а по живой плоти.

Объясняют ребята-«смершевцы», что и рады бы их в плен брать, да не удержать их взаперти. И не в том дело, что бегут, это-то можно пресечь, но когда их отлавливают, они сразу же начинают думать, как себя убить. Однажды, перед тем, как запереть в сарае, их обыскали кое-как — и на одном-единственном куске телефонного провода они все повесились. Когда очередной переставал хрипеть и дёргаться, его вынимали из петли и спешил просунуть голову следующий. Кажется, вот и расплата, сами себя наказывают люди. Ан нет, так они, наоборот, «уходят от расплаты». Должно всё совершаться по приговору, а не так, что каждый сам себе прокурор. И вообще, казнь важна не так для злодея, как для зрителей. Поэтому в Мырятине как будто ожидается массовая и публичная...

Временами наводчик чувствовал знобящий страх — будто он сам был среди них, искал и находил обмундирование по себе, но его всё равно разоблачали, и подступал мгновенный ужас гибели, а затем блаженное облегчение, что он, слава Богу, не с ними. Если б не те деревья, что загораживали батарею со стороны Днепра, виден был бы сейчас тёмный берег, по которому они спускаются к воде, как дикие звери к водопою, каждый миг ожидая нападения, смерти. Он вздрагивал от холода снаружи и от холода в душе и старался думать о том, как он и комбат, с которым его соединила почти что родственная связь, вернутся в землянку и продолжат свой диспут. Может быть, поговорят о том, что случилось, какая тёмная вода протекла между своими? Или лучше о чём другом?..

— Добре шмоляешь, Резеда! — влетело в ухо комбату. — Почти что вывел снаряды на цель. Только разброс у тебя страшный, по площади лупишь. Упорядочи как-нибудь свой эллипс, дай ты мне залп вдоль рокады! Ты понял? Со смещением влево на два деления. Вдоль рокады!

Комбат понял. Дабы «упорядочить» злосчастный эллипс рассеивания, он должен был из всех четырёх стволов выстроить фигуру, которая у артиллеристов называется «параллельный веер», а для этого прежде найти ориентир, удалённый в бесконечность, и затем уже принять поправку от него. Вершинки елей и берёз, заслонявших берег Днепра и всю его ширину, для этого не годились. Не подходили для этого и шести воздушной проводки, что вела от батареи к переправе. Зацепиться бы, подумал он, хоть за облачко, если бы только оно стояло на месте. Но вот отнесло ветром тёмные лохмотья, закрывавшие полнеба, и враз посветлело. Небо окрасилось тем нежным жемчужным сиянием, как когда ждёшь молодого месяца. Он поднял голову и увидел тонкий, двоившийся в его глазах серп, отвернувший острые свои рожки влево. Он был такой большой, такой ослепительный, сочный, какой бывает только в украинском небе. И комбат обрадовался месяцу. Усилием глаз он совместил оба силуэта в один и сказал себе: «То самое, что доктор прописал!» Это и был ориентир, которого недоставало ему для «веера».

— Батар-рея! — закричал он в трубку. — Вспомогательная точка — Луна! Наводить в правый срез Луны-ы-ы!

Наводчик опять припал к прицелу, приладил свой правый глаз к глазку панорамы, прижал натруженную свою бровь к её упругому резиновому оглазью. Огромный месяц возник над перекрестьем, такой близкий, что на нём можно было различить извилистые потемнения — должно быть, лунные овраги. «Вот бы куда зафигачить, зафинтифлюрить!» — подумал наводчик и представил себе крохотный цветок разрыва на серебряно-голубой поверхности нашего спутника. Вращая маховик подъёмного механизма, он привёл перекрестье к выпуклой стороне дуги, к её серединке, к самому краешку, и затем, беря надлежащую поправку, ушёл несколько вверх и влево. Месяц рассекал своим верхним рогом густую синеву ночи и заполнял почти всю нижнюю половину круга.

— Цель номер два! — протяжно, певуче закричал комбат. — Батар-рее три снар-ряда беглый огонь!

Хоть один из двенадцати должен был попасть. «Хорошо бы — не мой», — подумал наводчик. Он не отстранился и

почувствовал болезненное нажатие на свою несчастную бровь. В тысячный раз он пропустил, как же снаряд покидает ствол, и дал себе зарок больше не думать об этих глупостях. К счастью, это был последний залп.

— Хорош, хватит, Резеда! — закричала трубка. — Всё сядишь... Куда столько? — Помолчав, Ревень сказал глухо и, как показалось комбату, даже с какой-то досадой: — Считай, цель уничтожена... Свободен, Резеда.

— Счастливо оставаться, Ревень, — сказал комбат.

— Будь здоров. Иди выпивай дальше.

Но ещё много оставалось дел на батарее, в которых комбат и наводчик, по недостатку людей, участвовали до скончания, и к тому времени, когда они возвратились в землянку, оба успели порядком отрезветь. Таким образом, сладостный процесс вознесения для них начался снова. Их прерванный спор продолжился с того же места, где был оборван звонком шестого, однако же претерпел некоторые изменения. Наводчик был заметно поколеблен во мнении, что люди на передовой сплошь хорошие. На этом теперь настаивал комбат — но больше для того, чтоб не утратилось наслаждение беседой.

О тёмной воде, протекшей между своими, они не говорили.

3

РАПОРТ

Командующему войсками фронта
генералу армии ВАТУТИНУ

1. Сего, 2 ноября 1943 года, согласно Вашего приказа, вступил в командование 38-й армией вверенного Вам фронта, о чём докладываю.

2. Личный состав частей и соединений армии о моём назначении оповещён.

3. При этом направляю Докладную записку членов Военного совета армии о случившемся инциденте с бывшим командующим Героем Советского Союза Ф. И. Кобрисовым,

а также по обстоятельствам гибели и по линии организации похорон сопровождавших его людей.

Терещенко

Вступившему в командование
38-й армией
генерал-полковнику ТЕРЕЩЕНКО

членов Военного совета армии:
генерал-майора ПУРТОВА
генерал-майора ФАРТУСОВА

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

1-го ноября сего года, в 20.45, автомашина «Виллис», бортовой № 090678, с находившимся в ней командующим 38 А, генерал-полковником Героем Советского Союза Кобрисовым Ф. И. и его сопровождавшими: офицером для поручений командующего майором Донским А. Н., ординарцем мл. сержантом Шестериковым С. Т. и водителем ефрейтором Сиротиным В. П., передвигаясь в районе расположения 114-го мотострелкового полка 17-й Мырятинской стрелковой дивизии, на участке дороги Озерки — Голубково, в 50 метрах близ роши Отдельная, была накрыта прямым попаданием снарядом гаубицы противника, предполагаемого калибра 155 мм. Что было замечено с наших позиций и поднята тревога.

По прибытии офицеров полка на место смертного происшествия, тела погибших находились в неузнаваемом виде, останки сильно разрознены, однако их принадлежность указанным лицам была установлена по сохранившимся в карманах обмундирования пеналам-медальонам с личными данными каждого. Командующий Кобрисов Ф. И. был обнаружен в 45 метрах на той же дороге, лежа без сознания, в состоянии контузии, направлен в госпиталь. В настоящее время состояние тяжёлое, но обнадёживающее.

Об особой опасности этого участка дороги командующий Кобрисов Ф. И. был предупреждён выставленными дозорными на развилке, но объясняют, он их не послушался. Предполагается, что попадание было случайное, выстрел одиночный, не прицельный, беспокоящего действия.

Сбор останков произведён максимально тщательно, похоронной команде было дадено указание распределить их равномерно на три гроба с досыпкой для тяжести землёй, взятой с места смертного происшествия, гробы закрыть и заколотить, обить траурными материалами полностью.

Захоронение состоится завтра, 3-го ноября, в 14.00 в Центральном парке культуры и отдыха гор. Мырятина в общей могиле всех троих с отданием воинских почестей: маршами сводного оркестра 17-й СД и салютом выделенных представителей от лучших соединений и частей армии, с выступлениями на митинге местного населения представителей партийных и государственных организаций, общественности города. На месте захоронения устанавливается временный обелиск с позолоченными именами погибших и пятиконечной красной звездой. В дальнейшем предполагается установить постоянное мемориальное сооружение, напоминающее о вечном подвиге героев-освободителей Мырятина.

Место гибели майора ДОНСКОГО Андрея Николаевича, младшего сержанта ШЕСТЕРИКОВА Сергея Тимофеевича, ефрейтора СИРОТИНА Василия Петровича нанесено на маломасштабную оперативную карту, карта вместе с наградами и личными делами погибших находится в сейфе политотдела армии, ответственная — ст. лейтенант Бычкова Г. И.

Семьям погибших смертью храбрых посылаются индивидуальные письма.

Память о погибших останется навечно в сердцах личного состава 38-ой армии.

Подписи:

*Пуртов
Фартусов*

Верно:

Г. Бычкова

Примечание: а/м «Виллис», бортовой № 090678, числившаяся за командующим 38 А, согласно акта подлежит списанию как неремонтбельная.

4

Пятнадцать лет спустя, умирая тяжело, безобразно, страшно, он пожелал, чтоб его свезли на то место за Кунцевом, до которого он доехал тогда, в 1943-м. Жена заказала такси, помогла надеть пальто и тёплые ботинки «прощай, молодость», дочери свели по лестнице и усадили, но дальше подъезда не сопровождали. Они не испытывали большого интереса к тому, как он воевал, к его воспоминаниям «о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Но их, конечно же, огорчали его слабость и уменьшение в объёме и в росте, которое он считал началом ухода в небытие.

Про его исхудалость сказала младшая:

— Ничего, папка, это значит только, что раньше ты состоял из воды.

Право, этим можно было утешиться.

Заказанный таксист оказался едва ли не ещё худее, с измождённым лицом, изрезанным глубокими морщинами, с глазами водянисто-голубыми, в которых теплилась некая святость, — такие лица бывают у сильно пьющих, которые уже не нуждаются закусывать. Увидя своего пассажира, он вылез ему открыть дверцу и спросил:

— Куда повезём товарища гвардии полковника?

Сказал весело, а посмотрел с жалостью. «Хорош же я», — подумал генерал даже без грусти и ответил без упрёка, усмехаясь бескровными губами:

— Что-то много ты мне отвалил.

— Не ниже, — сказал шофёр. — Глаз у меня намётанный.

— Оно и чувствуется, — сказала жена.

Был канун октябрьских праздников, и Москва украшалась флагами, транспарантами, портретами дорогих и любимых. Праздник этот был ненавистен генералу — «по погодным условиям», как он говорил, и в самом деле, долго же они выбирали денёк для переворота! Но был канун и другого праздника — 15-летия освобождения Предславля;

годовщины того дня, который провёл он в госпитале почти без сознания, в семье генерала почтительно и молчаливо считались его личными праздниками. К этому дню ему присылали приглашение на встречу ветеранов 38-й армии в какой-нибудь московский ресторан, на этот раз — в Белый зал «Праги»; приглашал новый председатель инициативного комитета, бывший политрук пулемётной роты, ныне майор в отставке Безгласный. «Вы прошли с армией, — писал он, — славный путь от Воронежа до Предславля». И хотя это было правильно, даже больше, чем правильно, ибо до Предславля генерал не дошёл, а лишь до Мырятина, всё равно была обида. Почему его, генерала, приглашает какой-то майор? А что он тогда делал, этот Безгласный? Небось в писарях сидел, бумажки подшивал, вон какую подпись выработал себе — как у министра обороны!.. Никогда не приглашали его, если обещался быть Терещенко, и то не была деликатность устроителей; они не знали, хочет ли он видеть Терещенку, но знали очень хорошо, что Терещенко его не желает видеть. В этот раз до Терещенки было, поди, не дописаться, он командовал не захудалым округом и *шёл на маршала*, вот и приглашали Кобрисова. Не пошел бы, даже если б здоров был.

Не отвечал он и на приглашения приехать в Предславль — и так и не увидел его. Не хотел читать про его восстановление, не смотрел про него кинохронику. Завещал быть похороненным в Мырятине, но дочери, узнав об этом, попросили папку не делать глупостей, ему полагается Новодевичье, и если ему всё равно, где покоиться, то не всё равно будет семье и потомкам. Теперь не было никакого завещания. И не нужно было никакого, всё и без него к рукам прибирали дочери.

С некоторыми трудностями, но их преодолевая, дочери повыходили замуж, старшую муж оставил, и у младшей, кажется, тоже к этому шло, но всё же поднялись новые поколения, и каждой вновь образованной семье что-то выделялось в квартире. Ему с женою осталась комнатка самая маленькая, но, правда, не проходная и не запроходная — генерал уже разобрался в таких вещах. Впрочем, и в холле ему отвели кусок территории, отделив стационарной

перегородкой до потолка, и там, где некогда посиживал Шестериков и рассматривал фотоальбомы, там теперь сидел генерал и вымучивал свои мемуары. Бумажки, которые уговорили его писать, поскольку хотелось *наконец-то всей правды о войне*, он раскладывал на кухонном столике, который хотели выбросить, а он упросил оставить.

И ещё была Апрельевка, он эти два гектара получил сразу после Победы вместе с дешевым финским домиком, но до сада и огородов дело не дошло, дочери не имели к этому интереса, а думали только, как бы эту «виллу» разделить да распродать, и он уже жалел, что взял на себя эту мороку. Тут бы царствовал Шестериков, но не было Шестерикова.

С улицы Горького свернули на Садовое кольцо. Высылся справа Маяковский, которого этим летом ставили краном, — зрелище было не слишком приятное: накинули петлю троса на шею, а голову укутали мешковиной. Этим летом генерал ещё мог сюда прийти пешком... Стихи генерал всегда любил и ничего не имел против памятника, который полагалось ругать, вот только не понять было, что у него с правой рукой; похоже, он доставал карманные часы — не сходить ли пообедать в сад «Эрмитаж» наискосок. За спиной поэта, заслоняя чуть не все окна в здании, поднимали на верёвках колеблемый ветром портрет Хрущёва. Генерал смотрел недоверчиво — тот ли он самый, кто приезжал к нему на плацдарм и дарил украинскую рубашку с вышивкой и кистями? Вот какую власть забрал, самого Жукова сплавил в отставку — без которого за полгода перед тем ни за что бы не удержался. И никакие мемуары без него не обходились. Литературный костоправ, молодой шалопай, которого приставили от Воениздата к генералу «оживлять» его записи и устные рассказы — и не научили, что к генералам полагается приходиться вовремя, как условились, — этот будущий писатель сказал, что сейчас не время культа и можно не упоминать Верховного, но без встречи с Никитой Сергеевичем не обойтись, всё летосчисление теперь ведётся «от Рождества Хрущёва». Встречу на плацдарме шалопай забраковал, попросил вспомнить что-нибудь задушевное, а лучше того — героическое. Вспомнилось задушевное и даже немножко героическое: на Воронежском фронте как-то приехал

Хрущёв знакомиться с новой армией, и Кобрисов его встречал у въезда в штабное село. А была ранняя весна, и всё поле было в проплешинах оголившейся земли. Живописная могла быть встреча, её даже приехали снимать киношники, да всё испортил налетевший «мессершмитт». Никите Сергеевичу самое верное было плюхнуться в грязь, с маскирующей жухлой травой, а он, не желая пачкать свою бекешу, улёгся на белом как сахар снегу. Пилот «мессера» только, поди, из крайнего изумления не попал в такую прекрасную мишень, но, конечно, заставил всех поволноваться. Адьютант всё падал на Никиту Сергеевича, прикрывал своим телом, а Никита Сергеевич его сбрасывал и ругался. Эпизод шалопаю понравился, но забодал категорически редактор Воениздата. Он же сказал, что надо что-то придумать, раз не вспоминается. Как это — придумать, если не было? А очень просто, все придумывают, и никто этого проверять не станет. Важно, что в такое-то время и в таком-то месте встреча *могла быть*. И уже было придумалось что-то подходящее, как поползли слухи, что урежут пенсии генералам. И что-то расхотелось придумывать...

А Верховный — тот гектары дарил, Апрелевку. Широко был, этого у душегуба не отнимешь. Вот по этому Садовому кольцу в июле сорок четвёртого прогнал пятьдесят семь тысяч пленных — показал немцам Москву, их показал Москве, изголодавшимся, измотанным войной людям сказал этим: не так страшны они, как вам кажется, и праздник наш — не за горами. И как точно он выбрал время: самая глубина лета, июль, но он пообещал, что можно уже не бояться, в это лето немцы наступать не будут. В августе такое обещание уже было бы лишним. В чём действительно был мастер — вот в таких эффектах, повышающих дух армии и народа и о которых нельзя вспомнить без умиления и восторга! Так цезари по Риму протаскивали варваров, прикованных к колеснице. И вообще генерал был не прочь рассказать о встрече с Верховным, да если б можно было о той, в Наркомате Оборона, во второй день войны; ну, немножко можно бы *смягчить акценты*, с годами ту встречу он переосмыслил, и вспоминалась она уже без отвращения. Так и об этом почему-то нельзя, самое лучшее — вообще не упоминать.

«А тебе, — спрашивал он себя, — обо всём хочется по-
мнить?» Приходили приглашения от ветеранов другой
армии, которой он командовал после 38-й, — он никогда не
откликнулся. Сказать честно, он не был уже полководцем, это
в нём умерло. Больше, чем за год, ни одного ордена не имел
он в розницу, всё — из тех, что давались оптом по всему фрон-
ту. Приезжал командующий фронтом Попов, говорил с гру-
стным упрёком: «Фотий Иванович, ты воевать — думаешь?»
Они были оба генерал-полковники, оба Герои, так что суро-
во попенять Кобрисову он не решался, а впрочем, и человек
был мягкий, поэтому и не досталось ему ни маршальских
звёзд, ни ордена «Победа». «А я что же, Маркиан Михайло-
вич, по-твоему, не воюю?» — «Да как-то странно ты вою-
ешь. Целое хозяйство тут развёл, коровы у тебя тут, женщин
полно, то и дело свадьбы играют, а немца — совсем не тре-
вожишь». — «Зачем я его буду тревожить, раз он меня не тро-
гает? Будет общее наступление — пойдём помаленьку, а чего
бабахать зря? Немца напугаешь — он мне потом неделю жить
не даст». — «Говорили мне, Кобрисова придётся вожжами
удерживать, а ты инициативу проявить не можешь. Даже не
поинтересуешься, что у тебя на левом фланге делается...» —
«Чайком не побалуемся? — спрашивал в ответ Кобрисов. —
Велю самовар поставить, а покуда закипит, да сгоняем по
чашечке, нам и доложат, что там на фланге делается. На ка-
ком, вы говорите? На левом?» Командующий от чая не
отказывался, только говорил со вздохом: «Разучился ты,
Кобрисов, воевать...» А Кобрисов всё большее облегчение,
даже и удовольствие, находил в том, чтобы уходить под за-
щиту своей дури. Это сделалось его стилем. Думая об этом
сейчас, вспоминал он подслушанный разговор двух сол-
дат, рывших ему окопчик, молодого и пожилого. «А вот
по стилю, по стилю существенно они друг от друга отли-
чаются, командующие наши?» — допытывался молодой.
А другой, летами и фронтовым опытом постарше, свора-
чивая сигарку из «Боевого листка», ему отвечал: «Как же
не существенно? В одном дури поменьше, в другом побол-
лее, вот и отличаются...» Ах, молодец какой! Право, ничего
умнее не услышал Кобрисов о себе и своих коллегах за всю
войну.

Не дожидаясь победного конца, предложили танковое училище. Что успели его выпускники на войне? «Отметиться», как он говорил. Впрочем, кто-то из них поучаствовал в штурме рейхстага, а кто-то в Прагу успел на раздачу пирогов, даже иные в составе 38-й... В их памятных фотоальбомах он был в красивом овале, и указывалось, что это он формировал 38-ю. Всё как-то к ней сходилось, которую у него отняли. И если подумать, так и он тоже, наперекор своей неудачливой судьбе, освобождал Прагу, помог чешским повстанцам вышибить эсэсовцев. Чехам, правда, ещё до этого помогли власовцы, бывают же совпадения. Ну, что же, и хорошо, что закончил Власов свой извилистый безнадёжный путь добрым делом, и мог бы Верховный это учесть и не казнить его, а простить на радостях. Да ведь на добрые дела нужно ещё право заслужить, кто ж его даст изменнику! И что ж бы это за Победа у нас была, какие такие радости — без «справедливого народного гнева», без «священной расплаты»?..

Ехали теперь по Кутузовскому проспекту, здесь тоже были Хрущёвы и прочие дорогие и любимые, из-за них пропустил он Бородинскую панораму и неприметную Поклонную гору и пропустил начало, когда таксист стал рассказывать жене о своём участии в Московской битве:

— ...а танки он гонит, понимаешь, гонит, а танки у него — ох, злые! И все куда-то в сторонку побежали. Ну, а мне что — больше всех надо? Тоже и я в сторонку. Не так что драпаю, но — в темпе. Я вам скажу, Майя Афанасьевна, где лучше всего бежать. Лучше всего — в серёдке. Я молодой хорошо бегал, всех мог обогнать, но мне как бы инстинкт говорит: «Не спеши, не спеши...» — не дай Бог, политрук с пистолетом навстречу выскочит: «Стой, трусы-предатели!» — или же заградотряд из пулемётов чесанёт — первые пули твои будут. А всех вперёд пропустить — тоже плохо, немец-то догоняет, в спину из автоматов чешет, и никто тебя не загораживает. Так что лучше в серёдке. Но я вам скажу, Майя Афанасьевна, когда в серёдке плохо, а лучше — в сторонку. Это если «мессер» налетит — по-нашему «мессер», а по-ихнему «мессершмитт», — именно он в серёдку весь боезапас всодит, потому что — скопление, за одиночными ему гоняться — охота была!.. А тут «юнкерс» налетел, восемьдесят седьмой,

«лапотник» мы его звали, тоже злой был, бомбочкой по нам — шарах! Оглушило меня — и лежу в воронке. Не знаю, кто меня в воронку столкнул, а очнулся — лежу засыпанный, в голове, извините, звон. И вот говорят, вся жизнь человека за одно мгновение проходит. Ну, вся не вся, частично... Но много передумать тогда пришлось. И зачем, думаю, люди войну придумали?.. Ох, мамочки, война!.. Не дай Бог!..

«Не понимаю, — думал генерал. — Кто ж тогда победы одерживал, если такие были защитники отечества, то в серёдку норовили, то в сторонку?..» И с удивлением признавал, что да, именно они. Всегда окружённый людьми храбрыми, и ещё старавшимися в его присутствии свою храбрость показать, он составил себе впечатление, что и вся армия в основном такова. А на самом деле только малую часть её, как в гранате запал, составляют те, кто воевать любит и без кого война и трёх дней бы не продлилась, а для людей в массе, «в серёдке», она только страшна и ненавистна. Так, может быть, ничего удивительного нет, и ничего позорного, что и он задолго до конца почувствовал отвращение? Правда, ещё двенадцать лет после конца он командовал танковой академией, но что это за война была — разучивать операции, которые никогда не повторяются? Понемногу и вспоминать войну расхотелось, жизнь заполнили анализы и диагнозы, рассказы об операциях совсем иного рода, о том, как готовили и как давали наркоз и через сколько часов он очнулся. Правда была в том, что он умер там, в Мырятине. Там и должен был лежать. Предвидение было верным, не обмануло. И погребальные дроги не миновали его.

Но вот сегодня он вдруг услышал какой-то неясный зов, почувствовал беспокойство и тоску; пришло сожаление, как в юности о пропущенном свидании, и боязнь куда-то опоздать, и смутное ощущение, что где-то ждут его, да не где-то, а именно там, куда он держал сейчас путь.

Проехали Кунцево — и вот приближались к вершине того холма. Он помнил, что это место было на первом подъёме от границы Кунцева, но ту границу уже перешагнули ничтожные строения и домишки, они карабкались на подъём и зрительно скрадывали его. Он искал, где же тот столб, на котором висел тогда репродуктор. Ни репродуктора не было,

ни столба, а красовалась трансформаторная будка с черепом и костями. Но все рельефы запоминал он хорошо и попросил остановить почти там же, где и тогда, только на противоположной обочине.

— Проводить тебя, Фотик? — спросила жена. — Или ты хочешь один?

— Один.

— Конечно, один, — подтвердил таксист. — Дело такое, Майя Афанасьевна. Мужское, военное.

И выскочил открыть дверцу.

— Прими таблетку, — сказала жена. И дала запить чаем из термоса.

На слабых подкашивающихся ногах он пересёк шоссе и медленно сошёл с насыпи на лужайку.

Где же тут расстелили плащ-палатку? И где стояли фляга с водкой и бутылка французского коньяка из провинции Сognaс? А сохранилась ли та лунка, что вытоптал Шестериков для бутылки? Лунок этих было здесь несколько, любая могла быть его. В самом общем всё было то же. И такая же погода была, только холода тогда не чувствовали, в гимнастёрках сидели. Но место, которое он узнал точно — по приметам, которые трудно было бы назвать, но трудно и ошибиться, — всё же оказалось не таким, как помнилось ему. С него Москва была как-то виднее, различимей, и спуск был покруче, и лес был, кажется, ближе. Что же он, отступил? Или так повырубили? Но самое большое «не то» было то, что без людей, которые это место оживляли тогда, само оно было другое. И сразу иссякла надежда, что, оказавшись здесь, он их вызовет в памяти так зримо, так осязаемо, что они заговорят.

Он постоял, пересилил приступ боли и двинулся вверх, к машине. Он с трудом поднимался к ней — и не знал ещё, что это были его последние шаги по земле.

...Точно так же не знал он, когда на рокадной дороге вылезал из «виллиса», что больше не сядет никогда на своё сиденье рядом с Сиротиным. Тот, кто выехал его встречать, остановился метрах в ста впереди и весь оставшийся путь проделал пешком, помахивая фонариком, хотя вполне хватало лунного света. Он подошёл, осветил себя, откинул

капюшон брезентового дождевика и оказался начальником штаба Пуртовым.

— Василь Васильич, здравствуй! Ты что ж без оркестра?

— Слава Богу, не разминулись. Пройдёмся-ка, Фотий Иванович, я что сказать тебе должен. А ты, — сказал он Сиротину, — тут постой на обочине. И оружие лучше наготове держать, а то у нас беспокойно.

Они отошли порядочно далеко от машины, и Пуртов всё молчал, как будто не зная, с чего начать.

— Куда ты меня тащишь? — спросил Кобрисов.

— Нет, куда ты притащился! — остановясь, заговорил Пуртов горячим полушёпотом, будто кто-то мог подслушивать из кустов. — Зачем ты вернулся, Фотий Иванович, ведь убьют же тебя, неужели не понимаешь?

— Так на то и война, чтоб убивали. А вернулся я — Предславль брать, не меньше.

— Который уже ему обещан, Терещенке. Неужели он тебе его подарит? Неужели главный орден с груди сорвёт и тебе нацепит? Пойми ты, всё утряслось уже, успокоилось — и тут ты приехал... А ведь воевать надо, «жемчужину Украины» освобождать. Нет тебе места в армии. По крайней мере сейчас нет. Потом, может, и будет, подберут Терещенке армию, он легко с одной на другую переходит. Всегда я на твоей стороне был, а сейчас — прошу тебя, уезжай немедленно!..

— Нет места мне? В моей армии — нет?..

Он больше не мог говорить, обида и гнев душили его. Оставив Пуртова, он пошёл к своей машине. Он прошёл больше половины пути, когда загромыхало в лесу, всё ближе и громче, и он понял, что это убивают его, и ускорил шаги. Он, заговорённый, спешил быть со своими людьми. Тогда бы все остались живы. Что-то случилось бы, но не смертельное. Не успел... В лицо, в грудь, в живот ударила горячая и твёрдая, как бревно, взрывная волна, изжелта-красный фонтан огня взлетел над маленьким «виллисом», и глаза ему ослепило, уши заткнуло непереносимым, убойным грохотом, а затылком и всей спиной ощутил он удар истерзанного асфальта...

...Какая острая, какая пугающая боль вдруг пронизала сердце! И как заломило в ключицах. Он едва поднялся к

машине — и увидел вопрошающие лица жены и таксиста, выскочившего перевести его через дорогу. Всё же он перешёл сам и постарался выглядеть хорошо.

— Прими ещё таблетку, — сказала жена.

Он подумал, что если возьмёт, то этим испугает жену, и помотал головой:

— Ещё первая действует.

Но когда поехали, его совсем развезло. Сидя один на заднем сиденье, он старался заговорить боль. Они к нему не оборачивались, и он мог откинуть голову и закрыть глаза. Но оказалось, шофёр продолжал видеть его в своём зеркальце.

— А товарищ гвардии полковник что-то, я смотрю, заскучал...

И в этот миг крохотная фигурка возникла на том берегу, за понтонным мостом, по которому ехал генерал, сидя справа от Сиротина. Она приближалась, и он узнавал её. Тяжёлая сумка с крестом оттягивала ей плечо и сминала погон, и маленький браунинг «Лама» висел на поясе — его подарок, с которым тоже она не рассталась. Она была молода и стройна, она была прекрасна в своей выгоревшей, застиранной одежде фронтовой сестры, прекрасно было её лицо, не тронутое временем, девически-мужественное, бесхитрое и доверчивое и выражавшее гордый вызов, — такое увидишь ли среди сегодняшних лиц? И она ждала его там, хотя не звала и не махала рукою, а просто стояла и смотрела на него. Но разве не она ему предсказывала, что дальше он не ступит ни шагу? «Я вижу, как ты лежишь на том берегу, сразу же за переправой, совсем без движения...» И он чувствовал разрывающую сердце тоску по ней и страх перед тем, что должно было с ним случиться. «Зачем я тебе, больной старик?» — спросил он её, избегая назвать по имени, потому что где-то рядом была жена, которая остаётся жить и помнить об его измене. Она бы любую измену простила ему, но не эту, последнюю, с которой уходят навсегда. «Умирание — тоже наука, — подумалось ему отчётливо. — И к этому надо готовиться...»

А та всё ждала его — терпеливо, но и властно, и требовательно, и он чувствовал себя виновным перед нею. Как будто

кого-то он предал, обманул, не исполнил долг. «Я всё исполню! — пообещал он ей, и показалось, она кивнула ему, поверила. — Я еду к тебе...» Изю всех сил он удерживал на устах её имя, чтобы не прозвучало оно, и это удалось ему — и он почувствовал облегчение.

— Довезём, Майя Афанасьевна, не сомневайтесь! — услышал он голос шофёра. — Не отдадим гвардии полковника!..

И кончилась переправа, и боль оставила его совсем — ибо он въезжал в расположение своей армии...

— Он не полковник, — сказала жена. — Он генерал-полковник.

Это были последние слова из мира внешнего, но изнутри, из глубины сознания, возникали голоса, очень похожие на его голос, как будто он разговаривал сам с собой. Так оно, верно, и было.

«Если мы умерли так, как мы умерли, значит, с нашей родиной ничего не поделаешь, ни хорошего, ни плохого». — «И значит, мы ничего своей смертью не изменили в ней?» — спрашивал другой голос. «Ничего мы не изменили, но изменились сами». А другой голос возражал: «Мы не изменились, мы умерли. Это всё, что могли мы сделать для родины. И успокойся на этом». — «Одни умерли для того, чтобы изменились другие». — «Пожалуй, это случилось. Они изменились. Но не слишком капитально...» — «А со мной, со мной что произошло?» — «А ты разве не знаешь? Ты — умер». — «Но я, — спросил он, — по крайней мере умер счастливым человеком?»

Никто ему не отвечал, и он больше ни о чём не спрашивал, он перестал мыслить, дышать, быть.

...Хочется верить, однако, что в тот далёкий час, въезжая в расположение своей армии, все они четверо были счастливы.

Был счастлив генерал Кобрисов — тем, что Мырятинский плацдарм оказался самым красивым — и *недорогим* — решением Предславльской операции, и красоту эту оценили даже те, кто попытался скинуть его с Тридцать восьмой. Сбитый с коня и ставший пешкою, он всё же ступил на последнее поле, и пусть-ка попробуют не признать эту пешку

ферзем! И сердце его было полно солдатской благодарности Верховному, который его замысел разгадал и понял, что Мырятин был ключом не к одному Предславлю, но ко всей Правобережной Украине. И если так хочет Верховный, чтобы Предславль был взят именно к 7-му ноября, ну что же, он сделает всё возможное, чтоб так оно и было. В конце концов, всем необходим праздник. Он думал об этом, проезжая по переправе, трясаясь по пустынной рокаде, залитой серебряно-голубым светом, и видя далёкие синие подфарники машины, на которой выехали его встречать.

Был счастлив ординарец Шестериков, что не придётся коротать век без генерала, ещё столько всего впереди у них, одной войны года на полтора, а ещё же будет в их жизни Апрелька, воспоминания о днях боевых, о том, как встретились, это уж без конца! Ну, а погибнуть придётся — так вместе же.

Был счастлив адъютант Донской, наблюдавший визуально все тернии генеральской судьбины и пожелавший себе, чтоб миновала его чаша сия. Преисполняясь мудрости, он так себя и спросил: «Ну зачем, зачем тебе, Андрей Николаевич, эта головная боль!» И всё чаще прикидывал он на слух, и всё больше нравилось ему слово «адъютант». Что-то в нём слышалось энергичное, красивое, молодое.

И был счастлив водитель Сиротин, освободясь от своих страхов, что с этим генералом он войну не вытянет. С последней «рогатки», где они заночевали, он сумел-таки дозвониться до Зоечки, он сообщил ей маршрут и время прибытия — и мог быть спокоен за всех четверых. Они уже не были песчинкой, затерянной в бурном водовороте, всемогущая тайная служба распростёрла над ними спасительные крыла — и никакой озноб, ни предчувствие, ни мысль о снаряде, готовом покинуть ствол, не мучили его в ту минуту, когда подвыпивший комбат, выстраивая «параллельный веер», командовал наводить в правый срез Луны, и грустный наводчик, подкручивая маховики, лоя в перекрестье молодой месяц, прикинул натруженной бровью к резиновому оглазью панорамы.

1996

Москва — Niedernhausen



Георгий Владимов

ВЕРНЫЙ РУСЛАН

повесть

История караульной собаки

Что вы сделали, господа!

М. Горький, «Варвары»

1

Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, звякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось — и пришёл хозяин. Он сидел на табурете, обхватив колено красной набрякшей рукой, и курил — ждал, когда Руслан доест полхлёбку. Свой автомат хозяин принёс с собою и повесил на крюк в углу кабины — это значило, что предстоит служба, которой давно уже не было, а поэтому есть надлежало не торопясь, но и не мешкая.

А нынче ему досталась большая сахарная кость, так много обещавшая, что хотелось немедленно унести её в угол и затолкать в подстилку, чтобы уж потом разгрызть как следует — в темноте и в одиночестве. Но при хозяине он стеснялся тащить из кормушки, только содрал всё мясо на всякий случай — опыт говорил, что по возвращении может этой косточки и не оказаться. Бережно её передвигая носом, он вылакал навар и принялся сглатывать комья тёплого варева, роняя их и подхватывая, — как вдруг хозяин пошевелился и спросил нетерпеливо:

— Готов?

И, уже вставая, кинул окурок на пол. Окурок попал в кормушку и зашипел. Такого ни разу не случалось, но Руслан не подал виду, чтоб это его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и качнул тяжёлым хвостом — в знак благодарности за кормёжку и что он готов её отслужить тотчас.

На косточку он взглянуть себе не позволил, только наспех поплакал из пойлушки. И был совсем готов.

— Пошли тогда.

Хозяин предложил ему ошейник. Руслан с охотой в него потянулся и задвигал ушами, отзываясь на прикосновения хозяевых рук, застёгивающих пряжку, проверяющих — не туго ли, вдевающих карабинчик в кольцо. Сколько-то поводка хозяин намотал на руку, а самый конец крепился у него к поясу, — так все часы службы они бывали связаны и не теряли друг друга, — свободной рукою подбросил автомат и поймал за ремень, закинул за спину вспотевшим стволом книзу. И Руслан привычно занял своё место — у левой его ноги.

Они прошли сумрачным коридором, куда выходили двери всех кабин, забранные толстой сеткой, — сквозь прутья влажно блестели косящие глаза, некормленные собаки скулили, бодали сетку крутыми лбами, а в дальнем конце кто-то лаял навзрыд от злой, жгучей зависти, — и Руслан чувствовал гордость, что его нынче первым выводят на службу.

Но едва открылась наружная дверь, как белый, слепяще яркий свет хлынул ему в глаза, и он, зажмурясь, отпрянул с рычанием.

— Нно! — сказал хозяин и рванул поводок. — Засиделся, падло. Чо пятисси, снега не видал?

Вон что выло, оказывается. И вон как улеглось — толстым пушистым покровом по безлюдному плацу, по крышам казармы, складов и гаража, шапками на фонарях, на скамейках вокруг окурочного ящика. Сколько же раз это выпадало на его веку, а всегда в диковинку. Он знал, что у хозяев это зовётся «снег», но не согласился бы, пожалуй, чтоб это вообще как-нибудь называлось. Для Руслана оно было просто — белое. И от него всё теряло названия, всё менялось, привычное глазу и нюху, мир опустел и заглох, все следы спрятались. Лишь чёткая виднелась цепочка от кухни к порогу — это хозяевы сапоги. В следующий миг белое кинулось ему в ноздри и всего объяло волнением; он окунул в него морду по брови и пропахал борозду, забил им всю пасть; отфыркнувшись, даже пролаял ему что-то нелепо-радостное, приблизительно означавшее: «Врёшь, я тебя знаю!» Хозяин

его не придерживал, распустил поводок на всю длину, и Руслан то отставал, то вперёд забегал — уже белобородый, с белыми ресницами и бровями — и не мог успокоиться, надыхаться, нанюхаться.

Оттого-то он и допустил маленькую оплошность — не взглянул куда следует, когда тебя выводят на службу. Но что-то, однако, насторожило его, он вздел высоко уши и замер. Явилась неясная тревога. Справа были ошкуренные столбы и проволока с колючками, а дальше — пустынное поле и тёмная иззубренная стена лесов, и слева такие же столбы и проволока, и такого же поля кусок, но с разбросанными по нему бараками — низкими, как погребца, из брёвен, почерневших от старости. И как всегда, они на него глядели заиндеветыми, пустыми, как бельма, окошками. Всё стояло на месте, никуда не сдвинулось. Но необычайная, неслыханная тишина опустилась на мир, шаги хозяина вязли в ней, точно он ступал по войлочной подстилке. И странно: никто в тех окошках не продышал зрачка — полюбопытствовать, что на свете делается (ведь люди в этом отношении несколько не отличаются от собак!), — и сами бараки выглядели странно плоскими, как будто намалёванными на белом, и ни звука не издавали. Как будто все сразу, кто жил в них, шумел и воял, вымерли в одну ночь.

Но — если вымерли, то ведь он бы это почувствовал! Не он, так другие собаки, — кому-то же это непременно приснилось бы, и он бы всех разбудил воем. «Их там нет, — подумал Руслан. — И куда ж они делись?» Но тут же он устыдился своей недогадливости. Не вымерли они, а — убежали! Он весь затрепетал от волнения, задышал шумно и жарко; ему захотелось натянуть повод и потащить хозяина, как это бывало в редкие, необыкновенные дни, когда они пробежали иной раз по несколько вёрст и всё-таки догоняли — ни разу не было, чтоб не догнали! — и начиналась настоящая Служба, лучшее, что пришлось Руслану изведать.

Однако ж не всё укладывалось — даже и в редкое, необыкновенное. Он знал слово «побег», различал даже «побег одиночный» и «групповой», но в такие дни всегда бывало много шума, нервной суеты, хозяева с чего-то орала друг на друга, да и собакам доставалось ни за что, и они —

в ошеломлении, в беспамятстве — затевали свою грызню, утихавшую лишь с началом погони. Такой тишины он не слышал ни разу, и это наводило на самые ужасные подозрения. Похоже, ударились в побег все обитатели барачков, а хозяева — за ними, и так поспешно, что даже не успели прихватить собак, а без них какая же может быть погоня! И теперь лишь они вдвоём, хозяин и Руслан, должны всех найти и пригнать на место — всё смрадное, ревущее, обезумевшее стадо.

Он почувствовал томление и страх, от которого заглодело в брюхе, и забежал поглядеть на лицо хозяина. Но и с хозяином что-то неладное сделалось: так непривычно он сутулился, хмуро поглядывая по сторонам, а руку, продев сквозь автоматный ремень, держал не на ремне, как всегда, а сунул зябко в карман шинели. Руслан подумал даже, что и у него там, в животе, заглодело, и ничего удивительного, когда им сегодня такое предстоит! Он приник к шинели хозяина, потёрся об неё плечом — это значило, что он всё понимает и на всё готов, пусть даже и умереть. Руслану ещё не приходилось умирать, но он видел, как это делают и люди, и собаки. Страшней ничего не бывает, но если вместе с хозяином — это другое дело, это он выдержит. Только хозяин не заметил его прикосновения, не ободрил ответно, как всегда делал, кладя руку на лоб, и вот это уже было скверно.

Внезапно он увидел такое, что шерсть на загривке сама собою вздыбилась, а в горле заклокотало рычание. Он не отличался хорошим зрением, — и знал за собою этот порок, честно его искупая старательностью и чутьём, — главные ворота лагеря бросились ему в глаза, когда они с хозяином уже вошли через калитку в предзонник. И так странен был вид этих ворот, что и представить себе невозможно. Они стояли — открытые настезь, поскрипывая от ветра в длинных оржавленных петлях, и никто к ним не бежал с криками и стрельбою, спеша затворить немедленно. Мало этого, и вторые ворота, с другой стороны предзонника, никогда не открывавшиеся с первыми одновременно, и они были настезь; белая дорога вытекала из лагеря, не разгороженная, не расчерченная в решётку, и убегала к тёмному горизонту, в леса.

А с вышкой что сделалось! Её не узнать было, она совсем ослепла — один прожектор валялся внизу, заметенный снегом, а другой, оскалась разбитым стеклом, повис на проводе. Исчезли с неё куда-то и белый тулуп, и ушанка, и чёрный ребристый ствол, всегда повернутый вниз. Линялый кумач над воротами ещё остался, но кем-то изодранный в лохмотья, безобразно свисавшие, треплемые ветром. А с этим красным полотнищем, с его белыми таинственными начертаниями у Руслана свои были отношения: слишком запечатлелось в его душе, как чёрными вечерами после работы, в любую погоду — в стужу, в метель, в ливень — останавливалась перед ним колонна лагерников, с хозяевами и собаками по бокам, и оба прожектора, вспыхнув, сходились на нём своими дымными лучами; оно всё загоралось — во весь проём ворот, — и невольно лагерники вскидывали головы и, ёжась, впивались глазами в эти слепяще-белые начертания. Всей затаённой мудрости их не дано было постичь Руслану, но и ему тоже они щипали глаза до слёз, и на него тоже вдруг нападали трепет, сладостная печаль и восторг невозможный, от которого внутри обморочно замирало *.

Эти утраты и разрушения ошеломили Руслана, он растерялся перед наглостью беглецов. Как они были уверены, что уж теперь-то их не догонят! И как всё заранее знали — что выпадет снег и заметёт все следы и как трудно собаке работать на холоде. Но самое скверное, что они особенно и не таились: ведь отлично же он помнил, как все последние непонятные дни, когда собаки изнывали без службы и приходил только хозяин Руслана, и то — без автомата, покормить их и дать немножко размяться в прогулочном дворике, — как всё это время вели себя лагерники. В высшей степени странно: расхаживали по всей жилой зоне табунами, визжали гармошкой, горланили песни, а то ещё и собак принимались передразнивать — так непохоже и безо всякого смысла. И как же хозяин ничего этого не замечал, когда буквально

* На таких полотнищах писалось обычно: «ТРУД В СССР ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА. И.СТАЛИН». (Здесь и далее примечания автора.)

все собаки чувствовали неладное и от злой тоски грызли свои подстилки!

Руслан не винил хозяина, не упрекал его. Он уже был немолод и знал — хозяева иногда ошибаются. Но им это можно. Это нельзя собакам и лагерникам, которые всегда отвечают за свои ошибки, а часто и за ошибки хозяев. И раз уж так выпало, эту ошибку — он знал — ему придётся разделить с хозяином и помочь исправить её, чего бы это ни стоило. И, думая о том, как ловко беглецы обвели хозяина, он просто растревлял себя для дела, растил в себе злобу, пока не озлился по-настоящему. Злоба его была жёлтого цвета. В жёлтое окрасились небо и снег, жёлтыми сделались лица беглецов, в ужасе оборачивающихся на бегу, жёлтыми бликами замелькали подошвы. Увидя всё это вживе, он не выдержал, рванулся с яростным лаем, натягивая широкий сыромятный повод, и выволок хозяина за собою в ворота.

— Ты что, ты что, падло! — Хозяин едва удержался на ногах. Он подтащил Руслана к себе. И, чтоб успокоить, проделал свой обычный номер: привздёрнул его за ошейник, так что передние лапы повисли в воздухе. Руслан не рычал уже, а хрипел. — Куды рвёсси, в рай не успеешь? Ага, там таких только не хватает.

Затем отпустил, отстегнул карабинчик, а поводок смотал и сунул в карман шинели.

— Вот теперь иди. Вперёд иди, не ошибёсси.

Рукою он показывал в поле, вдоль белой дороги, и это одно могло значить: «Ищи, Руслан!» Такие вещи Руслан понимал без команды. Только вот никакого следа он не чуял, намёка даже на след.

Он взглянул на хозяина быстро и тревожно, близкий к отчаянию, и, опустив голову, сделал положенный круг. Пахло иссохшими травами, прелью, мышами, золой, а людьми — не пахло. Не останавливаясь, он сделал второй круг — пошире. И опять ничего. Так давно они здесь прошли, что глупо и пытаться вынюхать что-нибудь толковое. А соврать, куда-нибудь наобум повести, а потом разыграть истерику, что сам же хозяин что-то напутал, а от него требует, — этих штук он не позволял себе. И ничего не мог напутать хозяин, они ушли в ворота, это яснее ясного, вот и танцуй от ворот.

Скоро он лишился сил, почувствовал себя как выпотрошенным и плюхнулся в снег задом. Вывалив набок дымящийся язык, виновато помаргивая, прядая ушами, он честно признался в своём бессилии.

Хозяин смотрел на него и недобро кривил губы. Ни малого сочувствия Руслан не нашёл в его глазах — в двух таких восхитительных площадках, налитых мутной голубизною, — а только холод и усмешку. И захотелось распластаться, подползти на брюхе, хоть он и знал всю бесполезность мольбы и жалоб. Всё, чего хотели эти любимейшие в мире площадки, всегда делалось, сколько ни скули и хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим едким гуталином. Руслан когда-то и пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек — и человеку это не помогло.

— Может, подальше? — спросил хозяин. — Или тут хочешь, к дому поближе? — Он оглянулся на ворота и медленно потянул автомат с плеча. — Один хрен, можно и тут...

Руслана забила дрожь, и неожиданною зевотой стало разламывать челюсти, но он себя пересилил и встал. Иначе и не мог он. Всё самое страшное зверь принимает стоя. А он уже понял, что оно пришло к нему в этот белый день, уже минутой назад случилось — и дальнейшего не избежать, и даже винить тут некого. Кто виноват, что вот и он перестал *понимать, что к чему?*

Он знал хорошо, что за это бывает, когда собака перестаёт понимать, что к чему. Тут не спасают никакие прежние заслуги. Впервые на его памяти это случилось с Рексом, весьма опытным и ревностным псом, любимцем хозяев, которому Руслан по молодости сильно завидовал. День Рексова падения был самый обычный, ни у кого из собак не возникло предчувствия: как обычно, приняли тогда колонну от лагерной вахты и, как обычно, всех пересчитали, и были сказаны обычные слова. И вот здесь, едва от ворот отошли, один лагерник вдруг закричал дико, точно его укусили, и кинулся наутёк. Безумец, куда бы он делся в открытом поле да на виду всех! Он никуда и не делся, ещё его вскрик не умолк, как автоматы загрохотали в три, в четыре ствола, а с вышки ещё добавил пулемётчик. Да, на такие вот глупости, как ни странно, способны иной раз двуногие! Но своей глупостью

он сильно подвёл Рекса, который шёл рядом и должен был держаться начеку и всё предчувствовать заранее, а если уж прозевал, допустил оплошность, то кинуться следом и повалить немедленно. Вместо этого Рекс, увлѣкшись зрелищем, сел с высунутым языком и допустил, чтобы ещё двое нарушили строй и кричали на хозяев, размахивая руками. Конечно, их тут же загнали на место прикладами, помогли и собаки, но Рекс-то даже в этом не участвовал! Он совсем перестал понимать, что к чему. Он кинулся к тому человеку, в поле, — который уже и не хрипел! — и впился в его правую руку. Это было так глупо, что сам он даже не рычал при этом, а скулил прежалким образом. Хозяин Рекса оттащил его и при всех поддал ему хорошенько сапогом под брюхо. В этот день Рексу ещё доверили конвоировать, но все собаки поняли — случилось непоправимое, и Рекс это понял лучше всех.

Весь вечер после службы он переживал свой позор. Он лежал, как больной, носом в угол кабины, и не притронулся к еде, а ночью то и дело принимался выть, так что все собаки с ума сходили от страшных предчувствий и не могли глаз сомкнуть. Наутро хозяин Рекса пришѐл за ним, и, как ни скулил Рекс, сколько ни лизал ему сапоги, ничто не помогло. Его повели за проволоку, в поле, все слышали короткую очередь, и Рекс не вернулся. Не то чтобы он сразу исчез навсегда — ещё несколько дней его присутствие чувствовалось в зоне, и неподалѐку от дороги собаки видели его вздувшийся бок, по которому расхаживали вороны, и вспоминали ужасную ошибку Рекса. Потом и следа не осталось. Рексову кабину помыли с мылом, сменили кормушку и подстилку, повесили другую табличку на дверь, и там поселился новичок Амур, у которого всё было впереди.

Рано или поздно, так случалось со всеми. Одни теряли чутьѐ или слепли от старости, другие слишком привыкали к своим подконвойным и начинали им делать кое-какие поблажки, третьих — от долгой службы — постигало страшное помрачение ума, заставлявшее их рычать и кидаться на собственного хозяина. А конец был один — все уходили дорогою Рекса, за проволоку. Лишь одно помнилось исключение, когда собака умерла в своей же кабине. Когда Бурану в схватке с двумя беглецами перебили спину железной трубой,

хозяева принесли его из леса на шинели, гладили его и трепали за ухо, говорили: «Буран хороший, Буран молодец, задержал, задержал!», не знали, чем только его накормить. А к вечеру чем-то таким накормили, что он тут же издох в корчах.

Так уж повелось, что Служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина, и восемь лет, прожитых в зоне лагеря, Руслана не покидало ощущение, что это и ему когда-нибудь предстоит. Оно страшило его, навеивало кошмарные сны, от которых он просыпался с жуткими завываниями, но понемногу он с этим ощущением свыкся, понял, что избежать ничего нельзя, но отдалить — можно, только нужно стараться, стараться изо всех сил. И предстоявшее стало ему казаться естественным завершением Службы, таким же, как она сама, честным, правильным и почётным. Ведь ни одна собака всё-таки не пожелала бы себе другого конца — чтобы её, к примеру, выгнали за ворота и предоставили ей побираться, вместе с шелудивыми дворнягами, откуда-то прибегавшими к мусорному отвалу подхарчиться гнильём с кухни. Не пожелал бы этого и Руслан.

Поэтому не ползал он, не скулил о пощаде, не пытался убежать. Если б увидел хозяин его глаза — жёлтые, подолгу не мигающие, с чёткими, как воронёные дула, провалами зрачков, — то не прочёл бы в них ни злобы, ни мольбы, а лишь покорное ожидание. Но хозяин смотрел куда-то поверх его темени и ствол автомата отводил к небу. Что-то — позади Руслана — мешало ему стрелять. Руслан оглянулся и разглядел — что. Он это и раньше различил краем глаза, слышал вполуха тарахтенье и лязг, но заставил себя не обращать внимания, весь занятый поиском следа.

По белой дороге к лагерю двигался трактор. Он полз медленно, как будто сто лет уже как сжился с этим снежным полем и с этим белесым сводом небес, и без него невозможно было их себе представить. Поводя ощеренным глазастым рылом, весь в копоты и струящемся воздухе, он тащил сани-волокушу; на них, покачиваясь, сползая с дороги, плыло что-то, ещё огромней его, малиново-красное; когда приблизилось оно, стало видно, что это товарный вагон без колёс, прикрученный ржавыми тросами.

Руслан заворчал и ушёл с дороги. Тракторы были ему не внове — они вывозили брёвна с лесоповала, и ничего хорошего он из знакомства с ними не вынес. От чёрного выхлопа у него надолго пропадало чутьё и он делался самым беспомощным существом на свете. И к тому же на них работали «вольняшки», народ ему чужой и очень странный: они всюду расхаживали без конвоя и к хозяевам относились без должного почтения. Но, впрочем, дорогу в рабочую зону они находили сами; колонна ещё только втягивалась в лес, а они уже там всю тарахтели. В общем, неприятный народ.

Трактор подполз и остановился, но не затих, что-то в нём возмущённо подвывало, и сквозь этот шум водитель прогаркал хозяину своё приветствие. Руслана оно поразило до крайности. Так, сколько помнилось ему, не обращался к хозяину ни один двуногий:

— Здорово, вологодский!

Возмущал уже самый вид водителя — этакая лоснящаяся багровая харя, с губастой огнедышащей пастью, с ухмылкой до ушей. Из-под шапки, которую он не снял перед хозяином, слетал на лоб слипшийся белобрысый чуб, вещь для лагерника немислимая, как и обращение к хозяину сразу с несколькими вопросами:

— Ты не меня ли ждёшь? Чо, не слышишь, чо говорю? Бытовку вон те припёр, куда её, дуру, ставить прикажешь? Или ты чо — не за начальника? Пропуска проверяешь? Так я не захватил. Потом ещё, гляди, не выпустишь, а?

И он возмутительно, противно заржал, навалясь на открытую дверцу, поставив ногу в валенке на гусеницу. Хозяин на его ржанье и на вопросы не отвечал. И Руслан знал, что и не ответит. Эта привычка хозяев не переставала восхищать Руслана: на вопрос лагерника они отвечали очень не сразу или совсем не отвечали, а только смотрели на него — холодно, светло и насмешливо. И не проходило много времени, прежде чем любитель спрашивать опускал глаза и втягивал голову в плечи, а у иного даже лицо покрывалось испариной. А ведь ничего плохого хозяева ему не причиняли, одно их молчание и взгляд производили такое же действие, как поднесенный к носу кулак или клацанье затвора. Поначалу Руслану казалось, что с этим своим волшебным

умением хозяева так и родились на свет, но позднее он заметил, что друг другу они отвечали охотно, а если спрашивал Главный хозяин, которого они звали «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца», так отвечали очень даже быстро и руки прикладывали к ляжкам. Отсюда он и заподозрил, что хозяев тоже специально учат, как с кем себя вести, — совершенно, как и собак!

— А ты чо такой невесёлый? — спросил водитель. Он не опустил глаза, не втянул голову в плечи, лицо у него не покрылось испариной, а только приняло вид сочувственный. — Жалко, что служба кончилась? И вроде бы жизнь поновой начинай, верно? Ничо, не тужи, пристройшься. Только в деревню не езд, не советую. Слыхал насчёт пленума? Особо не полопаешь.

— Проезжай, — сказал хозяин. — Много разговариваешь.

Однако дороги трактору не уступил. И автомат держал крепко обеими руками у груди.

— Это есть, — согласился водитель, — это за мной числится. Люблю это... языком об зубы почесать. А что делать, ежели чешется?

— Я б те его смазал, — сказал хозяин. — Ружейной смазкой. Он бы не чесался.

Водитель ещё пуще заржал.

— Умрёшь с тобой, вологодский! Ну, однако, красив же ты — с пушкой. Ты хоть на память-то снялся? А то не поверит маруха, не полюбит. Им же, стервям, чтоб пушка была, а человека-то — и не видют.

Хозяин не отвечал ему, и он наконец спохватился:

— Так куда, ты говоришь, её ставить, бытовку-то?

— Где хошь, там и ставь. Мне дело большое!

— Ну, всё же ты тут за начальство...

— На кой ты её пёр? В бараках не поживёте?

— В бараках — не-е! Лучше в палаточках.

Хозяин повёл нетерпеливо плечом.

— Ваши заботы.

Водитель кивнул и, всё ещё сия харей, уселся, потянул к себе дверцу, но тут его взгляд наткнулся на Руслана. Он как бы что-то вспомнил — на лбу отразилась работа мысли, проступила жалостная морщинка.

— А ты чего это — пса в расход пускаешь? Я-то думаю — тренировка у них. Еду, смотрю — чего это он его тренирует, когда уж на пенсию пора? А ты его, значит, к исполнению... А может, не надо? Нам оставишь? Пёс-то — дорогой. Чего-нибудь покараулит, а?

— Покараулит, — сказал хозяин. — Не обрадуешься.

Водитель поглядел на Руслана с уважением.

— А перевоспитать?

— Кого можно, тех уж всех перевоспитали.

— Н-да. — Водитель скорбно покачивал головой и кривился. — Самое тебе, вологодский, хреновое дело доверили — собак стрелять. Ну, порядочки! За службу верную — выходное пособие девять грамм. А почему ж ему одному? Вместе ж служили.

— Ты проедешь? — спросил хозяин.

— Ага, — сказал водитель. — Проеду.

Взгляды их встретились в упор: неподвижный, ледяной — хозяина, бешено-весёлый — водителя. Трактор взревел, окутался чёрными клубами, и хозяин отступил нехотя в сторону. Но трактор выбрал себе другой путь — дёрнувшись, отвернул своё рыло от ворот и пополз наискось целиною, взрыхляя траками Неприкосновенную полосу.

Злоба, мгновенно вспыхнувшая, выбросила Руслана одним прыжком на дорогу. Малиновая краснота вагона и визг полозьев, уминающих рваную грязную колею, привели его в неистовство, но видел он ясно лишь одно — толстый локоть водителя в проёме дверцы; в него жаждалось впитаться, прокусить до кости. Руслан зарычал, завыл, роня слюну, косясь на хозяина моляще — он ждал от него, он выпрашивал «фас». Сейчас прозвучит оно, уже лицо хозяина побелело и зубы стиснулись, сейчас оно послышится — красно вспыхивающее и точно бы не изо рта вылетающее, а из брошенной вперёд руки: «Фас, Руслан! Фас!»

Тогда-то и начинается настоящая Служба. Восторг повиновения, стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону — и враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним вместе падаешь, рычишь неистово над искажённым его лицом, но берёшь

только руку, только правую, где что-нибудь зажато, и держишь её, держишь, слыша, как он кричит и бьётся, и густая тёплая одуряющая влага тебе заливает пасть, — покуда хозяин силою не оттащит за ошейник. Тогда только и почувствуешь все удары и раны, которые сам получил... Давно прошли времена, когда ему за это давали кусочек мяса или сухарик, да он и тогда брал их скорее из вежливости, чем как награду, есть он в такие минуты всё равно не мог. И не было наградою, когда потом, в лагере, перед угрюмым строем, его понукали немножко порвать нарушителя, — ведь тот уже не противился, а только вскрикивал жалко, — и Руслан ему терзал больше одежду, чем тело. Лучшей наградой за Службу была сама Служба — и даже странно, при всём их уме хозяева этого недопонимали, считали должным ещё чем-то поощрить. Где-то на краешке его сознания, в жёлтом тумане, чернело, не стёрлось и то, что хозяин задумал сделать с ним самим, но пусть же оно потом случится, а сначала пусть будет вот эта Служба-награда, пусть ему напоследок скомандуют «фас» — и хватит у него силы и бесстрашия вспрыгнуть на лежащую гусеницу, выволочь врага из кабины, стереть с его наглой хари эту ухмылку, которую не согнал и всевластный взгляд хозяина.

Нетерпение сводило ему челюсти, он мотал головою и скулил, а хозяин всё медлил и не кричал «фас». А в это время делалось ужасное, постыдное, что никак делаться не могло. Сипло урчащее рыло ткнулось в опорный столб, точно понюхало его, и злобно взревело. Оно не двигалось с места, а гусеницы ползли и ползли, и столб скрежетал в ответ; он тужился выстоять, но уже понемногу кренился, натягивая звенящие струны, и вдруг лопнул — с пушечным грохотом. Ему теперь только проволока не давала завалиться совсем, но рыло упрямо лезло вперёд, и проволока, струна за струною, касались снега. Гусеницы подминали её, собирали в жгуты, а потом по ним с визжанием проползли полозья. И когда опять показался столб, то лежал, как человек, упавший навзничь с раскинутыми руками.

Там, в зоне, трактор остановился, теперь уже довольно урча. И водитель вылез поглядеть на содеянное. Он тоже остался доволен и весело прогаркал хозяину:

— Что б ты без меня делал, вологодский! Учись, пока я жив. А ты всё собак стреляешь.

Его грудь, в распахнутом ватнике, была так удобно подставлена для выстрела. Но хозяин уже повесил автомат на сгиб локтя, вытащил из-под шинели свой портсигар, постучал папироской по крышечке. Он посмотрел на рисунок на этой крышечке, который сам же и выколол сапожным шилом, и усмехнулся. Он любил смотреть на свою работу и всегда при этом усмехался чему-то, а когда показывал её другим хозяевам, так те чуть не падали от рёвота. И, пряча портсигар, он с этой же усмешкой смотрел, как трактор прокладывает свой страшный путь ко второму ряду и там опять трудится у столба, который оказался покрепче, так что пришлось его несколько раз бодать с разбега.

Когда и он завалился, хозяин повернулся, наконец, к Руслану — и будто впервые увидел его.

— Ты тут ещё, падло? Я ж те сказал — иди. Кому я сказал? — Он вытянул руку с дымящейся папироской — опять вдоль дороги, к лесам. — И чтоб я тя никогда не видел, понял?

Понять его Руслан не то что не мог, но не согласился бы ни за что на свете. Впервые его не туда посылали, куда следовало немедля кинуться, а совсем в другую сторону. Двухногий приблизился к проволоке, порвал её... и был прошён, когда в других за это палили даже без окрика. И оттого ещё лютее он возненавидел харю-водителя — который наглым своим озорством спас жизнь Руслану, а заодно и другим собакам, ожидавшим своей очереди в кабинах.

Однако Руслан подчинился и пошёл. Он прошёл немного, услышал, что хозяин не идёт за ним, и оглянулся. Хозяин уходил обратно в зону, через проход, проделанный трактором, держа автомат за ремень, так что приклад волочился по снегу. И, глядя на его ссутуленную спину, Руслан почувствовал вдруг, что и автомат, и сам он — больше не нужны хозяину. От отчаяния, от стыда хотелось ему упасть задом в снег, задрать голову к изжелта-серому солнцу и извить ему свою тоску, которой предела не было. Ещё худшим, чем он всегда страшился, оказался конец его службы: его затем вывели за проволоку, чтобы прогнать совсем, предоставить ему побираться с шелудивыми дворнягами, которых презирал он всей

душой и едва ли за собак считал. Но почему же это? За что? Ведь не совершил он такого поступка, за который бы полагалась эта особенная, невиданная кара!

Но приказ хозяина был всё же приказом, хотя и последним, поэтому Руслан побежал один по белой дороге к тёмному иззубренному горизонту.

Он знал, что будет бежать по этой дороге долго-долго, — может быть, целый день, — всё через лес и лес, а в сумерках увидит с высокого холма, сквозь деревья, россыпь огней посёлка. Там будут дощатые тротуары, смолисто пахнущие сквозь снег, и глухие заборы, высотой с барьер на учебной площадке, будет пахнуть дымом и вкусно от приземистых домишек, из которых сквозь толстые ставни едва пробивается в щёлочки свет, а дальше запахнет другим дымом и поездами, и наконец он выбежит прямо к круглому скверику перед станцией. В этом скверике тоже есть нечто, знакомое ему, виденное на учебной площадке, — два неживых человечка, цвета алюминиевой миски, зачем-то забралась на тумбы и вот что изображают: один, без шапки, вытянул руку вперёд и раскрыл рот, как будто бросил палку и сейчас командует «апорт!», другой же, в фуражке, никуда не показывает, а заложил руку за борт мундира — всем видом давая понять, что апорт следует принести ему.

А ещё там будет широкая платформа, совсем крайняя, на которую можно вспрыгнуть с земли. Длинные ленты рельсов, изгибаясь, сплетаясь, текут мимо, днём иной раз голубые, а вечером — розовые. Но те рельсы, что возле самой платформы, всегда ржавые и сразу же за нею кончаются; загнутыми кверху концами они поддерживают чёрный брус с фонарём, всегда загорающимся красно, когда подходит тот самый поезд, которого ждали. Он может быть зелёный, с косями решётками на окнах, а бывает и красный, совсем заколоченный, без единой щёлочки. Здесь кончалась дорога Руслана — единственная, которую он знал.

Он бежал мерной, неспешной рысью, но вдруг, спохватясь, припустил вовсю. Он догадался, зачем посылали его. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарь и в знакомый тупик медленно втянется поезд с беглецами.

2

Утром другого дня путейцы на станции наблюдали картину, которая, верно, поразила бы их, не зная они её настоящего смысла. Десятка два собак собрались на платформе тупика, расхаживали по ней или сидели, дружно облаивая пронесившиеся поезда; в их голосах явственно слышался изрядной толщины металл. Были эти собаки почти одного окраса: с чёрным ремнём по спине, делящим широкий лоб надвое, отчего выглядел он угрюмым, короткость ушей и морды ещё добавляла свирепости; стальной цвет боков постепенно менялся — от сизо-воронёного к ржавчине, к апельсинно-оранжевому калению, а на животе вислая шерсть отливала оттенком, который хотелось назвать «цвет зари». Светились зарёю пушистый воротник на горле, тяжёлое полукольцо хвоста и крупные мускулистые лапы. Звери были красивы, были достойны, чтоб ими любовались не издали, но взойти на платформу к ним никто не отважился, здешние люди знали — сойти с неё будет много сложнее.

Проходили часы, и проносились поезда — красные товарняки и зелёные экспрессы; голоса у собак скудели, металл заметно терял в толщине, а в сумерках сделался тоньше жести. Всё меньше собаки расхаживали, всё больше присаживались и прилегали, тупо уставясь в розовеющие полосы рельсов. Пробыв на платформе до темноты и своего не дождавшись, они сгрудились в стаю, дружно сошли наземь и разбрелись по улицам посёлка.

Повторялось это и в следующие дни, но внимательный наблюдатель мог заметить, что раз от разу собак приходило всё меньше и уходили они быстрее, а в металле появилась надтреснутость. Вскоре он и совсем умолк, пятеро или шестеро собак, не изменивших своему расписанию, никого уже не облаивали и не обскуливали, лишь покорно отсидивали свои часы.

В самом посёлке их появление вызвало поначалу тревогу. Слишком уж рьяно прочёсывали они улицы, пронсясь по ним аллюром, — с вываленными из разверстых пастей лиловыми дымящимися языками. Однако ни разу они никого не

тронули. А вскоре увидели, как они собираются словно бы для каких-то своих совещаний, часто оглядываясь через плечо и не допуская в свой круг посторонних. Своя была у них жизнь, а в чужую они не вторгались. Не замечали детей и женщин, подчас ненароком задевая их на бегу — и удивляясь передвижению в пространстве странного предмета. Привлекали их внимание одни мужчины, и тут избрали они себе, наконец, определённое занятие — сопровождать мужчин в разнообразных хождениях: в гости, в магазин или на работу. Завидев прохожего и установив ещё за квартал его принадлежность к сильному полу, та или иная отделялась от стаи и пристраивалась к нему — слегка поодаль и позади. Проводив до места — возвращалась, ничего себе не выпросив. Когда же ей что-нибудь бросали съестного, собака рычала и отворачивалась, глотая судорожно слюну. Никто не знал, чем они живы, в эту свою заботу они тоже никого не посвящали. Было от них, правда, единственное беспокойство: они не любили, когда собиралось вместе более трёх мужчин. Но трое — как раз законная норма на Руси, а в морозную зиму и не частая. И понемногу к собакам привыкли. Привыкли, наверное, и они к посёлку, по крайней мере, не собирались отсюда уходить.

Не мог привыкнуть один Руслан, да у него и времени не было для этого. Каждое утро он отправлялся по белой дороге к лагерю и часами сидел у проволоки. Он много важного имел сообщить хозяину: что поезд ещё не пришёл, но когда придёт, то не будет не встречен, кто-нибудь из собак обязательно там караулит; что, в общем, пока устроились на первое время и живут дружно, ну и ещё кое-чего по мелочи. Как он это сообщит — Руслана не заботило, он просто о том не задумывался, всегда как-нибудь да сообщал, а хозяин как-нибудь да ухватывал. Заботило и грусть наводило другое — то, что теперь творилось в зоне. Уже повалены были многие столбы, а меж неповаленными зияли в проволоке огромные безобразные проходы и лазы, а возле барачных жгли костры какие-то непонятные прищельцы. Они здесь сбрасывали кирпичи с грузовиков и складывали в штабеля, но всем этим занимались между прочим, а больше любили побороться на снегу, перекурить часик-другой или попеть хором, сидючи

рядком на брёвнах — поди-ка, на тех же священных столбах! С особенным же удовольствием обыскивали женщин, похлопывая их по штанам или по груди, а те при этом шмоне хохотали или визжали как резаные. Слишком всё это было непохоже на прежнюю жизнь прежних лагерников, и к тем беглецам чувствовал Руслан всёвозрастающую нежность. Пожалуй, он бы простил их глупый побег, только б они вернулись и снова стали в красивые стройные колонны, с хозяйками и собаками по бокам.

Очень хотелось ему войти в зону и хорошенько облаять пришлых — пусть помнят, что лагерь не им принадлежит, и нечего устанавливать свои порядки. Но заходить за проволоку ему запретил хозяин, и только он мог снять свой запрет. Однако сумерки наступали, а хозяин не появлялся. Ни разу Руслан не напал на его след, не почуял любимый мужественный запах — ружейной смазки и табака, сильной, хорошо промытой молодости. Так, впрочем, пахло от всех хозяев, но Русланов ещё любил душиться одеколоном, который он покупал в офицерском ларьке, и, кроме того, целый букет принадлежал ему одному, его *характеру*, а Руслан знал хорошо, что люди точно так же отличаются друг от друга характерами, как и собаки. Потому-то и пахнет от всех по-разному, внюхайся — и не останется никакой загадки. К примеру, его хозяин — судя по этому букету, — может быть, и не слишком храбр, но зато он не знает жалости; он, может быть, не чересчур умён, но зато он никогда никому не доверяет; его, быть может, не так уж и любят его друзья, но зато он застрелит любого из них, если понадобится для Службы. И, всё это зная про хозяина, Руслан себе живо представлял, каково ему там, среди чужих, как он всех подозревает и ненавидит и весь занят мыслями, как ему вернуть беглецов и наказать других хозяев, позволивших им убежать. А в это время — единственный, кто ему во всём поможет, сидит совсем рядом и ждёт только, чтоб его позвали! В представлении Руслана хозяин был велик, всемогущ, наделён редкостными достоинствами и лишь одной слабостью — он постоянно нуждался в помощи Руслана. Когда бы не так — стоило ли прибегать сюда каждый день, коченеть на морозе часами и терзаться голодом?

Ведь с того утра — накормленный в последний раз — он мало чего раздобыл себе поесть. В брюхе у него горело, тошнота изнуряла до одури, и всё труднее было одолевать эту дорогу — туда и обратно. И всё же он ни разу не взял из чужих рук, не подобрал ничего с земли.

Тайный и ненавистный враг поставил на его пути булочную — здесь пробивался Руслан сквозь вязкое, тормозящее бег, пьянящее облако, изливавшееся из дверей при каждом взмахе. Однажды из этих дверей вышла женщина и кинула ему довесок, и Руслан как будто напоролся грудью на преграду. Едва хватило у него сил отвернуться и зарычать.

— На спор: не возьмёт, — сказал женщине вышедший с нею мужчина. — Это ж лагерная, они специально занятия проходили.

— Что же она, отравы боится? Но я же вот ем — и ничего! — С выражением умильно ласковым она отщипнула от тёплого каравая и сжевала, чмокая. — Видишь, собаченька, жива-здорова. Какая ж ты глупая!

Руслан равнодушно смотрел в сторону. Эти штуки он тоже знал: сами откусывают и им ничего, знают, с какого края, а у тебя потом пламя разгорается в пасти и всё брюхо выворачивает.

— На спор, — сказал мужчина.

Подобравши довесок, он поднёс его со злорадством к самому носу Руслана. Глупый мучитель, ему в голову не пришло, что если собака у женщины не взяла, существа безразличного, так у него и подавно. Он только вызвал подозрение. Руслан проводил его до дому — и запомнил этот дом.

Помогло неожиданное, все годы дремавшее в Руслане, а теперь пробудившееся представление, что еда — для него безопасная — должна быть живой. Бегающая, прыгающая, летающая, не могла же она быть кем-то подброшенной ему нарочно и, наверное, отравленной быть не могла — иначе б её саму измучила отравка. А с давних дней погонь остались в нём воспоминания о каких-то посторонних следах в лесу, окровавленных перьях, клочках шкуры, костях — остатках чьей-то живой добычи. В первый же свой поход он проверил себя — и не обманулся. Он свернул с дороги, углубился в лес и через минуту стал охотником. Как будто всю жизнь

только тем и занимался, он сразу научился разнюхивать подснежные ходы лесных мышей и пробивать снег лапой как раз в том месте, где мышь пробежала или затаилась. Скучная охота не утолила голода, но успокоила, вселила надежды. И помогла вернуться к своим обязанностям.

В остальном же было — прескверно. И как ещё может быть собаке, привыкшей спать в тепле на чистой подстилке, привыкшей, что её мыли и вычёсывали, подстригали когти, смазывали ранки и ссадины, — лишась всего этого, она быстро доходит до того предела, до которого не опустится и бродяга, бездомный от рождения. Бродяга себе не позволит спать посреди улицы, да ещё под колесом стоящего грузовика — Руслан именно так спал, и чудом его не раздавили. Бродяга избежит греться на кучах паровозного шлака — Руслан это делал сдуру, и в несколько дней свалялась, полезла его густая шерсть, надёжнейшая защита от холода, а лапы покрылись расчёсами и порезами. Он с каждым днём обтрёпывался, тощал, себе самому делался противен. Но глаза горели всё ярче — неугасимым жёлтым огнём исступления. И каждое утро, проверив караул на платформе, он убегал к лагерю.

За всё время никто из собак не бегал с ним. Ещё в первый день, выпущенные из кабин, они обшарили всю зону и лагерь и поняли, что хозяйева давно отсюда ушли и что одна надежда их увидеть — отправиться по цепочке Руслановых следов, которая и привела к платформе. Руслан оказался счастливее, его хозяин ещё оставался в зоне, и чувствовалось это не нюхом даже, а сверхчутьём, верою необъяснимой, но и не обманывающей — как и представление о живой добыче.

Что станется, если и он уедет, Руслан даже думать боялся. Тогда, наверное, незачем станет жить. Потому что всё, в общем-то, складывалось скверно. Да, служба несётся, голод ещё не заставил собак забыть о ней, но с некоторых пор при встречах с ними замечает Руслан — они его сторонятся, воротят угрюмые морды, а когда он приближается к стае — тут же расходятся. К тому же иным удаётся и выглядеть не такими отощавшими, как он, — небось, не побрезговали падалью или помойкой, а может быть, — но как ужасно это заподозрить! — уже кое-кем совершён величайший

грех: напросились на другую службу, во дворы, и были приняты, и берут теперь спокойно — из чужих рук! Но разве забыли они, разве не учили их: сегодня не отравили — отравят завтра, но отравят непременно!

И подозрения его подтверждались. Как-то он встретил Альму, они столкнулись нос к носу на углу двух заборов, и оба растерялись от этой встречи. Он не ждал увидеть её такой сытой, холёной, весёлой, переполненной какими-то своими радостями. Ему вспомнилось, кстати, что она давно уже не появлялась на платформе. Альма тоже была поражена, но тут же сделала вид, что не знает такого. А следом выскочил из ворот кривоногий гладкий кобель, угольно-чёрный и с белыми надглазьями, и побежал с нею рядышком по улице. И Альма ему, уроду, позволяла покусывать её в плечо. Должно быть, она что-то сообщила ему на бегу — кобель обернулся к Руслану толстой отвратной мордой и нагло ощерился. Это он угрожал — находясь на приличном расстоянии и под защитой своей же подруги! Руслан отвернулся с презрением и побрёл своим путём.

Альма его не признала! А не дальше как позапрошлой весной хозяева сводили их вместе в углу двора, освободив от всякой службы — ради той особой, которой они придавали большое значение. На это время даже клички у него с нею переменялись, хозяева их звали Жених и Невеста. Что вышло из этой службы, он никогда не узнал и долго потом не видел Альму, но совместное задание сблизило их необычайно; встречаясь после этого на большой Службе, они тянулись друг к другу, сколько позволяли поводки, и всячески выказывали расположение и приязнь. Он надеялся, что скоро их опять сведут вместе, но хозяева решили иначе: привезли ей откуда-то другого пса. Кажется, впервые в жизни Руслану хотелось себе подобного загрызть до смерти, но с тем псом он так и не встретился, даже имени его не узнал.

А с этим шпаком белоглазым и связываться не стоило, до того всё выглядело жалко и противно.

В другой раз он напал на след Джульбарса, старейшего в их стае. След привёл в сырую вонючую подворотню и дальше во двор, завешанный бельём и заваленный дровами. Здесь Руслан просто оторопел, увидев Джульбарса лежащим на

грязном половике, возле поленницы дров, — с таким видом, будто он охранял её! С точки зрения Руслана, охранять эту дурацкую поленницу было то же, что охранять воду в реке или небо над головою; она не представляла никакой ценности, ценность могли представлять только люди. И хоть бы он просто дрых у поленницы, но этот свирепейший из свирепых, этот пёс-громилла, с распаханной шрамами мордой, ещё и вилял хвостом, угодливо осклабясь. Кой там вилял! — просто лупил по дровам в припадке подхалимажа. И кому же предназначались его восторги? Какому-то заморышу в белой овчинке без рукавов, который там с чем-то возился около сарайчика, с машинёнкою о двух колёсах. От неё и машиной-то не пахло, гадостью какой-то — чуть-чуть бензина и масляная гарь. И скорее этого недокормыша с впалыми щеками можно было за лагерника признать, и то — хорошенько обвыкшегося в зоне, но уж никак — за хозяина!

А знать бы и недокормышу, что за подарочек Джульбарс, ему бы не с машинёнкой возиться, а побыстрее лом в руки. Он кусал кого ни попадя, хоть своих же собак, хоть лагерников, он день считал пропащим, если кому-нибудь не пустил кровь. Стоило человеку не то что шагнуть из строя, а оступить, шатнуться от усталости, — собака же различает, когда нарушение неумышленное, — Джульбарс его тут же хватал, даже не зарывав предупредительно. Заветная была у него мечта — покусать собственного хозяина, и он таки её осуществил — придравшись, что тот ему наступил на лапу. Момент был серьёзный, все собаки ждали, что наконец-то эту сволочь отправят к Рексу, да и сам Джульбарс на лучшее не надеялся, но надо признать, повёл себя удивительно: когда хозяин наутро пришёл к нему, весь перебинтованный, Джульбарс его поприветствовал как ни в чём не бывало и прошёлся туда-сюда по кабине, показывая, как он ужасно хромает. И всё ему сошло, даже заработал три дня отдыха. Должно быть, хозяева сочли его правым или уж таким ценным, что без него Служба развалится. Ведь он всем собакам был пример: неизменный «отличник по злобе», «отличник по недоверию к посторонним». Кто б заподозрил, что он и повилять умеет чужому!

Руслан подошёл и лёг напротив отступника, глядя ему в глаза неистовым взглядом. Джульбарс, хоть и застигнутый врасплох, не слишком, однако, смутился. Разика два он ещё лупанул по дровам и зевнул, показав бугристое чёрное небо — предмет гордости, знак неутомимого кусака и бойца. Зевнул в такую сласть, что даже слёзы выступили на его кабаньих глазках, из коих один по причине шрама открывался не полностью, а покуда смыкал челюсти да склеивал чёрно-лиловые губы, его перепаханная морда успела состроиться в гримасу сострадания. Удручало его — состояние товарища, немощь тела, растерзанность души.

«И чего психовать-то? — спрашивал взгляд отступника. — Жить же надо, старик. Думаешь, неохота мне ляжку этому хиляку обработать? Так ведь жрать не даст, прогонит. Тут тебе не зона, где выдай, что положено, не повиляешь — не съешь».

«И это теперь твоя служба?» — спрашивал неистовый.

«Э, святого не трогай! На службу-то я как штык являюсь».

И его правда была, на платформу он приходил, и по два раза на дню. И как не прийти, когда клыки чешутся. Если бы поезд пришёл, то-то б им было работы!

«А ежели честно, — отступник уже наступал, — то где она, твоя служба? Кто нас на неё посылал? И почём знаешь — может, она вообще не вернётся?»

И теперь отступал неистовый:

«Как это может быть? Она вернётся! И тогда не простят таким, как ты».

«А вот уж не беспокойтесь! Первыми позовут. Потому что когда она будет, ты-то уже околеешь. А и выживешь — так сил не останется служить. А я, погляди-ка, псина в порядке, в мясе, в теле!»

Неистовый закрыл глаза. Не было у него сил долее препираться. И странно, он почувствовал правоту отступника — может быть, и спасительную для всех. Ведь помнилось, как этот же изменник однажды всех выручил, от смерти спас... Руслан встал и побрёл со двора. А в подворотне оглянулся на новый стук: намозоливши себе хвост дровами, «отличник по злобе и недоверию» трудился теперь на мягком половике. Перешагнув высокий порог калитки, неистовый

брезгливо отряхнул лапу. И не знал Руслан, — а мы, грамотные, знаем ли? — что наше первое движение к гибели всегда бывает брезгливо перешагивающим через какой-то порог.

В этот день он многое ещё узнал, чего бы лучше не знать. Да, попросились уже во дворы — почти все, — и были приняты и накормлены, а до следующей кормёжки успели показать, что умеют. Начали с курятников, это попроще, а кто и с живности покрупнее. Дик, успевший половину кабанчика сожрать, пока не застигли, теперь хранит отметину от железного шкворня — на морде, где её и не залижешь как следует. Курок сам себя наказал: таща с плиты мясо, прямо из кипящей кастрюли, опрокинул её на себя — полголовы и грудь остались без шерсти, таким его и прогнали за ворота. Затвору, правда, удалось бежать с гусем в зубах, а как вернуться теперь, когда новый хозяин ему издает показывает кочергу? В одном дворе, где всех собак привечают, кто ни попросится, взяли сразу двоих — Эру и Гильзу, так эти неразлучницы с того начали, что разодрались меж собою из-за кобелька, равно притязавшего на обеих, а помирившись, дружно его загрызли — только что не до смерти, едва успели у них отнять. Тоже выгнаны. А кто не выгнан — потому что не приняли или не попросился? Гром, решивший своим путём идти в жизни, пришёл к помойке у станционного буфета, нажрался тухлятины — и теперь, безгласный, смёрзшийся, лежит в яме неподалёку, политый извёсткой. Глупая Аза придумала кошек промышлять — грех невелик, Руслан бы ей и простил его, сам отведавший мышатины, но никакого же опыта работы с кошками, не знала даже, что эту тварь ни в коем случае нельзя в угол загонять, — да никого нельзя! — и кошачья лапка вмиг ей съездила по глазам. Кошку она задавила, но глаз вытек, а другой гноится, еле она им видит, с ума сходит от боли. Скверно, всё скверно! И не то особенно худо, что устали ждать. Устали — верить.

Оглушённый, раздавленный всеми этими несчастьями, он лежал, вытянувшись поперёк тротуара, закрыв глаза. Проходим он казался околевающим; в таких случаях человечество разделяется на два потока — одни тебя обходят с опасливым состраданием, другие же, сердцем покрепче, просто

перешагивают. Он не замечал ни тех, ни других, прислушиваясь к боли, жёгшей ему брюхо и дёсны, натёртые снегом. В последнее время он часто ел снег — от жажды и от голодной тошноты. Вдруг он вспомнил, что сегодня не бегал к лагерю. И страшно ему стало, что он только сейчас это вспомнил, а перед этим надолго упустил, — страшно, как перед неведомым наказанием. Голод повредил его память. Он силился услышать запах того человека, что совал ему довесок, а слышал лишь запах хлеба. И видел только хлеб — сквозь сомкнутые веки. А когда захотел свой дом увидеть — всплыла сахарная косточка, оставшаяся в кормушке, и с нею рядом — размокший жёлтый окурочок. Но это и подняло его с тротуара.

«Всё-таки надо сбегать, — подумал Руслан. — Так много накопилось сообщить хозяину!» Ужас как не хотелось ему отправляться в далёкий путь — уже близились сумерки, а возвращаться предстояло совсем в темноте или ещё хуже — при луне. В темноте он почти ничего не видел, а лунный свет его чуть с ума не сводил, пробуждая неясные скорбные предчувствия. В этом смысле Руслан был вполне обычным псом, законным сыном той первородной Собаки, которую этот страх перед темнотой и ненависть к луне пригнали к пещерному костру Человека и вынудили заменить свободу верностью. Чтобы взбодриться, Руслан стал думать о косточке, которую, может быть, не выбросил хозяин, а приберёт для него, — но в это как-то слабо верилось, так не бывало ещё, чтобы кусок, который ты сразу не спрятал, к тебе же опять вернулся. И он задумался о грехе, о том, что забыл свои обязанности, — вот пусть проклятая луна и будет ему наказанием! Ведь всякий грех наказывается, даже самая малость, это он хорошо усвоил за свой собачий век — и не видел исключений.

Кончилась главная улица посёлка, глухие её заборы и слепенькие окошки, для чего угодно прорубленные, только не затем, чтобы из них смотреть. Здесь остановило Руслана какое-то воспоминание — о чём-то недавнем, но уже успевшем расплыться в памяти. А между тем оно не пускало его дальше и наполняло неясным предчувствием, — но не скорбным, а радостным. Он заскулил, завертелся на месте, как

щенок, впервые увидевший собственный хвост, и вдруг замер, широко расставив лапы. Постояв так несколько мгновений, он опустил голову и медленно побрёл обратно, веря себе и не веря.

Вот оно, это место, мимо которого так поспешно он пробежал, занятый своими мыслями. Это, правда, на другой стороне улицы, но хозяина-то можно было учуять! Его, оказывается, привезли на машине, — чёрт бы пожрал эту резину, чёрт бы выпил этот бензин! — но вот здесь он спрыгнул и потоптался, пока ему подали чемодан и мешок. Ну, что в чемодане, того не разнюхаешь, какой-то он дрянью оклеен, а в мешке — стираное бельё и мыло (сиреневое, из офицерского ларька), и ещё вазелин, которым смазывают консервные банки. А здесь он закурил, спичка ещё пахнет дымом и его руками, потом взял чемодан и вскинул мешок на плечо — всё исчезло, остался только след хозяина, чётко впечатанный в снег. Тут уж не спутаешь! У него немножко кривые ноги и, пожалуй, коротковатые для его роста, зато ступает он твёрдо, всей подошвой сразу, как будто несёт тяжёлый груз. На нём сегодня праздничные, кожаные сапоги — такие, правда, у всех хозяев есть, но ведь под сапоги наматываются портянки, а они (как мы уже выяснили) пахнут его характером. И важно, что след не петляет среди других, — хозяин вообще петлять не любит, — всё прямо, ни одного отклонения в сторону.

Теперь прохожие шарахались от Руслана; они его, охваченного любовью, принимали за бешеного, с цепи сорвавшегося, и впрямь был он страшен — отощавший до рёбер, с жёлтой пеленой в глазах, мчащийся с хрипом и со звяканьем болтающегося ошейника, — страшен был и его бег по прямой, к неведомой для них цели. У станции путь ему преградил медленно разворачивающийся грузовик; Руслан проскочил под ним, ударившись спиной, но след заставил его забыть о боли и повлёк дальше, в тепло раскрытых дверей, в шумную надышанную залу. И здесь, на слякотном полу, среди пропотевших валенок, гнилой мешковины, сырмяти ремней, плевательниц с вымокшими окурками, среди нечистых истомившихся тел, — оборвалась ниточка, продетая в его ноздри, за которой он бежал, как бык за своим кольцом.

Тщетно он пытался почувствовать её спасительную резь, её натяжение, — тут ещё и едой пахло, от её пряных паров он совсем ошалел. Но вдруг он услышал — голос хозяина, неповторимый, божественный голос, который не звал его, но звучал где-то рядом, и кинулся туда — не обходами, а напрямик, через скамьи и чьи-то мешки, готовый любого похватать, кто б его не пустил к хозяину.

Однако ему пришлось справиться со своей радостью. Ворвавшись в буфет, он только хотел пролаять: «Я здесь! Вот она!» — как увидел, что хозяин сидит за столиком не один, а с кем-то ещё беседует, и подойти не решился. Став робко у стенки, он разглядывал хозяина и его собеседника — суетливого человечка с розовой вспотевшей лысиной, в сильно потёртом пальто и раскиданном по груди косматом зелёном шарфе, который то ли рубашку грязную прикрывал, то ли её отсутствие. Руслан разглядывал их обоих сравнительно, и сравнение вышло в пользу хозяина — молодого, сильного, статного, совершенно чудесного хозяина. Он бы ещё чудеснее выглядел, если б не забыл надеть погоны и не сидел бы с расстёгнутым воротом и закатанными рукавами. Но лицо его всё равно было прекрасное, божественное, с прекрасными, божественными глазами-плошками, и он прекрасно, божественно держался. А его собеседник был просто отвратителен — с этими слезящимися глазками, с дурацкой манерой беспричинно хихикать и чесать при этом всей пятернёй небритую щеку. От них, правда, от обоих пахивало не очень приятно, даже скорее омерзительно, и источником этой мерзости, как Руслан заподозрил, был графинчик с прозрачной, бесцветной, как вода, жидкостью, — но, сделав некоторое усилие, он нашёл, что от хозяина пахнет гораздо меньше, совсем чуть-чуть, просто даже почти нисколько не пахнет, а вот уж от Потёртого — разит невыносимо. Потёртый уже тем не понравился Руслану, что при нём нельзя было кинуться к хозяину, но особенно тем, что он разговаривал с хозяином странно небрежно, не опустив глаз, даже с какой-то не скрытой усмешкой. Как тот водитель трактора.

— А ты, гляжу, попризадержался, сержант, — говорил Потёртый. — Ваши-то когда подмётки смазали!

Всё время он называл хозяина Сержант, тогда как на самом деле его звали Ефрейтор, и странно, что хозяину это новое имя больше нравилось. Руслану оно не нравилось совершенно. Он любил имена, где слышалось «Р», он и своё любил за то, что оно с «Р» начиналось, так ведь в Ефрейторе их было целых два, и так они оба славно рычали, а в Сержанте и одно-то еле слышалось.

Хозяин отвечал не сразу, он два дела не любил делать одновременно, а прежде dokonчил разливать из графинчика в стопки — сначала себе, а потом Потёртому.

— Значит, надо, ежели задержался.

— Ну, ты не говори, коли секрет.

— Зачем «секрет»? Теперь уже — не секрет. Архив охранял.

— Архи-ив? — тянул Потёртый. — Наш-то? А как же теперь он, без охраны, остался?

— Не остался, не бойсь. Опечатали да увезли.

— Понятное дело. А на кой это, сержант?

— Чего «на кой»?

— Да вот — охранять, опечатывать. Сожгли б его в печке — и вся любовь. Опять же, и все секреты там, в печке. Зола — и только.

Хозяин смотрел на него с сожалением.

— Ты чо, маленький? Или так — из ума выжил? Не знаешь, что он — вечного хранения?

— Вечного ж ничего не бывает, сержант. Ты же умный человек.

Хозяин вздохнул и взялся за свою стопку. Тотчас и Потёртый схватился за свою, он только того и ждал.

— Ну, будем, — сказал хозяин.

Потёртый к нему потянулся со стопкой, но хозяин его опередил, поднявши свою чуть выше, чем они могли бы столкнуться, и быстро опрокинул в рот. Медленно убрал руку и выпил Потёртый. Затем они отхлебнули жёлтенького из кружек и затыкали вилками в еду. Руслан глотал слюну и не мог себя заставить отвернуться.

— Всё же ты мне не ответил, сержант, — напомнил Потёртый.

Хозяин опять вздохнул.

— Что те отвечать, с тобой же — как с умным, а ты детством занимаешься. Ну, какой те пример привести, чтоб те понятней? Видал ты — пионеры жучков собирают, бабочек там всяких? Поймают — и на иголочку, а на бумажке — запишут. Вот те пример: вечное хранение.

— Да какое ж оно «вечное»? Через год от этого жучка пыль останется. Ну, через десять.

— Не пы-ыль! — Хозяин поднял палец. — На бумажке же всё про него записано. Значит, он есть. Вроде его нету, а он — есть!

Руслан поглядел на Потёртого с укоризной. Палец хозяина должен был, кажется, убедить его, а он всё посмеивался и почёсывал щеку.

— Это мы, значит, жучки?

— Те же самые, — сказал хозяин. Обхватив себя за локти, он налёг на столик и смотрел на собеседника с ласковой улыбкой. — Вот вы разлетелись, размахались крылышками, кто куда, а все — там остались. В любой час можно каждого поднять, полное мнение составить. У кого чего за душой, и кто куда повернёт, если что. Всё заранее известно.

— Так мы ж вроде невиновные оказались...

— Так считаешь? Ну, считай. А я б те по-другому советовал считать. Что ты — временно освобождённый. Понял? Временно тебе свободу доверили. Между прочим, больше ценить будешь. Потому что — я ж вижу, на что ты свою свободу тратишь. По кабакам ошиваисси, пить полюбил. А в лагере ты как стёклышко был и печёнка в порядке. Верно?

— Да вроде, — как будто согласился Потёртый. — Ну, так тем более — чего про нас-то интересно знать? Из нас уж труха сыпется. А вот их возьми, — он кивнул через плечо на сидевших за другими двумя столиками, — что тебе про них известно?

— Не бойсь, и их возьмут, если надо. Про них тоже кой-чего записано.

Потёртый тоже налёг на столик, и они долго смотрели в глаза друг другу, добро посмеиваясь.

— Между прочим, — сказал Потёртый, — заметил я, сержант, палец у тебя — дёргается. Руки дёргаются — поболее, чем у меня. Весь ты дёрганный, брат. Тоже это — навечно, а?

Хозяин посуровел, убрал руки со столика и взялся за графинчик. Разлил из него поровну и подержал горлышко над стопкой Потёртого, чтоб последние капли стекли ему. Потёртый следил за его рукою. Хозяин это заметил и потряс графинчиком — хоть ничего уже и не вытряс.

Они опять выпили, отхлебнули жёлтенького, после чего подобрали друг к другу, и Потёртому, верно, уже неловко было за свой вопрос.

— Но ты ж не скажешь, что я живоглот был, — сказал хозяин. — Тебя, например, я хоть раз тронул?

— Меня — нет.

— Вот. Потому что ты главное осознал. Раз на тебя родина обиделась — значит, у ней основания были. Зря — не обижается. А раз ты осознал — всё, для меня закон, ты — человек, и я к тебе — человек. Ну, прикажут тебя тронуть — другое дело, я присягу давал или не давал? Но без приказа... Ты меня понимаешь?

— Я тебя, брат, понимаю.

— И хорошо. А на этих — мы клали, они этого никогда не осознают. И нас с тобой не поймут. А мы друг друга — всегда, верно? Вот я почему с тобой сижу.

Потёртый наконец-то не выдержал хозяева взгляда или устал пререкаться, но опустил глаза. Устал и Руслан ждать, когда на него обратят внимание в шуме и толчее буфета. Входящие и выходящие задевали его, он сиротливо прижимался к стене — покуда не сообразил, чем себя занять и быть полезным хозяину: охранять его чемодан и мешок и брошенную на них шинель. Мягко упрекнув хозяина в душе — за неосмотрительность, он важно разлётся подле, занял ту позицию, которая внушает нам уважение к четверолапому часовому и не позволяет не то что задеть его, но подойти ближе, чем на шаг. И тем ещё хороша была позиция, что позволяла спокойно любоваться лицом хозяина. Его чуть портили капельки, выступившие на лбу и на верхней губе, но всё равно оно было прекрасное, божественное!

Руслан давно заметил, что лица хозяев, самые разные, чем-то, однако, схожи. Лицо могло быть широким или узким, могло быть бледным, а могло и смуглым, но непременно оно имело твёрдый и чуть раздвоенный подбородок, плотно

сжатые губы, скулы — жёстко обтянутые, а глаза — честные и пронзительные, про которые трудно понять, гневаются они или смеются, но умеющие подолгу смотреть в упор и повелевать без слов. Такие лица могли принадлежать только высшей породе двуногих, самой умной, бесценной, редчайшей породе, — но вот что хотелось бы знать: эти лица специально отбирает для себя Служба или же она сама их такими делает? С собаками было проще: чёрный Тобик с белым ушком, прижившийся около кухни, тоже как будто служил, иначе б его кормить не стали, но за всё время таинственной своей службы и на вершок не прибавил в росте, не изменил окраса, да и характера не изменил — всё таким же оставался попрошайкой и пустобрёхом; он даже на мух лалял, а лагерникам — которые только и мечтали изловить его да зажарить на костерке — через проволоку посылал приветы хвостом. Собак, ясное дело, отбирают, всех ведь их, караульных, не с улицы позвали, привезли из питомников, а как с хозяевами — оставалось загадкой. Но в одном Руслан не сомневался: с таким лицом хозяин мог бы не тратить на Потёртого столько слов, а тому давно уже следовало встать руки по швам и отправиться на работу.

— Куда путь держишь, сержант? — опять заговорил Потёртый. — В город какой или же к себе, в деревню?

— Домой, — отвечал хозяин как бы в раздумье. — В городе-то чо хорошего? И отдохнуть охота.

— Это понятно. Ну, а делом каким?.. Ты уж, поди, позабыл, как и вилы держат.

— На кой мне вилы? Я свои вилы подержал, семидесятидвухзарядные. Считай, полтора твоих срока оттрубил, так мне за это пенсия — как у полярного лётчика. Который мильон километров налетал.

— Это хорошо. Да денежки-то не лечат. Я б на твоём месте только б сейчас и уродовался. Живо помогает.

Хозяин уставился на него неподвижным взглядом.

— Я думал, мы об этом договорились. И кончили. А ты, значит, так: сидишь со мной и подкальываешь? Это — неуважение называется.

— Тебя-то не уважать, сержант! — засмеялся Потёртый. — Да чему ж меня столько годков учили? Ну, не огор-

чайся, воскреснешь ещё душой. Молодость, вся жизнь впереди!

И с этими словами он выкинул штуку, которая могла бы ему стоить жизни: перегнулся через столик и хлопнул хозяйина по плечу.

Руслан вскочил и кинулся — стремительно, почти бесшумно, только шваркнув когтями об пол.

Мгновенно обернувшись, хозяин успел опередить его, выбросив навстречу кулак. Удар пришёлся в челюсть и задел по носу. Руслан едва не покатился с воем, но устоял, не показал врагу, как ему больно, а зарычал грозно в его сторону, почти не видя его из-за слёз.

— Бох ты мой, — удивился хозяин. — Это ты, падло? Что, по буфетам уже промышляешь?

Руслан, всё ещё ворча, потёрся носом об его колено, стало полегче, а когда погладил хозяин, то и совсем прошло.

— Твой такой? — спросил Потёртый. Он даже не успел испугаться.

— Какой «такой»? Обидчивый? Это точно, мы друг дружку в обиду не даём. Правда, Руслаша? Так бы мы этого ухайдакали — будь здоров!

Все в буфете смотрели на Руслана, как будто фокуса от него ждали. А может быть, он всё ещё был красив, и просто любовались им, как в прежние дни, когда хозяин им гордился. Однако ж буфетчице чем-то он не понравился.

— Гражданин, — заявила она хозяину из полутёмного, плотно накуренного угла, — вы бы вашу собаку страшную увели куда-нибудь, тут всё-таки не зона. А буфет всё-таки. В общественных местах намордник полагается.

— Это зачем? — Хозяин улыбнулся ей. — Он его сроду не носил, так обходился. А ты — возьми его себе, хозяйка. Что плечья пожимаешь? Он те свой харч отработает, ревизора на порог не пустит.

— Мне ревизора бояться нечего. А вас я, учтите, на полном официальном предупредила. Покусает — штраф будете платить. И за уколы.

— Слышал, Руслаша? Учти. Кто ты знает — может, ты бешеный. Ты ж без справки гуляешь.

Руслан слегка пряднул ушами, нагнал страдальческую морщинку на лоб и переменулся с лапы на лапу. Если и ждали фокуса, то едва ли увидели его, когда пёс так просто и так много этим сказал: что даже странно, как можно говорить о нём такие глупости, что ему, право, неловко за эту вздорную бабу, от которой хозяину пришлось из-за него выслушать неприятное, и что неплохо бы уйти отсюда поскорее, но он подождёт, пока хозяин освободится.

Хозяин, развалясь на стуле, сыто рыгнул и вытащил свой портсигар. Он чувствовал недобрые взгляды и был немножко в себе не уверен; в таких случаях закуривание превращалось у него в целый ритуал: папироса долго выбиралась, потом ею стучали по крышечке с выколотым рисунком, дули в неё с трубным гудением и, хрустко разминая, ввёртывали в рот по спирали; хозяин хищно закусывал её своими ровными мелкими зубами и, поджигая, сводил глаза на кончике, а затаившись, держал её двумя вытянутыми пальцами на отлёте и выпускал колечко дыма.

— Вот проблема, — сказал он Потёртому, кивая на Руслана. — И заплатишь — никто не возьмёт. А такие кадры бегают!

— Да жалко, что говорить, — ответил Потёртый. — То думали: «Хоть бы вы передохли скорей, тварюги!», а теперь — жалко. Прикончили бы их разом, чем так...

— Ага, именно! Все больно жалостные, гляжу, а пострелять — другой дядя пускай.

— Другому дяде, небось, и приказано.

— Мало мне чо приказано. Кто приказал — уже погоны засолил и пиджачок меряет. А мне — руки марать? Когда можно и не марать. Только, видишь, как она, жалость-то? Хуже всего выходит.

Руслан понял так, что хозяин всё переживает из-за вздорной бабу, и носом подтолкнул его руку, лежавшую на колене. Рука нехотя поднялась, легла на его лоб. Не падкий на ласку, не привыкший к ней, он всё же ценил эту единственную, к тому же и очень редкую. Но в этот раз рука не понравилась Руслану, она была вялой, безвольной и отчего-то подрагивала, и пахло от неё этой мерзостью из графинчика.

— Ничо, Руслаша, обживёсси, — сказал хозяин. — А то — позовут ещё: обратно служить. Службу-то не забыл? По

ночам, говоришь, снится? У, желтоглазина! Закрой зенки-то, глядеть страшно!

Рука медленно прошла по закрытым глазам Руслана и, обхватив челюсти, вдруг сжала их жёсткой хваткой. Клыки, громко клацнув, защемили губу, от боли даже вспыхнуло под веками. Но ещё сильнее ужалила обида. Что за привычка была у них, у таких умных хозяев, — непременно хватать рукой. Собаку — за морду, человека — за лицо. У них это длинно называлось: «Я те щас смазь сделаю, поговори у меня!», но делалось коротко, ни собака, ни человек не успевали отшатнуться. А потом долго не могли опомниться. Вот так однажды хозяин сделал одному лагернику, который с ним пререкался и не спешил в строй, а потом — стоял оглушённый, с бледным, сразу вспотевшим лицом. С его носа упали стёклышки, которые этот лагерник очень любил, часто на них дышал и протирал платком, — теперь он за ними даже не нагнулся, хотя хозяин ему напомнил: «Подбери глаза!» — и сам же их ему подбросил носком сапога. Вот что он чувствовал тогда на своём лице, этот человек, когда шёл в строю, спотыкаясь, как слепой, а потом с криком бежал по полю, упущенный несчастным Рексом.

— Не тискай, — сказал Потёртый. — Вот чёрт какой, ведь тяпнет же — ну, прав же будет!

— Много ты про него понимаешь, — засмеялся хозяин. — Нас ведь с Руслашей служба спаяла, правду говорю?

Рука опять легла на лоб, гладила его, трепала за ухом, а Руслан едва сдерживался — так хотелось ему сбросить её и истерзать. Не впервые он чувствовал это желание, при всей любви к хозяину, и сам же его страшился, и долго потом переживал, как могло ему такое прийти в голову. Но сейчас и другое ему пришло — озарение, догадка, отчего тогда Рекс упустил того лагерника: да ведь не мог он ничего предчувствовать заранее, потому что и сам человек не знал, что он через секунду сделает!

Высвобождаясь от ненавистной руки, он медленно — трудным поворотом головы, сумрачным из-под широкого крутого лба взглядом — обвёл сидевших в буфете, поднял немигающие глаза к хозяину. У них на столе оставалась еда, они с нею не торопились, но смолodu Руслан был жестоко

отучен просить — и не на еду он смотрел, ничего не просил этот тяжёлый взгляд, в котором лишь дурак или незрячий не смогли бы прочесть: «Ты нехорош сегодня, хозяин. Ты плохо шутишь. А мы ведь среди чужих».

Потёртый вдруг сморщился горестно, схватил со стола кусок хлеба, положил на пол. Руслан этого никак не заметил, не покосился.

— Ага, взял! — ухмыльнулся хозяин, очень довольный. — Всю жизнь он мечтал твоим хлебушком попитаться. На чём тогда держава стоит!

— Ладно, держава... Сам ему дай.

Посетители буфета опять, верно, ждали фокуса, нехитрого, но обречённого на успех. Неизменно умиляются наши сердца, когда младший наш брат проявляет зачатки разума, так самоотверженно насилуя свою природу: не принимая пищу от чужих и тут же хватая её, давясь от жадности, с ладони хозяина. Но в этот раз фокус вышел ещё занятнее, чем ожидался: хлеб так и не покинул дарящей руки, пёс лишь взглянул на него и отодвинулся — осторожно, чтоб не повалить ненароком державу.

— Ага! — возликовал Потёртый. — И ты ему нынче — никто, понял?

— Ты чо это? Брезгуешь? — спросил хозяин. Розовость медленно отливала с его лица. — Уже где-то обожраться успел? Быстренько ты! Ну-козь, — он положил кусок на пол, — подбери. Кому сказано?

— А вы, гражданин, там не разбрасывайте, — опять вмешалась буфетчица. — Ещё мне дело: за вашими собаками подбирать!

— Зачем? Он — возьмёт. Ещё как возьмёт.

Уже с побелевшими скулами, но всё ухмыляясь, хозяин сам подобрал хлеб, нашарил весёлыми глазами вилку. Макая её в баночку и ляпая на хлеб, стал густо по всему куску намазывать горчицу.

— Не надо, — попросил Потёртый.

Попросил кто-то и в очереди у буфета:

— Сержант, не дури.

— Нельзя, — объяснил хозяин. — Чтоб он моей команды не выполнил — это нельзя. Не бойсь, он уж сам знает, что

допустил провинность, с первого разу не подчинился. Значит, отвечать надо. А он — службе верный: он те щас покажет, какая у него верность. С чем её едят... Весь запас я у ты использовал, хозяйка!

Он разломил кусок пополам и сложил его — намазанным внутрь.

— Кушать, Руслан, кушать. Взять, говорю!

Мужчина в кожаном, сидевший спиной к хозяину, повернулся, блестя белками скосившихся глаз.

— Ты, часом, не сбесился?

— Я те щас поговорю, «сбесился», — сказал хозяин. — Смотри, куда смотри!

Кожаный, однако, не повернулся обратно. Сидевшая с ним женщина в сером платке, кормившая с ложечки ребёнка, положила ложечку и прикрыла глаза ребёнку ладонью.

— Толя, не связывайся, — попросила она. — Ты ж знаешь, как с ними связываться. Мы на это смотреть не будем.

Но сама всё-таки смотрела, морщась и кусая губы. И весь буфет смотрел и роптал:

— Не мучай собаку, конвойный!

— Живоглот, привыкли там измываться...

— Бухой же, разве не видно?..

— Хоть бы отнял кто...

— У него отнимешь! Тебя же ещё и порвёт...

Кусок в неверной руке хозяина качался перед Русланом.

— Ведь возьмёшь же! Сам знаешь — возьмёшь!

Что знал Руслан об этом запахе? То, что и полагается знать караульному псу, которого с этих-то угощений и начинают учить уму-разуму. Однажды утром его — ещё не пса, а подпёска — выводят перед кормёжкой в прогулочный дворик, и куда-то на минутку отлучается хозяин, сказав: «Гулять, гулять», — и тут-то как раз происходит удивительная встреча. Как из-под земли является Неизвестный, в телогрейке и сером балахоне поверх. В длинном рукаве у него что-то спрятано, он показывает — что, протягивает к самому твоему носу. Пахнет так дивно, что пасть переполняется слюною. Ах, всё не так просто! От его одежды разит причудливой вонью барака, про который уже известно собаке, что там — «фуки!», там — «злые живут!», и уже высказано ею по этому поводу

категорическое «Ррр!» Но — солнышко греет ей голову, утренняя истома в её душе и сладостная уверенность, что всё в её жизни преотлично складывается. И так беден наш избыточный мир, что всё живое ценит еду, борется за неё — ещё в слепоте, у сосцов матери. Ценит, наверное, и человек, если не швыряет наземь, а на ладони протягивает с улыбкой — как дар, цены не имеющий. И, одарив его в ответ улыбкою глаз, взмахом хвоста, собака берёт кусок в зубы. В зубах он ещё приятнее пахнет, душистая пряность щекочет нёбо, чудесно пощипывает язык, не разжевать — нет возможности, и она жуёт, ещё качая хвостом, ещё не заслезившимися глазами благодарит Неизвестного, который так скромно удаляется. В следующий миг ей кажется, что в пасти у неё — пожар, ей туда натолкали горячей пакли, от которой не освободиться теперь никак, не выхаркнуть в мучительном кашле, всё обожжено пламенем, и дым съел глаза. Она слышит смех убегающего и свирепеет от обиды; злоба пересиливает муки, бросает в погоню, а тот и не спешит удрать, он протягивает свой длинный толстый рукав, в котором вязнут клыки... Ничего не подозревающий хозяин приходит наконец; можно ему пожаловаться, он всё поймёт, пожалеет, даст попить вволю, накормит вкуснотой необыкновенной. И всё забудется? Пожалуй, что и забылось бы, если б эти лагерники не предпринимали новых козней, всякий раз похитрее. Но никакая новая их каверза так не поразит, как первая, от которой уже сделала собака свой маленький шагок к истине: всё, что не из рук хозяина, — мерзко, ядовито, греховно, даже если и хорошо пахнет.

А теперь и из этих рук ему предстояло взять отраву. И он знал, что придётся взять. Он всяким видел лицо хозяина, но никогда не видел жалким. Шутка затянулась, хозяин уже и рад бы её прекратить, но именно этого хотели чужие, а он их ни за что не мог послушаться. В другом месте и Руслан выказал бы неповиновение, он знал свои права и умел о них напомнить: тихим, но грозным ворчанием, не разжимая пасти и полузакрыв глаза, превратясь в глыбу, которую ни окриком, ни битьём не расшевелить. Перед чужими это нельзя — и, как ни глупа шутка, Руслан её должен был поддержать. Нехотя разжав клыки, он принял

этот кусок с ладони, скосив глаза — куда бы отнести и положить.

Хозяин обеими руками взял его за челюсти и с силой сомкнул. Руслан дёрнулся, но руки держали крепко, и скоро он почувствовал жгучую боль в дёснах, натёртых снегом. Он попытался разжать челюсти, вытолкнуть отраву языком — всё только хуже вышло, пламя охватило язык и нёбо, даже в уши проникло звенящим шумом. Весь сумрачный, завешенный табачной синевой буфет и розовое лицо хозяина расплылись и потекли обильными едкими слезами. Чтобы не длить пытку, он стал судорожно глотать, а пламя только пуще разгорелось в брюхе, и без того сжигаемом голодной тошнотой. До смерти испуганный, ставший сразу беспомощным, больным, он уже и не помышлял, вырвавшись, искушать эти руки, а только пятился от них, скользя когтями по полу, и одно держал в голове — то, что владело всеми его предками, измученными раной или болезнью: уйти, уползти куда-нибудь — в тёмное логово, в подворотню, в лесные заросли, в камыши или густую траву — и там перемучиться или издохнуть, наедине со своей болью.

Чьи-то другие руки отняли его наконец у хозяина, рванув за ошейник, и Руслан тотчас двинулся наугад — туда, где свет, откуда тянуло морозным воздухом, жадно втянул его всей грудью вместе с огнём и задохнулся, задёргался в изнуряющей икоте.

— Ладно, Руслаша, помиримся, — услышал он голос хозяина, непривычно ласковый и точно вязнувший в вате. — Куда пошёл, ко мне!

Руслан оглянулся, вздрагивая, обвёл слезящимся взглядом весь буфет. Лица расплывались, дрожали, двоились; среди них он едва различил хозяина — нет, сразу двух хозяев, одинаково улыбавшихся виновато, одинаково розовых, мутноглазых. Одним и тем же голосом оба они скомандовали: «Ко мне, Руслан!» — и он сиделся понять, к которому же из двух он должен подойти. Кто был прежний, любимый хозяин, а кто — предатель, на которого следовало зарычать и кинуться? Он так и не понял этого и решил оставить обоих.

Уже за порогом он услышал, как там опять начали роптать на хозяина, и кому-то он отвечал, срываясь на

крик: «Знаю, что делаю, не в своё дело суюсь! Его отучать надо. А то все жалостные, а чтоб убить — ни у кого жалости нету!» Руслан постоял в раздумье: они там могли и напасть на хозяина, а ведь он, помнится, сидел без автомата. Но ещё в первое снежное утро не зря заподозрилось, что не нужны ему больше ни его оружие, ни Руслан, теперь это лишь подтвердилось горько и унижительно. Ему, хозяину, лучше знать, как ему дальше жить. Да никто и не решился напасть.

С опущенной головою Руслан прошёл опять всю залу, осторожно сошёл с крыльца и двинулся вдоль заиндевевшей стены, стараясь держаться к ней вплотную. Завернув за угол, он взял в зубы немного снега — дёсны заныли от холода, но и огонь стал утихать. Он обронил льдистый комок с налипшим хлебом и сгустками горчицы и шумно выдохнул остатки пламени. Однако икота всё мучила его, он чувствовал себя больным и искал, где бы укрыться. Тропинка привела к помойке, где нашёл свой конец одуревший от голода Гром, за нею стояла дощатая, изжелта-белая уборная, и вот тут, между ними, в тесном закутке он и улёгся, положив морду на лапы. Вонь ему не мешала, он её и не слышал сейчас, зато дышало теплом от уборной и мусорного ящика, и скоро Руслан угрелся, перестал ворочаться, только чуть вздрагивали его брови, когда слышались чьи-нибудь голоса, скрежет шагов по снегу или паровозный гудок.

Хозяин не любил его — это открытие всегда потрясает собаку, наполняет горем всё её существо, отнимает волю к жизни. Потрясло оно и Руслана, хоть, казалось бы, мог он и раньше догадаться. Мог бы, и догадывался, да только легче бы, право, съесть всю банку этой горчицы, чем признаться себе в нелюбви хозяина. Что же тогда, если не любовь, позволяло сносить все тяготы Службы? Что помогало им всем, хозяевам и собакам, держаться бесстрашной горсткой против тысячеглавого стада лагерников, на которых, только взбунтуйся они все разом, не хватило бы никаких пулемётов, никакой проволоки? Что бросало Руслана в пленительную погоню за убегающим, в опасную схватку с ним? Разве же не единственной наградой было — угодить хозяину? И разве только за корм прощал он Ефрейтору незаслуженные окрики, хлестание поводком? Всё, что случалось порою,

случалось *между своими*, чужим не дано было видеть унижения Службы. Так унижить его при всех только и могла не любящая рука, предавшая всё, что их связывало, и саму Службу, которая не жила без любви. Из этой руки получил он то, что привык лишь от врагов получать, и значит, сам его бывший хозяин стал врагом. Пусть он живёт как знает. Но как дальше жить Руслану?

Вот что ему вспомнилось: хозяева иногда менялись. У того же Грома было их трое — и ничего, он дважды привыкал к новому и любил его, почти так же, как первого, данного ему вместе с жизнью. Привыкали и другие, хотя, конечно, полного счастья не было. И всё же оставалась Служба! Хозяева уходили и приходили, а она всегда была, сколько стоял этот мир, ограждённый колючкою в два ряда и вышками по углам, залитый светом фонарей, музыкой и голосами из чёрных раструбов, точно с неба свисающих на невидимой проволоке. Начала этого мира не знал Руслан — и не мог себе представить его конца. Мог прийти конец лишь этому страшному бесприютному времени — и неважно, как он придёт; через бездны мелких серых подробностей Руслан переносился мечтою и видел уже конечный блистающий результат: вот однажды распахивается дверь кабины, и «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» приводит другого хозяина — в новых скрипучих сапогах, с мискою в руках, полной пахучего варева и сахарных костей; он ставит свои дары на пол и говорит ещё не слышанным, но божественным голосом: «Ну что, Руслан, давай знакомиться», — и Руслан, только хвостом качнув, подходит и принимается за еду: в знак полного доверия...

Чьи-то неуверенные ищущие шаги помешали ему. Он увидел, что сумерки сгустились, и решил не уходить, а затаиться, даже глаза прижмурил, чтобы уж совсем стать невидимым. Но этот кто-то, должно быть, его почуял — остановился напротив, сделал к нему робкий шаг.

— Вон ты где, — удивился Потёртый. — Что ж ты среди вонищи-то лежишь, совсем нюх отшибло? Или помирать собрался, Руслан? — Он сделал ещё шаг, осторожно присел на корточки. — Ах, тит твою мать, как собаку обидел, обормот! Ну, без креста же они, вертухай! Без креста родились, от нененчаных, и так же в землю уйдут, одни пирамидки стоят

будут из поганой фанеры. Ну, вставай, друг, что ж тут лежать. Уже его нет давно, уехал твой ненаглядный. Уе-ехал, ту-ту, не вернётся. Пойдём-ка со мной лучше, а?

Слова текли к Руслану, вливались в его чуткие уши и настороженное сердце, и из общего их течения он выловил, как щепку из журчащего потока, что хозяина больше не будет. Руслан это принял спокойно, даже почти равнодушно: спустившись с небес своей мечты на мёрзлую вонючую землю, он с удивлением обнаружил, что теперь куда больше его интересует вот этот, сидящий перед ним на корточках. Хозяин успел уже умереть для Руслана, а этот, в драной ушанке с падающим на глаза лбом, был жив и позвал с собою. Для начала Руслан хотел бы обнюхать эту ушанку и бахромчатые рукава латаного пальто.

Но вот Потёртый, точно бы повинувшись его желанию, потянулся к нему — медленно, всякую секунду готовый отдернуть руку. Он не знал, что не успел бы этого сделать. Не знал также, что Руслана можно погладить — но лишь растопырив пальцы, показав ему всю безобидность руки, и для начала рука была отброшена ударом костистой морды. На вторую попытку Потёртый не отважился. Но вдруг Руслан сам к нему потянулся. Привстав на передние лапы, не спеша обнюхал замершее колено, затем, поймав ускользящую кисть, легонько её прихватив клыками, несколько долгих — и для Потёртого мучительных — мгновений втягивал в себя тепло рукава. Всё хотелось ему увериться, что он не ошибся тогда, в буфете, когда эта рука положила перед ним еду.

Нет, не ошибся. Могла бы истлеть одежда Потёртого, и он бы её сменил на другую, но ведь кожу-то он не мог бы сменить, и она будет таить в своих порах этот нетленный, не выветриваемый запах, покуда, наверно, сама не истлеет, — запах застиранного белья, прожаренного в вошебойке, сто-крат пропитанного обильным потом слабости, запах болезней и лекарств, ни одной болезни не исцеляющих, потому что все они одним называются именем — «бесполезное ожидание», запах костра, на который подолгу глядят расширенными зрачками, поддерживая вспыхнувшую надежду, и запах самих надежд, перегорающих в одрябших мускулах, запах жёстких нар, дарящих, однако, глубокий, как смерть,

сон — последнее прибежище загнанному сердцу; запах страха, тоски, и опять надежд, и глухих рыданий в матрас, выдаваемых за кашель. Втянув в себя весь этот букет, Руслан поднялся и дал подняться Потёртому, и они пошли рядом, куда хотел Потёртый, — оба утешенные, что нашли друг друга. И, наверное, Потёртый думал о том, как ему легко, по случаю, достался этот красавец пёс, могучий и склонный к верности, которого и воспитывать не надо и который с этого дня будет ему спутником и защитой.

Что же до Руслана, то для него это новое знакомство имело иной смысл. Случилось не предвиденное уставом службы, однако и не противное главному её закону: житель барака сам напросился, чтоб его конвоировали. Оказавшись на воле, он хотел вернуться под любимый кров, — и в том не было удивительного, возвращались же добровольно иные беглецы после целого лета блужданий в лесах, полумёртвые от голода, едва державшиеся на ногах. Таких обычно не били хозяева и не натравливали собак, а лишь смотрели на них подолгу — холодно, светло и насмешливо, покуда иной бедняга не сваливался замертво к их сапогам.

Потёртый был на пути к возвращению, и Руслан счёл себя обязанным охранять его, пока не вернутся хозяева. А когда вернутся они — и поставят поваленные столбы, и натянут проволоку, и зачернеют на вышках ребристые стволы, а над воротами во весь проём запылает в прожекторном свете красное полотнище с белыми таинственными начертаниями, — тогда Потёртый пойдёт, куда захочет Руслан.

3

В первый же час этой службы выяснилось, что подконвойный успел обзавестись хозяином. И у него (точнее — у неё, поскольку хозяин носил юбку и пуховый платок) ещё надо было испрашивать разрешение для Руслана, едва они с Потёртым ступили во двор:

— Эй, хозяйка! Тётя Стюра, ты жива ли?.. Погляди, какого я тебе охранника привёл. Не прогонишь нас?

Тётя Стюра, статная и дородная, застывшая почти весь свет в дверях, с крыльца оглядела Руслана и осталась недовольна.

— Ещё неизвестно, кто кого привёл. А кормить его, бугая, чем?

— А вот и интересно, что — ничем. Он так, без прокорму, живёт. Чудной мужик, ты ещё с ним намаешься.

Последнее замечание успокоило тётю Стюру вполне.

— Пускай живёт. Трезорку бы моего не съел.

Руслан не стал ждать, когда его пригласят в дом. Легко потеснив хозяйку, он прошёл в комнаты и скоро вернулся. Тёте Стюре принадлежала половина домика; он убедился, что обе комнаты и кухонька окнами выходят во двор и на улицу перед воротами, уйти незамеченным подконвойный никак бы не смог. Одно обстоятельство, правда, удивило Руслана: явное и не столь давнее присутствие Главного хозяина, «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца». Но знакомый запах в то же время и успокоил; а кроме того с Руслана как с подчинённого вроде бы снималась ответственность — поскольку начальство этот дом заприметило и осматривало самолично.

Тётя Стюра всё-таки выставила новому жильцу угощение — полную миску тёплого супа с костями. И было несколько мучительных, полуобморочных минут, отравивших этот маленький праздник новой службы. Миску пришлось убрать нетронутой — при этом Потёртый разыгрывал торжество, а тётя Стюра не сдержала злости и пообещала Руслану, что завтра же отправит его на живодёрню.

— Там, — сказала она, — из тебя мно-ого мыла получится! Вот увидишь.

Руслан уснул на крыльце, растравленный, зверски голодный, питаемый зыбкой надеждой. Несколько раз его будило сонное квохтанье в курятнике, и он ещё и ещё подходил удостовериться, что дверь закрыта плотно и засов не отодвинуть лапой. И всякий раз из-под дома слышалось тоненькое рычание невидимого Трезорки, так и не рискнувшего выйти познакомиться.

К рассвету Руслан почувствовал себя совсем скверно; его мышьяная охота стала ему рисоваться в образах фантастических: мыши, размером с кошку, так и выпрыгивали из-под снега, а потом они построились в колонну по пять и с дружным писком двинулись к нему в пасть. Он зарычал и совсем проснулся.

Потёртый ещё и не пошевелился в доме, и Руслан всё-таки решил отлучиться ненадолго в лес. Возвращаясь, он обежал весь квартал — на тот случай, если Потёртый имел где-нибудь лазейку или перелез через забор. Но оказалось, он и на крыльцо ещё не выходил, хотя небо порозовело и всё на дворе стало цветным. Тут Руслан вспомнил: вечером его подконвойный, с тётей Стюрой на пару, наакался этой прозрачной мерзости, от которой свалился замертво. А перед этим он слишком громко и с глупым лицом разговаривал, махал руками без толку, порывался петь — словом, перестал понимать, что к чему, — совсем, как собака. Правда, у собак это печальное состояние приходит с возрастом, люди же для его приближения совершают усилия. Это наблюдение показалось Руслану интересным и обнадеживающим: как ни презирал он эту мерзость, но ведь она-то ему и позволила нынче поохотиться. И ещё он успел соснуть порядком, пока наконец подконвойный соизволил выйти — смутный лицом, собою недовольный, воняющий ещё омерзительнее, чем накануне. Свет Божьего дня не понравился ему — он поглядел на небо и скривил рожу, затем сплонул и направился неверным шагом к сарайчику.

Тот же час явился как из-под земли Трезорка. Размялся, сладко зевнул и в середине зевка, будто впервые увидев Руслана, сделал «здрасьте» коротким, как обрубок, хвостиком. Псом он оказался совсем ничтожным, даром что кличку носил с двумя рокочущими «Р», — криволапый, низкорослый, с раздутым животом и недоподнятыми ушами, к тому же и окрашенный как попало чёрными, белыми и рыжими пятнами. Руслан его едва удостоил взглядом. Явившись так поздно, когда новый жилец уже обследовал двор, Трезорка тем самым поступился своим правом на территорию, признал себя как младшим на ней. Но Руслан и не претендовал на неё, всем видом он показывал, что его интересует лишь этот человек, скрывшийся в сарайчике, — и Трезорка это прекрасно понял. Скосясь на дверь сарайчика, он состроил гримасу весьма сложного состава: одновременно и сострадательную к Руслану, и полную презрения к Потёртому, и о своих не оценённых достоинствах сказавшую без ложной скромности, и содержащую горестный извечный вопрос: «Ах, сосед,

за что нам такой удел!» За такое инакомыслие, пожалуй, досталось бы Трезорке, будь Потёртый хозяином, но коль скоро он был подконвойным, Руслан лишь отвернулся, не желая поддерживать общение.

Потёртый там долго ещё сопел, охал и даже рычал, не зная, видно, за что приняться, как начать день; наконец, показавшись в двери, исторг членораздельные слова:

— Тит твою мать, где ж это я рукавицу-то задевал, брезентовую? Одна есть, а другую посеял. Руслан, ты, часом, не видал?

Руслан лишь взглянул с холодным удивлением. Ему предлагали найти вещь, и он знал — какую и где лежит она, но никакое приказание, ни просьба не могли быть исполнены, если исходили от лагерника. И Руслан об этом напомнил подконвойному на своём языке: поднялся, но лишь для того, чтоб перелечь на другое место.

Трезорка, всё это наблюдавший с живейшим интересом, опрометью кинулся под крыльцо и вытащил искомую рукавицу. Однако Потёртому он её не поднёс, а обронил неподалёку от Руслана, чтобы и тот имел возможность послужить. Руслан и головы не повернул. Потёртому пришлось-таки подойти и кряхтя нагнуться за рукавицей.

— Пожалста, — сказал Потёртый, — мы люди не гордые. А кой-кто у нас без понятия. Эх, казённый! Только и знаешь: «Гав-гав, стройсь, разойдись!», а Трезорка-то, он лучше соображает.

Этого Руслан уже совершенно не мог вынести. Он пошёл со двора и, перемахнув через ворота, улёгся на улице. Право, он лучшего мнения был о своём подконвойном. Упрекая Руслана в недостатке сообразительности, сам-то Потёртый соображал ли, почему караульный пёс его не послушался? И почему со всех лап кинулся Трезорка? Да сам же он её и заиграл под крыльцо, эту рукавицу, кому же и бежать за ней!

Вышел на улицу Потёртый, опоясанный солдатским ремнём, с ящиком для инструмента в руке, сказал: «Пошли, казённый» — единственную команду, которую Руслан готов был исполнять и которую мог бы Потёртый не говорить.

Так начались их походы на тот странный промысел, которым занимался подконвойный по утрам, если только их

можно было назвать утрами. Они отправлялись на станцию и там сворачивали, шли по шпалам в дальние тупики, на кладбище старых вагонов; здесь-то и находилась у них *рабочая зона* — так же, как стали жилой зоной квартал и двор тёти Стюры. Они поднимались в эти вагоны — Руслан вспрыгивал в тамбур единым махом с разбега, а Потёртый карабкался по ступенькам с отдышками — и переходили не спеша из одного купе в другое. Стёкла здесь были выбиты или кто-то их уташил, и гулял сквозняк, а на полу и нижних полках лежал пластами снег, и пахло гнилью, трухой, ржавчиной, людским дерьмом, всеми дорогами и станциями, где побывали эти вагоны. Потёртый поднимал и опускал скрипучие полки, протирал рукавом и мерял пядями и, вздыхая, говорил Руслану:

— Ну как, вот эту досточку — оприходуем? Узка вроде, но текстурка имеется. С игрой планка, верно же?

Руслан ничего не имел против, и Потёртый начинал «приходить». Руки у него тряслись, и отвёртка долго не попадала в шлиц, и не хватало у него сил и рвения сразу вывернуть приржавевший шуруп, а среди дела он ещё подолгу перекуривал, соображая, как бы приладить гвоздодёр и отгнать планку, не расщепив. Но и когда отдиралась она целая, то не всегда сохраняла для Потёртого интерес; огладив её ладонью и поглядев вдоль неё на свет, даже понюхав, он мог её и выбросить в окошко, а потом долго сидеть, печально вздыхая, прежде чем приняться за другую. И всё говорил, говорил:

— Вот, Руслаша, это почему в России хорошей доской не разживёшься? А я тебе скажу: в лесу живём. Кругом леса навалом, вот и причина, что его — нету. Было б его поменьше, так мы б его берегли, чужим не продавали — и всем бы хватало. Ну, однако, разговорчики безответственные — отставить! Ты, Руслаша, следи, чтоб я лишнего не болтал.

Иной раз лукавая мысль вползала в его отуманенную голову, водянистые глаза оживлялись, хитро сощуривались, впивались в жёлтые сумрачные глаза Руслана.

— А что, паря, не сходить ли нам на лесоповал? Дорожка нам знакомая, а там на пилораме какую-нибудь досточку подберём, твёрдо-ценной породы. Там-то они не считанные,

наши досточки. — И сам же отвечал на свой вопрос: — Не, лучше не ходить. Там я тебя забоюсь, на лесоповале. Это мы тут друзья — не разольёшь, а там ты старое вспомнишь, покурить особо не дашь, верно? И правильно, чего это я с тобой разболтался? Уж в рельсу бить пора, а мы ещё ни хрена не наработали.

Никто здесь не ударял в рельсу, но каким-то чутьём он угадывал, — а со второго дня стал угадывать и Руслан, — что пора им домой. К этому времени насчитывалось три-четыре планки, о которых Потёртый говорил: «Звали етого грузина — не Ахтидзе, но Годидзе», — хотя, по мнению Руслана, они особо не отличались от выброшенных, разве что послабее воняли плесенью. Потёртый их перевязывал шпагатом и уносил под мышкой. К этому времени ослабевало действие прозрачной мерзости, уже не так ею разило из его рта, и подконвойный вышагивал по шпалам резво, как и положено идти с работы лагернику, вызывая неудовольствие конвоира только дурацким своим пением. Пел он всегда одно и то же, с ужасными нищенскими завываниями, от которых Руслану тоже хотелось завывать.

Вам, поди, това-ариши, хорошо живё-отся,
У вас, поди, двуно-огая жена,
А у моей жены-и — одна нога мясна-ая,
Другая же, братишки, из бревна!..

Ещё слава Богу, он прекращал свои вопли на улицах; перед чужими Руслан, право, умер бы от стыда.

Планки уносились в сарайчик; там Потёртый, мурлыкая себе под нос, пилил их, вжикал рубанком, выносил их одну за другой на свет и наконец тащил в дом — совсем тоненькие, но посветлевшие и даже приятно пахнущие. Руслан входил за ним по праву конвоира, растягивался у двери и лежал неслышно, так что о нём забывали. То, что сооружалось в тёти-Стюриной комнате, занимавшее почти всю стену, походило, с точки зрения Руслана, попросту на огромный ящик — Потёртый его называл «шкап-сервант трёхстворчатый». Сидя на табурете, он прикладывал новые планки к тем, что уже стояли на месте, менял их так и сяк, спрашивал тётю

Стюру, нравится ли ей. Тётя Стюра стелила скатерть на стол и отвечала, коротко взглянув или не глядя вовсе:

— Да хорошо, чего уж там...

— Всё тебе «хорошо», — возмущался Потёртый. — Тебе лишь бы куда барахло уместилось. А не видишь — доска кверху ногами стоит, разве это дело?

— Как это «кверху ногами»?

— А по текстуре не видно, что комель — вверху? Может дерево расти комлем кверху?

Тётя Стюра приглядывалась, супя белесые бровки, как будто соглашалась, и всё-таки возражала:

— То — дерево. А доске-то — не всё равно, как стоять?

И этим давала повод для новых его возмущений:

— Тебе-то всё равно, а ей — нет. Она же помнит, как она росла, — значит, с тоски усохнет, вся панель наперекосяк пойдёт.

— Ну, надо же! — изумлялась тётя Стюра. — Помнит!..

И он торжествовал, ставя планку, как надо, и доказывал тёте Стюре, что вот теперь-то «совсем другой коленкор», и много ещё слов должно было утечь, пока притёсывалась планка к месту, мазалась клеем, прижималась струбцинами:

— Вот погоди, Стюра, как до лака дойдёт — вот ты увидишь, краснодеревщик я или хрен собачий. Учти, я никакого тампона не признаю — только ладонью. Лак нужно своей кожей втирать, тогда будет — мёртво! Что ты! Я же до войны на весь Первомайский район был один, кто мог шкаф русской крепостной работы сделать. Или — бюро с секретом. Вот это закончу — и тебе сделаю, будет у тебя бюро с секретом. Я же славился, Стюра! Две мебельные фабрики из-за меня передрались, чтоб я к ним пошёл опыт передавать молодёжи. Я посмотрел — так мне ж там руками и делать-то не хрена. Они же что делают? Сплошняк экономят, а рейку бросовую гонят с-под циркулярки и клеят, и клеят, а стружку тоже прессуют. А я им только рисуночек дай, фанеровку подбери. Нет, не пошёл. Моя работа — другая. Мою работу, если хочешь знать, на выставке показывали народного ремесла, на международную чуть не послали, но — передумали, политика помешала. Так этот мой шкаф, знаешь, где

поставили? В райсовете, под портретом — ровненько — отца родного. Что ты! Почёт!

Вторая планка пригонялась ещё дольше, он её так и этак вертел и отставлял — для долгого перекура. Жадно затягиваясь, отчего ходил по небритой шее острый кадык, он сводил глаза на кончике потрескивающей папиросы, и лицо его вдруг теплело от улыбки.

— Одно жалею, — говорил он, — не я ему, живоглоту любимому, гроб делал.

— Да уж, — вздыхала тётя Стюра, нарезая хлеб, — ты б постарался!

— Уу! — гудел он с воодушевлением. — Ты представь: вот дали бы мне такое правительственное задание. Три полкаша у меня для снабжения или же — генерала. «Так и так, — говорю им, — чтоб к завтраму мне красного дерева выписали — в неограниченном количестве. Столько-то — гондурасского кедра. Н-да... Тика не забыть — тесинок восемь, а также и палисандры». А на крышку изнутри самшит бы я пустил. Или бы — кизил. Нет, лучше сандал, он пахнет, сволочь, вечное время не выдыхается. Даже балдеешь от него — без бутылки. Спи только, родной, не просыпайся! Самое тебе милое дело — спать. И народ тебя в спящем состоянии больше полюбит.

Он смотрел куда-то в неведомую даль, будто видел что-то сквозь стены, и улыбка понемногу делалась маской, которая никак не отклеивалась с побелевшего от злости лица.

— Ведь ты, отец любимый, такое учудил, что двум Гитлерам не снилось. И какие же огни тебя на том свете достанут! Хорошо ты устроился, отец, ловко удрал...

В голосе человека слышалась тоска, и Руслан её разделял по-своему: ведь он тоже скучал по прежней жизни, тоже в неё рвался. Но имел же он терпение ждать, не скулить так жалобно! Тёте Стюре и той не нравилось, как скулит Потёртый:

— Вот, до чего тебя глупые мечты доводят! Сколько ж про это говорить? Пустое всё, ничего не вернёшь. Дальше нужно как-то жить!

— А вот шкаф соберу — всё забуду, как отрежу.

— Да ты жизнь свою как-нибудь собери, нужен мне твой шкаф! Ходишь, шатаешься. Или нарочно себя жгёшь? Столько лет в рот не брал, а тут — закеросинил.

— А это во мне, Стюра, дефициту накопилось.

— Уезжай-ка ты лучше отсюда, от дефицита этого. Думаешь, держусь я за тебя? Да я тебе денег достану, поезжай в свой Октябрьский район, там-то, может, скорей очнёшься.

— Не Октябрьский, тётъ Стюра, Первомайский. Да как же я от работы своей уеду?

— Ну, подрядился — так уж докончи, ладно.

— Да не в том дело, что подрядился. Мне надо хоть одну вещь, но сделать. Хоть почувствовать — не разучился. И вот ты говоришь: поезжай. А кто меня там ждёт?

— Ты ж говорил — жена была, дети...

— Ну-ну, ещё племяшей прибавь, кумовьёв. А посчитай, сколько годков минуло. Меня-то ещё на финскую призвали, да к шапочному разбору; то б демобилизовали, а так ещё трубить оставили. Ну, теперь эта, Отечественная, да плен, да за него ещё другой плен — вон меня сколько не было! А они под оккупацией находились, и кто там живой остался — поди узнай. И на кой я ему — с амнистией! Разбираться ему некогда, за что попал. Все по одному делу попадают — за глупость. Был бы умный — как-нибудь уберётся. Их-то из-за меня почему тягать должны? Это одно дело, а другое — он меня за живого-то уже не считал. В душе-то он со мной простился. Помню я, с соседом мы в пересылке встретились, на одной улице когда-то жили. «Батюшки, — он мне говорит, — да ты живой! А я тебя который год в усопших числю». Ведь за всех за нас по домам, по церквям свечи ставили, как же это мы теперь вернёмся? Кто нам, не подохшим, рад будет? Ведь они грех совершили — по живому свечка!

— Ну, а в другой какой район? — спрашивала тётя Стюра, стягивая плечи платком. — Не обязательно в Первомайский...

— Да в какой же ещё другой, Стюра? А я где живу? Я же в другом и живу!

Покачав головою, она уходила в кухню. Он провожал её загоревшимся взглядом, поворачиваясь с табуретом вместе. Там она гремела посудой, с грохотом лазила в подпол и возвращалась с тарелкой помидоров и грибов, переложённых смородиновыми листьями, а в середину стола ставила запотевшую бутылку. Потёртый зябко вздрагивал, уводил

в сторону масляно заблестевшие глаза, а бутылка всё равно была центром притяжения, главной теперь вещью в комнате.

Эта мерзость, как уже знал Руслан, называлась ласково «водочкой», она же была «зараза проклятая, кто её только выдумал», — и понять он не мог, нравится ли её пить Потёртому. По вечерам он к ней устремлялся всем сердцем, утрами — страдал и ненавидел её. Не в первый раз Руслан наблюдал, как эти двуногие делают то, что им не нравится, и вовсе не из-под палки, — чего ни один зверь не стал бы делать. И недаром же в иерархии Руслана вслед за хозяевами, всегда знавшими, что хорошо, а что плохо, сразу шли собаки, а лагерники — только потом. Хотя и двуногие, они всё-таки не совсем были люди. Никто из них, например, не смел приказывать собаке, а в то же время собака отчасти руководила их действиями, — да и что путного могли они приказать? Ведь они совсем были не умны; всё им казалось, что где-то за лесами, далеко от лагеря, есть какая-то лучшая жизнь, — уж этой-то глупости ни одна лагерная собака вообразить себе не могла! И чтобы убедиться в своей глупости, они месяцами где-то блуждали, подыхали с голоду, вместо того, чтобы есть своё любимое кушанье — баланду, из-за миски которой они готовы были глотки друг другу порвать, а возвратясь с повинными головами, всё-таки замышляли новые побеги. Бедные, помрачённые разумом! Нигде, нигде они себя не чувствовали хорошо.

Вот и здесь — разве нашёл свою лучшую жизнь Потёртый? Уж что там его держало около тёти Стюры, об этом Руслан преотлично знал, — да то же, что и у него самого бывало с «невестами». Право, это не самое скверное в жизни, но этим двоим не было друг от друга радости. Иначе зачем бы им тосковать, живя под одним кровом, зачем спорить столько, иной раз до крика? Потёртый и здесь оставался истым лагерником — делал не то, что хотелось бы ему делать, делала то же и его «невеста», и Руслан твёрдо знал: когда придёт время их разлучить и увести Потёртого туда, где только и может он обрести покой, то он, Руслан, не испытает ни жалости, ни сомнений.

Сев за стол, тётя Стюра приглашала обоих своих «жилецов» — один отказывался, не взглянув на поставленную около

него миску, другому хотелось ещё поработать. Но вся его работа в том состояла, что он ещё разок прикладывал оставшиеся планки и, отложив их, сидел, курил, намеренно оттягивая блаженное свидание с бутылкой. Что-то уже изменилось в нём причудливо: на лице сияла беспричинная ленивая доброта, а в душе чувствовался нервный позыв двигаться, говорить без конца.

— Так-то, Стюра дорогая, с финской, значит, войны... Н-да. Ну, то, правда, не война была, а «кампания». Точно, «кампания с белофиннами». Ах, тит его мать, гениальный всё ж был душегуб! Как он их по-боевому назвал — «белофинны». Кто их разберёт, захватчики они, не захватчики, а белофинны — это ясно: белые, значит, а белых не забыли ещё, так винтовка легко в руку идёт. А так-то — финны они, финляндцы. Н-да, ну победили мы их... Ну, как победили? Сами рады были, что они нам мир предложили. А они-то всё-таки умные, они ж понимали, что мы же все наши головы положим за правое дело и за отца любимого всех народов, — зачем это им? Лучше же миром людей сохранить, а территории всё равно мало будет, всем её мало. И в Отечественную они тоже умно поступили: своё оттяпали до бывшей границы, а дальше не пошли, сколько им Гитлер ни приказывал. Вот бывают же умные народы! Нам бы у них ума поднабраться, у белофиннов этих, — то есть я «финны» хотел сказать, «финляндцы».

— Вишь ты, куда тебя уносит, — говорила строго тётя Стюра. — Тебя не сажать, тебе язык обрезать — и ходи лалакай.

— А я, Стюра, не за ла-ла сидел. Я — шпион, я руки перед ненавистным врагом поднял. Так руки и секи, а язык при чём?

— Как это ты за народ судишь — кто умный, кто нет?

— А так и сужу, милая. — И в его голосе вскипали раздражение и злоба. — Тот человек неумный, кто хочет, чтоб все жили, как он живёт. И тот народ неумный. И счастья ему не видать никогда, хоть он с утра до вечера песни пой, как ему счастливо живётся.

Тётя Стюра, прикусив губу, кидала искоса пугливый взгляд на Руслана. И он отводил в сторону мерцающие глаза или закрывал их, притворяясь спящим.

— Счастья злым не бывает, — говорила она. — А нам-то за что? Мы кто, по-твоему, злые?

— И этого хватает, Стюра. Мы ж недаром народ суровый считаемся. Но то ещё полбеды. Есть и другие суровые, а хорошо живут. А ты вот себя возьми: и добрая вроде, но представь — какая-нибудь финтифля юбку задерёт повыше твоего понимания или же грудя выкатит на огневую позицию, ведь ты ж мимо не пройдёшь. Твоя бы сила — ты б её со свету сжила.

— Господи, да пускай хоть голая ходит! А только я на это смотреть не обязана.

— А вот ей так нравится!

— Мало ли чего ей нравится. Ещё другим должно нравиться. Люди ж не дураки, думали всё-таки — как прилично.

— Вот! — Он торжествующе поднимал палец. — Хоть всю политику на вас изучай, на бабах. Эх, Стюра! Всё же не зря я через это всё прошёл. Каких я людей повидал, ты не поверишь. Какого ума люди, образования, видели сколько! Я бы так серым валенком и остался, когда б не они. Вот, помню, два года у меня с немецким товарищем общая вагонка была. Он, значит, внизу, а я — наверху.

— Ну, знаю вагонку.

— Много он стран повидал и мне рассказывал. Он, конечно, коммунист-раскоммунист, но нацию-то не переделаешь, и вот что заметил я: обращает он внимание, что люди где-то не так живут, а по-особенному, что вот такие-то у них обычаи, так-то вот они дом украшают, так-то вот песни поют, свадьбы играют. А, поди-ка, наш заведёт — где побывал да что видел, то главное у него выходит, что вот там-то комсомол организовали, а там-то вот революция без пяти минут на носу, а вот в другом месте — дела неважнец, марксистская учёба в самом зачатке, только лишь профсоюзная борьба ведётся. И не то ему по душе, что революция и комсомол, а то дело, что всё кругом по-нашему, ну как в родном Саратове. А спросишь, что же там ещё интересного, — зыркнет на тебя с таким это удивлением: «Простите, если это вам не интересно, что же вам вообще тогда интересно?» Видишь, как!

Она слушала, подперев кулаком щеку, нахмурив белое большое лицо, и вдруг спохватывалась:

— Ну, ты сядешь? Или так всё будешь ла-ла?

Он придвинулся к столу и тянулся быстрой рукой к бутылке. Заставляя себя не спешить, наливал тётке Стюре — до черты, которую она показывала пальцем, и почти полный стакан — себе.

— Много наливаешь, — говорила она, — для первого-то разу.

— А это смотря за что пить. За Большой Звонок первый глоточек. Я-то своего маленького звонка дождался, а Большой — он впереди ещё. Это когда все ворота откроются и скажут всем: «Выходи, народ! Можно — без конвоя». Ну, прощай, Стюра.

Крупно вздрогнув, он опрокидывал весь стакан сразу, а потом дышал в потолок, моргая заслезившимися глазами, точно в темя ударенный. Отдышавшись, тыкал вилкой в тарелку, но тут же бросал вилку и торопился опять налить. Тётя Стюра накрывала свой стакан ладонью, но он говорил: «Пускай постоит», — и она убирала ладонь.

Нетерпение его проходило, он делался расслабленно весел и лукав, и в их разговор вплеталась какая-то игра.

— Стюра! А, Стюра? — спрашивал он. — Это что ж за имечко у тебя такое? Никогда не слышал.

— А вот женись, — отвечала она, — в загс меня своди — в тот же час и узнаешь. Всю меня полностью к тебе впишут*.

— Всю тебя полностью, Стюра, и в шкаф не поместишь, такая ты у нас больша-ая!

Она притворно обижалась, фыркала, но скоро оказывалась у него на коленях, и продолжалась их игра уже с участием рук.

— Стюра, а этот-то, наш-то, гражданин начальник, он как — ничего был мужчина?

— Дался тебе начальник! Обыкновенный, как все.

— У, как все! Ты всех, что ли, тут привечала? Так знала бы, что все по-разному. Это вы все одинаковые.

— Тебе, во всяком случае, не уступит.

* Полностью впишут «Анастасия» либо «Настасья». Отсюда сибирская трансформация: Настя-Настюра-Стюра.

— Врёшь. Это ты врёшь. «Не уступит!» Он выдающаяся личность, скала-человек, орёл! Клещ, одним словом. Как вопьётся, так либо его с мясом отдерёшь, либо он тебе голову на память оставит. Я так думаю, хорошо он тебя пошабрил!

— Иди к чертям! Прямо уж, пошабрил... Одна видимость, что военный.

— А по сути — нестроевой? Ну, это ты приятное мне говоришь. За это ещё полагается по глоточку.

Руслан поднимался и, лбом распахнув дверь, выходил на двор.

День только успевал догореть, но Руслан уже знал наверняка, что до позднего утра подконвойный никуда не денется, эта «зараза проклятая» удержит его в доме надёжнее всякого караула. Привыкший ценить время, когда он бывал свободен, предоставлен себе, Руслан не мог нарадоваться его обилию. Покуда опять порозовеет небо и мир сделается цветным, можно и выпасться всласть, и поохотиться, и сбежать посмотреть, что делается на платформе, и навестить кое-кого из товарищей. Вот только б дожить до утра с пустым брюхом, в котором, казалось, гуляет ветер и плещется горячее озеро. Он знал, что в тепле его совсем развезёт, и нарочно охлаждал брюхо снегом, растягиваясь на улице перед воротами. Здесь был его всегдашний пост — и очень удобный. Отсюда он прозревал улицу в обе стороны, а сквозь проём калитки, никогда не закрывавшейся на ночь, мог видеть крыльцо. А в любимый час на покосившемся столбе загорался фонарь и бросал на весь пост и на Руслана конус жёлтого света. Этот свет согревал душу Руслана, он так живо ему напоминал зону, караульные бдения с хозяином, когда они вдвоём обходили контрольную полосу или стояли на часах у склада; им было холодно и одиноко, обступившая их стеною тьма чернела непроницаемо и зловеще, и по эту сторону были свет и правда, и взаимная любовь, а по ту — весь нехороший мир с его обманами, кознями и напастями.

Сюда, под конус, к нему выходил Трезорка и укладывался чуть поодаль, но с каждым днём всё ближе. Своих приятелей он уже, разумеется, оповестил насчёт Руслана, и на второй же вечер они явились знакомиться. Пришёл

худущий Полкан — с ошпаренным боком и печатью недоумения на морде, с сединою в козлиной бороде, постоянно кивающий, точно всё время с кем-то соглашался. Пришёл мучительно умный Дружок, с загадочным прищуром, будто знающий какую-то тайну, а на самом деле весьма недалёкий и не помнящий родства, в других дворах отзывавшийся на Кабысдоха. Пришёл элегантный и нервный Бутон, ужасно гордый своими шароварами и таким же всюю распушённым, в колечко закрученным хвостом. Знакомство вышло одностороннее — Руслан их не удостоил ни одним движением, ни взглядом, высясь над ними равнодушной каменной глыбой, но и это Трезорка себе обратил на пользу. Он лежал и помалкивал, приняв ту же позу, что и Руслан, и с таким же независимым выражением на морде. Приятели жестоко позавидовали и удалились в смятении.

А то прибежали совсем уже задрипанные сучонки — какие-то Милки, Чернухи, Ремзочки, одна так и вовсе без имени, — располагались полукругом и смотрели на Руслана с обожанием. В их порочных глазах так откровенно читалось: «Ах, какой красивый! Какой большой, длинноногий. Ну, обрати же внимание, военный!..» Со своими страстями они обращались не по адресу, в их плоские головки не приходило, что он находится на службе, и то, чего бы им хотелось с ним, он привык исполнять, как долгие поколения его предков: будет команда, возьмут на поводок, укажут — с кем. Когда их присутствие надоедало ему, он лишь привздёргивал чёрно-лиловые губы и обнажал клыки — всех их как ветром сдувало, а Трезорка тотчас же находил себе дело во дворе.

Никто из своих собак не приходил проведать Руслана, а новых знакомств он избегал, превыше всего ценя одиночество. В эти часы, глядя в надвигающуюся ночь, он по давней лагерной привычке переживал ещё раз день прожитый и готовился к новому дню. Он тревожил и напрягал память — не перестал ли он помнить всё, чему его учили, не растерял ли все уроки, что достались ему жестоким опытом и за которые, в случае потери, мог он слишком дорого заплатить.

...Вот он опять приближается, Неизвестный в сером балахоне, воняющий баракком. Он подходит со стороны

солнца, его длинная утренняя тень вкрадчиво ползёт к твоим лапам. Будь настороже и не тени бойся, а его руки, спрятанной в толстом рукаве. Рукав завернётся — и на ладони покажется отрава. Но вот она, его ладонь, перед твоим носом — она открыта и пуста. Он только хочет тебя погладить — нельзя же во всём подозревать одни каверзы! Тёплая человеческая ладонь ложится тебе на лоб, прикосновения ласковы и бережны, и сладкая истома растекается по всему твоему существу, и все подозрения уходят прочь. Ты скидываешь голову — ответить высшим доверием: подержать эту руку в клыках, чуть-чуть её прихватив, совсем не больно. Но вдруг искажается смеющееся лицо, вспыхивает злобой, и от удивления ты не сразу чувствуешь боль, не понимаешь, откуда взялась она, — а рука убегает, вонзив в ухо иглу.

А ты и не видел её, спрятанную между пальцами. Учись видеть.

Вот опять — стоило хозяину отлучиться на минутку, и ты сразу же наделал глупостей. Какой стыд! И — какая боль! А самое скверное, что придётся признаться в своей глупости: вдруг выясняется, что от этой штуки тебе самому не избавиться — ни лапой стряхнуть, ни ухом потереться, что ни сделаешь, всё только больнее. Ухо уже просто пылает, и меркнет день от этого жжения, такой безоблачный, так начавшийся славно. Но вот и хозяин — ах, он всегда приходит вовремя и всё-всё понимает. Он тебя нисколючки не наказывает, хотя ты это несомненно заслужил. Он куда-то ведёт тебя, плачущего, ты и дороги не различаешь, и там быстро выдёргивается эта мерзкая штука, а к больному месту прикладывается мокрая ватка. Один твой последний взвизг — и всё кончено. Хозяин уже и треплет тебя за это ушко, а ничуть не больно. Но будь же всё-таки умником, подумай: неужели и в следующий раз не постарайшься рассмотреть, с чем к тебе тянутся чужие руки? А может быть, и не стоит труда присматриваться? Не лучше ли, как Джульбарс: никому не верь — и никто тебя не обманет?

Он недаром первенствовал на занятиях по недоверию — Джульбарс, покусавший собственного хозяина. Он не то что выказывал отличную злобу к посторонним, он просто сожрать их хотел, вместе с их балахонами. Несколько раз

бывало, что он переставал понимать, что к чему, — и ему одному это сходило. Ничего не соображая, он впятеро, вдесятеро форсировал злобу, на нём чуть не дымилась шкура, и на всю площадку разило псиной. Вот что он отлично усвоил: перестараться — сойдёт, хуже — недостараться.

— Всем вам учиться у него, учиться и ещё раз учиться, — говорил инструктор, обнимая Джульбарса за шею, и молодые собаки, посаженные в полукруг, роняли слюну от зависти. — Этому псу ещё б две извилины в башке — цены б ему не было!

Джульбарс, впрочем, считал, что ему и так нет цены. Но одна мысль ему не давала покоя: если он так и будет никого к себе не подпускать, так ведь он никого и не покусает! И однажды он усложнил номер, он сделал вид, что наконец-то его обманули, и позволил чужой руке лечь на его лоб. В следующий миг она оказалась в его пасти. Такого ужасного крика ещё не слышали на площадке. Несчастный лагерник рухнул на землю и стал отбиваться ногами, и даже хозяева кинулись его выручать: они и гладили, и хлестали Джульбарса поводками, и грозились его убить, — ничто не помогало, Джульбарс, по-видимому, решил умереть, но отгрызть эту руку напрочь. И тут с чего-то померещилось Грому, привязанному в дальнем углу, что это вовсе не лагерник вопит, а его собственный хозяин; Гром, разволнованный не на шутку, пролаял оттуда Джульбарсу, чтоб тот немедленно оставил его хозяина в покое. Но с Джульбарсом случился приступ самой настоящей мёртвой хватки, он уже при всём желании не мог разжать челюсти, он должен был сначала успокоиться. Так вот, пока он успокоился и отпустил наконец то, что было раньше рукою, лагерник уже и встать не мог, хозяевам пришлось его прямо-таки утаскивать с площадки.

Своё подозрение Грому, к сожалению, не удалось проверить: с этого дня хозяин Грома навсегда исчез из его жизни. Ну, а Джульбарсу, конечно, и на этот раз всё сошло, только славы прибавилось. И то правда — у кого бы ещё учиться молодёжи! С ним в паре ставили доброватых и малозлобных, которые недопонимали, зачем бы им, к примеру, преследовать убегающего — ведь он уже не причинит им вреда — и какое тут, собственно, удовольствие. Джульбарс рассеивал

все их сомнения; хрипло пролаяв: «Делай, как я!», он догнал бегущего, валил наземь и такую показывал вкусную трёпку, что и самые бестолковые прозревали, в чём смысл жизни.

Руслан этого смысла долго не мог постичь, его пришлось дразнить помногу и терпеливо: дёргать во время кормёжки за хвост, наступать на лапу, утаскивать из-под носа кормушку, а то ещё — посаженного на цепь, обливать водою и убежать после этого с диким хохотом.

Особенно же неприятные были занятия по воспитанию «небоязни выстрелов и ударов». Рождённый ровным счётом ничего не бояться, он с трудом переносил, когда серые балахоны палили ему в морду из большого пистолета и колошматили по спине бамбуковой тростью. Он, правда, быстро усвоил, что ничего ужасного этот дурацкий пистолет не причинит ему, и к бамбучине тоже притерпелся, но как раз терпеть-то и не следовало, а нужно было уклоняться, перехватывать руку, догонять, терзать — всё это он проделывал без охоты.

— Смел, но не агрессивен. Некоторая эмоциональная тупость, — говорил с сожалением инструктор, и его слова обидно пощипывали Руслана в сердце. — А вы с ним чересчур понарошку. С ним надо серьёзнее, он вам не верит.

Инструктор сам брал бамбучину и, страшно оскалась, делал ужасающий замах.

— А ну, куси меня! Куси как следует!

Но хватать инструктора за голую кисть ещё меньше хотелось Руслану, чем давиться ватой. Он старался взять легонько, чтоб даже не поцарапать. Инструктор ему нравился. Он на всех собак производил самое благоприятное впечатление, — одно его присутствие скрашивало все тяготы учений. Всем так нравилась его кожаная курточка, так дивно от неё пахло каким-то зверьём, что хотелось её немедленно разорвать в клочки и унести их на память. Нравилась его худоба и ловкость, его рыжий чубчик и востренькое личико, на которое можно было только в профиль смотреть, — и в этом профиле угадывалось что-то собачье. Быстрый и неутомимый, он носился по всей площадке и всюду попевал, каждой собаке умел всё так толково объяснить, что она его тут же

понимала — лучше, чем своего хозяина. Увлекаясь, он рычал и лаял, и собаки находили, что у него это очень неплохо получается; ещё немножко — и они поймут, о чём он лает. И тогда они бы простили ему, что у него нет такой же пушистой шкуры, как у них, из-за чего он вынужден носить чужую лысую кожу, и что он не насовсем оставил человеческую речь, отвратительно грубую и мало что выражающую, и предпочитает ещё ходить на двух ногах, когда гораздо удобнее на четырёх.

Но, впрочем, инструктор уже делал к этому попытки, и, признаться, не вовсе безуспешные. Один его фокус прямо-таки пленял собак — инструктор его применял не часто, но уж когда применял, то всё занятие было — праздник!

— Внимание! — командовал инструктор, и все собаки заранее умирали от восторга. — Показываю!

И, опустившись на четвереньки, он показывал, как уклониться от палки или от пистолета и перехватить руку с оружием. Правда, иной раз инструктору всё же попадало палкой по голове или по зубам, но он не выходил из игры. Он только на секундочку отрывал одну лапу от земли и проверял, нет ли каких повреждений, а затем командовал: «Не считается, показываю ещё раз!» — и с коротким лаем снова кидался в атаку — до тех пор, пока упражнение не удавалось ему вполне.

Иной раз собаки даже шли на хитрость: кто-нибудь притворялся непонимающим, — только б ещё разик насладиться работой инструктора, услышать его «Внимание, показываю!» А как резво бегал он по бревну, — куда лучше, чем на двоих! — каким делался при этом изящным, поджарым, как ходили под курточкой острые лопатки и топорщился рыженький загривок, как ловко он перемахивал через канаву или барьер или взбегал единым духом по лестнице, а будучи в ударе, так и всю полосу препятствий преодолевал без задержки, только лёгкая испарина выступала на лбу. В конце полосы кто-нибудь из хозяев уже держал наготове поощрение — инструктор брал вкуску зубами, не вставляя с четырёх, и так смачно её съедал! Собаки слглатывали слюну и рвались повторить хоть весь комплекс упражнений сразу.

Они бы на край света за ним пошли, только позови он. Ему даже Джульбарс позволял то, чего бы и своему хозяину не позволил, — сделать лёгкую смазь или разъять пасть и пощупать прикус. Инструктор даже сам просил его, вставляя палец между страшными Джульбарсовыми зубами:

— Ну-ка, милый, кусни. Так, сильнее...

Хозяева не могли в это поверить, им казалось, что инструктор должен бы остаться без пальцев.

— Никогда! — он им отвечал. — Никогда собака не укусит того, кто её безумно любит. Поверьте мне, я старый собаковод, я потомственный, с вашего разрешения, кинолог, на такое извращение способен только человек.

А про Джульбарса он сказал:

— Он не зверюга. Он просто травмирован службой.

Инструктор любил собак всем сердцем — и, конечно, в каждой немножечко ошибался. Они ему все казались травмированными, раз им досталась такая тяжёлая служба. Но насчёт Джульбарса собаки были другого мнения. Ему небось и инструктора хотелось покусать, да он боялся, что его тут же порвут на мелкие клочочки.

А вот что инструктор сказал однажды Руслану — с глазу на глаз и тихо, с печалью в голосе:

— Этот случай мне знаком. В чём несчастье этого пса, я знаю. Он считает, что служба всегда права. Это нельзя, Руслан, пойми — если хочешь выжить. Ты слишком серьёзен. Смотри на всё как на игру.

Руслана инструктор тоже ценил высоко — хоть тот и не проявлял должной агрессивности, но кое-что умел получше Джульбарса, а одна вещь была такая, что и сам инструктор не мог бы показать, как она делается. И это коронный номер был у Руслана, в котором не имел он себе равных, — «выборка из толпы».

Эту работу — нелёгкую, но чистую, вдумчивую и не слишком шумную — Руслан больше всего полюбил. И надо же, чтоб так случилось, что не мог он теперь вспоминать о ней без чувства своей виноватости и греха, неясных для него — как неясным остался тот человек, с которого началось самое печальное. Этого человека Руслан по виду не выделил бы из толпы лагерников, а между тем хозяева чем-то его

отличали — и может быть, тем, что как бы не обращали на него внимания. Уж слишком не обращали — это только собака и могла бы заметить, которую незаметно придерживают, когда тот или иной лагерник случайно вышагнет из колонны. Одного или двух натяжений поводка достаточно было Руслану, чтобы он привыкал таких людей считать особыми. А однажды, морозным утром, когда они с хозяином намёрзлись на лесоповале и забежали погреться в передвижную караулку, Руслан с удивлением увидел этого человека. Он сидел здесь, где обычный лагерник только стоять мог у порога, сняв шапку, он курил и беседовал — да с кем ещё! — с самим Главным хозяином. «Тарщ-Ктан-Ршите-Обратицца» был чем-то недоволен и выговаривал ему резко, а тот лишь твердил:

— Гражданин капитан, но вы же и в моё положение войдите. Понимаете? Вы войдите в моё положение.

Он сказал это несколько раз, прижав руку к груди, и Руслан решил, что так и зовут этого человека. «Войдите-В-Моё-Положение» ушёл тогда очень расстроенный, тревожно озираясь, а день или два спустя собак привели поглядеть на него — лежащего неподалёку от караулки с железным тросом на шее. Живой, он отчего-то не запомнился Руслану, а врезался в память таким, как лежал: глядя в облака тусклыми выпученными глазами, с багрово-синим раздутым лицом, завернув одну руку за спину, а другую — откинув и вцепившись скрюченными пальцами в снег. Эта рука, и лицо, и снег вокруг головы были посыпаны махоркой.

Собаки одна за другой подходили и воротили морды, виновато помаргивая и скуля. Когда подвели Руслана, он уже понял, почему у них ничего не выходило. Они начинали с головы убитого, обнюхивали его страшную лиловую шею с витыми бороздками от троса и ключьями содранной кожи, нюхали усы троса, раскиданные в стороны, как разметавшийся шарф, — и нанюхивались одной махорки, после неё вся работа была уже бесполезна. Он начал — с рук. Осторожно приблизился к откинутой и вовремя отшатнулся, а затем поддел мордой окаменевшее тело, прося, чтоб убитого перевернули, и тогда спокойно обнюхал другую руку, сжатую так сильно, что ногти впились в ладонь. Но он увидел не только

синюю кровь от ногтей, он увидел капельки смертного пота, выступившего по всей кисти. Они смёрзлись и стали мутными, как брызги извёстки, но если их чуть отогреть дыханием...

Закрыв глаза, он весь напрягся в неимоверном усилии. Хозяева в это время строили предположения, кто бы это мог сделать; у каждого были свои счёты с лагерниками и свои догадки, близко сходящиеся со счётами, а главное, что занимало их, — сколько же было участников? Трое? Четверо? И этим они сами себя путали, потому что начинать нужно всегда с одного. Они имели глаза, чтобы видеть, и разглядели махорку, которую для того и насыпали, чтоб её сразу увидели и почуяли, а не заметили, например, возле троса мелких чешуинок коры — Руслан их прежде всего увидел. Они вообще слишком много размышляли, он же не размышлял вовсе, не имел ни счётов, ни догадок, а просто увидел, как всё происходило, — как видится галлюцинация или связный цветной сон, — и услышал скрип снега под сапогами жертвы и неровное дыхание притаившегося убийцы.

«Войдите-В-Моё-Положение» шёл в синих сумерках из караулки, — да, именно оттуда, и там ему дали покурить хозяйских папирос, — и, проходя вот этой тропинкой, меж двух сосен, он не заметил троса, привязанного чуть повыше его головы. Другой конец этого силка убийца держал в руках. Он быстро опустил тяжёлый виток, расхоженный и смазанный тавотом, на плечи «Войдите-В-Моё-Положение» и повернулся — конец троса лёг на плечо убийце, он его держал обеими руками и, навалясь всем телом, сделал всего полшага. И петля затянулась; убийца почувствовал, как дёргается трос, — это руки жертвы пытались разжать петлю, со всей силой, вспыхнувшей в них от смертельного страха, от жажды глотнуть воздуха, — тогда, собрав все свои силы, весь свой страх и смертельную злобу к жертве, которая так долго не умирает, он лягнул её наугад под ноги и вышиб из-под них земную твердь. И ещё целую вечность он стоял, изнемогая, будучи один и палачом, и виселицей, а «Войдите-В-Моё-Положение» хрипел и дёргался у него за спиной, всё хватаясь безнадежно за трос. Но раз или два он схватился ненароком за одежду убийцы, за полу его бушлата — слабая,

беспомощная хватка уже вспотевшей руки, убийца этого и не почувствовал. Но когда потом он отвязывал трос и тащил удавленника подальше от дерева, когда он сыпал махорку и считал, что всё сделано на редкость удачно и тихо, он не знал, что весь он со своим бушлатом остался в этом стиснутом кулаке, в смёрзшихся капельках: и тысячу раз утёртые этой полою лицо и руки, и ею же прикрываемые ноги, стынувшие ногами под жиденьким одеялом, — и какая удача, что руку завернуло судорогой за спину и она оказалась внизу, под телом. Что ж, можно считать — концы найдены. Руслан быстро отошёл и ткнулся лбом в колени хозяину — это значит: «Я не обещаю, но я постараюсь. Веди меня скорей».

А выборка оказалась на удивление лёгкой. Любой, кто сдался в самом начале, выполнил бы её без напряжения — наберись он только нахальства попробовать. Руслан даже не успел приблизиться к толпе, согнанной на пустыре перед воротами. Завидев медленно подходивших хозяев и рвущую поводок собаку, вся толпа с гудением подалась назад — и оставила одного, в чёрном бушлате. Весь скорчась, спрятав руки под мышками, он сам упал вниз лицом, крича, как в истерике:

— Собаку не надо! И так всё скажу. Ну, не пускайте же зверя!..

И Руслан его не стал терзать, а лишь прихватил легонько полу бушлата — где хваталась рука убитого — и качнул хвостом, показывая, что выборка им исполнена. За это получил он невиданное поощрение — из рук самого Главного — и с этого дня стал признанным отличником по выборке из толпы.

Отсюда, от этого дня его торжества, пролегла в памяти Руслана прямая просека, по которой вели они с хозяином человека в бушлате. Ветер шумел в кронах огромных сосен, и, сталкиваясь, они роняли охапки снега, разлетавшиеся радужной осыпью. Была великая тишина, покой, и всю дорогу человек шёл спокойно и не спеша, нёс лопату на плече или волочил за собою, чертя по снегу зигзаги, временами насвистывал. Сам замороженный этим покоем, он и у Руслана не вызывал предчувствий, что может вдруг прыгнуть в сторону и кинуться в побег, и так же молча они свернули с просеки

и пришли тропинкой к чёрной, выжженной костром поляне. В середине её зияла яма — неглубокая, с рыжими стенками, хранившими полукруглые гладкие следы ломов и острые треугольнички от кайла. Вот тут он впервые заговорил, повернувшись к хозяину белым злым лицом, с крохотными шрамчиками на щеке и на лбу. Ему не понравилась яма, он ступил в неё ногою, и там ему оказалось по колено, он даже сплюнул в неё от злости.

— Я один за всех на это дело пошёл, — сказал он хозяину, — могли бы и все одного уважить.

— Чем тебя не уважили? — спросил хозяин.

— Понимаешь, черви — они всем полагаются, ты тоже с ними в свой час познакомишься, но чтоб меня волки выкопали себе на харч, этого ж я не заслужил. Об этом и в приговоре не было — насчёт волков.

Хозяину очень хотелось покурить, он доставал портсигар и снова его прятал в карман белого своего полушубка — ещё больше ему хотелось, чтоб всё побыстрее кончилось.

— Значит, к своей же бригаде у ты претензии? — сказал хозяин. — Приговор-то чо обсуждать?

Человек опять сплюнул и вылез из ямы, воткнув лопату в комья насыпи.

— На! Потом хоть притопчешь как следует. Ни к кому у меня претензий нет, ради жмурика * и я б не уродовался. Бушлат мой — может, снесёшь им? Пускай разыграют. Снять — чтоб тебе не трудиться?

Хозяин, не отвечая ему, потянул автомат с плеча.

— Что же не отвечаешь? — спросил человек. — Или совсем уже я безгласный?

Всё длилось мучительно долго. Руслан весь дрожал и стискивал челюсти, чтоб не завывать. И что-то ещё случилось у хозяина с автоматом, он никак не мог дослать затвор, и человек этот так надеялся, что у него сегодня и не получится. Но хозяин сказал: «Ща исправим, не бойся» — и вправду исправил. Он выбросил смятый патрон, затвор закрылся с лязгом, и случайно вылетела короткая очередь в небо. Тогда-то этот человек и приник к сапогам хозяина. Он добрался до

* Жмурик — покойник (блатной жаргон).

них на четвереньках и прижался так сильно, что, когда оторвал лицо, на его лбу и на губах остались чёрные пятнышки. Он улыбался бледной заискивающей улыбкой и говорил совсем не так, как до этой минуты, когда прогрохотала страшная очередь и едко-приторно запахло пороховой синью. Он говорил, что выстрелы уже прозвучали и услышаны в зоне и теперь хозяин может его отпустить; он уползёт в леса и станет там жить, как змея или крыса, ни с кем из людей не видясь до конца дней своих, которых, наверное, немного уже и осталось, и только одного человека в мире — хозяина — он будет считать братом своим, молиться за него и вспоминать благодарно, будет любить его сильнее, чем мать и отца, чем жену и своих не родившихся детей. Не различая слов, Руслан слышал большее, чем слова, — страстное обещание любви, её последнюю истину, её слёзы и толчки крови в висках, — и чувствовал с ужасом, как его самого переполняет ответная любовь к этому человеку; он верил его лицу с запавшими горящими глазами; ничуть не помрачённый разум горел в них, не жаждал этот человек другой, лучшей жизни, которой нигде не было, а только той участи, которой довольно всему живому на свете.

— Ну, ты чо, маленький? Не слышишь, чо лепечешь? — уговаривал его хозяин. Он стоял спокойно, не опасаясь, что тот рванёт его за ноги или выхватит автомат, он знал, как слаб против него любой из лагерников и как быстро кидается Руслан на помощь. Если б знал он сейчас, что Руслан как будто окаменел и не смог бы даже пошевелиться! — Тыходишь и объявисси, а мне тогда с тобой на пару — стенка. Потому что куда тебе деться? Листиками будешь питаться, ящериц жрать, а после за людей примешься. Чо, не правду я говорю? Не ты ж первый... Так что считай — дело кончено. И давай вставай, себя же не мучай мечтами. Не бойсь, я тебе больно не сделаю, как другой кто-нибудь. Ну, вставай, не бойсь, договорились же — больно не сделаю.

Он встал, этот человек, и крепко отёр лицо рукавом.

— Делай, как умеешь. Шакальей жизни — и то ты мне пожалел. Вспомнишь ещё не раз...

— Знаю, — сказал хозяин. — Всё, что ты скажешь, уже знаю. Не наговорился ещё?

Они не сделали больно тому человеку, но всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника, всё хотелось ему вернуться и разгрести лапой мёрзлые комья, задавившие белое успокоенное лицо. Никогда не вёл он себя так плохо, и хозяин был вынужден жестоко отхлестать его поводом. Может быть, с этого дня хозяин и не любил его.

Те мёрзлые комья остались в душе Руслана, отягчив её страхом и чувством вины, — будто он предал хозяина, обманул его надежды, будто и себя выдал, что не истинно служит в конвое, а лишь притворяется, — а такую собаку можно без промедления отвести за проволоку, потому что она в любую минуту может подвести, сделает что-нибудь не так или откажется сделать. И сколько они потом ни водили других людей в лес, хозяин уже не верил до конца Руслану, за которого сам когда-то поручился. В молодости Руслан прошёл все науки, для которых и рождается собака; он прошёл общую дрессировку — всю эту нехитрую премудрость: «Сидеть», «Лежать», «Ко мне», — блестяще себя показал в розыске и в караульной службе, но когда подвинулся к высшей ступени — конвоированию, инструктор засомневался, выдержит ли Руслан этот последний экзамен. И не на площадке его надлежало выдержать, где всегда тебя поправят, а в настоящем конвое, где на всё одна команда: «Охраняй!», — а там как знаешь, сам шевели мозгами. И предмет охраны не склад, который никуда не убежит и особых чувств у тебя не вызывает, а ценность высшая и труднейшая — люди. За них всегда бойся и не чувствуй к ним жалости, а лучше даже и злобы, только здоровое недоверие. «Ничо, — сказал тогда хозяин. — Обвыкнется. Не сорвётся». А сколько срывались! Скольких отбраковывали и увозили куда-то на грузовике, и то если собака была молода и могла пригодиться для другой службы. Познавшим службу конвоя — один был путь: за проволоку.

Всех обманул Ингус. Он казался таким способным, всё схватывал на лету. Он покорила инструктора в первое же своё появление на площадке. Инструктор только успел сказать:

— Так. Будем отрабатывать команду «Ко мне».

Ингус тотчас же встал и подошёл к нему. Инструктор пришёл в восторг, но попросил всё повторить сначала. Ингус вернулся на место и по команде опять подошёл.

— Чудненько! — сказал инструктор. — А как насчёт «Сидеть»?

Ингус сел, хотя ему даже не надавливали на спину.

— Встанем.

Ингус встал. А инструктор присел перед ним на корточки.

— Дай лапу.

Ингус её тотчас подал.

— Не ту, кто же левую подаёт?

Ингус извинился хвостом и переменил лапу. С тех пор он подавал только правую.

— Не может быть, — сказал инструктор. — Таких собак не бывает.

Он взял учётную карточку Ингуса, чтобы убедиться, что тот ещё не проходил дрессировки и знает только свою кличку и команду «Место!»

— Так я и думал, — сказал инструктор. — У него, конечно, исключительная анкета. На редкость удачная вязка! Какие производители! Я же помню Рема — редчайшего ума кобель. И матушка — Найда, ну как же, четырежды медалистка. Её воспитывал сам Акрам Юсупов, большой знаток, кого с кем повязать. А сынишку он, видно, для Карацупы готовил, отсюда и кличка *. И всё-таки я говорю: «Не может быть!»

Он созвал хозяев подивиться необыкновенным способностям Ингуса. Он спросил у них, видели ли они что-нибудь подобное. Хозяева ничего подобного не видели. Он спросил, не кажется ли им, что под собачьей шкурой скрывается человек. Хозяевам этого не показалось. Человек в любой шкуре от них бы не укрылся.

— Что я хочу сказать? — сказал инструктор. — Если бы такая собака была на самом деле, я бы здесь уже не работал. Я бы с нею объездил весь мир. И все поразились бы, каких успехов достигло наше, советское, собаководство, наши

* Всех собак легендарного Карацупы, задержавшего около пяти сот нарушителей границы, звали Ингус.

гуманные, прогрессивные методы. Потому что такие собаки могут быть только в нашей стране!

Ингус внимательно слушал, склонив голову набок, как ему и полагалось по возрасту, но глаза были не детски серьёзные. И уже тогда, в первый день, заметили в этих янтарных глазах тоску.

Он рос, и росла его слава. С лёгкостью необычайной переходил он от одной ступени к другой — да не переходил, а перепрыгивал. Сухощавый, изящный и грациозный, он стрелою мчался по буму, играючи одолевал барьеры и лестницу, с первого раза прыгнул в «горящее окно» — стальную раму, политую бензином и подожжённую, в розыске показал отличное верхнее и нижнее чутьё*. Оправдал себя и в карауле, хотя хорошей злобности не выказал, а скорее какую-то неловкость и смущение за дураков в серых балахонах, пытавшихся стащить у него мешок с тряпками, порученный ему для охраны. В гробу он видел и этот мешок, и эти тряпки, но ни разу не отвлекли его, не смогли подойти незаметно или проползти на животе за кустами, чтобы напасть со спины. Он показывал, что видит все их проделки, и самим балахонам делалось неловко, когда с такой грустью смотрели на них эти янтарные глаза.

Джувльбарс тогда обеспокоился не на шутку. Законный отличник по своим предметам — злобе и недоверию, он, однако, лез быть первым во всём, хотя чутьецо имел средненькое, а по части выборки был совершенная бестолочь: когда его подводили к задержанным, он до того переполнялся злобой, что запахов уже не различал, хватал того, кто поближе. Но он считал, что если собака не постоит за себя в драке, то все её способности ничего не стоят, и всем новичкам, входившим в моду, предлагал погрызться. Не избежал его вызова и Руслан — и испытал натиск этой широкой груди и бьющей, как бревно, башки. Дважды он побывал на земле, но покусать себя всё же не дал, а зато у Джувльбарса ещё прибавилось отметин на морде, к чему он, впрочем, отнёсся добродушно, даже покачал хвостом, поощряя молодого бойца.

* «Верхнее чутьё» — способность улавливать запахи в воздухе, «нижнее» — читать следы на земле.

С Ингусом всё вышло иначе: он просто отвернулся, подставив для укуса тонкую шею, и при этом ещё улыбался насмешливо, показывая, что не видит смысла в этих солдатских забавах. Старый бандит, конечно, впился в него слгупа и уже было пустил кровь, да вовремя сообразил, что нарушает правило хорошей грызни: «Кусай, но не до смерти», — и отступил, не дожидаясь трёпки от всех собак сразу.

Джультбарс, однако, скоро утешился. Он увидел — а другие собаки это и раньше видели, — что первенствовать Ингусу не дано. Не рождён он был отличником — во всём, что так легко делал. Не чувствовалось в нём настоящего рвения, жажды выдвинуться, зато видна была скука, неизъяснимая печаль в глазах, а голову что-то совсем постороннее занимало, ему одному ведомое. И скоро ещё заметили: он мог десять раз выполнить команду без заминки, и всё же хозяин Ингуса никогда не мог быть уверен, что он её выполнит в одиннадцатый. Он отказывался начисто, сколько ни кричали на него, сколько ни били, и отчего это с ним происходило, никто понять не мог. Вдруг точно столбняк на него напал, он ничего не видел и не слышал, и только инструктору удавалось вывести его из этого состояния.

Инструктор подходил и садился перед ним на корточки.
— Что с тобой, милый?

Ингус закрывал глаза и отчего-то мелко дрожал и покусывал.

— Не переутомляйте его, — говорил инструктор хозяевам. — Это редкий случай, но это бывает. Он всё это знал ещё до рождения, у мамыши в животе. Теперь ему просто скучно, он может даже умереть от тоски. Пусть отдохнёт. Гуляй, Ингус, гуляй.

И один Ингус разгуливал по площадке, когда все собаки тренировались до одури. К чему это приведёт, заранее можно было догадаться. Однажды он просто удрал с площадки. Удрал вовсе из зоны.

Он должен был пройти полосу препятствий вместе с хозяином, но без поводка. И вот они вдвоём пробежали по буму, перемахнули канаву и барьер, прорвались в «горящее окно», а напоследок им надо было проползти под рядами колючки, натянутой на колышки, но туда полез только хозяин

Ингуса, а сам Ингус помчался дальше, перепрыгнул каменный забор и понёсся широкими прыжками по пустынному плацу. Его не остановила даже проволока, — ну, под проволокой собаке нетрудно пролезть, но как преодолел он невидимое «Фу!», стоящее перед нею в десяти шага и плотное, как стекло, о которое бьётся залетевшая в помещение птица? И куда смотрел пулемётчик на вышке, обязанный во всё живое стрелять, нарушающее Закон проволоки!

Когда сообразили погнаться за Ингусом, он уже пересёк поле и скрылся в лесу. Он мог бы и совсем уйти — бегал он быстрее всех и ему не нужно было тащить на поводке хозяина, но проклятая мечтательность и тут его подвела. Что же он делал там, в лесу, когда его настигли? Устроил, видите ли, «повалысики» в траве, нюхал цветы, разглядывал какую-то козявку, ползущую вверх по стеблю, и, как замороженный, тоскующими глазами провожал её полёт. Он даже не заметил, как его окружили с криками и лаем, как защёлкнули карабин на ошейнике, и только когда хозяин начал его хлестать, очнулся наконец и поглядел на него — с удивлением и жалостью.

Когда пришло время допустить Ингуса к колонне, тут были большие сомнения. Инструктор не хотел отпускать его от себя, он говорил, что у Ингуса ещё не окрепли клыки и что лучше бы его оставить на площадке — показывать работу новичкам. Но Главный-то видел, что с ватным «Иван Иванычем» Ингус справляется других не хуже, а насчёт показа, сказал Главный, так это инструктор и сам умеет, за это ему и жалованье идёт, а кормить внештатную единицу — на это фонды не отпущены. И сам Главный решил проэкзаменовать Ингуса. Все волновались, и больше всех инструктор, он очень гордился своим любимцем и всё же хотел, чтоб тот себя показал в полном блеске. И что-то с Ингусом сделалось — может быть, не хотелось ему огорчить инструктора, а может быть, снизошло великое вдохновение, оттого что все только на него и смотрели, но был он в тот день неповторим и прекрасен. Он конвоировал сразу троих задержанных; двое попытались бежать в разные стороны, и всех их он положил на землю, не дал даже головы поднять и не успокоился, пока не подоспела помощь и на всех троих защёлкнулись

наручники. Целых пять минут он был хозяином положения, Главный сам следил по часам и сказал после этого инструктору:

— Вы еще в меня сомневаетесь! Работать ему пора, а не цветочки, понимаешь, нюхать.

Но когда допустили Ингуса к колонне, выяснилось, что работать он не хочет. Другим собакам приходилось работать за него. Колонна шла сама по себе, а он гарцевал себе поодаль, как на прогулке, не обращая внимания на явные нарушения. Лагерник мог на полшага высунуться из строя, мог убраться руки из-за спины и перемолвиться с соседом из другого ряда — как раз в эту минуту Ингуса что-нибудь отвлекло, и он отворачивался. Но ведь помнился хозяевам тот экзамен, похвала Главного! Оттого, наверно, и прощалось Ингусу такое, за что другой бы отведдал хорошего поводка. И только собаки предчувствовали, что ему просто везёт отчаянно, а случись настоящее дело, настоящий побег — это последний день будет для Ингуса.

Так он и жил — с непонятной своей мечтой, или, как инструктор говорил, «поэзией безотчётных поступков», всякий день готовый отправиться к Рексу, а умер не за проволокой, а в лагере, у дверей барака, умер зачинщиком собачьего бунта.

В цепкой памяти Руслана был, однако, свой порядок событий, своё прихотливое течение, иногда и попятное. Всё лучшее — отодвигалось подальше, к детству; там, в хранилище его души, в прохладном сумраке, складывались впрок сладкие мозговые косточки, к которым он мог вернуться в тягостные минуты. Все же обиды и огорчения, всё скверное — он тащил на себе, как приставшие репы, которые нет-нет да стрекнут ещё свежим ядом. И вот выходило по хронологии Руслана, что та счастливая выборка, тот день его отличия, торжества — остались чуть не на заре его жизни, и там же лежал «Войдите-В-Моё-Положение», удушенный тросом, — к несчастному собачьему бунту, как будто вчера случившемуся, он уж поэтому не мог иметь отношения. Но когда потекли воспоминания о бунте, когда наполнились запахами, звуками, цветом, «Войдите-В-Моё-Положение» вошёл в них ещё живой, он вошёл в тёплую караулку, дыша

себе на руки, и сообщил хозяевам что-то тревожное, от чего они тотчас побросали окурки и поднялись, разбирая автоматы и поводки.

Вскочили и собаки, разомлевшие в тепле, одуревшие от вони овчинных полушубков, и уже рвались с хрипом на двор, позабывши начисто, почему их в этот день не гоняли на службу. Боже, какой мороз схватил их за морды когтистой лапой! Он калёными иглами пронзил ноздри и вытек из глаз слепящей влагой; даже во лбу от него заломило, точно они в прорубь окунулись. И уж тут не помнилось, куда же он делся, «Войдите-В-Моё-Положение», тут хронология прощалась с ним навсегда, — то ли он остался в караулке, то ли это он, весь нахохленный, плечом отодвигал воротину и потом спрятался в будке у вахтёра, а может быть, он исчез возле самого барака, рассеялся в тумане, осыпался льдистыми искрами, и их замело поземкой. Завидев барак, собаки опять стали рваться — там уж какая ни будет работа, а всё же тепло! — но Главный хозяин, который шёл впереди и тёр себе рукавицей багровое лицо, всех остановил у дверей. А сам, подкравшись, отворил их без скрипа и стал слушать, вздев одно ухо на ушанке.

Из тамбура потянуло теплом и привычным смрадом и послышался неясный гул — вот так собачник гудит, возмущённо и неразборчиво, когда запаздывает кормёжка. За тонкими вторыми дверьми что-то громадное ворочалось, стучалось глухо об пол или об стенки, исходило криками и причитаниями, быстрым запальчивым бормотанием. Похоже, происходила одна из тех свар, которые у людей невесть с чего начинаются, с полуслова, раздражённого спора, и немолимо разрастаются в грызню, а потом так же быстро остывают, и все расходятся, но кто-нибудь, бывает, и остаётся лежать с прижатыми к животу руками, корчась в судороге, а то и вовсе не шевелясь.

Главный хозяин открыл и эти двери — пошире, точно в них должен был грузовик войти, — и стал на пороге, по пояс в морозном облаке.

— Сука, закрой, а то ушибу! — и вслед за этим хриплым воплем, долетевшим из тёмной глубины, что-то ещё прилетело тяжёлое и шмякнулось о косяк рядом с его ушанкой.

Главный хозяин спокойно выждал, когда утихнет.

— Так, — сказал он, покачиваясь, заложив руки за спину. — Так. Значит, судьбы родины обсуждаем?

Барак совсем замолк. Но тотчас же кто-то, поближе к дверям, отозвался с готовностью:

— Что вы, гражданин начальник. И думать себе не позволим! Мы только о том, что не возбраняется в свободное время.

— Ага... А то я иду мимо — шо-то, смотрю, в их жарко сегодня. Может, думаю, поработать надо дать людям. А то ж стомятся.

Барак опять отозвался — тем же голосом, с лёгким быстрым смешком:

— Работать — это мы всегда, с большой радостью. Только градусник, сука, ниже нормы упал.

— Вы вже поглядели. А я ще нет. Так мне сдаётся, шо вроде потеплело.

— Гражданин капитан! — он был неистощим, этот голос, и столько в нём было приветливости, вкрадчивого умиления. — За что мы вас так уважаем? За хороший, здоровый юмор. Зайдите, будьте добреньки, а я дверь закрою.

И неясная тень приблизилась к облаку, вошла в него. Но Главный её отстранил рукою.

— Так я ж разве против шуток? Я и дебаты, если хотите, признаю, когда культурно, выдержанно. Но только ж работа страдает, это ж нехорошо.

В тёмном нутре барака опять возникло гудение. И другой голос — хриплый, таящий в себе надрёманное тепло и тоску расставания с ним, — спросил с унылой безнадежностью:

— Стрелять будешь?

— Как это «стрелять»? — удивился Главный. — Шо в меня — восстание в зоне, щоб я стрелял? Нету ж восстания?

— Нету, — облегчённо, радостно выдохнул барак. — Нету!

— Видите? Так шо — зачем я буду стрелять? Лучше я каток вам тут залью.

— Какой каток?

— Обыкновенный. Вы шо, катка не видели. В кого коньки есть, тот покатается.

Робкая тень опять приблизилась, попыталась проскользнуть в двери и была отодвинута рукою Главного.

— Нет, это мне толку мало, шоб один вышел или десять. Мне — шоб все, дружно.

Барак только на миг затих, только чтоб успело прозвучать тоскливое, молящее:

— Братцы! Ну, выйдем. Сами ж виноваты...

И тотчас опять заворчалось громадное, забилося в корчах, разразилось воплями:

— Ложись ты, сука, убую!..

— Закон есть!..

— Ниже нормы градусник!.. Не выгонишь!

— Ложись все!..

— Закон!..

Они не видели, что катушка с пожарным рукавом уже покатила от водокачки. Двое хозяев толкали её, наваливаясь на лом, продетый в середине, и, не докатив немного до дверей, повалили её на снег. К ним ещё двое кинулись сбрасывать оставшиеся витки, а те ни секунды не ждали, схватили жёлтый сияющий наконечник и с ним побежали к дверям. Главный хозяин отошёл со скорбным лицом, грустно выдохнул пар изо рта и кому-то вдаль махнул рукавицей. И оттуда, куда махнул он, потёк еле слышный шорох, сплющенный рукав стал оживать, круглиться, из жёлтого наконечника выплонулось влажно-свистящее шипение, и те двое пошатнулись в тамбуре. Толстая голубая струя ударила под потолок барака, опустилась ниже, снесла лежавшего на верхних нарах вместе с его пожитками, несколько робких теней, ринувшихся навстречу, отшибла вглубь. Двое хозяев, упираясь сапогами в скользкий порог, с трудом удерживали тяжёлый наконечник, струя металась из стороны в сторону и раздавала удары, гулкие, как удары дубинки. Над их головами потекло из барака белое облако, и вместе с надышанным теплом вылился не крик, не вопль, а протяжный прерывистый вздох, какой издаёт человек. перед тем как надолго погрузиться в воду.

Этим вздохом забило уши Руслану, и он уже почти не слышал, как брызнули стёкла в окошках и затрещали рамы, не понял, что за серая дымящаяся пена поползла из окон на снег, понял лишь, когда она стала распадаться на отдельных людей, пытавшихся подняться, в то время как сверху на них

валились другие. Главный хозяин вытащил руку из-за спины и показал в их сторону, — струя, потрескивая, опустилась на них плавно изгибавшейся дугою, задержалась надолго и возвратилась в барак. Но те, выпавшие из окон, уже не пытались подняться, а только слабо шевелились на снегу, сами делаясь белыми прямо на глазах.

Руслан, не в силах устоять на месте, вертелся и взвизгивал, поджимая то одну, то другую лапу. Эти белые блёстки, покрывавшие их одежду кольчугой, он словно бы ощутил на своей шкуре, плотной и пушистой и всё же продуваемой ледяным ветром. И понемногу блёстки стали желтеть, что случилось с ним в минуты наивысшей злобы, и сквозь жёлтую пелену он только и видел отчётливо — толстый, шевелящийся на снегу рукав. Эта гадина подползала к его лапам, брызгаясь из своих мельчайших прорех, а в одном месте, переламываясь складкой, которую хозяева не успевали расправлять сапогами, приподнималась и зависала прямо перед носом у него, угрожая броситься, но сразу же опадая, как только Руслан подавался навстречу.

На его счастье, кто-то был моложе, нетерпеливее — и не выдержал первым. Руслан услышал его звенящее рычание, и по краю жёлтой пелены промелькнул он сам — тёмносерый и тонкий, вытянутый в прыжке. Угрозу, предназначавшуюся Руслану, Ингус перехватил на лету, упал с закушенным рукавом и придавил лапами. Тот сразу стал вырываться, и это ещё придало Ингусу злости; он рвал своего врага с остервенелым урчанием, мотая головою, и из-под клыков его брызгало радужными искрами. Те двое хозяев, что держали наконечник, закричали и потащили рукав к себе, но вместе с Ингусом. А поводок тащил его назад, сдавливая тонкую шею, и у Ингуса помутились глаза, налились кровью, но он не отпустил взятое.

— Шо то с им? — спросил Главный хозяин. Он уже подходил не спеша, он надвигался — божество с голубыми страшными глазами, с гневным лицом, подпирая своей ушанкой голубой купол небес. А Ингус лишь покосился в его сторону, Ингусу было не до него. — Шо то с им, я спрашиваю? Сбесился?

— Холера его знает, тарщ ктан, — сказал хозяин Ингуса. Он был в отчаянии. Он пнул Ингуса в бок сапогом, Ингус жутко всхрипнул, но не разжал клыков. — Что с ним всегда. Вы ж знаете.

— А ну, дайте сюда. — Главный протянул руку, и один из хозяев кинулся подать ему лом. Главный досадливо поморщился. — Та не, я ж вам не то показываю.

Он протягивал руку к автомату. Хозяин Ингуса торопливо, суетясь, стащил через голову ремень. И с болью, угнездившейся навсегда в душе Руслана, он увидел наконец, как же это бывает, когда собаку уводят за проволоку. Дырчатый воронёный кожух опустился, закачался над головой Ингуса, как бы примериваясь вонзиться между буграми крутого лба и оттянутыми в ярости ушами, но не вонзился, а в нём самом, в кожухе, что-то быстро задвигалось, и вокруг скошенного чёрного рыльца вспыхнул яркий красно-оранжевый ореол, а из головы Ингуса... из чёрной рваной дыры плеснуло горячим, розовым, с белыми осколками. И, содрогнувшись, Ингус стал вытягиваться — головою к ногам Главного хозяина, точно тянулся ещё напоследок положить закушенный рукав на его сапоги.

Хозяин Ингуса хотел выдернуть рукав — и голова Ингуса запрокинулась; он ещё жил, ещё шевелился, но лишь челюстями, сжимавшимися в последней хватке. Хозяин Ингуса бросил рукав и выпрямился. Он смотрел, и смотрел Главный, и другие хозяева, как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. Но зверь на это смотреть не может — и Руслан не стал смотреть, он упал рядом с Ингусом. Ещё и теперь, вспоминая, как всё случилось, он ощутил фанерную твёрдость рукава и льдистый холод, пронзивший его клыки. И всю безнадёжность перегрызть брезентовое горло он почувствовал сжавшимся сердцем, — только прокусить он мог, наделать ещё прорех, из которых били с шипением колючие струйки, а загривок, беззащитный загривок дыбом вставал от жгучей близости чёрного рыльца, из которого должна была, не могла же не грянуть расплата! Но, переживая не раз свой несчастный проступок, он всё же не мог до конца почувствовать себя виноватым. Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли

одни двуногие делать с другими двуногими, и разве только он, Руслан, последовал за мёртвым Ингусом? Его единственный грех длился только миг, и тотчас же его разделили другие. Что-то большое, сильное, серое перемахнуло через Руслана и, круто повернув, рухнуло всей тушей. Скосясь, он увидел Байкала, всегда такого спокойного и послушного, ещё через мгновение бросилась хитрая Альма, совсем близко от челюстей Руслана приладил мохнатые челюсти Дик — отличник по охране задержанных, — и вот уже вся стая полезла грызть ненавистный рукав. Они все, все вышли из повиновения, презрели долг и приказ, забыли о вечном страхе перед чёрным рыльцем, и хозяевам пришлось узнать, что своих зверей они тогда только могут подчинить себе, когда звери особенно не возражают. А сейчас они были глухи и к бешеным рывкам поводка, от которого чуть не ломалось горло, и к ударам сапогом под брюхо, и к тому, что Главный хозяин в гневе размахивал автоматом и кричал, чтоб все отошли и не мешали ему перестрелять этих тварей одной очередью: всё равно они порченые и нужно набрать новых! А такие вещи понимает собака, как ни груб и ничтожен человеческий язык. Но кто же из них сумел опомниться, кто отступил благоразумно? Иногда то один, то другой поднимал морду к бездонному холодному небу и выл, жалуясь не на боль, а на свой же собственный грех, на свой бедный разум, который не в силах справиться с безумием. Если бы кто-нибудь разгадал собачьи молитвы, он бы узнал, что это одна и та же извечная жалоба — на свою немощь проникнуть в таинственную душу двуногого и постичь его бессмертные замыслы. Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду его сможет сопровождать зверь, даже готовый умереть за него, не до любой вершины с ним дойдёт, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт.

И кто бы подумал, что всех выручит Джульбарс? Единственный, кто сохранил спокойствие, всеми забытый, он вдруг сошёл с места, потягиваясь со сладостью, как будто на драку выходил за своё первенство, когда уже все противники

свели счёты. Никто не заметил, когда он успел перегрызть поводок — а он их постоянно грыз, когда нечего было грызть и некого кусать, — но все увидели, как он идёт не спеша, с волочащимся по снегу обрывком. Он подошёл вплотную к Главному и стал против чёрного зрачка, загораживая остальных собак, а своими полутора глазками зорко следил, чтоб Главный не положил палец на спуск: маленькое незаметное движение, но отлично известное Джульбарсу, — столько раз его показывал на площадке инструктор, — и оно могло стать последним в жизни Главного хозяина. И Главный не решился положить палец, он-то знал, что за деятель этот Джульбарс, которого он подпустил слишком близко. Он немножко растерялся, а Джульбарс и это отлично понял, поэтому и позволил себе небольшую наглость — поддел своей раздвоенной медвежьей башкой чёрный ствол и чуть подбросил кверху. Главный от этой наглости оторопел, но всё же она ему понравилась, лицо у него смягчилось, и он сказал, утирая лоб варежкой:

— Ничо, пусть погрызут собачки. Воды хватит.

Тогда Джульбарс, всё так же спокойно, повернулся к нему задом и пошёл на место.

Их безумие скоро прошло, и все они поняли, с каким врагом схватились. Он наказал их, как они и не ждали, — Руслан об этом вспомнить не мог без дрожи. Так живо опять почувствовалось ему, как он захлёбывается упругой и обжигающей, бьющей из прорех водою, а шерсть на его животе, где она так нежна, так длинна и пушиста, примерзает к ледяному намытому бугру и рвётся с болью, и ему уже самому не встать. Во что превратились они все, укрытые всегда своими роскошными шубами, а теперь промокшие до последней шерстинки и враз отощавшие, жалкие, слёзно молящие о пощаде!

Этой же струёй хозяева потом вымывали их, примёрзших к наледи, и бегом утаскивали в караулку, а некоторых, кто даже стоять не мог, волоком тащили на полушубках. Там они все сползлись в один угол, вылизываясь и жалуясь друг другу на случившееся. Их растаскивали, а они сползались опять — их низкий закон повелевал им в несчастье ободрять друг друга, а в мороз греть и сушить.

А потом была полная ужасов ночь, когда их развели по кабинам и оставили каждого наедине со своим грехом. Конечно, они могли перелазить сквозь стенки, но это уже никого не грело, и больше им нечего было передать друг другу, кроме взаимных упрёков и смертных предчувствий. Многим тогда приснился Рекс, они слышали его голос, хриплый от стужи и ветра, — Рекс плакался, как ему одиноко за проволокой, и звал всех к себе. А кто постарше, вспоминали какого-то Байрама, которого Руслан не застал, но который, оказывается, ещё до Рекса торил эту тропу, а для совсем старичков первой была знаменитая Леди, которую хозяева называли ещё «Леди Гамильтон», — она-то и открывала всю несчастную плеяду, а до неё история лагеря тонула во мраке.

Утром хозяева пришли в обычный час, принесли еду, но к собакам не прикасались. Они чистили кабины, трясли в коридоре подстилки и переговаривались злыми голосами, неодобрительно отзываясь о Главном хозяине, и одни говорили, что он «конечно, справедливый, но зверь», а другие им возражали, что он «всё ж таки зверь, хотя — справедливый». Потом пришёл сам Главный и велел пощупать у собак носы.

— В кого горячий, нехай отдыхают, а других — выводить. Та следить мне, шоб никаких таких эксцессов не було!

Зачем в такую же стужу вывели их на службу? Зачем заставили сидеть полукругом в оцеплении перед тем же баракком, теперь безмолвным, не вызывающим у собак ничего, кроме смутной тягости от вчерашнего? Неужели же охранять огромный этот ящик на колёсах, эту дощатую фуру, которую они всегда видели, когда в лагере бывали смерти? Две заплаканные лошадёнки, помахивая головами, похожими на молотки, уныло вкатывали её в лагерные ворота и тащили от барака к бараку, а потом, нагруженную, трясли по колдобинам к лесу, и собакам в голову не приходило, чтобы кто-нибудь посягнул на то, что в ней везли. Да эта фура себя охраняла сама лучше любого конвоя: зимой она жуть наводила шурушанием и костяным стуком об её высокие щелястые борта, а в летний зной, когда над нею густо роились мухи, бежать хотелось куда глаза глядят от её тошнотного смрада. Когда бы Руслан мог давать названия запахам, он сказал бы,

что от этой фуры пахнет адом. Как все его собратья, не принимал он смерти-небытия, где вовсе ничего нет и пахнуть ничем не может, — и что такое собачий ад, он всё же смутно представлял себе: это, наверное, большой полутёмный подвал, где всех их, байрамов и рексов, прикованных цепью к стене, день-деньской хлещут поводками и колют уши иглой, а есть дают одну сплошную горчицу. Картина человеческого ада представлялась ему загадочной, но, верно, и там весёлого было мало, уже и того довольно, что люди отправлялись туда совершенно голыми. Их одежду делили между собой живые, и Руслан ещё долго их путал с ушедшими или подозревал, что те где-то прячутся поблизости и вот-вот объявятся. На его памяти никто, однако, не объявился; в свой подвал они тоже уходили на долгий срок, и столько же было надежды их дождаться, как встретиться с живым Рексом. Но что объединяло эти два ада — непонятный, неутешимый страх и глухая тоска, с которыми не совладать, от которых не деться никуда, стоит тебе лишь коснуться этой жуткой тайны.

В тишине безветрия был слышен мороз: шелестел пар из лошадиных ноздрей, с треском лопались комки навоза, потрескивало, постанывало всё дерево фуры. Лошадёнки, с заиндеветшими гривами и хвостами, стояли не шелохнувшись, и понуро сутулился возница на козлах, никак не откликаясь на громкий стук за спиной, будто кидали ему из окна большие белые свежерасколотые поленья. Лишь раз он обернулся поглядеть, не перегрузят ли его сегодня, и опять укатался до бровей в свой чёрный тулуп.

Главный хозяин, который один похаживал внутри оцепления, нервничал напрасно. Он мог быть доволен, как всё спокойно происходило и как терпеливо несли свою службу собаки, хоть очень уж пристуживало зады на снегу и клыки плясали от судороги. Они чувствовали спинами, как из других барачков смотрят в продушанные зрачки чьи-то горящие глаза, иногда и сами не выдерживали и оборачивались, — да в такой мороз, когда все запахиглохнут, по их понятиям, произойти ничего не могло. Ничего и не произошло, только вдруг один из двоих, нагружавших фуру, высунулся и крикнул, грозя кулаком Главному: «Вы за это ответите!» — но

другой ему тут же зажал рот рукавицей и оттащил подальше в сумрак. Главный в это время стоял спиной к окну и не обернулся.

Эту скорбную службу они высидели до конца, как хотелось Главному, и за то, наверно, и были все прощены. Пожалуй, останься с ними Ингус, и он бы её высидел, и тоже б его простили. Ужасно всех придавило, как всё нелепо вышло с Ингусом; даже Джульбарс, который к нему всегда ревновал, и тот в себя не мог прийти, считал, что это его недосмотр. Но больше всех поразило то, что случилось, инструктора. После собачьего бунта он ходил как оглушённый. Он стал путаться в собачьих кличках, говорил, например, Байкалу или Грому: «Ко мне, Ингус!» — и удивлялся, что они его не слушаются. Ему всюду мерещился Ингус, постоянно он его высматривал в стае, хотя собаки давно уже сообщили инструктору, что Ингус лежит за проволокой с куском брезента в пасти, который пришлось вырезать, потому что он так и не отдал его своими «неокрепшими» клыками, а хозяев лень было дробить ему челюсти ломом.

Так и не дождавшись своего любимца, инструктор вот что придумал: стал сам изображать Ингуса. В самом деле, в нём появилось что-то ингусовское: та же мечтательность, задумчивость, безотчётность поступков; он даже и бегал теперь на четырёх, пританцовывая, как Ингус. И всё больше эта игра захватывала инструктора, всё чаще он говорил: «Внимание, показываю!», и показывал, как если б это делал Ингус, и всё лучше у него получалось, — а однажды он взял да и проделал это в караулке: о чем-то заспорив с хозяевами, вдруг опустился на четвереньки и залаял на Главного. Так, с лаем, он и вышел в дверь, открывши её лбом. Хозяев он рассмешил до слёз, но когда они отреготались и решили всё-таки поискать инструктора — где же они его нашли? Он забрался в Ингусову кабину и выскочил на них с порога, рыча и скаля зубы.

— Я Ингус, поняли? Ингус! — выкрикивал он свои последние человеческие слова. — Я не собаковод, не кинолог, я больше не человек. Я теперь — Ингус! Гав! Гав!

И тут-то собаки впервые поняли — *о чём он лает*. В него переселилась душа Ингуса, вечно куда-то рвавшаяся, а теперь поманившая их за собою.

— Уйдёмте отсюда! — лаял инструктор-Ингус. — Уйдёмте все! Нам здесь не жизнь!

Хозяева связали его поводками и оставили на ночь в той же кабине, и во всю ночь не мог он успокоиться и будоражил собак своим неистовым зовом, всю ночь надрывал им души великой блазнью густых лесов, пронизанных брызжущим сквозь ветви солнцем, напоенных сладостной прохладой, обещал такие уголки, где трава им повыше темени и кончиков вздёрнутых ушей, и такие реки, где чиста вода как слеза, и такой воздух, который не вдыхается, а пьётся, и самый громкий звук в этом воздухе — дремотное гудение шмеля; там, в заповедном этом краю, они будут жить, как вольные звери, одной неразлучной стаей, по закону братства, и больше никогда, никогда, никогда не служить человеку! Собаки засыпали и просыпались в жгучем томлении, предчувствуя дальнейшее путешествие, в которое отправятся утром же под руководством инструктора, — уж тут само собою решилось, что он у них будет вожаком, и даже Джульбарс не возражал, согласившись быть вторым.

А утром в прогулочном дворике в последний раз они видели инструктора. Хозяева вынесли его, связанного, и посадили в легковой «газик», крепко прикрутив к сиденью. И так как он лаял беспрерывно, рот ему заткнули старой пилоткой. Собаки посидели перед ним, ожидая, что он им что-нибудь покажет — может быть, вытолкнет кляп или освободится от верёвок, но он ничего не показал, а только смотрел на них, и по его лицу катились слёзы. Да в пору было и собакам забиться в рыданиях — не так переживали они, когда мутноглазыми несмышлёнышами их отрывали от матерей, как теперь, когда только-только поманила их новая жизнь и заново открыли они и полюбили инструктора, — и всё обрывалось, и возвращалась к ним прежняя, унылая и беспросветная, черед будней.

И впрямь осиротели они, опустела площадка. Она перестала быть местом праздника, она стала местом истязаний и тягостных склок. Приехавший вскоре другой инструктор уже ничего не показывал, а больше орудовал плёткой...

Ах, лучше не вспоминать! Шумно вздыхая, Руслан уходил из-под фонаря на тёмное крыльцо, долго устраивался там, кряхтя и скрипя половицами, и замирал наконец, чутко вслушиваясь в замирающий мир. Ночь густела, наливаясь чернотой и холодом, и вызревали всё новые и новые звёзды, мерцающие, как глаза неведомых чудищ. Впрочем, живые эти светильники были ему всё-таки больше по душе, чем ненавистная луна, от которой даже и пахло покойником; он мог их наблюдать подолгу и знал за ними одно хорошее свойство — если задремлешь и опять откроешь глаза, то застaneшь их уже переместившимися. Так судил он о течении времени — и всё отслуженное им не просто уходило зря, но отмерялось на этих небесных часах.

Бедный шарик наш, перепоясанный, изрубцованный рубежами, границами, заборами, запретами, летел, крутясь, в леденеющие дали, на острия этих звёзд, и не было такой пяди на его поверхности, где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерёг. Где бы одни узники с помощью других узников не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельно опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан — бессменный часовой на своём добровольном посту.

Он спал вполуха, вполглаза, не давая себе провалиться в бесчувствие. Голова его упала на лапы, он встряхивался в испуге — и ещё прибавлялась морщинка на крутом его лбу. Только отпускали его воспоминания — как надвигались завтрашние заботы.

4

Иногда привычный их маршрут слегка нарушался. Дойдя до станции и перед тем как свернуть к своим дурацким вагонам, Потёртый вдруг останавливался, чесал себе щеку вынутой из варежки пятернёю и нерешительно говорил Руслану:

— А сходим, проведем — может, не забыли про нас?

Руслан нехотя соглашался, и они сворачивали к станции — только не к главному её крыльцу, а к боковому,

с двумя синими ящиками по обеим сторонам двери. У этого крыльца Потёртый старательно оттопыввал снег с ботинок и косился — чисты ли у Руслана лапы. В первые разы он ещё норовил оставить своего конвоира на улице и поручить ему охранять ящик с инструментами, — Руслан эти попытки пресекал. Он поднимался за Потёртым, входил и строго ждал его в помещении, брезгуя присесть на слякотный пол. Здесь стоял густой размаривающий зной — от круглой голубой печи, занимавшей весь угол и подпиравшей потолок, — а крохотная форточка забранного решёткой окна была закрыта наглухо, а две головы за барьером ещё и кутались в толстые серые платки. Эти удивительные головы стрекотали друг с другом непрерывно и совершали зеркально-симметричные движения, подхватывая на лету семечки из подбрасываемых с пулёмётной скоростью кулачков и в них же сбрасывая ползущую изо ртов лузгу.

Потёртый бочком подвигался к барьеру, доставал глубоко из-за пазухи мятую бумажку, разглаживал её, робким покашливанием прочищал горло для вопроса. Долго его не замечали, но наконец симметрия мучительно разрушалась — и одна голова, замерев на подхвате семечка, уставлялась на него неподвижным, не моргающим взглядом, другая же — застигнутая на сбросе лузги — утирала губы тылом ладони и хмуро склонялась куда-то под барьер, почти сразу же начиная отрицающие движения из стороны в сторону.

— Пишут, — сам отвечал Потёртый извинительно и прятал свою бумажку опять глубоко за пазуху.

Впрочем, со временем они усвоили это слово и уже иной раз прямо на пороге пригвождали Потёртого, не давая повода шагнуть внутрь:

— Пишут вам, пишут!

Затем, собственно, он и приходил сюда, чтобы это услышать, и больше у него никаких тут не было дел, но он ещё долго проминался, разглядывал стены, читал, залажа руки за спину, всё, что попадалось глазу.

— Перевод телеграфный — слышь, казённый? — семь рублей стоит сотню, а по почте — только два. Ну, чо ж, правильно, время — оно деньги стоит. С Москвой поговорить — два шиисят минута. Жаль, у меня нету в Москве с кем

поговорить. У тебя тоже нету, Руслаша? А то б чего-нибудь на пять копеек нагавкали.

Особенно подолгу стоял он перед плакатом, с которого глядел мордастый румяный молодой человек с победно-язвительной улыбкой на губах, держа в одной руке серую книжицу, а другой рукой, большим её пальцем, указывая себе за спину на грудку каких-то предметов; из них Руслан смутно распознавал легковой автомобиль и кровать.

— Я рубль к рублю, — читал Потёртый, — в сберкассе коплю. И мне, и стране — доходно. Сумею скопить и смогу купить — всё, что душе угодно. Во как складно! А мы и не дотюпались. Мы чего копили? Мы дни копили, сколько там «не нашего» набежало, а для души-то надо — рубли-и! И годовых тебе пять процентов, тоже не баран чихал...

Руслан, уже головою к двери, остервенело скалился и крутил хвостом — время, время! Но выйти отсюда ещё не значило — на работу. После таких отклонений подконвойный заворачивал в буфет, вытягивал кружку жёлтопенной мерзости, в добавление к наканунешней, отчего несло из его рта совсем уж ураганно, и лишь если собеседника себе не находил, шёл наконец в рабочую зону. А иногда и не шёл. Иногда и вторую кружку вытягивал и возвращался восвояси, а тётя Стюре объяснял с виноватым удивлением:

— Вот, едрёна вошь, день какой недобычливый. Ничо сегодня не оприходовали, вот и Руслаша подтвердит. Ну, дак задел-то есть, пара досточек со вчерашнего осталась вроде.

— И хорошо, — соглашалась тётя Стюра, сама не большая любительница шевелиться. — Оно и лучше дома посидеть, чем незнамо где шакалить.

Эти вольности просто бесили Руслана. Он не терпел безответственности. Сам-то он был — весь забота, весь движение! Отхватить толику сна, раздобыть себе еды — хоть раз на дню, отконвоировать туда и обратно, да сбегать на платформу, разнюхать — кто был, что произошло за истекшие сутки, да собак по дворам проведать, узнать новости, разобраться — у кого какие предчувствия. Эти же двое — дрыхли, сколько хотели, еду себе устроились добывать из подпола да из курятника, а остальное их не трогало: и что поезда всё нет и нет, и что работа не движется, и что так нелепо, впусую

катятся его, Руслановы, дни. Но что было делать — гнать, понукать Потёртого? Сказать по совести, это не входило в собачьи обязанности, темп задавали хозяева — и когда бежать колонне рысью, и когда посидеть на снегу; тут он боялся переступить дозволенное. И оставалось одно — самому шевелиться и ждать. Ждать, не теряя веры, не отчаиваясь, сохраняя силы для грядущих перемен.

А между тем снег уже грязнел понемногу и делался ноздреватым, и от него потягивало чем-то неизъяснимо чудесным, вселяющим надежду и волнение. Всё больше влажнел воздух, и солнечными днями всё бойчее капало с крыш. Потом и ночами стало капать, перебивая Руслану сон, и посреди улицы явились проталины, вылезли на свет измочаленные доски тротуаров. Лишь в канавах, в глубокой тени заборов, снег ещё сохранялся грудками, но день ото дня слёживался, тощал, истекая лужицами, даже и не холодный на вид.

И пришла девятая весна жизни Руслана — не похожая ни на одну из его вёсен.

Ему предстояло узнать, что, когда сходят снега и лес наполняется клейкой молодой зеленью и делается непроглядным, в нём прибавляется живой еды. Мыши Руслану уже не попадались — кое-чему их научил трагический зимний опыт, а может быть, у него самого не достало опыта, как этих мерзавок нашаривать в палой листве, пружинившей под его лапами. Зато привлекли его внимание птицы, дуреющие от своих же песен, и чем крупнее была птица, тем неосторожней. Позже, когда у них с песнями пошло на спад, стали попадаться — низко в кустах или вовсе на земле — их гнёзда с продолговатыми, округлыми камушками, белыми или бледно-розовыми или голубоватыми в крапинку. В них что-то теплилось живое, и он сообразил, что это тоже можно есть, хотя оно не бегаёт и не прыгает. Он забирал их в пасть все сразу и, хрумкая скорлупою, всасывал тёплую клейкую влагу. Хозяйка этих камушков обычно старалась ему досадить, порхая над самым его носом, но её возмущённые крики не производили на него впечатления — насчёт отвлекающих маневров он кое-что знал. И всё же простой грабёж ему претил; жестокий боец, он жаждал борьбы, состязания,

не исключая и обоюдной крови. Вот даже и с барсуком можно было померяться хитростью — тут сразу понял Руслан, что этого увальня нахрапом не возьмёшь, тут надобно шевелить мозгами, а главное — не спешить, когда он вылезает в первый раз, и даже во второй — это он разведывает и может вернуться в свою нору мгновенно, а нужно дать ему насладиться тишиной и безопасностью, тем сильнее его растерянность и отчаяние, когда ты закроешь ему пути к отступлению. Никто никогда не учил этому Руслана, и многого он не знал о себе, а вот теперь открывал — к своему удивлению и радости: во-первых, сколь прельстительно добывать себе пищу клыком, не дожидаясь, что тебе её принесут в кормушке, а во-вторых, что он, оказывается, всё это умеет — подкрадываться, пластаться в траве и в папоротниках, долго таиться и нападать молниеносно, без промаха.

Ошалев от своих удач, он однажды и лосёнка рискнул завалить, ещё и за секунду на это не решаясь, — и не в том был риск, чтоб перегрызть ему слабые шейные хрящики, не получив самому копыта в бок, а в том, что мать-лосиха шла впереди по тропе, в двух каких-нибудь шагах, и застигла его на месте преступления. Сгоряча он и на лосиху кинулся — и было на волосок от того, чтоб нам здесь и закончить жизнеописание Руслана, — но спасительный голос свыше внушил ему, что он встретился с такой силой, перед которой благоразумнее отступить. Он бежал в преувеличенной панике, не забывая, однако, делать круги и не слишком отдаляясь от добычи. Ждать ему пришлось долго, и он знал, что безбожно опаздывает на службу, но тут было что-то сильнее него, сильнее долга и раскаяния. И всё-таки он дождался, когда лосиха покинула своё бездыханное дитя, — не затем дождался, чтобы сожрать, на это уже не хватало времени, а чтобы удостовериться, что он оказался терпеливее безутешной матери.

Виделся он и с хозяевами леса, о существовании которых смутно подозревал, они оказались похожими на него, но до чего же убогими! Он был куда крупнее и сразу прикинул, что с одним или даже двумя волками справится вполне, а от стаи сумеет удрать. Да и волки с ним поладили мирно — сделали вид, что не заметили.

Однако мысль они заронили в нём: он мог бы стать таким же вольным зверем, как они, и — добычливым зверем. Но не знал Руслан — и мы, грамотные, не всегда ведь знаем, — что лучше всего хранит нас от гибели наше собственное дело, для которого оказались мы приспособлены и которому хорошо научились. И то ведь шла уже вторая половина его жизни, а всю первую привык он не обходиться без людей, им подчиняться, служить им и любить. Вот главное — любить, ведь не живёт без любви никто в этом мире: ни те же волки, ни коршун в небе, ни даже болотная змея. Он был навсегда отравлен своей любовью, своим согласием с миром людей — тем сладчайшим ядом, который и убивает алкоголика, и вернее, чем самый алкоголь, — и никакое блаженство охоты уже не заменило б ему другого блаженства: повиновения любимому, счастья от самой малой его похвалы. И на свой промысел, на который ведь никто не посылал его и не хвалил за удачу, он и смотрел как на промысел, помогающий выжить и сохранить силы. Бил часовой механизм, спрятанный в его мозгу, — а вернее, по наклону солнечного луча, пробившегося сквозь кроны, необъяснимо чувствовал Руслан, что как раз его подконвойный уже продирает очи, — и возвращался, покорный долгу, прервав охоту на самом интересном.

А только доставив Потёртого до дому и давши ему с тётей Стюрой добраться до бутылки, он уже и минуты не ждал, убежал на станцию. Только он один ещё продолжал сюда являться, его одного видели путейцы сидящим на пустой платформе или оббегающим подъездные пути. Мог он дотемна сидеть у дальнего семафора, прислушиваясь к пению рельсов, встречая товарняки и экспрессы, пахнувшие дымом и пылью далёких городов. Поезда проносились мимо или причаливали к другим платформам, — он проникался к ним неприязнью и отворачивался, недовольно жмурясь, потом бежал через всю станцию к другому семафору и там опять сидел, встречая другие поезда, привозившие с собою едва уловимый, но такой возбуждающий запах океана.

Иногда, в полудремоте, эти запахи — неведомых городов и никогда не виденного океана — начинали его томить, он мучился искушением отправиться наугад вдоль рельсов,

за тот или за другой семафор, и бежать, сколько сил хватит, покуда он не увидит, что же его манило. Но он не знал, сколько придётся бежать — целый день или целое лето, а в это время мог прийти тот единственный поезд, которого он ждёт.

С высокой платформы он видел крыши посёлка, громоздившиеся пёстрой коростой, и колокольню с крестом, на который всякий раз напарывалось закатное солнце. В эти часы, необъяснимо тревожные и печальные, Руслана охватывало беспокойство, он принимался без причины скулить, к чему-то судорожно принюхиваться, а стоило ему закрыть глаза и положить голову на лапы, как его обступали видения. Станные это были видения. Во все его лагерные годы они являлись к нему в тёмную его кабину — и вовсе не были сном, сны не так часто повторяются и не так хорошо помнятся.

Иногда он видел себя посреди широкой горной долины, по брюхо в густой траве, обегающим овечьё стадо. Розовосиние горы понемногу уплывают во тьму, от них веет влажным ветром и какой-то напастью, и овцы жмутся друг к другу, а он успокаивает их — низким и хриплым лаем. Обежав огромный круг, он подходит к костру, садится рядом с пастухами, как равный, и подолгу смотрит в огонь, не в силах оторваться от его изменчивой таинственной игры. И пастухи обращаются к нему, как они говорят друг с другом: «А вот и Руслан...», «Отдохни, Руслан, набегался...», «Поешь, Руслан, там осталось на твою долю...». И он принимает их уважение как должное, потому что они ведь не обойдутся без него. Он первым почует волка и встретит его, как подобает овчарке, — не лаем, только бы показать свою старательность, а клыками и грудью, чувствуя за собою тепло костра и людей, которые всегда придут на помощь...

...В знойный полдень он сбегал к реке вместе с босоногими ребятами; они бросили в воду палку, и он плывёт за нею, разбрызгивая вязкую неподвижную воду, а потом лежит, вытянувшись как мёртвый, смежив глаза от солнца, и они ложатся рядом с ним мокрыми животами на песок, треплют ему шерсть, вычёсывают клеща, впившегося в горячее набрякшее ухо. Накупавшись до синевы, они поднимаются лениво по косогору, и он идёт поодаль, довольный

и гордый тем, что, пока он с ними, их не коснётся никакое зло — ни змея, ни бодливая корова, ни бешеный пёс.

...Синим морозным утром в тайге, утопая в сугробе, он бросался на помощь хозяину, которому пришлось туго, вцеплялся в зад медведю и держал насмерть, а когда ему самому приходилось туго, хозяин выручал его, добывая зверя ножом и прикладом. И первый кусок, сочащийся тёплой кровью, доставался ему, и они возвращались с тяжёлой добычей, кое-где пораненные, кое-как залеченные и полные взаимной любви...

Во всём непременно была любовь — то к пастухам в чёрных косматых шапках, то к ребятишкам, то к этому узкоглазому плосколицему охотнику.

Но где же он видел их, откуда брались эти видения? Во всей его жизни, вот до этой весны, никогда не было ни гор, ни овец, ни реки, затенённой плакучими берёзами, ни зверей крупнее кошки. Всё, что он знал отроду, — ровные ряды бараков, колючая проволока в два кола, пулемёты на вышках, левый сапог хозяина. Может быть, эти видения, невесть откуда взявшиеся в глухих тайниках его памяти, достались ему от предков — степных волкодавов, зверовых лаек, лохматых овчарок горных долин, которые в конце концов породили его и вместе с ростом, силою и отвагой передали и то, что каждому из них пришлось изведать? Но зачем это ему — чтоб мучился он и искушался непрожитыми жизнями? Или он был всего лишь звеном в бесконечной цепи, и эти мучительно сладостные видения вовсе не ему предназначались, а тем щенкам, что родились от него и ещё родятся?

Но в этих видениях и ему была радость, он бережно их покоил в душе, боясь потревожить их течение, среди трудного своего дня предвкушал минуту, когда останется наедине со своими живыми картинками. И порою ему казалось: всё это происходило с ним до лагеря, до питомника, до того, как он стал себя помнить, — и он об этом мечтал как о прошлом, которым стоит гордиться. Но часто и как о будущем мечтал, которое непременно наступит, — и нехитрые эти мечтания озаряли ему жизнь, наполняя её высоким смыслом. Из-за них не сбесился он, не зачах с тоски, не уморил себя

голодом и только однажды сунулся под пули хозяев, — а ведь это сто раз могло случиться с ним, внуком овчарки, которому выпало на роду пасти двуногих овец.

Хозяин, который хорошо знал Руслана, знал его нрав и способности, всё же не разгадал его главной загадки, не проник никогда в тайное тайных, которое Руслан ни за что б ему не высказал, если бы и сумел высказать. Инструктор, сказавший, что служба не всегда права и надо на всё смотреть как на игру, стоял хоть и поближе к истине, но только на поддороге. А вся истина и вся отгадка Руслана была не в том, что Служба для него хоть в чём-нибудь могла быть неправой, а в том, что не считал он своих овец виноватыми, как считали Ефрейтор и другие хозяева.

Да, говорила ему наука, что люди, отделённые от него проволокой, — злые, чужие, нехорошие; а ещё он слышал, что они «суки», «сволочи», «курвы» и «фашисты», — от одного свиста, шипения и рыка этих слов загривок у него дыбился и в горле вскипало рычание. Да, помнил он хорошо, как они ему, подпёску, давали отведать горчицы, и кололи ухо иглой, и палили в морду из большого дурацкого пистолета, и колотили по спине бамбучиной. Детство они ему крепко испортили, он только и ждал, когда вырастет и ужо до них доберётся. Но когда вырос он и мог бы свалить любого из них, он как-то не обнаружил своих обидчиков среди всей оравы, — а хотелось именно тех найти, кого он запомнил. Похожие на них вызывали злобу всё-таки меньшую, да и к тем кретинам она понемногу начала остывать: как ни горячил он себя воспоминаниями, а чувствовал всё больше удивление — до чего же глупыми, жалкими казались теперь их пакости, просто недостойными двуногих. Один тебя дёргает за хвост, а другой из-под носа тащит еду — зачем, спрашивается? Чтоб самому её съесть? Если бы так, он бы их понял... Но он уже начал догадываться, что не всё у них ладно в том месте, которым они думают, даром ли хозяева не считали их за людей. И право, чего же ещё было ждать от них — бедных, помрачённых разумом! И можно ли таких ненавидеть? Скорее он мог презирать их — за вечные их дрызги и друг перед другом страх, за то, что никогда ничем они не были довольны и, однако, стерпчивали нестерпимое, за то, что и на краю

могилы не впивались они в горло своему палачу. Но хоть жалел он их в такие минуты, когда так покорно давали они себя мучить или убивать? Об этом спросите овчарку, которой случается видеть, как режут столь ею бережно охраняемых овец. Зрелище это, верно, тоскливо для неё, но не перестанет же она из-за этого любить хозяина. Да ведь и овцы против этого не возражают — так мудро-обречённо, так изнеможённо-нежно, со светлой печалью в глазах откидывают они голову, подставляя горло под нож.

И что же — все собаки были тут заодно с Русланом? Этого не знал он; когда вся стая служит ревностно общему делу, особенной откровенности не бывает. Но по крайней мере Джульбарс — он-то, свирепейший, дай только волю, наверняка бы загрыз какого-нибудь лагерника насмерть? И это — как знать. После собачьего бунта его ото всех выделили, стали водить на цепи — и большей славой не могли наградить Джульбарса! Теперь по всякому поводу этот кандальник тряс башкою и устраивал переливчатый звон, напоминая об особой своей участи. Но странно — то ли подобрел он вдруг, достигши наконец неоспоримого отличия, то ли обалдел от зазнайства, а только уж как-то не выказывал своей знаменитой злобы. И верно, к чему выматываться, когда за тебя говорят вериги!

А всё же бывали минуты, когда они яро ненавидели своё стадо и страшились его панически, до обморока. Это когда распахивались по утрам главные ворота и лагерная вахта передавала колонну в руки конвоя. Собак уже заранее била дрожь, они впадали в истерику, захлёбывались лаем. Ведь крохотная горстка против огромной толпы, которой что стоило разбежаться — в открытом поле, на лесной просеке. «Бежать, бежать!» — так и слышалось в их дробной поступи, разило от их штанов и подмышек, грозовым облаком реяло над головами; и каждая шерстинка на Руслане насыщалась электричеством, готовая растрещаться искрами. Вот сейчас это случится, сейчас они кинутся врассыпную — и он оплошает, сделает что-нибудь не так. Но понемногу передавалось ему спокойствие хозяев — они-то, высшие существа, хоть и обделённые нюхом, знали всё наперёд: ничего не случится, ничего такого уж страшного. И точно, запах бегства

выветривался скоро, а сквозь него уже пробивался другой, всё густеющий, набирающий едкости, чесночный запах страха. Им тянуло откуда-то снизу, от ног, которые уже спотыкались, отказывались бежать, отказывались нести ослабшее, повязанное нерешительностью тело. И у него отлегалось от сердца, и вот уже собаки весело переглядывались, развесив длинные языки, не скрывая жаркой одышки, — пронесло!.. Просто этим больным опять что-нибудь померещилось, всё та же ими придуманная лучшая жизнь; скоро это пройдёт у них — вот даже вечером, после работы, о бегстве и мысли не будет, только бы до тепла добраться. Но сколько же с ними муки, сколько хлопот они доставляли своим терпеливым санитарам с автоматами и их четверолапым помощникам!

Только редкие выздоравливали, — и Руслану случалось видеть, какими их выпускали из этого санатория: тихими, излучавшими ровный свет. Свою злобу они оставляли у ворот и говорили вахтёру со слабой улыбкой, всегда одинаково, как пароль:

— Дай Бог, не встретимся.

— Бывай! — звучал отзыв, отрывистый и чёткий, как команда. В нём слышалась уверенность, что болезнь не повторится. — Поправляйся, доходяга!

Но вот, когда уже несколько случаев накопилось исцелений и когда явились надежды, что эти люди забудут и своё буйство, и драки, и свои глупые мечты и станут все сплошь тихими и просветлёнными, они вдруг взяли и убежали разом. Об их вероломстве он думал теперь беззлобно, жалел, что они так неразумно поступили, не поняли, где им по-настоящему хорошо. Сам он о лагере вспоминал только хорошее — и разве не было его там? Пожив на воле, он мог уже кое-что и сравнить. Там не были люди равнодушны друг к другу, там следили за каждым в оба глаза, и считался человек величайшей ценностью, какой и сам себе не казался. И эту его ценность от него же приходилось оберегать, его же самого наказывать, ранить и бить, когда он её пытался растратить в побегах. Всё-таки есть она, есть — жестокость спасения! Ведь рубят же мачты у корабля, когда хотят его спасти. Ведь кромсает наше тело хирург, когда надеется

вылечить. Жестокая служба любви — подчас и кровавая — досталась Руслану, и нёс он её долгие годы изо дня в день без отдыха, — но тем слаще она теперь казалась.

А поезда всё обманывали его — и самая сильная вера когда-нибудь же перегорает! Соотнесём наши бледные, размытые годы с кратким собачьим веком, куда плотнее набитом событиями, и выйдет, что не одну зиму и весну прождал Руслан возвращения Службы, а может быть, четыре или пять наших зим и вёсен. И всё больше вживался он в свою охоту — со страстью, с яростью, доходившей до безумия. В сумрачном лесу, с его голосами и запахами, он становился другим, сам себя не узнавал, — и кто знает, догадайся Потёртый однажды взять ружьё и пойдя он тропкою Руслана, может быть, всё и повернулось бы по-другому меж конвоиром и подконвойным; там, где такой нелепой кажется наша неумелая суета, называемая жизнью, сбросили бы они эти обличья и стали бы просто Человеком и Собакой, в чём-то ведь и равными друг другу. Но Потёртый не догадывался или не имел ружья, он всё строил свой нескончаемый шкаф и отношений с конвоиром менять не собирался. В эти же дни тоска по иному, чем он, существу, хоть той же, что и он, крови, охватила Руслана с неожиданной, давно не испытываемой силой, — он разыскал Альму и поманил её на свой промысел. Альма с ним добежала до опушки леса, а там постояла и вернулась — у неё свои были заботы, щенки от белоглазого. А не окажись у неё никаких привязанностей в этом чужом для них посёлке — может быть, поглотили бы их обоих леса и уже бы не выпустили?

Обо всём этом мы можем только гадать. Но, встретив Руслана возвращающимся из лесу, бегущим по середине улицы мерной размашистой рысью, мы б его увидели поистине преображённым, во всём его матёром совершенстве, в зверином великолепии. И чувствовалось по жёлтому мерцанию его глаз, что он сам понимает, как он хорош, сам с гордостью ощущает и налитую тяжесть своих лап, и свой лоснящийся пушистый панцирь, и как плотно теперь сидит на нём ошейник. Вбегая во двор — вкрадчиво-пружинистый, пахнущий лесом, землёю, кровью живой добычи, — он своим

жарким дыханием нагонял страх на Трезорку, и тот опрометью кидался под крыльцо, всерьёз опасаясь, что охота будет продолжена во дворе. Он зря опасался: при всех различиях Руслан всё же принимал Трезорку за подобного себе, и от природы было ему запретно заниматься охотой на себе подобных — этим любимейшим занятием двуногих, гордых тем, что покорили природу. Сказать же ещё точнее, так в поле зрения Руслана, в мире его ответственного служения и гордой независимости, просто не было места Трезорке с его ничемными заботами. Руслан себе и не представлял, что хоть чем-нибудь осложняет Трезоркину жизнь, покуда сам Трезорка об этом не напомнил.

Тётя Стюра задала корм своим курам и ушла в дом, оставив дверцу курятника открытой. Руслан услышал квохтанье, тёплый, разнеженный ропот и двинулся туда не спеша. Никакие соображения греха его душу не омрачали, а добыча была отменно хороша, уж это он проверил на опыте с глухарями и тетёрками. Неожиданно, неслышно что-то оказалось на его пути, он споткнулся и поглядел с удивлением на странное, нелепое существо, которое ему сказало «Ррр» и оскалило мелкие зубки, — а одновременно виляло ему хвостиком и крупно дрожало, сотрясаясь в смертельном страхе. Трезорка и плакал, и уговаривал его не двигаться дальше, и угрожал — чем же? Что придётся сперва его сожрать на этом пороге? Ну, это, впрочем, было необязательно, Руслан бы его попросту отшвырнул лапой, однако он помедлил, склонив в раздумье тяжёлую голову, и — вернулся на место. Может быть, он задумался о существовании долга, ведь он когда-то сам бывал часовым и мог понять другого на таком же посту, хоть был этот другой ничтожен с виду.

Трезорка едва перенёс такое переживание, он пал на брюхо, закрыв глаза, и долго отдышался, как после изнурительного бега. А Руслан с этой минуты только и пригляделся к нему, и был поражён — каких же трудов стоила Трезорке жизнь, сколько же хитрости, сноровки да и мужества она от него требовала. Трезорка жил в краю, где любовь к существу выражается иной раз с помощью камня или палки или пинка ногою и где он имел столько же шансов выжить не сломленным, сколько насчитывал сантиметров роста. А всё же не

стал он ничтожеством, торопящимся лизнуть побившую руку, ни разу не встретил брошенный в него предмет влиянием хвоста, но с яростным лаем «прогонял» обидчика до угла, хоть и не смея приблизиться и напасть. А подумать, так по иным статьям он бы не сильно и проиграл прежним товарищам Руслана, а может статься, и превзошёл бы их.

Руслан всё реже с ними встречался, но чтобы знать — и необязательно встречаться, собачья газета пишется в воздухе, она печатается на заборах и столбиках — и сколько же заурядной чепухи, сучьих сплетен он мог из неё вычитать! Дик опять попался на воровстве, бит шкворнем от навозной тачки, ослепшая Аза уже не стыдась побирается у булочной, Байкал недурно устроился — в гастрономе, при мясном отделе, но попробуй сунься, своего порвёт и т. д. и т. п. Поначалу их дразги бесили Руслана, повергали в отчаяние, но потом он перестал на них и откликаться. Всё было естественно, всё по-собачьи понятно. Сколько б они ни кичились, сколько бы ни хвастались новыми хозяевами, а ведь служили-то они скверно. Не такие же они дураки, чтоб не понимать этого. Нынешние хозяева держали их за грозный вид, за металл в голосе, за кристальную ясность взгляда и готовность напасть на кого прикажут, — да только на всё-то им нужен был приказ, а хриплоголосый никудышный Трезорка сам разбирался, что к чему. Они, например, признавали одного хозяина — мужчину, чада же его и домочадцы уже не могли к ним приблизиться, Трезорка же за хозяина держал тётю Стюру, но и Потёртому был не прочь послужить, пока тот имел здесь влияние. Имевших влияние прежде, ещё до Потёртого, деликатно не замечал; лучше, чем сама тётя Стюра, различал верных её приятельниц и тайных врагинь — каждой своё полагалось приветствие или не полагалось вовсе; видел разницу между уклончивыми должниками и настырными кредиторами — первых следовало шутливо обтявкать и заманить во двор, вторым — не показываться на глаза. А ведь никто этого не объяснял Трезорке, просто он был на своём месте. Все «казённые» давили цыплят без совести, а после битья уразумели, что это грех, и уж на курятник не глядели. А Трезорка приглядывал и сам не давал цыплёнка в обиду, потому что знал: в первую голову подумают на него.

Он понимал, как выгодно быть честным, но и как мало одной твоей честности, — нужно ещё исключить возможность подозрений. Он понимал, что если тебя неожиданно пустили в комнаты, так же неожиданно и погонят, а потому не залёживайся и не чешись при гостях, а если невтерпёж — залейся лаем и беги на двор, как будто учуял подозрительное. И не нужно делать вид, будто тебе нипочём, если щёлкают по носу, наоборот — рычи и кидайся, безобидных любят, но пуще любят их щёлкать. Трезорку учила жизнь, она его колошматилла и ошпаривала, до обмороков пугала консервными банками, привязанными к хвосту, опыт был суров и порою ужасен, но зато — собственный опыт, зато Трезорка ни у кого не занимал ума, не заморочил себя наукой, которую преподают двуногие к своей только выгоде, а потому сохранил и уважение к себе, и здравый смысл, и незлобивый нрав, и неподдельное сочувствие к таким же трезоркам, полканам и кабысдохам. Сплетник он был и хвастун — каких поискать, но не допустил бы никогда — знать, что где-то можно подхарчиться, и никому о том не сообщить. А вот ведь Руслан никого, кроме Альмы, не позвал на свою охоту. Они привыкли, что еды было вдоволь и никогда не приходилось им есть вдвоём из одной миски — это нервирует, но и приучает к солидарности.

Неисповедимы пути наших братьев, и не исключается, что, поживи здесь Руслан ещё лето, узнал бы он много такого, о чём и не подозревал в своей служебной гордыне, и, проснувшись однажды, почувствовал бы себя вполне своим — и этому двору, и посёлку, и Потёртому с тётей Стюрою. А она, продолжи свои попытки накормить его тёплым супом с костями, могла бы, наверное, добиться успеха. Не вечно же ему было выказывать своё недоверие, и мог бы он заметить, что вот ведь Трезорке её варево несколько не покреждает.

Да неисповедимы и наши пути. Однажды те две стреко-тухи, что говорили Потёртому: «Пишут вам, пишут», вдруг этого не сказали, а выбросили ему на барьер грязно-белый захватанный треугольничек. Потёртый взял его обеими руками осторожно, с опаскою, будто в нём что-то могло взорваться и хорошенько фукнуть в глаза, — о, с этими штуками

Руслан имел дела на занятиях по недоверию к несъедобным предметам. На улице треугольничек развернулся в лоскут, страшного в нём не оказалось, но поражающее действие он возымел на Потёртого — тот как-то странно обмяк и опустился на крыльцо.

— Вот эт-то номер! — сказал он Руслану. И Руслан мог увидеть, что глаза ему всё же слегка обожгло. — Такой, брат, номер, ты не представляешь...

Пойми-ка их, помрачённых, отчего они вдруг преображаются? Сколько на них ни ори и ни лай — ведь не расшевелиятся, но, может быть, надо каждому раздать по бумажке с лилово-серыми закорючками — и они будут смеяться и всхлипывать, кусать губы и ударять себя по коленкам, а потом ощутят прилив невиданной энергии. По всем правилам — а для Руслана всё становилось правилом, что повторилось хоть дважды, — от этого крылечка полагалось бы подконвойному устремиться в буфет и там до икоты налакаться жёлтого, а он пошагал в рабочую зону, да как ещё резво! И какие там показывал чудеса сознательности — планки так и вспархивали под его руками, все перекуры — на ходу, а домой он просто скакал по шпалам с изрядной связкой на плече и пел уже что-то новенькое, бодрое, с выдохом на прыжке:

Я рубль
к рублю
в сберкассе коплю!
И мне,
и стране
доходно!

О таком подконвойном только мечтать было, с таким подконвойным — жить да радоваться! Но, к сожалению, их походам уже наступал конец. Ещё раза два они сходили и принесли немалые охапки, а потом Потёртый накрепко засел в доме и занялся там неизвестно чем, сунуться не стало возможности: такая оттуда потекла вонища — приторно-пьяная, выедающая глаза и горло. Тётя Стюра открыла настежь все окна, и вонь растеклась по двору. Трезорка чихал и плакал,

убегал отдышаться в чужие дворы, а Руслан предпочёл отнести свой пост на другую сторону улицы. Тут были, конечно, не просматриваемые зоны, и под завесою своей вони подконвойный вполне мог уйти через забор, но, к счастью, он себя непрестанно выдавал голосом. С утра, оставшись в доме один, он там блял, крихтел и рычал, сам себе задавал грозные вопросы: «Это кто делал? Я спрашиваю — вот это кто грунтовал? Не сознаёсси, падло? Руки б тебе пообрывать!» — а то, напротив, очень довольный, пел дребезжащим, на редкость противным тенорком: «У ва-ас, поди, дувно-огая жена-а!..» Когда же возвращалась тётя Стюра — из какой-то своей рабочей зоны, — немедленно у них начался ор:

— Сколько ты ложишь? Ты уж десятый, не то пятнадцатый слой ложишь! Кончай это дело, ну ты в болото, продыхнуть нечем!..

— Зато ты увидишь, Стюра! — кричал он торжествующе. — Ты увидишь: от нас с тобой следа не останется, сгнём вчистую, но за такую вот политурку — косточкам моим не будет стыдно!

По вечерам же у них наступала необычная тишина, они полюбили подолгу стоять на крыльце рядом, облокотясь на перила, изредка перекидываясь словами, отрывистыми и утопающими в шёпоте, точно у заговорщиков. Эти двое что-то замыслили — и Руслан терялся в догадках.

Но вот явилась возможность подступиться к ним. Великая деятельность подконвойного прошла обвалом, и сам он сидел живым обломком этого обвала — расслабленно-добрый, с бледным осунувшимся лицом, медленно разминая папироску слипающимися пальцами; в растерзанном вороте белой рубахи, заляпанной чем-то красно-коричневым, виднелись потные выпуклые ключицы. Тётя Стюра, утвердив руку на его плече, высилась над ним — величественная, но несколько грустная, с влажным таинственным блеском в глазах. На ней было нарядное голубое платье, которого Руслан ещё не видел, с короткими рукавчиками и кружевом на груди. Платье ей жало, то и дело она его оттягивала книзу и поводила плечом. От тётки Стюры терпко, убойно пахло цветами.

— Руслаша, жив ещё? — спросил Потёртый. Будто Руслан никак не должен был выжить от его едкой гадости. — Расставаться нам с тобой пора, хочешь не хочешь. На поезде завтра — ту-ту!.. А то, может, вместе? Поди-ка, на тебя и билета не спросят. А дорожка — тебе незнакомая, долгая, за трое суток насмотришься, сколько за всю жизнь не повидал. Как ты на это дело?

Но сам-то Потёртый, говоря это, не видел сейчас ни этого поезда, ни дороги, и поэтому не увидел их Руслан, для него речи подконвойного остались пустым набором невнятных звуков.

— Ещё задумал! — сказала тётя Стюра. — Пса с собой возьми. Неизвестно какого.

— Почему ж неизвестно? Казённого. Вроде трофея. Другие с войны шмотьё везли, аккордеоны, надо ж и зэку * трофей какой привезти. Так соглашайся, а? — Какая-то лукавая мысль вползала в его голову, ещё, впрочем, не отуманенную. — Приедем — народ повеселим. Покажем, как мы с тобой ходили, с чем их, наши срока, лопали. Там этого отродясь не видели, расскажешь в бане — шайками закидают, не поверят. Только ты меня по всей строгости веди: шаг вправо, шаг влево — рычи, не давай поблажки. А то так — за ногу, это мы стерпим.

А вот эту их прогулку Потёртый себе представил ясно, и представил её Руслан, понявший наконец, чем же так тяготится его подконвойный. И тётя Стюра увидела картину, которую и не чаяла когда-нибудь увидеть, — Руслан, склонив голову, качнув хвостом, приблизился к Потёртому и ткнулся лбом в его колено. Он приник к этой истрёпанной

* Обидно думать, что слово «зэк» может войти в мировой словарь необъяснённым. Между тем объяснение есть. Вдохновенный создатель Беломорканала именовался официально — «заключённый каналоармеец», сокращённо — з/к, множественно — з/к з/к. Отсюда зэки дружно понесли своё прозвище на другие работы и стройки, где и каналов никаких не было, и тупая машина десятилетиями так их называла во всех документах, — должно быть, и сама позабыв, при каких обстоятельствах из неё выкатилось это зубчатое «зэ-ка». Истинно, бессмертен тыняновский подпоручик Кижее!

штанине, как прикинул к шинели хозяина, когда хотел напомнить, что вот он рядом и всегда готов прийти на помощь, но тут ещё были признание и просьба, с которыми как будто и немислимо караульному псу обратиться к кому бы то ни было, кроме хозяина: «Я тоже устал этого ждать, но — потерпи. Потерпи!»

— Смотри, привыкать начал! — сказала, изумясь, тётя Стюра.

— Что же он — не живой? Ему, думаешь, так просто расставаться? А ведь тоже, поди, чего-то соображает! Башка-то здоровая, что-то ж в ней есть. Ты не гони его, он пёсик с мечтой, ещё перекуётся. А я приеду — увидишь, как он меня встретит.

Рука его легла на прижмуренные глаза Руслана. Приторной гадостью так от неё разило, что голова кружилась. Ну, и была это уже вольность, непозволимая даже примерному лагернику. Высвободясь, Руслан ушёл за ворота и лёг там на тротуар. Всё же он думал о подконвойном растроганно и язвясь упрёком себе — за нелепые свои подозрения. Так долго стерёг он эту отбившуюся овцу, а она-то спала и видела, как бы ей возвратиться в стадо!

И на весь следующий день был снят бессменный караул. Ревностный конвоир дал наконец и себе полную свободу. Он вдосталь наохотился, набегался по лесам, всласть належался на солнышке — изредка лениво, с чувством собственника, поглядывая с вершины холма на раскинувшийся посёлок: где-то там, в одном из этих симпатичных домиков, сама себя стерегла его главная добыча, бесценное его сокровище. Но часовой механизм, скрытый в его мозгу, лишь казался выключенным; он отсчитывал время свободы, но с прежней неумолимостью, и в предзакатный тревожный час подал Руслану слабый сигнал, чуть слышный толчок в сердце. Что-то было не так. Слишком всё хорошо. Так хорошо, что этого просто быть не может.

Спускаясь с холма, он пытался вспомнить, что же его могло насторожить. Невиданной голубизны платье тётя Стюры? Грустный прощальный блеск в её глазах? Пожалуй, вот этот блеск, только не прощальный он, а обманный! Всегда отчего-то грустят двуногие накануне своего предательства.

Если вспомнить получше — по-особенному печальны глаза лагерника, за которым завтра помчишься по тревоге в погоду. Грустные ласковые предатели, они усыпили его!

Ему не пришлось сворачивать с главной улицы — их следы выходили из переулка и удалялись к станции. И совсем недавно они здесь прошли — ещё не развеялись его приторная дрянь и её цветочная терпкость. Запах своего бегства они заглушили этим букетом — и неплохо придумали, это покрепче махорки! Но одну ошибку они всё же совершили, и она не даст им далеко уйти: тётя Стюра наде-ла новые туфли — и тоже тесные, шла она в них весьма тяжело, а Потёртый как ни нервничал, но приноравливал к ней свой шаг.

Он разыскал их в дальнем конце перрона — и пыл погони слегка поуяс. Он ждал застать их в смятении, пугливо озирающимися, они же сидели на скамье согбенные и почти недвижимые. Его, примчавшегося с жарким дыханием, они вовсе не заметили. Скрытый фонарным столбом, он прошёл вдоль сетчатой оградки, крашенной в серебрянку, и лёг позади скамьи. Отсюда видны были только их ноги — Потёртый сжимал ими солдатский мешок, туго набитый, тётя Стюра высвободилась из тесных своих туфель и шевелила пальцами. Зато слышал он каждый их вздох и лёгкую хрипотцу в голосе — и вот что уловил скоро: они не собирались бежать вместе.

— На телеграммы не траться, — говорила она. — Ну их в болото, я эти телеграммы на дух не переносу. А напиши поподробней. Ну, уж заставь себя.

— Сразу, как приеду, — напишу.

— Да сразу-то — зачем? Обсмотришься сперва, найди их. Ещё, может, и не найдёшь — всякое ж могло быть. А найдёшь — тем более не до меня будет. Но хоть через месяц вспомни, а то ж я буду думать — под трамвай попал.

— Я напишу, напишу, — повторял он тупо. — Ты не скучай, ладно?

— Да постараюсь. Особо и некогда будет скучать. Я тебе говорила или нет? — уже объявили нам: всю контору туда переводят, где твой лагерь был. Большие дела намечаются. Со следующего месяца обещают автобус пустить. Туда да

обратно, да во дворе немножко управиться — смотришь, время и заполнено. Так что, если вернёшься, меня случаем не застанешь — знай, где искать.

Он слушал, чертя по асфальту ботинком, на который, наверно, смотрел.

— Стюра, — перебил он её, — знаешь, я набрехал тогда, что сон видел.

— Ну? Какой сон?

— Будто приснилось мне, что все мои живы и ждут меня. Ничего не сон. А я письмо получил.

Она перестала шевелить пальцами.

— Я тебе про соседа, помнишь, рассказывал? С которым в пересылке встретились. Вместе и сюда ехали, в одном вагоне. И тут вместе, почти до звонка, он на шесть месяцев раньше освободелся, по инвалидности сактировали. Ну, тут не знаю, кому больше повезло. Специальность у него хреновая — формовщик по фасонному литью. А где его тут возьмёшь, литьё, да ещё тебе фасонное! Так всю дорогу — на общих, из лесу не вылезал, килу * оттуда принёс. А я всё же — по хорошему дереву, иногда мебелишку начальнику сообразишь, я же и драпировщиком тоже могу, — ну, так и вытянул, не загнул. Но настоящей работы никому не делал. Хрена вот вам, паскуды!

— Ты не вспоминай. Тебе жить надо, а не вспоминать. Так что — сосед?

— Так вот, от него я письмо получил.

— Какой ты! — сказала она с обидой. — Разве я враг тебе? Ну, и сказал бы сразу, что письмо. Это же лучше — что письмо. Зато ж ты теперь точно знаешь, что не зря вся поездка.

— Этого не знаю. Я не просил его говорить, что я живой. А просто чтоб намекнул — мол, всякие случаи бывают, иногда и возвращаются. Н-да. Заохали. Забеспокоились.

— Ну, естественно! Обрадовались.

— Нет, этого не пишет, что обрадовались. А пишет — учти, твоя старшая в институте учится.

— Такая уже большая?.. Ну, поздравить можно. Чего ж тут плохого?

* Грыжа. Так говорят о тяжёлой её форме.

— А вот про анкету, чего она там написала, это ему не удалось узнать. Не говорят.

— Да теперь не так их и спрашивают. С нами даже беседу проводили в конторе. Смотрят, но не строго. Ты не волнуйся. Ты скажи — его-то как встретили?

— Про себя-то он больше всего и пишет. Да всё — полагерному, при дамах даже не повторишь.

— Сволочи! Ну какие ж сволочи!

Он вздохнул протяжно.

— Тоже я их понимаю. Сами неизвестно как с жизнью справляются, а тут он ещё прикатил — с килой своей да с освобождением, не знаешь, чего хуже. Вот я что думаю — не покажусь я им сразу. Издаля, по-тихому присмотрюсь. Опять же, соседа вызову, посоветуемся.

— Много он тебе насоветует! Я же всё-таки умная, я же не зря спросила — его как встретили. Нарочно он тебя страшит, за компанию. А у него — своё, ты к себе не примеряй.

— Не-ет, это раньше так было: у каждого своё. А сейчас у нас с ним одно, а у них у всех — другое.

Из того, что говорилось, Руслан выловил, что Потёртый уже раскаивается в своём бегстве, уже бы и вернулся, пожалуй, когда б она его не подначивала, — и как же он сам был прав, как осмотрителен, что не соблазнился её супами! Но ей что-то плохо удавались её подначки, или она не слишком хотела, чтоб удались, — с каждой минутой Потёртый всё больше чувствовал привычный ослабляющий страх, этот беспоконный ботинок выдавал его всего.

— Если бы раньше, Стюра. Если бы раньше!.. Вот не поверишь: получил — обрадовался, а потом все силы куда-то девались. На шкаф этот ушли?

— Да при чём шкаф? Да пропади он...

— Да, не то говорю. Ещё бы раньше.

— Раньше — когда освободился? Ну, это уже я виновата. Было б мне, только ты явился: «Хозяюшка, нет ли какой работы?» — сразу тебе и врезать: «Иди отваливай! Вот тебе на билет, сколько не хватает; пропьёшь — не заявляйся, убью кочергой!»

— Драпануть надо было с полсрока, вот когда «раньше». Неужели же обязательно — чтоб догнали?

— Ты-то бы наверняка попался.

— Да не страшно — попасться, а что — не дойдёшь. Сгинешь напрасно, как тварь лесная, ползучая. Ведь до дому не дошлёпаешь, чтоб где-то не пересидеть, а мне только домой и хотелось, больше никуда. Своих бы только увидеть глазами. Письма посылаю — нет ответа. Вишь ты, тит его мать, улицу переименовали: то была Овражная, теперь она — маршала Чойболсана. И номер другой, там половина домов сгорела в оккупацию. Так я и говорю — своих увидеть, а там — берите, мотайте ваши срока, да хоть вышку! Но знать бы, где пересидеть, кто бы пожрать дал, на дорожку бы ссудил малость, я б ему отработал. Не ко всякому же постучишься — и чтоб живая душа оказалась! Знал бы я, что ты тут рядом, под боком, можно сказать, жила...

— Ты опять не то говоришь, — сказала она с тем вскипающим раздражением, с которого начинались их ссоры, доходившие до крика. — Теперь уж совсем не то. Хочешь, я скажу? Жила — только с кем? Нет, это ты не сомневайся — пустить бы пустила. И пожрать бы дала. И выпить. Спал бы ты в тепле. А сама — к оперу, сообщить, вот тут они, на станции, день и ночь дежурили.

— Так бы и побежала?

— А как думаешь? Люди все свои, советские. какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо.

— Да кто ж понаделал, Стюра? Кто это смог?

— Не спрашивай меня. Я тебе не отвечу. Сказала — и хватит. Сказала — чтоб ты знал — ничего бы у тебя тут раньше не вышло. Успокоила тебя? Ну вот, теперь езжай смело.

Поезд уже показался в вечерющей дали. Немногие отъезжающие потянулись к краю платформы. На станции ударил колокол.

Тётя Стюра поднялась первая и крепко потопала своими туфлями. Потёртый вставал медленно, как бы отклеиваясь от скамьи, с той неохотой в ногах, с какой поднимается от костра угревшийся лагерник на работу в мороз. Да он точно бы и вправду мёрз — в зимней своей шапке и пальто, наглухо замотанный шарфом. Она ему помогла с мешком и торопливо обцеловала лицо. Он её обнял судорожно, уронив мешок

с плеча на локоть. И едва он влез на подножку, как вдоль состава загрохотала сцепка и дёрнуло вагон. Потёртый обернулся — испуганный до бледности, до пота на висках, до безумных глаз.

— Стюра!..

— Ничего, ничего. — Она пошла рядом с вагоном. — Я Стюра. Держись давай крепче.

Руслан, вывалив от духоты язык, скопился им вслед. В своей венценосной спеси мы если и зовём их братьями, так только меньшими, младшими, — но любой из нас, из больших, из старших, что бы сделал, окажись он в Руслановой шкуре и на его посту? Он бы кинулся следом? Он бы догнал и стащил подконвойного за полу? Распластал бы его на асфальте, свирепо рыча? Уже та подножка, где стоял Потёртый, поравнялась со станцией, уже тётя Стюра устала идти за поездом и повернула обратно, — чёрная и плоская, как мишень, неся на плече багровый закатный шар, — а Руслан всё лежал и ждал чего-то, не чувствуя Потёртого отъехавшим, потерянном для себя. Когда полетел и шлёпнулся мешок, он уже мог и отвернуться, мог дальше не смотреть, как она подошла к Потёртому и, чертыхаясь, помогла ему подняться на ноги и как они опять обнялись на опустевшем перроне, точно бы встретясь после разлуки.

Она подвела его к скамье и усадила, а сама стояла перед ним, качая головой и досадливо хмурясь. Потом сняла с него шапку и расстегнула пальто.

— Ну, посиди, посиди. Вот бестолковый — сдали бы раньше билет. Ладно, будем считать — съездил, вернулся. Теперь отдохни.

— Нет, — сказал он, дыша прерывисто, как загнанный. — Будем считать — и не собирался. Куда? На кой? Ты ж пойми меня...

— Я понимаю, — сказала она.

Домой они возвращались долго, присаживаясь чуть не на каждой лавочке у чьих-нибудь ворот. Потёртый нёс свою шапку в руках, она несла туфли. Руслан шёл далеко позади, всё ещё не замеченный ими, не так уж и радуясь этому возвращению. Знали б они, сколько прибавили ему заботы! Что-то же надо было делать с Потёртым, он извёлся, устал верить

и ждать, вот и уйти пытался — да понял, что это бесполезно. А там, куда Руслан хотел бы его поселить, где только и мог подконвойный обрести покой, там неизвестно что делалось. Ведь с того дня, как он почуял след хозяина в конце главной улицы, он не переступал этой черты, даже и не задумался, что же там делается, в старой зоне. Карауля одного лагерника, он упустил что-то более важное — и таинственными путями, тончайшими нитями это важное почему-то привязывалось к тётке Стюре, к её речам на перроне. Почему-то же он вспомнил о лагере именно тогда, лёжа позади скамьи.

До поздней ночи, слушая, как они шумят около своей бутылки и как Потёртый всё что-то доказывает слёзно и не может успокоиться, он продолжал вспоминать и разбираться. Сколько раз он видел, как закатывались в тупик нагруженные платформы, кран поднимал поддоны с кирпичами, длинные серые балки и панели, огромные ящики с чёрными надписями; всё это грузилось на машины и куда-то везлось по знакомой ему дороге. Он для порядка облаивал эти грузовики, — никто ему не командовал: «Голос!», но ведь он служил сам по себе и, значит, сам себе временно мог командовать, — иногда провожал их до того места, о котором так не хотелось теперь вспоминать, и ни разу не догадался промчаться за ними до самого конца! Если б мог он покраснеть, так сделался бы пунцовым от носа до кончика хвоста. Он задымился бы от стыда!

Утро застало его в дороге. С той поры она сильно изменилась, она расширилась и от самого посёлка была устлана мелким светлым щебнем. И где раньше изгибалась по краю оврага, там теперь этот изгиб был выровнен высоченной насыпью, на склоне которой урчал накренившийся бульдозер. В лесу она текла рекою, широко раздвинувшей зелёные берега, — одно бы удовольствие по ней бежать, если б не так было колко лапам. Но в сторонке, среди деревьев, ветвились чудесные тропинки, временами то убегая в чащу, а то опять сходясь к дороге, так что она ненадолго терялась из виду. Да он бы и не потерял её, от неё так шибко разило извёсткой и машинным угаром.

Но лагерь его совсем ошеломил, заставил тут же сесть и вывалить язык от страшного волнения. Ничего подобного

он не предполагал увидеть. По всему полю, выйдя далеко за старую зону, раскинулись одноэтажные серые корпуса — одни уже с застеклёнными высокими окнами, другие ещё с пустыми проёмами, только лишь подведенные под кровлю, третьи — едва поднимавшиеся над землёй неровными зубцами. Он принялся считать — насчитал шесть, а дальше сбился. Руслан только до шести умел считать, потому что в колонну по пять строили — если подзатёсывался шестой, говорили: «Много!» и прогоняли его в следующий ряд. Да, пожалуй, лучше было считать, что корпусов много. Но странно: бараков почти не осталось — ну, разве два или три, и те с выбитыми стёклами. Осталась хозяйская казарма, склады и гараж, а вот собачника он не увидел.

Он кинулся искать — ни следа, ни запаха. Люди, которые здесь похаживали и весело его окликали, так всё испакостили своими кострами, пролитым цементным раствором, кислотой, что и приблизительно не определишь, где была кухня, где прогулочный дворик, а где площадка для занятий. Ему даже показалось, что это вовсе не лагерь, а нечто другое, а лагерь куда-то перенесли. Ведь такое дважды случилось на его веку. Леса постепенно редели, и всё дальше приходилось гонять колонны, а жилая зона переполнялась новыми партиями, прибывающими на лечение, и в конце концов происходило великое переселение. Всё начиналось на новом месте буквально с одного забитого кола, но когда всё утрясалось, приходило в порядок, то получалось, что новый лагерь даже просторнее и, например, собакам в нём гораздо лучше живётся — в чистых кабинах, с хорошей тёплой караульной, даже с грелками в каждой постовой будке, — да и лагерники не могли бы пожаловаться на крепкие бетонные карцеры, в которых гораздо больше их помещалось, чем в какой-нибудь бревенчатой загородке без крыши. Но в последнее лето всем опять жилось ужасно тесно. Все из-за этого изнервничались, а у лагерников прорезались громкие злобные голоса; они всё чаще собирались толпами и подолгу не желали расходиться. Да даже собаки понимали: переселение — просто назревшая необходимость, иначе что-то да произойдёт. Вот и произошло — до сих пор никого найти не могут.

Нет, это был всё-таки лагерь, а не что-то другое. Ведь всегда на том месте, откуда уходили, ничего не оставалось, одни погасшие головешки да заровненные смердящие ямы. Признаться, Руслану больше понравилось, что на этот раз решили не переселяться, а здесь же и устроиться попросторнее. Ему только показалось, что корпуса подступили к лесу опасно близко, а некоторые даже углубились в него, — пулемётчик на вышке, если и заметит беглеца, не успеет прицелиться, как тот уже скрылся в чаще. Да, впрочем, и вышек не было! И не было нигде проволоки — проволоки, с которой и начиналось-то всё, для неё-то и забивался первый же кол!

Он решил, что её потом натянут, когда всё будет закончено, всё разместится как следует. Может быть, ещё много придётся вырубить леса, чтоб был хороший обзор. Но где же она всё-таки пройдёт, двойная колючая изгородь? — у него что-то с нею никак не получалось. Лагерь, в его воображении, пошёл разрастаться во все стороны, и проволоку приходилось отодвигать всё дальше, обносить вокруг леса, и вокруг посёлка и станции, и вокруг всего, что довелось Руслану увидеть. Прямо дух захватывало — ведь тогда и луна проклятая окажется в огнестрельной зоне, и хозяева смогут её сшибить или упрятать в карцер! Это было бы славно, вполне хватит фонарей. От них меньше беспокойства и тёмных углов.

Что же ещё не устраивало его, не укладывалось в мозгу? Он знал, что мир велик, — в какую сторону ни побеги, а он всё будет вставать тебе навстречу. Помнилось, как из питомника вёз его хозяин в кабине грузовика и давал смотреть в окошко — как же долго они ехали и как много было всего! Так если мир такой большой, сколько же это колеев надо забить, сколько размотать тяжелых бухт? А может быть... может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?

Нет уж, решил он не без грусти, так не получится. Это каждый пойдёт куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь. Невозможно же к каждому приставить по собаке. Людей много, а собака всё-таки редкость. Он, конечно, не имел в виду дворняжек — этих-то больше чем достаточно, — а настоящих собак, служебных, которых нужно отобрать, вырастить, обучить всем наукам. Только после этого собака

сможет чему-то научить людей, которые растут безо всякого отбора и ничему не учатся. А кроме того, как это ни печально, некоторых собак, переставших понимать что к чему, и совсем безнадёжных лагерников нужно же куда-то уводить, в жилой зоне стрелять не полагается, а куда же их выведешь, если всюду зона? Так и так выходило — без проволоки не обойдёшься. А где ж она будет? А где надо, там и будет!

И всё отлично устроилось. Он возвращался, довольный всем увиденным, хоть и слишком припозднился — и поохотиться не успел, и где-то на середине пути ждала его луна, которую пока ещё никто не подстрелил. Да, видно, она не пожелала сегодня выползти, а между тем что-то светило ему, он хорошо различал и тропинку, и кусты, и деревья. Задержавшись по небольшому делу, он поднял глаза к небу и увидел звёзды. Вон что, решили они ему сегодня светить — ну, прекрасно, пусть светят. Он побежал дальше — и они побежали вместе с ним. Он остановился — и они остановились тоже, терпеливо ждали его. Этот фокус он и раньше знал, но всегда приходил от него в восторг. Он поглядел на звёзды благодарно, хотел что-то дружеское им пролаять — и вдруг понял отчётливо, что поезд, которого так долго ждут они с Потёртым, скоро уже должен прийти.

Яркая вспышка озарила его мозг и высветила видение — самое сладостное из его видений. Никогда не видел он моря, но соль праматери нашей была же растворена и в его крови, и хорошо помнил он, как грозно ревел океан, накатывая бесконечные валы на серую галечную отмель, и взлетали фонтанами всклокоченные дымящиеся гребни, а в тёмном небе носились белые птицы, накликаая беду. Посох и белый плащ хозяина лежали на берегу, лежали его верёвочные сандалии и котомка с хлебом и вином, а сам он плавал за полосой прибоя. Он выбился из сил, не мог одолеть ревуший откат волны, он звал на помощь, и Руслан, пролаяв ему: «Я сейчас, продержись немножко!» — бросался в толщу воды, вставшую перед ним стеною. Он пробивал её мордой, ослепший, полуоглохший, слыша только стеклянный скрежет камней, и когда уже воздух рвался из пасти, выныривал и отфыркивался, — а потом плыл к хозяину, полный счастья и гордости,

высоко подлетая на гребнях и скатываясь вниз по склону, всё ближе к хозяину, то теряя его из виду, а то вновь отыскивая его голову среди осатаневшей стихии.

Очнувшись, он побежал дальше. Его жгли, подгоняли новые заботы — надо усилить наблюдение за платформой, надо оповестить всех собак. И грызло сомнение — поверят ли они ему, уже давно вызывающему у них одно раздражение? Сами погрязнув в грехе, они рады и за ним заподозрить греховное: уже поймал он слушок, пущенный ими, будто он *служит Потёртому*. Гнусней не могли придумать! Но если взглянуть спокойно, так он действительно подраспустился: подконвойному ткнулся в колено лбом — какой позор! И он уже спохватывался в испуге: перед Службой, накануне её возвращения, не может ли и он себя кое в чём уличить? Служил ли кому-нибудь, кроме неё? Нет, нет и нет. Ни от кого подачи не взял, ничьей команды не выполнил, никому не повилял. С чужаками — не знался, связей, порочащих служебную собаку, не имел. Минуточку, а что такое было у него с Альмой? Вот именно, с Альмой — без команды, без поводка, без хозяев, которые должны при этом присутствовать. Господи правый, да ничего же у него не было с Альмой! Был трепетный порыв, безотчётное движение души, она с ним бежала рядом как пристёгнутая, они касались друг друга плечами, — но в голове-то она всё время держала своих щенков, а щенки — это уже её грех, неизвестно, как она из него выкрутится. Право, он жалел Альму, но сам-то он — чист.

Господа! Хозяева жизни! Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый, полнокровный зверь, бегущий в ночи по безлюдному лесу, чувствовал на себе жёсткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают. Когда бы кто-нибудь взялся заполнить Русланову анкету, — а раньше, поди, и была такая, но канула, вместе с архивом, в подвалы «вечного хранения», — она бы оказалась радужно сияющим листом, с одними лишь прочерками, сплошными, душе нашей любезными «НЕ». Он — не был. Не имел. Не состоял. Не участвовал. Не привлекался. Не подвергался. Не колебался. По всей справедливости небес,

великая Служба должна бы это учесть и первым из первых позвать его, мчащегося к ней под звёздами, страшась опоздать.

И Служба ещё раз позвала Руслана.

5

Он ждал — и дождался. Кто так неистово ждёт, всегда дождётся. И не какой-то счастливец принёс ему эту весть — он сам оказался в то утро на платформе, когда загорелся красный фонарь и чумазый охрипший паровозик, тендером наперёд, закатил в тупик серо-зелёные пассажирские вагоны.

Ещё стучало на стыках, ещё только засипело внизу, под вагонами, а с подножек уже сыпалось, рушилось нечто невиданное, неслыханное — с криками, гомоном, смехом, топотом сапог и ботинок, шлёпаньем тапочек, стуком чемоданов, баулов, рюкзаков. Его оглушило, ослепило, хлынуло ему в ноздри волною одуряющих запахов; он вскочил и помчался, захлёбываясь лаем, в другой конец состава — чего не случилось с ним никогда. Ну, да никогда и не приходилось ему встречать такую огромную партию, и такую странную, голосистую, безалаберную, да ещё наполовину из женщин, — этих-то зачем столько привезли!

Но Служба пришла — и он был готов к ней; уже через минуту он преобразился, сделался упругим, подобранным, пронзительно-желтоглазым; шерсть на загривке вздулась воротником, а уши и живот и кончик хвоста вздрагивали от низкого металлического рыка. И тут же он опять повёл себя неприлично, но уже от радости: схватил и потащил чей-то рюкзак, который у него с весёлым рёготом вырвали за лямки, едва не с клыками вместе, а он не обиделся и стал кидаться на грудь парням, лизать их солёные лица, пока ему не сунули в пасть угол колючего солдатского одеяла, — и на это он не обиделся, хотя долго не мог отфыркаться. Ведь они все вернулись! И притом — вернулись добровольно! Они убедились, что нет никакой лучшей жизни там, за лесами, вдали от лагеря, — что и было известно всем хозяевам и собакам, — и сами радовались своему прозрению.

Однако и про свои обязанности он не забывал — проследить, чтоб все вышли из вагонов, остались бы только проводники в фуражках, и чтоб отошли на два шага и ждали, не сходя с платформы, пока не придут хозяева.

Ах, как безбожно они запаздывали, а то ведь уже заранее стояли цепочкой — каждый со своей собакой против своей двери. Здесь, на этой бетонной плите, поездной конвой передавал новую партию лагерному; вновь прибывших сажали друг другу в затылок, и руки они держали на затылках, а между рядами ходили хозяева — выкрикали, пересчитывали, ощупывали вещи; лишнее — отбиралось и складывалось на грузовик; если кому-нибудь это не нравилось, в дело без команды вмешивались собаки.

Нынче же всё как-то выходило не по правилам: никто не сел, вещи не положил рядышком, а с ними вместе все куда-то повалили гурьбой, — этим они ему рвали сердце. Но он успокоился, когда увидел, что они и не думают разбежаться, с платформы не спрыгивают, а пошли знакомым путём — по ступеням к скверу. Ему только надо было побеспокоиться, чтоб не больно растягивались, а кого и подтолкнуть лапами и мордой. Эта привычка — подталкивать отстающих — откуда у него взялась? Кто первый придумал? Ингус, наверное, в чью бы ещё башку пришла такая несурезица? Потому что тем, кого он подталкивал, это вовсе не нравилось, он-то их толкал — побыстрее в тепло, а они шарахались и вскрикивали в испуге — будто другой радости нет у собаки, как только покусать, ей бы самой поскорей до тепла добратся. Ну, потом это перенял Джульбарс — и, конечно, всё испортил по своему сволочному обыкновению. Но ведь то — Джульбарс!

На площади, у ограды скверика, все опять сгрудились в толпу, вещи положили на землю и повернулись лицом к станции. Там на крыльце стояли уже два невысоких человечка в одинаковых серых костюмах, с чем-то малиновым под горлом, один потолще, другой похудее. Толстенький лишь улыбался, заложив руки за спину, тощий же водрузил очки на нос, развернул бумажку и стал ей говорить что-то длинное-длинное, иногда выбрасывая руку в воздух, как будто кидал апорт, и повторял после пауз — разика два или три: «И вот

вы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Потом он сложил бумажку, и как раз в это время толстенный достал руки из-за спины и похлопал в ладоши. Тогда и все стали хлопать и кричать «Пра-а!», а самые задние кричали «Вау!» и были этим очень довольны. Потом на крыльцо взошёл один из приезжих, поставил чемодан у ног и тоже развернул бумажку. Своей бумажке он говорил уже чуть покороче и повторял немножко по-другому: «И вот мы, молодые строители целлюлозно-бумажного комбината...» Диковинные слова щекотали слух Руслану — как те, что любил выкрикивать Потёртый, набравшись из своей бутылки: «сандал», «палисандра», «белофинны»... «А кстати, — подумал Руслан, — хорошо бы и его сюда. Может, сбегать?»

Но сбегать-то у него уже не было времени — вот они наговорились, намахались, накурились, подобрали вещи с земли — которых так никто и не проверил! — и начали выстраиваться в колонну. Вот это уже было новость — и из приятных: они сами построились в колонну! Уже сколько правил было нарушено, но самое главное из них — идти не вразброд, а колонною, — они помнили и соблюли. И очень довольный, гордый тем, что один конвоирует такую большую партию и знает, куда вести её, он так же привычно, как они, занял своё место — с правой стороны, ближе к голове строя.

Колонна вышла на главную улицу. Она неторопливо текла по её отверделым колдобинам, топча подорожник, пыля тысячью ног, и светлая глинистая пыль оседала на редких тополях и остроколых заборах палисадников. Где-то в глубине рядов тренькнула гитара, скрежетнули гармошки, и тотчас с готовностью выбежала вперёд девица в мужских штанах, коротко стриженная, как мальчишка, и пошла лицом к строю, мелко-мелко выплясывая в пыли и выпевая крикливым надорванным голосом:

Эх, дорожка торна, торна,
Ты дорожка торная!
Милый ждал мово покуру,
А я — ни-па-корная!..

Это было неслыханное нарушение, но его совершила женщина, и Руслан потерялся — как с нею поступить. В его колоннах эти существа были диковинной редкостью, и с ними никаких морок не бывало, разве что они чаще отставали, и приходилось их подталкивать. Но зато о побегах они и не помышляли, и в конце концов он к ним проникся безразличием. Он и эту решил не трогать, тем более что от её выбега строй не разрушился. Гармошки меж тем заскрежетали во всю мочь; девица перевернулась вокруг своей оси и опять пошла спиной вперёд, улыбаясь во всё скуластое, обожжённое загаром лицо. Она ещё что-то пропела, но уже совсем беззвучно, потому что мужские голоса густо заревели своё: «Рупь за сено, два за воз, д'полтора за перевоз, ах, чечевика с викою, д'вика с чечевикою», а в других рядах — про «дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону», а ещё подальше — что «на заборе сидит кот, поглощает кислород, оттого-то у народа не хватает кислорода».

А в домах приоткрывались слепенькие окошки, и из них выглядывали — кто обалдело, а кто с приклеившейся удивлённой улыбкой; в палисадниках и на огородах женщины с подоткнутыми юбками разгибали спины и вглядывались, прикрывая глаза ладонью от солнца. Белоголовый старик в солдатской залатанной гимнастёрке подошёл к низкому штакетнику и молча, бесстрастно смотрел голубыми выцветшими глазами. Руки его, сжимавшие черенок лопаты, были в крупных венах и так же темны, как этот черенок, и таким же тёмным, в глубоких морщинах, было его лицо, а локти и открытая шея — тонкие и белые, с голубыми прожилками. Старик долго шевелил губами, потом погладил себя по голове и спросил:

— Вы, такие, откуда сгреблись-то? Московские либо? Ай не московские?

— Всякие, папаша! — отвечали ему. — И московские, и брянские, и смоленские. Не видал таких?

— Видал, — сказал старик. — Тут всякие проходили. И брянские, и смоленские. Не пели, однако.

Он улыбнулся щербатым ртом и побрёл к своим грядам.

Так она шла, эта колонна, — горланя, смеясь, перекрикиваясь с посторонними, и от этого счастье Руслана было

неполно. Ему не нравились эти новые правила, нарушавшие молчаливое торжество Службы. Но он знал, что должен набраться терпения, эти их крикливость, нервозность, дурашливость пройдут очень скоро, и станут они тихими, больше-лобыми и большеглазыми, как бы изнутри светящимися. И жалел он только, что не может им сообщить, о чём они даже не подозревают, — какой там для их просветления приготовлен просторный лагерь, какие большие, просто чудесные бараки, где они, пожалуй, все-все поместятся, ну разве что некоторых придётся втолкнуть, а что нет ещё проволоки — то не беда, они же её и натянут. Свою проволоку, которую не перейдут они потом, даже подойти не посмеют, они всегда натягивали сами.

Вдруг он увидел — отовсюду к колонне сбегаются собаки. Они бегут из переулков, из дворов, перемахивают через заборы, все так похожие друг на друга — с чёрными гладкими спинами и жёлтыми пушистыми животами, с одинаковым — бестолково-радостным — оскалом; даже и языки у них, кажется, на одну сторону вывалены; все ему некогда свои — Джульбарс, Енисей, Байкал, неразлучницы Эра и Гильза, Курок и Затвор, Дик и Цезарь, Серый, Смелый, Седой, Альма со своим белоглазым, — ну, этому-то шпаку что тут за интерес? Да, впрочем, шпак не один прибежал, выкатилась целая орава дворняжек, все эти трезорки, бутоны, кабысдохи, милки и ремзочки, и та, что вовсе без имени. Последним явился Люкс, которого, впрочем, хозяева иначе как Люксиком не называли, — существо Руслану крайне неприятное, сукоподобное по виду, а душой растленное. В драках этот Люксик сразу валился на спину или жаловался Джульбарсу, который ему покровительствовал. А заслужил Люксик это покровительство тем, что выкусывал у него блох, которых у Джульбарса и не было, но Люксик это так изображал, что все их как будто видели. Вот он чем и держался в стае — подхалимствовал и потешал. Теперь он повалился в пыли, а потом подпрыгнул и клацнул зубами, как бы ловя улетающую блоху, — для этого-то номера он и припозднился. И собаки его приветствовали за это улыбками и хвостами, тогда как Руслана они как будто и не заметили. Ну, да не он первый сталкивался с этим

странным обыкновением толпы, которая обожает шута и тайно ненавидит героя.

Пробегая к своему месту, Джульбарс куснул его дружески в плечо. Руслан отвернулся и заворчал, он не забыл той поленницы и хляка в безрукавке. Он не был завистлив, но сейчас остро и злобно позавидовал Джульбарсу — всегда эта сволочь ходила первой в колонне, а он, Руслан, только вторым, и теперь ему тоже приходилось попятиться. И вышло ему идти у бедра какого-то малого в новых ботинках на толстой резине — вот ещё и резину эту нюхать! И всё же не мог он не почувствовать влажной теплоты у глаз, не мог не признать, что бывшие его товарищи, несмотря на своё отступничество, явились по первому зову Службы. Приплелась даже ослепшая Аза и безошибочно заняла своё место — она ходила четвёртой слева. Всё было сделано, как надо, без суеты, молча. Лаяли одни дворняжки, но те-то свой лай вели издалека, а как выкатились, то сразу и поостыли — зрелище было им привычное, хотя и слегка позабытое.

Оттого, что всё вышло так просто, спокойно, никто из приезжих не напугался, не стал шарахаться от собак, пристроившихся по обеим сторонам колонны. Кое-кто отважился их погладить — не сказать, чтобы это нравилось собакам, но сносили, чуть только ворча. То ли обленились они, то ли подобрали.

— Мишка, а Мишк! — вдруг заорал этот, на резине, тонкий и с пухлым ещё ртом, совсем мальчишка. — Ты чувствуешь, какой сервис? Какой эскорт!

— От поселкома прислали, — откликнулся Мишка. — Или непосредственно от дирекции комбината.

— Я и говорю — забота о живом человеке. Интересное кино! Слушай, а может, они и шмотки понесут?

— Это мысль!

Мальчишка и впрямь положил на спину Руслану свой рюкзак. И Руслан, опять потерявшись, тащил этот рюкзак, к общему их веселью, пока мальчишке это не наскучило.

— Мерси, — сказал он, приподняв кепку. — Будем по очереди.

Его соседка потянулась трепать Руслану загривок. Он отворачивался, сдерживая рычание, и думал о том, как мало

они поумнели, эти помрачённые, за своё долгое отсутствие. Если так хочется им доставить радость собаке, и непременно руками, лучше бы убрали их за спину.

Те, кто видел колонну со стороны, кто наблюдал это странное шествие людей и собак, стоя на дощатых тротуарах, или из окон, или поверх заборов, те почему-то уже не улыбались, а смотрели молча и хмуро. Понемногу и в колонне перестали смеяться и раздражать собак прикосновениями и кричать без толку, и наступила наконец тишина, в которой слышались только дробная поступь людей и жаркое собачье дыхание. В первый миг тишина показалась Руслану зловещей, пробудила недоброе предчувствие — они о чём-то догадались! Но о чём же, когда и так всё знали наперёд? Может быть, пожалели, что вернулись, раздумали идти, куда их ведут, и сейчас кинутся в побег? Он оглянулся, увидел плутоватую морду Дика, с не зажившей ещё после битвы ссадиной, за ним, держа интервал, шёл вперевалку спокойный рослый Байкал, дальше, мелко поддёргивая лопатками, трусила Эра; все были заняты делом, для которого родились и выучились, никто не терзался предчувствиями, и он тоже успокоился и посмотрел вперёд — где кончалась улица и взбегала на холм пустынная дорога к лагерю. Он понял — они вернулись! Они по-настоящему вернулись! И то была величайшая минута жизни Руслана, звёздная его минута. Ради неё, этой минуты, жил он голодным и бездомным, грелся на кучах шлака и вымокал под весенними дождями, и ничего не принял из чужих рук — ни еды, ни даже крова; ради неё сторожил Потёртого и презрел хозяина, оказавшегося предателем. В эту минуту был он счастлив и полон любви к людям, которых сопровождал. Он их провожал в светлую обитель добра и покоя, где стройный порядок излечит их от всяческих недугов, — так брат милосердия провожает в палату больного, чей разум пошатнулся от чрезмерной заботы ближних. И эта любовь, и гордость так ясно читались в широкой, от уха до уха, ослепительной улыбке Руслана.

Ещё с этой улыбкой он оборачивался, поражённый мгновенной слабостью, услышав глухое рычание и жуткий, точно предсмертный, человеческий вопль. Ещё он улыбался, когда уже чувствовал себя самым несчастным из псов, всё

поняв сразу. Случилось то, чего не могло не случиться, потому что на главной улице посёлка находились все его магазины, торговые палатки и ларьки, и никто не напомнил вернувшимся, что им ни в коем случае нельзя выходить из строя. С самого начала не было хозяев, чтобы прочесть им такую понятную инструкцию — не долдоня в бумажку: «Комбинат... целлюлоза... и вот вы... и вот мы...», а коротко и вразумительно: «Шаг вправо... шаг влево... конвой стреляет без...» А ведь её приходилось читать этим помрачённым каждый день, при каждом построении, потому что к следующему построению они могли и забыть.

Мимо него, прочищая глотку, не спеша протрусил Джульбарс. Он взял с собой Дика. Руслана они оставляли стеречь ещё не потревоженные ряды. А там — уже всё смешалось: злобный лай, вопли укушенных и только ещё от страха, глухие удары — с хрипом, с натужным придыханием, — так бывает, когда бьют под брюхо. В каком-то оцепенении наблюдал он свалку в пыли, мельканье оскаленных пастей, падающих тел, кулаков и ног, вещей, которыми люди старались отбиться от разъяренных собак. На миг он ощутил прилив азарта, радостно-злобного, всё окрашивающего в жёлтый цвет, но тут же прилив отхлынул, осталась сосущая тоска — оттого, что всё получилось так нелепо. Он вспомнил по рычанию, кто всё начал: ретивая Гильза, любительница крайних мер; она сразу валит и — к горлу. Ну, и тут же, конечно, кидается Эра. Не предупредят, не затолкают обратно в строй — плечом или лбом, не возьмут хоть за коленку для начала... Ох, да мало ли способов заставить человека подчиниться, не беря его за горло!

Он следил за свалкой почти безучастно, озабоченный лишь тем, чтобы никто не вышел из его рядов. Никто поначалу не выходил, и вдруг с криком выскочила девица — соседка того мальчишки на резиновом ходу. Руслан не успел её задержать — да, впрочем, и не увидел в том опасности. Но она вернулась, схватила за локоть своего спутника, совсем как будто остолбеневшего, потащила из строя. Руслан кинулся между ними и прихватил ей коленку. Она отскочила с визгом, немало его удивившим. Даже и молниеносно, когда церемониться некогда, он умел так сомкнуть челюсти,

чтобы и кожи не поцарапать. Зато её спутнику, высунувшемуся на полшага, не понадобилось и такого внушения. Руслан лишь привздёрнул дрожащие губы, и мальчик уже стоял где надо, обиженный донельзя, но и напуганный до той же меры. Руслан к нему проникся чувством, чуть большим, чем доверие, — хороший мальчик, сразу усвоил, что к чему.

Но тут же он увидел нечто поразившее его: Джульбарса, выбегающего из схватки, — с кровавой пастью, с розовостью в кабаньих глазках, но — уходящего, когда там ещё никакого порядка не было. Поодаль прихрамывал всплакивающий Люксик. Пожалуй, он преувеличивал свои страдания, боевых следов на нём не замечалось, зато на Джульбарсе их было не счесть, и он на них не то что не обращал внимания, он хрипел от восторга!

Мотнув башкою, он позвал Руслана за собой. Они все вместе добежали до угла переулка, но здесь Руслан остановился. Остановился и Джульбарс. Теперь стало видно, что не от одного восторга он хрипит, но скорей от усталости, что его тушу едва держат дрожащие лапы и так хочется ему прилечь! Теперь, не при хозяевах, он мог это показать. Руслан его понимал — и всё же требовал вернуться. Он знал: собаки будут биться, пока бьётся Джульбарс; пусть он устал, остарел, обленивел, но пусть хоть слышится его командный рык — никто не посмеет уйти. Джульбарс едва выдерживал его взгляд — не выдержал Люксик: забыв про свою хромоту, подскочил к Руслану и с яркой злостью укусил в шею. Джульбарс, освирепев, двинулся покарать Люксика, а тот уже отскакивал, жалуюсь, что и так наказан, прихватил невзначай колечко на ошейнике.

Ещё раз они встретились глазами; Джульбарс — даже с какой-то жалостью. Не любил он этого неистового, но тут уже они перестали и понимать друг друга. Ну, накусались вволю — и по домам, дальше — не наше собачье дело, когда хозяева давно отступились. Да наконец, по праву старейшины он освобождал Руслана с его поста. Всё напрасно — неистовый уже возвращался. Джульбарс глядел ему вслед и горестно тряс башкой. Потом, рыкнув на Люксика, чтоб сгинул, пошёл по переулку. Он уходил в свою старость царственной

львиной побегжой, роня каплями свою и чужую кровь, радуясь и тоскуя, что это — в последний раз.

Руслану же предстояло ещё удивиться: он застал свои ряды такими же, как и покинул. Непостижимо и нам, грамотным, но давняя, древняя наша привычка к строю оставила голову колонны почти не разрушенной. Ведь никто не приказал разойтись! Он побежал вдоль рядов, предупредительно рыча, выравнивая, заглаживая строй.

Всё побоище разыгралось у пивного ларька, но теперь оно перекинулось на другую сторону улицы; там почти всей сворой бились собаки, нападавая и увёртываясь, иногда отскакивая на дощатый тротуар дух перевести, а хвост колонны всё напозал, топча и давя упавших. Здесь, на его стороне, был как будто порядок. В спокойных позах, спинами опершись на прилавок, стояли трое, держа каждый в одной руке по кружке с жёлтеньким, а в другой по рыбке с завёрнутой шкуркой. Они были из местных и для Руслана интереса не представляли; к тому же они вежливо убрали ноги, давая ему пройти.

Странно, он не увидел ни Эры, ни Гильзы, — хотя где же им ещё надлежало быть? Закон простой — пока одни бьются, другие держат всё остальное стадо. Но он их не слышал и среди бившихся сейчас в смертельной злобе. Зато увидел пролом в штакетнике, куда уходил их след. Когда отсюда выдирали жердинки — побить неразлучниц, так этим лишь облегчили их бегство; какими жердинками их побьёшь — оглобли нужны! Но вот, значит, как — самые ретивые, которые всё и начали, первыми и ушли. А чуть подалее пролома он смог увидеть их работу. Сам ли сюда приполз этот человек, одолев канаву, или притащили его и посадили к штакетнику, но обработан он был на совесть. Обеими руками он держался за горло, сквозь пальцы на белую разодранную рубашу сочилась кровь, глаза были мутны, голубая бледность проступала даже сквозь загар. Это они ещё поспешили, а то бы он не сидел.

Зверь и человек встретились взглядами. Человек сначала силился понять, не в бреду ли он видит клыкастое чудовище, от которого его отделяла лишь канава, потом в глазах появились отчаяние и мольбы, по лицу поползли крупные

капли пота. Зверь же смотрел с угрюмым укором: ты всё забыл, какой лагерный пёс кинется на лежачего без команды? Он пряднул ушами, что было признаком мира, и отвернулся. И тотчас проскочила женщина — в чём-то цветастом, с белым в руках. Она торопилась к раненому и не заметила Руслана. Но памятью бокового зрения, чуть запоздало, вспомнила его и оглянулась. Появившийся так неслышно и такой спокойный, он испугал её сильнее, чем если бы рычал и кидался. Медленно попятясь, с расширенными ужасом глазами, что-то бормоча, она прислонилась спиной к боковой стенке ларька, а руками машинально сворачивала свою белую тряпку в жгут. Этим-то жгутиком она надеялась отбиться!

Он уже хотел пройти, когда жестокий, дыхание отбивающий удар сшиб его с лап, отбрасывая к той же стенке. Он удержался лишь тем, что привалился боком к коленям цветастой. Дико завизжав, она принялась хлестать его своим жгутиком — от этого он только уверился мгновенно, что её-то ему опасаться нечего.

Кто же из троих, надвигавшихся с искажёнными лицами и увесистыми своими пожитками в руках, ударил его под брюхо? Да, впрочем, это было и неважно. Просто пришло его время вступить. Всех их он оценил одним коротким взглядом. Один был раненый, с прокушенной рукою, только что он лежал, заваленный Байкалом, теперь бредёт, ничего ещё толком не соображая. Другой — невысокий, коренастый, с непроницаемым круглым лицом, на котором почти не видно запухших глазок, — был опасен по-настоящему, таких нелегко завалить, и думают они медленно, поэтому отступать не торопятся. А третий — был его мальчик, его обиженный пухлогубый мальчик с рюкзаком, на резиновых подошвах. Один раз ему простили нарушение, зачем же он снова ввязался? Зачем нападали они втроём, если только один чего-то стоил?

Вот зачем! Они переговаривались со своей цветастой, ободряли её, они шли её выручать. Самое нелепое, что он ей никакого зла не желал, она ему была безразлична. Просто она оказалась между ним и канавой, которую не догадывалась перепрыгнуть или не решалась — ей бы тогда

пришлось повернуться к нему спиной. Как же всё глупо сложилось!

Он пошёл на них, оскалась, слегка припадая на задние лапы. Они отступили — вот уж нападения они не ждали, — но отступили не все. Коренастый остался. Но так ведь Руслан и рассчитывал и для того припадал, чтобы прыгнуть.

Он всё же повалил коренастого, но тот успел выставить круглое плечо, твёрдое, как дерево. Было ошибкой терзать это плечо, но Руслан уже начал стервенеть, — если б тот хоть закричал! Коренастый же молча, не торопясь, высвободил обе руки и взял его за шею. Вот отчего мир делается тусклым и всё внутри обжигает холодом. Бессильно царапая грудь коренастого когтями, он рвался и что было сил напряживал шею, даже не слыша ударов по спине, точно она одеревенела. Услышал лишь, когда обрушилось на голову тяжёлое и плотное и острым рассекло надглазье. Но, верно, тем же добрым станковым рюкзаком досталось по пальцам и коренастому, хватка его ослабла, и Руслан, рванувшись, высвободился, глотнул воздуха, отскочил к стене ларька. Цветастой там уже не было.

Колонна разваливалась, она превращалась в сущее безобразие, в кошмарную горланящую толпу, которая вся собиралась на той стороне улицы. Оттуда ещё слышались голоса трёх или четырёх собак. Да, всего лишь трёх-четырёх, во главе с Байкалом. Он хороший боец, Байкал, спокойный, храбрый и сильный, он не суетится и долго не устаёт, и умеет других заразить своим спокойствием, — но если б то был Джульбарс! Да все бы они легли, но укротили стадо.

Однако же те трое, с которыми он вовсе не выиграл схватку, опять подступали. Коренастый встал спокойно и молча, даже не держась за своё плечо, — Руслан понял, что дело серьёзно.

Их всех опередил четвёртый, появившийся откуда-то сбоку. Он был в солдатской гимнастёрке и галифе, в солдатских же сапогах, с короткой, соломенного цвета, чёлкой. И потому, как он подходил, широко расставляя руки, чтобы схватить за ошейник, как говорил, подсвистывая, властно и ласково: «Ко мне, мой хороший, поди ко мне», Руслан догадался, что ему приходилось обращаться с собаками. Прежний

Руслан, пожалуй, и послушался бы солдата, но не нынешний, принявший отраву из рук предателя. Солдат из породы хозяев, который был с помрачёнными заодно, был враг ещё хуже, чем они, много хуже!

И вот что видел он краем зрения — Дика, вылезшего из-за чьих-то ног, ковьяляющего через всю улицу к подворотне. Переднюю лапу, окровавленную, он держал на весу. А сзади шли двое лагерников и колотили его по спине жердинами. Разъярясь, он оборачивался и кидался, но всякий раз забывая про свою лапу, и с воем валился наземь. Колотили слепую Азу, беспомощно тыкавшуюся в забор, — неужели и она сражалась? И всё это видел солдат — и после этого: «Ко мне, мой хороший»?!

Солдат лишь в последний миг оставил свои попытки, заслонился локтем, и Руслан, впившись в него, вместе с солдатом повалился в пыль. Солдат извивался под ним и стонал, слабо отпихиваясь другой рукой; пожалуй, он сдался, но вокруг собирались его сообщники, они били носками под ребро, хватали за хвост и за уши. Руслан выдержал это и не отпустил локоть. Да всё это было ни к чему, он понял, что не устроит их, даже если перегрызёт солдату кость, следующего нужно брать за горло. И едва они замешкались, отскочил рывком — отдышаться, оглядеться.

В совершенном отчаянии увидел он Альму, уходившую в пролом, — право, её белоглазый уходил достойнее, сумел даже тяпнуть хорошенько лагерника, наседавшего с палкой; ему бы ещё выучку, белоглазому, кто ж за ногу берёт, когда палка в руке! — увидел сквозь проредь толпы Байкала, загнанного уже в переулочок, нападавшего оттуда — на две жердины, которые ему с рёготом совали в пасть... Это было всё, он, Руслан, оставался один. Один — чтобы согнать в колонну всё разбредшееся, орущее, вышедшее из повиновения стадо! — и хоть не до лагеря довести, на это он уже не надеялся, но удержать здесь до подхода хозяев — должны же они были когда-нибудь появиться!

Сзади его прикрывала стена ларька. Тех троих у прилавка можно было не опасаться — за всё время они, кажется, не переменили поз и смотрели на происходящее с похмельным изумлением, — не опасаться и той женщины, что стоит за

забором, опершись на лопату и скорбно сморщив лицо, коричневое от солнца. Опасней всех был солдат, уже севший в пыли, прижав к животу прокушенный локоть, — этот-то кое-что знал о Службе и мог их всех, подлый предатель, подговорить, научить, — но, кажется, он слишком занят своей раной. И ещё оставался низкий забор, через который можно перемахнуть при случае, обхитрить погоню, забежать с другой стороны. Вот вся была его опора. А толпа надвигалась уже на него одного, сходилась полукругом, со злобными лицами, с палками и тяжёлыми своими пожитками в руках.

Он зарычал — грозно, яростно, испуганно, показывая, что не шутки он с ними будет шутить, но убивать их, и сам готов умереть, — и пошёл на них, оскаливая дрожащие клыки. Они остановились, но не отпрянули. Нет, он не утратил их. Напрасно он кидался — то на одного, то на другого, — они увёртывались или выставляли вперёд рюкзаки, заходили со стороны и пыряли жердинами в бока, или нарочно открывались, дразня своей досягаемостью, чтоб сунуть ему в пасть брезентовую куртку или плащ. Он понял — они его нарочно выматывают, пока другие, за их спинами, разбегаются кто куда.

Хоть одного из них нужно было взять по-настоящему. Так его учили хозяева, учил инструктор и серые балахоны: лучше взять одного по-настоящему, чем кое-как пятерых. Но он видел мир уже сильно жёлтым — жёлтыми траву и пыль, жёлтым синее небо полудня, жёлтыми их лица и свою же кровь, сочащуюся из рассеченного надглазья, — а в таком состоянии не было ему врага опаснее, чем он сам. Он выбрал мальчика, который отчего-то больше всех его злил, хотя держался поодаль и только смотрел, — но, может быть, потому и выбрал, что это бы всех поразило сильнее и удержало б надолго. И когда двое к нему кинулись, он их обхитрил, прыгнул между, кинулся к своей жертве.

Длинное тело Руслана вытянулось в прыжке, неся впереди оскаленную, окровавленную морду с прижатыми ушами. Но ещё в прыжке он почувствовал, что промахнётся. Он видел теперь одним глазом, другой ему залила кровь, и он не рассчитал расстояния, прыгнул слишком рано. Мальчик

вскрикнул дико, совсем по-звериному, и звериный, мгновенно в нём проснувшийся инстинкт согнул его тело почти вдвое. Руслан, проехав по нему животом, перевернулся через голову и покатился в пыли. Тотчас же, не давая встать, упали ему на спину две жердины, и кто-то, невесть откуда взявшийся, с размаху, со всей силой, обрушил на спину тяжёлый, окованный по углам баул.

После такого удара — какая же сила поднимет зверя с земли? Страх перед новым ударом? Но больше они его не били, и он почувствовал: останься он лежать, его уже не тронут. Страх за детёнышей — поднимет, но их не было в жизни Руслана, и не знал он этого чувства. Зато другое он знал, нами подсунутое, — долг, который мы в него вложили, сами-то едва ли зная, что это такое, — и этот-то долг его понуждал подняться.

В пасть ему набилось пыли — задыхаясь ею, откашливаясь, он невероятным усилием выпрямил передние лапы и сел. Но большего не смог — и не этим ужаснулся, а что они сейчас догадаются. Они сошлись совсем близко, он мог бы их достать, но не делал этого, а только вертел головой, скалясь и хрипло рыча.

— Хрен с ним, ребята, не надо дразнить, — сказал солдат. Он всё сидел в пыли, раздирая рукав и заматывая локоть. — Он служит.

— Никто не дразнит, — сказал мальчик. И возмутился: — Так это он, оказывается, служит? Какая сволочь!

— Да никакая, — сказал солдат. — Учили его, вот он и служит. Дай Бог каждому. Нам бы с тобой так научиться. — Он усмехнулся, кривясь от боли. — А я, между прочим, себе бы такого взял.

— Так он же и вас как будто...

— Вот за это бы и взял. Не суйся! Не хозяин!

Солдат стал затягивать зубами узелок на рукаве. Мальчик подошёл к нему.

— Вам помочь? Там уже машину вызвали. Человек двадцать раненых!

— Ну, раз машину, — сказал солдат, — значит, без тебя и помогут. А о потерях, друг мой, всем так громко не сообщают. Просто говорят: «Есть потери».

Руслан сидел, изо всех сил упираясь лапами и опустив голову. Изредка он ещё рычал — напомнить, что он не сдался, — но не понимал, почему они медлят. Или не догадываю-ются, что встать он не может?

Таким его и увидел Потёртый — сидящим в крови, жалким и страшным. Бока его вздымались и опадали, дымясь. А задние лапы были откинута в сторону так нелепо, с такой странной гибкостью в спине, которая заставляла думать, что в позвоночнике появился сустав. Но то была ошибка Потёртого, роковая для Руслана.

— Хребтину-то зачем было ломать? — спросил Потёртый. — Это ж не обязательно. Эх, молодость! Любите вы драться, ребята. И — насмерть! И — насмерть!

— Да, погорячились, — сказал солдат.

— Вы ещё говорите! — опять возмутился мальчик. — Тут такое было! Вы же не знаете.

— Какое тут было, — сказал Потёртый, — это уж я знаю, тебе не пришлось.

— Оба знаем, — сказал солдат.

Потёртый подошёл к Руслану, хотел его погладить. И страшная эта голова поднялась, привздёрнулись дрожащие губы, и обнажились клыки. Обычно бывало достаточно такого предупреждения, чтоб человек всё понял и стал на место. Потёртому, впрочем, чуть больше можно было отпустить времени — чтоб свыкнуться с мыслью, что никогда, ни одной минуты, не был он хозяином Руслану.

Потёртому этого времени не понадобилось. Он отшагнул в строй быстро, как только мог, — или на то место, которое прежде было строем.

— А ты её не забыл, — сказал солдат, усмехаясь, — службу-то помнишь! Только ещё — руки назад.

Потёртый ему не ответил.

Должно быть, и мальчик что-то понял, он смотрел грустно и задумчиво.

— Да, но что же с ним делать? — спросил он, глядя на всех растерянно. — Так же нельзя. Надо к ветеринару...

— Ты смеёшься, — сказал Потёртый, — какой ветеринар ему хребет свинтит!

— А это мы сейчас штангиста попросим, — сказал солдат. — Ты, штангист! — это он окликал коренастого. — У тебя зуб на него ещё не прошёл? Бери лопату и шуруй. Надо, понимаешь? Родина велит.

Коренастый лишь коротко взглянул на Руслана запухшими глазками и пошёл к забору. Женщина сразу послушно отдала ему лопату и отошла. Но ей всё было видно сквозь большие щели в штакетнике.

Коренастый повертел лопату так и этак. Она казалась совсем игрушечной в его могучих вздутых руках. Но, должно быть, ему никогда не приходилось убивать, и он не знал, как это делается, да и не хотел этого.

— Зачем же так? — спросил мальчик. — Неужели тут ружья ни у кого не найдётся?

— Нету, — сказал Потёртый. — Тут ружья никто не держал. Не разрешали.

Все расступились перед коренастым. Руслан перестал рычать и опустил опять голову. Он увидел, как ноги в пыльных сапогах расставились пошире, мелькнула тень от взнесённой лопаты, и внезапно его охватила ярость — уже своя, нами не внушённая. Уже он понял, что никого ему не удержат, они его победили, — но за свою жизнь зверь сражается до конца, зверь не лижет сапоги убийцам, — и он, вскинув голову, рванулся навстречу лопате и схватил клыками железа.

Как ни было это больно, но зато он увидел побледневшее лицо коренастого, растерянность в его запухших глазках.

— Ну, силён! — сказал коренастый, вырвав лопату и усмехаясь виновато, как усмеялся, наверное, когда его упражнения не давались ему с первой попытки. — Ну, чего с ним делать?

— А чего делаешь, то и делай, — сказал Потёртый. — Надо ж добить. Не жилец он. Некуда ему жить.

Коренастый, быстро багровея, снова занёс лопату. Он зашёл сбоку, где Руслан не мог его видеть, и опустил её с хриплым выдохом, наискось. Руслан, обернувшийся на этот выкрик, ещё успел увидеть, как она блеснула — тускло и холодно, как вылизанное донце алюминиевой миски...

Потом они вдвоём, коренастый и мальчик, взяли его за передние лапы и поволокли к канаве, оставляя прерывистую

красную дорожку, спекавшуюся пыльными шариками. Но, поскольку владельцы домов активно возражали, чтобы против их окон оставляли падаль, им пришлось тащить его далеко за крайний дом и там сбросить с насыпи, нарытой бульдозером.

Туда же швырнули лопату, испачканную слюной и кровью.

6

Слепая Аза вылизала ему раны на боках и спине и страшную глубокую рану около уха, повыла над ним, судорожно вздымая к солнцу безглазую морду, и ушла — не надеясь, что Руслан вернётся из своего забытья.

Однако он вернулся. Покажется невероятным, что с контуженной спиной, опираясь на передние лапы, а задними лишь едва подгребая, он одолел и щебёночную насыпь, и весь обратный путь до станции. Но так покажется, если не знать, как упорно, устремлённо и безошибочно уползает любая тварь, застигнутая несчастьем, туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Пожалуй, будь Руслан в сознании, он не стал бы этого делать. Но сознание его померкло, и лишь одно в нём держалось — тот закуток у каменной оградки, между уборной и мусорным ящиком, где перемог он тогда отраву.

Послеполуденный зной загнал людей под сень ставен, в прохладу комнат с обрызганными водой полами, на улице ни души не было. Ополоумевшие от жары дворняги дремали в будках и под крылечками и не подавали голоса, когда Руслан проползал мимо их дворов по деревянным мосткам. Но ближе к сумеркам, выдыхавшись, они проявили к нему интерес. Они-то его и привели в чувство. Ко всему случившемуся, ему предстояло подвергнуться ещё и этому страданию, самому унижительному, — его ещё должны были потрепать эти милки и чернухи, эти бутоны и кабысдохи, которыми некогда он пренебрёг. Не знал он, как уязвил их самолюбие. Не учёл и подлейшего собачьего свойства, — да, впрочем, наверно, и объяснимого для этих маленьких существ, не способных себя защитить и часто унижаемых

человеком, — нападать скопом на поверженного, обессиленного, и чем крупнее он, тем с большим азартом и наслаждением.

Но странно, зачастую атаки их кончались ничем или оказывались слабее, чем он страшился, слыша их клокочущие яростью голоса. Что-то не давало им разделаться с ним вполне. Кто-то могучий, шедший рядом с ним со стороны его ослепшего глаза, — может быть, Альма или Байкал, он не мог теперь узнать по голосу, — всякий раз отбивал их атаки или же частью принимал на себя, а остальной пар эти шавки стравливали, кусая друг друга. Потом их отогнал сердобольный прохожий. Они удалились охотно и очень довольные: в конце концов, им и надо-то было куснуть по разику — потом ведь можно похвастаться, что и не по разику!

Немного позднее, одолевая площадь, он увидел своего защитника — и тогда подумал, что, наверно, лучше б было остаться под насыпью. От оравы разъяренных шавок его защищал Трезорка — тот Трезорка, низкорослый и с раздутым животом, от которого помощь принять считал бы он ещё вчера за унижение.

Трезорка с ним был до конца этого пути. И когда не заворачивались в закуток задние лапы Руслана, Трезорка же оказал ему и эту услугу. Теперь с трёх сторон Руслан был ограждён, с четвёртой — надеялся защититься. Трезорка мог уйти. Но он ещё сидел, отдыхая, изредка крупно вздрагивая и всхныкивая — от не прошедших испугов и многих покусов. Что-то ему хотелось узнать напоследок, о чём-то он спрашивал грустными и укоряющими глазами, — пожалуй, вот о чём: «Зачем ты это сделал, брат?»

Руслан попрощался с ним, взмахнув головою — страшной для Трезорки головою, с залитым кровью глазом, — и тот понял, что спрашивать не к чему, нет ответа и самому Руслану. И понял, что надо уйти немедленно, — то, что будет сейчас происходить с Русланом, всего страшнее и важнее всего, о чём хотелось бы знать, и этого не должен видеть никто. Он ушёл пятясь, взъерошенный от страха, а завернув за ящик, побежал с воем, которого сдержать не мог.

Иногда видишь, как бежит в надвигающейся темноте по середине улицы собачонка, подвывая судорожно и глухо,

будто сквозь сомкнутые челюсти, и будто от кого-то спасаясь, хотя никто за ней не гонится. И покажется, что спасается она от себя самой — за край такой бездны она заглянула неосторожно или по любопытству, куда не надо заглядывать живому, и такой тайны коснулась, от которой зазнобит её в самом тёплом логове. Трезорка унёс с собой лишь начало тайны и уже был приговорён — не согреться, не притронуться к еде, не откликнуться на зов хозяйки, а забиться в самую тёмную и глухую щель, носом уткнувшись в угол и зажмурясь. Но и там не порвётся нить, связавшая его с Русланом, и там не схоронится он и будет коченеть от страха, слыша своё разросшееся, громко стучащее сердце и не зная, что его удары совпадают с ударами другого сердца, — и так будет, покуда то, другое, не остановится; тогда лишь порвётся связь и даст ему, обессилевшему, измученному, забыться сном.

Трезоркин затихающий вопль был не последним звуком, беспокоившим Руслана. Ещё долго он слышал приближавшиеся шаги и голоса, грохала над самым ухом крышка ящика, шуршало и брякало опоражниваемое ведро, — всякий раз он замирал, затаивал дыхание, но, милостью судьбы, его не замечали. Да и заметив, приняли бы за серую грудку тряпья или мусора.

Он ждал ночи, а с нею тишины и безлюдья, — что-то ему необходимо было вспомнить, поймать ускользающее. Обречённый не знать, что с ним произойдёт ещё до утра, он, однако, к чему-то готовился, куда-то ему предстояло вернуться — не туда ли, в чёрное небытие, из которого он явился однажды? И время Руслана потихоньку тронулось вспять.

Замелькали его дни — почти одинаковые, как опорные кольца проволоки, как барачные ряды, — его караулы, его колонны, погони и схватки; они так и помнились ему — окрашенные злобной желтизной, и всюду был он узник — на поводке ли, без поводка, — всегда не свободен, не волен. А ему хотелось сейчас вернуться к первой отраде зверя — к воле, которую никогда он не забывает и с потерей никогда не смирится; он спешил дальше, дальше и наконец достиг, пробился к ней, увидел себя в просторной вольере питомника,

увидел розовые с коричневыми крапинами сосцы матери, заслуженной суки-медалистки, и пятерых своих братьев и сестёр, борющихся, валяющих друг друга на мягкой подстилке. Сквозь сетку, занимавшую целиком стену, видны были яркая зелень, жёлтый песок и пронзительная синева, — а саму сетку они не замечали, не задумывались, зачем она. Но вот к ней подошли с той стороны, отворили сетчатую же дверь, и вошёл он — хозяин. Он вошёл с другим человеком, уже знакомым, который до этого часто приходил с кормушкой для матери и подметал в вольере своей нестрашной метлой. Это впервые Руслан увидел хозяина — молодого, сильного, статного, в красивой одежде хозяев и с прекрасным, божественным его лицом, с грозно пылающими глазами, налитыми, как плошки, мутной голубой водой, — и впервые почувствовал безотчётный страх, от которого не спасала и близость матери.

— Выбирай, — сказал человек с метлой.

Хозяин, присев на корточки, долго смотрел, а потом протянул руку. И вдруг пятеро братьев и сестёр Руслана поползли к этой простёртой руке, покорные, жалобно скулящие, дрожа от страха и нетерпения. Мать, повеселевшая, гордая за них, подталкивала их носом. И только он, Руслан, взъерошился и зарычал, отползая в тёмный угол вольеры. Это он впервые в жизни зарычал — убоявшись руки хозяина, её коротких пальцев, поросших редкими рыжими волосками. А рука миновала всех, потянулась к нему одному и, взяв за загривок, вынесла к свету. Грозное лицо приблизилось — то лицо, которое будет он обожать, а потом возненавидит, — оно ухмылялось, а он рычал и выворачивался, вздёргивая всеми лапками и хвостиком, полный злобы и страха.

В этом положении ему предстояло узнать своё имя — не то, каким его звала мать, отличая от других своих детей, — для неё он был чем-то вроде «Ырм».

— Как ты его записал? — спросил хозяин.

Человек с метлой подошёл поближе, взгляделся.

— Руслан.

— Что это — Руслан? Так охотничьих кличут. Я б его Джерриком назвал. Хотя есть уже один Джерри. Хрен с ним,

пушай Руслан. Слышал — кто ты есть? Чо крутисси — не доверяешь дяде?

Двумя пальцами раздвинул он щенку пасть и посмотрел нёбо.

— Трусоват вроде, — заметил человек с метлой.

— Много ты понимаешь! — сказал хозяин. — Недоверчивый, падло. Вот кто будет служить. У, злой какой! Аж обоссалси. — И, засмеявшись, щёлкнув больно по голому ещё пузику, положил Руслана в тот же угол, отдельно от всех. — Вот этого пусть покормит ещё маленько. А этих — топи. Лизуны, говно.

И мать, уже не глядя на них, подгрехала к себе одного Руслана. Пятерых, отвергнутых ею, положили в ведро и унесли, принесли чужих — оголтело жадных, которые должны были её измучить уже прорезавшимися зубами, — всех она приняла и облизала, преданно глядя в лицо хозяину.

Отчего не кинулась, не загрызла? Увидев себя прежним, беспомощным, он опять не мог понять её ясности, не наморщенного её чела. Опять, объятый ужасом, рвался спасти своих добрых братьев и сестёр — и падал, придавленный её тяжёлой лапой. Какой же сговор был между нею и хозяином, какую же зловещую тайну она знала, что так покорно отдавала смерти своих детей? — ведь для звериной матери все отнятые у неё детёныши уходят в смерть, и никуда больше!

Та зловещая правда сегодня ему открылась, когда, сбитый ударом, увидел он троих, надвигавшихся с искажёнными лицами, и когда обрушился рюкзак, и когда взлетела лопата, и Потёртый сказал: «Добей». Никогда, никогда в этих помрачённых не смирялась ненависть, они только часа ждут обрушить её на тебя — за то лишь, что ты исполняешь свой долг. Правы были хозяева — в каждом, кто не из их числа, таится враг. Но и в их числе — разве были ему друзья? Один лишь инструктор, ставший потом собакой, и был по-настоящему другом, но что же он лаял тогда, в морозную ночь, под вой метели? «Уйдёте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного — враги!» Так всё, что случилось сегодня, провидела она, мудрая сука, обречённая за свою похлёбку рожать и вскармливать для Службы злобных

и недоверчивых? Так потому и не терзалась, что знала — те пятеро, уплывавшие от неё в жестяном ведре, удастивались не худшей участи?

...Всякая тварь, застигнутая несчастьем, уползает туда, где уже пришлось ей однажды перемучиться и выздороветь. Но Руслан приполз сюда не за этим, и его не могли бы спасти ни целительная слюна Азы, ни горькие травы и цветы, запах которых он всегда слышал, когда ему случалось приболеть или пораниться. Раненый зверь живёт, пока он хочет жить, — но вот он почувствовал, что там, куда он уже проваливается временами, не будет никакого подвала, не будет ни битья поводком, ни уколов иглою, ни горчицы, ничего не будет, ни звука, ни запаха, никаких тревог, а только покой и тьма, — и впервые он захотел этого. Возвращаться ему было не к чему. Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла, а другой любви он не знал, к другой жизни не прибился. Лёжа в своём зловонном углу и всхлипывая от боли, он слышал далёкие гудки, стуки приближающихся составов, но больше ничего от них не ждал. И прежние, ещё вспыхивавшие в нём видения — некогда сладостные, озарявшие жизнь, — теперь только мучили его, как дурной, постыдный при пробуждении сон. Достаточно он узнал наяву о мире двуногих, пропахшем жестокостью и предательством.

Нам время оставить Руслана, да это теперь и его единственное желание — чтоб все мы, виновные перед ним, оставили его наконец и никогда бы не возвращались. Всё остальное, что мог бы ещё породить его разрубленный и начавший воспаляться мозг, едва ли доступно нашему пониманию — и не нужно нам ждать просвета.

Но — так суждено было Руслану, что и в последний свой час не мог он быть оставлен Службою. Она и отсюда его позвала, уже с переправы к другому берегу, — чтоб он хотя бы откликнулся. В этот час, когда её предавали вернейшие из верных, клявшиеся жизнь ей отдать без остатка, когда отрекались и отшатывались министры и генералы, судьи и палачи, осведомители платные и бескорыстные, и сами знаменосцы швыряли в грязь её оплётанные знамёна, в этот час искала она опоры, взывала хоть к чьей-нибудь не иссякшей

верности, — и умирающий солдат услышал призыв боевой трубы.

Ему почудилось, что вернулся хозяин — нет, не прежний его Ефрейтор, кто-то другой, совсем без запаха и в новых сапогах, к которым ещё придётся привыкать. Но рука его, лёгшая на лоб Руслану, была твёрдой и властной.

...Звякнул карабин, отпуская ошейник. Хозяин, протягивая руку вдаль, указывал, где враг. И Руслан, сорвавшись, помчался туда — длинными прыжками, земли не касаясь, — могучий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви. А следом летело Русланово слово, единственная ему награда — за все муки его и верность:

— Фас, Руслан!.. Фас!

1963—65, 1974

Георгий Владимов

РАССКАЗЫ

Все мы достойны большего

Мы капитаны, братья, капитаны

Не обращайтесь вниманья, маэстро

ВСЕ МЫ ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО

В эту зиму выпало много снега. С тех пор, как Алёша перебрался жить в Шереметьевку, снег падал каждый день. Он опускался хлопьями, сыпал невидимой крупой, летел в конусе фонаря косою мерцающей сетью. И к февралю двоим на тропинке стало не разойтись, им приходилось обниматься, уступивший — проваливался выше колена. За стенкой хозяйка объясняла соседке, что нынче перестали испытывать атомные бомбы, всё от этого, и сыпать будет до Троицы.

Алёша вставал, когда за окном ещё было сине, и выходил в сад обтираться колючим снегом. Но всегда кто-нибудь просыпался раньше — он видел свет в окошках, слышал скрежет шагов и сырые неспроставшиеся голоса. Это спешили к электричке работавшие в Москве. Алёша тоже спешил, но о Москве старался не думать. После зарядки воздух в комнате казался ему слишком тёплым и кислым, — он распахивал фортку пошире, натягивал на горячее тело фланелевую ковбойку и принимался готовить на керогазе овсянку и кофе.

Он ел быстро и думал уже о другом. Потом он сдвигал посуду на край стола и, постелив газету, раскладывал на ней тетради и записные книжки, стопку линованной бумаги, ставил большую консервную банку — пепельницу — и вдвигался в стол вместе с табуретом. Он знал, что никто не придёт к нему и не будет писем. Иногда ему сильно хотелось того и другого, но он сам сделал всё, чтобы разыскать его мог только тот, кто очень захотел бы его видеть.

Так он сидел, не вставая, до часу дня, но в час отодвигался от стола и выходил пощупать снег — чтобы решить, какие мази положить сегодня. Потом возвращался в комнату и, достав из угла лыжи, развинчивал струбцину. Одну мазь из круглой коробочки он клал слоями на всю скользящую поверхность, другую — под пятку, и отдельно промазывал желобок. Напрягая плечо, так что оно становилось горячим, он растирал мазь пробкой и разглаживал до глянца ладонью.

Выставив лыжи на холод, чтоб затвердело, натягивал бумажный свитер, подвязывал брюки снизу верёвочками и надевал толстые ботинки.

Перед тем, как выйти, он сидел у окна и выкуривал сигарету. Это были минуты предвкушения. Он думал о том, как сегодня в лесу и какое будет скольжение. Потому что снег очень редко повторялся в зиму: он мог быть крупным и льдистым, как толчёная соль, или рассыпчатым и шелестящим, как крахмал, или он был с плоскими сухими блёстками кварца, которые с звенящим шорохом осыпались с кольца, а после оттепелей — ноздреватым и серым, как траченный молью бархат, и сильно царапал мазь. Но бывали дни, — за всё время он помнил два таких дня, — когда лыжи шли сами. Это бывало, когда пушистые хлопья опускались на жёстко раскатанную лыжню, и тогда исчезала всякая отдача. Стоило шевельнуть ногой или слегка оттолкнуться палкой, и лыжи скользили легко и беззвучно в этой снежной сметане. В такие дни он бегал не два часа, а три или больше — и не мог победить усталостью ощущение полёта.

У него было несколько разработанных маршрутов, километров по двадцати, и все они начинались с того, что он ещё у крыльца защёлкивал дужки креплений, отбрасывал палкой калитку и, понемногу раскатываясь, проезжал по улице. В нескольких окнах приподнимались занавески, и всякий раз Алёша смутно чувствовал себя бездельником. За угловым забором его ожидала собака. Он жил здесь уже два месяца, но каждый раз при его приближении она уже мчалась к забору, косолапо взрывая снег, с оглушительным медным лаем. Он любовался её остервенело наморщенным носом и чёрно-лиловой пастью с жемчужными клыками. В её злобе было что-то глубоко личное, точно он утопил её щенков или вынашивал замысел подпалить будку.

Но вот он сворачивал в глухой переулок и сразу въезжал в лес — в запахи мёрзлой хвои, смолы и снега. Он напоминал Алёше запах свеженакрахмаленной сорочки, только чуть кисловатый и терпкий. Шереметьевка не была «Меккой лыжников», как Подрезково или Опалиха, сюда они приезжали только по воскресеньям. Тогда лес наполнялся визгами и ярмарочной пестротой костюмов. Алёша не любил эти дни

и этих лыжников, они были слишком экипированы, чтобы быть хорошими лыжниками. Они раскатывали несколько новых лыжней, но сами же их и портили, когда ходили по ним, сняв лыжи и держа их на плече. Он тихо ненавидел тех кретинов, которые ходят по лыжне без лыж, хотел понять таинственный ход их мысли. Но нет, это было непостижимо.

Он бежал густым молодым ельником, слыша только скрип и хлопанье своих лыж, толчки палок в сугробе и своё дыхание. Потом начался высокий бор, с золотистыми стволами и тёмными кронами. С веток срывались вдруг охапки снега, блёстки медленно оседали, и ветка долго ещё потом качалась. Тогда казалось, что кроме Алёши ещё кто-то есть в лесу. Но он знал, что никого нет, только иногда очень низко пролетали самолёты. Их тени быстро скользили между деревьями и по ветвям, и в лесу начиналась обильная осыпь.

Лыжня впадала в берёзовую аллею, — здесь кончался сумрак, и впереди виделось поле, пересечённое дорогой, и бегущие по ней машины. Алёша выбегал из лесу, и сразу на него набрасывался ветер, обжигал ему щёку и мочку уха, не прикрытую шапочкой. Лыжня делала огромную петлю, упиралась в снежный вал, оттиснутый бульдозерами, и бежала рядом с дорогой, вместе с нею огибая лётное поле. Поверх вала видны были две широкие взлётно-посадочные полосы, пропадавшие в дымчатой дали, и белые туловища самолётов, уткнувшихся носами в густой сизый лесок.

На круглой площади перед аэровокзалом Алёша снимал лыжи и входил с ними в тесный буфет. Уже стало привычкой выпить здесь молока из запотевшего стакана или пива — смотря по тому, какой был снег. В буфете было накурено, пролитое пиво блестело на круглых столиках, с покрытием из пластика «под мрамор». Здесь перекусывали наспех аэродромные механики, подолгу сидели мужики из окрестных посёлков и деревень, часто с корзинами и мешками около ноги, заходили шофёры спросить «полтора ружья» — и буфетчица ставила им на стойку по сто пятьдесят «Охотничьей». Пилоты и стюардессы сюда не ходили, у них было своё прибежище наверху.

В окно видна была треть гигантского крыла с гондолой двигателя и половина корпуса. Отсюда казалось, что

самолёт стоит на привязи у ограды перрона и не может сам развернуться. Он не принадлежал земле, он хотел в небо и мучительно ждал, когда же люди наедятся, накурятся, наговорятся и выйдут помочь ему. Призыв был так явственен и красноречив, что Алёша ему подчинялся и выходил, едва допив своё из стакана.

Он любил провожать самолёты. Это входило в программу ежедневных его пробегов — постоять на перроне, в нешироком пространстве для провожающих, между вокзалом и стальной низкой оградкой. Ему нравилось думать, что и он когда-нибудь полетит. Это было похоже на подзарядку аккумуляторов.

В этот день на поле было несколько старых машин, на которых никто особенно не смотрел, и два новейших четырёхмоторных лайнера. Длинные керосиновозы ползали у них под крыльями, поили из толстой гофрированной кишки, а люди расхаживали по крылу, открывали и закрывали какие-то лючки, и уборщица в синем комбинезоне стирала пыль тряпкой, навёрнутой на обыкновенную метлу. Лайнеры стояли покорно, вытянув подслеповатые рыла и задрав к небу хвосты, острые, как плавник акулы.

Чей-то голос, за спиною Алёши, лениво спросил:

— Наш какой, ближний?

Он обернулся и увидел трёх молодых людей в модных широких пальто с поясами, в тёмно-коричневых пушистых ушанках, в белых фетровых бурках. Всё, что было на них, не покупалось нигде, оно *доставалось*.

— Нет, — ответил второй. — Наш дальний.

Третий молчал, покусывая маленькую губу и заложив руки за спину. У него был уверенный взгляд доброжелательных тёмных глаз и лицо человека, который не позволяет себе ошибаться и делать что бы то ни было лишнее. На самолёты он смотрел, как смотрят на дрожки или такси, поданные к подъезду, сказать вернее — на персональную машину с личным шофёром.

— Какими судьбами? — спросил рядом, у Алёшиного плеча, женский голос, и тотчас его взяли под руку. Ещё прежде, чем он узнал этот голос, он почувствовал, как стало жарко лицу. Как будто его застigli на чём-то не слишком

пристойном. Вот уж кому он меньше всего хотел попасться на глаза, и не попался бы, если б не загляделся на этих троих. — Почему ты здесь?

Она была в серой шубке и такой же шапочке и без чемодана или сумки, как будто провожала кого-то, но могло быть, что её багаж отвезли к самолёту на транспортёре.

— Исчез! — сказала она с упрёком. — Не показываешься. Что случилось?

— Да так... Что могло случиться?

Она стала рядом, он слышал щекой её дыхание. Те трое смотрели на неё в упор, как можно смотреть лишь на свою знакомую. Оказывается, она была с ними.

— Борис! — позвала она. — Познакомься, пожалуйста. Это мой старинный друг. Сто лет назад мы с ним учились вместе.

Борис — тот третий — подошёл, снимая кожаную перчатку на меху, и поднял к Алёше спокойно-внимательное лицо. Таким же точно взглядом он смотрел на самолёты.

— Очень приятно, — сказал он. — Весьма рад.

Он ждал, что его о чём-нибудь спросят.

— Я побуду здесь, — сказала она. Неуловимо в её словах прозвучала просьба отойти.

— Ничего не имею против, — сказал Борис. — Только поправь шарфик, ещё простудишься, не долетев до Сибири. Где это гораздо удобнее.

Он сам поправил ей шарфик, в этом не нуждавшийся, и отошёл, кивнув.

— Я не знал, что ты вышла замуж, — сказал Алёша. — Тебя можно поздравить?

Она слегка смутилась.

— Я ещё не вышла. Это не так быстро делается. А ты работаешь? Придумалось что-нибудь?

Он, усмехаясь, провёл рукою по лыжам, пряча от неё взгляд.

— Что я могу придумать... За всю историю человечества люди, наверно, не придумали ничего лучшего, чем вот эти две планки из дерева и палки с кольцами. Это я говорю тебе по опыту.

— Я знаю. Ты всегда говоришь по опыту. Очень богатому, но несколько однообразному. Почему-то всегда застаю тебя

в середине пути, никогда — в победоносном конце. А деньги у тебя есть?

— При себе — нет, конечно. Была вот трёшка, да вышла. А сколько тебе нужно?

Она посмотрела долгим и косым ироническим взглядом и вытянула из рукава тонкую руку с крохотными часиками.

— У нас ещё полчаса до посадки. Пройдёмся?

Они прошли немного и стали у перил. Алёша счистил снег варежкой, но она не рискнула прислониться, только положила руки. В перчатках они казались ещё меньше, чем были.

— И куда же вы путь держите? — спросил Алёша.

— В Иркутск. А оттуда в Братск. Шеф посылает на два месяца. Дадим совместные репортажи, с продолжениями, какие-нибудь очерки о героях...

— Там интересно, должно быть.

— А ты хотел бы слетать? Это можно устроить.

Он дёрнул плечом.

— Я не о себе говорю, у меня — своё.

— Счастлив ты. Ну, а у меня своего нет. Просто, захотелось романтики, куда-то лететь. Как-то скучно стало в Москве... без некоторых. Скажу честно.

Этих «некоторых» он как бы не расслышал или не отнёс к себе и заметил:

— Ты изменилась. Немножко.

— К худшему?

— Скорее наоборот.

Она повернула голову — так, чтоб он мог рассмотреть короткую стрижку и перламутровую клипсу.

— Так модно теперь? — спросил он. Свинством было бы не спросить.

— Угу. Это называется «мальчик без мамы». Хорошо?

— Очень здорово. И тебе идёт серое. Ты становишься деловой женщиной.

— Алёшка! — вырвалось у неё печально. — Ведь и твои годы уходят. Сколько бы вы, мужики, ни петушились, а тоже ведёте счёт годам.

— Даже больше. Счёт ведём — дням.

Этот намёк на что-то решающее она уловила.

— Хочешь сказать: вступил в «пусковой период»? Какой по счёту?

Он промолчал.

— Что же мешает тебе? — спросила она. — Почему не живёшь, как все другие?

Он видел её профиль, опушённый светом зимнего солнца. Она повернулась — и свет проник сквозь ресницы и таял в глубине её зрачка, а белок был блестящим и светло-оранжевым. Он вспомнил, как он впервые уходил от неё на рассвете, чтобы не доставлять радости соседям, но ворота были ещё закрыты, и он стоял в глубоком колодце двора, задрав голову, глядя на её распахнутое по-летнему окно на третьем этаже, страстно желая, чтоб она выглянула. Она выглянула, смеющаяся и сонная, и бросила ему кусок булки, сказав беззвучно, преувеличенно растягивая губы: «Чтобы ты не умер с голоду, бедненький...» Он послал ей воздушный поцелуй и полез на ворота с булкой в зубах. Он был счастлив тогда, и дворники на него не свистели. Он вспомнил это и заставил себя отвести взгляд — туда, где пёстрая вереница отлетающих, растягиваясь по полю, шла под матово-серебристое брюхо лайнера.

— Я живу, как все, — сказал Алёша. — Мне ничего больше не нужно.

— Но ты же бедствуешь! Скажи правду, бедствуешь?

— Ну, это не совсем так. На сигареты хватает. И даже ещё остаётся на пиво. И лыжи не скоро ещё износятся.

— Ты кроме лыж, — спросила она, — и кроме своих дерзновенных замыслов, ещё о чём-нибудь способен задуматься?

— «О чём-нибудь» — это значит, о тебе?

— Хотелось бы, не скрою.

— Да, — сказал он честно. — Мне очень не хватает тебя. Но я не люблю, когда меня оплакивают.

— И поэтому исчез?

— Ты могла бы меня найти, если бы очень захотела.

— А я не привыкла искать, — сказала она с лёгким раздражением и надменно. — Я привыкла, чтобы меня искали.

— Танечка! — тотчас, как в подтверждение, позвали её от дверей вокзала. Там стоял Борис. Он что-то жевал и держал

кусок двумя пальцами на отлёте. — Не желаешь присоединиться? Обнаружены приличные злаки и совсем не плохая жидкость. Вас, — обратился он к Алёше, — тоже приглашаем. Хотя вы на лыжах.

Это «хотя» неуловимо отменяло приглашение.

— Событьелничайте одни, — сказала она.

— Не слышу!

Она слегка нахмурилась и сказала с нажимом в голосе:

— Я побуду здесь!

Он согласно кивнул и ушёл.

— Я звонила в наш институт, — сказала она, помолчав. —

Петровский мне сообщил, что ты сменил кафедру на заочную, будто бы подрабатываешь на заводе. Зачем ты это сделал, Алёшка? Тебе же было там неплохо и не так много времени отнимало.

— Что ещё сказал Петровский? — спросил Алёша.

— Что он сомневается, вытянешь ли ты кандидатскую.

А ведь это последний, кто в тебя верил.

— Не совсем точно, — сказал Алёша. — Последний — это я.

— А я? — спросила она. — Но это же всё равно, что верить в сумасшедшего. Надеюсь, ты всё-таки не порвёшь совсем с аспирантурой?

— Аспирантура — Бог с ней. Тем более заочная. Но в полном вакууме жить нельзя, это ты верно, старуха...

— Почему же ты всё бросил?

— Я ничего не бросал, — сказал он устало, глядя, как разгоняются винты самолёта. — Я ни одного своего корабля не сжёл, я к ним вернусь. Но не сейчас. Придёт время.

Турбины лайнера взвыли со свистом, стронули его с места, и, развернувшись, он потащился к взлётной полосе. Он полз, пошатываясь, и что-то в нём напоминало орла, бредущего по камням, — одновременно сила и беспомощность.

— Ты напал на жилу? — спросила она.

— Что-то вроде этого, — ответил он не сразу. — Скорее, она на меня напала.

— И хоть кому-нибудь ты показывал, над чем ты сейчас?..

— Видишь ли, — перебил он, — я могу морочить только собственную голову. Когда у меня будет пятьдесят один

процент уверенности, тогда другое дело. Но пока ещё нет и двадцати.

— Жалко... А я всё жду, когда наконец смогу написать и о тебе. Как о новом явлении.

Он рассмеялся тихим смехом.

— Ну, что обо мне напишешь! Я всего-навсего запланированная единица потерь. Таких фортуна швыряет пригоршнями, как игральные кости. Из десяти семеро сторгят вхолостую, двое увидят робкие всходы. Ну, а один, глядишь, чего-нибудь и пожнёт.

— И ты надеешься быть этим одним?

— Я просто хочу быть в этой десятке.

— Но ты же достоин большего!

— Пойди объяви это всем отлетающим, — сказал он, усмехаясь. — Они скажут: «Мы тоже достойны большего!» Я, ты, он, она, оно — все мы достойны большего.

— А как примерно выглядит то, что ты делаешь?

— Ну, если я скажу... Что ты из этого поймёшь?

— Почему же нет? — она шутливо обиделась. — Мы с тобой оба заняты не тем, чему учились. Но и я ведь была когда-то не чужда...

— Танька! — взмолился он. — Давай о чём-нибудь другом...

Репродуктор на вышке звучно всхрапнул и объявил металлическим контральто посадку на Иркутск.

— Это нам, — вздохнула она.

«Скоро всё кончится, — подумал он. — Ещё несколько минут, и всё кончится».

— Вот, Алёша... Вот я и улетаю от тебя.

— Что же мне пожелать тебе?

Те трое вышли из вокзала, со сдвинутыми на затылок ушанками. Они были оживлены и бросали окурки в снег, присыпанный песком и шлаком. Дежурная смотрела на них осуждающе, но почему-то не решалась сделать замечание.

— Танечка, мы пошли! — крикнул Борис. Он встретился глазами с Алёшей и приложил два пальца к меху ушанки. — Надеюсь, вы не надолго её задержите?

— Да нет, — ответил Алёша. — Надолго у меня не выйдет.

— Будьте здоровы, — сказал Борис.

— И вы тоже, — ответил Алёша.

Он смотрел, не отрываясь, в затылок, аккуратно укутанный пушистым шарфом. Но это был один из тех затылков, которые не чувствуют взгляда.

— Что же ты пожелаешь мне? — спросила она. — Впрочем, это я должна тебе пожелать. Это я тебя оставляю — таким, какой ты есть.

Она уже вся была там, с ними, у трапа, только её тёплая рука, тёплая даже сквозь перчатку, случайно задержалась в его ладони. Поняв, что ещё минута и они навсегда расстанутся, думая только об этом и больше ни о чём, он притянул её к себе и зарылся обветренным, одеревеневшим лицом в её волосы. Он услышал знакомый запах этих волос, и на короткий миг ему представилось, как бы они сейчас вместе, вдвоём, вернулись к нему в Шереметьевку, но тут же он понял, что этого быть не могло никак, никогда, об этом и мечтать запретно, и сжал её в объятиях. За спиной его с грохотом упали лыжи. Она отпрянула, но он держал крепко и поцеловал в губы — поцелуем старинного друга, очень, очень старинного. По крайней мере, он хотел бы, чтоб так это выглядело со стороны. И чтобы она это так и поняла.

— Алёшка! — закричала она шёпотом. — Ты подумал обо мне?

— Я только о тебе и думаю. Просто, хотел ему показать, что ты тоже достойна большего.

— Но тебе же дела нет до наших с ним..!

— Не кричи, — попросил он тихо. — Есть же хороший выход. Очень старый и вечно юный. Дать по морде. Но только это нужно делать сразу.

Она упёрлась руками ему в грудь, но он уже отпустил её, почувствовав, как безнадежно упало сердце. Она быстро поправила сбившиеся волосы, глубоко вздохнув и кривя губы, как от боли. Он хотел найти её некрасивой, неловкой, но это слишком ранило самолюбие. Он слишком привык считать её самой лучшей. Она и теперь была самой лучшей — всё это время, пока он её обнимал, ни разу не посмотрела в сторону самолёта. Даже безотчётного движения не сделала.

— Пойми, дурачок, — сказала она, касаясь его руки. — Всё можно изменить, даже вот сейчас, в последнюю минуту.

Но если б ты хоть слово мне дал... Что не будешь мальчишской, не знающим жизни и никого не желающим слушать. Ведь я тебе добра желаю!

Вдруг стало печально и пусто в душе. Он пытался убедить себя, что всего, что было у них, не могло быть у других, но в это сейчас слабо верилось. Единственное, что знал он наверняка, — что жалеют и в том, и в другом случае: и когда было впрямь, и когда могло быть, но не состоялось.

— Пойдём, — сказал он. И, наклонясь, подобрал лыжи. — Тебе пора.

— И ты так ничего мне не скажешь?

— Всё то же.

Несколько секунд она молчала. У неё задрожали ноздри и влажно заблестели глаза.

— Не думай, я не заплачу.

— Я знаю, — сказал он мягко. — Я тебя за это уважаю.

Молча они прошли эти несколько шагов, мимо толпы провожающих, милиции, носильщиков, дежурных, которые расплывались в его глазах движущимися пятнами. У выхода на поле она спросила:

— Ты напишешь мне? На почтамт.

— Обязательно, — ответил он твёрдо. Так же твёрдо он знал, что никогда этого не сделает. — И ты мне напиши. Смотри, уже пора. Сейчас уберут трап.

Он смотрел, как она идёт — одна по опустевшему полю. Так идут, ожидая пули в затылок или страстной мольбы вернуться. Ему показалось странным, что в его власти сделать так, чтобы тяжёлый лайнер прыгнул в морозное небо без неё. Он подумал, что всё может случиться, все эти игры с небом — бесконечная лотерея с несколькими несчастливыми билетами, и он век себе не простит. Но тут же он высмеял себя: «Ничего-то от тебя не зависело. Кто хочет остаться, тот остаётся и никаких обещаний не требует...»

У трапа она обернулась и помахала рукой. Он знал, что она близорука, и всё же помахал в ответ. Трап отвезли, и стали вращаться лопасти одного из двигателей. Вскоре они стали неразличимы по отдельности, слились в один сверкающий диск, и воздух под крылом задрожал, взвилась снежная пыль. Тогда начал раскрутку второй двигатель.

Алёша вышел на площадь и стал на лыжи. Он хотел добраться до леса раньше, чем самолёт успеет взлететь. Он бежал, стараясь дышать ртом, чтобы не так сжимало горло, и несколько раз останавливался поесть снега, чтоб проглотить тяжёлый комок. И он не успел добраться до леса. Он увидел, как движется смерч пыли по взлётной полосе, и из сверкающей пыли взмыла гигантская серебристая птица. Она дождалась своего и теперь торжествующе, трубно, утробно ревела, медленно поджимая уже ей не нужные слабые ноги.

Одиноким лыжник бежал через поле, и над ним, над самой его головой, пронёсся огромный лайнер, оглушив его и накрыв крестообразной лиловой тенью. Лыжник поднял голову и увидел длинный ряд круглых окошек вдоль фюзеляжа. «Она смотрит, — подумал он. — И должно быть, кажусь я ей тараканом, ползущим по листу ватмана. А пожалуй, так ей легче прощаться».

У леса он остановился и вытер рукавом мокрое лицо. Лесная тишина успокоила его. Лыжня была синей перед закатом, а по бровкам её лежали тёплые оранжевые блики. Он взглянул на солнце, висевшее низко в зелёном небе, и, свернув, побежал кратчайшим путём, который привёл его к маленькому кладбищу, притаившемуся неподалёку от посёлка, в тени развесистых тяжёлых крон. На трёх крайних могилах стояли пирамидки с привинченными наискось пропеллерами. Под ними приклепаны были фотографии на фарфоровых щитках; три молодых лица сияли белозубыми улыбками в лицо Алёше. Глядя на эти лица, хотелось сказать себе: «Спешите!» — и расхолаживающе думалось всё о той же лотерее с несчастливыми билетами.

«До лета надо хоть половину сделать, — сказал он себе. — А там — перерыв: что-нибудь грузить, таскать ящики. Главное, чтоб голова была свободна. И ничего больше! Ну, лыжи зимой, без этого не обойтись».

Он стоял на верху длинного и прямого спуска и думал о том, как вернётся в Шереметьевку и одуревшая от скуки собака бросится с бешеным лаем на забор, а в окнах приподнимутся занавески, а потом надо будет готовить суп из концентрата — один брикет на четыре тарелки. И поспать немного, чтоб было второе утро и легче работалось заполночь.

Георгий Владимов

И день этот будет так же похож на вчерашний, как и на завтрашний.

Лыжник сильно и далеко оттолкнулся палками и помчался по склону вниз. Где-то на середине его он понял, что всё сегодняшнее останется в нём как выбор, которым всегда он будет гордиться — и всегда жалеть о нём. И, круто повернув вниз, подняв фонтан радужной пыли, исчез в этой пыли, за поворотом, в деревьях.

1960

МЫ КАПИТАНЫ, БРАТЬЯ, КАПИТАНЫ

В ресторане «Арктика» было жарко, светло и шумно — как раз то, что нужно человеку, пришедшему с мороза и у которого в ушах ещё не отпела вьюга.

Кроме того, в ресторане играла музыка: скрипка, два саксофона и баян, только не нужно думать, что это была какая-нибудь особенная музыка; скорее всего, это была самая обыкновенная музыка из прейскуранта, которую можно и не слушать, но всё-таки лучше, если она играет. И когда она замолкала, два капитана-рыбника грузно поворачивались на своих стульях и вопросительно смотрели на эстраду. Музыканты переводили дух и совещались, обмахиваясь сложенными платками, потом играли снова. Тогда капитаны поворачивались друг к другу и уже не слушали — они были заняты беседой. Они говорили неторопливо и так же неторопливо ели и пили, — как люди, знающие цену и слову, и молчанию, и короткой блаженной минуте согревания, которая дороже еды и питья, дороже беседы и музыки, тепла и света, потому что она включает в себя всё это, вместе взятое, и ещё сознание, что это — ненадолго.

— Так ты, значит, под Канаду ходил?

— Под Канаду, Игнатъич. К Жорж-Банке.

— А что брал?

— Камбалу.

— И хорошо брал?

— Сперва не сильно, а после заловилась солидно. Попалось местечко — золотое дно, там она, швабра, пятиметровым слоем лежала на грунте. Сонная. Пятьдесят минут травления — восемь тонн на борту.

— Это солидно.

— Что ты! Ваера чуть выдерживали.

— Ваера-то — сизальские?

— Комбинированные. С наклейкой, знаешь, это... Мейд ин Япония.

— Джапан.

— Чего?

— Мейд, говорю, ин Джапан.

— Лады, пускай Джапан, лишь бы держали.

— Ну, они тебе чёрта удержат.

Игнатьич сдвигал выбелевшие брови, кивал с пониманием и отчего-то кривил горькой складкой обветренные лиловые губы. На лице у него можно было прочесть: «Если даже скинуть на травлю... Два часа траления, четыре тонны на борту... Тоже неплохо».

— А ты всё под селёдкой? К Фарерам ходил?

— К Фарерам, Ефимыч. Старые наши промыслы шупал.

— Слышно было — не ловится в эту зиму селёдка?

— Не скажу — не ловится, а что-то у ней с эхолотом раздрай. Прибор пищет, что пашет, бумага вся чёрная, прямо дымится. Мечем, а утречком — пустыря дёргаем. Десять рыбин, кошке на завтрак. А другой раз ходишь-бродишь, команда спать просится, а бумага — розовая и розовая. Так что-то, мелькает. Но, может, это планктон пишется, разве отличишь? Э, думаешь, надо же хоть сети окунуть, а не то — зажиреет команда, после не растрясёшь. «Палубная! — кричу. — Выходи метать! Поехали!» Мечем — и материмся. И в Христа-Спасителя, и в дедушку с прабабушкой. А утром старпом свистит в трубу: «Игнатьич! Чайки над порядком кружатся!» Он у меня романтик, чёрт бы его драл, всё на птичек смотрит: мол, птичка врать не станет, ей тоже кушать надо. А и верно: дёргаем сети-то — и просто шуба! Вся сетка облеплена.

— Не соврала птичка!

— Да птичка-то не соврала, но на кой мне, скажи тогда, эхолот? Надо вон, как старые кепы ловят: поглядел на горизонт, понюхал, чем ветер пахнет, водичку термометром смерил и: «Давай, ребята, метать, с коньячком будем». И — лавит!

— Лавит, вот что главное. Но всё ж таки техника, Игнатьич. Её, видишь ли, внедрять надо.

— Кто ж спорит! Но что касается рыбы, я, Ефимыч, к такому выводу прихожу: никто про неё толком не знает...

— И тут много, знаешь, от капитана зависит.

— Да всё от капитана зависит!

Они сидели друг против друга — Игнатъич, который ходил под селёдку к Фарерским островам, и Ефимыч, который под камбалу к Джорджес-Банке, — оба распаренные, краснолицые и светловолосые, оба в возрасте от тридцати до шестидесяти; вороты свитеров домашней вязки серой пеной выползли им на кителя. И они хорошо сидели — колени врозь и толстые локти на столе, так что третий и не подумал бы к ним подсесть. Они ели, пили и разговаривали у всех на виду, в середине плотно накуренного зала — здесь, в «Арктике», не нужно искать интима по углам, за соседним столиком тебя уже не слышат. Хорошо, если всё услышат за твоим.

— А как насчёт впечатлений? — спросил Ефимыч. — Были впечатления?

Игнатъич понял его.

— Обошлось, — сказал Игнатъич. Лоб его залоснился и посветлел от улыбки. — Морской бог миловал.

Он взял фужер с пивом и посмотрел сквозь него в самый дальний угол, откуда, колыхнув портьеру, выглывали дебелие и наглаженные официантки. Пожалуй, он мог бы кое о чём порассказать Ефимычу: ведь бывали же дни, которые и выделялись чем-нибудь среди нескончаемого сельдяного рейса и отчего-то засели в крепкой и памятной капитанской голове. Может быть, про море — каким оно бывает на закате солнца: кирпично-бурое на одном траверзе и серозелёное на другом, а на лысинах волн пляшет холодный оловянный блеск; или про снежно-лиловые Фарерские скалы, зловещие в своей чистоте и безмолвии, и про косою полёт чаек и крики альбатроса, падающего с тёмной вышины, а потом вынырывающего с налитыми кровью глазами и с бьющейся в клюве рыбиной. Штормы и «переплёты» он как-то не помнил отчётливо, а помнил вот эти сравнительно тихие часы поиска, когда судно ходит переменными галсами, кренясь со стоном и хлюпаньем, и волна, свирепея, гулко бьёт в скулу и взлетает над полубаком — толстым жёлто-пенным столбом. Судно проходит сквозь столб, и он опадает, обвисая сосульками на такелаже, а волна, меняя свой цвет, смывает с палубы рыбы головы, внутренности и чешую и уходит, урча, в широкие оржавленные шпигаты.

Рулевой, в тяжёлых сапогах и ватнике, смотрит в забрызганное пеной окно, на подбородке его дрожит слабый свет из компаса, а в ладонях пляшут восемь ручек штурвала. Кто может знать, о чём думает рулевой?

И штурман, опустив оконное стекло, тоже смотрит в надвигающуюся ночь, брызги и ветер надоедают ему, он ёжится, морщится, брюзжит, а всё-таки не уходит от окна — что он там хочет увидеть?

Говорят, что рыба, проплывая в тёмной студёной глубине, всё время выравнивает косяк по своему образу и подобию: она идёт сигарой, и можно различить на ней плавники и раздвоенный хвост. Но сам он никогда этого не видел, и эхолот тоже не нарисует это, когда стрелка, обегая круг, станет штрихами чертить бумагу. Да и, по правде сказать, некогда об этом задумываться, наступают считанные минуты капитанского счастья, и нельзя потерять хоть одну из них. Он выходит на левое крыло мостика и кричит боцману: «Поднять штаговый!», и тотчас вся палуба вспыхивает в невыносимом свете прожекторов, а на грот-мачте взвизывает чёрный шар с фонарём — сигнал выметки, после которого можно говорить: «Мой косяк, моя рыба...» Команда выходит, позёывая и ёжась, занимает места и ждёт, а штурвал уже положен круто на борт, и ноги ощущают крен циркуляции, стремительного поворота — наперерез ещё не потревоженному косяку. Машина сотрясает судно изнутри, а волна сотрясает его снаружи, и, упрямо набирая ход, сквозь плотную стену ночи траулер спешит к единственной секунде, которую не укажет никакой хронометр, а укажут позор и горечь всех предыдущих незадавшихся попыток и наитие азарта. «Поехали!» — кричит он наконец, и на том его дело кончается. Теперь он может уйти к себе в каюту. Он тысячу раз видел, как дрифмейстер швыряет за борт концевые кухтыли и первую бухту вожакового троса; как вожак цепляется за волну и начинает, рыча, выползать из трюма — толстый свирепый удав, который, если запутается, выворотит чугунную люковину и потащит за собою всё, что ни зацепит по пути; как, держа наготове ножи, осторожно и быстро вяжут к нему поводцы сетей, которые он стаскивает за борт своей тяжестью и разгоном, и за кормой пропадает во тьме пенная

дорога в три мили длиною, отмеченная желтыми вежами качающихся кухтылей. Капитан уходит к себе и долго ворочается в койке, не в силах уснуть, а сквозь сомкнутые веки он видит россыпь топовых огней вокруг своего судна: все они — англичане, норвежцы, шотландцы, французы, свои русские, — *стоят на порядках* и ждут, что им принесёт утро. Этот вечер и эта ночь, и лиловые скалы, и косой полёт чаек, и дрожащий свет нактоуза на лице рулевого, наверное, потому и запомнятся капитану, что утро принесёт рыбу.

Слепяще синяя штилевая вода легонько покачивает траулер, в ней растворяется, дрожит и сверкает серебристая чешуя, и сеть идёт на борт, тяжёлая, густо облепленная бьющейся рыбой, пронзительно пахнущая сыростью и смолой. Птицы кругами носятся над сетью, иногда, осмелев, садятся на неё и, выхватив себе добычу, заглатывают её уже на лету; крики их заглушают скрежет шпилья и ровное гудение машины-сетевыборки. И вот уже рыба на борту, и девять пляшущих чертей во всём зелёном остервенело трясут сеть за сеть, обрывая селёдке жабры и головы, сами уже до бровей в её чешуе и крови, по колено в тягучем подрагивающем чавкающем месиве; а всё-таки и в эти минуты агонии она ещё не добыча, она ещё чудо природы, такое же чудо, как зелёная вода Атлантики, как снежные скалы невдалеке, теперь уже оранжевые под солнцем, — она ещё сама оранжевая, синяя, палевая, жемчужная, изумрудно-зелёная — такой никогда не увидят её те, кто только ест её, а не ловит. Сваленная в бочки, круто посоленная, она ещё бьётся, выпрыгивает и, вместе с жизнью, расстаётся со всеми своими цветами, покрываясь тусклостью нечищенной жести, и глаза у неё опадают и мутнеют, ошпаренные рассолом...

Всё это, пожалуй, можно было бы и порассказать Ефимчу, да только он и сам это видел раз пятьсот, если не тысячу.

— Ты наших-то видал кого? — спросил Игнатъич.

— Наших?

— Ну, в смысле — своих. А то всё в море да в море, а никого и не повстречаешь толком. Не посидишь как следует.

— С тобой-то мы сегодня чудом не разминулись, — заметил Ефимыч. — А наших кого же?.. На Жорж-Банке мы

как-то прошлым летом с Васькой Скурихиным повстречались. Фильмами обмахнулись. Он мне комедию эту подкинул. Знаешь, это... лыжник там знаменитый и двенадцать девок. В хижине баловались. Ну, сильна комедь!

— И как же он, Васька-то? Лавит?

— Этот — лавит.

— А Женьку Пилипчука не встречал?

— Да как там же, под Канадой. Доску я у него позаимствовал траловую...

— Лавит он?

— Женька-то? Лави-ит.

— А что-то я про Кольку Жиганова давно не слышал.

— А он будто бы в торговый перешёл, пятьсоттонник водит. Не знаю — верить, не знаю — нет. Диплом же у него всё такой же, как у нас, — трёхсоттонника.

— А толку-то, — сказал Игнатьич, со скрежетом разрезая на тарелке шницель. — Если хочешь знать, я «Тунца» своего и на шестьсоттонник не променяю. У меня командочка подобралась! Дрифтер у меня — вологодский, басистый такой мужик, всю команду голосом держит. А боцманом — Завьялов. Знаешь Завьялова?

— Так-то слышал, а плавать не плавал с ним.

— Что ты! За таким боцманом капитану и делать не хрена. Ты только подумать успеешь: хорошее бы это дело, допустим, парус просушить. Или, допустим, якорную цепь пошкрябать. А у него уже, смотришь, и парус сушится, и цепь ребятки шкрябают. Рязанский, чёрт! Они, знаешь, проникновенные... До всего доходят!

— Повезло тебе, — сказал Ефимыч.

— Да уж, это как получится, — согласился Игнатьич. Он, не торопясь, прожевал кусок и запил глотком искристого нарзана. — Холодненький!

Он улыбнулся. Зубы его были коричневые, испорчены здешней водой, и с обеих сторон блестели золотые. Улыбка состарила его лет на десять.

— Это они умеют, — согласился Ефимыч насчёт нарзана. — А больше ничего не умеют. Утеряли класс. Только название осталось — «Арктика», а мясо как следует и не прожарят. И не подадут, как полагается.

— И скатерть мятая, — сказал Игнатъич брезгливо. — Разве ж это скатерть?

— Ты помнишь — раньше как ребятишки с моря приходили? Нарочно от причала в роканах шли, в зюйдвестках. Рыбья на них чешуя, слизь. Солидно! Сразу видно: рыбаки вернулись. И сразу — за столы. И авансик веером по скатёрке. А скатёрку не смей перед ними не накрахмаленную постелить.

— Да, — сказал Игнатъич. — И сидели, вспомни-ка, до утра. Не то что теперь — до двадцати трёх.

— Ну, правда, и рыба тогда другая была.

— Да, рыбка повеселей ловилась, это верно.

Они по этому поводу вздохнули и выпили, закусили и снова выпили. Потом заговорили о проекте новых ППСС, Правил Предупреждения Столкновений Судов, в связи с последней дискуссией в «Рыбном Мурмане», и оба сошлись на том, что если капитан на своём месте и вахта дело знает, то никакого столкновения произойти не может, а если шляпить, тогда и новые Правила не помогут, только в лишних сигналах запутаешься, и так их там до чёрта!

— Всё в капитана упирается, — подытожил Игнатъич и показал Ефимычу опустевший графинчик. — Добавим?

— Мне ж не на вахту, — сказал Ефимыч. — А хотя бы и на вахту?

Игнатъич поднял графинчик на уровень бровей и принялся стучать по нему ручкой ножа. Он стучал терпеливо и размеренно, как бьют рынду, куда официантка не отвлеклась от беседы с коллегами.

— Что, мальчики? — она подошла, томная и вальяжная, опёрлась на стол полной белой рукой, выгнув её локтем вовнутрь, и поглядела куда-то в сизую табачную даль, поверх капитанских шевелюр.

Игнатъич молча покачал графинчиком.

— Два комплекта, — сказал Ефимыч.

— А не многовато, мальчики? — она перевела взгляд на их весёлые лица. — Вы уже, смотрю, тёпленькие.

— Мы горяченькие, — улыбнулся Ефимыч, глядя на её руку. — Сейчас вспыхнем. Залить надо.

— Маленькая, не мешкай, — сказал Игнатъич. — На флоте надо бегом.

— Знаю, как надо. Служила. — Она взяла у них графинчик. — Лимон принести?

— Соображает! — заметил Ефимыч. И вверх по руке добрался взглядом до её шеи. Улыбка его сделалась ласковой, почти влюблённой.

— Платит из вас кто? — спросила официантка.

В «Арктике» зачастую спрашивают моряцкую компанию, кто будет платить, потому что случается, никто и не платит — просто по забывчивости, ведь на судах кормят бесплатно. Игнатъич выложил десятку и прихлопнул её ладонью — не в знак того, что платить им есть чем, а чтобы самому не забыть.

— А ещё чего-нибудь принести?

— Неси, маленькая, — сказал Игнатъич. — Только чтоб помягче.

— Бефстроган?

— Неси бефстроган. Ты как?

Ефимыч кивнул, не переставая улыбаться.

— Значит, два раза бефстроган?

— Неси два раза, — сказал Ефимыч. — За один не унесёшь, ты же у нас маленькая.

Капитаны её проводили взглядами. Она совсем была не маленькая, даже очень не маленькая: в «Арктике» не зря подают женщины, а не мужчины, — драться, даже в сильном хмелю, никто с ними не станет, а выставить, если понадобится, выставят.

— В порядке, — сказал Ефимыч.

— Кое-где прибавить, кое-где убавить.

И они снова повернулись друг к другу.

— Значит, ещё неделю гуляешь? — спросил Игнатъич. — А у меня на завтра — отход.

— Ну, и не отойдёшь, — разрешил Ефимыч. — Понедельник завтра. Главный морской закон забыл?

— Ну, так послезавтра...

— Шутишь? — сказал Ефимыч. — Целые сутки берега!

Музыканты перестали играть. Ефимыч дождался, пока они начали снова, и продолжал:

— На судне и без тебя управятся, а ты только в диспетчерской покажешься: шлюпки, мол, не конопачены или танки текут, сварщик нужен. Они ж не собаки — тебя в понедельник выталкивать.

— Да, пожалуй, не вытолкнут.

— Что ты! Главный закон. А мы и завтра с тобой посидим. Ведь так, за один раз, и не поговоришь толком.

Игнатьич стал чертить ножом по скатерти. Лицо его посуровело — той суровостью, какой скрывают смущение.

— Я, знаешь, завтрашний день планирую с семьёй провести. В море только про них и думаешь, а на берегу и не повидаешь. То одно, то другое. Спыхватишься на отходе — дня не хватило.

— Это всегда так, — согласился Ефимыч. — Ну вот тебе и день подвалил.

Они помолчали, как бы оценивая неожиданный подарок, потом Ефимыч спросил:

— Лида твоя — как? Управляется с потрохами?

— Чего ж не управиться? Ты ж моих пацанок знаешь. Смирные. Старшая этой осенью в школу пошла.

— Да что ты!

— Ну! — Игнатьич широко улыбнулся. И сразу стали заметны глубокие его залысины и волевые морщины по углам рта, вырезанные совсем другими гримасами и как-то не складывающиеся в улыбку. — Отметки приносит. Папке радиogramмы сама сочиняет. А ты думал!

— Это хорошо, — сказал Ефимыч. — Всё ж таки, я тебе скажу, бабе занятие нужно. Вот, с потрохами возиться. Тогда она и бегать не захочет.

— Ну, моя-то и без того не бегала.

— Э, не скажи! — Ефимыч, ухмыляясь, поднял палец. — За это ручаться никто не может. Ты доверять доверяй, а всё ж послеживай.

— Где же мне послеживать? В море, что ли?

— Зачем в море? Ты на берегу слушай. Иной раз и услышишь. Друзья, по крайней мере, не утаят.

— Ну, это, знаешь ли, последнее дело, — сказал Игнатьич, по-прежнему улыбаясь. — Что же мне других слушать, я лучше её послушаю.

— Эх, Митя! — Ефимыч вздохнул и посмотрел на него с горестным сожалением. — Вот что самое хреновое, я тебе скажу. Вишь, чего они с нами делают, как она тебя сагитировала! «Я у тебя одна-единственная родная на земле. Ты меня слушай, ты других не слушай, друзья правду не скажут, только я скажу». Вот как они устроились! А мы тут, заметь, третий час с тобой сидим, а ты меня в гости не зовёшь.

— Почему ж не зову?..

— А потому что Лида не хочет.

— Да кто тебе сказал — не хочет?

— Никто не сказал, я сам знаю, почему не хочет.

— Скажи, если знаешь.

Игнатьич по-прежнему улыбался, но что-то ушло из его улыбки, что и делает её улыбкой, а не застывшим рельефом складок и морщин.

Ефимыч махнул рукой и поглядел, не идёт ли официантка. Она всё не шла, а он уже, наверное, раздумал говорить.

— Скажи, если знаешь, — повторил Игнатьич.

— Помнишь, лет шесть назад, — сказал Ефимыч, не глядя на него, — у меня с Клавдией раздрай вышел. И мне тогда жить негде было. И я у тебя две недели жил.

— Ну?

— А ты тогда в море ушёл. Младшенькой пацанки тогда у вас, вроде, не было. А старшенькая была уже.

— Ну?

— Ну, и она лезла ко мне. Лида твоя ненаглядная.

— Как это — лезла? — спросил Игнатьич. Он всё ещё улыбался.

— Не знаешь, как лезут? — Ефимыч поглядел на него тяжело и отвёл взгляд. — До лифчика раздевалась, жарко ей было. А то раз даже на колени села. Ну, я её, конечно, согнал...

— Согнал, значит?

— Что же ты думал: я у кореша за спиной попользуюсь? Мы же в мореходке с тобой корешили. Им это разве понять? Вот она теперь и не хочет. У них, знаешь ли, своя психология. Они такие вещи не прощают.

Игнатьич помолчал — лицо его наконец разгладилось, — и спросил:

— Что ж раньше не сказал? Тогда ещё.

— Да думал — к чему? Думал, вообще у вас ненадолго. И со временем сам разглядишь.

— Вон как ты думал.

Игнатьич положил в карман кителя папиросы и стал подниматься, держась обеими руками за стол.

— Ты что? — спросил Ефимыч. — Ты, может, не веришь мне? Что я не попользовался?

— Я тебе верю, — ответил Игнатьич.

Официантка принесла еду и полный графинчик. Игнатьич, с напряжённым, осунувшимся лицом, отлил половину коньяка в свой фужер из-под нарзана и выпил залпом. Капли текли по его подбородку на ворот свитера и на грудь. Одну тарелку он поставил перед Ефимычем, другую — вернул официантке.

— А это обратно неси. И получи с меня. Остальное он заплатит.

— Что, мальчики? — она посмотрела подозрительно. — Не поладили?

Ефимыч сидел бледный и смотрел на Игнатьича снизу вверх, с тоскливой жалостью — можно было подумать, его тошнило.

— Поняла, маленькая? — спросил Игнатьич, улыбаясь. — Ну, и не мешкай. На флоте надо бегом.

Официантка дала ему сдачу, которую он старательно пересчитал, и понесла тарелку обратно.

— Значит, не веришь? — спросил Ефимыч.

— Верю. Если б ты попользовался, то б не сказал.

— Ну?

— Ну и сиди себе. А я пошёл. И точка. И не корешили мы с тобой в мореходке. Ты сиди, а я пошёл.

Игнатьич тряхнул головой и пошёл между столиками. Он старался держаться прямо и не смотреть по сторонам. Ефимыч сидел спиной к нему и не обернулся.

Час был уже поздний, минут сорок до закрытия ресторана, и гардеробщик через замёрзшие стёкла дверей увещевал напивавшую с улицы толпу опоздавших.

Игнатьич порылся в карманах кителя и брюк и подал ему номерок.

— Что-то раненько сегодня, — мягко укорил гардеробщик.

— На вахту, — объяснил Игнатъич и развёл руками, как бы извиняясь.

Гардеробщик ему подал пальто с барашковым воротником и такую же ушанку, поставил перед ним галоши. Капитан во всё это влез, аккуратно застегнулся и перестал быть похожим на капитана. Впрочем, зачастую они таковы, водители сельдяных траулеров.

— Телефон тут где-нибудь есть? — спросил Игнатъич.

Гардеробщик отпер ему дверь в полутёмное фойе гостиницы. Капитан сел у телефона и принялся терпеливо набирать номер диспетчерской Рыбного порта. Это пришлось сделать несколько раз, прежде чем послышался в трубке недовольный простуженный голос:

— ...чем они там думают. Плавбазу на восьмой поставили, а ей топливо брать. Алё! Кто это?

— Капитан сто тринадцатого говорит.

— Это «Тунца», что ли?

— Ну!

— Так бы и сказали. По какому делу, «Тунец»?

— Мне вахтенного штурмана.

Трубка шумно вздохнула и ответила раздражённо:

— Небось, дрыхнет вахтенный. Докричись до него!

— Ничего, — сказал капитан ласково. — Ты докричишься.

Такая у тебя служба.

— А что за срочность?

— А то, что у меня отход завтра. Восемь ноль-ноль. У тебя расписание над головой висит.

— С ума люди походили, — откликнулась трубка добродушно. — В понедельник отходят. Ну, ждите, соединю.

И тотчас, уже издали и с другой интонацией, зазвучал тот же простуженный голос:

— «Тунец», включите радио! «Тунец», включите радио, «Тунец»!

Капитану представилось, как этот голос летит над портом, над чёрной дымящейся водой и белыми заиндевевшими мачтами, как он долетел до его «Тунца», пришвартованного первым корпусом у девятнадцатого причала, где грузчики-берегаши торопливо швыряют в трюм пустые

бочки, — кранец им, разумеется, лень подставить, и от ударов клёпки разойдутся, бондарю будет работа переосаживать обручи... И капитан увидел весь свой траулер, продрогший, промёрзший до стона в шпангоуте, заиндевший от мачтовых топов до трюмных подгнивших пайол, услышал скрип снега на палубе под сапогами вахтенного матроса и как он себя охлопывает рукавицами, в яростном ожидании конца вахты. Но вот матрос услышал: «» Тунец», включите радио!» — и поднял голову, спрашивая себя: «Какому ещё чёрту не спится?», и всё-таки идёт в штурманскую каютку, где ухитряются жить в плавании все трое штурманов, хотя, как покажется, туда и двоим не втиснуться. Он скидывается вниз по трапу, задирая голову и едва не задевая носом наклонный подволоку, а штурман лежит у себя в каютке — единственном сейчас тёплом помещении на судне, потому что врублена электрическая немецкая грелка и в придачу лампа-тысячewаттka, опущенная, чтоб не наделала пожара, в ведро, — он лежит, укутав ноги бараньей дохой, и читает толстенный роман из морской жизни времён Отечественной войны в Заполярье. Он угрелся и зачитался, и ему очень не хочется опускать ноги на ледяной пол и совать их в ледяные сапоги. Но вахтенный матрос говорит: «Может, ревизор к нам собирается?», и он, ругаясь по-страшному, одевается и обувается, заложив страницу жёлтой целлулоидной линейкой для прокладки курса. Потом они вместе поднимаются на «голубятник», где ходовая рубка и каюта радиста, которого, конечно, нет, потому что он, по одним сведениям, чинит дома судовой магнитофон, а по другим сведениям — поехал с этим магнитофоном к невесте на другую сторону залива и останется у неё до утра. Вахтенные вылезают из капа, глядят, поёживаясь, на тёмную воду порта, с расплывшимися в ней разноцветными огнями, и входят в рубку, старательно прикрывая дверь, обитую брезентом и «застеклённую» фанеркой. Вот они подошли к передатчику, матрос держит боцманский фонарь, который почему-то горит лишь в перевёрнутом положении, а штурман, ещё доругиваясь про себя, надевает наушники и включает береговую настройку. Для этого нужно лишь нажать кнопку и подождать, пока накалятся лампы.

— Говорите, — сказал диспетчер. — Говорите с капитаном.

— Игнатъич? — спросил штурман с заметным облегчением. — Что не спится?

— Тебе, я чувствую, сильно там спится, — сказал капитан. — Пятнадцать минут ждал. Как там, на пароходе?

— Порядок во всём.

— Бочки все погрузили?

— Последние забивают.

— Лоции получил?

— На борту, в рубке.

— Можно, значит, завтра отходить?

— Можно и завтра, — ответил штурман улыбающимся заговорщицким голосом. — А можно и не обязательно.

— Как это не обязательно? — спросил капитан, стараясь говорить потвёрже. — Эти суеверия бросать пора. Отсталость это. Понял?

— Игнатъич! — возопил штурман тоном обиженного мальчика. — Завтра ж понедельник. Главный закон!

— Главный закон — выйти согласно расписания. И рыбу ловить по всей современной науке. Вот так. И не шляпиться. Ясно?

— Ясно-ясно, — ответил штурман, как говорят в мегафон.

— Ну, а раз так, закажешь у коменданта машину к шести ноль-ноль и поедешь по хатам. Люди осведомлены?

— Объявление в салоне висит неделю.

— Значит, осведомлены. Вот так. А я — к вахтенному капитану порта. Будешь мне туда звонить, если что.

— Ясно-ясно!

Капитан положил трубку и вышел на крыльцо гостиницы. Ветер замёл снегом узкую тропинку в сугробе, и капитану мучительно было представить себе, как он пойдёт по улицам в лёгких ботинках с галошами. Он потоптался на ступеньках крыльца, затем вошёл обратно в фойе и снова сел у телефона.

— Лидуша? — спросил он, прикрыв трубку другой ладонью.

— Ты, Игнатъич? — она спросила откуда-то из тёплого сонного полумрака. Голос её был томно ленив и по-ночному чуть хрипловат. — Ты где это загулял?

— Да тут, это... Ефимыча встретил. Славно мы с ним посидели. Ты ж помнишь Ефимыча?

— Какого ещё Ефимыча?

Трубка, наполненная этой простодушной интонацией, стала чугунной в его руке.

— Значит, не помнишь?

— Да ну тебя, не пей больше, я тут сижу одна, дожидаяю.

— Ну, не помнишь, и ладно. Наташка спит?

— Давно уже.

— Уроки все приготовила?

— Чего это ты вдруг ночью?..

— Я не вдруг, — сказал капитан. — Я, знаешь ведь, ухожу в восемь. Ну, и тут ещё делов у меня на пароходе...

— Как это? Завтра же понедельник.

— Ну что с того, что понедельник? Расписание — расписанием.

Он подождал, напряжённо сжимая трубку.

Там, на Володарской, — ходу всего четыре квартала, — в его квартире давно уже погашен свет, только горит над диваном ночничок с фарфоровым филином, а на диване пёстрая пушистая накидка, прошлым летом купленная в Москве, вместе с ночником. Хорошо бы сейчас полежать на нём, скинув ботинки и вытянувшись, — а она чтоб ходила вокруг, спокойно и привычно собирая его в дорогу, чтоб утром не суетиться и выгадать часок для прощания на пирсе. И хорошо бы покурить и почитать газетку, а потом, уже в темноте, она бы ему что-нибудь рассказала о детях. И хорошо бы, пожалуй, вспомнить, стоял этот диван *тогда* или его купили после. Пожалуй, что после. Но это всё равно, это ничего не меняет. Важно, как она ответит.

Ну, ответь ему оттуда, из тёплого уютного полумрака, скажи, что ты его непустишь завтра, потому что лучше других понимаешь, что такое лишние сутки берега. Уже ничего нельзя переменить, уже капитанское слово сказано и облетело чёрную ледяную воду с расплывшимися в ней сигнальными огнями. Но есть и другие слова и в них тоже нуждаются непромокаемые сельдяные капитаны.

И она ответила.

Георгий Владимов

— Жалко! — сказала она. — Я думала, денёк ещё побудешь. Теперь когда же тебя ждать? В апреле?

— В апреле, — ответил капитан. — Ты на причал не ходи, я за вещичками матроса пришлю. Завтра хлопот у меня, ты же знаешь...

— Да уж знаю...

Он положил трубку. «Подумает, разъединили, — сказал он себе. — Ну, может, так оно лучше. И пусть думает».

Он вышел на крыльцо, старательно прикрыл за собою тяжёлую дверь в тамбур, натопленный калорифером, и, подняв воротник, наискось пошёл через улицу.

«Неделя», 8-14 сентября 1963.

НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ, МАЭСТРО

Рассказ для Генриха Бёлля

Они пришли в понедельник утром, сразу после восьми. То есть сначала шагнул в квартиру мордастый — лет сорока пяти, невысоконый такой, упитанный, с волнистым коком над лбом и космочками волос за ушами; круглые щёчки румянились, а рот лоснился, как будто он только что поел торта, глазки поблескивали весело.

— А мы к вам, — сказал он. Хотя какое же было сомнение, что именно к нам.

И сразу их стало трое. Появился ещё долговязый — помоложе, с утомлённым лицом и рыбьими неподвижными глазами, — и совсем молодая дама в джинсовом платье с погончиками, которая вошла плечом вперёд и скромно стала у притолоки. Она сразу меня поразила — странной бледностью щёк, потупленным взором, длинными белыми прядями, стекавшими из-под синего беретика, надетого набекрень, как у десантников. А когда мы смотрели в глазок и потом через цепочку, то был всего один — мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил он папу. — Пройдёмте все в ту комнату.

— В какую «в ту»? — спросил мой папа, начиная пугаться и от этого ужасно раздражаясь. — И кто вы такие, позвольте узнать?

— А вот это, — сказал мордастый, — раньше надо было спрашивать. А то вы открываете так беспечно. Знаете, сколько сейчас всяких разных по квартирам шныряют?

И действительно, всегда спрашиваем: «Кто?», а тут — не могу даже объяснить почему, — не спросили.

Долговязый прикрыл спокойно дверь и проверил два раза, как действует замок. Молодая дама в беретике, ни слова не говоря, двинулась плечом вперёд по коридору, прямо к моей

комнате, неся за собою на отлёте серый чемоданчик с патефонными застёжками. Мордастый взял папу за локоть и весело подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, мне вам её показать?

Долговязый надвинулся на меня, спрашивая своим замораживающим взглядом, долго ли я ещё буду не понимать, в чём дело. И я повернулся и пошёл вслед за папой, чуть не отдавливая ему пятки, а долговязый — вплотную за мной. Одну руку ему, как я успел заметить, оттягивала толстая, чёрной кожи, сумка, в другой как будто ничего не было, но мне вспомнились увлекательные фильмы, где бьют ребром ладони пониже уха, и в этом месте у меня сильно заныло.

В дверях нашей большой комнаты, где живут папа и мама, мордастый призадержался.

— Анна Рувимовна, вас тоже попрошу с нами. Звонить собираетесь? Положите трубочку. Положите.

Мама вышла в халате, прямая и несколько бледная, со сжатым ртом. Долговязый сперва замыкал шествие, а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стояла уже у окна, в скульптурной позе — красиво подбоченясь, опираясь на одну ногу, а другую обольстительно отставив в сторону и слегка пошевеливая туфелькой. Она куда-то смотрела пристально сквозь тюлевую занавеску и сказала, не оборачиваясь:

— Хозяин — дома. В том же положении.

Мордастый подошёл к ней, заложив за спину короткие ручки, и тоже посмотрел в окно.

— А куда ж он мог деться? Сегодня у него никаких свиданий не назначено.

Вошёл долговязый — со своей сумкой и с нашим телефоном, расправляя шнур ногою, уселся на мой диван-кровать, ещё расстеленный, и поставил аппарат себе на колени. В ту же секунду он зазвонил.

— Валера? — сказал долговязый в трубку. — Ага, всё в порядке. Переходи к метро.

Он положил трубку и устался на мордастого вопросительно.

— Матвей, — сказала мама печальным голосом, — ты мне можешь сказать, чего хотят от нас эти люди? Может быть, им нужны деньги? Так пусть скажут.

— Аня, тут что-то другое, — сказал папа, досадливо морщась. — Успокойся, пожалуйста. Они нам сейчас всё-всё скажут.

Мордастый, усмехаясь, отошёл от окна и стал в центре комнаты, под плафоном.

— Значит, так. С вашего разрешения мы тут у вас поселимся. Вам уж придётся уплотниться, ничего не попишешь. В эту комнату не входить, тут у нас будет... неважно что, вам до этого нет дела. Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать — приехали родственники. — Он поглядел на папино лицо, потом на лицо долговязого. — Дальние, конечно. Про которых вы даже и забыли, что они есть.

— И надолго приехали родственники? — спросила мама.

Мордастый в улыбке показал два золотых зуба, сделанных в очень хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей не спрашивают. Но, конечно, по полгода тоже не гостят... К окнам старайтесь подходить не часто, занавески лучше не отодвигать. Телефоном можете пользоваться, как всегда. Если будут спрашивать Колю — трубочку сразу ему.

— А как будут спрашивать родственницу? — спросил я, уже почувствовав облегчение. Мне захотелось узнать имя пленившей меня дамы.

— Её? — Мордастый перевёл улыбчивый взгляд с меня на даму и обратно. — А её не будут спрашивать.

— Позвольте всё-таки выяснить, — спросил папа, ещё не оступив от раздражения, — а книжечка у вас имеется?

— Матвей Григорьевич, — сказал мордастый с лёгким укором, — мы вам почему-то больше доверяем. Смотрите, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном шнурке, точно крестик. Он развернул её на секунду и снова спрятал куда-то за галстук. Мы ничего не успели прочесть, но папа тоже почувствовал облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто-то другой, как я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Интересует нас один человек — в доме напротив.

— Он что, скрывается от правосудия?

— Папа, — сказал я, — ты всё ещё не понял? Им нужен этот писатель, — я постарался сказать небрежно, — у которого отключили телефон.

— Отключили? — спросил мордастый. — Откуда вам такое известно, что отключили?

— У которого испортился телефон, — сказал папа с нажимом в голосе, не поворачиваясь ко мне.

Я увидел, как шея у него вытянулась и порозовела, и согласился:

— Пусть будет «испортился».

Тем более что и сам наказанный так отвечал. Знали истину оба наших кооперативных дома, знали бабушки, сидевшие в беседках и на лавочках у подъездов, знали даже дети, игравшие в песочницах, что телефон у нашей несчастной знаменитости отключили *пожизненно*, и этот номер, 144-47-21, передан каким-то другим людям, которые вам ответят, что прежний абонент выехал навсегда за границу, а могут и ответить, что умер. Но кому-нибудь непременно хотелось выяснить «из первых рук», что за нарушение было устава связи — куда-нибудь он не туда звонил или ему звонили откуда не следует? — и он, почему-то смущённо отводя глаза, что-то бормотал, что всё некогда вызвать монтера со станции, и вообще ему без телефона даже лучше, спокойнее.

— Вы с ним общаетесь как будто, — сказал мордастый. Они с долговязым внимательно, выжидающе смотрели на папу.

— Ну, если можно назвать общением, что мы с ним перекинемся двумя словами... о погоде, или он задаст вопрос... технического порядка, — у папы от смущения одно плечо поднялось к уху, — да, общаемся. Как-никак соседи. Но если есть такая необходимость, чтобы я воздержался на какое-то время...

— Зачем же, — сказал мордастый. — Такой необходимости нет. Даже было бы желательно, чтоб вы продолжали общение как ни в чём не бывало. Я бы вам дал тогда соответствующие инструкции.

Папа оглянулся на маму. Она опустила голову и разглядывала паркет.

— Ну, как желаете, — подождав, сказал мордастый. — Главное, чтоб нигде ни слова. Понимаете, что вам доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.

— Да, конечно, конечно.

Я подошёл к молодой даме, всё так же пристально наблюдавшей за теми тремя окнами — прямёхонько против наших, на верхнем, пятом этаже, — и слегка отвёл занавеску.

— Я же только что предупреждал, — сказал мордастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и я пока ещё находился в моей комнате, поэтому к нему и не повернулся.

— Что-нибудь он опять натворил? — спросил я даму. — Выступил с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно из-под опущенных наполовину век, затем её взгляд переместился куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько задержался ниже пояса и ушёл в сторону. Больше её взгляд не останавливался на мне никогда.

Неторопливым округлым движением она сняла свой десантный беретик и положила на журнальный столик, рядом с двумя папками моей диссертации, едва удостоив вниманием гордое её заглавие: «Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах».

— Столик мне подойдёт, — сказала она, ни к кому, собственно, не обращаясь. — А это они уберут.

— Ну-с, мне пора, — сказал мордастый.

Мы с папой провожали его до дверей. Проходя коридором мимо стеллажа, он задержался как раз против полки, где у меня... Ну, вы сами понимаете, что у меня там могло стоять, обёрнутое в белую кальку, еле прозрачную, так что можно и не заметить, но при желании — кое-что интересное прочитать на корешках. Новейший Аксёнов, Фазиль в полном виде, первая часть «Чонкина», «Верный Руслан», Липкина «Воля» и кой-какой Бердяев, «Зияющие высоты», три-четыре журнала. Не могу не сказать — золотая полочка, чуть не каждая из этих духовных ценностей обошлась мне в полстоимости джинсов.

— Зачем это держать? — спросил мордастый с укором во взгляде.

Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с таким же укором.

— А если мне-е... — Я отчего-то заблеял. — Если это нужно мне для работы?

— Не нужно вам для работы, — сказал мордастый уверенно (и впрочем, со знанием дела). — Незачем голову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив руку за борт пиджака, задрав голову, отставив ногу, вылитый «маленький капрал», которому ужасно хочется в Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть. Они нас только сбивают, а ничего не дают для понимания.

— Да-а? Это интересно. Какие же этапы?

— Вы сами знаете какие.

О, этот их прелестный пуленепробиваемый ответ! «Вы сами знаете». Супруга нашего визави, как мне рассказывал папа, всё-таки пошла — тайком от мужа — выяснять, за что им отключили телефон. «Вы сами знаете, за что». — «Но в чём выразилось наше нарушение?» — «Вы сами знаете, в чём». Что они — языка лишились? Почему не смеют назвать? Знают, ведают, что творят?

— Но Бонапарт, — сказал я, — всё-таки дал бы команду, что надлежит забыть, а о чём помнить.

Мордастый этого просто не услышал.

— Александр! — сказал папа, вдруг опять раздражаясь. — Я же тебе говорил тогда, если помнишь: «Выбрось эту сомнительную литературу». И ты же со мной согласился, что она сомнительная. А почему-то держишь на самом виду.

— Вот именно, — подхватил мордастый. — Кто-нибудь почитать попросит — вы ж ему не откажете? А это уже будет считаться не только «хранение», но и «распространение».

Покачав головою, уничтожив меня долгим взглядом, он вышел на лестницу.

— Родственников не обижайте, — пошутил он с серьёзным видом. — А сынок у вас, хоть и тридцать два года, а очень ещё незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, которого на первый случай избавили от розог.

— Он задумается, — сказал папа. — Я, наконец, сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока ничего не видел.

Мама нас встретила в коридоре, держа в обнимку, как бочку, мою свёрнутую постель.

— Где у нас раскладушка? Достаньте мне её немедленно.

— Где-то в кладовке, — сказал папа. — Но, Аня, сейчас только девять утра.

— Я должна позаботиться о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он ютился как бедный сирота. Он должен где-то отдыхать и иметь уединение для работы.

— Хорошо, где ты хочешь, чтоб он имел уединение?

— В кухне, — сказала мама. — Кухня — это моя территория. Если вы свою кому-то уступили, то я уступать не намерена ни пяди. Только своему сыну. Кровать будет стоять на кухне всё время.

— Но, может быть, людям захочется сварить себе кофе или я не знаю что...

— Ничего, — сказала мама. — Захочется — перехочется.

— Аня! — Папа очень страдал от того, что дверь в мою комнату осталась полуоткрытой. — Но ты посуди: где мы сами будем есть? Где ты будешь готовить?

— Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю! Так же не будет. Ты же нам не позволишь питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпуклый животик, на его напряжённое, несчастное лицо — красное, под белым встопорщенным ёжиком, — и на то, как он нервно теревит подтяжки, и сразу устала держать в обнимку постель.

— Возьми же у меня, долго я буду так стоять? Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, как всегда, а потом мы с тобой пойдём гулять и там, на воздухе, всё обсудим. Как нам дальше строить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — глухо отвечал папа из кладовки. — Нам же объяснили, что это — временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться дома.

— Ни в коем случае, — сказала мама. — Я тебя вытащу обязательно. Ты очень взбудоражен, это может кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — спросил папа, задвигая шпингалет. — Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у Александра сегодня библиотечный день. Мы же не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?

— А никак? — раздался из моей комнаты голос долговязого.

— Что вы? — Папа подошёл к двери. Заглянуть туда он почему-то не решился.

— С ключами — как устраивались до сих пор, так и дальше.

— Но у нас только два комплекта. Вдруг вам понадобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.

— Да, но кто же вам потом откроет?

— Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей Григорьевич, против лома — нет приёма.

Папа к нам повернулся очень сконфуженный. Мама посмотрела на него почти брезгливо, но промолчала.

В эту ночь мне совсем неплохо спалось на новом месте. Полагаю, что и Коля долговязый был не в обиде на мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяснилось, на кухню родственники наши не претендовали, зато мою комнату не оставляли без присмотра. Из квартиры они уходили по очереди и входили без звонка; у меня было впечатление, что замок сам собою открывается при их приближении. В семь утра Коля разбудил меня, когда прошёл в ванную в трусах и в майке и шумно там плескался и фыркал, напевая довольно недурным баритоном: «Капррызная, упррамая, вы сотканы из роз. Я старше вас, дитя моё, своих стыжусь я слёз». Как рассказывают, это любимая песня нашего генсека, а вовсе не «Малая земля». Не знаю, у Коли я спросить не решился. Выходя, он заботливо спросил меня: «Как спалось?» — и удалился, не дожидаясь ответа. Маму потом волновало, каким полотенцем он утирался и вытер ли за собою на полу (у нас, вы знаете, хорошо протекает вниз к соседям). Насчёт полотенца не знаю, но что прибрал за собой аккуратно, могу свидетельствовать.

В следующую ночь было дежурство моей десантницы — и как жестка показалась мне раскладушка! Только представить себе — в моей комнате, в каких-нибудь пяти шагах от меня, на моём законном ложе, раскинулось (лучше даже — «разметалось») прелестное таинственное существо, неприступно гордое и для меня пока безымянное, а на моих стульях разбросаны в милом беспорядке неизъяснимо чудесные одеяния и покровы! Странно, никакие эти пышные слова — «покровы», «одеяния», «ложе» — не приходили мне на ум и на язык при обстоятельствах вполне реальных, с моей долголетней невестой Диной, которая, впрочем, давно уже не невеста мне, а жительница города Бостона, штат Массачусетс, США. Гордая и неприступная занимала ванную с восемью и предпочитала душ. Я слушал, как хлещут шипучие струи с разными оттенками шума — оттого, что сначала одна, потом другая прелести подставлялись для омовения, — и, кажется, начинал постигать смысл затрёпанного поэтического образа: я хотел бы быть этими струями, которым позволено... etcetera, etcetera. Когда она выходила, освежённая, встряхивая длинными прядями и застёгивая на груди своё джинсовое платье с погончиками, я как-то не осмелился обратиться к ней — хоть с тем же самым: «Как спалось?» — а только попытался поймать её взгляд, но, как я уже сказал вам, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже перекочевали в кухню — и, право, обнаружилось даже некоторое удобство, что можно, не отрываясь от работы, заваривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои библиотечные дни старики могли побыть дома, и мама готовила обед, а в остальные — они уходили на долгие свои прогулки — включавшие в себя, естественно, стояние в очередях, — и я мог поработать над моими тамильскими преданиями. Однако ж поработать — это сильно сказано, вы не знаете, что такое наша квартира. Когда-то нам очень нравилось, что наш кооператив — самый дешёвый в Москве, теперь эта наша «пониженная звукоизоляция» мне выходила боком. Из любой точки нашей квартиры слышен неумолимый ход времени, отбиваемый папиными часами, — о, вы

не знаете, что такое папины часы! У него их накопилось штук тридцать: луковицы, каретные будильники, нагрудные — в виде лорнета — и даже знаменитый, воспетый Пушкиным, «недремлющий Брегет», ходики с кукушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда бегают глаза; часы, которые держит над головою голенькая эфиопка, и часы, на которые облокотились полуодетые Амур и Психея; часы корабельные — с красными секторами молчания — и часы, охраняемые бульдогом. Кое-что досталось папе в наследство, остальное он прикупал, когда ещё прилично зарабатывал в своём конструкторском бюро, а в последние годы, на пенсии, он собирал уже просто рухлядь, которую выбрасывали или продавали за символический рубль, и возился с нею месяцами, покуда не возвращал к жизни. Всё это богатство каждые полчаса о себе напоминало боем, звяканьем, дзиньканьем, блямканьем и урчанием — притом не одновременно, а в замысловатой очерёдности. Один Бог знал, которые из них поближе к истинному времени, — его всё равно узнавали по телефону, — да папа к точности и не стремился; наоборот, соревнование в скорости тоже составляло для него очарование хобби, и по этой причине останавливать их не позволялось. Мы с мамой давно притерпелись ко всей этой папиной музыке, даже перестали замечать, просто в последние дни слух у меня обострился — от звуков иных, непривычных.

— Валера! — слышался Колин металлический баритон. Против обещания, телефон они надолго забирали к себе — как они объясняли, «чтоб вам же не мешать». — Спишь там? А бельгиец-то — прошёл... Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.

— С Ивоннкой, — подсказывала моя десантница.

— Точно, с супругой. Уже десять минут как прошли, а ты не сообщашь... «Не успел», пиво небось глотал... Где машину оставили?.. Дверцы хорошо заперли, стёкла подняли? А то ведь на нас потом скажут... На сиденье ничего не лежит?.. Кукла? Ну, это детишкам своим. Прямо, значит, из своего валютного... Это и мы заметили, что с пакетом. Поглядим, с чем выйдут. Ну, иди, глотай своё пиво, только о работе не забывай.

Ненадолго воцарялась там тишина, но мне уже было не до моей бедной диссертации. Мне слышались — или чудились — кошачье мурлыканье, смешки, шлепки по телу, в общем, подозрительная возня. В эти минуты — кто сказал бы мне? — стояла ли она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, лежала — на моём диванчике? Я чувствовал себя спокойнее, когда они включали мой магнитофон, и Коля с воодушевлением подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
Не убиррайте ладони со лба!..

— Поставь лучше Высоцкого, — просила дама капризно и томно. — Ты же знаешь, я Высоцкого люблю неизменно!

— Много ты понимаешь! Булат же на порядок выше.

— Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему. — Голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую моё сердце ревностью к обоим бардам. — А Высоцкий — это моя слабость.

— И как ты его любишь? — спрашивал Коля игриво.

— Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке. Просто он весь меня трогает сексуально.

— Но-но, я па-прашу не выражаться! — Колин голос певуче взвизвался и тотчас, без перехода, исторгался низким рокотом:

Моцарт отечество не выбиррает,
Просто, игррает всю жизнь наппрролёт!

— Погоди, Моцарт, — в голосе её слышалась насмешка, но почти любовная. — Моцарт мой милый, ты про общественные поручения не забыл?

— Когда Коля чего забывал? Просят — всегда сделаю. Но только после обеда. Сегодня у нас кто первый по плану? Дочкин просил «Железную леди» побеспокоить. Но она просит — до двух ей не звонить. Работает, третий том про Ахматову пишет. Не могу даме навстречу не пойти.

С двенадцати до двух они по очереди удалялись обедать — наверно, в хорошее место, поскольку успевали там же и отовариться; по приходе он сообщал ей: «В заказах икра сегодня красненькая, четыре банки взял...» Или она ему: «Сегодня ветчина югославская, ты б тоже взял, твоя Нина мне спасибо скажет».

После обеда следовал звонок от Валеры — о замеченных изменениях, затем Коля-Моцарт — как я его мысленно прозвал, вслед за моей дамой, — приступал к общественным поручениям.

— Алё, можно Лидию Корнеевну?.. Ваш почитатель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам конверты перепутали? Но письма-то — дошли. Не ошибается тот, кто ничего не делает... Как это так — не делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам жить пока не мешаем. Воздухом дышите? Дачку ещё пока не отобрали?

Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижался, говорил озабоченно, с теплотою:

— Голос у ней сегодня чего-то усталый. Спит плохо, мысли невесёлые. Да, ей много пережить пришлось...

— А всей стране — легче было? — возражала дама.

— За всю страну болеть — это Колиной головы не хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну болит... Алё, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто говорит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто ж тебе, Натуля, ещё звонить может? Большому кораблю — большое плаванье... Чего звоню? Удивлён я, Натуля, безобразным поведением твоего сожителя... А надолго ли он тебе муж? Я так думаю — ненадолго. Ты уже могла убедиться на примере некоторых твоих друзей, что за подобные штучки, что он вытворяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, не образумишь своего красавца — будем вместе скорбеть о безвременной потере кормильца... Алё, куда ты там делась? Телефон небось бегала замерять? Давай замеряй. Делать тебе не хрена, Натуля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мятой ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швыряла трубку, и Коля это объяснял с той же заботливой теплотою:

— Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счёт было своё мнение:

— А потому что всё девочку из себя строит. Холёсенскую! А уж за сорок давно.

Коля-Моцарт уже набирал другой номер:

— Алё, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, тетеря глухая?! Бросай ты эти дела богословские, ты ж всё равно не докажешь, что Бог есть, а в психушку сядешь... Да не, из какого там «кей-джи-би», всё тебе «кей-джи-би» мерещится. Просто, твой почитатель тайный, хочу тебя предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься — лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он про тебя говорит в обществе? Вот у меня тут специально записано. Что все твои писания — вторичны... Вторичны! Сколько тебе повторять, уши прочисти! И нет, говорит, у него центральной идеи, поэтому в статьях драматургия не чувствуется... Да не у него, а у тебя... Ну, не знаю какой. Центральной нету... Драматургия? Ну, значит, должна быть, раз говорит, что у тебя не чувствуется. Вот так. Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.

— Не поверил, но огорчился.

— Хорошо у тебя получается. Лучше всех в отделе.

— Выматываюсь потому что, всю душу вкладываю. Ну, на сегодня хватит.

Тем временем главный объект наблюдения тоже заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, считает и складывает отпечатанные листки, потом стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши окна — и не видя их, точно смотрит куда-то в туманную перспективу. Если б я даже подал ему знак (какой, не подскажете?), он бы его не заметил. Как мне было ему посоветовать, чтоб он хотя бы завесил окно? В сущности, это ребячество, без которого можно обойтись, — эта его привычка поглядывать время от времени, отрываясь от своих писаний, на зелень, на верхушки клёнов, ив, тополей. Я понимаю, он сам их когда-то сажал — больше, чем кто другой в доме, — и ему, наверно, любопытно смотреть, как они вытянулись и разрастаются с каждым летом, поднялись уже к пятому этажу. Его это, наверно, вдохновляет, но надо же учесть и 12-этажник, что стоит наискосок, оттуда в сильную

оптику можно, пожалуй, и прочитывать, что он там пишет. Или он думает, что если сам он в чужие дела не лезет, то и другим нет дела до него? Но, когда он, по своему расписанию, спускается во двор и бродит между домами, кому-то названивая из разных автоматов, не может же он не чувствовать на себе десятки взглядов — любопытствующих, осуждающих, а то даже испепеляющих, — ведь отчего-то он каменеет лицом, проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быстрее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в беседках, и все детишки в песочницах, и даже собаки — в соответствии с настроением хозяев — натягивают поводки в его сторону. Такой вот микроклимат в нашем микрорайоне. Все ведь знают: с тех пор, как его исключили из союза писателей, к нему исправно каждые три месяца является участковый и снимает допрос, на какие средства он живёт, а однажды у всех на виду нашу знаменитость вывели под руки и, усадив в жёлто-голубой «Москвич» с синим фонарём на крыше, повезли в отделение — за два квартала, откуда он, правда, вернулся через час пешком.

С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяемся, и я тогда спросил у него:

— Что, выселять будут — как тунеядца?

— Тунеядец-то он тунеядец, — сказал дядя Жора с досадой, разглядывая носок сапога, — да у него книжки печатаются — в Америке, в Англии, в Швеции и хрен знает где ещё. Кроме как у нас. Сигналы на него поступают, а как на них реагировать? Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень-то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.

— Весь ваш район трудный. И чего я из Коминтерновского сюда перевёлся? Хотя там тоже писателей этих до едрёной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу с детства. И я помню, как этот наш тунеядец был некогда в большой моде, его печатали в «Новом мире», и по его сценариям снимали фильмы, и вот в этой самой квартирке пел громоподобно, услаждая весь двор, покойный теперь артист Урбанский. И тогдашняя восходящая звезда Л. Л. привозила дорогого автора со съёмок на своей машине, и оба наших дома

наблюдали, как она ему на прощанье протягивает цветы. И эти старушки, бывшие ещё только зрелыми дамами, домогались его автографа. Да все, кто теперь воротят от него носы, старались попасться ему на глаза, удостоиться пяти-минутного разговора.

Я не знаю, что такое случилось с ним — да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к молодым, любили целое поколение, которое почему-то называлось «четвёртым», и он входил в эту плеяду, «надежду молодой литературы», считался в ней «одним из виднейших». Потом у всей плеяды что-то не заладилось с их новыми книгами, не так у них стало получаться, как от них ждали, к тому же они имели глупость «нехорошо выступить» и что-то не то подписывать и до того довыступались и доподписывались, что их стали выкорчёвывать всем поколением сразу. Теперь и не прочтёшь нигде, что было такое — «четвёртое поколение», а плеяда рассеялась по всему свету, остались только те, кому удалось сохранить любовь к себе, — и вот такие, как он, двое или трое, которым, как говорят, «терять уже нечего». Да, всё почему-то не получается у нас — оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик Толя, семи лет, которому он заметил, что нехорошо царапать гвоздём чужую машину, может ему ответить с достоинством хозяина жизни: «А вы тут вообще на птичьих правах».

Впрочем, ещё один персонаж осмеливается говорить о его статусе во всеуслышание — наша районная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полгода, ей приходит пора ложиться в больницу, а врачи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: «А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он за mine по «Голосу Америки» заступится!» Вот два полюса его невероятного положения: и «на птичьих правах», и можно — когда всё исчерпано — ему пожаловаться, и он «заступится». Так говорят семилетний и юродивая, но и мы, взрослые и нормальные, знаем: и то, и другое — правда. А может быть, всё это, непостижимое, не с ним случилось, а с нами? Может быть, он остался, каким был всегда, а мы переменялись вместе со временем? Что же с нами со всеми произошло? Те самые люди, что по вечерам припадают к транзисторам и

ловят сквозь рёвы глушилок сообщения о нём или куски из его последней книжки, те же самые люди растят детей, которые выучились и смотреть ему вслед насмешливо, и вытаскивать из его почтового ящика письма, чтоб порвать и бросить на лестнице. Да, впрочем, и пишут ему как будто всё реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя люди компетентные — как наш сосед по лестничной площадке, бывший дипломат в Норвегии или в Дании, славный тем, что провалил в этой стране всю нашу разведку, — говорят, что, наоборот, пишут со всех концов страны и из других стран, но всю корреспонденцию забирает на почте особый человек по «доверенности номер один».

А теперь, кажется, подступились к нему вплотную — и как мне его предупредить? Можно дождаться, когда он вынесет свою мусорную корзину с обрывками черновиков, и подоспеть со своим ведром, и тут, над контейнером, под шорох вытряхиваемого содержимого, сказать потихоньку. А он мне поверит? Не сочтёт за провокатора, которому как раз и поручили воздействовать на него психически? Он помнит, конечно, как я по его книгам писал дипломную «Об использовании бытового и производственного жаргона в произведениях имярек» и донимал его расспросами, но помнит он и другое — все мы переменились, и каждый мог стать кем угодно.

Пожалуй, я бы всё-таки решился, но этот таинственный Валера... Чёрт бы его побрал! Где он прячется? Откуда следит? Может быть, он изображает алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, опохмеляется пивом «из горла»? Или на лавочке обжимается со своей подружкой, тоже топтуньей? Или стоит на углу с газетой, свёрнутой в трубку? — вон даже махнул кому-то, знак подал. А может, он как раз уминает мусор в контейнере — и собирает эти самые обрывки? Я даже такой странный разговор слышал — между Колей и дамой: «Кто у нас сегодня *Валерой*? Вроде бы Дергачёв со Жмачкиным?» — «Не со Жмачкиным, — отвечала она, — а с этим... новеньким, с Ларьковым». — «То-то, я слышу, голос какой-то не родной...» Так он, этот Валера, не один? Так их — двое? А может, их даже пятеро или шестеро, а только один звонит? Нет, я не осмелюсь. У меня диссертация,

и через полгода — защита. С опозданием на семь лет, после моего жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно и за которой можно как-то пересидеть, если не рыпаться. У меня папа и мама, которым эти мои тамильские предания и пракриты лишь потому не кажутся чепухой собачьей, что они привыкли уважать всякое чужое дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нём понимают. Могу я, по-вашему, разрушить их надежды? Смею ли рассчитывать на их негенеральские пенсии или на то, что папа, в крайнем случае, продаст свою коллекцию? Ну и, наконец, вот что... Положа руку на сердце, строго между нами, как на духу. Ведь когда он *становился за черту*, он тоже не смел рассчитывать, что кто-то из-за него станет подкладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он *их* уж слишком разозлил — иначе б не стали тут держать пост, это всё-таки дорогое удовольствие. И почему же кто-то другой должен разделить его грехи или ошибки, к тому же — беззащитный, о котором никакой «Голос», никакая «Волна» и никакое там «Би-Би-Си» словечка не скажут? Не знаю, не знаю...

Покуда я размышлял таким манером, писатель уже возвращался из своих странствий, я опять видел его в окне, и возвращались с прогулки мои старики. Мы обедали в кухне — и в основном молчали. Я отчего-то догадывался или читал на их лицах, что для своих прогулок в Филёвском парке они выбирали такие дорожки, сидели на таких лавочках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже теоретически невозможно.

Ровнёхонько в пять звонил в дверь мордастый, отвешивал молча головной поклон и направлялся к моей комнате.

— Ну-с, как успехи?

Докладывал Коля-Моцарт, дама вставляла отдельные реплики. Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими.

— Четвёртую главу закончили, с Божьей помощью. С этой главой были трудности — наверно, придётся кой-чего

перебелить. Пока начали перепечатку пятой. Да над финалом тоже придётся покорпеть.

— Ну, это уже небось готово, — говорил авторитетно мордастый. — Хорошие писатели финал пишут загодя.

— Ещё предисловие будет к зарубежному читателю, — уточняла дама. — Пока только наброски.

— Ну, что ж, — говорил мордастый довольным голосом, и я почти видел, как он потирает руки или бьёт кулачком в ладонь, — числу к тридцатому, пожалуй, запрёмся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои манускрипты переснимает на плёнку и делает это в ванной.

— Плёнка уже имеется, — сообщала дама, — «Микрат-300».

— Молодец, хорошую плёнку достаёт! — хвалил мордастый. — Узнать бы, с какого объекта ему ташат, да задать тому деятелю по заливку — за соучастие. Ну, уж ладно, конец — делу венец. Готовимся, значит, к операции «Передача»?

Мы в кухне, замерев, слушали его булькающий смешок.

— А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не устоит?

— В каком смысле? — спрашивал Коля-Моцарт.

— Договор заключит без промедления. В прошлый раз сколько тянули? Года четыре?

— С половиной, — уточняла дама.

— Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не выдержала, не говоря об итальянцах...

— Ну, итальянцы — те что ни попадя переводят, — вставляла дама.

— А эти-то долго, англичане, держались. Привередливые! Но с тех пор-то мы выросли! С прошлой книжечкой не сравнишь, романище мирового класса. Ребята в фотоотделе куски почитывали — прямо так хвалят! Если мы тогда на аванс в две тыщи фунтов согласились, так теперь и с четырьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуемся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и больше с них содрать. — Слышалась искренняя гордость возросшим талантом наблюдаемого и затем — вздох почти горестный. — Да-а... И почему это я романы не пишу? Всё — статеечки, статеечки на злобу дня.

— Кто-то же должен и на злобу, — утешал Коля-Моцарт. — Вы не менее важное делаете.

Мордастый, однако же, на лезть был не падок и коротко перебивал:

— Бельгиец был?

— Час проговорили с четвертью, — отвечивал Коля. — Мы едва успели кассету сменить.

— Что-нибудь вынес?

— Отчётливо сказать нельзя.

— А какая у нас техника? — жаловалась дама. — Одно мучение!..

— Да, и этот чёрт бельгийский берёт так ловко, что и не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передаёт. Вот бы кого по-крупному опорочить!

— А Хельсинки? — спрашивал Коля. — За письма его ж не выдворишь.

— Что Хельсинки? Его на иконах надо подловить. Большой любитель нашей старины! Кто ещё был?

— Из посольства Франции — на машине с флажком.

— Один шофёр или кто поважнее?

— Шофёр.

— Ну, это он приглашение привозил — на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял для передачи, французы — они осторожные. Кто ещё?

— Ахмадулина приезжала на такси.

— Беллочка? — оживлялся мордастый. И опять вздыхал печально. — Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в тёмном царстве. О чём говорили?

— Хозяйина не застала, с женой поболтали полчаса. Всё насчёт приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.

— Ясно. Стихи новые почитаем. И напитки, конечно, будут — умеренно. По уму.

— Сапожки немодные у неё, — вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства. — Наши таких уже сто лет не носят. И шапочка — старенькая.

— Так ведь когда у неё Париж-то был! Пять лет назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.

Чёрт бы побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина — и я прозевал её. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю её книжку для автографа,

не высказал, что я о ней думаю. А если и правда, что «поэт в России — больше, чем поэт», то, может быть, наше безвременье назовут когда-нибудь временем — её временем, а нас, выпавших из летосчисления, её современниками? Но про меня — кто это установит, где будет записано? Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону лишь договариваемся о встрече, а встретясь, киваем на стены и потолки, всё важное — пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжигаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они — даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливаем, петляя, «раскидывая чернуху», неутомимые эти труженики наши, ревнивые следопыты, проделывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю — по крохам, по шепоткам, по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг — при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктирные нити наших судеб. Мы что-то могли потерять — у них ничего не потеряется! Всё будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, и прошу у тебя прощения! Когда всё это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь востребовать по простому абонементу, ты мог бы — выбеги я к подъезду! — услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съёмку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивлённо, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь покрепче держать в руках. И, поскольку возникло бы подозрение, что я через неё предупредил наблюдаемого, ты нашёл бы в этой папке всё обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты б тогда составил полную картину, что же собою представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.

— Даю оперативку, — прерывал мои размышления мордастый. — Вечером у хозяина слёт ожидается. Надо полагать — с водочкой.

— Три пол-литры куплено «Старомосковской», — подтверждал Коля-Моцарт. — Валера фиксировал в магазине.

— Будет кое-кто из диссидентуры, — мордастый называл имена, которые можно услышать по радио, то есть когда-то было можно, покуда эти поляки не вынудили наших глушить «вражеские голоса». — Привезут, конечно, «документы» на подпись... Ну, это не наша забота. А вот проследить насчёт рукописей. Есть сообщение, что двое молодых собираются прийти, из «Союза независимых», или как они там себя называют? Что-нибудь почитают, наверно, вслух, а если толстое — то оставят.

— Так чего с этим делать? — спрашивал Коля.

— Фиксировать, больше ничего. Пока никаких указаний не было. Наш объект — хозяин. И — каналы, каналы!

Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою «золотую полочку», где уже, как вы понимаете, никаких «Зияющих высот» не стояло, зияла пустота.

— Сынок ваш взрослеет, — как-то сказал он на прощанье папе, желая доставить приятное. — И в целом мы вами довольны.

— А мы вами — нет, — отвечал папа — впрочем, когда дверь за мордастым закрылась.

С моими стариками определённо что-то происходило. Они всё больше мрачнели. Папа охладел заметно к своей коллекции, забывал протирать её тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять часы с места на место, даже заводить забывал — и вскоре иные вовсе умолкли, дзинькали и блямкали только те, что с недельным заводом; он всё реже шикал на маму, а мама всё меньше стеснялась нашей пониженной звукоизоляции.

— Ты знаешь, Матвей, что я решила? — спрашивала она посреди тишины.

— Что ты решила?

— Нам надо купить цейссовский артиллерийский бинокль. Я видела в магазине — за девяносто шесть рублей.

— Зачем? У нас есть бинокль.

— Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский даёт восьмикратное увеличение.

— Аня, зачем нам с тобой восьмикратное увеличение?

— Ты не понимаешь? Я хочу во всём участвовать.

Это слово — «участвовать» — она теперь часто произносила, к месту или не к месту. Звала ли её соседка занять очередь за сардельками — она отвечала: «Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать»; собирались ли подписи на выселение буйного алкоголика, художника К., в молодости сталинского лауреата, — «Я подумаю, надо ли мне участвовать»; складывались ли по трёшке на ремонт и покраску скамеек — «Считайте, что я участвую».

— В чём ты хочешь участвовать? — спрашивал папа унылым голосом.

— Во всём! Я потратила свою молодость на субботники и воскресники, увлекалась поэзией бесплатного труда, но, оказывается, есть такое бесплатное удовольствие — не считая, конечно, стоимости бинокля, — заглядывать в чужие квартиры, в чужие окна... я не знаю, в замочные скважины. Я чувствую, как я от этого молодею!

— Аня, я прошу тебя — тише.

— Почему — тише? Я хочу — громче! Я хочу слышать, что делается в чужих постелях, о чём говорят любовники в антрактах или муж с женой. Ты не видел объявлений — где-нибудь можно купить по сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я понимаю, в государственных магазинах нам не продадут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, её делают — и не хуже, чем у японцев. Но начнём с артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом помешался, теперь же самое модное занятие — подслушивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая шлёпанцами, уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойнтер на охотничьей стойке, глядя своими чёрными, расширившимися глазами в окно, слушала, как он там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, открывает банку растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала она, не выдержав. — И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не позволю!

— Я не понимаю! — взрывался папа. — Кому из нас было плохо с сердцем?

Мама переводила взгляд на меня — он был теперь вопрошающим, сострадательным и вместе неуловимо разочарованным, — кусала губы, отчего горестно искажалось её красивое, иконописное лицо, и отвечала едва слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.

В мои библиотечные дни, занимаясь в «Ленинке» с утра до вечера, я всё же приезжал на метро к обеду. Так требовала мама, и так нам всем было дешевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать обратно, и все мои дневные траты — четыре пятака, не считая сигарет.

Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял голову и увидел, что папа ждёт меня наверху, на мосту, перекинутом через нашу наземную станцию и который отчасти служит ей крышей. Я настолько не привык видеть папу на улице одного, без мамы, что сердце у меня подпрыгнуло.

— Успокойся, пожалуйста, — сказал папа, хотя я ни о чём не спросил. — Мама просто прилегла отдохнуть. Так что обед у нас будет попозже. Мы с тобой пока перекусим в «Багратионе».

Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой Филёвской. Я помню, лет шесть мы ждали его открытия — и были поражены, как быстро, в первую же неделю, установился в нём запах захудалой столовки, этот омерзительный и сложного состава аромат — увядшей капусты, перекаленного жира, лежалой рыбы и такого же мяса, вдобавок ещё блевотины и скандала. Никто «порядочный» сюда не ходил, да и сейчас заходят не часто — прежняя слава ещё не рассеялась. Когда уже махнули рукой на наше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошёл последний его заведующий, он же и бармен, коренастый армянин, большеголовый и без шеи. Он поначалу приезжал на метро, но вскоре стал ездить на красной «Ладе», попозже на «бамбуковой», теперь на белой, — но, надо признаться, не без заслуг: деньги и материалы, им же и выбитые на капитальный ремонт, он потратил с толком. Он оборудовал импортный бар в углу, стены обшил панелями тёмного дерева и шоколадной кожей, установил

разноцветные светильники, каждый столик заключил в отдельную кабинку, отгороженную высокими, резного дерева, переборками. Он, наконец, вышиб к чёртовой матери «музыкальный ансамбль», этих наших «песняров», длинноволосых и наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрустированными электрогитарами, с притопами и прихлопами, с идиотскими «ла-да-да», — и заменил их довольно несложным ящиком, из которого полилась негромкая и совсем недурная музыка. Оказалось, и не выветриваемый брезготный дух — выветривается, при некотором напряжении ума и сил можно его вытеснить амброзией шашлыка с тмином, кинзой и эстрагоном. Много может сделать человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник же он — без конца добывать хорошую баранину.

Весь путь до «Багратиона» папа не проронил ни слова, только подозрительно оглядывался. В жаркий день на нём был его приличный костюм цвета маренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с глухим воротом и галстук, повязанный толстым узлом. Во всём облике моего старика чувствовалась не понятная мне, но отчаянная решимость.

Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя не много их было занято в глубине зала и никто бы нам особенно не мешал: в одной гудела компания азербайджанцев, в другой лопотали по-французски четверо негров — наверно, из «Лумумбы», ещё в двух-трёх сидели парочки, премного занятые друг другом, а здесь нас мучило солнце и донимал уличный шум. Но папа так решил, и я не стал возражать.

Официантки нам, ясное дело, не светило скоро дождаться, но сам заведующий, он же бармен, не торопясь, вышел нас обслужить. Он принёс нам по шашлыку на овальных никелированных тарелочках, подстелив под них синие бумажные салфетки, побрызгал из одной бутылки чем-то вино-красным, из другой — бледно-жёлтым, посыпал из руки жемчужными полуколечками лука и пахучим зелёным крошевом. Было в этом что-то мило домашнее. Папа его попросил завести музыку. Он молча кивнул и удалился за свою стойку.

Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, приступив наконец к шашлыку, спросил:

— Ты понял, кто у нас поселился?

— О, да! На этот счёт у меня никаких сомнений.

— Так ты таки ничего не понял!

Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщинами, с тонким хищным носом и ястребиными, табачного цвета, округлившимися глазами, — лицо Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а откуда-нибудь из Бердичева, — и задышал на меня барашком, кинзой и луком.

— Мы с мамой уже давно догадались. Уголовники. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а — международного класса. Уверяю тебя, их наверняка разыскивает Интерпол.

Я отшатнулся.

— Папа, что ты говоришь! Они прежде всего — русские.

— Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе показали фитюльку — и то на одну секунду. Дай мне сигарету, пожалуйста, мама не почует, что я курил... Да? Ну, и что — что русские? Почерк у них — явно международный. Ты слышал, как они шантажируют по телефону каких-то людей, и в особенности — женщин? По чужому телефону! И ты не почувствовал, что это какой-то условный шифр? Это же так ясно. Это их жертвы! Как я думаю, если хочешь знать моё мнение, они послали этим людям подмётные письма с требованием — положить туда-то такую-то сумму, но те почему-то не поддались на провокации, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они угрожают? «Тебе, падла, по земле не ходить». И ты меня станешь уверять, что они — *оттуда?* — Папа, с брезгливой гримасой, помахал вилкой. — Не-ет! *Там* себе такого не позволяют. *Там* серьёзное государственное учреждение. *Там*, конечно, не ангелы служат, у них свои «но», не будем здесь говорить... Но на такие штуки *там* не идут!

— Да почему ты думаешь? Почему мы все думаем, что есть какие-то штуки, на которые *они* не пойдут?

— Я знаю, — сказал папа, для вящей убедительности закрыв глаза. — Я знаю, если говорю.

— Но у них же... аппаратура.

Странно, это было единственное, что я нашёл возразить.

— Хо-хо! — сказал папа. — Достать аппаратуру — это теперь не такая проблема. Наверняка её где-нибудь делают подпольно — и не хуже, чем у японцев.

Я услышал совершенно мамины интонации.

— Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж они хотят от нашего визави?

Глаза у папы, кажется, стали ещё круглее, седой ёжик пополз на лоб.

— Ты ещё не догадался? Они и его хотят ограбить, только — в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции. А если переведут на английский и на испанский, тогда он — просто миллионер. С их точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, чтоб тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать. «Отдадим, но при условии — положите энную сумму в такой-то банк, на такое-то имя». Или просто — продадут каким-нибудь пиратам из жёлтой прессы. Мы себе даже не представляем, какие у них возможности, связи во всём мире. И ведь он перед ними совершенно беззащитен. Он же — вне закона! Ты это-то понял?

Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще любитель гипотез, в особенности — фантастических, от которых у собеседника иной раз уши вянут, — а ведь, казалось бы, человек точного знания, инженер, не я — с моим индуизмом и теорией «других рождений». Но даже если и правда это — не может же быть, чтоб там об этом не знали, не были бы даже рады, если бы с нашим «отщепенцем» что-нибудь этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с нашими пулемётами соваться в политику! У меня даже заныло под ложечкой.

— Ты считаешь, что мы его должны предупредить? — спросил я. — Скажу тебе честно — я боюсь.

— Ты мой сын, — сказал папа, — поэтому ты боишься. И поэтому говоришь об этом честно.

— В конце концов, кто он нам, и кто мы ему?

— А вот это уже — нечестно. — Папа смотрел на меня скорбно, и мне было трудно выдержать его взгляд. — Ты знаешь

ответ на свой вопрос. Мы ему — читатели. А он нам — собеседник. Он же обращается к нам! А мы — затыкаем уши.

— Ты можешь мне сказать, почему он не уедет? Столько людей мечтают вырваться — и не могут, а от него бы избавились с дорогой душой. Неужели ему не хочется мир повидать — Венецию, Лондон, Париж?..

— И заплатить за своё любопытство — родиной? — спросил папа. И, не дождавшись моего ответа, покачал головой. — Я поздравляю тебя, Александр. Ты хоть и поздний наш ребёнок и с поздним развитием, но вырос настоящим советским человеком, я могу только гордиться. Ты научился решать за других — кому ехать, кому не ехать. Но что делать, если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя сейчас покинуть Россию. И как бы ты отнёсся, если бы действительно он уехал? Совсем равнодушно?

Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, но что-то, наверно, сдвинулось бы тогда хоть в нашем микрорайоне — и не в лучшую сторону. Он стал нашей экзотической достопримечательностью, для многих не лишённой приятности. Приятно ведь знать, что кому-то живётся ещё труднее. У меня, например, это так. И я бы, наверно, бросил в него камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не выдерживать!

— Но ему было столько предупреждений! — Я возражал скорее не папе, а себе. — Начать с телефона, с почты, с того, что машину нельзя оставить, чтоб дверцы не вскрыли, не порезали покрышки, не залили бы какую-нибудь дрянь в бензобак. И допросов ему хватило, и слезки по пятам. Чего ещё ждать? Чтоб взяли архив, переписку, книги, рукописи? *

— Это предупреждения? — сказал папа. — Это жизнь. Да, которую он себе выбрал. Он писатель, он это предвидел, он свою страну немножко знает. В этом отношении — «все системы корабля работают нормально». А вот они, наши «родственники», — папа всё гнул свою гипотезу, — это уже не нормально.

* Позднейшее сообщение рассказчика: после описываемых событий был и обыск.

Не назвал бы я нашего соседа таким уж провидцем насчёт родной страны. Случалось ему и открытия совершать, лишь для него одного неожиданные. Я помню, лет десять назад, когда он был ещё *официальным писателем* (интересно, в каком другом удивительном мире есть писатели официальные и неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома ёлочки — штук семьдесят, если не больше. Он возил их откуда-то из лесу, километров за сорок, на своём, теперь уже состарившемся, «Москвиче» — по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие комья земли. Все эти ёлочки прижились и тронулись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, что он не зря потрудился для общества. Перед каждым Новым годом по ночам визжали ножовки — ведь у нас такой прекрасный, человечный обычай: ёлочка в доме под Рождество — и желательно не из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семидесяти остались одни колья, с полуосыпавшимися боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. А ведь его предупреждали — но он отвечал: «Видите ли, я стараюсь о людях так не думать». Как же было не понять ещё тогда, что мы — большая страна, большая неизлечимо. Если бы я мог покинуть её и только вспоминать, как страшный сон!

Но мне не выдержать того, что выдержала слабая женщина — Дина. Не пережить мне того, холодящего сердце, состояния невесомости, которое называется «быть в подаче» или «быть в отказе», не собрать всех этих идиотских справок, не имеющих отношения ни к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сожгут эти взгляды служебных сук, исполненные патриотического презрения и лютой зависти: «Есть шанс вырваться? А мы — чтоб тут оставались?» Она прошла босая по этим горящим угольям, и я сейчас вижу её такой, какой она улетала из Шереметьева, — когда она вышла, всего на несколько секунд, на знаменитый «балкончик прощания», растерзанная после нательного обыска, вся красная и в слезах, и сказала мне сверху каким-то рваным бесцветным голосом, — каким, наверное, произносит свои первые слова зверски изнасилованная: «Теперь ты, Саша... Через год — там... Я буду ждать!» Я стоял в окружении топтунов, которыми кишит провожающая толпа, но не только поэтому не ответил ей, просто — не знал, что обещать. Скрипку её,

довольно ценную, провезти не удалось, — но, кажется, ей такая и не понадобилась в Бостоне, США, с концертами у неё пока не выходит, она даёт уроки музыки и этим зарабатывает столько, что «двум нашим семьям, — как она пишет, — с голоду умереть не удастся». Первые письма от неё полны были эйфории, она желала успеха моей диссертации и заверяла, что *здесь* то, чем я занимаюсь, будет иметь вес — побольше, нежели *там*, — но полтора года прошло, и всё больше стало сквозить грусти и раздражения — оттого, что меня, по-видимому, не дождаться; в последних — она скучает по Москве и даже «по всей нашей мрази», а о том, что ждёт, уже ни слова. Может быть, если бы вышло с концертами, и не было бы причин для тоски.

— Он мог бы, — сказал я, — писать свои книги хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы преуспел. А результат был бы тот же — тысяча экземпляров на всю Россию.

— Наверно, мог бы, — сказал папа. — Но я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живёт не на Азорских островах. Поэтому, — закончил он неожиданно, со своей причудливой логикой, — мы отсюда пойдём в милицию. В оперативный отдел.

У меня ещё сильнее заныло под ложечкой.

— Прямо сейчас?

— Можно не сразу, — легко согласился папа. — Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. С вишенкой.

Мы покончили с шашлыками и пересели на высокие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает нам «шампань-коблер», папа вдруг спросил:

— Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?

— Я не из Еревана, — ответил бармен. — Я из Нахичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не уехал.

— Как это? — спросил я довольно глупо.

— Я могу завтра туда поехать. Значит, я там живу.

— Видишь! — сказал мне папа, подняв палец. — В этом вся суть.

Всё же и после коктейльчиков, которых мы заказали по два, ноги не очень-то нас несли к жёлтому флигелю бывшей усадьбы Огарёвых, которая высится над крутым лесистым спуском к Москве-реке и куда, как гласит история, Герцен

присылал своего слугу с записками к другу. По дороге я спросил у папы:

— А что по этому поводу посоветовала мама?

— Мама? Ничего не посоветовала. Мама сказала: «Я не желаю участвовать во всём этом дерьме».

— Так и выразилась?

— Кажется, даже немножко резче.

И вот мы пришли и сели перед большим столом, за которым — вполоборота к нам и глядя в окно — сидел массивный майор в светло-серой рубашке и тёмно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными залысинами, с пухлым лицом, с заплывшими глазками, — то ли монгольский божок, то ли Будда, то ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. Окно было настезь распахнуто, но забрано решёткой из толстых прутьев, расходящихся веером из нижнего угла. На лужайке перед окном четверо младших чинов дрессировали своих собак — огромных черноспинных и черномордых тварей, с пегими лапищами и нежно-бежевыми пушистыми животами, — учили их, как правильно нюхать тряпку и совершать круг, перед тем как рвануться по следу. Майор, развалившись на стуле, держа одну руку в кармане, а другую на столе, внимательно наблюдал за учениями, но, кажется, так же внимательно слушал, что ему втолковывал папа, потому что один раз, к месту, перебил недовольно:

— Как это вы говорите — «вне закона»? Закон на всех распространяется одинаково. По крайней мере, у нас в районе. Ну, продолжайте.

Раза два он взглянул на папу с видимым интересом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит чистопородный «ариец», русско-татарских кровей, на пожилого еврея. Похоже, мы скрасили ему дежурство всей этой фантазмагорией. Но я ждал, когда нас всё-таки попросят за дверь.

— Однако это ещё не всё, — вдруг сказал папа. — Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказывают друг другу! Разумеется, низкопробные и, я бы сказал, с очень нехорошим политическим духом.

Боже мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донёс, ни разу — даже когда следовало — ни на кого не пожаловался!

— Скажу вам прямо — махрово антисоветские.

Майор повернулся к нам и налёг жирной грудью на стол. Опора власти горела желанием послушать хороший махровый анекдотец с нехорошим политическим душком.

— А ну, ну! Поглядим, что за дым.

— Про нашу милицию, — сказал папа. — Но мне бы не хотелось здесь...

— Про милицию? — В глазах майора зажглось что-то зелёное, как у кота, когда он смотрит на птичку. — Ничего, давайте. А где ж их ещё рассказывать?

— Значит, один — такой. Подходит пьяный к милиционеру: «Дай ушко, я тебе политический анекдот расскажу». Тот говорит ему: «Ты что, не видишь, что я — милиционер?» — «Это ничего, — говорит пьяный, — я тебе три раза расскажу». Вот в таком духе.

— Та-ак, — сказал майор. — А ещё какой? Вы же сказали: «анекдоты», а только один рассказали.

— Второй — совсем дурацкий. И порочит нашу милицию совершенно зря.

— Они все дурацкие, — сказал майор. — И все порочат. Выкладывайте.

— Опять же пьяный, — сказал папа, — идёт по улице и орёт: «Алё, алё! Говорит «Голос Америки» из Вашингтона». Подходит милиционер: «А ну, замолчи сейчас же!» А пьяный — не унимается: «Алё, алё...» — ну и так далее. Тогда милиционер его окунает в лужу...

— Как это? — спросил майор. — С головой?

— Разумеется. Чтобы пресечь эти выкрики. Но пьяный — не захлёбывается, а продолжает из-под воды: «Алё... хварыть... хлас... мерк... с Ваш... хтона...» Тогда милиционер садится перед ним на корточки и кричит: «У! У! У!»

— Это ж он глушилку изображает! — догадался майор.

— Я же говорю — никакого отношения к милиции.

Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них зелёное злое мерцание, и — после долгой выдержки — медленно их открыл.

— Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас никого в квартире быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается.

Папа взглянул на меня с торжеством, однако и сам удивился:

— Вы точно знаете?

— Точно, — сказал майор. — Всё, что я говорю, всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно.

Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до живота ящик стола, достал блокнот, из красного пластмассового стаканчика вытащил заточенный карандаш.

— Это называется «оперативный блокнот». Вы мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я всё понял, где что находится. — Он повернулся опять к окну. — Митрофанов!

— А? — Митрофанов и его пёс обернулись одновременно. Должно быть, пёс себя тоже считал Митрофановым.

— Поди сюда, «А»...

— С собакой?

— Как хошь. Можно с собакой, можно без собаки.

Они всё же подошли вместе. Пёс, положив лапы на подоконник, просунул меж прутьев шумно дышащую пасть. От них обоих в маленькой комнате вполовину уменьшилось света.

— К собаке у меня претензий нету, — сказал майор. — А есть у меня претензии к участковому Туголукову. Как это, понимаешь, у нас не прописанные живут свыше недели, а нам про это ничего не известно? Вот в этой квартире. — Он показал пальцем на блокнот, где уже появились передняя и санузел. Пёс тоже поглядел и беспокойно взвизгнул. — И мало, что без прописки живут, так ещё анекдоты про милицию сочиняют.

— Я не сказал «сочиняют», — возразил папа.

— Это уж мне известно, кто их там сочиняет и зачем. Ты только послушай, Митрофанов!

Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый прошёл для Митрофанова бесследно, а после второго он было реготнул, показав нам хорошие деревенские зубы с крепкими дёснами, но был осечён грозным взглядом майора.

— Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады против нас? Или же мне показалось?

— Выпады, — сказал Митрофанов. — И зlostные.

— Это я и хотел от тебя услышать. А ты — смеёшься.

Пёс взглянул на хозяина удивлённо, затем, склонив голову набок, принялся разглядывать меня и папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показалось, он всё же не до конца нам поверил.

— Я сейчас обедать пойду, — объявил майор. — Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с Золотарёвым. Им сегодня ещё работка найдётся небольшая, так что пусть пождут, я лично дам инструктаж.

— Устали, поди, Кумов с Золотарёвым. Понервничали.

— С чего бы там нервничать? Володьку Боже-Мой брали.

— Уже он опять освободился? — спросил Митрофанов.

— Уже ему снова садиться пора, — ответил майор. — Свыше недели погулял.

— Не отстреливался?

— В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и грозитя горло себе перерезать.

— Не перережет, — сказал Митрофанов.

— Раз грозитя, — сказал майор, — значит, не перережет. Ну, иди, тренируй дальше.

Пёс, взглянув на хозяина вопросительно — принять ли это за команду, с видимым сожалением убрал свои лапы с подоконника и потащился за Митрофановым на лужайку.

Папа вычертил план изящными быстрыми касаниями карандаша, так ровно и точно, как и подобало старому проектировщику плавильных агрегатов для цветного литья. Он даже проставил размеры в миллиметрах. Майор поглядел на него с уважением и стал вникать:

— Так. Эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь — к себе открывается или от себя? Ручка — справа или же слева?

Убей меня Бог, чтоб я всё это помнил. Но папа отвечал уверенно:

— От себя, ручка — справа.

— Хорошо, — майор даже повеселел. — Теперь учтите. Оно, конечно, следовало бы удалить лишних людей из зоны

операции, тем более — пожилых, со всякими там функциональными расстройствами, поскольку возможна перестрелка. Но с точки зрения оперативной — лучше, чтоб эти люди оставались в квартире.

— Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зрения, — сказал папа, бледнея, но твёрдо.

— Я понимаю, вы люди... скажем, робкие. Но я попрошу вас — усильтесь.

— Мы усилимся, — обещал папа. — Можете на нас всецело рассчитывать.

— Тогда — где вам лучше укрыться. Бетонную панель пуля не пробивает, но не исключаются рикошеты. Иногда — двойные и тройные. Вот в этом уголочке, — он показал на плане, — опасность наименьшая.

— У нас тут как раз стоит диванчик.

— И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приляжет, как будто ей нездоровится, а вы возле неё посидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его определил как «бурный». Но не скандальный, это тоже привлечёт внимание нежелательное. Вы, скажем, с ней поспорьте на литературные темы. Или, скажем, про последний спектакль по телевизору.

— Телевизора у нас нет принципиально, — сказал папа. — Но это неважно, повод у нас найдётся поспорить. Скажите, а ему? — Папа кивнул на меня. — Ему, наверно, не обязательно участвовать в нашем бурном споре, лучше погулять во дворе?

— Спорить ему не нужно, — сказал майор, не глядя в мою сторону. — Ему лучше помолчать. И открыть двери как можно бесшумно. Ровно в семнадцать тридцать.

— Все двери? — спросил я, ощушая, с какой стороны у меня сердце.

— Зачем? — Майор опять не поглядел на меня. — Одну входную. А там — хоть в воздухе испаритесь.

Можно ли было провести эту операцию хуже, чем мы её провели? Папа и мама спорили у себя в комнате до того занудливо и такими ненатуральными голосами, как если бы сильно перепилились и приставали друг к другу с вопросом: «Ты меня уважаешь?» А минут за десять до срока они

совершенно исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясущейся рукой — и замок щёлкнул на всю квартиру. Отчасти спасла положение кукушка в папиных часах, которая не запоздала распахнуть створки и отметить половину шестого печальным «Ку-ку!» Скрип отходящей двери приглушили железным урчанием и тяжким боем часы с бульдогом.

Они тотчас же вошли — в светлых, нежно-кофейных плащах, засунув руки глубоко в карманы, — оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и причёсанные, с подбритыми по моде височками. Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и подбородки-утюги, так этого не было, — разве что нос у одного слегка был расплющен, а у другого — слегка на сторону.

— Ку-ку, — сказал мне первый, кто вошёл, с расплющенным, приблизив ко мне лицо и совершенно беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал внушением. — Дай же пройти, лопух.

— Простите, пожа... — успел я вымолвить, прежде чем его рука, деревянной твёрдости, запечатала мне рот.

Второй, с носом на сторону, притиснул меня одной рукой к стенке и затворил дверь, которая, как выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и наш старый паркет, когда они пошли по нему в тяжёлых ботинках.

В моей комнате шёл государственной важности разговор — Коля-Моцарт докладывал мордастому, пришедшему за полчаса до этого:

— ...ещё жене пальто кожаное привезли в подарок, цвет беж, Валера зафиксировал. Туристка из Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зелёной.

— Ничего себе подарок! — слышался голос моей дамы. — По каталогу «Квэлле», фээргэшному, такое пальтишко — четыреста шестьдесят девять марок, и ещё сумка под цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же скрытый гонорар! Со всем уже обнаглели. И что только делают, что делают!

— А сколько ж это в рублях, если посчитать? — задумался мордастый.

Первый, кто вошёл, отпихнул дверь ботинком и, выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.

— А щас посчитаем в рублях!

Второй, став против двери и тоже с пистолетом у живота, рывкнул на всю квартиру:

— Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!

Там что-то упало на пол, послышался изумлённо-испуганный, но бессловесный вскрик моей дамы, и быстро залопотал мордастый:

— Что такое, что такое? Свят-свят!..

Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойствие, но ему-то как раз и досталось — я услышал звук, точно кулак с размаху впелся в тесто, и обиженный Колин взрв. Он что-то попытался объяснить насчёт удостоверения, но нечленораздельно и вперемешку с матом, поэтому остался непонят.

— Лезешь, падла, куда не след! Ещё пошевели у меня мослами! Сказано — не двигаться.

Второй, оставшийся в коридоре, ласково посоветовал:

— А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же удобнее.

— А и правда, Сергунь, — отозвался Олежек. — Ну-кось, граждане бандиты, валютчики мои золотые, все сюда, к стеночке лицом, упрёмся руками, ниже, ниже, вот хорошо.

Сергунь, опустив пистолет, тоже вошёл в комнату. Набравшись духу, и я туда заглянул. «Родственники» наши — не исключая и дамы — упирались руками в стенку и изображали правильный прямой угол, с перегибом в тазобедренной части. Признаюсь, и в этом положении моя дама сохранила некоторую элегантность.

Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, ощупывал брючные карманы и под мышками. Мордастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал ногою.

— Лягаешься, — упрекнул Олежек, тыча ему пистолетом под коленку. — Значится, как этот пьяный говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб ты дотюпал?

— А милиционер ему что? — спросил Сергунь, направляясь к окну. — У? У? У?

— Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.

— Какой пьяный? Какой милиционер? — вскричал мордастый. — Вы из какого отдела? Если угодно, я могу представиться — капитан Яковлев. А вы кто?

— Капитан, капитан, улыбнитесь, — пропел ему Олежек и принялся исследовать его пиджак.

Сергунь между тем исследовал аппаратуру — нечто напоминающее кинопроектор, объективом направленный в окно. От аппарата к розетке тянулся чёрный кабель. Сергунь покрутил ручки, приложил к уху толстый наушник, с раструбом из губчатой резины.

— Не смей трогать настройку! — визгливо закричала дама. — И слушать вы не имеете права! Я кому сказала? Слышишь, ты?..

И она прибавила нечто такое в адрес мужских Сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал от первейших матерщинников. Даже Сергунь застыл в оцепенении.

— Олежек, она вроде выразилась?

— Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.

— Что ж она делает? — возмутился Сергунь. — Да она же всё святое порочит, лярва. Не-ет, я её сейчас оттяну... от этого занятия.

Слегка заалев, он шагнул к ней, к её приполненным формам, выставленным весьма удобно, и рукою, свободной от пистолета, сделал что-то едва уловимое, рассчитанно-молниеносное, — а проще сказать, *оттянул* по заду, — и у меня в ушах зазвенело от её истошного поросычьего визга.

— Полегче, Сергунь, — сказал Олежек. — Ещё, глядишь, след на всю жизнь останется, мужики любить не будут со всей отдачей.

— На всю жизнь — это нет, — возразил Сергунь, оттягивая ещё разок по другой половинке, для симметрии. — А недельку у ней это дело потрясётся.

И, не внимая новым визгам бывшей моей дамы, — от которой я излечился совершенно, — и возмущённым, но, к сожалению, неразборчивым восклицаниям Коли и мордастого, Сергунь подошёл к окну и отвёл занавеску. Поверх его плеча я увидел окно в пятом этаже и нашего визави, склонившегося над книгой или над своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону, — может быть, что-то услышал необычное или почувствовал чей-то взгляд, — но вряд ли он смотрел на что-то определённое и что-нибудь видел, кроме зеленеющих вершинок, скорее — блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась, и Сергунь бросил занавеску.

— Во дела! — сказал Олежек, разглядывая книжечку, снятую с шеи мордастого. — А он и правда капитан. Только ни фига не Яковлев, а Капаев.

— Совершенно верно! — Мордастый сделал попытку выпрямиться. Олежек нажимом пистолета между лопаток возвратил его в прежнее положение.

— А чего ж врал?

— Вы просто не в курсе операции! — вскричал мордастый, тут же, однако, снижая тон. — Я на это задание — Яковлев. Вы понимаете, что такое государственная тайна?

— Чего «государственная тайна»? — не понял Олежек. — Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сергунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка у этого, мосластого, он кто будет? Иванов, он же Сидоров, или наоборот?

Долговязый молча терпел, покуда Сергунь снимал с него книжечку и разглядывал её, почёсывая себе лоб пистолетом.

— Ни то ни другое, Олежек. Старший лейтенант Серёгин, Константин Дмитриевич. А говорили: ты — Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Митрич. Похоже...

Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от злости оскаленное и густо-красное. Из уважения к её полу ей позволили оторвать одну руку от стены.

— Ты, значит, не лярва, — сказал Сергунь, — а техник-лейтенант Сизова? А ещё кто?

— Никто. Сизова Галина Ивановна.

— Одна честная нашлась, — заметил Сергунь, не без чувства юмора. — Я, говорит, никто. Ну, за чистосердечное признание мы тебе пятнадцать суток не станем оформлять. Как ты, Олежек? Простишь ей оскорбление при исполнении?

— Она тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне — за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю, ты же у нас голубь мира.

— Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, как думаешь? Хрен с ними, пушай выпрямляются?

— А они ещё не выпрямились? — удивился Олежек. — Ну, может, им нравится так. Тогда — мы пошли.

— Нет уж, подождите! — Мордастый, встав вертикально, теперь, кажется, по-настоящему рассердился. — Извольте всё же представиться. Кто вы такие?

— Да здешние мы, — отвечал Олежек простецким невинным тоном. — Нас тут в районе все собаки знают. И облаять — побаиваются.

— Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете в рапорте вас упомянуть?

— Пожалста. Я — Кумов Олег Алексеич. А он — Золотарёв Сергей Петрович.

— Книжечки можно не предъявлять? — спросил Сергунь. — Или надо?

Мордастый поглядел, как они засовывают пистолеты за отвороты плащей, и буркнул:

— Не нужны мне ваши книжечки.

— А в рапорте своём, — сказал Олежек, — не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас никогда не предупреждает.

— А мы это не любим, — добавил Сергунь.

Выходя из комнаты, они весело перемигнулись. Мне больше не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернулся и увидел папу, который, оказывается, стоял у меня за спиной — весь какой-то увядший, сгорбленный, опустив глаза.

— Ошибочка вышла, папаша, — сказал Олежек, разведя руками. — Люди эти — не наши, но, как бы сказать, свои.

Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись — малость с удивлением.

Мы провожали их до дверей. Они теперь шагали гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой поступью.

— Извините, папаша, — сказал Олежек на лестнице, всматриваясь в папино лицо. — Может, лишнее беспокойство внесли... Это у них работа — санаторий, а у нас — погрязнее.

— Извините, — сказал и Сергунь.

— Ничего. Что же делать... — ответил папа. И закрыл дверь.

В коридоре нас дождался мордастый. Волнистый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то вспотевшему, и губы кривились язвительно. Он не говорил, он шипел:

— Что ж, вы проявили бдительность, тут вас не упрекнёшь. Поступили как советские граждане.

Папа, не поднимая глаз, кивнул.

— Но вы понимаете, что вы нас дезавуировали? Ввиду исключительной важности объекта, мы здесь никого не

ставили в известность, положились на ваше содействие. А что получилось — из самых, что называется, благих побуждений?.. А может, не из благих?

— Из благих, — ответил папа скучным голосом.

— Я сейчас иду звонить. Если эти люди не имеют секретного допуска, то считайте, задание государственной важности вами сорвано. И мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры.

— Зачем же идти куда-то? — спросил я. Должно быть, по глупости.

Он смерил меня своим предолгим уничтожающим взглядом, но ответил не мне, а папе:

— Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж извините. И не трудитесь меня провожать.

Мы и не трудились. От грохота, с которым он захлопнул дверь, у меня сильно заньло где-то в низу живота, не знаю — как у папы. Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла непривычная, прямо-таки зловещая тишина. Мы с папой, не глядя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, прижав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в сторону.

— Боже мой, — говорила она, едва не плача. — Ну можно ли так унижать людей! Какие б они ни были...

Папа, нахмуясь и звучно посапывая, стал ходить из угла в угол. Я тоже себе не мог найти занятия. Вдруг папа нашёл его для себя — он стал заводить часы. Одни за другими он их снимал или сдвигал с привычных мест, поворачивал к себе тылом или прижимал к животу и напористо вертел ключом, морщась, как от натуги. Приступая к жизни, они тикали по-особенному громко, точно бы вынужденное бездействие было им в тягость. Папа не подводил стрелки, и все они показывали совершенно разное время, каждая начиная с того, когда испустили дух. Минут десять только они и нарушали давящую тишину.

Но «чу» — как писали в добром девятнадцатом веке. Нам это показалось — всем троим — слуховой галлюцинацией, но за стеною, явственно что-то включилось, зашипело, переключилось, вступили аккорды гитары, глуховатый

тягучий голос певца запел о старенькой скрипке — может быть, заменяющей отечество, — и металлический баритон Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил рефрен:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не оставляйте старрраний, маэстро,
Не убирррайте ладони со лба!..

А вскоре мы услышали какую-то возню в их комнате, очень похожую на любовную, — скрип дивана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу и угрозу в голосе моей бывшей дамы:

— Ко-ля! Мо-царт! Не смей, всё жене скажу...

— Бро-ось, — перебивал он её протяжно. — Дружеской ласки не понимаешь. Просто нас с тобой работа спаяла...

Я сказал — «в их комнате», но двадцать лет она была моей, и мог же я туда вломиться по забывчивости, толкнуть дверь случайно? Дама, приятно покрасневшаяся, уронив на лицо нечаянную прядь и покусывая её, сидела одной ляжкой на моём письменном столе, а Коля — перед нею на диване, глядя на неё снизу. Моцартова костистая длань обхватывала её колено, облитое телесным блеском колготки. Она не пошевелилась при мне, даже не посмотрела, а спокойно подождала, куда Коля не повернулся к двери, спрашивая меня глазами удава: «Что надо?» С горящим лицом я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.

Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой что-то случилось и папа, стоя перед нею, спрашивал с нарастающим испугом и от этого всё больше раздражаясь:

— Что с тобой, Аня? Что? Что?

— Нет! — говорила мама, поднимаясь с диванчика, с такими глазами, которые в романах называют «сверкающими». — Этого быть не может. Этого не может быть никогда! Чтобы с людьми так поступили, чтобы их...

И она сказала, как с ними поступили, теми словами, которые из маминих уст я меньше всего предполагал услышать и не берусь здесь воспроизвести. Я только почувствовал — в эти слова она вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю свою смелость, какой мне, наверное, не иметь.

— И чтобы они после этого... не повесились, нет, я им такого не пожелаю, но даже не поняли бы, что с ними произошло! И это они — русские?! И это они решают — кого лишит родины, гражданства? Надо их самих лишит навсегда — национальности!

Мы не сразу увидели, что папа, уменьшась в плечах, багровый, как перед инсультом, показывает глазами на дверь. К нам не торопясь входил Коля-Моцарт.

— Ну, что вы так, Анна Рувимовна, — протянул он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже что смущённо. — Зачем вы на нас так... злобствуете? Это мы на вас должны обидеться, натерпелись — не дай Бог.

Он потрогал пальцем под глазом — там уже напухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Олежек перестарался, но что делать, подумал я, может быть, это единственный язык, который до них доходит?

— А если б у меня ещё оружие оказалось? — спросил Коля сам себя. — Уй, что б тут было!

— Не смей! — послышался рыдающий вопль дамы. — Не смей перед ними ещё унижаться! Иди сюда сейчас же!

— Отстань, — Коля от неё отмахнулся своей широкой ладонью. — Ей-богу, Анна Рувимовна, вы это напрасно — вот насчёт гражданства и что мы не русские. Ну, это уж слишком...

— Да они тебе повеситься предлагают! — кричала дама. — А сало — русское едят!..

Следом мы и впрямь услышали рыдания — во что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой диванчик.

— Может быть, ей что-нибудь нужно успокоительное? — спросила мама отчасти с жалостью, отчасти брезгливо.

Коля, не отвечая, закрыл дверь и направился к диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он сел, а она стояла перед ним в двух шагах, стискивая на груди свой тёмно-малиновый халат.

— Что вы думаете, — спросил Коля, — мы вашему соседу зла желаем? Охота нам его посадить? Или выдворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам этого не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто чего значит для России.

— Почему же вы не оставите его в покое? — спросила мама. — Если уж мы говорим по-человечески...

— Да по-человечески-то мы ж понимаем, что лучше бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мороки. Но — нельзя! Идеология! Уж очень он далеко зашёл. А в то же время — определённые круги на Западе его имя используют в неблагоприятных целях...

— Ох, не надо про «определённые круги на Западе», — сказала мама. — Не надо про «неблаговидные цели». Это уже не человеческий язык. Скажите, Константин Дмитриевич... Кажется, так вас величать, я слышала?

— Так, — сказал Коля.

— Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что когда ваши дети вырастут, — наверно, есть они у вас? — они прочтут его книги и спросят вас: что было опасного, если просто сидел человек и поскрипывал себе пёрышком?..

Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был человеческий.

— Эх, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спрашивают. А когда вырастут — спрашивать перестанут. Потому что поймут — идеология! Нельзя! Да, может, это самое опасное и есть — сидит человек и что-то скребёт пёрышком. А мы не знаем — что.

Мама смотрела на его голову и, кажется, не находила, о чём ещё спросить. Спросил папа, стоя перед окном и глядя сквозь занавесь вниз, на зеленеющие кроны:

— А что вы будете делать, когда деревья дорастут до крыши?

— Подпилим, — слегка удивясь, ответил Коля. — Не мы, конечно. Специалистов позовём, по озеленению.

— И долго всё это будет?

Коля посмотрел ему в спину стеклянными глазами.

— Что — «всё»?

Папа словно очнулся.

— Я хотел сказать — долго вы его собираетесь держать в осаде? Наверно, покуда он не уедет?

Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся с диванчика и пошёл к двери. Перед тем, как закрыть её за собой, он всё же ответил папе:

— Всю жизнь.

Москва, 1982.



А когда я спросил, что это за телефон, он мне ответил: «Это телефон, который называется iPhone». Я сказал: «А что это такое?» Он ответил: «Это телефон, который называется iPhone». Я сказал: «А что это такое?» Он ответил: «Это телефон, который называется iPhone».

Кто это такой? Это такой, который называется iPhone. Кто это такой? Это такой, который называется iPhone. Кто это такой? Это такой, который называется iPhone.

Георгий Владимов

ШЕСТОЙ СОЛДАТ

пьеса

Георгий Владимов

*Андрею Дмитриевичу
Сахарову*

ШЕСТОЙ СОЛДАТ

*Комедия в двух действиях,
восьми картинах, с эпилогом*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Солдат

Анджела, любовь Солдата

Жених Анджелы

Отец Анджелы

Надежда, подруга Анджелы

Капитан — в патруле

Парикмахер

Цыганка

Крестьянин

Дежурный в красной фуражке

Афина Паллада, любимая дочь Зевса

Арес, нелюбимый его сын

Офицеры, солдаты,

патрульные, публика на вокзале,

продавцы и покупатели,

друзья жениха, гости на свадьбе.

Действие происходит в наши дни в городе Энске

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

СУББОТА

Картина первая

Платформа вокзала. Только что пришла электричка, и через сцену проходит разнообразная публика. На лавке, подложив под голову чемодан, спит Крестьянин.

Продавцы в ларьках и киосках зазывают:

Мороженщица. Есть эскимо в шоколаде, кто забыл купить, пломбиры фруктовые и сливочные.

Табачник. Лотерейные билетки, ваше счастье стоит тридцать копеек. Мой сосед выиграл «Волгу», не проходите мимо этого факта.

Инвалид с костылём (*у книжного лотка*). Новая книга о шпионаже, массовый тираж в красивой обложке. Капитан Ёлочкин разоблачает матёрого агента. Всего за пятнадцать копеек.

Продавец непонятного товара. Эсс свежжи горячшш! Эсс свежжи горячшш!

Против толпы, юбкой подметая платформу, идёт Цыганка.

Цыганка. Кому погадаю, судьбу расскажу? (*Стройной девушке.*) Красивая, руками не махай, сына носишь. А брюнета, между прочим, денежное известие ожидает.

Публика, однако, не задерживается. Идёт величественный Дежурный в красной фуражке.

Крестьянин (*вскочил*). Эй, Красная Шапочка, стой-ка! Ну, погоди, гражданин дежурный. Электричка — откудова, не с Мышакова?

Дежурный. Ну, предположим.

Крестьянин. Так... А куда ж теперь пойдёт? Обратно до Мышакова?

Дежурный. Отправление в одиннадцать сорок две, до Мышакова без остановки, далее везде.

Крестьянин. Далее-то мне куда ж, далее мне не надо. Слышь-ка, а следующая когда будет?

Дежурный. Расписание — висит. Ты что, неграмотный? Второй день меня пытаешь. Что ж вчера не уехал?

Крестьянин. Так это... куда оно — торопиться? Всё одно ж я далее не поеду, а в Мышакове так и так буду. Слышь-ка, я тогда ещё покемарю, ладно?

Дежурный уходит. Появляется Солдат — в тёмных очках, с пустым вещмешком на плече, с фотоаппаратом на другом. Он несколько неуклюж и движется нерешительно.

Мороженщица. В шоколаде или сливочный?

Солдат. Какой повкуснее...

Мороженщица. Шоколадный, ясное дело! Ну, и сливочный тоже хвалят. Бери уж сразу два. Вот молодец солдатик, кто ж нас всегда выручит! Мне бы на пляж поспеть, солнышко не упустить.

Солдат. Вы бы и торговали на пляже.

Мороженщица. То ж не моя точка, то моя мечта! Ящик раскидала — и загорай. А может, ещё парочку? Я тебе с лёдом заверну, лёду у меня навалом. (Солдат подставил мешок.) Ну, видно же сразу покупателя, хорошего человека! Дембель у тебя скоро, домой поедешь. Соскучился небось?

Солдат. В меру.

Мороженщица. Есть эскимо, пломбиры, кто забыл купить...

Табачник. С фильтром последние остались, новую партию — не знаю, когда привезут.

Солдат (подставил мешок). Сыпьте все.

Табачник. На батальон берём? Билетики лотерейные не желаете? Мой сосед «Волгу» выиграл. А другой сосед, металлург, — пианино.

Солдат. А вам пока не везёт?

Табачник. Прошлый год — два одеяла канёвых. По пять с полтиной.

Солдат. Накройтесь потеплее.

Продавец непонятного товара. Эсс свежжи горячшш!

Солдат. Что у вас?

Продавец непонятного товара. Свежжи! Горячшш!

Солдат ушёл к лотку с книгами.

И н в а л и д (*сипло*). Захватывающе интересно, я в два за-
поя прочёл. До последней страницы неясно, кто такой Сит-
ников.

С о л д а т. Вот это и есть искусство — чтоб до последней
страницы неясно было. А кто же он всё-таки, Ситников?

И н в а л и д. Ладно, тебе по секрету. Там такой будет —
Боб Джексон, он же — Макс Нидермайер. Так ни то, ни дру-
гое, а — Ситников, белоэмигрант. Всё, молчу. Но Ёлочкин
тут — просто гений!

С о л д а т. Про Ёлочкина я вроде читал.

И н в а л и д. Так это ж новые похождения! Там, где ты чи-
тал, было насчёт кладбища?

С о л д а т. Что-то не припомню.

И н в а л и д. Ну, я ж вижу — не читал! Ты можешь пред-
ставить? В могиле! В могиле у их тайник был и рация, а крест —
заместо антенны. Что ты на это скажешь?

С о л д а т. По-видимому, направленный диполь. Он, зна-
чит, поворачивался?

И н в а л и д. Именно, что поворачивался! Ну, ты-то спе-
циалист, видать, а если — неподготовленный человек? Ста-
рушка одна, во время ихнего сеанса, матушку пришла про-
ведать, так как увидела это дело — враз к матушке и отошла.
Что ты! Контрразведка с ног сбилась. И если б не Ёлочкин!...

С о л д а т. Беру Ёлочкина, беру! А вот это что у вас, си-
ненькое? «Легенды и мифы древней Греции». Всю жизнь
мечтал, да всё руки не доходят... «Не любит Зевс бога войны,
неистового Ареса. Часто говорит он своему сыну, что он са-
мый ненавистный ему среди богов Олимпа... Свиреп, кро-
вожаден, грозен Арес, но победа не всегда сопутствует ему...»

И н в а л и д. Не всегда! Вот я и говорю. Тогда как Ёлоч-
кин...

С о л д а т. Погоди. «Часто приходится Аресу уступать на поле битвы воинственной дочери Зевса, Афине Палладе...» Смотри-ка, любопытно: «Нередко и смертные герои одерживают верх над Аресом — особенно, если им помогает вечная светлоокая Афина...» Почему ж дочке такое предпечение? Тоже — воинственная...

И н в а л и д. Ну, это как в семье поведётся.

С о л д а т. Вы так думаете?

И н в а л и д. Читал я эти байки. Нет, стиль, конечно, художественный, всё ж таки древние писали, а вот содержание — спорное. Про что повествование? Из жизни богов, так? Но какие ж это боги, ты меня извини! Громилы первый сорт, сволочь на сволочи сидит, всю дорогу один другому козьки строят. Хуже людей!

С о л д а т. Но похоже, правда?

И н в а л и д. А толку-то? Ты мне изобрази, чего я в жизни не вижу. Завтрашнего человека мне раскрой!

С о л д а т. Так на это у нас — Ёлочкин.

И н в а л и д. Ну, тут двух сомнений быть не может! Где он пройдёт, там трём Штирлицам делать нечего.

С о л д а т. Всё-таки мифы тоже возьму.

И н в а л и д. Валяй, засоряй извилины... (*Кричит.*) Новые похождения капитана Ёлочкина! Контрразведка разоблачает матёрого агента цэрэу! Всего за пятнадцать копеек!

Солдат встретился с Цыганкой.

Цы г а н к а. Красивый, но в очках, погадаю, судьбу расскажу? Вся она — у тебя на ладони. Положи сюда рупь юбилейный.

С о л д а т. Не знаю, найдётся ли...

Цы г а н к а. Два тогда положи. Не жмись, гадание у меня научное. Я и по руке, и в карты смотрю, а зеркальце мои ошибки исправляет. Что ты в него видишь?

С о л д а т. Себя вроде...

Цы г а н к а. Ошибаешься, красивый, но в очках, себя видеть никто не может. А теперь сюда посмотри. Человек ты доверчивый, вот линия твоей доверчивости, и через неё ты

терпишь огорчения и хлопоты. И упирается она — в бугорок. Это значит, ты должен переменить свой характер, и тебя ожидают удачи и успех в избранном деле. Положи ещё рупь, скажу про марьяжное.

С о л д а т. Одни полтинники остались.

Ц ы г а н к а. Два положи. Ну, один положи, мне самой интересно. Есть у тебя дама со значением, каждый день она новое платье меряет, но ты про неё больше ничего не знаешь, даже какая у неё масть.

С о л д а т. Блондинка, между прочим...

Ц ы г а н к а (с торжеством). Крашенная! Свой волос у ней — тёмный. И ожидает тебя удар от этой дамы и большое разочарование. Познакомишься ты с ней сегодня и свой интерес получишь, но сердце твоё не успокоится. Выпадает направо от твоей дамы король червовый и, хоть не на сердце у неё лежит, но имеет большое влияние. И много он крови тебе испортит, и через него печаль твоя перейдёт на даму. Зато от другой дамы, трэф, выйдет тебе удивление.

С о л д а т. Насчёт другой не надо, мне главное — про короля.

Ц ы г а н к а. Что главное, что не главное — знать никто не может. Теперь — куда твоя дорога лежит? А лежит она — в казённый дом.

С о л д а т. Вот удивила, я в нём второй год живу.

Ц ы г а н к а. Казённые дома бывают разные. И такие тоже есть. (Сложила пальцы решёткой.) Ещё день не кончится, как ты в него попадёшь, и будет тебя допрашивать воинский начальник с большими усами, и кругом ты перед ним будешь виноват...

По просцениуму идёт патруль — смешанный, как обычно в приморских городах. Во главе — пожилой Капитан, с пышными усами, которые он время от времени разглаживает щёткой, извлекаемой из нагрудного кармана. За ним — импозантный, рослый Матрос с карабином. Замыкает шествие — низкорослый и косолапый, подозрительно оглядывающийся Пограничник с автоматом.

Капитан. Гражданка Червоная! Ещё раз увижу, как вы мне военнослужащих охмуряете...

Цыганка. Гонишь меня, а там насчёт тебя совещаются начальники — не пора ли тебе майора присвоить.

Капитан. Пройдите, гражданка Червонная.

Цыганка. Большие у начальников сомнения, кто говорит — тебе и капитана много. Иду, иду, сердитый, иду, некрасивый. А дочка твоя — с молодым человеком сейчас. Горячее у них свидание!

Продавец непонятого товара (*рефлекторно*). Эсс свежжи горячшш!..

Капитан. Рядовой, подойдите. Увольнительную вашу попрошу. Не стыдно суевериями заниматься?

Солдат. Виноват, товарищ капитан. Так точно, стыдно.

Капитан. Аппарат в вас — что? Увлекаетесь?

Солдат. Есть немного.

Капитан. Мостами, вокзалами, кораблями на рейде и другими объектами, вам разъяснёнными, не увлекаться.

Матрос. Между прочим, робу можно оправить. И протезы по швам, с офицером говоришь. Пехота!

Солдат. Я — не пехота.

Матрос. Ну, технарь. Та же пехота, хоть и реактивная. Образ мыслей пехотный.

Капитан (*воодушевляясь*). Почему такой неаккуратный солдат? Я такого солдата не понимаю. Не понимаю я такого солдата. Войска в вас — особенные, и в каких условиях воевать придётся — тоже знаете.

Солдат (*вытягиваясь*). В условиях глобальности, быстротечности и истребительности!

Между тем собирается публика, жалеющая Солдата.

Старуха с корзиной. Господи, твоя суббота, а всё солдатику отдыху нету, всё ему службу читают...

Матрос. Увы, покой нам только снится.

Пограничник. Родину, мамаша, обороняем.

Некто в комбинезоне. Когда надо — обороним, а ты-то при обозе устройшься, я таких видал.

Матрос. Прошу продвинуться на один интервал. И вас попрошу, мамаша.

Капитан (*возвращая увольнительную*). Как в вас там — всё спокойно?

Солдат (*мягко*). Я ведь не там, я — здесь.

Капитан. А вот насколько мне известно, в вас там — карантин. Странно, что вам дают увольнительную. Это мне, понимаете, странно.

Солдат. Мне тоже, товарищ капитан.

Капитан. И как вы объясняете?

Солдат. До сих пор — никак. Но если вы настаиваете... По-видимому, начальство решило, что если на свете исчезнет всё странное, есть опасность умереть от скуки. А вы как думаете?

Капитан. Вы мне, рядовой, не философствуйте. Вам увольнение дадено для отдыха, культурных развлечений и для приведения в порядок личных дел. А философии мне не надо. Можете идти.

Пограничник. И говорит странно... Мешок бы у него проверить. Пощупаешь как следуете — много про человека можно узнать.

Капитан. Задержать, Евсюков, это наше прямое право. А — на каком основании? Основания в нас — какие?

Матрос. Революционный держите шаг, неугомонный дремлет враг. Саша Блок, поэма номер двенадцать.

Капитан. А кроме поэмы, товарищ Абордажный, в нас ещё устав имеется караульной, понимаете, службы. И мы его будем сполнять, как положено.

Патруль продолжает своё движение. Матрос задержался около Цыганки.

Матрос. Вопрос к вам, гражданка Червонная. Не в порядке гадания, а так, любопытства ради. Когда вы совершаете ваши прогнозы, вы учитываете поправочку на вмешательство высших сил?

Цыганка. Это мне не требуется. Мне бы сразу характер клиента распознать, а что с ним в нашем городе может случиться, то уж наперёд известно.

Георгий Владимов

М а т р о с. Допускаю. Относительно штатских. Но вот — солдат. Он себе не принадлежит. Путь солдата запрограммирован свыше. Вы и про него всё знаете?

Цыганка. В мирное время — вперёд на сутки. Я так скажу, красивый и во всём красивом: страшнее взводного у солдата начальства нету, и раз он ему увольнение выписал, то всё дальнейшее только от меня зависит.

М а т р о с. Прелестно, прелестно...

Патруль уходит.

Цыганка. Солдатик, что же ты ушёл? Ручку позолотил — и ушёл. Я ж тебе не всё сказала.

С о л д а т (вернулся). Не многовато для первого разу? Научила бы лучше, как мне казённый дом обойти.

Цыганка. Это — никак. Загаданного не минуешь. Но и ты, красивый, в долгу не останешься — сварешь своим врагам щи из топора.

С о л д а т. Слышал, но не представляю — это как же они варятся?

Цыганка. Злой будешь — догадаешься.

С о л д а т. Но нужно же как минимум иметь топор.

Цыганка (уходя). Эх! Солдат, а не знаешь, где у тебя чего. Может, он в мешке у тебя, ты пошарь, пошарь...

М о р о ж е н щ и ц а. Есть эскимо, пломбиры, кто забыл купить...

Т а б а ч н и к. Сигареты с фильтром, камни для зажигалок, лотерейные билетки. Не проходите мимо вашего счастья!

И н в а л и д. Новые похождения контрразведки! Разоблачают матёрого агента!

Продавец непонятного товара. Эсс свежжи горячшш!..

Картина вторая

Витринный зал в Доме моделей. В витрине стоят манекены — одетые и неодетые, за ними видна пустая улица. Надежда перед зеркалом конструирует на Анджеле подвенечное платье, закалывая его булавками. Фата свисает с прилавка.

Надежда и Анджела (поют).

Узнай же ты, что в нашем тихом крае
Жизнь не стоит, она идёт вперёд,
Что без тебя известный Колька-фрайер
Мне вот уж год проходу не даёт.

Кто-то стучится в не видимую нам дверь.

Анжела. Ну кого ещё там черти!.. Табличка же висит,
а — лезут.

Надежда (кричит). Перерыв у нас, обедаем!

Анжела. Сколько там набежало?

Надежда (смотрит на часы). Без пятнадцати не нашего.

Анжела. Скоро ж это день кончится? Тянется, как не
смазанный...

Надежда. Бога не гневи, Анжелка, ведь на себя работаешь.

Анжела. На себя тоже выматываться ни к чему. (Смотрится в зеркало.) Поглядеть страшно, кошка драная, под глазами круги. Ох, в наше время не красят женщину переживания!

Поют — согласно, тоскливо.

...А за окном кудрявую рябину
Отец срубил по пьянке на дрова-а.

В витрине появляется Солдат, прижимается лицом к стеклу, делает какие-то знаки.

Анжела. О, явился, не припылился!

Надежда. А я-то думаю — суббота у нас или пятница? Оказывается — суббота. Только он припозднился чего-то. Ты говорила — по нему часы проверять.

Анджела. Патруль небось задержал. У них же всё по струнке. *(Вне связи с предыдущим.)* Сегодня мне ещё укладку делать...

Надежда. А он симпатичный... Только почему в очках?

Анджела. Наверно, не строевой.

Надежда. И смотрит так жалобно. Впустим? Может, у него увольнительная кончается...

Анджела. Завтра. В двадцать три ноль-ноль.

Надежда. А у тебя и с солдатом, поди, роман был?

Анджела. Не было у меня солдата.

Надежда. А вот у меня — был.

Анджела. Я тебя умоляю!

Надежда. Нет, ну что значит «был»? Просто он со мной переписывался. По вторникам. Такой, значит, лейтмотив: «Опять вы мне снились». Руку и сердце предлагал, как демобилизуется.

Анджела. Но потом как-то забыл, верно? Тогда это несущественно.

Надежда. Нет, я этого не вынесу. Пойду открою.

Анджела. Валяй, повеселимся...

Надежда пошла открывать. Анджела подходит к витрине. Она и Солдат смотрят друг на друга в упор. Медленно изогнувшись, положив руку на бедро, она принимает соблазнительную позу. Потом делает знак Солдату, чтоб шёл к двери, и возвращается к зеркалу.

Надежда *(привела Солдата)*. Просто я вас не узнала сразу. А мне Анджелка говорит: «Кто к нам пришёл! Такой знакомый силуэт!»

Анджела. Я тебя умоляю! Больше мне делать нечего...

Солдат. Её зовут — Анджела? Не знал...

Анджела. Ну, вот узнали. Дальше что? Зачем пожаловали? Что-нибудь к свадьбе заказать? Для себя? Для невесты? У нас большой выбор.

Солдат *(сильно смущаясь)*. Ну, если такой большой, я бы выбрал — невесту. Нехорошо я пошутил?

А н д ж е л а. Нет, ничего. Оригинально. Нравится вам невеста?

С о л д а т. Просто... чёрт знает как!

А н д ж е л а. И вы, значит, пришли...

С о л д а т. Хоть посмотреть на вас.

А н д ж е л а (*смягчившись*). Но ведь это же можно и в рабочее время, не обязательно в перерыв. Сидите себе и поглядывайте, раз у меня такая работа. Для вас я даже могу в профиль повернуться или в три четверти.

С о л д а т. Эту стадию мы прошли.

А н д ж е л а. Что вы говорите! Я как-то вас не замечала. Теперь вы меня в кино пригласите?

С о л д а т. Лучше — в цирк.

А н д ж е л а. Вам, наверно, циркачки нравятся. Фигурки ничего бывают.

С о л д а т. Но вы же знаете — у вас куда лучше.

А н д ж е л а. Лично я на себя критически смотрю. А что ж вам тогда интересно в цирке?

С о л д а т. Зверушек посмотрим. Вдруг они, на наше счастье, укротителя съедят. А то он всё по ним плёткой...

А н д ж е л а. Он же их за это мясом кормит... А вы правда из-за меня так далеко ездите?

С о л д а т. Почему вы знаете, что далеко?

А н д ж е л а. Вот у вас мешок.

С о л д а т. А... Это я на весь взвод покупки делаю, по списку. Никого не пускали, ну, а я уж очень просился...

А н д ж е л а. Очень просились? Надин, ты чего там ищешь?

Н а д е ж д а. Ножницы где-то посеяла.

А н д ж е л а. А это что? (*Подняла с пола.*)

Н а д е ж д а. Тупые. Схожу там поищу. (*Вышла.*)

А н д ж е л а. Ну, сходи. (*Солдату.*) Я что хотела спросить у вас. Я вам, наверно, снилась?

С о л д а т. Нет...

А н д ж е л а. Ну, так у нас ничего не получится. Я думала, что снилась. И вы уже с каким-то отношением ко мне пришли. А вы... Просто даже странно.

С о л д а т. Но это, наверно, следующая стадия?

А н д ж е л а. Ну да, а фактор времени вы учли? Знаете, я чего завтра делаю? Вот вы думаете, это платье я для показа примеряю? О нет, мой друг, для себя.

С о л д а т. Но ведь это же — завтра.

А н д ж е л а. Чудной ты, я тебе скажу!

С о л д а т. Вот видишь, мы уже на ты.

А н д ж е л а. Да? Ну, это случайно вышло. Ну, фиг с ним, давай на ты. А имя у тебя есть? Или ты просто — солдат?

С о л д а т. Солдат Миша.

А н д ж е л а. Так вот, солдат Миша, у меня жених есть.

С о л д а т. Какое это имеет значение?

А н д ж е л а. Я тебя умоляю! Жених, по-твоему, так себе? От него и погулять можно? А если я его люблю?

С о л д а т. Если б любила, ты б сказала: «парень», «возлюбленный». На худой конец — «милёнок». А то — «жених». Это как чин какой-то. А на самом деле — пустое место. А ты вечером что делаешь? Какие планы?

А н д ж е л а. Надька, ты куда там исчезла?

Н а д е ж д а (из другой залы). Ищу-у!

А н д ж е л а. В шкафу там, в нижнем ящике. (Солдату.) Совсем странный вопрос. Что вечером делают перед свадьбой? В парикмахерскую, например, сходить. А то совсем старухой буду выглядеть.

С о л д а т. Этого нельзя допустить! Но ты к себе очень плохо относишься, правда. Говоришь не то, что думаешь. Делаешь не то. Любишь — не тех, кого хочется. Так можно в два года состариться. Вот я всё время наблюдал — какая же ты на самом деле. Ты неужели меня не видела?

А н д ж е л а. И какая же я на самом деле?

С о л д а т. А чёрт тебя знает... Наверно, очень добрая, милая, умная. Только ужасно усталая.

А н д ж е л а. Вот это правда. Тут всё-таки вредное производство.

С о л д а т. Для других, может быть, и не так, а для тебя — гибель. Ты не заметишь, как у тебя маска сделается, а не лицо. Это так жалко!

А н д ж е л а. А вообще-то я — ничего, да?

С о л д а т. Просто нет слов. Я такой не видел ни разу.

А н д ж е л а (*смеётся*). Ну ладно... Хватит врать. А приятно с тобой беседовать. Умный ты, начитанный.

С о л д а т. Больше, чем нужно.

А н д ж е л а. Что ж в институт не пошёл?

С о л д а т. В какой?

А н д ж е л а. Господи, в любой!

С о л д а т. В любой — не хотел. А пока раздумывал, тут меня и призвали.

А н д ж е л а. Ну, ты не огорчайся, ещё наверстаешь. Вот у меня жених, он постарше тебя, в педагогический поступил заочно. Без отрыва науку грызёт, представляешь? Для меня такие люди — я не знаю, просто на пьедестале!

С о л д а т (*подхватил её, усадил на прилавок*). Вот так, да?

А н д ж е л а. Я тебя умоляю! Ты себе отдаёшь отчёт? Я же вся рассыплюсь!..

С о л д а т. Так как насчёт вечера, Анджела?

А н д ж е л а. Ты психованный какой-то, всё у тебя всерьёз! Ну, не могу я сегодня!

С о л д а т. Завтра же будет поздно.

А н д ж е л а. А что же раньше не приходил?

С о л д а т. Я приходил. Только не осмеливался.

А н д ж е л а. А! Ясное дело, засватанная девка всем мила. Теперь осмелился, да поздно. Нужно быть мужчиной!

С о л д а т. Вот! Теперь ты говоришь то, что думаешь. Я там буду ждать, напротив.

А н д ж е л а. Надька, ты скоро там? (*Солдату*.) Жди... Да всё это, мой милый, ни к чему.

С о л д а т. Раз ты сказала: «Жди, мой милый...»

А н д ж е л а. Я отдельно сказала «жди», а отдельно — «милый».

С о л д а т. Мне послышалось вместе.

А н д ж е л а. Вот именно, послышалось. Мы же с тобой люди реальные, правда?

С о л д а т. Как хорошо ты сказала: «Мы с тобой»!

А н д ж е л а. Иди к чертям! (*Соскочила на пол — в его объятия*.)

Н а д е ж д а (*входит*). Понравилась Анджелка? Она — не просто так, её любить нужно. Только она уже невеста. Это ничего?

Горюхи Владимир

А н д ж е л а. Мы уже тут всё выяснили, пока ты ходила. Это не имеет никакого значения. Главное — всегда делать, что хочется.

В дверь, не видимую нам, стучат.

Ну вот, повеселились, отдохнули душой. Иди открывай...

Надежда выходит.

А тебе — зачем уходить? Надин тебя в зал проведёт, посмотришь. Что у нас сегодня по плану? Моды на курортный сезон... тот самый случай! Пляжный ансамбль, девиз — «Подкопаемся под Диора». Между прочим, есть у меня такой жестик один, я выучила. Вот так голову наклоняю и сбрасываю накидку, как будто под ней — ничего. Такой полу-стриптиз по-нашенски. Мужики — усидеть не могут, так и ёрзают. У других не получается, а весь секрет, что я в это время так себе и представляю, что на мне — ничего.

С о л д а т. Полу-стриптиз — не буду смотреть.

А н д ж е л а. А напрасно. Учти, когда модель специально приглашает, это ценится очень.

С о л д а т. Всё равно — не буду.

А н д ж е л а. Слушай... Ну, я не знаю, что делать. Честно тебе говорю — не знаю, как нам с тобой быть. Лучше б ты не приходил.

Через залу потянулись п о с е т и т е л и, с интересом разглядывая эту странную пару.

С о л д а т. Я буду тебя ждать, Анджела. Хоть три часа, хоть четыре, хоть до завтрашнего вечера. Ещё не поздно, Анджела! (*Идёт, раздвигая толпу, и оборачивается.*) Анджела!..

А н д ж е л а (*спиной к нему*). Анджела тебе всё сказала.

Солдат уходит. Публика тоже прошла. Входит Надежда.

Надин, помоги мне это снять. А то ведь я всё порву ненароком. Я же себя знаю...

Картина третья

Комната в одноэтажном домике. Из окон видна зелень в палисаднике, освещённая закатным солнцем. В продолжение сцены постепенно темнеет, пока не включается люстра. Это такой дом, где стол накрыт тяжёлой скатертью с бахромой, на стенах журнальные иллюстрации, в серванте висится горка посуды, а телевизор накрыт салфеткой. Солдат обнимает Анджелу.

Анжела. Так я укладку и не сделала... На каком свете мы живём? Вчера ещё я тебя не знала. Что я, утром ещё не знала!

Солдат. Я тебя давно знал. Всю жизнь.

Анжела. А не приходил. Ну, что б тебе было раньше осмелиться! На неделю бы раньше.

Солдат. О чём нам теперь жалеть, скажи на милость?

Анжела. Тебе — ни о чём, ещё б не хватало, чтоб ты тревожился. Я уж одна буду ответ держать. Ведь он тоже не заслужил, чтоб его обманывали. Так что я за троих теперь должна думать. Ладно, плевать... Слушай, ты есть, наверно, хочешь? Миленький, что же ты молчишь?

Солдат. Ничего я не хочу. Иди сюда.

Анжела. Да уж, куда денусь... Ох, такая я реальная, просто сил нет, всё знаю, как с вашим братом похитрее обойтись, а с тобой — куда только разум девался!.. Мы никому не скажем, да? Всё между нами, правда?

Солдат. А если спросят?

Анжела. Кто посмеет? Да ничего у нас уже не отнимут!.. А ты, когда постучался, знал, что так будет?

Солдат. Нет.

Анжела. Врёшь ведь, вы всегда всё знаете.

Солдат. Вру.

Анжела. Ну, Господи, какой хороший! Взял и сознался. А как ты это знал?

Солдат. Цыганка нагадала.

Георгий Владимов

А н д ж е л а. Правда? Фу, чепуха какая! Откуда ей что известно, она же меня не видела? А хотя... знаешь, я тоже как-то предчувствовала — в последний день, перед свадьбой, что-то да произойдёт.

С о л д а т. Анджела...

А н д ж е л а. Так ты меня по имени любишь называть, я заметила. А может, всё-таки поешь? Ну что мне для тебя сделать?

С о л д а т. Ничего. Не мелькай. Я тебя из виду не хочу терять.

А н д ж е л а. Милый, но ведь жизнь опять начинается, мельканье. Нельзя же всё время — глаза в глаза.

С о л д а т. Ну, хоть минуту ещё...

Обнялись судорожно, как перед разлукой.

А н д ж е л а (*отстранилась*). Подожди.

За окнами слышны голоса, шаги, шелест ветвей.

По мою душу идут. Отец со смены. И этот... жених. Ну да, жених у меня. Вот уж не думала, что и он сегодня... Пойду встречу. Ты только не спеши, ладно? Я чего-нибудь придумаю. Иначе ты меня предашь. Не предавай меня.

С о л д а т. Я знаю, что делать.

А н д ж е л а вышла. Солдат быстро надел ремень, застегнул ворот.

А н д ж е л а (*появляется*). Я скажу — ты Надькин знакомый.

С о л д а т. Думаешь, так лучше?

А н д ж е л а. Ой, ну не знаю я, как лучше, как хуже! А быстро ты маскировку наводишь.

Опять исчезла и появилась. С нею — Отец, маленький, лысоватый, в железнодорожной помятой тужурке, и Жених, розовощёкий здоровяк, в голубой паре и туфлях под цвет. Оба навеселе. Жених при виде Солдата вытягивается и козыряет.

Жених. Здравия желаю!

Солдат. Я вас также приветствую.

Жених. А почему честь не отдаём?

Анджела. Тёпленькие уже, успели.

Отец. Дочка, святая же суббота! (*Жениху*) А ты службы не знаешь, к пустой башке прикладываешь, без головного убора. Э!

Жених. Забываются навыки, утрачиваются в процессе жизни. Зато помню: «вперёд до пряжки, назад — до отказа». А почему — в темноте, таинственно так? (*Включил свет.*) За те же деньги можно и поглядеть на человека. (*Протянул руку.*)

Жека. В смысле — Евгений.

Солдат. Михаил.

Жених. Вопрос к вам, папаня, отец дорогой для меня женщины. Как можно на уголок не сбегать — ради знакомства?

Солдат. Я присоединяюсь.

Жених. Спрячьте ваши гвардейские, с гостя у нас — ни-ни.

Отец. Анжелина, а где-то сливянка у нас к завтраму приготовлена. Скушает, поди, без нас?

Анджела. Ещё ж не перебродила.

Отец. Так это её и завтра нельзя. А мы её — непереброженную! Ну, в кредит, Анжелина.

Анджела (*взяла фонарь, Солдату*). Пойдёмте, посветите мне в погребце.

Жених. Что же ты гостя затрудняешь? Давай уж я...

Анджела. Туфельки мне твои жалко. Завтра нашими будут.

Солдат и Анжела ушли.

Отец. Надькин, значит, знакомый? Дай-то Бог нашему теляти... Ишь, какого зачала. А — тихая!

Жених. Что ж завидовать, вы тоже не туфту приобретаете.

Отец (*добродушно*). Туфту. Костюмчик на тебе дорогой, а под костюмчиком — туфты восемьдесят шесть кило.

Жених. Полюбил я вас, папаня, за откровенность. Ценное у людей качество. Но — смотря с кем. Чужие вас не

поймут. В прошлую субботу вы тут старичка одного по матушке соотнесли. А он — не простой старичок. Пенсионер-общественник. Народный мститель!

Отец. Из ума он десятый год выжимши, мститель.

Жених. Неправильно формулируете. Достигли наши люди известного благополучия, а всё ж элемент зависти до конца не искоренён. Вот я вчера на улице Анджелку дожидая и что вижу — этот Алексей Макарыч на ваш дом засматривается и в блокнотике отмечает. Что, думаю, человеку надо для полного, как говорится, счастья? «А вот, говорит, интересно — откуда люди средства изыскивают. Хозяин сто пятьдесят имеет, да дочка не более, а гляди, гараж пристраивают. Значит, машинка ожидается?»

Отец. И гнал бы ты его по шеем!

Жених. Обратно неверно. Вот вы увидите — как я в этот дом войду полноправно, я тут всех старичков налажу. Но — не такими же методами. Надо, чтоб они нам друзьями стали, от них много чего узнать можно. А так, как вы хотите действовать — они вас в три кнута возьмут, и чем я вам помогу?

Отец. Ладно, Жека, не серчай.

Жених. Да что вы, это же всё равно, как на себя обижаться.

Вернулись Анджела и Солдат с большой оплетённой бутылью.

Отец (*вскрывая бутылку*). И где ж не перебродила? Как тебя только замуж берут, Анжелина!

Анжела (*достала стопки*). Вы руки хоть сполоснули? И учтите, без закуски я не позволю.

Отец. Под наливку — и закусь? Немыслимо! (*Ушёл.*)

Анжела. Полотенце не то возьмёт... (*Ушла за ним.*)

Жених. А вы, значит, Наденьку ждёте? Анджелку только сегодня увидели?

Солдат. Нет. Раньше ещё.

Жених. Ну да, они ж в одном заведении. Нравится Анджелка?

С о л д а т. Я вас поздравляю.

Ж е н и х. Это она ещё не в ударе! Работа же их не красит. Эх-ма... А думаешь, не сознаю, какой хомут надеваю? На то ж мы и мужики — лезем, где погорячее. Ведь жить ни хрена не умеют — и она дитё, и папаня дитё. Работают, работают, а что они видят от своей работы? Не-э, тут надо всё в руки брать, в таком примерно разрезе (*Сжал кулак.*) Вот отсюда голова торчит, отсюда ноги. А мне ещё образование завершать, расти же надо! Но уж больно хороша девка, все планы пришлось пересмотреть. И главное — моральная, это в наше-то время, а? Меня же не только внешние данные привлекают — внутреннее содержание. Из неё ещё такую аристократочку можно слепить!.. А у тебя насчёт Надьки намерения серьёзные?

С о л д а т. Насчёт Надьки?

Ж е н и х. Ну да, не разобрался ещё. Но я тебе так скажу, солдат. С Надькой — тоже не прогадаешь. Ежели так — пошуршать и отвалить — можешь смело. Она себе цену знает, жаловаться к тебе в часть не побежит. А женишься — тоже с ней лафа: следить за ней не надо, сама за собой последит, а ежели ты там и налево сбегает — не заметит. Даже и стукнет кто, дак не поверит. Ты это учти.

С о л д а т. Я подумую.

Ж е н и х. Но это между нами. Иногда я и лишнее говорю. Но — я выпил. И потом, я вижу — ты свой.

Вернулись Андже́ла и Оте́ц.

А ты вроде не из местного гарнизона? Вещмешок я заметил в сенях. Из Приморского, по всей видимости?

С о л д а т. В общем, из тех краёв.

Ж е н и х. Э, так ты на базе трубишь! А слух-то ты слышал? По всему городу носится. Будто бы появился на большой недосыгаемой высоте интересный самолёт. Второй день высматривает, где у нас чего. Шарахнули по нему ракетой — не долетела, в море упала. Очень уж высоко летает, чуть не в космосе.

О т е ц. Мало ли слухов носится. Что ты специалисту голову морочишь?

Торжест Владимир

Же н и х. В прошлый раз тоже слух был, а потом в газете писали. Не припомню, в какой.

О т е ц (*налил Солдату*). Отведайте своей.

С о л д а т. Спасибо. Анджела с нами не выпьет?

Же н и х. Воздержится. А я вот какой вопрос задам. Вот ты очки носишь, да? Как же тебе кнопку доверяют? Тут время нажимать, а они у тебя — свалились!

О т е ц. С чего это вдруг? У тебя вон штаны не сваливаются?

Же н и х. Люблю я, папаня, ваш всенародный юмор. Но дело-то — ответственное. Такое от человека зависит — подумать страшно. А в человеке, как наш великий Чехов говорил, всё должно быть на месте: и лицо, и форма одежды, и внутренняя боеготовность.

С о л д а т. Не беспокойтесь, я кнопку не нажимаю. Я по расчёту — шестой.

Же н и х. А кто ж её там жмёт? Первый, значит? А твоя работа? Если, конечно, не секрет.

С о л д а т. Не секрет. Смотрю на прибор и в нужный момент говорю: «Импульс — есть!»

О т е ц. А что ж это — «импульс»? То есть он, то нет его.

С о л д а т. Как бы вам объяснить...

Же н и х (*строго*). Не надо объяснять.

О т е ц. Но без тебя она не полетит?

С о л д а т. Без меня — почему? Вот без импульса — хуже.

Же н и х. А вот, предположим, у первого — рука задрожала.

О т е ц. С чего это?

Же н и х. Мало ли! Не опохмелился человек. Известие мрачное получил из дому...

С о л д а т. Это его личное дело.

Же н и х. Да, а Бельгии — нету! Как в том анекдоте: «Иванов, ты чо там?» — «Да почесался». — «Почесался, а Бельгия куда делась?» (*Смеётся*.)

С о л д а т (*вежливо*). Очень смешной анекдот.

О т е ц. И что ты человеку голову дуришь?

Же н и х (*задушевно*). Эх, папаня, мы ж все этой болью исходим. Будем мы воевать или же мир на вечные времена. На той войне сколько народу потеряли, а почему, если так вду-

маться? По нашей же дурости, неподготовленности. Оборону крепить надо, чтоб боялись! Оборона — вся наша надежда!.. Меня б туда допустили, до кнопки — пальчик бы не задрожал, не-ет!

Отец (*Солдату*). Ты похлопочи там, чтоб допустили Жеку.

Солдат. Я постараюсь.

Отец. Ну, за порядок в танковых войсках!

Выпили. Жених опять всем налил.

Жених. И в ракетных, папаня, тем более должен быть порядок.

Анджела (*забрала бутылку*). За авиацию вы уж под столиком встретитесь. (*Отцу*.) Хоть бы переоделся к обеду, пьёшь уже в чём пришёл. (*Жениху*.) А ты мне его зачем спаиваешь? И вообще — чего явился, спрашивается?

Жених. Вот те на, Анжелина!

Анджела (*сдерживаясь*). Знать надо, товарищ жених: не полагается к невесте приходиться перед свадьбой. (*Ушла с Отцом*.)

Жених (*весело*). А чего — полагается? Говорят, приданое жениху полагается. Неужели ж за старое будем держаться? Верно говорю?

Солдат. Верно, Жека. Вот что... У меня разговор к тебе.

Жених. А всегда пожалста. Ещё по одной?

Солдат. Может, выйдем, покурим?

Жених. Что за стеснение, дыми здесь. После проветрим.

Солдат. Тогда налей... Дело в том, что я — не Надькин знакомый.

Жених. Не Надькин? А чей же? Бог ты мой, Миша, да мне-то не один ли хрен? В гостях оказался — выпивай, закусывай. Завтра на свадьбу ко мне валяй — заместо генерала. Ракетный солдат — он не меньше значит. Но — ты даёшь! Не Надькин? А я тебе про неё ла-ла, ла-ла. Слушай, так я ж тебя познакомлю!

Солдат. Не надо, Жека. Есть одна женщина...

Жених. А вторая — помешает? Ну всё, есть женщина.

Солдат. Ты её знаешь...

Горюхи Владимир

Жених, подняв палец, прикрывает дверь, садится напротив Солдата.

Она, эта женщина, выходит замуж. В скором времени. Парень он... плохого говорить не стану. Вообще, тут не мне судить.

Жених. Правильно, Миша.

Солдат. Но... не любит она его. Это я точно знаю.

Жених. Почему ж она за него выходит, Миша?

Солдат. Ну... вот так, как я сказал. Я у неё появился слишком поздно. Всё неожиданно вышло.

Жених. Что значит — ты у неё появился, Миша? Ты с ней, с этой женщиной, в близких отношениях жил или нет ещё?

Солдат. Какое имеет значение?

Жених. Очень большое значение, Миша. Дак жил всё-таки или нет?

Солдат. Ну — нет.

Жених. Так... А ты её любишь здорово? Да что ж это я спрашиваю, по глазам видно. Плохое твоё дело, Миша. Я тебе сочувствую, конечно... И кто ж эта женщина такая? Вроде я многих в городе знаю.

Солдат. Так вот... если с ним поговорить по-человечески... Что тут двое. Всё у них только началось. И он тут — лишний. Рано или поздно она убежит от него, ему же тогда будет тяжелее. А у этих двоих тоже всё будет испорчено, весь праздник. Зачем ему брать чужое? Двум счастливым переходить дорогу?.. Вот если так ему сказать, он — поймёт?

Жених. Он это поймёт, Миша. Это понять не тяжело... А что, Миша, ежели он тебе за твою похабель возьмёт и врежет? Так врежет, что ты и не поглядишь другой раз на чужую невесту. Думать забоишься, любит она жениха своего или не любит.

Солдат. А я — что буду делать?

Жених. В смысле?

Солдат. У меня чем руки будут заняты, когда он мне врежет?

Жених. Ты мне чего скажи, Миша. Ты очки в серьёзных делах снимаешь или как?

С о л д а т. Вот уж это — значения не имеет.

Ж е н и х. Разбиться могут. Глаз поранится. Это не надо.

С о л д а т. Я — сказал.

Ж е н и х. Ну, порядок. Только вот чего, Миша. В доме он тебя метелить не станет, всё же ты гость. А тут, в конце улицы, где яр начинается, удобное есть местечко. Свидетелей — никого, кругом заборы. Зато фонарь есть. Тусклый, правда.

С о л д а т. Это не беда, мы другой засветим.

Ж е н и х. Грубый ты, Миша. Как Сталин. (*Встал.*) Но — хватит уже языком трепать.

С о л д а т. Может, пропустим? Перед.

Ж е н и х. Не советую, Миша. Лучше — после.

*Уходят, обнявшись. Вышел Отец — уже переодевшийся, в благо-
стном предвкушении. Вышла Анджела, начинает накрывать на
стол.*

О т е ц (*выглянул в окно*). И в палисаде нету. Испарились.

А н д ж е л а. Не знаете, где искать? Должны же они всю программу выполнить.

О т е ц. Быстренько подружились. А он, служивый твой, со смыслом. Но уж кроме тебя — света не видит, плывёт.

А н д ж е л а. Прямо вы в точку попали. С какой это стати он — мой?

О т е ц. А все они твои, только зовутся — «Надькины». Я б на Жекином месте не потерпел.

А н д ж е л а. Придётся ему кое-чего терпеть. Ладно вам, буду я покорная жена, дайте мне сегодня о чём другом подумать.

О т е ц. Да об чём хочешь, дочка. К завтраму — всё готово?

А н д ж е л а. Надька придёт, поможет. Не управимся — отложим.

О т е ц. Куда же откладывать, столько приглашали.

А н д ж е л а. Для приглашённых я, что ли, замуж иду? Будут ещё воскресенья... А вам бы только сбыть меня. Или нет, не сбыть — покрепче запрячь: двоих теперь обихаживать. Стирать, закусь подавать, утром — опохмеляться. Долг женщины, скажете? Откуда на мне долгов столько? Когда накопилось?

Георгий Владимов

Отец. Дочка, да что это с тобой? Как будто и не под венец идёшь...

Ангела. Папа, милый... Вы же не совсем ещё пьяный, подумайте и вы со мною. Ведь не поздно ещё. Ну, хоть заболите, какой тут позор?

Отец. Да почему, Анжелина, почему?

Ангела. Не знаю. Знала бы — вас, наверно, не спрашивала.

Отец. Этот тебе понравился? Смутил?

Ангела. Да при чём этот!..

Отец. Дочка! Тоже ведь и меня мучит — не прогадать бы. Около тебя их столько крутилось, а Жека один — всерьёз. И человек надёжный, он жизнь понимает, куда она идёт. А хоть этого возьми — не знаю, чего там у вас, — он же себе не свой, он временный...

Ангела. И это вот — всё, что вы придумали сказать мне? Больше ничего?

Отец (*плаксиво*). Я сам чего-то расстроенный. Мать-покойницу вспомнил...

Ангела. Вспомнили, как на её поминках запили и так до моей свадьбы не просыхали?..

Отец. А вот уж теперь воздержусь, в руки себя возьму. Раз у тебя жизнь меняется, то и у меня.

Ангела (*с ненавистью*). Помолчите вы. Иначе я сорвусь. Я вам наговорю. Вы же меня пропили этому Жеке, разве не так? Сколько он вам подносил — только вы из депо. Не знаю, за кем он больше ухаживал.

Отец. Дочка, не надо бы нам сегодня...

Ангела (*усадила его, обняла за голову*). Не буду. Вы посидите, вам сегодня ещё поднесут. Сегодня я всё разрешаю... Господи, уеду я на край земли, расплжусь со всеми!

Отец. А я как же? Бросишь меня?

Ангела (*ласково*). Дождусь уже, когда вы умрёте, папа.

Распахивается дверь, Патруль вводит Солдата. Рукав у него разорван, Солдат его придерживает другой рукой. Следом входит Женех, прикладывая к глазу платок.

Капитан. Прошу извинить. Вещи его — где? В него мешок был, я знаю.

Жених. Есть мешок! *(Высочил.)*

Анджела *(Солдату)*. Всё-таки ты меня предал!

Жених *(вернулся с мешком)*. Развязать, товарищ капитан?

Капитан. Патруль сам всё развяжет. *(Анджеле.)* Как это понимать — предал?

Солдат. Вам это понимать не надо.

Жених. Ты, вражина, патрулю нашему не указывай. Ещё разобраться надо — может, ты родину предал, апологет завербованный!

Отец. Жека, ты чего это? Окстись!

Жених. В режимном городе живём, папаня. Тройной глаз нужен. Думаете, они с рогами ходят?

Пограничник. Они — это кто? Он?

Капитан. Есть в вас подозрения?

Жених. А с чего же это он мне — по глазу? Зверским, причём, приёмом.

Матрос. Между прочим, ты его первый за грудки схватил. У меня, знаешь, морская наблюдательность.

Жених. Правильно! А почему схватил? Заметил ты, как он вас увидел — и в сторонку? Чего боится человек?

Капитан. Оружие в него есть? Есть в вас оружие?

Солдат. Обыщите.

Капитан. А приказываю тут я. Я тут приказываю.

Патрульные охлопывают Солдата по карманам. Прислушались — кто-то вошёл в дом. Входит Надежда — очень нарядная, на шпильках и в плиссированной юбке.

Надежда *(растерянно щурится)*. Ой, сколько гостей у вас!

Капитан. Гость в нас пока что один. Вы этого человека знаете?

Надежда. Господи, ну, конечно, знаю.

Капитан. Вас тоже попрошу со мной.

Жених. А нам, товарищ капитан, зачем? Мы вроде свой долг выполнили?

Капитан. А спрашивать буду я. Я буду спрашивать.

Картина четвёртая

Сцена поделена на две части. В одной — комната для задержанных, с нарами и решёткой на окне; она сейчас затемнена. В другой — дежурное помещение: стол с телефонами, на стенах — плакаты и схемы: устройства защиты от радиации, пистолет Макарова в разрезе и т. п. Капитан сидит за столом, перед ним на стуле — Солдат, в дверях — Матрос и Пограничник. На диване, за спиной Солдата, — Анджела, Надежда, Жених и Отец.

Солдат. Покурить бы... С вашего разрешения.

Капитан. Курить — потерпите. Потерпите курить. Равновато в вас нервы сдают.

Жених. Дал бы я тебе прикурить, вражина!

Капитан. А вы мне там воздержитесь от восклицаний. Почём вы знаете, может, он — иностранец. Он сам расскажет спокойно — откуда забросили, где парашют спрятан.

Солдат. Что вы, я высоты боюсь неизлечимо. Меня от прыжков освободили.

Капитан. Значит, прибыли морем? Акваланг — зарыли в песок?

Солдат. Я лучше помолчу.

Жених. А разговорчивый был, собака! Про импульсы нам секретные заливал. Без которых наши ракеты не летают.

Капитан. Насчёт секретов. Враг этим приёмом пользуется — для чего? Показать себя осведомлённым, получить тем самым новую информацию. Это вы правильно обратили внимание, товарищ...

Жених. Кондаков. Я первым делом очки отметил.

Капитан. Очки — это не существенно. Это не главное, очки. Но вы мне всё-таки от восклицаний воздержитесь. Что это — «собака»? Он вам ещё не собака, а только подозреваемый.

Жених. Прошу, товарищ капитан, извинить. У нас, советских людей, тоже иногда нервы сдают.

Капитан. Надо себя соблюдать. Впредь я такие выкрики пресекать буду беспощадно. А вы — чем занимаетесь, товарищ Кулаков?

Жених. Вообще-то? Артелью инвалидов ворочаю.

Капитан. Вы в торговой сети работаете?

Жених. Боже упаси, производственник. Коренной производственник. Пошивочный комбинат на мне, семьдесят гавриков — у того руки нет, у того — ноги, а третий — без памяти. А я — бегай за всеми, высуня язык.

Матрос. Так это ты и есть «Жека-Инвалид»?

Жених. Называет кой-кто. Слышал про меня, братишка?

Матрос. Девчата рассказывали. Приятно познакомиться.

Жених. Демобилизуешься — ко мне в комбинат приходи, такой мы тебе костюмчик справим!

Капитан. Подождите, товарищ Кулаков. Вы мне тут со своими костюмчиками, а в нас ещё вопросы есть невыясненные.

Жених. Так мне, значит, сперва про очки запало...

Капитан. Вы совсем подождите. Про очки мы всё выяснили, что они — не главное. А вот кто хозяин дома?

Отец (вскочил). Так я, стало быть. Кто по специальности? Башмачник я, в депо работаю. Это, стало быть, тормозные колодки проверяю, по-нашему — башмаки.

Капитан. Про башмаки — не надо. Не надо про башмаки. А вот как он в вас дома очутился?

Отец. Так это... А дочка привела, Анджела. Я, значит, со смены, и тут как раз он меня встречает, дочерин то есть жених. Ну, выпили мы с ним... Правду скажу, не так чтоб много.

Жених. Вы, папаня, Анджелу не приплетайте. И товарища капитана не интересуется, сколько мы с вами выпили. А он как нам представился, помните? Я, говорит, Надькин знакомый. Анджела тут — при чём?

Отец. Дак я, правду сказать, худого за ним не заметил. Вот и оружия при нём не нашли.

Жених. Вы наивный человек, папаня. Методы у них тоже на месте не стоят. Мы с вами кино по телеку видели — там один такой из авторучки бзикал, особой конструкции. А человек с копыт долой. А то и безоружные ходят. Зачем ему пистолет, когда он пятьсот приёмов знает? И любым приёмом он нас с вами, папаня, в могилку положит.

Отец. Суровый ты человек, Жека!

Же н и х. Зато я, учтите, родину люблю. И мы должны быть суровыми. Потому что время такое, напряжённое. Но наш народ никаким приёмом не сломишь!.. Извините, товарищ капитан, просто из души вырвалось.

Ка п и т а н. Я... я вас понимаю, товарищ Кулаков. (Отцу.) Вот вы сказали — Анджела его привела. А что Анджела скажет?

Же н и х. Да она тут сбоку припёка.

Ка п и т а н. Если б я вас спрашивал. А то я Анджелу спрашиваю.

А н д ж е л а. А что меня спрашивать? Я его полчаса-то и видела.

Ка п и т а н. О чём же в вас шла беседа? Вы ж о чём-то полчаса беседовали.

А н д ж е л а. «Здрасьте, я домом не ошибся? Мне ваша подружка встречу тут назначила. Можно, я подожду?» — «Сделайте одолжение. Журнальчик вот полистайте». И вся беседа.

Ка п и т а н. А вот вы при мне сказали — он вас предал. Это как?

А н д ж е л а. Я сказала? А, ну это я — отцу. Он мне слово дал, что сегодня пить не будет.

Ка п и т а н. Как-то не гладко всё... Значит, к вам этот человек отношения не имеет?

А н д ж е л а. Я вас умоляю! Какие отношения!

Ка п и т а н. Тогда я подругу вашу спрошу. Кто вы ему и он вам кто?

На де ж да (встала). Я кто? Я — его девушка.

Некоторое ошеломление.

Ну, должна же быть у солдата — девушка. Вот я и есть.

Ка п и т а н. И давно у вас... дружба?

На де ж да. Сейчас вам скажу... Три года.

А н д ж е л а. Ты, Надька, думай, чего говоришь.

На де ж да. Правильно! Не три, а четыре.

А н д ж е л а. Вот именно, час у неё за год считается. Утром познакомились.

На де ж да. Я вам сейчас всё, всё по порядку. Ну, первый год мы только переглядывались. Мы в разных школах учились.

С о л д а т. Отсюда неподалёку, в Воронеже.

Н а д е ж д а. Ну да, мы ведь оба из Воронежа, разве я не сказала? На одной улице жили — окошко против окошка. Но он такой застенчивый был, а я ещё хуже застенчивая, в школу он по одной стороне идёт, а я по другой, и только переглянемся. А потом я в техникум поступила, а он в институт собрался, какие же тут встречи! И вдруг он мне письмо присылает. На шестнадцать страниц. «Милая девушка, пишет, я, конечно, не могу надеяться, но почему бы нам не встретиться? Только сразу не говорите «нет», я этого не переживу». Ну, я, конечно, не отреагировала, неужели — первое письмо и сразу на свидание бежать, правда?

К а п и т а н. Вы... продолжайте показания.

Н а д е ж д а. Какие показания, я правду говорю. Месяц я прямо неживая: вдруг он от меня отвернётся совсем? Ведь обидно, если девушка не отвечает взаимно? И вдруг — бац! — он мне второе письмо. «Что ж, говорит, не желаете встречи со мною — значит, так лучше. Была у меня мечта в авиацию пойти, но вот зрение стало портиться. А другая мечта — это вы, и тоже она не сбудется». Господи, думаю, и так ему в жизни не повезло, а тут я ещё мучаю. Но — на всякий случай — сначала стихи ему послала:

Ты в наш город приехал недавно...

Ну, на самом-то деле он не приехал, а родился тут, но всё по теме очень подходит:

Ты в наш город приехал недавно,
Но уже разнеслася молва,
Что характером ты своенравный
И что бедовая ты голова.

Говорят, что натерпится муки
Та, что станет твоею женой.
Как же сердце отдать в твои руки,
Сбережёшь ли подарок такой?

К а п и т а н. Евтушенко — не надо. Не надо Евтушенко.

Георгий Владимов

Надежда. Что вы, Евтушенке это не написать. Там ещё такой конец был, я его специально не дописала, оставила на продолжение:

Ты на это ответить мне можешь,
Что умеешь подарки хранить.
Но с другими подарками тоже
Сердце девичье трудно сравнить.

Нужно с ним обращаться нежнее,
И поэтому помни и знай:
Починить ты его не сумеешь,
Если вдруг разобьёшь невзначай.

Вот. Послала ему и жду — что он мне ответит? А он не ответил, а прямо в техникум ко мне пришёл, к концу занятий. Ну, этим всё сказано, сами понимаете, слова тут бессильны! Мы сначала в кино пошли, итальянская была картина, а после в парке бродили до ночи, и как раз дождик закапал, а я плаща не взяла, так он свой пиджак снял и на меня накинул... А утром — представляете? — опять от него письмо. Надо же!

Капитан. Эти письма — где они? Есть эти письма?

Надежда. Господи, я их родной матери не показывала, неужели же вам покажу?

Капитан. Да мне их читать не надо. Только зачем он вам присылал, когда вы и так имели встречи?

Надежда. Ой, вы скажете! Разве одними встречами сыт будешь?

Капитан. И непонятно мне, как вы тут вместе очутились, когда вы в Воронеже были...

Надежда. Я же сказала — всё по порядку. Вот лето наше пролетело, мы даже не заметили, а осенью он меня встречает: «Надюша, говорит, мне повестка в армию. Будешь меня ждать или сейчас наши отношения оформим?» Ну, я себя пересилила: «Зачем сейчас, говорю, у тебя за три года столько перемен может произойти, другую девушку встретишь и полюбишь... Я тебя и так буду ждать, но не хочу, чтоб ты себя чувствовал связанным. А позовёшь меня — я тут же к тебе

прилечу». Так мы с ним условились, но только я не выдержала, сюда перевелась, к нему поближе. Он про это даже не знал, писал мне туда, в Воронеж, а мне подруга пересылала. И вдруг сегодня — такая встреча! Мы оба просто слов лишились...

Капитан. Если всё так, как вы нам тут расписали, чего ж они тогда дрались?

Жених. Объясни товарищу капитану, за что мы фингал имеем.

Надежда. Чья бы корова мычала! Жалко, он тебе второй не поставил, для равновесия. Будешь ему про меня советы подавать!..

Жених. Ты что, за километр слышишь?

Надежда. Зачем мне слышать? Я тебя не знаю, что ли?

Капитан. Имеете что прибавить? Учли все последствия?

Анджела. Ни фига она не учла. Спрашиваете — с малохольной.

Надежда. Ты, Мишенька, не расстраивайся, всё выяснится. Я тебя на улице подожду.

Капитан. Это вам долго придётся его ждать. Идите все отдыхайте.

Жених. Завтра на свадьбу прошу, товарищ капитан. Дом — знаете.

Капитан. Спасибо, но не могу, дежурство. Вам с женой будущей — счастливо.

Надежда. Мишенька, я тебя завтра тогда навещу...

Жених. Иди, иди, малохольная.

Анджела, Надежда, Отец и Жених уходят.

Капитан. Не гладко получается в вашей девушки. Мне точно известно, что она местная и в этом ателье работает пятый год модельером. Супруга моя в неё брючный костюм пошила.

Солдат. Сразу всего не учёшь.

Капитан. Видите! Так что я правильно вас задерживаю.

Солдат. Всё верно, товарищ капитан. Теперь позвоним?

Капитан. Так. Вот вы говорите — позвоним в часть.

Спросим: «Люди в вас есть в увольнении?» А что нам с вами

ответят? «Рядовой Петров в увольнении». — «А приметы в него какие, в вашего Петрова?» — «Обыкновенный, в очках». Так с этого мне толку мало. А посмотрим на это не через очки, а как это может быть. Получает Петров увольнительную. Садится он с ней в поезд, весёлый и потому небдительный. Выходит, предположим, в тамбур покурить. А тут вы его — по голове. И — с насыпи. Надеваете его обмундирование, вещи его берёте, очки. И начинаете проникать везде. Что вы так, голову в плечи? Мне тоже его жалко, Петрова. Хотя он проявил небдительность. (*Достал связку ключей.*) А устроиться вы можете неплохо. Папаша тут сидел, тормоза проверяет. Вот вы его завербовали — он их не проверил. Буксы горят, пробка, вся магистраль стратегическая парализована. Или — пошивочный комбинат. Очень удобно. Любую форму можно сшить для ваших агентов. Танкиста, артиллериста, связиста. Погон нацепил — и майор.

С о л д а т. Лучше — полковник.

К а п и т а н. Не надо. Майор — оно поскромнее. Полковник — он больше на виду. Так что перспективы в вас имеются. (*Отпер дверь в арестантскую.*) Ну, так. Прошу сюда. Сутки вы мне отсидите.

С о л д а т. Не понял, товарищ капитан. Наш я человек или не наш?

К а п и т а н. Драку я вчинил или вы вчинили? Какая причина была, что вы дрались?

С о л д а т. Причина уже отпала.

К а п и т а н. Но фингал у гражданина штатского — не отпал? Так что — сутки.

С о л д а т зажжёт свет в арестантской, сел на нары. К а п и т а н запер его на ключ.

П о г р а н и ч н и к. Думаете, промашка, товарищ капитан? А вдруг нет?

К а п и т а н. Это всё мечты, Евсюков. Посидеть он посидит, конечно, тем более — где ж ему спать? А у нас с вами задача — город прочесать. Идите отдыхайте, через час разбуду.

П о г р а н и ч н и к. А вот если, товарищ капитан, настоящий нам повстречается — как мы его почувствуем?

Капитан. А в нас, Евсюков, как бы сердце дрогнет.

Пограничник. А вы, товарищ капитан, настоящего — видели?

Капитан. Не ошибёмся, Евсюков, не ошибёмся!

Матрос (*зевая*). А пока — пошли придавим, пехота. Сначала правое ухо, потом левое. Доказано одним профессором, что от сна умирают не раньше девяноста лет.

Матрос и Пограничник ушли.

Капитан. Арестованный!

Солдат. Слушаю, товарищ капитан.

Капитан. Я вам насчёт этой невесты... Как её там, Анджела? Я вам не завидую. Я вам насчёт другой завидую.

Солдат. Принял к размышлению....

Капитан. Книжки ваши я вам в мешок положил, читать арестованному не положено. Мифами увлекаетесь?

Солдат. Есть немного. А вы?

Капитан. Я вам скажу — в такое время мы живём, что и никаких мифов не надо. Вот представьте, — вы там у кнопки сидите, — явится какой-нибудь псих. Ударит ему, что он, понимаете, Юлий Цезарь.

Солдат. Двое, товарищ капитан.

Капитан. Как вы сказали?

Солдат. Нужны как минимум два психа. Притом они должны работать на параллельных пультах, далеко друг от друга, и производить строго согласованные действия. Без этого — старт не состоится. Ну, сами понимаете, два Цезаря никогда не столкнутся.

Капитан. Это вы меня сильно обрадовали, арестованный. Подумать, на чём Земля держится!

Солдат. Я и сам этому радуюсь. Как вспомню, так на душе легко-легко. Единственная гарантия, что два психа никогда...

Капитан. Арестованный!

Солдат. Да, товарищ капитан?

Капитан. Спать!

Обе комнаты погружаются в темноту. Некоторое время спустя лунный свет, сквозь решётку, озаряет арестантскую. Солдат, приподнявшись на нарах, видит перед собою Ареса и Афины Палладу — впрочем, не совсем идентичных традиционным изображениям. Так, у Ареса багровая мантия прикрывает капитанский мундир, и время от времени бог войны разглаживает усы щёткой. У Афины Паллады нет в руках статуэтки Ники, зато на плече сидит сова, и вся вечнoуная сильно напоминает Надежду.

Арес. Вольно. Как тебе сидится? Хорошо сидится?

Солдат. Жалоб нет.

Арес. Ещё б тебе жаловаться! Спишь, а служба идёт. И даже не знаешь, какая там без тебя ожидается заваруха.

Солдат. Не могу знать.

Арес. И кто мы такие, тоже не знаешь?

Солдат. Постойте... как же вас называли греки?

Арес. С твоего разрешения — Арес. Но ты же этого не вспомнишь. Так уж зови — Марс, оно привычней. А мы тут прогуливаемся, прелестная ночь. Заглянем, говорю я Афиночке, на гауптвахту, наверняка застанем кого-нибудь, языки почешем. А то мы всё на пару, уже и говорить не о чем.

Солдат. У вас же была Афродита.

Арес (*присел на нары*). Пройденный этап, старик. В солдатке запас верности, прямо скажем, ограничен, а когда муж постоянно в боях и походах, а баба изнывает от любовной тоски, ты знаешь, чем это кончается. Непременно подвернётся какой-нибудь шпак. То Аполлон с гитарой, то этот глухарь Гефест. Всё стучит, стучит молотком, нашёл себе занятие для мужика. Поневоле примиришься с этой боевой лошадейю... Пардон, мадам, не представил вас. Афина Паллада, любимая дочка Зевса. Сестричка моя единокровная.

Афина. Ты разболтался. Скажи ему, зачем мы здесь.

Арес. Очень не любит, когда я её зову «мадам». Считается — девственница. И то правда, у кого энергии хватит вскрыть эту глубоко эшелонированную оборону!

Афина. Юмор у тебя — ефрейтора из обоза.

Арес. Ах, я вже — «обозник». Скажи ещё — «интендант», «штабная крыса».

Афина. Скажу — петух, возомнивший себя воином.

Арес (*вставая*). Я попрошу выбирать выражения!
Афина. Забияка с комплексом неполноценности. Корчишь из себя мужчину...

Арес в ярости мечет в неё дротик. Афина его перехватывает на лету и посылает обратно. Дротик вонзается в грудь Аресу. Арес вопит.

Солдат (*в ужасе*). Э, ребята, вы всегда так или только по субботам?

Арес (*Афине*). Живи рану! Живи немедленно! Кому говорю?

Афина. Ах, как мы боимся боли! Минуты не потерпим. Что же говорить о смертных, когда санитары их волокут под огнём и трясут в повозках и они часами дожидаются, когда им дадут морфий?

Арес. Дура, ты же не знаешь, куда попала. Здесь у меня шрам — от Ватерлоо.

Афина. При Ватерлоо тебе заехало осколком пониже спины.

Арес. Всякая рана почётна!

Афина. Я только уточняю.

Арес. Вспомнил... Аустерлиц!

Афина. Вот это вернее.

Арес. Но я всё равно изнемогаю!

Афина протягивает копьё, касается груди Ареса. Арес выдёргивает дротик и с облегчением потирает грудь.

Всё собачимся, нет чтобы мирно подискутировать. Или нам уже не столкнуться? А сложим-ка тогда все наши полномочия — на него? Пускай сами всё и решают. Я ему отдам свой меч, а ты — подкинешь своей мудрости. Пресловутой. На, держи!

Арес протягивает свой меч Солдату. Солдат поначалу тянется готовно к мечу — и отдёргивает руку.

А, не нравится! Зачем ему эта головная боль!

Торжест Вларинев

А ф и н а. Зачем ему твой меч, когда всюду эти проклятые кнопки. Для них не нужно — ни доблести, ни ума. Эта война у тебя — последняя.

А р е с. Когда я сподобил Максима изобрести пулемёт, тоже говорили — последняя. Ты ж помнишь, какие были дебаты на Олимпе, сколько визгу! «Как же теперь воевать, если один идиот может перестрелять всю центурию разом?» А я говорил: «Нужно их научить окапываться. У каждого должна быть лопатка — и пусть окапывается без приказа. И всё будет о'кей». Куда там, и слушать не хотели. А как славно повоевали! Какие две прекрасных войны в одном только веке. И третью переживём, нужно только немножко приспособиться.

А ф и н а (*стучит копьём*). Глобальность! Быстротечность! Истребительность! К этому смертные не приспособятся. И я, Афина, отказываюсь их учить выживанию.

А р е с. Ну, мы-то с тобой знаем — этому их учить не нужно. Кто-нибудь останется на распад. И всё можно будет начать по-новой.

А ф и н а. Где? В чёрной пыли?

А р е с. Э, не скажи. Наша старая планета не столь податлива. Останется вполне симпатичный пейзаж. (*Голосом радиокомментатора*.) «Вокруг нас расстилается очаровательная фиолетовая пустыня. Вы слышите мелодичное погромыживание термоядерных бомб». Ещё не самое страшное... (*Солдату*.) Как думаешь?.. Облегчаю вопрос. Если этот самолёт, с боекомплектом, пересечёт границу, ты как — нажмёшь?

С о л д а т. Я ведь не нажимаю. Я по расчёту — шестой.

А р е с. Ну, кто там у вас первым номером? Иванов? Он — нажмёт?

С о л д а т. Иванов-то? Комсорг наш? Пожалуй, что и...

А р е с. Не слышу металла в голосе!

С о л д а т. Так точно, нажмёт!

А ф и н а (*глядит сову*). Так вот — он не пересечёт границу. Он сделает вираж и вернётся.

А р е с. Афиночка, лапонька, для чего же он летает, тратит горючее? Мы же допустили, чтоб он взлетел...

А ф и н а. Пусть испытывает приборы. Для этого не обязательно нарушать границу.

А р е с. Ну, хоть заденет крылышком! (*Солдату.*) Если крылышком, то как — нажмёт?

С о л д а т. Иванов-то? Пожалуй, что... Никак нет, воздержится.

А р е с. А фюзеляжем? Другое крыло останется в нейтральной зоне.

С о л д а т. Фюзеляж — ведь это почти весь самолёт.

А ф и н а (*глядит сову*). Он не пересечёт фюзеляжем. Я ему сделаю вираж покруче.

А р е с. Ну, половинкой фюзеляжа. Половинка здесь, половинка — там. Мы же фактически не отвечаем, решают — они. Клянусь доспехами, ограничатся решительным протестом.

А ф и н а. Треть фюзеляжа.

А р е с. Какой же спор, если треть? (*Солдату.*) Вот так и торгуемся. Забрала себе шефство над авиацией, причём — самовольно, так за лётчика, видишь ли, беспокоится. Да приземлю я его благополучно!

А ф и н а. Там, кроме пилота, есть бомба.

А р е с. Не сработает взрыватель. На какие уступки иду!

А ф и н а (*глядит сову*). Половина фюзеляжа. Но не больше.

А р е с. Ни на йоту. Лапонька моя!..

А ф и н а. Убери руки, контуженный. И поспешим, он приближается к границе.

А р е с (*Солдату*). Есть пожелания личного порядка? В тебя там неприятности... с девушкой.

С о л д а т. А что вы тут можете? Вы могли бы мне так отшибить память, чтоб остались утро и день, а вечера — не было? Или сделать так, чтоб она этих слов не сказала — что я ей никто?

А р е с (*кряхтит*). Старик, это же надо прошлое переигрывать. В этом деле мы не спецы, тут вы обскакали богов! Поищи другой вариант. Эх, была бы тут моя Афродитка, для неё ж это — семечки.

А ф и н а. Что болтать безответственно? Она была бы тут, если б имела хоть какую-то идею.

А р е с. Но не уйдём же мы просто так. Солдат сидит на «губе» — за что? За драку! Бедный Арес, в него тут,

под шлемом, шарики за кубики заходят. Солдат обязан драться! Нет, я определённо вмешаюсь. (*Достал карманные часы.*) Выйдешь отсюда в семь тридцать, устраивает? В дивизион опоздаешь на три часа, но причина будет уважительная. Времени — вагон. Всё, больше не могу, и спасибо за компанию. Н-да... с мечом — это я погорячился, не прими всерьёз. А насчёт бабы не огорчайся, все они на одну колодку, вертихвостики и предательницы...

А ф и н а (*исчезая*). Ты скоро там, трепло старое?

А р е с. Лечу, лечу... Ах, мегатонны мои, мегатонны!

Картина пятая,
продолжающая сон Солдата и которая называется
«Солдат спит — служба идёт»

Нары выдвигаются на просцениум и оказываются в операторском зале стартового комплекса. Перед О ф и ц е р о м, как оркестранты перед дирижёром, сидят полукругом за 12-ю пультами с о л д а т ы - о п е р а т о р ы в мерцающих бледно-голубых униформах, все сплошь очкарики. Кресло у пульта № 6 пустует. В глубине зала, на сером щите, красная кнопка — величиною со стиральный таз. Это Кнопка Войны, и её охраняют особо двое часовых, держа у ноги карабины с прижнутыми штыками.

В широких окнах — пустынное поле, залитое светом прожекторов; на нём стоямя белые корпуса ракет, с красными рылами и опереньем. В динамиках — рёв самолёта.

Офицер (*в ручной микрофон*). Пост наблюдения один, доложите.

Голос из динамика. Пост номер один, докладываю. Самолёт без опознавательных знаков, неизвестного типа, с предполагаемым боекомплектом на борту, перешёл из квадрата А-восемь в квадрат Борис-девять. Скорость — два с половиною звука, высота — за двадцать.

О ф и ц е р. Точней, точней высоту.

Голос. Секундочку... Двадцать одна тысяча над Океаном.

Рёв самолёта усиливается.

Офицер (*переключил тумблер*). Звено перехвата, доложите.
Другой голос. Командир звена майор Величко. Самолёт на предупредительные сигналы не реагирует. Следующим параллельным курсом.

Офицер. Что наблюдаете визуально?

Голос Величко. Цель вижу в подробности. Бомбовой груз — на внешней подвеске, две дуры что-нибудь по двадцать мегатонн. Если, конечно, не бутафория.

Офицер. Продолжайте преследование на пересекающем курсе.

Голос Величко. Вас понял. Хлопцы, повнимательней. Делай, как я.

Офицер (*переключил тумблер*). Пост наблюдения два, доложите.

Еще чей-то голос. Пост номер два, докладываю. Самолёт курса не изменил, движется в направлении государственной границы. Переходит в квадрат В-десять.

Офицер. Бэ или Вэ?

Тот же голос. Виктор, Виктор. Поле наблюдения у меня кончается. Передаю третьему.

Другой голос. Пост номер три, докладываю. Цель появилась в поле экрана, курса не меняет. При этих условиях нарушение госграницы ожидается через четыре минуты.

Офицер (*солдатам*). ракету класса «земля-воздух» к пуску изготовить. Пуск — в левом срезе квадрата Д-шесть.

1-й солдат. Ракета — на старте!

Офицер. Локатор?

2-й солдат. Включён!

Офицер. Система наведения?

3-й солдат. Задействована!

Офицер. Питание — на борту!

4-й солдат. Питание — на борту!

Офицер. Ключ — на дренаж! Протяжка!

5-й солдат. Есть протяжка!

Офицер. Импульс?

Солдат на нарах спохватывается, поднимает голову.

Шестой, импульс?!

Георгий Владимов

6-й солдат. Шас, минуточку... (*Падают.*)

7-й солдат. Шестой-в-увольнении-седьмой-за-шестого-импульс-есть!

О ф и ц е р. Ключ — на пуск!

8-й солдат. Ключ — готов!

О ф и ц е р. Внимание, боеготовность номер один! Ожидайте моей команды «пуск». Только моей команды.

Включён метроном. Рёв самолёта перешёл в натужное завывание.
О ф и ц е р, облокотясь на пульт, смотрит в окно, на ракеты.

Шестой — почему в увольнении?

7-й солдат. По сердечным обстоятельствам.

8-й солдат. Шерше ля фам.

9-й солдат. Да, бабец нынче пошёл чижолый.

10-й солдат (*мечтательно*). Человеку и в космосе понадобится веточка сирени.

О ф и ц е р. Разговорчики!

На щите прерывисто вспыхивает красная лампочка, ревёт зуммер.
О ф и ц е р взял микрофон.

Главный оператор Полуянов. Слушаю.

Начальственный голос. Козырев говорит. Готовь — «земля-земля».

О ф и ц е р (*секундная заминка*). Вас не понял... Игнатий Терентьич, ракета класса «земля-воздух» к пуску изготовлена. Ожидаю цель в квадрате Дмитрий-шесть, левый срез.

Голос Козырева. Понимать так, как я сказал. Готовь «земля-земля». Цель восемь, мыс Пенелопа, откуда он взлетел. Самолёт снимут без тебя. Как понял, Дмитрий Сергеич?

О ф и ц е р. Игнатий Терентьич... Я, наверно, говорю глупости... Послать ещё одно, последнее предупреждение...

Голос Козырева. Было, Дмитрий Сергеич, было. Предпоследних с полста да пяток самых наипоследних. Ты газеты читаешь? Как они там, в Европе, бесчинствуют. А нам, понимаешь, всё божья роса. Хватит, хватит миндальничать. Не предупреждать надо, а бить. Как понял?

О ф и ц е р. Понял, что это — война.

Г о л о с К о з ы р е в а. П о н я л п р а в и л ь н о.

О ф и ц е р. К о г д а ж е п у с к?

Г о л о с К о з ы р е в а. К а к т о л ь к о п е р е с е ч ё т г р а н и ц у ф ю з е л ь я ж е м.

С о л д а т ы з а м е р л и у с в о и х п у л ь т о в. О ф и ц е р п р о т и р а е т о ч к и п л а т к о м, з а т е м г о в о р и т р о в н ы м с п о к о й н ы м г о л о с о м.

О ф и ц е р. Т е р м о я д е р н у ю, к л а с с а «з е м л я - з е м л я», к п у с к у и з г о т о в и т ь. Ц е л ь в о с е м ь, м ы с П е н е л о п а.

1-й с о л д а т. Р а к е т а — н а с т а р т е.

О ф и ц е р. Л о к а т о р?

2-й с о л д а т. В к л ю ч ё н.

О ф и ц е р. С и с т е м а н а в е д е н и я?

3-й с о л д а т. З а д е й с т в о в а н а.

О ф и ц е р. П и т а н и е — н а б о р т.

4-й с о л д а т. П и т а н и е — н а б о р т у.

О ф и ц е р. К л ю ч — н а д р е н а ж. П р о т ь я ж к а.

5-й с о л д а т. Е с ь п р о т ь я ж к а.

О ф и ц е р. И м п у л ь с?

6-й с о л д а т (*на нарах*). Н е в и ж у... И м п у л ь с а н е т.

О ф и ц е р (*подходит к нему*). В а м п р и к а з а н о с п а т ь. И б л а г о д а р и т е к р и в о е в а ш е с ч а с ь т ь, ч т о н е п р и х о д и т с я э т о д е л а т ь н а в а в у... К а к ж е в с ё - т а к и н а с ч ё т и м п у л ь с а?

7-й с о л д а т. С е д ь м о й з а ш е с т о г о. И м п у л ь с — е с ь.

О ф и ц е р. Б л а г о д а р ю. К л ю ч — н а п у с к.

8-й с о л д а т. К л ю ч — г о т о в.

О ф и ц е р. П е р в о м у — с т а т ь у к н о п к и.

1-й с о л д а т п о к и н у л с в о й п у л ь т и т в ё р д ы м ш а г о м и д ё т к К н о п к е. В с х о д и т к н е й п о с т у п е н я м. Ч а с о в ы е п р е г р а ж д а ю т е м у п у т ь.

Ч а с о в ы е. П а р о л ь?

О ф и ц е р. К а л у г а. О т з ы в?

Ч а с о в ы е. К у р о к.

О т о д в и н у л и с ь. 1-й с о л д а т с т о и т п р о т и в К н о п к и, з а л о ж и в р у к и з а с п и н у.

Торжис Владимир

О ф и ц е р. Ты, Иванов, и сам вроде калужский?

1-й солд ат. Точно, Дмитрий Сергеич, калужский я.

О ф и ц е р. Повезло тебе несказанно... Значит, нажмёшь по моей команде, калужский. Только по моей.

1-й солд ат. Понял, Дмитрий Сергеич, благодарю за доверие.

О ф и ц е р. Родина в тебе не сомневается, калужский. Внимание! Боевая готовность — номер один. Включаю все посты наблюдения и корректирования.

Стучит метроном. Рёв самолёта опять врывается в зал.

Г о л о с и з д и н а м и к а. Пост наблюдения четыре, докладываю. Цель — в квадрате Григорий-одиннадцать, курса не меняет.

10-й солд ат. Мыс Пенелопа...

11-й солд ат. Одно название чего стоит.

12-й солд ат. Название — останется.

О ф и ц е р. Все разговоры отставить. Прошу собраться. Внимание, даю отсчёт. Десять!

Г о л о с и з д и н а м и к а. Операторская? Пост пятый, докладываю. Наблюдается смещение курса влево...

О ф и ц е р. Девять!

Г о л о с В е л и ч к о. Командир звена перехвата Величко говорит. Закладывает, чёртов сын, вираж. На мои сигналы — ноль внимания.

О ф и ц е р. Восемь!

Г о л о с В е л и ч к о. Двигается на вираже влево, приближается к госгранице. Открываю предупредительный!

О ф и ц е р. Семь!

Г о л о с В е л и ч к о. Не реагирует, паразит!.. Видит же мою трассу — и не реагирует. Хлопцы, повнимательней!

О ф и ц е р. Шесть!

Е щ ё г о л о с. Операторская? Самолёт правой плоскостью нарушил государственную границу!

О ф и ц е р. Пять!

Г о л о с В е л и ч к о. Сел ему на хвост, паразиту... Вираж закладывает, глубокий вираж...

О ф и ц е р. Четыре!

Ещё голос. Пост наземного ориентирования, докладываю. Самолёт прошёл надо мною. Пересекает границу правым бортом фюзеляжа!

Офицер. Три!

Голос Величко. Так, хлопчики-перехватчики, приготовились! Щас ему дырки будем сверлить!

Офицер. Два!

Ещё голос. Пост номер восемь, докладываю. Самолёт с боекомплектом проходит надо мною. Ось фюзеляжа совпадает с государственной границей!

Офицер. Один!

Голос Величко. Вираз у него покруче стал, покруче... Это Величко говорит. Ну что, милый, отваливать будем или дырки сверлить?

Стучит метроном. Рёв самолёта достиг наивысшей ноты.

Ещё голос. Пост наблюдения девятый. Вижу ясно. Самолёт фюзеляжем выходит в нейтральную зону!

Офицер. Отставить пуск!

1-й солдат стоит неподвижно против Кнопки.

Иванов! Слышишь меня, Иванов? Шаг назад!

В зал врывается Жених, бежит к Кнопке.

Жених. Разрешите мне, товарищ полковник! От души нажму. Этот — разве сумеет?

Офицер. Что это? Кто пустил?

6-й солдат (*привстав на нарах*). Держите, держите Жеку-Инвалида! У него рука не дрогнет!

Офицер. Я сказал — отставить пуск! Что за самодеятельность?

Часовые борются с Женихом.

Жених. Чо это — «отставить»? Они, понимаешь, распоясались, ни фигушки уже нас не боятся, а мы с ними — чикаться? Врежем, чтоб неповадно...

О ф и ц е р. Убрать!

Часовые и 1-й солдат осилили Жениха, скрутили ему руки.

Ж е н и х. И лопух же ты, полковник! Сроду в генералы не выйдешь, весь век до пенсии в полкашках прокантуешься. Такой шанс упустил!

О ф и ц е р (*хватаясь за кобуру*). Уберите его — или я за себя не ручаюсь...

Ж е н и х. Нервный? Сходи полечись. Дамский салон тут развели, у всех нервы. А кто нашу жизнь прекрасную оборонит? От всех, понимаешь, посягательств! Свободу нашу! Кто, я спрашиваю?

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Картина шестая

Парикмахерская. Анджела, в подвенечном платье, сидит под феном. На спинке стула висит фата. Парикмахер, изящный седой мужчина, наводит порядок на столике, меняет салфетки, раскладывает инструменты и т. п.

П а р и к м а х е р. В наше время, дама, мужчина перестаёт быть хозяином положения. На первом плане — женщина, её интересы, духовный потенциал. Каково же, в сущности, предназначение мужчины? Обратимся к временам рыцарства. Преклоняться перед женщиной, украшать её, способствовать её расцвету. Вы — не сопротивляетесь этой идее?

А н д ж е л а. Я-то нет. Они, бывает, сопротивляются. Мужики.

П а р и к м а х е р. Переворот в сознании людей происходит не сразу, мы всё-таки с вами марксисты. Вы, конечно, видели павлина?

А н д ж е л а. И что — павлин?

П а р и к м а х е р. Хвост! Неопишущей красоты хвост. В то же время оперение самки более чем скромно. Теперь обратимся к каким-нибудь мушкетёрам — Атос, Портос, Арамис, перья, ботфорты, пелерины. Это отчётливо видно в кинематографе. А вы знаете, сколько материала шло на их костюмы? Я где-то читал — двадцать метров шёлка и бархата плюс килограмм железа. Но ведь столько же шло и на костюм женщины — минус железо, конечно. В сущности, их одеяния похожи. Идентичны, как говорят в науке. А что мы имеем сейчас? Возьмём брачный наряд. Жених — обязательно в чёрном, невеста — в белом. Это уже совсем иная ступень развития. Ведь чёрный, как известно из физики, это отсутствие всякого цвета. А белый? Это присутствие всех цветов радуги. Скрытое, конечно... (*Пробует рукой фен.*) Не горячо?

А н д ж е л а. Терпимо.

П а р и к м а х е р. Зачем же терпеть? Вот здесь имеется регулятор. Неизвестный изобретатель потратил усилия, чтоб дама сидела совершенно спокойно. А в дальнейшем, как я предвижу, вся промышленность будет работать исключительно на женщину. Учитывать малейшие её прихоти. Я где-то читал — затраты растут в такой прогрессии, что скоро превзойдут военные расходы. Из чего напрашивается вывод, что женщина, в конце концов, сделает войну невозможной.

А н д ж е л а. Я вас умоляю!

П а р и к м а х е р. Конечно, дама, конечно! Придётся столько ухлопать на ваши наряды и украшения, что на ракеты и танки средств практически не останется. Не воевать же топорами и дубинами! Ну-с? Что у нас получилось?

Приподнимает фен, показывает А н д ж е л е её затылок в ручном зеркале.

А н д ж е л а. До вечера не рассыпется?

П а р и к м а х е р. Дама, я вхожу в сильнейшую десятку по области. Но если есть сомнения, посидим ещё. На чём мы остановились?

А н д ж е л а. Говорите вы так, что даже сердце тает. А на самом деле — какие у женщины радости? Ну, свадьба...

Торник Владимир

П а р и к м а х е р. Но это лишь ступенька в мир, так сказать, блаженства. А цель, как нам известно, бесконечна — любовь, любовь!

А н д ж е л а. Ой, что вы, для кого это сейчас главное? Слишком хлопотно. До нас уже всё перелюбили, нам вот стелечки не оставили.

П а р и к м а х е р. Дама, у вас ещё кто-то есть, кроме вашего жениха? Или был недавно? Я профессионал, это умрёт вместе со мною.

А н д ж е л а. Ну, если и был?..

П а р и к м а х е р. Конечно! У вас должна быть биография! У всякой красивой женщины в ваши годы есть биография. Кто он, если не секрет?

А н д ж е л а. Какие секреты, солдат.

П а р и к м а х е р. Дама, это прекрасно! Это подтверждает мою теорию. Вам хочется, наконец, видеть рыцаря. Хотя бы внешне. А солдат молод, выглядит воинственно. Он говорит «да» — и это действительно да. Он говорит «нет» — и это таки нет. Пусть он даже глуп, но зато ему всё подвластно!

А н д ж е л а. Что ему такое подвластно? Он, если хотите знать, даже кнопку не нажимает. И вообще, он чёрт-те кем оказался. Чуть не агентом, представляете?

П а р и к м а х е р. Одной иностранной державы?

А н д ж е л а. Может, и двух.

П а р и к м а х е р (*пробует фен*). Ещё минутку посидим. Но... он вас любил? Или вы были только средством — для каких-то его целей? Что вам подсказывало сердце?

А н д ж е л а. Оно уж мне ничего не показывало. Оно прямо в пятки ушло, как я про это услышала.

П а р и к м а х е р. Бедная дама! Повсюду читаешь — современные отношения так осложнились, никто ни в чём не может разобраться. Даже контрразведка иногда ошибается. Тем более — мы с вами, маленькие люди, мастера своего скромного дела. Мы можем, конечно, прислушаться к голосу сердца... Но вы же говорите — оно ушло в пятки. Дама, я умолкаю.

Вошла Надежда.

Мы ещё заняты.

Надежда. Да я не к вам совсем.

Анджелла. Что новенького?

Надежда. Погода хорошая. Ты замуж выходишь.

Анджелла. Не всё, значит, трудовые будни. Выпадают и праздники. Что ж жених не едет?

Надежда. Карету, наверно, не подали. Говорят, четырнадцать свадеб на сегодняшний день, а «Чаек» и «Зилов» шесть всего. Думаешь, твой Жека — самый главный в городе? Пока ещё нет. *(Примерила фату.)*

Парикмахер *(бросился к ней)*. Что вы, это невозможно, ужасная примета!

Анджелла. Ты, Надька, думай, чего делаешь.

Надежда. Что, мужа себе не найду? А может, я — нарочно.

Парикмахер. Мы выйдем из положения так. Я здесь надрежу, а вы оторвёте себе на память, когда начнётся церемония.

Надежда. Мерси, постараюсь не забыть. А кого я, Анджелка, видела...

Анджелла. Где?

Надежда. На пляже, возле порта.

Анджелла. Что он там делает?

Надежда. Сидит, камешки в море кидает. Без майки.

Анджелла. Ты уж успела! Черти тебя именно на этот пляж занесли. О чём же вы переговарили?

Надежда. Я в бухточку пошла, куда мы с тобой ходили. Виновата я, что он тоже это место знает?

Анджелла. Говорили — о чём?

Надежда. Солнышко грело, мы позагорали, он книжку какую-то листал. Да, спросил: «Не знаете, как варят ши из топора?» Не знаю, говорю, не приходилось. Всё я тебе доложила.

Анджелла. Мура какая-то. Обо мне — спрашивал?

Надежда. Ты знаешь — ни слова.

Анджелла. Опытный мужчина! Зачем, раз он на тебя перекинулся...

Надежда. Анджелка, а ведь не поздно ещё. Больше он не придёт — на тебя через витрину смотреть.

Торстей Вларинов

А н д ж е л а. Ну да, значит, я теперь должна к нему на пляж сломя голову бежать, через весь город. В платье подвенечном, с укладкой. Фату надеть или не надо?

Н а д е ж д а. С фатой — это шикарно! Тут же его кондрашка хватит.

А н д ж е л а. Я тебе серьёзно. Если б что было настоящее, он бы сейчас камешки не кидал. Я всё утро дома была — что-то не явился.

Н а д е ж д а. С ума ты сошла. Как же он явится — после всего?

А н д ж е л а. После чего, подружка? Надо мне было тоже про какие-нибудь похождения наплести?.. Он моей просьбы — одной! — и то не выполнил. Не посчитался. Значит, не поняли друг друга. Значит, не судьба.

Н а д е ж д а. Он тебе совсем, совсем не нужен?

А н д ж е л а. А ты подобрать хочешь? Валяй... если получится. Только мне не сообщай, поняла? Вот, хочешь моей подружкой остаться — чтоб я слова про него не слышала! Имени его не упоминай. Вот так. Всё правильно. Праздник у меня, и пусть всё катится.

Слышно, как под окном остановилась машина. А н д ж е л а встала.

Всё, готова девица. Хоть под венец, хоть под поезд.

Н а д е ж д а. Не задержался. Ну, в нашем городе не бывало ещё, чтоб задерживались женихи.

Же н и х вошёл с друзьями, которых он зовёт В и т ю ш к о й и В е н ю ш к о й. Так и мы станем их называть.

Же н и х. Анжелина!

А н д ж е л а. Действительно, не задержался. Что тебе, дорогой?

Же н и х. Как что? Ехать самое время. Оркестр в сборе, конь вороной стучит копытом. (Выглянул в окно.) Шеф, по-сигналь-ка! (Звучит сигнал.) Слабовато рычишь, гранд-приз не зарабатываешь. «Чайка» ты или не «Чайка»?

Сигнал звучит трубно, торжествующе.

А н д ж е л а. Всё, как надо, дорогой. Цветы не забыл?
В и т ю ш к а. Пять корзин в багажнике. Мало — ещё обес-
печим.

А н д ж е л а. Куда столько?

Ж е н и х. Да неужели ж чего пожалею для птицы белой!
Ну-к, Венюшка, давай показывай, чем мы её околыцуем.

В е н ю ш к а поднёс футляр.

А н д ж е л а. Толстые какие!

Ж е н и х. Скажем так — массивные. Золотой фонд зрело-
го социализма. Симке-ювелиру заказывали, но — жаль ге-
роя, попал под облаву. Однако дело своё успел передать дру-
гому. Не скажу кому, скажу только — не сотрётся до нашей
золотой свадьбы.

А н д ж е л а (*целует его*). Всё, как надо. Едем, дорогой.

В е н ю ш к а взял одеколон со столика, льёт себе на грудь.

П а р и к м а х е р (*страдая*). Зачем же так, есть прибор!

Ж е н и х. Венюшка, шалишь! Мне за тебя перед мастером
неудобно.

П а р и к м а х е р. Ничего, пожалуйста.

В е н ю ш к а. Я не шалю, я мастеров уважаю...

Ж е н и х. Головка у нас — слабенькая, мы ещё полу-
фабрикаты. Товарищ мастер, пудры не найдётся — бое-
вые шрамы присыпать? (*Останавливает его руку.*) «Макс
Фактор»?

П а р и к м а х е р. Увы. И даже не «Елена Рубинштейн».
Приятно видеть знатока.

Ж е н и х. А мне, дорогой мастер, неприятно, что ты так
работаешь — без «Макс Фактора». Ты извини, что я на ты.

П а р и к м а х е р. Ничего, пожалуйста.

Ж е н и х. Ведь уже зримые черты коммунизма наблюда-
ем, а нашим подругам, женщинам-труженицам, пчёлкам на-
шим, красоту навести нечем! А чем они хуже, предположим,
той же Дребезжит Бардо? Вот, Венюшка, за твоё поведение
обеспечить мастеру фирменной пудры — и чтоб не изнури-
тельно дорого, усёк?

П а р и к м а х е р (*припудривая Женху синяк*). Очень вам признателен. Но должен сказать, в моём деле редко приходится прибегать к косметике — хотя я и косметолог, по совместительству. Главное — раскрыть структуру лица, а для этого — вкус. Остальное — делают руки.

Ж е н и х. Руки мастера, что и говорить!

П а р и к м а х е р. А вот если б удалось достать фен германского производства...

Ж е н и х. Это, по-русски сказать, «сушуар»?

П а р и к м а х е р. Я предпочитаю говорить «фен». Наши, вы знаете, не совсем удобны, спинка не регулируется, неудачно продуманы контакты. Дама садится в кресло и замыкает их, так сказать, своим корпусом. Она, естественно, опасается удара током, сидит беспокойно...

Ж е н и х. Да, это ни к чему. Отечественная техника, скажем так, не уступает. Не уступает лучшим заграничным образцам. Но бывает — подводит. Я тебя понимаю. Только по технике у нас — Витюшка. Вот этот, чёрненький. Слышь, Витюшка, чтоб был бы мастеру фен. Имей в виду, я с тебя не слезу.

В и т ю ш к а. Сделаем. Чуть погодя.

П а р и к м а х е р. Не знаю, как буду вам признателен!

Ж е н и х. Обожди благодарить, мастер. Ну, хотя Жека зря не обещает. Это ж разве не про него сказано: «Он к товарищу милел людскою лаской, он к врагу вставал — железа твёрже!» (*Разглядывает свой глаз*.) Ох, вражина, попался б ты мне снова, ты б живой не ушёл!

Н а д е ж д а. Можешь с ним встретиться, если хочешь.

Ж е н и х. Где, в трибунале? Или его уже на поруки выпустили? Ох, довыпускаемся! Орём, орём: «Бдительность!» — а нет же её ни хрена, вот что мне больно, потом себе локти будем кусать.

А н д ж е л а. Всё, Евгений, покончили с этим.

Ж е н и х (*усмехаясь*). Реабилитировали, значит? Промашка вышла? Хе, чёрт!.. Но я вот так анализирую — ведь не зря ж на него подумалось? Всё-таки тёмный он, с червоточинной, гнилушка. Ну, есть в нём что-то такое... не наше. Мне за тебя страшно сделалось, что могла ты на удочку такому человеку попасться.

А н д ж е л а. Нет никакого человека, едем.

Ж е н и х. Легко живём, вот наша беда! Я, Анжелина, за тобой не подозреваю. Знаю — доверчивая ты, чистая, как стёклышко хрустальное. Но — нельзя так. Не имеем мы права. Я это тебе перед шагом ответственным должен сказать, тем более — тут все свои. С тем человеком...

А н д ж е л а (*грозно*). Нет никакого человека!

Ж е н и х (*Надежде*). Ты с нами, что ли, едешь? Свидетельницей?

Н а д е ж д а. Да как-то не собиралась...

А н д ж е л а. И правда, чего там интересного, на свадьбе уже увидимся, ладно?

Н а д е ж д а. Приду. Как приберусь.

Ж е н и х. Во, прибери её, мастер. А то чего она у нас выдрой ходит. Вот я тебе за всё про всё оставляю — из свадебного фонда. По машинам! Витюшка, Венюшка!

А н д ж е л а. Я догоню.

Жених уходит с друзьями.

Ничего, всё к лучшему (*обняла Надежду*). Надька, будь хоть ты счастливая, так мне за тебя тревожно!.. Скажи ему, если увидишь, — я за двоих подумала. Ничего б у нас всё равно не вышло. Он не знает, а я-то знаю. Пусть так оно и останется, как случилось.

Н а д е ж д а (*целует её*). Счастья тебе, Анджелка.

За окном сигналият, зовут Анджелу.

А н д ж е л а. Мы-то с тобой — не разлучимся?

Н а д е ж д а. Мы — ни за что. Иди же, зовут. До вечера...

Анджелла ушла.

П а р и к м а х е р. Прошу вас, дама. А всё же какой очаровательный мерзавец! Хозяин жизни, всегда на коне. Вы думаете, он мне достанет фен?

Н а д е ж д а. Можете не сомневаться. Ему только ногой топнуть — нефтяной фонтан забьёт.

П а р и к м а х е р. Но вы согласны — море обаяния в нём?

Н а д е ж д а. Утопилась бы я в этом море.

П а р и к м а х е р. Топиться не надо. Надо извлечь всё возможное из того, что нам отпустила природа. Волос у вас мягкий, послушный. Лобик мы слева закрываем или справа?

Н а д е ж д а. Всё равно.

П а р и к м а х е р. Кто вас причёсывает, дама?

Н а д е ж д а. Сама.

П а р и к м а х е р. Нет, это невысказано! Разве может дама сама причёсываться?! Я бы хотел вас видеть своей постоянной клиенткой. О чём мы с вами поговорим? Не затронуть ли нам тему доверия к человеку?

Н а д е ж д а. А может, не надо?

П а р и к м а х е р. Так... Вопрос профессиональный — вы идёте на свидание или на свадьбу вашей подруги?

Н а д е ж д а. Вам сказали — чтоб я не ходила выдрой. Вот и действуйте.

Картина седьмая

Та же комната в доме Анджелы, что и в картине 3-й. Столы сдвинуты, сидят гости, Отец, Жених, родители Жениха. Включён телевизор, на который никто не смотрит, на полную мощность ревёт проигрыватель. Надежда, в переднике, обходит с подносом гостей, ставит новые закуски, убирает посуду и т. п. Анджела с одним из гостей танцует твист.

А н д ж е л а. Надька, не возись там, иди выручай.

Н а д е ж д а. Падаешь уже?

Ж е н и х. Анжелина, не позорь семейство, держись! Он щас завалится, я его знаю.

А н д ж е л а. Всё, померла...

Повалилась на стул. Ка в а л е р танцует один.

Вот те и «завалится»! И где вы такого жеребчика нашли? Надька, должна же ты меня выручить. Брось всё к чертям, я хочу, чтоб весело было. Посуду потом сама уберу.

Надежда оставила поднос, пошла танцевать.

Я ж говорю — Надька меня где хочешь заменит!..

Жених. В сердце у меня — никто никогда, Анжелина!

Анджела. Ты закусывай, закусывай получше.

Витюшка. А я вот — и не могу закусывать, в рот не лезет. Всё же горькое. Сёмушки поешь — горько, осетринки попробуешь — то же самое.

Гостья. Капустка маринованная — ну полынь, полынь!

Все. Горько! Горько!

Танец прервался. Жених, с двумя рюмками, идёт к Анджеле.

Тамада (*во главе стола*). Разрешите поднять этот маленький бокал с большим чувством за то...

Витюшка. Горько!

Тамада. Слушай, кто тамада? Я тамада или ты тамада?

Все. Горько! Горько!

Тамада. Ну хорошо, я подчиняюсь, я не иду против общества, я временно оставляю трибуну. Мне тоже не сладко, понимаешь...

Жених. Анжелина, уважим общество?

Анджела. А то нет! (*Отдала свою стопку Надежде*.) Ещё одну налей.

Гостья. Ну уж нет, это так не полагается, это вся любовь на сторону уйдёт.

Анджела. А я вот так задумала!

Жених (*наливает ещё стопку*). Вот какая досталась! Сам себе не позавидуешь.

Анджела. Но всё-таки досталась! Ну вот, мы сначала общество уважим. (*Поцеловала Жениха*.) А теперь я слово скажу.

Все. Горько! Всё равно горько!

Анджела. Ну кому ж я слово буду говорить, когда вы все кричите?

Все. Горько!

Тамада. Слушайте, где регламент? Я уже вернулся, я уже опять взял полномочия. Невеста тоже имеет равноправие, да?

Горный Владимир

О т е ц. Она и не имеет, дак возьмёт. Вся упрямая, как мать её, покойница. Вот, помню я...

А н д ж е л а. Ну что вы, папа, не нужно сегодня грустное вспоминать, день же у меня — праздничный. Ой, что же это я хотела? Голова уже пьяная. А если я сейчас не скажу, то когда же успею? Вы же нас только до свадьбы и слушаете, а там жизнь начинается — подай, унеси. И вовсе она не упрямая была, вы всё, папа, забыли, и я такая же. Я свою жизнь всю наперёд вижу. Ну, раз я согласие дала Евгению, то, значит, подумала, что делаю. Только я хочу, чтоб и он знал — может, я чем-то пожертвовала. Может, у меня свои надежды были...

М а т ь Ж е н и х а. Господи, это что ж за новости такие?

Ж е н и х. А это не новости, маманя, это всегда так невесте кажется.

А н д ж е л а. Конечно, свекровь дорогая! Или я вас теперь мамой должна звать? Вот здорово... А свекровь — это что? «Своя кровь» значит? Чего-то я совсем запуталась, вы же мне досказать не даёте.

В и т ю ш к а. И до чего ж горько мне — как будто хрену попробовал!

В с е (на мотив «Белым снегом»).

Белым хреном, белым хреном,
Белым хреном поросёнка поливай.
Поросёнок с белым хре-еном
Очень даже имитирует рай!

А н д ж е л а (Надежде). Видишь, как это бывает. Думаешь, у тебя по-другому будет? Придут, налижутя — и забудут даже, чей это праздник. Вон у того спроси, у этого — кто тут невеста, — неужели на меня покажут, если я белое сниму?

Н а д е ж д а. Анджелка, всё равно я тебе завидую.

Т а м а д а. Я замечаю у наших дам печальное выражение.

М а т ь Ж е н и х а. Что ж такого, не грех и поплакать на радостях.

Т а м а д а. Извините, не разделяю. Веселиться будем по моей программе. Разрешите поднять этот маленький бокал...

В е н ю ш к а. С ба-алшим чувством...

Т а м а д а. Ты уже образованный, да? Ну, продолжай, пожалуйста.

В е н ю ш к а. За украшение нашего стола. За прекрасных дам.

Т а м а д а. И совсем не то хотел. За это тоже хотел, но не сразу. Никогда ты кавказскую мысль не угадаешь. С предков надо начинать. Если бы ваши бабушки и дедушки не были бы русские, то вы тоже не были бы русские. Если бы мои бабушки и дедушки не были бы грузины, то я тоже не был бы грузин и главный технолог пошивочного комбината. Так, во-первых, выпьем за тех, кто умел смотреть в будущее, как мы смотрим в этот бокал!

Ж е н и х. Тамаз, дай мне сказать.

Т а м а д а. Пока ещё не дам, дорогой. Уходя от нас, наши бабушки и дедушки завещали своим детям: когда они будут присутствовать на свадьбе своих детей, обязательно целоваться!

О т е ц Анджели целуется с родителями Ж е н и х а. Общее ликование.

Ж е н и х. Тамаз, ты мне дашь?

Т а м а д а. Теперь возьми, дорогой.

В е н ю ш к а (*очень набравшийся*). А мы всё выпили? Всё-всё?

Ж е н и х. Сиди, кой-чего осталось... Я за что хочу? Я лично за родителей хочу. За то, что они меня жизни научили. Тамаз не даст соврать — производство у нас тяжёлое, семьдесят гавриков — у того руки нет, у того ноги, а у кого — памяти. А ничего, вкалываем, план даём. Или вот я экзамены сдаю в педагогическом, без образования же тоже как без рук, так пока я сочинение намаракал про четвёртый сон Веры Павловны, семь потов сошло. Трудненько после армии. А в армии — как мы с тобой, Витюшка, трубили? В белых перчаточках кнопки не нажимали, на брюхе с полной выкладкой ползали, старшину роты, как отца родного, чтили. Не то что теперешние, лобастенькие-очкастенькие, с Феллини-Антониони по корешам, — им всё готовое подай, да чтоб всё полегче, у них установка — банк сорвать. А нас — к чему с детства готовили? Что жизнь — она не праздник. Она — вещь

сволочная. Помнишь, маманя, я мальцом прибежал — пожаловаться на Саньку, рыжего? Проходу мне не давал, оборот, — то по шеям съездит, то общую смазь сделает. А ты мне чего в ответ? «И слушать не желаю. Пока ты этого Саньку не выпорешь, я в тебе сына не узнаю».

М а т ь Ж е н и х а. И когда ж это я говорила?

Ж е н и х. Было, маманя. И крепко мне запало тогда, что должен я его именно выпороть. И главное — справился! Ребят подговорил, в каменоломню мы его заманили... Больше не лез.

В и т ю ш к а. Это Кубышкин, что ли?

Ж е н и х. Он самый. Но это всё — детство. А когда он инвалидом сделался, под всеми заборами лежал, то кто ж его подобрал, к жизни пристроил? Да тот же я. Про тебя вспоминаю, папаня, — как я мороженого просил, а ты — не купил. Сам пивко прихлёбывал, а мне говорил: «Всего сам добьёшься — и мороженое будет послаще, и пиво — похолоднее».

О т е ц Ж е н и х а. Ты бы чего хорошего вспомнил, стервец.

Ж е н и х. А я разве — плохое? Благодаря кого же я на ногах стою твёрдо, положение имею, другого ещё могу вытащить? Слыхали — проблема есть новомодная: отцы и дети? Так это не про нас. Потому и государство на таких, как мы, опереться может, как на каменную стену. Но, дорогие граждане, если мы свои обязанности чётко знаем, то и права? Предположим, заявится он ко мне... ну, из этих, про которых я говорил. «Отдай мне, скажет, самое дорогое». А что у меня самого дорогого? Невеста моя? «Вот, скажет, уступи мне её». Это почему — уступи? «А я, grit, влюблён в неё с первого взгляда». У него ж это просто. И все ж ему обязаны. А знает он, сколько моей души сюда вложено? Думает он за неё, как она будет жить, когда у него эта блажь схлынет? Нет, он это в голове не держит. Так имею я право врагом его считать смертельным? В порошок стереть — любым способом?

Т а м а д а. Хорошо говоришь, дорогой, но долго-долго. Тост у тебя слишком кавказский.

В е н ю ш к а. Зато наш Жека вчера шпиона поймал!

Ж е н и х. Замяли, Венюшка, замяли.

Т а м а д а. Он скромный. Он хочет сказать: «Просто повезло мне. Так на моём месте поступил бы каждый».

В е н ю ш к а (*пытаясь встать*). А вот у меня случай. Подходит ко мне в ресторане. Он мне по-американски — и я ему по-американски. Он мне по-немецки — и я ему по-немецки. Он мне по-французски...

Т а м а д а. А ты ему по-грузински.

В е н ю ш к а. А я ему — по-нашему: «Русского человека, сука, за доляры не купишь!»

Т а м а д а. Так выпьем же за то, чтоб в нашем пошивочном комбинате враг бы себе не нашёл никакой лазейки.

Общее веселье, пытаются спеть «Белым хреном», но выходит уже далеко не стройно.

Ж е н и х. Что же ты мне тост испортил, Тамаз?

Т а м а д а. Я испортил? Я его логически завершил. Объявляю танцы!

Кавалеры разбирают дам. Жених ведёт Анджелу на середину. Долго никто не замечает вошедшего Солдата. Затем Отец Анджелы пробирается к нему со стопкой в руке.

О т е ц. Пожалуйте к нам гостем. (*Узнал.*) Освободили? Пустое всё оказалось? На-ко вот, хлопни с порога. Чтоб все обиды за дверью остались.

С о л д а т (*поднял стопку*). За дочку вашу За невесту.

А н д ж е л а. Это кто же там про меня вспомнил?

Ж е н и х. Бог ты мой! Миша, друг желанный! (*Идёт к Солдату, раскрыв объятия.*) Ну, всё утряслось? Я ж говорил... Тоже хреновину затеяли — защитника отечества подозревать. Всегда вот мы любим палку перегнуть, ну не можем без этого, с детства так воспитаны. К столу проходи, не стесняйся.

О т е ц. Окаянный ты, Жека. Ты бы повинился перед человеком, а к столу я и сам приглашу.

Ж е н и х (*улыбаясь, Солдату*). Я сейчас. (*Ведёт Отца к столу.*) Демагог вы, папаня. Нехорошо. Это вы, значит, тут хозяин, а я чтоб своё место знал?

О т е ц. Дал бы я те по шеям, зятёк ненаглядный!

Жених. Тестюшка, дорогой, вы ж на ногах не держитесь. Дайте-ка я вас усажу, вот ваше место законное.

Витюшка. Давно я мечтаю, папаша, с вами выпить. Претворим наши мечтания в жизнь?

Жених (*возвращаясь к Солдату*). Да пригласи ж невесту, солдат. Кондакова, прояви инициативу, а то заробел парень.

Анджела. Как скажешь, дорогой. Только ему, наверно, с Надькой интереснее.

Жених. Знаем, с кем ему интересней. Сейчас я вам соответствующее поставлю.

Ставит на проигрывателе «Как тебе служится, с кем тебе дружится, мой молчаливый солдат?» Пары постепенно расходятся, остаются Солдат и Анджела.

Анджела. Держи меня крепче, уронишь. Вчера такой смелый был, не дай Бог.

Солдат. Напугать успели. Весело тебе? Счастливо?

Анджела. Разве ж только для веселья женятся люди? Не всё хиханьки-хаханьки, ответственность должна быть.

Солдат. Я всячески за тебя рад.

Анджела. В гости ко мне будешь приходить? Учти, хочу тебя видеть.

Солдат. На это ещё у мужа придётся разрешения спрашивать. Пожалуй, оно лишнее.

Анджела. А я вот настаиваю... Вот же ты явился, никого не спросил.

Солдат. Времени у меня час. И надо же поставить точку.

Анджела. Интересно, как это ты её ставить собираешься? Посуду побьёшь? Ты же смешной будешь. Я первая над тобой насмеюсь.

Солдат. Это мне уже не страшно.

Анджела. Ну, не глупи, не надо. (*Приникла к нему.*) Чёрт с ними со всеми, пускай чего хотят думают. А ты успокой свои нервы.

Витюшка. Жека, я чего замечаю или мне кажется...

Жених. Такой танец, Витюшка.

Мать Жениха. Танец-то танец, а приличия тоже имеются.

Жених. Маманя, я твой сын или чей? Значит, я порядок всегда наведу, будь уверена.

Отец Жениха. Откуда человек? Она его давно знает?

Жених. Друг детства, старая платоника. Я же говорю — такой танец.

Надежда. Кому чего положить? Салата никто не попробовал.

Жених. Отдохни, голуба, запарилась.

Надежда. И правда, я с вами выпить собиралась. Кто мне нальёт?

Анджела. Надька наша неприкаянная, правда? Никто по ней с ума не сойдёт.

Солдат. Всему своё время.

Анджела. Что ты, ей знаешь сколько? Она меня на целых два года старше.

Солдат. Какое имеет значение — для богини? Она же — вечноюная!

Анджела. Я тебя умоляю! Богиня! Для этого нужно ноги иметь. И верхний этаж. Не считая рожки.

Солдат. А вот ей — не обязательно.

Анджела. Ты со мной танцуешь или с кем? И что ты мне в мой день всё поперёк говоришь? Я вот возьму и сама начну посуду бить!

Жених (*подходит*). Что, не заладилось у вас? Может, чего другое поставить? Твистик или чарльстон?

Солдат. Да мне уже идти скоро...

Анджела. И пускай, пускай уходит.

Жених. Шутишь, я его так не отпущу. Я с ним на брудершафт хочу. Выпьем на брудершафт?

Солдат. Так мы же со вчерашнего на ты.

Жених. Ничего не значит. Знакомство у нас по-новой начинается. А кто старое помянёт, тому, как ты знаешь, глаз вон.

Солдат. Нет уж, в глаз больше не надо. Грубо слишком.

Жених. Шутник ты. За то мы тебя и любим. (*Ведёт к столу.*) Рекомендую нового моего друга. Водяры ему! Салатик прошу фирменный. Салатик — «Ив Монтан», не пробовал?

Витюшка (*напивая*). Это вот он и есть — шпион?

Жених. Витюшка, уши нарву, вести себя не умеешь.

Солдат (*улыбаясь*). Это я и есть — шпион. Только — тихо. Там а да. За кого ты нас принимаешь? Мы конспирации не знаем, да?

Солдат (*поставил стопку*). Жека, можно на пару слов?

Жених. Всегда пожалуйста. Так раньше выпьем?

Солдат. Это не уйдёт. (*Отходит с ним.*) Значит, так... К тебе придут два человека. Это — мои ребята.

Жених. Так. Твои ребята. Уже они мне — друзья. Как зовут?

Солдат. А они не назовутся. Они спросят: «Есть коверкот синий на костюм?» Ты ответишь: «Нет коверкота, есть бостон».

Венюшка. Вы ч-чего это там шепчетесь... таинственно?..

Жених. Сиди, не скучай. (*Солдату*.) Зачем же, Миша, я это буду говорить, когда у меня и коверкот есть, и габардин, и драп-велюр, если хочешь.

Солдат. Так надо. Это пароль и отзыв. Рубишь?

Жених. Рублю, Миша. Хотя — с трудом.

Солдат. Этих людей надо устроить. Они тут поживут некоторое время, в городе.

Жених. Могу у себя поселить на квартире. Если ненадолго.

Солдат. У себя — не нужно. Не нужно у себя. Требуется надёжное, укромное место. Потом будем их внедрять на базу.

Жених. На какую базу, Миша? На продуктовую?

Солдат. Дурак, ты всё ещё не понял, кто я такой? Другим объяснил, а сам не понял? Миша, Миша... Какой я тебе Миша? Ситников Николай. Впрочем, для них — пусть будет Миша.

Жених. Так кто ж ты на самом деле?

Солдат. Что у вас с памятью, Кондаков? Вам же даны были все инструкции. Роберт Джонсон, с вашего разрешения. Слышали про такого? Он же — Макс Нидермайер. Но это — не для широкого круга.

Жених. Миша, я нервный, у меня свадьба. Ты грубо шутишь, Миша.

Солдат. А почему эти люди — в курсе? Раскрылся, подонок! Разболтал! Знаешь, что за это полагается?

Жених (*отступая*). Алё, тут все мои друзья. У меня от них секретов нету.

Солдат. Значит, это наши люди?

Жених. Нет, Миша, это наши люди.

Солдат. Прекрасно. Значит, сообщники? В таком случае — я всех вербую!.. Никто не встаёт, пока мы не договоримся. Лазерный пистолет смонтирован здесь, в оправе. Одно движение бровью — и от вас кучка пепла. Не слыхали про такую новинку?

Тамара. Какие успехи делает кибернетика!

Жених. Миша, они же и вправду чего подумают...

Солдат (*треплет его по щеке*). Нервничаешь, мальчик. Понимаю, в режимном городе работать не просто. Но ты хорошо натурализовался. Женишься? Жену зовут Анджела? Прелестное имя. И вообще — одобряю ваш выбор, Кондаков. Центр приносит поздравления. Но надо работать, друзья. До сих пор мы вас не тревожили.

Отец Жениха. Что это, Евгений? Как это понять?

Жених. Шутит он. Исключительно шутит, папаня.

Солдат. Что вы волнуетесь, Кондаков-старший? Ваш сын у нас на хорошем счету, шеф им доволен. Он вам не говорил, сколько мы ему платим, поросёнку этакому? Это-то он скрывает. Пятьсот фунтов чистоганом.

Витюшка. В месяц?

Солдат. В неделю! И столько же премиальных ему набежало. В золотых рублях — две тысячи.

Тамара. Слушай, а сертификатами? Сертификатами сколько?

Солдат. Это ты сам подсчитаешь, кацо. Но учтите, мы столько платим не каждому, кто на нас работает. Талант! Мы головы ломали, где установить рацию, а он, представьте, придумал — на кладбище, в могиле. Крест — в качестве антенны. Это же додуматься! Нет, он далеко пойдёт. Мы уже подумываем, не перевести ли его в Пентагон.

Гостья. Батюшки, с какими ж это я вурдалаками сажу! И кто меня сюда пригласил? Сама напросилась...

Солдат. Кто сказал «вурдалак»? Это же кодовое название поста. Болтаешь, мальчик! Не-ет, Пентагон тебе не светит.

В е н ю ш к а (*проснулся*). Чего, Жека у нас на повышение идёт?

Ж е н и х. Миша, я по-хорошему прошу, кончай это дело!

С о л д а т. Чего орёшь, болван! Деньги получал, а работать не хочешь? А если вынырнет подпись некоего Кондакова на одном любопытном документе? Не поздоровится пресловутому Кондакову! Ты уже пытался вчера от меня отделаться... Не вышло!

Т а м а д а. Слушай, ты только бровями не шевели, не меняй выражение, пожалуйста. Он будет, будет работать!

Ж е н и х. Миша, я ж потом не отмоюсь!..

В и т ю ш к а (*полез из-за стола*). Не, тут дело тёмное. Я не при чём...

С о л д а т. Сиди там, чернявый! Для тебя тоже работа найдётся. Шифровальную службу — освоишь?

В и т ю ш к а. Я неспособный! У меня справка есть!

С о л д а т. Справки управдому показывай. А у нас только так: не умеешь — научим, не хочешь — заставим.

Ж е н и х. Ну что, перед тобой на колени стать?

С о л д а т. Между прочим, я не стоял, когда ты меня хотел заложить. Ничего, мальчик, я всё простил. Я же понимаю — устал, нервы. В последнее время столько было работы. Четыре поджога, крушение, две катастрофы авиационные... Это всё учтено. Шеф обещает отдых на Лазурном побережье. Каждому — вилла. И по два «Мерседеса». Но надо взять себя в руки, усилиться. Надо ещё поработать, други мои! Напрячь все силы! Сегодня ещё кого-нибудь ждёте?

Н а д е ж д а (*у окна*). Никого. Всё спокойно.

Г о с т ь я. И девка у них — при деле!..

С о л д а т. Как зовут? Ах да, я слышал — Надежда. Женщины у нас тоже работают, Надежда. И некоторые очень даже котируются высоко. Так, слушать всем! Даю вводные. На нашу диверсионную группу... Кстати, как называется наша группа? Никто не знает? Прошу запомнить — «Афина Паллада». А кодовое название Центра? Тоже не знаете? Прискорбно, друзья! Запоминайте — «Арес». Для тех, кто не знает греческого, пусть будет — «Марс».

В е н ю ш к а. Бох войны!..

С о л д а т. Протрезвится — будет отличный агент. Так вот, на нашу группу «Арес», он же «Марс», возлагает задачу исключительной важности. Не скрою — глобального значения. Все знают слово «глобальный»? Речь идёт ни больше ни меньше как о выводе из строя всего стратегического...

Ж е н и х. Мишка, друг! Ну, извини, понял... Ну, виноват я. Но, Миша, поймей же совесть, ты же умный человек. Тебе всё шуточки, а мне с ними со всеми жить. Они же на меня завтра побегут куда надо...

С о л д а т. Эх, жлоб! (*Замахнулся.*) Я тебе за твоих же друзей... (*Увидел Анджелу, осёкся.*) Ладно, подбери слюни. Больше не буду.

А н д ж е л а. Кончился порох? Я думала — тебя надольше хватит.

С о л д а т. Надоело. Хотел вам сварить щи из топора... Немного пересолил. Да и что толку?.. (*Жениху.*) Теперь — выпьем на брудершафт?

Ж е н и х. Пошёл ты, знаешь, куда!..

Т а м а д а. Слушай, он же пошутил, он же признался. Веселье тебе на свадьбе обеспечил, настроение взвинтил! Нет, я не тамада. Я недостойн. Он тамада. (*Солдату.*) Ты тамада!

Ж е н и х. Такое веселье, знаешь, чем ещё может кончиться...

М а т ь Ж е н и х а. Действительно! Я прямо в себя не приду.

С о л д а т. Постарайтесь прийти. (*Взял мешок у дверей. Надежде.*) Проводишь меня? Ну, как хочешь... Желая всем счастья.

Вышел. Надежда идёт за ним.

А н д ж е л а. Ты куда это намылилась? Останься, прошу.

Н а д е ж д а. Он же позвал... Счастливо тебе, Анджелка. Ты прости. (*Ушла.*)

В и т ю ш к а (*полез из-за стола*). Тоже и я намылюсь. Шутки шулками, а лучше дома пересидеть, чем где-нибудь.

О т е ц. Вона, как вас кибернетик-то растряс — и завтра, поди, не опомнитесь. Ну, молодец солдат!

Ж е н и х. Бросьте весёленького разыгрывать. Не смешно.

Горький Владимир

Отец. А тебе — плакать надо. Ты же какой грех совершил — солдата обидел! Кто ж это может в России солдата обижать? Который за тебя первый кровь прольёт, в землю ляжет. Да ещё у меня в доме обидел. Во, окаянный!

Жених. Бросьте демагогию, я ведь слов-то не боюсь, я их сам говорить умею. И опять вы за своё — ваш дом! Посчитали бы сперва, сколько тут — не вашего. Хоть с крыши начать, с черепицы нержавеющей. Где она, нержавейка фондированная, валяется? Может, где продаётся?

Анжела (*затыкает уши*). Замолчи! Вот теперь уже — замолчи!

Жених. И так далее, папаня, и тому подобное. Если к вам сюда пенсионеры заявятся, народные мстители, пощупать, откуда чего, вы же от них никаким поллитром не отделяетесь!

Отец. Ты что же это? Тебе же дочка моя любимая сказала: «Замолчи!»

Отец Жениха. Нет, есть какие-то, в конце концов, границы определённые. Сидеть в таком обществе...

Отец. А не сиди, бобёр! Катись! Бобриху свою прихвати! Порядки тут будут устанавливать. Да я вас всех тут налажу. Ещё лизаться полез, бобёр!

Венюшка (*лезет на стол*). Граждане! Обождите, граждане дорогие! Я ж понимаю, отчего всё. Потому что — горько, сил нет!

Гам ада. Слушайте, замечательно! Блестяще! Вот кто всё понял. Конечно — горько!

Все. Горько! Горько!

Картина восьмая

Та же платформа, что и в картине 1-й. Свемерело, зажигаются фонари. Публика редкой цепочкой тянется к поездам. На лавке по-прежнему спит Крестьянин.

Идут Солдат и Надежда.

Солдат (*Мороженщице*). На девятичасовой посадку не объявляли?

Мороженщица. Вроде не слыхала. (*Показывает на Крестьянина.*) Вон дядечка ждёт, на каждое объявление вскакивает. Что-то уже давно не вскакивал. Мороженое не желаете?

Солдат. Не жарко...

Мороженщица. Может, девушка желает?

Надежда. Ой, нет, спасибо. (*Солдату.*) Видишь, успели. Хочешь, я сбегая узнаю, почему не объявляют?

Солдат. Не нужно, дождёмся команды... И зачем я тебя потащил?

Надежда. Что ты, я с удовольствием проехала.

Мороженщица (*коллеге*). Верка, сворачивай торговлю. Если солдат мороженое не берёт, то уж никто не купит.

Подняли свои лотки на плечо, пошли. Идёт Цыганка.

Цыганка. Красивый, но в очках, всё по моему гаданию выходит?

Солдат. Ладно, ты мне скажи, что дальше ожидается?

Цыганка. Не могу. Ещё прежде не всё сбылось, как же по-новой гадать? Ничего мне карты не скажут.

Солдат. Что же ещё осталось?

Цыганка. Красивый, но без памяти, сказала же я тебе — перемени свой характер. Ну ни один клиент на это внимание не обращает!

Надежда. А мне — можете погадать?

Цыганка (*достала карты*). Не сходится, симпатичная... Хотелось бы приятное тебе сказать, но — долг не велит. Стоишь, за рукав его держишься, сердце твоё к его сердцу стремится, а радости — не будет. Ты ему не суженая... Кончился мой день. Пойти шамовки купить, пока гастроном не закрыли...

Надежда. Сколько я вам должна?

Цыганка. Анисколько, симпатичная. Я, когда хороший товар продаю, заранее цену назначаю. (*Уходит.*)

Надежда. Глупости какие-то... При чём тут — «сердце стремится»? Разве я Анджелке враг?

Солдат. И что ты всё о ней беспокоишься, у тебя своей жизни нет? (*Притянул её.*) Сама бы любовь с кем-нибудь закутила.

Торжест Владимир

Надежда. Чудак, а то у меня её нет? Я же при тебе рассказывала. Ну, правда, это не совсем так происходило, и не в Воронеже, просто я действие туда перенесла. Но был мальчик. Ещё как был!

Солдат. Куда же делся?

Надежда. Отслужил уже давно. На Севере. Там и остался.

Солдат. И не пишет?

Надежда. Ты знаешь, это даже к лучшему. Мне бы пришлось ему многое про себя рассказать... с кем я за это время была. Сначала с модельером одним... Элегантный был мужчина! Очень ему шло, когда он мне плакался на своё одиночество. Хотя я со стороны знала — две жены в разных городах, одна — с ребёнком. Я понимаю, жалость хотел вызвать, но всё же — зачем было врать, что никого на всём свете нет? Ведь он же мне ничего не обещал, неужели б я с ним порвала, если б он правду сказал?

Солдат. И чем же кончилось?

Надежда. Хочешь спросить, кто кого бросил? В общем-то, он меня, хотя я только и ждала, когда же он меня бросит. Сама не могла, жалко. Но не этим кончилось, а тем, что я сама себе стала врать. Другие, что потом были, — просто от нечего делать, от скуки, а я себя уверяла, что это я тому, первому, хочу отомстить. За что, спрашивается?

Солдат. Да... Вечер признаний!

Надежда. Это я — чтоб ты понял. Так здорово было на вас смотреть, как вы с Анджелкой встретились. Всюду вранья хватает, а вы как-то без этого сумели... Я её такую ещё не видела. (Солдат её обнял.) Ну вот... новости. Это зачем?

По платформе идёт патруль.

Капитан. Рядовой, подойдите!

Надежда. Здравсьте, мы вас так ждали! Никуда он не дойдёт, я не пушу. Стоит человек, невесту обнимает, фонарей не бьёт...

Матрос. Те самые. Пусть обжимаются.

Капитан. Можете продолжать, рядовой. (Патрульным.) А я вот, когда солдат был и на свиданку бегал в самоволку...

к одной Тamarочке, так я один раз специально фонарь побил, чтоб меня патруль не попутал.

М а т р о с. Молодой ещё, необученный.

Патруль идёт дальше, уходит.

Н а д е ж д а. Пусти... Тебе же потом будет неловко.

С о л д а т. Знаешь, я солдат. Третий десяток слегка разменял. Ты тоже как будто не старуха.

Н а д е ж д а. Всё так. Но я ведь знаю, о чём ты сейчас думаешь. Сказать?

С о л д а т. Интересно, послушаю.

Н а д е ж д а. Ты думаешь: «Почему мы не любим тех, кто нас не мучает, не обманывает, не предаёт?» Брось, никогда так не думай. А только — есть любовь или нет её. Ведь её не заслуживают, не зарабатывают, она непонятно откуда берётся. Но зато — если всё кончится, сгниёт, весь мир развалится, она последней умрёт. Понимаешь, о чём я хочу?.. Вот есть, которых любят — просто так, ни за что, — а это самое ценное, только мы с тобой этого не понимаем. И не пересиливай себя. Ведь ты сейчас с нею хотел бы здесь быть...

С о л д а т. Нет.

Н а д е ж д а. Говоришь «нет», а я слышу — «да». (*Высвободилась.*) Может, я сбегаю всё-таки — насчёт посадки?

С о л д а т. Торопишься распрощаться?

Н а д е ж д а. Нет, что ты. (*Смеется.*) Однако и я тебе — хоть чуть-чуть, а понадобилась!..

Идёт Андже́ла — в пальто, накинутом на белое платье. Среди публики оживление: «Невеста, невеста сбежала!», «Наоборот, жених сбежал, она за ним вдогонку», «И стоило за таким счастьем гоняться!»

А н д ж е л а. Ну-ка, Надька, отойди. Отойди совсем.

Н а д е ж д а. Дура, пальто застегни. (*Солдату.*) Счастливо!

П у б л и к а (*вслед ей*). Увести хотела, вот бесстыжая!.. Рассчитывали удрать подальше, а поезд-то и задержись... Да уж, чужого не отнимешь — своего всю жизнь прождёшь!..

Н а д е ж д а. Раскаркались, вороны! (*Ушла.*)

Горный Владимир

Солдат (Анджеле). Ты чего тут раскомандовалась?

Анджела. А ты, оказывается, злодей!

Солдат. Я — изменщик.

Анджела. Это само собой. Но — было бы с кем. Ведь не с кем же. А вот злодей — это точно. Пришёл, нахамил, нато-пал кошмарными своими сапожищами. Свадьбу мне расстроил. Судьбу мою — всю расстроил. Как же я теперь жить должна с возлюбленным моим мужем?

Солдат. Глупо я пошутил. Ты прости.

Анджела. Пошутил — хорошо. Урок мне на всю жизнь. Но что же мне дальше-то делать? Зачем он мне, твой урок?

Солдат. Не знаю.

Анджела. А так был уверен — что всё про меня знаешь. Ведь я же — самая милая, самая лучшая, другой ты такой не встречал. Говорил ты мне? Или всё — тоже была шутка?

Солдат. Какое теперь имеет значение?

Анджела. Любимая твоя присказка! А сказка — не получилась, миленький. Ведь ты всё со мной мог бы сделать, верёвки из меня вить. Только бы не спешил, послушался бы меня, понял, чем я живу!.. А ты — как ты со мной обращаешься! Ну что вот я стою, как столб? Обними меня. Чтоб хоть видимость была, что я тебе не чужая.

Солдат. Ну, пожалуйста...

Анджела. Господи! Нужен ты мне, дурак несчастный!

Возвращается патруль.

Капитан. Вам, Евсюков, я вижу, не всё понятно.

Пограничник. Как в воду глядите, товарищ капитан.

Капитан. Вам же сказано — невесту обнимают. А невеста должна быть по всей форме. Значит, она сбегала, переделась...

Пограничник. Волосы перекрасила...

Матрос. Туфельки сменила... Вместе с ножками.

Капитан. Так что пускай другая смена головы ломает. А мы службу несли, как положено.

Патруль снимает нарукавные повязки. Откозыряв друг другу, расходятся в разные стороны.

А н д ж е л а. Правду ты мне говорил? Что я самая-самая...

С о л д а т. Да. Всё была правда. А потом ты сказала...

А н д ж е л а. Что потом было, я помню. Это мне вовек не простится. Никогда мне ничего не прощается. Но я уже как-то привыкла — за всё расплачиваться.

С о л д а т. Что было потом, ты не знаешь. Выпустили меня в семь тридцать. Целый день впереди. Ну, я решил — ты ещё спишь, воскресенье. Пошёл к морю.

А н д ж е л а. И там встретил Надин.

С о л д а т. Она рассказала?

А н д ж е л а. Да. Хотелось бы соврать, но — да.

С о л д а т. А в котором часу, ты не помнишь?

А н д ж е л а. Ну... в двенадцать.

С о л д а т. Ещё полдня впереди. На что может надеяться влюблённый дурак? Что женщина ради него от всего откажется. Всё забудет — праздник, цветы, белое платье, шумное общество, всё такое прочее. И это само по себе произойдёт, не нужно и вмешиваться. Вот главное — ничему не мешать, ждать, что будет. И вот он шляется по всему городу, не вспомнит, где ел, где сидел на лавочке — курил. Только б дождаться вечера. А там уж она всё решила, ждёт его, одно окошко светится. Или она бродит в сумерках у калитки, тоже возможный вариант. И вот он подходит к её дому. Все окна горят, музыка, там пьют, веселятся... Женщине — хорошо. Она ни от чего не отказалась!

А н д ж е л а. Я ведь не счёты пришла сводить. Если б ты только захотел...

С о л д а т. Всё несчастье — что я уже ничего не хочу! (*Оставил её, ушёл к овраге.*) Ты на такси приехала?

А н д ж е л а. Да... На такси.

С о л д а т. Понял он — куда ты едешь?

А н д ж е л а. Как тут не понять... И про вчерашнее — всё я ему сказала.

С о л д а т. Зачем?

А н д ж е л а (*застёгивает пальто*). Я, пожалуй, поеду, милый. Спасибо тебе за всё.

С о л д а т. Ты прости.

А н д ж е л а. Что ты! Я спасибо тебе говорю.

С о л д а т. За что?

Торжеств Владимир

А н д ж е л а. Не понимаешь? За то, что ездил ко мне — из такого далека, смотрел на меня. За то, что робкий был. А потом — смелый. Всё — вовремя! Слова мне говорил, каких я ни от кого не слышала. И вот даже сейчас признался, что всё правда была. А я тебе — худом отплатила.

С о л д а т. Я только хорошее буду помнить.

А н д ж е л а. Вот это я и хотела услышать. Затем и ехала сюда. Значит, я что-то для тебя сделала. А ты для меня — больше. Ну, прощай, не сердись. (*Уходит, кричит ему издаലെка.*) Спасибо, милый!

С о л д а т закурил, вскарабкался на ограду.

К р е с т ь я н и н (*очнулся*). Э, ломаешь вещь! Или же свалишься. Садись вот на кофер, коль те на лавке не сидится.

С о л д а т. Не продамлю?

К р е с т ь я н и н. Продавишь — заплачем. Да не, кофер-то сильный, сам строил. Тоже тебе до Приморского ехать?

С о л д а т. Дальше ещё. Там попутку буду ловить. А то так пёхом...

К р е с т ь я н и н. А тебе от станции — в левую сторону или в правую?

С о л д а т. В правую. Через лес.

К р е с т ь я н и н. Ага... Ну, мне — в левую. До Мышакова.

С о л д а т. Спал, что ли, отец?

К р е с т ь я н и н. Так... кемарил. Да не, не слышно было. Бу-бу-бу... Ну, представляю, об чём с невестой можно.

С о л д а т. Она — не моя невеста.

К р е с т ь я н и н. Это я понял, что не твоя. Со своей бы ты сейчас в доме пьянствовал. Ну, смела королева! Ейному мужу не позавидую — ведь он её вожжой не приноровит.

С о л д а т. Это кажется, отец.

К р е с т ь я н и н. Хорош «кажется»! Через весь город из-под венца к тебе сиганула. Хуже, чем нагишом. Значит, любит тебя, прощелыгу. Ты не обидься, а кто ты есть — солдат. Это для государства ты первый человек, а для бабы ты — последний. Тебя ещё жди, покамест ты из этой хаки вылупишься. Не-ет, великая девка!.. Ну, однако,

я вижу — тебя этот разговор колет. А до Мышакова теперь автобусы, наверно, идут? Дорогу-то заасфальтировали алы нет?

Солдат. При мне там всегда асфальт был.

Крестьянин. А при мне — не было. Я в этих местах три года не появлялся. А родные мне места.

Солдат. Ты откуда едешь, отец?

Крестьянин. Я-то? Так ведь, это... из России в Россию.

Солдат. Счастья на стороне искал?

Крестьянин. Э, какой ты молодой! Разве оно на стороне валяется? Его в своём дворе поищи, а нету — так и нигде нету.

Солдат. Значит, не по своей воле странствовал?

Крестьянин. Ну, как считать... Своя вина во всём сыщется. Значит, не уберётся.

Солдат. За что же это тебя — на три года?

Крестьянин. Да я ж говорю — не уберётся. А на горячем месте сидел — в совхозе материально ответственным лицом. По-русски сказать — кладовщик. Вина-то моя ещё раньше была — как меня на это место сагитировали, а я согласие дал. Ну, дак по моим годам возвышения хочется, не всё ж навоз вывозить. Тут я его и увидел, возвышение! Мне уж потом следователь всю картинку нарисовал... Хороший он, грамотный человек. Вишь, говорит, как они тебя заморочили. В солидарность вовлекли, да тем и запутали, а сами-то из этой солидарности как-то выпали.

Солдат. Ты теперь с этими людьми встретишься. И что сделаешь?

Крестьянин. А кепочку сниму, поздороваюсь. А ты б чего сделал?

Солдат. Не знаю. Убил бы.

Крестьянин. То же и мне хотелось. По первому году. А после поостыл. Ведь они ж не со зла, интересу такого ни у кого не было — под монастырь меня подвести. Интерес у них другой был...

Солдат. Вот за это и надо убивать.

Крестьянин. Ну, однако, не будем про это. Что болячку-то ковырять... А дай-ка я у тебя спрошу. Видел я, как

ваши сполохи поыхивают. Как раз где наши поля кончались. Страшная сила, а? Страшной нету?

Солдат. Как тебе сказать. Холера — не страшно? Или — чума?

Крестьянин. Холера-то, видишь, ей люди не управляют. Страшная, да не злая. Али я не то сказал?

Солдат. То самое.

Крестьянин. Они ошибиться могут сгоряча. А назад-то её не загонишь, как начнёт всех убивать.

Солдат. Ужас не в том, что она убивает. А что она не разбирает, кого убить.

Крестьянин. Убить... Ну, а ты людей-то, через свои очки, видишь?

Солдат. Иногда — нет. Сплошное серое что-то...

Крестьянин. Вот они какие — разбираться будут... Молодой ещё, а — злопамятный!..

Солдат. Если наш мир всё-таки не погибнет — его спасут злопамятные люди. Которые не прощают зла.

Крестьянин. Может, и так... Ну, однако, поживёшь с моё — переменишься. Слышь-ка? У тебя настроение, у меня настроение. Это я к чему веду?

Солдат. Буфет не закрыт ещё.

Крестьянин. Так, взаимопонимание. Но видишь, какая проблема: четвертинку взять — это мы не расчувствуем, а бутылку — многовато на двоих...

Солдат. Что тут думать, третьего найдём.

Крестьянин. Ты скажешь! «Думать не надо!» Это проблема главнейшая — третьего найти. Ведь это — чтоб свой человек оказался. А то ещё не родной попадётся, при нём не побеседуешь. (Смотрит на проходящих.) Этого, что ли? Озабоченный слишком. У нас и своих забот навалом. Этот спешит — куда, и сам не знает. Торопливых не надо нам, верно? А этот вроде бы подошёл, но — с бабой. Разве ж она позволит? А может, этого? Взгляд какой-то не прямой, сглазит он нам это дело... Да и посадку, поди, сейчас объявят.

Идёт Дежурный в красной фуражке.

Эй, Красная Шапочка! Ты когда же нам состав подашь девятичасовой?

Дежурный. Не пойдёт девятичасовой. За Лихоборами путя переключают.

Солдат. Сколько ж это займёт — переключка?

Дежурный. Как закончат — так сообщат.

Солдат. Худо дело, это я в часть опаздываю, как пить.

Дежурный. Значит, опаздываешь. Сочувствую.

Крестьянин. Слышь-ка, а ведь дорога у тебя — двухколейная.

Дежурный. Ну?

Крестьянин. Ну так Лихоборы — где они? Рукой подать. А встречный — только ещё от Приморского отошёл. Неужто наш не проскочит?

Дежурный. Внеси предложение. В трёх экземплярах. Обсудим, решим. Может, я тогда под свою ответственность и крушение смогу взять. (*Идёт дальше.*)

Солдат (*вскочил*). Постой, друг. Заверь-ка мне увольнительную. Напиши, что опаздывает поезд.

Крестьянин. Да уж, выручи солдатика.

Дежурный. Это — с дорогой душой. Где? Вот тут?

Солдат. Ну, пониже...

Дежурный надел очки, достал авторучку. Крестьянин подставил спину.

Дежурный (*помахал пером*). Я лучше на обороте напишу.

Солдат. Валяй на обороте.

Дежурный (*помахал пером*). Чего бы твёрдого подложить...

Крестьянин. Спина мужицкая — твёрже нету. Ну, на тебе кофер. (*Подставил чемодан.*)

Дежурный (*Солдату*). А ты это кому предъявишь?

Солдат. Начальству своему. Взводному.

Дежурный. Взводному — это ещё ничего. Дальше взводного не пойдёт?

Солдат. Да не пойдёт.

Дежурный (*помахал пером*). А взводный твой — возьми да и позвони сюда? А меня в это время у аппарата не будет...

Горюхи Владимир

Солдат. Зачем это он звонить станет? Когда можно — не звонить.

Дежурный. Вот это — резонно. Зачем, когда можно и не... (Помахал пером.) Слушай, так это же он не по моей вине задерживается. Как же я отправление дам — при наличии встречного?

Солдат. Да напиши — пути переключивали.

Дежурный. А почём я знаю — может, ни хрена они там не переключивают. Шпалы не подвезли... Костылей не хватило... То-сё, пятое-десятое...

Солдат. Ну чего хочешь, но — напиши!

Дежурный (Крестьянину). Слышь, чего говорит? Чего хочешь, говорит, то и напиши. Это же додуматься надо! Нет, ты послушай, вникни. Чего хочешь, то и напиши!.. А?

Крестьянин. Да уж... оно это... как-то оно...

Дежурный. Вот и я говорю. Молодость. Безответственность. (Почесал за ухом.) Напишу так: задерживается по независящим обстоятельствам.

Солдат. По не зависящим — от кого?

Дежурный. А вот это уж я не знаю — от кого!

Солдат. Да от тебя не зависящим!

Дежурный. Почему это — от меня? Я-то тут при чём?

Солдат. Ну так же грамотней!

Крестьянин. Пиши, пиши. По независящим обстоятельствам. (Солдату.) А ты помалкивай. Он знает, как грамотней!

Дежурный пишет, расписывается.

Ишь, как расписался красиво!

Солдат. Прямо — министр!

Крестьянин. Ага, так тебе сразу министр и распишется. Что же у него, семьи нету?

Дежурный. Печать в диспетчерской поставишь. У Маши. Скажешь — Усик Иван Григорьич распорядился.

Крестьянин. Усик Иван Григорьич? Это нам вроде подходит.

Дежурный. В каком смысле — подходит?

Крестьянин (*Солдату*). Дак вот же он — третий! (*Де-журному*.) На третьего мы тебя выдвигаем. Ты как? Отводу не будет?

Дежурный. Можно, если по-тихому. Время не лимитирует.

Крестьянин. Ну, самый определённый третий! Наш человек, родной человек, великий человек!

Солдат. Все у тебя великие...

Крестьянин. А как же! Кто страх знает, да победил его, тот уже и великий.

Солдат. Как же это я могу тогда... как это я посмею! — поллитру с ним распивать, с великим? Я же перед ним на коленях должен стоять, во прахе лежать. А как же! Если не соврал, не предал, хоть на что-то махонькое замахнулся — это же подвиг! А когда же мы людьми будем? Просто людьми... Эх... (*Сел на чемодан, замотал головой.*)

Дежурный. Чего это он? Обидел я его? Солдат, обиделся? Ну, давай напишу, давай... так и быть, ладно! — путя перекладывали! По не зависящим — от меня!

Крестьянин. погоди, Иван Григорьич, тут не в твоих путях проблема. Ну, встанем, солдат. Пойдём, сообразим, всё обсудим как следует. Вот и побеседовать есть об чём. А под это дело у нас это дело отлично пойдёт!

ЭПИЛОГ

Бескрайняя русская равнина. Ветер колышет маки, васильки, ромашки, слышна песня жаворонка. У края дороги, в тени молодой берёзы, стоит невысокий белый обелиск, обнесённый оградкой из арматурных прутьев, крашенных в серебрянку. Перед оградкой — скамья.

Идут Афина и Арес — усталые и запыхлённые. Арес прихрамывает.

Арес. Придержи шаг, сестра. У меня в сандалиях полно песку.

Афина подошла к обелиску, Арес присел на скамью.

А ф и н а (*читает надпись*). «Имя не установлено. Погиб двенадцатого июля тысяча девятьсот сорок третьего года». И кто же он?

А р е с (*занят своими сандалиями*). Четыреста пятнадцатого отдельного стрелкового полка младший сержант Чурилкин Павел. Рождения двадцать третьего года, из Полтавы. Как сейчас, помню — грандиозная заваруха под Прохоровкой. Ты была тогда на Волховском направлении. Хотя я говорил тебе: самое интересное сейчас — Курская дуга и прилегающие фронты. В этот день, с утра, — механизированная атака германцев. Идут «королевские тигры» — их можно пробить только подкалиберным, кумулятивного действия. Идут «Фердинанды»... О, «Фердинанд» — это прелестно! Это такое... на гусеницах, как танк, но башня не вращается. Зато орудие — локтей тридцать в длину.

А ф и н а. Короче!

А р е с. Ну, может быть, двадцать восемь.

А ф и н а. Сократи речи свои.

А р е с. Но я не могу протокольно, во мне снова всё закипает!.. Такой огонь — никто головы поднять не может. Взвод противотанковых ружей молчит, бездействует. Кончились патроны. И что делает этот Чурилкин — он поднимается над окопом со связкой гранат. Он безумец! Связку нужно бросить наверняка. Не добросил — смерть!

А ф и н а. И ты ему не дал добросить!

А р е с (*погрустнел*). Видишь ли... Он был так прекрасен в эту минуту, что я подумал — ему всё удастся. Отчасти он сам виноват. Поспешил. Нужно было подпустить поближе. Ну, и я не подсказал ему. А мне, думаешь, легко пришлось? Череп — из сорокапятки — насквозь! Это что, шуточки? Просто мы бессмертные... Но разве я не уделил ему от своего бессмертия? Вот ему пионеры посадили берёзку, ухаживают за могилой, роются в архивах, чтоб узнать его имя. Совсем не плохие почести...

А ф и н а. Ещё неизвестно, кем бы он стал — если б исполнил своё предназначение.

А р е с (*встаёт в волнении*). Упрёк — отвергаю! Я уберёт Бонапарта, позволил ему пройти под пулями весь Аркольский мост — у этого корсиканца было на вершок меньше роста,

чем его бы устроило, и круглый подбородок с ямочкой — это обещает хорошие войны. Сервантесу Мигелю де Сааведра я сохранил руку — меня трогали его стишата и у него в заначке был недурной роман о странствующем рыцаре, — жаль, он его испортил насмешечками над воинской доблестью. От графа Толстого Льва я отвёл осколки гранаты — граф обожал военную тематику, и самая знаменитая его героиня бросается под поезд от любви к офицеру. Но младший сержант Чурилкин Павел... Простите, мадам, но это и было его предназначение — пасть в контратаке, увлекая за собою оробевший взвод!

А ф и н а (*стучит копьём*). Ты превышаешь свои полномочия. Тебе не дано знать о будущем. Это не дано и нашему отцу, Громовержцу.

А р е с. А цыганкам — дано? А шивым политикам? А вот набираются нахальства и предсказывают. Иногда сходится, чаще всего — нет. Однако никто с них потом не спрашивает.

А ф и н а (*печально*). Что делается у тебя под медной каской! Сплошной мрак, довольно фанаберии — и ни одной конструктивной мысли. Скоро три грации превзойдут тебя интеллектуально. А у них, как ты знаешь, ума от одной курицы на троих.

А р е с (*хватаясь за дротик*). Я попрошу, мадам...

А ф и н а. Не гложет тебя, что ещё ни одна из твоих побед, самых блистательных, никого не осчастливила? Но только моря слёз затопляют бывшие траншеи. Но только проклятия и проклятия на твою шлемоблещущую голову.

А р е с. Мы сейчас доберёмся до сути, любимая дочка Зевса. Ну, ясное дело, все клянут Ареса. На него можно всё списать. Арес не дал расцвести талантам, прервал великие жизни, растоптал трепетные любви... Какая чепуха! Чушь собачья! Я только всех расставляю по своим местам. Да если б не я и не мой меч — откуда знать твоим смертным сёстрам, каких мужчин им любить? Они же повыскакивают за распоследних хлюпиков, — можно себе представить, какое будет потомство! А мужчинам — как отличить истинную любовь от игры дешёвых комедианток? Не моя вина, что смертные так устроены, но если им ничто не угрожает — жизнь для них теряет цену. Утрачиваются критерии, мужчины

Горный Владимир

перестают быть мужчинами, женщины — женщинами. И не потому ли они так несчастны? Они клянут жизнь, стонут от её тяжести и сами на себе завязывают узлы, из которых не знают, как выпутаться. А в войну они чувствуют локоть соседа, они видят врага и цель и если умирают — то с верой, что дело того стоило. И все узлы развязываются так! (*Взмахивает мечом.*)

Афина. Постой... С чего ты взял, что они все несчастны?

Арес. Мы проходили через этот город... Я только и слышал — жалобы. Такое унылое население! Его бы выкосить наполовину, а лучше на две трети — город только повеселеет.

Афина. Что ты мог слышать — когда уши забиты вечным грохотом? Хочешь — я покажу тебе их всех? Порази любого, кого сочтёшь несчастным.

Арес. Покажи мне жениха, не ставшего мужем! Покажи несостоявшегося тестя!

Афина гладит сову. Появляются Жених и Отец Анджелы.

Жених. Я вам так этого не оставлю. Я в это дело столько души вложил, а ваша Анджелка меня на весь город ославила. Могу я это перенести? Не-ет, я на вас определённо «народных мстителей» напущу!

Отец. В тюрьгу меня упечёшь — за твои же махинации?

Жених. А это ещё доказать нужно. Ничего, пусть вам Анджелка передачи поносит.

Отец. Да ведь я помру в тюрьге, я ж старик.

Арес над ними заносит меч.

Жених. А что делать, папаня? Морально она меня убила. Должен я как-то эту занозу вынуть?

Отец. Э! И пускай помру. Зато уж насмеюсь — как тебя кибернетик разыграл. За дочку порадуюсь — тебе, упырю, не досталась!

Жених. Вон как заговорили! Так я вам на это — и хорошо, что я с вашей Анджелкой не спутался. Нашли дурака — объедки чужие подбирать! А она ещё пожалеет, я в Париже консулом буду, в Рио-де-Жанейре — послом...

А р е с (опуская меч). Будет...

Ж е н и х. Я ещё сам не знаю, в какие большие люди выйду. Но ваш кибернетик ещё у меня на ковре настоится! У меня звезда счастливая!

А р е с. Убери!

А ф и н а гладит сову. О т е ц, напевая, уходит в одну сторону. Ж е н и х, насвистывая, в другую.

А ф и н а. Ещё хочешь?

А р е с. Ещё!

Появляются Крестьянин и Дежурный в красной фуражке.

К р е с т ь я н и н. Об чём запечалился, Ваня?

Д е ж у р н ы й. Эх, Проша! Ведь он, солдат, правильно линию гнёт. Я и сам замечаю — всё больше робеть стал. Ведь мог я вполне до Приморского состав пропустить.

К р е с т ь я н и н. Ну да, а если б крушение?

Д е ж у р н ы й. Откуда оно? Риску не было ни малейшего. Так кто я теперь? Перестраховщик. Кто виноват, что график нарушился? Раньше говорили — стрелочник виноват, а теперь автоматика — значит, диспетчеру будут хвоста рубать. Несчастный я человек!

А р е с поднимает меч.

К р е с т ь я н и н. Ну, ты, однако, утешься, Ваня. Солдату службу ты облегчил. Тебе и на том свете зачтётся.

Д е ж у р н ы й. Вот тоже. Сделаешь другому облегчение, а он тебе же свинью подложит. А у меня этих выговоров в приказе — что у тебя волосьев на голове.

К р е с т ь я н и н. А у меня их и нету, Проша. (Снял картуз.) Чисто!

Д е ж у р н ы й. Где ж ты красоту растерял, Проша?

К р е с т ь я н и н. Э, рассказывать — это надо ещё две поллитры брать.

Д е ж у р н ы й. Тоже тебе свинью подложили?

Сергей Владимиров

Крестьянин. Как это ты угадал? Точно, свинину. Другие стрямкали, а меня под закон подвели. Ну, искупил, а теперь-то чего? Радоваться надо — могли же и больше дать.

Дежурный. Проша! Вот честно говорю — я тебя уважаю!

Арес (*опустил меч*). Убери.

Крестьянин и Дежурный уходят, обнявшись, поют на мотив «Камышей»:

Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят...

Идёт Парикмахер, держа в одной руке стул, в другой — фен. Навстречу, тасуя карты, Цыганка.

Цыганка. Красивый, но седой, дай судьбу погадаю.

Парикмахер. Дама, это прекрасно, что вы мне встретились! Фен германского производства! Из всей этой истории я извлёк самую большую ценность. Прошу обновить, дама. Вы будете сидеть совершенно спокойно.

Цыганка. Лучше не надо. Я взглянуть могу, клиентки к тебе не пойдут.

Парикмахер. Дама, я профессионал, я теперь войду в сильнейшую пятёрку по области.

Цыганка. А то я не профессионалка! В позапрошлую субботу солдатику одному нагадала — все кончики сошлись. Сама удивилась!

Парикмахер. Скажите, а как вы повышаете свою квалификацию?

Цыганка поманила его. О чём-то шепчутся.

Афина. Подойди, цыганка. Ты вправду считаешь — всё вышло по-твоему?

Цыганка. А то нет? Характер же он не переменит, а у неё — тоже самолюбие. Теперь их только Бог сведёт. Тем более у него манёвры начались, где ему про любовь думать!

А ф и н а. Ступай, цыганка.

А р е с. И не болтай про манёвры.

П а р и к м а х е р (А ф и н е). Простите, дама, это у вас парик или шиньон?

А ф и н а (сняла шлем, тряхнула головой). Это у меня от Бога, цирюльник.

П а р и к м а х е р. Просто не верится! И какой современный стиль! Дама, умоляю вас — берегите такое сокровище. Никаких щипцов, ни бигудей, только массаж на ночь и по утрам щёткой.

А ф и н а. Знаю. Ступай, цирюльник.

П а р и к м а х е р (вернулся). А самое зло — это краска «Гамма». И лондатон!

А ф и н а. Ступай, ступай...

Парикмахер и Цыганка уходят.

А р е с. Кого ты мне показываешь?

А ф и н а. Гадалку и цирюльника. Самые жалкие из смертных. Кого бы ты ещё хотел увидеть? Эту дурочку, что отчасти похожа на меня?

А р е с. Не видал я блаженных! Они перманентно счастливы.

А ф и н а. Или, может быть, капитана, имеющего некоторое сходство с тобой? Ему так хотелось отличиться!

А р е с. С твоего разрешения, он уже — майор. Вчера подписан приказ.

А ф и н а. Я от души его поздравляю.

А р е с. Но главных ты от меня утаиваешь! Где этот солдат? Где его ненадёжная возлюбленная? Скажешь — и они счастливы?

А ф и н а. О нет! Они же — в разлуке.

А р е с. Мне тебя жаль, сестра. Ты когда-то была воительница. Воздух битвы был для тебя самым чистым. Кто дышит этим воздухом, тот не прощает, чего простить нельзя!

А ф и н а. Как ты — не простил Афродите тридцать тысяч её измен.

А р е с. Неужели столько? Я как-то себе не представлял... Э, у нас другое. Мы не давали клятвы верности. С самого

Горный Владимир

начала договорились: у меня своя политика, у неё — своя. Короче — ты не рискнёшь их свести?

А ф и н а. Солдат сейчас — в твоей власти.

А р е с. Ах, да, манёвры! Как это я мог забыть?.. Будет сделано. Пусть только выйдут на рубеж атаки.

Слышится крик «ура». Пробегают атакующая цепь. Солдат, с синей повязкой на рукаве, вбегает с ручным пулемётом, ложится, устанавливает пулемёт на сошки, стволом в зрительный зал, и, лязгнув затвором, замирает.

Идёт офицер с белой повязкой — Посредник.

П о с р е д н и к. Так, позицию выбрали правильно, обзор хороший. Но почему не окопались? Вы — убиты. Дайте вашу повязку.

С о л д а т. Товарищ майор!..

П о с р е д н и к. С посредником не пререкаются. Вы же знаете — в армии окапываются без приказа. Это значит — как только залегли. А вы даже лопатку не расчехлили. Да, это вам не кнопки нажимать, тут думать надо.

С о л д а т. Но, может быть, я только ранен?

П о с р е д н и к. Простому стрелку я бы засчитал ранение. Но вы же пулемётчик, вас подавляют в первую очередь. Я вас считаю убитым.

С о л д а т. Что ж теперь делать?

П о с р е д н и к. Что делают убитые... Можете покурить.

Уходит. Солдат закурил, перевернулся лицом к небу. Крик «ура» затихает вдали. А р е с обходит Солдата со всех сторон, оценивая его позицию.

А р е с. Нет, ты посмотри на него! Он находит массу приятного в том, что выбыл из боя. (Заносит меч.)

А ф и н а. Лежачего?

А р е с. Но как он посмел не окопаться! Я столько ратовал, чтоб они, мерзавцы, окапывались немедленно.

А ф и н а. Опустит, маразматик. Это у них — учения, это ещё не война.

А р е с (*трёт лоб*). Вылетело. Что-то со мной в последнем веке... Склероз, наверно. Но где же — она?

А ф и н а. Её ведёт сердце — и она не опоздает.

По полю идёт Андже́ла, собирает цветы. Солдат поднимается ей навстречу. Она положила цветы к обелиску и проходит мимо Солдата, как будто не замечая его. Так они молча прохаживаются друг мимо друга.

А р е с. Что-то не очень у них контактит.

А ф и н а. Это не так просто. Похоже, что им придётся знакомиться заново.

А р е с. И он не знает, как это делается? И способ номер один забыл?

С о л д а т (*спохватясь*). Девушка! Не скажете, который час?

А н д ж е л а. А вон часы на башенке, не видите? Во-он на горушке. Отсюда, правда, плохо видно, всё же три тысячи километров. И к тому же вы — слепой. Половина первого.

С о л д а т. Спасибо, девушка.

А н д ж е л а. Не за что.

С о л д а т. Интересная башенка! Это, наверно, какая-нибудь ваша достопримечательность? Остатки замка?

А н д ж е л а. Я вас умоляю! Каланча пожарная. Столько раз ездили мимо — и не рассмотрели?

С о л д а т. Никогда не ездил. Я в вашем городе не бывал ни разу. Один мой друг туда ездил каждую субботу, но ему некогда было по сторонам глядеть. Там его возлюбленная жила, все мысли были заняты ею... Манекенщица из Дома моделей — может, знаете?

А н д ж е л а. Кто же её не знает. Блондинка такая.

С о л д а т. Он, кажется, говорил — крашенная.

А н д ж е л а. Но она же себя считает блондинкой. Значит — блондинка. Так себе возлюбленная. Ничего особенного.

С о л д а т. Не скажите, он был от неё в большом восторге. Очень красочно её описывал — такое лицо, такая фигура божественная, такие длинные-длинные ноги!

А н д ж е л а. Преувеличивал ваш друг. Обычное стриптизное тело. Мордочка, правда, ничего. А в общем, с такими

Горный Владимир

данными ей вашего друга удержать не удалось. Недолго у них музыка играла.

Солдат. И как у неё дальше судьба сложилась, не знаете?

Анджела. Она ему всё про себя написала. Штук двадцать писем, если не ошибаюсь. Но что ж писать — если ответа нет?

Солдат. Но он их не получал!

Анджела. Правильно. Она их и не отсылала. Он же ей адреса не оставил. Если вашему другу ещё интересно — пусть заедет, возьмёт. Она их у подружки оставила.

Солдат. А если он её саму захочет увидеть?

Анджела. А вот это — не удастся. Она из этого города уехала. Наверно, навсегда. Не вынесла, понимаете? Никто больше не приходил — смотреть на неё через витрину, а она уже без этого не могла.

Солдат. Но ему скажут, где она? Он её разыщет!

Анджела. Ой, стоит ли? Этот ваш друг, я вам скажу, сам человек несчастный и другим одни несчастья приносит. Её-то уж, точно, несчастной сделал на всю жизнь!

Меч Ареса взлетает над ними.

Солдат. Девушка, но в чём же его вина?

Анджела. Я вас умоляю! Выяснить отношения?

Солдат (*взял её за плечи*). Но, может быть, если двум несчастным вдруг повезёт и они встретятся, то это уже не будет — несчастье? Как-нибудь по-другому это будет называться?

Анджела. Так это — если повезёт!

Солдат (*целует её*). Он всё для этого сделает!

Анджела. А что она может сделать? Что от неё зависит? Вы передайте вашему другу, пусть он скорее её найдёт, потому что я... я вам скажу — у неё уже все силы кончились, ей жизнь больше не мила, солнце потускнело!..

Арес (*опускает меч*). Ну и так далее... Пусть идет с Богом.

Солдат взял пулемёт, несёт его в одной руке, другой — обнимая Анджелу.

С о л д а т. Я ещё хотел про неё спросить...

А н д ж е л а. Спрашивайте! Ради Бога, спрашивайте, пожалуйста! Я так рада вам отвечать... Я столько про неё знаю...

Уходят. А р е с, опершись на меч, глядит им вслед.

А р е с. А всё же хорошая война пошла бы им всем на пользу. Вспомнили бы меру всех вещей, истинную цену каждому. Вот этого парня, к примеру, — он мне, пожалуй, симпатичен, — я сподоблю совершить подвиг и похороню по высшей категории!

А ф и н а. А я берусь покровительствовать — ей. Покуда вся жизнь её в этом парне, она сестра моя. Дашь ли ты ей повод для слёз?

А р е с (*устало*). Я вас умоляю... Вы так надоели мне, мадам, с вашим абстрактным гуманизмом. Ах, если б вы показали мне фокус! Вы когда-то умели растаивать в воздухе.

А ф и н а. Я оставлю тебя — когда найдём хоть клочок на этой планете, ещё не политый кровью. Здесь — всё полито. Пойдём.

Они удаляются в глубь равнины.

Москва, 1981 г.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Георгий Николаевич Владимов родился 19 февраля 1931 года в Харькове, в семье учителей русского языка и литературы. Отец в 1941 году на строительстве оборонных сооружений был захвачен немцами, согнан в Германию, погиб в концлагере близ города Шнайдемуль (ныне — г. Пила, Польша). Мать в 1952 году по статье 58.10 УК («антисоветская агитация и пропаганда») подверглась аресту и заключению в лагерь, откуда вышла инвалидом.

В 1948 году В. окончил Ленинградское Суворовское военное училище, в 1953 году — юридический факультет Ленинградского университета. Работал литсотрудником сельской районной газеты, редактором отдела прозы в журнале «Новый мир» при К. Симонове и А. Твардовском, в отделе критики «Литературной газеты».

Выступает в печати с 1954 года. Вначале — с литературно-критическими статьями в журнале «Театр» и «Новый мир» и в «Литгазете», с 1960 года — как прозаик. В 1961 году в «Новом мире» появилась повесть «Большая руда», там же в 1969 году — роман «Три минуты молчания». Публиковались также рассказы в журнале «Смена» и в «Неделе» Известий, по его сценариям поставлены фильмы «Большая руда» и «Туннель». Другие произведения — повесть «Верный Руслан», рассказ «Не обращайтесь вниманья, маэстро», пьеса «Шестой солдат» — впервые были напечатаны на Западе.

В 1977 году вышел из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения его коллег (В. Войновича, Л. Копелева, В. Корнилова, Л. Чуковской) и против молчаливого отказа тогдашнего руководства Московской писательской организации оформить ему поездку на Франкфуртскую книжную ярмарку по приглашению норвежского издательства «Гюльдендал». Участвовал в правозащитном движении, в течение шести лет был председателем Московской группы «Международной Амнистии», подвергался разнообразным преследованиям КГБ, принуждавшим его к эмиграции. В мае 1983 года выехал в Германию на год по приглашению Кёльнского университета для чтения лекций о русской советской прозе. Указ Президиума ВС СССР от 1 июля 1983 года, за подписью Ю. В. Андропова, о лишении советского гражданства и конфискация квартиры в Москве закрыли ему возвращение на родину.

В 1984-86 годах редактировал журнал «Грани», вынужден был уйти из-за конфликта с НТС («Народно-Трудовой Союз российских солидаристов»).

В эмиграции выступал как публицист и критик в русскоязычной прессе и по радио «Свобода», с 1980 года — в советских и российских изданиях, работал над романом «Генерал и его армия». В 1995 году роман (в журнальном варианте) был удостоен премии Букера.

Живёт в небольшом городке Нидернхаузене, близ Висбадена.

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ. *Роман*

Глава первая. Майор Светлооков	8
Глава вторая. Три командарма и ординарец Шестериков	55
Глава третья. Кому память, кому слава, кому тёмная вода...	133
Глава четвертая. Даёшь Предславль!	198
Глава пятая. Кто без греха?	274
Глава шестая. Поклонная гора	351
Глава седьмая. Снаряд	398

ВЕРНЫЙ РУСЛАН. *Повесть*

<i>История караульной собаки</i>	432
----------------------------------	-----

РАССКАЗЫ

Все мы достойны большего	570
Мы капитаны, братья, капитаны	583
Не обращайтесь вниманья, маэстро	599

ШЕСТОЙ СОЛДАТ. *Пьеса*

643

Биографическая справка

730

**Георгий Николаевич
ВЛАДИМОВ**

**Роман
Повесть
Рассказы
Пьеса**



Редактор С. Семухина

Технический редактор

Т. Шабурова

Корректоры М. Попова, Н. Киричек

Компьютерная верстка С. Григорьевой

Адрес: Москва, Владимирская ул., д. 10, стр. 1

Тел.: (495) 251-11-80

Факс: (495) 251-11-80

Эл. почта: vladimov@yandex.ru

Сайт: www.vladimov.ru

ISBN 5-905118-01-8

© Георгий Владимов, 1990-2000

© Издательство «Искусство», 2000

Тираж 10 000 экз. (000 001 - 10 000) - 1 копия № 1 экз. (000 001 экз.)

«Искусство» - 6 000

77, вселенский пер., д. 10, стр. 1, 125080

Москва, Россия

Тел.: (495) 251-11-80

Факс: (495) 251-11-80

Эл. почта: vladimov@yandex.ru

Лицензия ЛР № 064283 от 08.11.95

Подписано в печать 10.09.99. Формат 84x108^{1/32}
Гарнитура Ньютон. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 38,64.
Тираж 20 000 экз. (1-й завод: 1 — 10 000). Заказ № 392.

ООО «У-Фактория»
620142, Екатеринбург, ул. Большакова, 77

Отпечатано с готовых диапозитивов
ФГУИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

представляет серию

ЗЕРКАЛО

XX ВЕК

В серию входят авторские сборники:
**Леонида Филатова, Александра Галича,
Булата Окуджавы, Геннадия Шпаликова,
Владимира Высоцкого, Василия Аксенова,
Игоря Губермана, Фазиля Искандера,
Александра Солженицына,
Георгия Владимова, Василия Шукшина,
Александра Володина, Григория Горина,
Александра Вампилова,
Андрея Вознесенского**
и других поэтов и прозаиков,
артистов и художников,
ученых, которые своей личностной
позицией и творчеством оказали
заметное влияние на духовное развитие
России в XX веке.

Телефоны: 8(3432) 22-96-26

22-85-89

Факс: 8(3432) 22-85-35

Abstract

ISBN 5-89178-120-4



9 785891 781207



ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ
роман

ВЕРНЫЙ РУСЛАН
повесть

РАССКАЗЫ

ШЕСТОЙ СОЛДАТ
пьеса